

АЛЕКСАНДР
ШИРОВАНЗАДЕ







К СТОЛЕТИЮ
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ПИСАТЕЛЯ

1858-1958



ԱԼԵԳՐԱՆԴՐ
ՇԻԹՎԱՆՉԱՐԵ



ՁՆՏԻՐ ԵՐԿԵՐ
ԵՐԿՈՒ ՀԱՄՈՐՈՎ



Մոսկվա·1958

АЛЕКСАНДР
ШИРВАНЗАДЕ

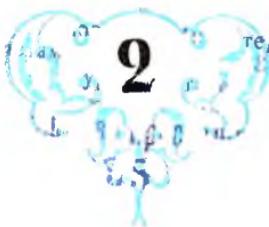


ИЗБРАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

в двух томах

том

2



Издательство
"ИЗВЕСТИЯ"
Москва. 1958

*Вступительная статья, подготовки текста
и примечания*

Г. О. МАНАСЯНА

*Оформление народного художника
Армянской ССР*

М. А. АРУТЧЬЯНА

Титул художника

Г. В. ДМИТРИЕВА



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ





ПОЖАР ПА НЕФТЯНОМ ЗАВОДЕ



авод горит, хозяин! Иван Григорьевич Марутян, владелец завода, был человек среднего роста, полный, далеко еще не старый, весь в черном. Румянец мгновенно сбежал с его круглого и чисто выбритого лица, едва он услышал эту неприятную весть.

— Как?.. Когда началось? Где? — взволнованно и с нетерпением расспрашивал он. В его маленьких хитрых глазах вспыхнул злой блеск, и он протянул руки, словно готовился в ярости наброситься и задушить на месте злополучного вестника.

— Огонь заметили этак три четверти часа назад, — дрожащим голосом, боязливо отступая, ответил посыльный рабочий. — Я только закончил работу и собрался было спать... А тут — взрыв. Грохот был такой, будто весь завод обрушился. Выскочил я во двор, не знаю, что делать, куда бежать... и вдруг вижу — из котельного отделения клубами повалил дым... Тут я сообразил, что взорвался один из больших нефтяных баков. Огонь шел на маслоочистительное отделение. Рабочие выскочили полуодетые навстречу огню, а я помчался в город, к вам.

Иван Григорьевич тяжело дышал.

После минутного размышления он обратился к слугам, стоявшим тут же:

— Живо запрягать!

Слуги бросились исполнять приказание.

— Они разорят меня, до банкротства доведут... по миру пустят, куска хлеба лишат! Вот проклятые, негодяи!

— Накажи, господи, злодея, который осмелился накликать эту беду!.. На все воля божья, хозяин... Разве мы... Ведь не мы подожгли,— бормотал посыльный, теребя шапку.

Настенная лампа в просторной прихожей осветила черное от сажи лицо, перепачканную нефтью и копотью одежду. Из-под густых бровей блеснули темные, скорбные глаза. Цвет волос его нельзя было определить под слоем копоти.

— Воля божья! Воля божья! Да разве вы верите в бога? — рычал Иван Григорьевич.— У вас нет бога! Вы одного только бога боитесь — палки! Был бы у вас бог, мой завод не горел бы два раза в году. Будь у вас совесть, душа, вы бы жизни не пожалели, а не допустили бы, чтобы ваш хозяин, ваш кормилец, терпел убытки.

Рабочий молчал. Он знал, что хозяин не терпит возражений, особенно в подобных случаях.

— Барин, коляска подана, — доложил слуга.

— Еду! Беги сейчас же на завод! — приказал хозяин вестнику.

Несколько минут спустя вороные рысаки мчали экипаж. Иван Григорьевич покачивался на мягких рессорах, закутанный в дорогую теплую шубу.

Дул северный ветер. Дождевые капли назойливо барабанили по верху экипажа, еще более раздражая Ивана Григорьича; ему казалось, что и природа приняла участие в этом злом деле: как на грех поднялся ветер, усиливший пожар.

Иван Григорьевич был до того взбешен, что, казалось, вот-вот взорвется, как котел на его заводе. Время от времени он высовывал голову, смотрел на далекое зарево и приказывал кучеру погонять лошадей.

А посыльный, покинув дом Марутяна, не медля ни секунды, помчался на завод. Он не замечал ни зетра, ни

дождя: приказано — и баста! Тут уже опаздывать не смей!

Завод находился в трех верстах от города. Посыльный, сокращая дорогу, бежал вдоль морского берега. В ночной тиши слышался зловещий грохот волн. Вдоль берега не было ни одного живого существа, кроме этого громадного, черного человека, который подобно ночному привидению огромными шагами мчался вперед... И вдруг, точно вспомнив что-то, он остановился и обеими руками ударили себя по лбу.

«Господи! Да ведь брат и сынишка легли спать у этого котла! В бараке было холодно, они перебрались в котельное отделение... Господи! А если они не проснулись вовремя?..»

Зарево обняло весь небосклон. Порывы ветра яростно вскидывали пламя. Черный город был окутан дымом. Посыльный бежал из последних сил.

Прибыв на место, Иван Григорьевич едва мог разглядеть завод, охваченный пламенем и дымом. Население черного города кольцом окружило пожарище, походившее на гигантский костер. Люди стояли, безучастные ко всему, пожар для них был явлением обычным.

— Скорее, скорее, бога ради, помогите, не бойтесь!.. Я за все заплачу!.. — кричал Иван Григорьевич.

— Не подходите, хозяин, здесь опасно, — предупреждало несколько голосов, отталкивая его назад.

Пламя вздыпалось двумя столбами. Один выбивался из-под крыши, из дверей и окон развалившегося одноэтажного дома, — это горело маслоочистительное отделение. Другой вырывался из нефтехранилища шагах в пятнадцати. Между этими двумя очагами, там, где находилось котельное отделение, ничто не избежало хищных лап огня, все превратилось в пепел. Вокруг валялись обломки нескольких котлов.

Густой черный дым, пробивавшийся сквозь трещины стен, причудливо сочетался с гигантскими языками пламени.

Заводской двор был заполнен толпой. Иван Григорьевич, стоя впереди, отдавал распоряжения. Из толпы подавали всевозможные советы.

— Этак делу не поможешь, нужно у Нобеля попросить пожарные насосы, — говорили одни.

— Ну конечно, тут только нобелевские насосы и помогут,— поддерживали другие.

Это были владельцы соседних заводов, озабоченные не столько судьбой чужого завода, сколько тем, как бы огонь не перекинулся в их владения.

Иван Григорьевич никого не слушал.

— Ну, помогите! Живо! Всем заплачу! Чего зря торчите?.. Негодяи! Разорили меня, подлецы! Воры! Разбойники! — поносил он людей и метался точно ошалелый.

В тушении пожара, кроме рабочих Ивана Григорьева, участвовали рабочие других заводов и посторонние люди. Рабочие находились у самого огня, в самых опасных местах, а прочие старались держаться подальше от пламени. Из первых рядов струи воды летели в гущу огня, и на каждый удар воды пламя отвечало глухим шипением. Остальные качали воду и, орудуя лопатами, засыпали склад нефтяных отходов, охваченный пламенем.

Некоторые из рабочих Ивана Григорьева, в горячке борьбы с огненной стихией, так близко подступали к пламени, что это приводило в ужас всю толпу. Дышать было трудно, жар опалял их полуобнаженные тела, искры дождем сыпались на головы, но, всей душой отдавшись делу, эти герои, казалось, ничего не чувствовали. В любую секунду их лохмотья, насквозь пропитанные нефтью, могли вспыхнуть. Чтобы уберечь от опасности смельчаков, их издали обдавали водою.

Всегда в толпе можно встретить любопытных зевак, беспечных остряков, ищащих повода к насмешкам даже в самые трагические минуты.

— А ну, окати их еще разок! — кричали эти шутники.

— Ну и костер же, ребята, впору шашлык готовить! — сострил другой, поглаживая усы.

Огонь, казалось, совсем остервенел. От нестерпимого жара толпа отступала все дальше и дальше.

— Прочь! Стена валится! Спасайся! — закричал вдруг кто-то в толпе.

Люди бросились бежать.

Раздался грохот, подобный пушечному залпу. Пламя, дым, копоть и пыль, поднятая рухнувшей стеной, смешавшись, совершенно скрыли рабочих, тушивших пожар.

— Ой, спасите!.. Голова!.. Помогите!.. Спину перешило!.. Ради Христа, помогите! Помираю!.. — раздавалось тут и там.

— Ох, ноги мои! Ой, ой, задыхаюсь! Помогите... Господи, господи, ничего не вижу!..

— Рука... рука!.. О-о-о!.. Не подходите... горит!..

Отчаянье было написано на лицах людей. Отовсюду неслись вопли, стоны, крики о помощи,— и не разобрать, откуда они шли.

Гнев и растерянность Ивана Григорьича сменились безотчетным ужасом: его лицо теперь выражало страх,— он весь дрожал, не зная, на что решиться. Хотел пробраться вперед, но это оказалось невозможным: дым, пыль и сажа, пронизанные пламенем, образовали непреодолимую завесу.

Но вот все прояснилось, и открылось ужасное зрелище. Среди обломков стены лежало шестеро рабочих. Мелькали фигуры людей; одна из них, охваченная пламенем, точно беснуясь, металась с воплями:

— Спасите! Помогите!.. Горю! Воды! Воды... О-ой!

Это кричал старик, на котором загорелись лохмотья, пропитанные нефтью.

Иван Григорьевич с досадой отвернулся. Из толпы, набравшись смелости, бросились на выручку. Кто-то сильным пинком сбил с ног горевшего старика, другие принялись засыпать его землей, как будто хоронили заживо. Но это был единственный способ спасти несчастного.

— Душно!.. Ой-ой... горю! — глухо вопил тот, точно из-под земли.

Лицо старика было до того изуродовано, что люди от ужаса и отвращения зажмурились.

— Господи, возьми скорее мою душу... не мучь меня! — кричал старик, ворочаясь под наваленной на него кучей земли. — Сын мой!.. Где сын? Воды! Ой, сердце!..

Голос старика постепенно слабел.

— Я здесь, здесь! — отозвался юноша лет двадцати, левой рукой поддерживая правую, изуродованную пламенем. — Ой, сердце ноет! Ой, не трогайте руку!.. Сил нет!..

— Не подходи к отцу, несчастный! Увидит и со страху померт! — раздался чей-то голос.

— Бейбут!.. Бейбут!.. подойди, помираю!.. Ой! Ой!.. — стонал старик, пытаясь приподняться.

Несколько секунд отец и сын не могли узнать друг друга. Седая борода старика была опалена и свалялась в грязный комок.

— Ой, что с тобой, отец! — юноша, точно обезумев, упал на землю рядом со стариком.

Старик, позабыв терзившую его боль, охватил шею сына.

Пока отец и сын, держа друг друга в объятиях, жалобно стонали, изнемогая от страшной боли, в нескольких шагах от них можно было наблюдать другое зрелище. Оттуда, где лежали тела раздавленных, доносились глухие, замиравшие вопли. Двое уже были бездыханы; их изуродованные лица даже не походили на человеческие: глаза выскочили из орбит, волосы обгорели.

Поодаль молодой рабочий, растиравший руки землей, причитал:

— Ох, руки мои!.. Ой, горят, горят!.. Помер мой дядя! Не сумел я спасти его!..

Из обожженных глаз юноши катились слезы, он поднес руки к глазам, но соленые капли разъедали его изуродованные пальцы.

Рядом глухо слышались слова молитвы:

— О, всевышний, и ты его великий пророк Мухаммед. Видите святыми очами, с какими мучениями мы отдаём свои души. Ла... Ла... Иллалах, Мухаммед Расул аллах...

Это молились персы: у одного была сильно рассечена голова, он находился при последнем издыхании; у двоих — перебиты руки и ноги.

Смятение в толпе дошло до того, что никто уже не думал о пожаре, начинавшем понемногу утихать.

Голос Ивана Григорьича, не умолкая, гремел:

— Ради бога, тушите, не забывайте о пожаре!.. Этих раненых можно убрать потом. Ведь завод погибает, завод!.. Сжальтесь надо мною!..

Однако мало кто обращал внимания на крики хозяина. Тушением пожара занимались теперь больше рабочие со-

седних заводов: хозяева не разрешали им уходить, пока заводы не окажутся вне опасности.

— Нельзя же бросить несчастных на произвол судьбы! — кричали из толпы. — Сколько народу погибло! Пропади он пропадом, твой завод, и ты заодно с ним!

— Это ты виновник их гибели! Почини вовремя свои проклятые котлы и топку — не было бы этого несчастья.

Приказчик, следовавший за хозяином как тень, шепнул ему на ухо:

— Иван Григорьевич, советую держаться подальше от смутиянов. Это приятели погибших... Они рассвирепели, и бог знает, что у них на уме...

Но Иван Григорьевич не обращал внимания ни на угрозы толпы, ни на советы приказчика. Все его помыслы были сосредоточены на пожаре. Его приводила в трепет мысль, что огонь вот-вот перекинется на склады, битком набитые бочками с керосином. Однако эти опасения были напрасны: огонь ослабел и, казалось, утолив свою ярость, медленно угасал.

Утих и ветер. Пламя уже не металось в бешенстве, а, медленно и ровно поднимаясь вверх, озаряло людей, помогавших жертвам пожара.

В это время показался высокий мужчина. Лицо его выражало глубокое отчаяние. Ноги подкашивались, он едва волочил их.

Это был уже знакомый нам посыльный, Мехраб.

— Пропустите!.. Пропустите!.. Дайте взглянуть!.. Где мой сын?.. брат?.. Господи, где они?!

Толпа расступилась.

— Саркис, Гаспар!.. откликнитесь! Где вы? Ох, Бей-бут!..

— Я, дядя, я... живой... Отец, несчастный, погиб... Вот он!.. До последнего вздоха думал о семье... Звал тебя.

— Где, где? Покажи мне его... Но где мой сын, Саркис?

— Не подходи, умоляю, руку жжет!.. Не прикасайся!..

С минуту Мехраб стоял, точно окаменелый. Его сухие, воспаленные глаза перебегали со старика на племянника. Потом он увидел сына, его обгоревшие руки и застонал.

Взоры всей толпы сосредоточились на нем. Он напоминал мрачную статую, и только пылающие глаза нарушали его каменную неподвижность.

Вдруг в отчаянии он начал обеими руками неистово бить себя по голове.

— Ой! Что же я скажу теперь твоей семье? Что я скажу твоей жене?

Иван Григорьевич, услышав эти вопли, бросился к нему.

— Чего орешь, как сумасшедший? Нашел тут время горланить! Беги, помогай тушить!

Мехраб ничего не слышал. Припав к трупу брата, он рыдал. Толпа зашевелилась. Послышались негодующие крики:

— У него брат заживо сгорел, сын обгорел, а ты его гонишь! Совести у тебя нет, безбожный ты человек; до твоего ли проклятого завода ему сейчас?!

— Слезами горю не поможешь!

Мехраб машинально поднялся. Глаза его выражали страдание, бесконечную боль. Он походил на разъяренного льва, готового ринуться на своего врага. Мгновение он стоял неподвижно. Иван Григорьевич опасливо поглядел на него.

Рабочий хотел двинуться к хозяину, но ноги не повиновались. Он закачался и, точно сраженный молнией, рухнул бездыханный к ногам Ивана Григорьича, на покерневший труп брата.

— Завод... Завод. Боже мой, погиб я...



Посвящается NN

БАРЫШНИЯ ЛИЗА



а балконе дома, расположенного в центре Тифлиса, два друга сидели за бутылкой пива. Одному из них — с живыми глазами, открытым лбом, вьющимися волосами — было лет двадцать пять. Другому, худощавому, чернобородому — лет на десять больше. Молодой человек был одет роскошнее и обращал на себя внимание изысканностью костюма.

День угасал. Последние лучи весеннего солнца озаряли серебристые куполы церквей. Во дворе, среди зелени деревьев, щебетали птицы. Легкий вечерний ветер колыхал листья деревьев. Откуда-то доносились звуки фортепиано. Гармонично сливались друг с другом прелестные напевы персидских «мугамати» и «эйрати»¹. Какой-то композитор, незнакомый с восточной музыкой, искал оба мотива, украсил их мелодией армянской песни, переложил на европейское звучание и дал своему произведению новое название — баяти. Однако оно не имело ничего общего с грустным азербайджанским «баяти». Поднося ко рту стакан с пивом, человек с чер-

¹ Мугамати и эйрати — персидские напевы.

ной бородой ударила другой рукой по плечу молодого собеседника.

— Гляди, — сказал он.

— Куда?

— На небо: смотри, как красиво!

Молодой человек взглянул на восток. Небо было ясное, лишь на горизонте вздымалась огромная гора белоснежных облаков. Она медленно и неуклонно росла. Облака соединялись, сливались друг с другом, напоминая своими очертаниями то прекрасные здания, то фигуры громадных животных. Под лучами заходящего солнца облака переливались тонкими красками, подобные которым не могли бы возникнуть и под кистью гениального художника.

Молодой человек восхищенно наблюдал это зрелище, но его мысли были заняты чем-то другим.

— Я очень люблю эту игру красок, — вновь заговорил старший, наполняя стакан. — Она напоминает мне тот глупый период человеческой жизни, игрушкой которого являешься сейчас ты.

Молодой человек поднял глаза и, укоризненно покачав головой, поднес стакан к губам.

— Да, да... — продолжал тот, — пройдет еще пять лет и ты будешь смеяться над собой, Геворг. Взгляни на небо!

Геворг опять поднял голову. Огромная гора облаков продолжала подниматься, она будто разбухла, все увеличиваясь. Однако цвет облаков уже изменился. У основания горы появились гребни других — темно-серых, свинцовых туч. Они поползли наверх и за несколько минут белоснежные нагромождения заволокло темным занавесом. Исчезли чудесные видения, горизонт затянулся мрачной пеленой.

— Видел, как все переменилось? — обратился к Геворгу его собеседник. — Где чудесные картины? Нет их, вон надвигается черная туча. Пожалуй, еще дождь пойдет.

— Что же ты этим хочешь сказать? — спросил Геворг с улыбкой.

— Вот и беззаботная молодость недолговечна — стукнуло тридцать — и темные тучи покрывают жизнь человека мрачной завесой. Но вернемся к нашему спору.

Как я сказал, любовь — естественная потребность, без нее человек не может существовать, как рыба без воды. Любовь — якорь человеческого существования, но она превращается в глупое чувство, когда коснется женщины. Любить женщину простительно так же, как простительно любить казанское пиво, тифлисский шашлык, сочный бифштекс. Понял? Но сидеть дома ради нее ночами и «охать» — это сумасшествие. Женщина, Геворг, создана для исполнения в жизни глупой роли — даже если она облачается в тогу мудрого философа. А ну, разберись поглубже, подумай, прав я или нет. А мужчина... о-о-о, — мужчина — другое дело, например я или ты. Да здравствует мужчина!

Арзас Петрович — так звали его — произнес эту тираду, опорожнил стакан пива. Потом, положив в рот кусок хлеба с икрой, продолжал:

— Да, Геворг, девиз мужчины — смотреть на женщину, как на жизненно необходимый предмет обихода, относиться к ней свысока и считать ее недостойной долгого разговора. Согласен ты с моими мыслями?

— Вовсе нет, — ответил Геворг, — это односторонняя ошибочная идея Прудона; она повлияла на тебя.

Арзас Петрович спокойно усмехнулся.

— Прудон... гм... Прудон... Если хочешь знать, я его и не читал никогда. Я говорю о том, что наблюдал вплоть до сегодняшнего дня. Но оставим философию. Ты сейчас влюблен и поклоняешься дамским туфлям. Я тоже когда-то был влюблен. Я расскажу тебе о своем романе, возможно, ты сумеешь извлечь пользу из этой истории. Согласен?

— Согласен.

— Но чтобы ты меня не прерывал!

— Только если будет необходимость.

— Прекрасно.

Арзас Петрович опорожнил еще один стакан и, вытирая платком усы, сказал:

— Так вот, слушай!

Геворг поставил локти на край стола, подперев голову ладонями, и впился глазами в лицо Арзаса Петровича.

Арзас Петрович так начал свой рассказ:

— В тысяча восемьсот семьдесят... году, когда мне было двадцать шесть лет, закончив курс учения, вернулся

я на родину. Конечно, у меня, выпускника и молодого человека со свежими взглядами, скопился ряд, как я думал тогда, прекрасных небесполезных идей. К их числу относились и определенные взгляды на женщину, которые принципиально расходятся с нынешними моими взглядами.

Знаешь, Геворг, я тогда примерно думал, как ты сейчас: свободная любовь, равные права, высокие идеалы и прочее. Одним словом — иллюзии молодежи; те, что сейчас затемняют твой мозг, дорогой мой Геворг.

По лицу Геворга скользнула недовольная улыбка.

— Ну хорошо, не обижайся, больше я говорить так не буду, — поспешил успокоить его Арзас Петрович и продолжал.

— Итак, милый Геворг, я вернулся на родину с известными идеями. Прости, что я начал рассказ с такими подробностями. Надо познакомить тебя с некоторыми обстоятельствами, чтобы ты не думал, будто я был совершенно оторван от идеальной жизни.

Как тебе известно — я медик. Мне повезло: в родном городе мне удалось быстро найти подходящую должность. Благодаря этому твой покорный слуга сейчас имеет честь рассказать эпизод из своего прошлого.

Первая удача ободрила меня. Я вступил в жизнь: стал проповедовать и свои новые идеи. Кое-кто встретил их с презрением, но были и сочувствующие: меня даже приняли членом одного товарищества после произнесенной мною речи.

Однако, что греха таить, больше всего меня занимала жизнь. Стремился я найти общий язык и с так называемым нежным полом.

Конечно, как армянин, любящий своих соотечественников, я старался сблизиться с ними и получить доступ в армянские семьи. Ведь ты знаешь, что у врача в этом отношении больше возможностей, чем у кого-либо. Меня не чуждались, а в некоторых домах принимали даже с удовольствием. Должен прибавить, что в то время и я внешне выглядел неплохо. Теперь-то я немного потерял свежесть, да легко сказать — прошло ведь восемь лет... Одна из знакомых дам заметила однажды, будто на моих устах — не знаю почему — всегда играет привлекательная, но опасная для женщин, улыбка. Но это меня не так

уж интересовало. На женщин я смотрел особыми глазами и никогда не позволял себе легких побед.

Знаешь, чем это объясняется? Гм... тем, что я был идеальным. Эх, глупая молодость! За твое здоровье, Геворг!

— Как я уже говорил, — продолжал Арзас Петрович после того как выпил пиво и отставил подальше стакан, — еще со студенческой скамьи я имел определенное мнение о женщине, в частности армянке. Я представлял ее себе красивой, свежей, здоровой, но духовно неразвитой — необработанным материалом, из которого можно создать нечто идеальное.

Ты можешь понять, как я почувствовал себя, когда первые же впечатления разочаровали меня.

Арзас Петрович вынул из бокового кармана коробку и взял папиросу. Постучав несколько раз концом мундштука о стол, он закурил и посмотрел на часы.

— Ого, пока еще рано, времени у нас много, но рассказ свой я еще не кончил. Холодно стало. Пойдем в комнату. Может начаться дождь.

Арзас Петрович направился в комнату. Геворг приказал слуге привести туда бутылку пива. Рядом с бутылкой слуга поставил на круглый стол горящую лампу. Собеседники сели в мягкие кресла у стола друг против друга. Несколько секунд они молчали. Густые клубы папиресного дыма поднимались к потолку комнаты. Наконец Арзас Петрович вынул папиросу изо рта, отхлебнул немного пива и продолжал:

— Прошел год. В один прекрасный день — свет моих очей, мой господин Геворг Минасевич Шанабандян — я, твой покорный слуга Арзас Петрович Магустян, имел честь познакомиться в клубе с одним старым отставным чиновником, армянином. Это был хотя и седой, но крепкий тифлисец, лет около шестидесяти, звали его Мартыном Бугданычем Бадамовым. Слышишь, «ов», не «ян». Вопреки моим ожиданиям Бадамов не играл в карты и не пил кахетинского вина, к чему так склонны тифлисские старожилы. Он любил только читать газеты и вести пространные споры о политике Бисмарка, причем защищал его, как защищал бы родного брата, которого на самом деле у него не было. Бадамов говорил по-русски, как тифлисец, согласные буквы произносил удивительно твердо.

Как бы там ни было, мы познакомились и, после нескольких бесед, понравились друг другу: Он мне пришелся по душе своими ясными, независимыми взглядами, симпатичным старческим лицом, а я ему приглянулся, как более или менее серьезный молодой человек. Как-то раз, прощаясь, старик дал мне свой адрес и заметил, что будет рад меня видеть у себя, хотя бы на следующий день. Однако я решился павестить его лишь через неделю в 12 часов дня.

Я сказал тебе, что имел честь познакомиться с Бадамовым; а на самом деле, должен признаться, что это знакомство было для меня несчастьем. Оно, как сейчас ты увидишь, произвело коренную перемену в моей жизни.

Старик принял меня с радостной искренней улыбкой. Он пригласил меня в гостиную, и мы уселись на бархатных креслах.

Поговорив со мной с четверть часа о том, о сем, старик нажал пальцем кнопку звонка, стоявшего на столе. Открылась дверь, и к моему удивлению вместо слуги вошла девушка, одетая в легкое ситцевое платье. В левой руке она держала книгу, которую заложила средним пальцем.

— Это ты, Лиза, а где же слуга? — спросил старик тихим мягким голосом.

По-видимому, девушка не думала застать в гостиной незнакомого гостя. Увидев меня, она немножко растерялась и хотела уйти, но вопрос Мартына Бугданыча задержал ее.

— Прислуга на кухне. Что вы желаете? — одновременно спросила и ответила девушка, на несколько секунд обратив лицо в нашу сторону.

Этих нескольких секунд было достаточно, чтобы я ее разглядел.

Она, дорогой Геворг, не была красивой, но казалась прелестной, и знаешь, почему? Благодаря своим большим умным глазам: в них сверкал огонь, способный сразу проникнуть в сердце мужчины.

Еще большее впечатление произвела на меня ее высокая тонкая фигура, нежное, но по-видимому крепкое сложение. На лице Лизы я заметил легкое смущение, которое придавало ей привлекательную живость. Я вспомнил пушкинскую Татьяну. Однако не думай, что я вообразил себя Онегиным. Вовсе нет.

— Прикажи, пусть быстро подадут кофе, — сказал Бадамов и потом, когда Лиза повернулась, чтобы уда-
литься, прибавил:

— А ты вместе с Женей приходи сюда.

Лиза вышла. Бадамов сказал мне, что Лиза и Женя —
его дочери. Других детей у него нет, а жена умерла уже
десять лет тому назад.

Через несколько минут слуга внес на серебряном под-
носсе четыре стакана кофе, вслед за ним вошли Лиза и Же-
ния. Бадамов назвал мое имя: я встал и, подойдя прежде
к Лизе, пожал руку ей, а потом — Жене.

Жене — или вернее Евгении было около двадцати двух
лет, а Лизе — более двадцати пяти.

Кроме одинакового роста между сестрами не было ни-
какого сходства. Лицо Евгении было круглое, немного
смуглос, даже желтоватое, лоб — узкий, глаза — черные,
маленькие, хитрые. С первого же взгляда она мне не по-
нравилась; в ее выражении я заметил мелкое самолюбие
и гордость. Постепенно, после обычных вопросов, наша
беседа оживилась. Мартын Бугданыч заговорил о Бис-
марке и его последней речи. Я слушал восторженные ти-
рады и не возражал, хотя он подчас очень увлекался.

Зато Евгения участвовала в разговоре и горячо спори-
ла. Иногда к месту, но чаще некстати она упоминала
имена различных политиков и публицистов, якобы для
того, чтобы опровергнуть доводы отца. Но я чувствовал,
что она ни с одним из них не знакома как следует и назы-
вает популярные имена только для эффекта.

Лиза молчала и слушала. Я ловил секунды, когда ее
отец не смотрел на меня и взглядывался в лицо девушки;
заметив, что она также посматривала на меня из-под опу-
щенных ресниц, я почувствовал какое-то душевное волнение,
с которым до этого не был знаком. Эх!

Арзас Петрович взял бутылку пива, поднес ее к лампе
и, потрясая ею, сказал:

— Это еще что!... Кто пробил дно у этой бутылки?
Прикажи, Геворг, чтобы в моем присутствии не допуска-
лись такие безобразия.

Геворг распорядился принести другую бутылку.

— Мое здоровье, Геворг, пей, — сказал Арзас Петро-
вич, сразу опорожнив стакан. — Не наскутил ли тебе мой
рассказ?

— Должен признаться, что слушаю с удовольствием. Лиза меня интересует, — ответил Геворг.

— Понимаю, понимаю. Да, так прошло два часа. Я по-прощался с Бадамовым и ушел, в последний раз заглянув в лицо Лизы, в ее обращенные ко мне большие ясные глаза.

В этот день я был очень занят. Окончив дела, я пообедал, отдохнул немного и вышел погулять. Стояло лето. Уличный воздух освежил меня, и я по привычке стал перебирать впечатления минувшего дня. Представь, Геворг, как я ни старался припомнить все, что видел в семье Бадамова — так и не вспомнил ничего, кроме одного: задумчивые глаза Лизы из-под высокого лба и мягких бровей смотрели на меня.

Почему? Разве в семье Бадамова не было больше ничего способного заинтересовать меня?

Было или не было, но ничего другого я вспомнить не мог.

Однажды, вопреки своей привычке, вместо того чтобы, как обычно, после визитов вернуться домой, я направился в сад. Месяц только всходил, и его лучи мягко освещали сквозь густую листву деревьев темные аллеи. Видишь, как поэтично я умею рассказывать, Геворг; не думай, что это лишь тебе удается. Я сел на одну из зеленых скамеек и стал смотреть — на деревья, на небо, на луну — больше всего на луну. Может быть, и прежде я видел тысячи таких прелестных картин, но никогда так не трогали меня красоты природы, как в этот вечер. Я любил чудесные тихие лунные ночи, но никогда не поддавался их влиянию, как в тот раз. Мною овладела какая-то тяжелая, однако очень приятная меланхолия. Неужели причиной этому были глаза Лизы, которые словно смотрели на меня сквозь ветви деревьев? «Черт побери», — сказал я себе и, будто пробудившись, поднялся со скамейки.

В то время я не имел обыкновения ужинать и вернулся домой, чтобы позаниматься. Но заниматься я не мог, хотя и просидел за книгой около двух часов. Улегся спать, но и сон не шел ко мне, я ворочался в постели, как больной. Только к утру сон наконец одолел меня.

Утром проснулся и... ап... ап... чхи!

Арзас Петрович не смог продолжать: захлебнувшись

пивом, он закашлялся, бормоча что-то. Наконец, немного успокоившись, стал протирать платком глаза.

— Муху проглотил что-ли? — продолжал он, кладя платок в карман. Да, Геворг, утром проснулся радостным и здоровым, забыв все, что вчера произошло. День я провел в веселом расположении духа. Посетил больных, задерживаясь у каждого дольше обычного. Одним словом, был в хорошем настроении. Но скоро глаза Лизы вновь предстали предо мной и тоска снова охватила меня.

Я забыл тебе сказать, что мои новые знакомые привлекли меня на обед в воскресенье. Утром за час я раздумывал — пойти или нет? Решил не идти. Эта семья старого чиновника ничем не может меня интересовать,— сказал я себе и собрался было написать письмо или послать слугу к Бадамову с извинением. Но не сделал ни того, ни другого, а... пошел к парикмахеру, подправил прическу, вернулся домой, принарядился и направился к Бадамовым даже на полчаса раньше назначенного времени.

Геворг улыбнулся.

— Ну что, наверно похоже на твой роман? — заметил Арзас Петрович.— Смейся, смейся, но дослушай до конца. Ну, что тянуть, Геворг, сели мы обедать,— продолжал Арзас Петрович, зажигая папиросу.— Не знаю почему, Лиза на этот раз была веселее и говорила больше, чем в день нашего знакомства. Мы беседовали о том, о сем, Лиза горячо спорила, и это меня немножко удивило. Младшая сестра с некоторым сожалением заметила: «Что это ты, Лиза? С утра до вечера сидишь с кислым лицом, читаешь книги, не разговариваешь, а сейчас что с тобой случилось — словоем заливасься?»

Лиза ничего не ответила, только немножко покраснела.

Я спросил, какие книги она читает.

— Какие только хотите,— ответил Мартын Бугданыч за свою дочь.

— Папа, неужели вы думаете, что Лиза читает все, что приносите? — вновь вмешалась Евгения, проникновенно улыбаясь.— Романы — и в самом деле Лиза глотает, а другие книги только перелистывает, чтобы иметь возможность сказать, что она их знает.

Часто человек свои собственные недостатки приписывает другим. Потом я узнал, что Евгения лжет. Лиза чи-

тала не только романы. Но на замечание сестры она ничего не ответила.

После обеда мы прошли в зал и немного повеселились. Мартын Бугданыч предложил Евгении сыграть что-нибудь. Барышня отказалась, сославшись на головную боль. (Женским жалобам на головную боль, Геворг, не очень-то уж верь). Тогда отец обратился к старшей дочери: Лиза без отговорок села за пианино. Ни тогда, ни теперь я музыки не понимал, но слушать ее люблю. Длинными и нежными пальцами Лиза несколько раз ударила по клавишам и перешла к первым аккордам; мягкие и приятные звуки раздались в зале. Это был один из тех грустных мотивов Шопена, которые задевают струны человеческого сердца.

Окна в зале были открыты. На фоне летнего голубого неба плыли легкие облака. Увлеченный чудесными звуками пианино, я смотрел вдаль.

Мне казалось, что эта мелодия льется с далеких проплывающих в высоте белых облаков, и я душой устремился к ним, но они были недосягаемы. Не знаю, сколько времени я находился в этом зачарованном состоянии, но когда повернулся, Лизы уже не было. Мартын Бугданыч выпускал из-под седых усов кольца синего табачного дыма. Евгения, сидя около него, смотрела мне в лицо.

— Куда ушла Елизавета Мартыновна? — спросил я, немного смутившись под острым взглядом Евгении.

— Она вышла, — ответил Мартын Бугданыч, не посмотрев на меня.

Евгения ушла из комнаты и, вернувшись через несколько секунд, сказала, что у Лизы болит голова. При этом она лукаво посмотрела на меня и отвернулась. Я заметил на ее лице язвительный укор. Почему, что я сделал? Потом я это узнал...

Только вечером я покинул Бадамовых. Лиза не вышла проститься со мной, и я направился домой в тяжелом настроении. Эх, Геворг, не стану тебе говорить, что я чувствовал, ты сейчас это лучше меня понимаешь. Однако не наскучил ли я тебе?

— Нисколько, — ответил Геворг, зажигая папиросу, — можешь говорить до рассвета.

— Это только начало моего рассказа, я только подхожу к самой сути.

На следующий день я не выдержал и после полудня, закончив дела, отправился к Бадамову. Это было очень смело с моей стороны, однако я пошел, не раздумывая. Как я обрадовался, увидев Лизу; она сидела в зале около пианино, перелистывая потные тетради. Мартын Бугданыч и на этот раз встретил меня любезно, но на лице его я заметил выражение какой-то неловкости. А Евгения холодно протянула мне руку и вышла.

— Простите, что я вчера так невежливо ушла, оставив вас в зале,— обратилась ко мне Лиза, вставая.

— Невежливость проявил я, мадемуазель,— ответил я, смело глядя в лицо Лизы.

— Почему?

— Вы заболели, а я, как врач, не предложил своих услуг.

— Не так уж сильно болела у меня голова, чтобы спешить за помощью к врачу,— сказала Лиза, а потом, обращаясь к отцу, спросила:

— Папа, не сыграть ли мне одну из ваших любимых мелодий?

— Только с условием не прерывать игру, как вчера, и не убегать,— ответил Мартын Бугданыч серьезно.

Лиза села за пианино и, поправив волосы, начала играть веселый мотив. Но эти жизнерадостные звуки павевали на меня грусть. Я смотрел на быстрые пальцы Лизы, которые легко бегали по клавишам, и казалось, что пальцы Лизы ударяют по моему сердцу, что это звучит мое сердце. Нет, Геворг, те минуты неописуемы! Я смотрел на пальцы Лизы, на ее руки, стан, на ее головку, шею, на каштановые волосы, рассыпавшиеся по плечам. С магической силой она ввлекла меня. В ту минуту для меня не существовало вокруг ничего, кроме Лизы. Мне казалось, что даже звуки фортепиано сливались с ее образом и с каждой секундой ее власть надо мной становилась все прочнее. Наконец она остановилась и, закрывая крышку, спросила, правится ли мне се игра.

Около двух часов провел я в доме Бадамова и очень обрадовался, что Мартын Бугданыч на этот раз не спорил со мной на политические темы. Удивительное дело: несколько дней назад я с удовольствием мог беседовать с ним о политике. А если бы он затеял такой разговор нынче, я уверен, что согласился бы с любым его утверж-

дением, лишь бы прекратить спор. На этот раз я вернулся домой покоренный.

Прошел месяц. Я часто посещал Бадамовых. Бывал я у них раз в три дня, а если бы не стеснялся, Геворг, то ходил бы к ним каждый день. Естественно, что причина столь частых посещений рано или поздно должна была открыться Мартыну Бугданычу. Но прежде узнала о ней Евгения. Эта хитрая змея буквально преследовала меня своими пронизывающими и ироническими взглядами. Что касается Лизы, ты должен понять, Геворг, что она с первого дня заметила мои чувства. В этом смысле и только в этом женщина удивительно наблюдательна. Часто она с первого взгляда замечает чувства, которые питает к ней мужчина. Когда мозг человека занят одной мыслью, когда только в чем-то одном он видит весь смысл своего существования, ни один психолог не может с ним сравниться. Это мое глубокое убеждение, я уверен, что не ошибаюсь.

Ты улыбаешься, Геворг, ты смеешься тому, как я быстро делаю выводы, но потерпи, ты на собственном опыте убедишься в моей правоте.

На чем же я остановился? Да, я знал, что Лиза угадывает мои чувства. Но как она относится ко мне? Хотя и в первый месяц это было ясно, я не смел верить, что она на самом деле неравнодушна ко мне. Я думал, что она, быть может, водит меня за нос, хочет покорить меня, выпытать признание, чтобы потом отказать, по-женски радуясь своей победе. Но тогда я еще верил в искренность женщин.

— А теперь? — прервал вдруг Геворг.

— Эта вера умерла и никогда не воскреснет, — ответил Арзас Петрович. — Итак, Геворг, я верил в женскую искренность и не считал Лизу легкомысленной кокеткой, желавшей лишь поиграть со мной. Как я говорил тебе, уже целый месяц я бывал у Бадамовых. В течение этого месяца я довольно близко познакомился с историей этой семьи. Отец Мартына Бугданыча оставил в наследство дом и небольшую денежную сумму. Живя довольно скромно, Мартын Бугданыч увеличил этот капитал, из года в год откладывая часть своего жалованья. За двадцать пять лет его сбережения достигли довольно солидной цифры. О том, как приобрел отец Мартына Бугданыча

дом и капитал, мне ничего не было известно, но я знал, что он выполнял свои служебные обязанности добросовестно (хочу сказать, что взяток не брал). Должность он оставил по собственному желанию.

После смерти жены Мартын Бугданыч, этот просвещенный сын непросвещенного отца, ничего не жалел для образования своих дочерей. Они закончили гимназический курс, а с помощью домашних учителей овладели французским языком, танцами, музыкой — одним словом, знали все, что необходимо современным барышням. Свои капитал он заранее разделил между дочерьми, как будущее приданое, а дом решил перед смертью завещать на какое-нибудь благотворительное дело, в свою память и память жены. Узнав эти подробности от словоохотливого Мартына Бугданыча, я почувствовал себя человеком, близким к его семье. Будто существовала какая-то невидимая связь между мною и этим человеком.

Ради бога не подумай, Геворг, что я хоть на минуту прельстился приданым. Повторяю, в то время я был другим человеком. В те годы вот здесь кое-чего не хватало, но здесь было горячо (Арзас Петрович сначала приложил руку ко лбу, а потом — к левому боку).

Как бы то ни было, я очень привык к семье Бадамова. Правда, было ясно, как свет этой лампы,— Евгения испытывала пенависть ко мне; это немножко стесняло меня, потому что девушка при желании могла воспрепятствовать моим намерениям. Но меня ободряло сочувствие Лизы и Мартына Бугданыча.

Эти дни были для меня невыносимыми, Геворг. Был я сам не свой, мыслям недоставало ясности. Я ходил на службу, но дела не шли на ум — их заслоняла Лиза, она стояла передо мной. Шел к больному, и вместо него видел Лизу... Несколько раз я получал выговоры от своего начальника, в некоторых домах получил вежливый отказ. Про общественные дела я вообще забыл. Товарищи смеялись надо мной, упрекали в том, что сначала я горячо взялся за дело, да скоро остыл. «Ты старался искренне»,— говорили они. Но я не обращал внимания на эти слова, с каждым днем охладевая к своим занятиям.

Наконец однажды почью я собрался с мыслями и стал серьезно обдумывать свое положение. Оно было очень неутешительным, Геворг. Я понял, что если так пойдет

дальше, то вовсе превращусь в негодную тряпку. Решил больше не бывать у Бадамовых и выкинуть Лизу из головы и сердца. Представь себе, Геворг, я только десять дней смог не видеться с Лизой. Не буду говорить, как дорого обошлись мне эти десять дней: это затянет рассказ. Но только должен прибавить, Геворг: хотя в романах и приходилось мне читать, что у влюбленных в моем положении пропадает сон и аппетит, мой аппетит не испортился, я по-прежнему много ел и крепко спал, лишь не мог работать и начал писать стихи: «моя дорогая»... такая-то... Ну, знаешь... И на одиннадцатый день я не выдержал. «Будь что будет» — сказал сам себе, — пойду и открою свое сердце перед Лизой; примет мое предложение — хорошо, не примет — как-нибудь снесу это горе.

Сказал, надел цилиндр и пошел.

Арзас Петрович немножко помолчал, опять отпил глоток пива и, закурив папиросу, продолжал:

— Вечерело. Мартына Бугданыча, к счастью, не было дома.

Евгения спала. Лиза с балкона смотрела на горы, окружавшие город. Увидев меня, она поспешно встала и протянула руку. Я заметил на ее лице выражение неожиданной радости, которую она напрасно старалась скрыть. Несколько секунд мы не могли произнести ни слова. Я пожал ей руку и сел напротив.

— Где вы пропадали? — спросила наконец Лиза.

— Очень был занят, — солгал я.

— А мы думали, что вы заболели.

— Разве?

— Несколько раз посыпали слугу, но он никак не мог найти вашу квартиру.

— Благодарю вас за заботу.

— Отец много спрашивал о вас, — поспешила добавить Лиза.

— Благодарю, а как поживает Мартын Бугданыч?

— Хорошо. Вчера мы с Женей почти два часа искали вас в саду, но так и не встретили.

На этот раз я не знал, как выразить свою признательность. Несколько раз подряд повторять слово «благодарю» мне показалось неудобным.

— А как вы себя чувствуете? — спросил я, вдруг вспомнив о своей оплошности.

— Очень скучала. Целую неделю не спала по ночам, не знаю, что случилось со мной.— Произнеся это, Лиза склонила голову на грудь и стала поправлять платье. Я посмотрел сверху на ее лицо и заметил не следы бессонницы, а нечто другое, словно печать размышлений. Веки ее не припухли, на белках глаз не было желтизны. Нет, это не признаки бессонницы: лишь легкая матовая бледность покрывала лицо Лизы. «Гм, мое отсутствие не прошло даром»,— радостно подумал я.

— Быть может, вы больны, разрешите пощупать ваш пульс,— обратился я к ней,

Лиза робко протянула мне руку, я не взял, а как безумный схватил эту руку. Она дрогнула в моих ладонях, но тут же Лиза быстро выхватила ее.

— Оставьте, я здорова,— сказала она, покраснев, и отвернулась от меня.

Я почувствовал, как по моему телу пробежала приятная дрожь. Растревавшись, я собирался заговорить, но в этот момент вошел Мартын Бугдачыч. Лиза смутилась и встала.

— О-о-о! Арзас Петрович, Арзас Петрович,— обратился ко мне Мартын Бугдачыч, не зная, почему на этот раз тверже, чем обычно, произнося мое имя. Он подошел и пожал мне руку.

— Здравствуй, здравствуй, сколько лет, сколько зим, ты что, забыл про нас?— продолжал он, нещадно подчеркивая букву «к» в слове «сколько».

Мы вошли в комнаты. Явилась и принарядившаяся Евгения, с неизменной иронической улыбкой на хитром лице. Завязалась беседа на любимую тему Мартына Бугдачыча — о политике. Но, удивительное дело, как ни старался я, старик на этот раз не поддержал разговор. А Евгения даже не смотрела мне в лицо. Лиза взглядала на меня из-под опущенных ресниц и улыбалась, а иногда украдкой посмеивалась. Когда она улыбалась, и у меня появлялась улыбка, но я не осмеливался смеяться вместе с ней. Она время от времени поглядывала на сестру и отца, потом бросала испытующие взгляды на меня. Было ясно, что она хотела узнать, какое впечатление производит на меня холодность отца и сестры, которая и ее приводила в смущение. Почекутившись, что мои дела не хороши, я послешел уйти. И вышел с облегчением. Теперь

я не сомневался в любви Лизы. Ва! Как быстро пересыхает мое горло!

— Итак, Геворг,— продолжал он, вытирая рот,— отношение Лизы ко мне частично выяснилось. Оставалось немногое. Но и это вскоре случилось.

На следующий день после работы я пошел в клуб. Там был семейный вечер. Танцевать я не любил и по этой причине, уединившись в укромном уголке, слушал музыку. Оглянувшись вдруг, я увидел Лизу, она стояла с веером в руке.

— Отец в читальне, Женя танцует, а я — одна,— сказала она.

Известное дело, я с радостью разделил общество Лизы. Играл оркестр. Она предложила погулять в саду. Здесь никого не было: все собирались в ротонде, смотрели на танцующих. Был тихий прохладный вечер. Побродив немного, мы с Лизой, не знаю как, очутились в пустынной темной аллее. Мы сели на одну из зеленых скамеек близко друг к другу. Она молчала, молчал и я. Она сказала, что слушает музыку, я постарался уверить ее, что любуюсь красивым небом (кто знает, может быть, в ту минуту небо вовсе не было красивым). Мы оба обманывали друг друга и оба знали, что говорим неправду. Мои мысли были заняты ею, ее мысли были заняты мною. Больше не было ничего: ни музыки, ни неба. Я не мог найти более подходящего времени для объяснения (хотя место и не было особенно удобным) и поспешил воспользоваться случаем. И знаешь, я не проявил поэтического красноречия, длинного разговора не вышло. Произошло все вот как. В руке у Лизы была роза. Я попросил у нее цветок. Она протянула мне розу и хотела тут же ее спрятать. Я поймал ее руку, чтобы силой отнять розу. Она сопротивлялась, но приблизила цветок к моему носу, чтобы я понюхал. Я схватил ее за запястье и горячо поцеловал пальцы. Она быстро отняла руку. Я правой рукой обнял ее за талию и на этот раз поцеловал в лицо. «Что вы делаете, с ума сошли вы, что ли?» — сказала она, делая вид, что желает вырваться из моих объятий. Но в то же время сама придвигнулась ко мне. Я захотел словами выразить свои чувства. Лиза положила мне руку на рот, чтобы я молчал.

— Не говори,— сказала она,— знаю, что ты хочешь

сказать, быть может такие же слова тысячу раз повторялись в романах.— Я замолк и стал целовать по очереди ее руки, щеки, шею, голову и даже одежду. Мы молчали.

Держу пари, что в тот момент мое лицо выглядело очень глупым. Прошло около часа, мы с радостью остались бы здесь до рассвета. Но это было невозможно, и Лиза первая напомнила, что надо идти, а то отец будет беспокоиться. Я спросил, когда мы сможем увидеться. Она ответила, что я могу приходить к ним каждый день.

— Лучше заходите по утрам, после одиннадцати,— сказала Лиза,— в это время отец уходит в клуб читать газеты и возвращается не раньше двух часов.

— А Евгения Мартыновна? — напомнил я.

— Это уладить просто, в моих руках ее секрет,— рассмеялась Лиза, и мы расстались.

И правда, Евгения затянула глупый роман с каким-то франтом; один раз я видел его у Бадамовых.

На следующий день, в назначенный час, я был у Лизы.

Мартын Бугданыч, действительно, уже ушел. Как потом сказала Лиза, Евгения была дома, но при мне не показывалась. Лиза сидела в зале, с армянской книжкой в руках. Когда я вошел, она растерянно отбросила книгу.

— Неужели ты читаешь по-армянски? — сразу спросил я.

— Плохо, но хочу научиться.

— Не ожидал.

Мы посмотрели друг на друга и поняли все. С полминуты мы молчали.

— Аршак,— заговорила она, впервые называя мое армянское имя.

Это слово — «Аршак» — она произнесла таким серьезным тоном, что я испугался.

— Аршак,— продолжала она,— я думаю, что после стучившегося мы можем перестать маскироваться и начнем говорить прямо и откровенно.

— Неужели до сих пор мы скрывались за масками? — спросил я с удивлением.

— Не за масками, а за легкими ширмами, за которыми все-таки можно было различить лица. Мы давно любим друг друга: это знали и ты и я, но все же мы не расставались с ширмой. Она необходима для влюбленных

до какого-то часа, но потом становится линией. Слушай, я хочу познакомить тебя с Лизой, которую ты любишь, а потом должна потребовать от тебя, чтобы ты познакомил меня с Аршаком, которого люблю я.

Мы поцеловались. Лиза продолжала.

— Вчера, придя домой, я до полуночи думала о тебе. Думала, прочна ли твоя любовь. Не беспокойся, я ни одной секунды не сомневалась в тебе. Разве ты похож на тех легкомысленных людей, которые ради хорошего приданого, притворяясь влюбленными, играют роль шута перед богатой невестой? Конечно, нет. Я только хотела понять, любишь ли ты меня, или это временное увлечение. Но, продумав твоё отношение ко мне за эти полтора месяца с первого дня знакомства, я почувствовала, что любовь твоя крепкая и искренняя. «Почувствовала», говорю я, потому что крепко верю голосу своего чувства. Твои многозначительные взгляды, выражение твоего лица, наконец, твоё десятидневное отсутствие, доказали мне силу твоей любви и вот, в конце концов, я решилась, и вот я с тобою.

Я прервал слова Лизы страстным поцелуем.

— Подожди, не горячись,— продолжала она.— Не скрываю, что с первого же раза, как я увидела тебя, во мне возникло какое-то чувство. Я ощущала в тебе силу, которая влечет меня. Не из-за тебя я убежала от фортепиано и не по тебе тосковала во время твоего отсутствия (я говорила неправду, что больна), а та сила... не знаю, право...

Раньше все знакомые мужчины были мне безразличны, я не находила в них той привлекательной силы, которая теперь сразу подчинила мое сердце. Аршак, многие увлекались мною. Не скажу, чтобы все мои читатели клали на одну чашу весов мое пятидесятитысячное приданое, а на другую чашу—меня. Нет, были среди них и влюбленные искренно, но никто из них не мог увлечь меня. Повторяю, Аршак, не знаю, что это за сила, я находила ее только у героев романов. Но сейчас я уверена, что пойму все, когда ты расскажешь мне о своем прошлом, настоящем, о своих идеях, целях,— словом все, все, не утаив ни единого пятнышка. Слышишь, ты должен мне все раскрыть.

Сказав это, Лиза пристально посмотрела мне в глаза. Она ждала, что я за несколько минут расскажу о себе

все, как это сделала она сама. «Прошлое, настоящее, будущее, идеи, цели». Легко сказать!

Я ответил, что у нас впереди много времени и я готов рассказать о своей жизни.

— Сейчас же,— приказала она.

— Сейчас же,— согласился я.

И стал рассказывать о родителях, ученье, и так далее.

— А какие у тебя идеальные цели? — спросила Лиза, когда я закончил свой рассказ.

Я признался, что трудно сразу ответить на этот вопрос, так как многие стороны жизни остаются для меня неясными.

— Сколько тебе лет? — спросила вдруг она.

— Двадцать восьмой.

— Неужели в этом возрасте ты еще не во всем сумел разобраться?

— Жизнь очень сложная вещь, Лиза, чтобы ее изучить, нужны десятки лет.

— Человек с определенными взглядами и целями легко может понять суть окружающей его жизни.

Я начал подробно объяснять, что для этого нужно обладать особым складом ума, особым даром. Сказал, что такие простые смертные, как я, прежде чем познать жизнь, должны пройти долгий путь; даже большие, талантливые люди часто ошибаются, когда слишком быстро определяют свое отношение к жизни. Одним словом, целых два часа я, разгорячившись, излагал Лизе свои мысли. Уже было поздно, приближался час возвращения к обеду Мартына Бугданыча. Я встал, прощаясь, Лиза удержала меня.

— Послушай, — сказала она, — ты не обижаясь, что я принимаю тебя тайно?

— Нисколько, если ты стесняешься отца.

— Я его не стесняюсь, но уважаю и некоторое время мы должны видеться так. Отец потерял веру в нашу молодежь. Он подозревает, что и ты, быть может, интересуешься мною ради приданого. Однако он тебя хвалит, и ты можешь раз в три-четыре дня заходить к нему.

Мы расстались. Я стал думать о той силе, про которую говорила Лиза. Что это за сила во мне, которая подчиняет ее? Где научилась Лиза так рассуждать — из книг или жизненный опыт подсказал ей все это? Что

собой представляет Лиза, что это за существо, которое до сих пор не подчинялось никому, а теперь отдает мне свое сердце — не мне, а той силе, которую чувствует во мне? Чем больше занимали меня эти вопросы, тем более возвышалась Лиза в моих глазах, тем меньше я ее понимал.

Я видел свою возлюбленную каждый день, а раз в три-четыре дня по ее совету заходил и к Мартыну Бугданычу. Старик, вероятно, ощущал легкий холодок с моей стороны и теперь сам старался сблизиться со мной. Для его рассуждений и споров на политические темы открылась интересная и широкая область, так как началась русско-турецкая война. Евгения продолжала меня преследовать своими ироническими взглядами. Чем дальше, тем больше ненавидел я эту барышню, особенно с того дня, как познакомился с ее женихом. Это был прилизанный юноша, франт, с маленькой кругленькой головой; от него всегда пахло *violet de parfume*. Чем занимался этот юноша и кто он такой — я не знал и не интересовался, но по одежде его было видно, что это сын богатого человека. Низкий рост, узкие глаза, плоский лоб, небольшие баки около ушей, напомаженные черные волосы с двумя прядями, как бы прилипшими к узкому лбу, — таков был его облик.

Больше всего меня возмущали его узкие брюки. Каждый раз, когда он садился в кресло, я невольно смотрел на его колени, ожидая, что вот-вот брюки порвутся. У него была привычка сопровождать разговор театральными жестами — он бил себя в грудь, непрерывно поправлял волосы и т. д. Одним словом, я не любил этого юношу. И он недолюбливал меня. Но я был рад, что Евгения, занятая этой разукрашенной куклой, не мешала нам с Лизой уединяться в зале и вести долгие беседы. С каждым днем мое чувство к Лизе крепло, я все больше и больше привязывался к ней. Эх, молодость, молодость! Дай папироску, Геворг, мои кончились.

Арзас Петрович несколько секунд молчал, закуривая, потом продолжал:

— Прежде, Геворг, я был не очень разговорчивым, казался скорее молчаливым, мрачным человеком, чем словоохотливым. Но после объяснения с Лизой стал болтливой сорокой. Не думай, что я охотно болтал со

всеми. Нет, только с одной Лизой. И не потому, что моя любимая наказала мне раскрыть свои мысли, а просто я ощущал какую-то внутреннюю потребность в этом. Я считал бесчестным скрывать что-либо от нее, и говорил вдохновенно, часами, без устали. Так или иначе, через месяц у меня не осталось ничего от нее затаенного. Но минул этот первый месяц нашей любви, а потом, дорогой Геворг, все стало меняться, все перевернулось. Вот как это произошло.

Арзас Петрович взял пустую бутылку, опрокинул ее вверх дном, несколько секунд помолчал и, смеясь, произнес:

— Геворг, у персидских дервиш есть прекрасный обычай. Рассказывая сказку, они замолкают на самом интересном месте. Народ с нетерпением смотрит в рот дервишу, а он держит свою кашкюль¹ перед слушателями и произносит: «Наглми сован шахс азрати Аббас иолида гой бир зад солсун бура». Ты понимаешь по-туркски?

— Нет, — ответил Геворг.

— Это значит: «Пусть тот, кому нравится мой рассказ, во имя пророка Аббаса, бросит сюда что-нибудь». И дервиш не продолжает сказку до тех пор, пока не получит своих денег. Понял?

Арзас Петрович, улыбаясь, показал на пустую бутылку. Геворг позвал слугу и приказал подать еще пива. Слуга принес бутылку, Арзас Петрович налил себе стакан и сразу опорожнил его.

— Ну-с, мой дорогой Геворг, — продолжал он, вытирая рот шелковым платком, — как было сказано, я открыл свою душу и сердце перед Лизой, то есть совершил непростительную глупость, что мне сильно повредило, но, в конце концов, принесло и немало пользы. Что за польза — узнаешь потом, а сейчас расскажу только, чем это мне повредило.

Когда Лиза, что называется, до косточек узнала меня, я заметил в ней какую-то перемену. Это не была холода, а какая-то неопределенность в отношениях. Казалось, Лиза меня любит по-прежнему, но не восхищается мною, как раньше.

¹ Кашкюль — продолговатая чаша, служившая дервишам для сбора подаяния.

Часто, беседуя с ней, я замечал на ее лице улыбку, выражавшую сомнение в правильности моих слов. В такие минуты я неотрывно смотрел ей в лицо, чтобы отгадать ее мысли, думал, что она смущается под моим взглядом и устыдится своих сомнений. Однако я не понимал ее, мои проницательные взгляды не действовали на нее. Заметив это, я сам терял уверенность. «Какой дотошный я человек», — упрекал я себя. Но опять меня охватывали сомнения. Должен сказать, Геворг, что еще до возникновения этой сумятицы, после нашего объяснения, постепенно менялось и мое отношение к Лизе. Только в другом направлении, чем у Лизы. Недавно я описал ее внешность, и ты знаешь, что хотя она и не отличалась особой красотой, но что-то такое обаятельное в ней было. Это меня увлекло, ослепило, и я, восхищенный, не находил у нее никаких недостатков. При первой встрече во мне возникло одно желание — поговорить с ней. Когда это исполнилось, встретившись вторично и слушая ее игру на фортепиано, я подумал: «Ах, если бы я смог увлечь тебя, Лиза». Убедившись в том, что немногого увлек ее, я сказал сам себе: «Ах, если бы поцеловать твою руку!» А когда получил право бесконечно целовать и ее руки, и щеки, и губы, — только тогда стал рассматривать лицо Лизы и нашел в нем много недостатков. Однажды мне показалось, что у нее короткий нос, в другой раз я заметил, что челюсть у нее немного велика и не соответствует другим частям лица — и так каждый день находил я у Лизы физические недостатки. Об этом я говорил ей, но любовь моя не убавлялась, наоборот, изо дня в день она усиливалась. Но, Геворг, вот удивительное дело, над которым следует призадуматься. Когда у меня зародилось подозрение, что Лиза несколько изменила отношение ко мне, я перестал замечать все недостатки ее лица. Лиза опять показалась мне бесподобным ангелом. Почему, по каким причинам происходили эти перемены — объяснить не могу.

Итак, Геворг, я заметил, что Лиза стала иной. Можно было догадаться, что это совершил переворот в моей жизни, в моих представлениях о женщине, заставит меня посмотреть на нее другими глазами. Так и случилось, Геворг, и иначе не могло быть.

Чтобы положить конец неопределенности, я решился

на смелый шаг. Попытался сразу узнать все, узнать ее мысли.

— Лиза,— спросил я однажды после долгого спора,— когда окончательно решится наша судьба?

Этот вопрос я задал внезапно. Лиза не поняла его смысла. Она удивленно посмотрела мне в лицо и недоуменно спросила:

— Что ты хочешь сказать?

— Хочу узнать, когда мы обвенчаемся,— ответил я смело и торопливо, чтобы не потерять мужества.

Опустив глаза, Лиза ответила:

— Не знаю.

— А мне кажется, что только ты и можешь знать. Разве со стороны твоего отца есть какие-нибудь препятствия?

— Я предоставлена себе, никто не может ограничить мою волю.

— Что же заставляет нас ждать?

— Подожди еще,— повторила Лиза таким повелительным тоном, что я более не смел продолжать.

В этот день я расстался с Лизой грустный и мрачный. Пришел домой. Неопределенный ответ Лизы мучил меня. Да, Геворг, мучил. Что за существо Лиза?— недоумевал я. Мне казалось, что она удаляется от меня, как тень плывущих по небу облаков. Я стремился догнать эту тень, задержать, помешать ее бегу вперед. Но не мог. Для этого надо было сначала поймать облака, а я был очень далек от них. Они были на небе, а я на земле. Таким неуловимым казалось и безжалостное сердце Лизы. «Как быть, что мне делать?» — твердил я непрерывно, предаваясь отчаянию. Долго раздумывал и не мог прийти к выводу, с которым согласилось бы мое сердце. С каждым днем все больше выяснялось, что любовь Лизы ко мне слабеет.

Почему? Что случилось? Какой злой дух подменил сердце Лизы, какая невидимая рука преобразила меня в ее глазах?

Разве я не был прежним Аршаком, в котором она чувствовала какую-то притягательную силу? Говорила ли она правду мне или лъстила; а может, это было временное увлечение с ее стороны? Но нет, разве могла Лиза увлечься, та Лиза, сердце которой до двадцати шести лет еще ни для кого не было? Эх, может и билось, но Лиза

притворялась, лгала, чтобы в моих глазах выглядеть героиней. Можешь понять, Геворг, как угнетали, как мучили меня эти зловещие вопросы. Не буду долго описывать тебе, что я чувствовал в те дни. Скажу только, что перед своим взором я постоянно видел одну только Лизу. Я возненавидел все, даже красоты природы. В лунные вечера, вопреки своей привычке, я не выходил на улицу. Раньше эти вечера производили на меня хотя и грустное, но в то же время приятное впечатление, а теперь мне становилось невыносимо горько. В такие вечера я убегал домой, прятался в комнате, чтобы не видеть луну.

— Так прошло около трех недель,— продолжал Арзас Петрович, вздыхая.— Я продолжал видеться с Лизой, но неизменно замечал на ее лице ту же загадочную улыбку, на мои вопросы она давала неопределенные ответы или вовсе ничего не отвечала. Наконец однажды... но разреши, Геворг, немного отдохнуть.

Прошло несколько минут, Арзас Петрович потушил папиросу и продолжал:

— Однажды вечером пошел я к Бадамовым. Этот визит пред назначался Мартыну Бугданычу — я давно уже не видел его. Я приказал слуге доложить обо мне: вернувшись через несколько секунд, он с иронической улыбкой (быть может, мне так показалось) пригласил меня в зал. Мартын Бугданыч, откинувшись на спинку кресла, курил свой длинный чубук¹. По правую сторону от него сидела Евгения со своим кавалером; он перелистывал какую-то книгу. Лиза, сидя около пианино, торопливо листала нотную тетрадь. Напротив Мартына Бугданыча я увидел незнакомого мне гостя. Когда я вошел, Мартын Бугданыч поднялся навстречу для приветствия. Лиза с натянутой вежливостью подошла и торопливо спросила о моем здоровье. Я со всеми поздоровался за руку. Когда очередь дошла до Евгении, она бросила на меня более чем иронический, могу сказать, даже наглый взгляд. А ее франт, глупо приоткрыв рот, так что обнажились десны, вперил в меня из-под низкого лба узкие глаза.

— Сергей Михайлович, позвольте представить вам моего друга, доктора Арзаса Петровича Магустяна,—

¹ Чубук — трубка.

сказал Мартын Бугданыч, представляя меня незнакомому гостю.

Кресло скрипнуло, и из него поднялся великан. Немного повернувшись в мою сторону, он пробурчал под нос свою фамилию и протянул мне длинную, широкую руку. Я еле расслышал фамилию «Сетян», пожал его огромную, крепкую ладонь и устроился в одном из кресел. Великан, поправив длинные полы своего сюртука, вновь опустился в кресло. Это был мужчина лет около тридцати пяти, гигантского роста, широкоплечий, с длинными руками, красивыми, крупными глазами, но с мрачным выражением лица.

Я посмотрел на его черные, коротко остриженные волосы, на бороду и густые усы, которые скрывали стиснутые губы, посмотрел на его армянский орлиный нос и, не знаю почему, подумал: «Хорошо». Лиза отошла от фортепиано, на котором собиралась играть перед моим приходом, и присоединилась к нам, сев напротив великана. «Почему она не села против меня?» — мелькнула у меня мысль, но тут же исчезла.

Мартын Бугданыч бегло познакомил меня и гостя. Из его отрывочных объяснений я узнал, что Сетян — сын одного из самых старых друзей Бадамова — только что вернулся из Германии, где изучал какую-то специальность, а теперь намерен открыть фабрику в окрестностях Тифлиса. Какая у него была специальность и какую он собирался открыть фабрику, я так и не узнал. Сам Сетян тоже ничего не сказал об этом. Постепенно разговор оживился.

Сетян, однако, молчал, только иногда на тот или иной вопрос Мартына Бугданыча отвечал «да» или «нет», и больше ничего. Он ни на кого не обращал внимания, но когда поднимались его густые усы и он произносил свои «да» или «нет», все смотрели ему в лицо. Так как он был центром всеобщего внимания, я инстинктивно его разглядывал. И в самом деле, Геворг, стоило поглядеть на это красивое, мужественное, мрачное, но привлекательное лицо! Однако я чувствовал, что сила Сетяна — в молчании, и если он заговорит, то потеряет всю свою значительность. Я прощал всем, и даже себе, чрезмерный интерес к этому человеку, но не мог простить только Лизе. Почему она так проникновенно смотрит на нового гостя в то время, как он не считает нужным повернуть лицо в ее сторону? Это еще

ничего! Но почему Лиза не хочет смотреть на меня? Потому, когда она задает вопрос и я отвечаю на него, Лиза не обращает на меня внимания?

Сомнение, как червь, стало опять точить мое сердце. Во мне возникло новое, ранее неведомое чувство, которое было опаснее, чем простое сомнение. Это было то чувство, Геворг, которое некоторые мудрецы отрицают в культурном человеке. Не верь им, Геворг, эти люди, вероятно, сами не влюблялись и поэтому не знают, что там, где есть любовь, там бывает и ревность. Одно без другого не мыслимо, и насколько сильно одно, настолько сильно и другое. Эх, чего тут толковать, я мучился, сердился на Лизу, раздражался, отчаялся. Лиза понимала это, но в то же время, будто чтобы усилить во мне это чувство, вела себя по-прежнему. Наконец наша беседа коснулась медицины. В тот год в Тифлисе свирепствовала какая-то заразная болезнь — это было предметом всеобщих разговоров.

«Вот наконец моя область,— подумал я,— теперь я стану центром внимания, все будут прислушиваться ко мне, и ты увидишь, Лиза, кто останется победителем».

— Арзас Петрович,— обратился ко мне Мартын Бугданыч,— как вы думаете, почему медицина бессильна в борьбе с такими заболеваниями?

— Это дело здравоохранения, а не медицины,— ответил я, подчеркивая каждое слово, чтобы произвести желаемое впечатление.

Я посмотрел на Лизу, но она отвернулась от меня. Это меня смущило, рассердило и взволновало.

— Вы говорите о том, что предшествует болезни, ну, а если она все-таки появляется? — вновь спросил Мартын Бугданыч.

— Дальнейшее, конечно, дело медицины,— ответил я, разгорячившись.— Но почему медицина не может ликвидировать такие заболевания? Да потому, что в этих болезнях много темных, невыясненных сторон.

Сказав это, я невольно взглянул в лицо Сетяну; почему? Сам не знаю. А он по-прежнему ни на кого не смотрел, продолжал молчать, будто решил вовсе не разговаривать.

Мартын Бугданыч, не удовлетворившись моим ответом, обратился к новому гостю.

— Как ваше мнение, Сергей Михайлович?

Сергей Михайлович Сетян откинул голову на спинку кресла, развел руками, медленно пощевелил усами и многозначительным тоном произнес несколько слов:

— Медицина не относится к числу положительных наук.

Затем он вновь склонил голову на грудь, подобрал усы и замолчал. Все приковали взоры к его рту, будто ожидали, что он продолжит речь. Но он молчал. Я посмотрел ему в лицо, и он на этот раз произвел на меня впечатление огромной скалы. Казалось, никакая сила не сможет вытянуть из него больше ни одного слова. Но что сказал он? Ничего — почти то же, что сказал недавно я.

Почему же никто не посмотрел на меня, никто не придал значения моему ответу? Почему Лиза подобострастно глядела ему в лицо, будто ожидая, что эта скала бросит на нее хоть мимолетный взгляд?

— Конечно, — продолжал я вместо Сетяна, — медицина не математическая наука, она не имеет определенных и безошибочных формул, на основании которых можно было бы делать неопровергимые выводы. Но она все же наука, и очень полезная наука...

Эти последние слова я добавил возбужденно, повысив голос. Как видишь, Геворг, эти слова были неуместны, но я не стерпел и, чувствуя, что Сетян издевается над моей профессией, захотел защитить себя.

— Что это за наука, которая не умеет делать выводы, — вмешалась Лиза, бросив на меня задорный взгляд, который тотчас смягчился, когда она обратила его к Сетяну.

Кровь ударила мне в голову.

— Я не люблю медицины, — добавил прилизанный франт, показывая мне свои красные десны.

— Врачи очень меркантильные люди, особенно врачи армяне, — вмешалась Евгения, устремив на меня свой презрительный взгляд.

Может быть, если бы я сдержал себя, сумел бы вытерпеть эту пытку... Но я, Геворг, не сдержался, и не из-за этих грубых реплик. Нет, я мог презреть мнение таких идиотов, как Евгения и франт, но не смог перенести замечание Лизы. Больше всего возмутила меня она.

— Удивляюсь, — сказал я, — как смеют люди рассуждать о таких вещах, о которых не имеют никакого понятия.

Лиза улыбнулась. Сетян исподлобья холодно посмотрел на меня. Евгения громко, беззастенчиво рассмеялась. Прилизанный франт вторил ей. Мартын Бугданыч, обращаясь ко мне, мягко сказал:

— Арзас Петрович, простите, я думаю, что Евгения и Иван Тарасыч (так звали франта) сказали это не с целью обидеть вас.

Более глупого положения, чем мое, не могло быть.

Умный человек на моем месте сейчас же взял бы шапку и ушел. Я же просидел еще около получаса, чтобы как-нибудь отомстить тем, кто обидел меня. Но разговор прекратился. Мартын Бугданыч, чтобы сладить неприятное впечатление, попросил Лизу сыграть на пианино. Определив на этот раз сестру, стала играть Евгения. Я немного послушал, потом взял шляпу и с разбитым сердцем вышел, несмотря на приглашение Мартына Бугданыча подождать чая.

О том, как провел я оставшуюся часть дня и ночь, не буду рассказывать тебе, Геворг. На следующее утро я решил пойти к Лизе и потребовать объяснения.

Я пришел к ней в обычное время. К счастью, она была одна. Мартын Бугданыч читал газеты в клубе, а Евгения со своим прилизанным куда-то исчезли. Лиза приняла меня холодно и, еле коснувшись моей руки кончиками пальцев, пригласила сесть. Я решил сейчас же начать разговор.

— Лиза, я пришел к тебе просить объяснения,— сказал я.

— Говори.

— Что значило вчерашнее твое поведение?

— Я не понимаю, о чем ты говоришь?

— Не скрывая, Лиза, скажи правду, любишь ли ты меня?

Лиза не ответила.

— Нет, не любишь, любишь его?

Лицо Лизы побагровело. Я был так взволнован, что не мог вспомнить имя Сетяна.

— Любишь, его любишь? — спросил я, поймав ее руку.

— О ком ты говоришь? — спросила наконец Лиза с возмущением, отнимая у меня руку.

— О Сетяне,— ответил я, с трудом произнося это злополучное имя.

— Не понимаю, почему ты так думаешь?

- Я помню, как ты вела себя вчера.
- Например?
- Ты все время смотрела ему в лицо.
- Разве запрещено смотреть в лицо человеку?
- Но почему ты не смотрела на меня?
- Ха-ха-ха! — рассмеялась Лиза.
- Я еще больше возмутился.
- Ты смеешься надо мной, Лиза, ты издеваешься надо мной,— сказал я, опять поймав ее руку.
- Есть вопросы, на которые только и можно ответить что смехом,— бросила она, опять вырвав руку из моих ладоней.
- Значит, ты считаешь, что мой вопрос очень глуп?
- Не знаю, рассуди сам.
- Несколько секунд я молчал, не зная, что сказать.
- Лиза, открой мне свои мысли,— заговорил наконец я.
- Что ты хочешь?
- Любишь ты меня?
- Лиза опустила голову на грудь и, подумав несколько секунд, вдруг подняла лицо и решительно сказала:
- Нет, не люблю.
- Причина?
- Причину... не знаю,— ответила Лиза.
- Но я требую от тебя объяснения.
- Я сказала тебе, что не люблю.
- Я спрашиваю о причине.
- Послушай... Послушайте. Я в тебе... простите, в вас больше не вижу той силы, которая захватила меня, меня, не увлекавшуюся никем до двадцати шести лет.
- Почему, разве я изменился?
- Не знаю, быть может, вы тот же самый, но с того дня, как я вас узнала полностью, вы в моих глазах сравнялись с простыми людьми.
- Неужели ты думала, что я не простой смертный?
- Я не настолько наивна, чтобы принять вас за бессмертного. Но я не вижу в вас той силы, которая подчиняет женщину,— мужчина должен обладать этой силой.
- Но что это за сила, которую ты сама, Лиза, не можешь назвать? — спросил я сдавленным голосом.
- Раньше я не знала, что это за сила, а теперь она открылась мне. Это та сила, которая держит мужчину на не-

досягаемой для женщины высоте. Женщина должна всегда стремиться к этой высоте, но как только она ее достигнет, в тот же день мужчина изменится в ее глазах, она его разлюбит, как теперь я разлюбила вас, господин Магустян.

— Лиза, ты ищешь героя... Ах, нет, простите,—вы, вы ищете героя.

— Предположим, ищу героя; разве его нельзя найти?

— Герои существуют только в романах. Фантазия романиста создает их. Выбросьте из вашей головы эти бредни.

— Не выходите из рамок приличия,— прервала меня вдруг Лиза повелительным тоном.— Я не сумасшедшая и не увлечена плодами фантазии романистов. Слушайте. Когда два существа, хотя бы муж и жена, соединяются для того, чтобы счастливо жить, один из них должен стать рабом, другой — его господином. Иначе они не смогут быть счастливы. Связывающая их цепь без этого не может быть крепкой.

— То есть так, как в азиатских семьях, где муж господин своей жены? — спросил я, все больше и больше удивляясь.

— Вовсе нет,— ответила Лиза,— вовсе нет. Там царит насилие, а не добровольное рабство. Там женщина подчиняется внешним правам мужчины. Я же говорю о той духовной, моральной силе, которая без участия сознания подчиняет одно существо другому. Слушайте как следует, я говорю о таком подчинении.

После этих слов Лиза умолкла.

— Но почему именно мужчина должен обладать этой, как вы говорите, духовной силой? — спросил я.

— Я чувствую, что женщине легче и приятнее покоряться, чем покорять. Именно эту покорность люди и называют любовью женщины. Я так понимаю.

— Это неправильная идея, барышня,— прервал я.

— Правильная или неправильная, но это мое убеждение.

— И вы никогда не сможете изменить его?

— Никогда.

— Значит, во мне нет этой силы?

— Не знаю... Кто знает, может, и есть — я нечувствую, но мне кажется, что если бы я чувствовала ее, то

между нами не было бы этого разговора и я слепо последовала бы за вами, куда бы вы ни пошли.

— Но в ком вы чувствуете эту силу? — спросил я.

— Довольно,— строго остановила меня Лиза.

— Значит, ваша любовь ко мне...

— Я уже ответила на этот вопрос,— перебила меня Лиза и, сделав рукой решительное движение, поднялась с места.

Обомлев, я минуту, как овца, смотрел ей в лицо, потом почувствовал — что-то сжало мне горло, будто кто-то душил меня.

Лиза посмотрела на меня и сказала:

— Вы плачете, это слабость...

Действительно, я — глупец, плакал, Геворг, и очень горько плакал. Но замечание Лизы в одно мгновение разбудило мое мужское самолюбие. Я взял шляпу и сказал:

— До свидания.

— До свидания, можете приходить к нам, если захотите,— ответила Лиза, протягивая мне руку.

— Нет, никогда, никогда,— повторил я и вышел.

Тут Арзас Петрович вдруг замолчал и, вытащив из кармана платок, вытер лоб, на котором не было и признака пота. Он с таким усердием тер лоб, будто хотел таким образом стереть грустные воспоминания прошлого. Геворг, который до этого, молча устремив взгляд в лицо своего друга, с глубоким вниманием слушал его рассказ, спросил с нетерпением:

— А потом?

— Потом? Потом, мой друг,— ответил Арзас Петрович, глубоко вздохнув,— я впал в такое состояние, из которого бывают два выхода: самоубийство или забвение. К счастью, я избрал второй. По служебным обстоятельствам я переехал в другой город. Здесь мне удалось в течение года выбросить из сердца Лизу. Вместе с Лизой умерли во мне и способность к любви, и вера в женщину. А насколько тяжелым и мучительным для меня был этот год, я говорить не буду, Геворг, потому что и без того мой рассказ очень затянулся.

Арзас Петрович быстро встал с места, посмотрел на часы и сказал:

— Спокойной ночи.

— Подожди,— задержал его Геворг,— ты еще не кончил своего рассказа, куда ты торопишься?

— Я кончил,— сказал Арзас Петрович, надевая шляпу.

— А Лиза?

— Разве это интересно?

— Мне очень интересно.

— Помнишь тот вечер, когда мы с тобой гуляли на Муштаиде?

— Помню,— ответил Геворг, также поднимаясь с места.

— Помнишь, когда мы сидели и пили чай, мимо нас прошла красивая, здоровая чета. Я еще поздоровался...

— Привлекательная женщина и высокий мужчина? — спросил Геворг с интересом.

— Красивая женщина — это Лиза, высокий мужчина — мрачный Сетян.

— Значит...

— Они давно поженились.

— Но как живут?

— Не знаю, только уверен, что Сетян и теперь молчит, на десять вопросов Лизы не дает и одного ответа и не открывает перед ней свое сердце и душу, как это по глупости сделал я.

— На десять вопросов не дает и одного ответа,— повторил Геворг.

— На десять — один.

— Больше ничего.

— Больше ничего. Доброй ночи, уже двенадцатый час.

— Подожди. А Евгения, франт, Мартын Бугданыч? — один за другим задавал вопросы Геворг.

— Ну, это не интересно. Доброй ночи. Хочется спать.

Арзас Петрович удалился. Геворг остался один.

— Несчастный человек,— сказал он,— только по одному случаю составил такое мнение о женщинах.



БЛАГОДЕТЕЛЬ



1

то было в начале июня. На одной из пристаней бакинского порта кипела трудовая жизнь приморского промышленного города. Стояла невыносимая жара. Палящие лучи полуденного солнца заливали зеркальную гладь мирно дремавшего моря. Не чувствовалось даже признака ветра. Воздух сверкал от зноя, как над раскаленным тониром. Иногда то здесь, то там неподвижную поверхность моря разбивали удары весел небольших лодок, сновавших взад и вперед. Тогда прозрачные волны начинали задорную игру с солнцем, дробя его лучи на бесчисленные бриллиантовые блики. Но скоро гладь воды, рассеченная скользящими лодками, вновь слаживалась и замирала.

На причале, окружая пристань с трех сторон, стояли пароходы и парусные суда. Одни из них ждали разгрузки или отправления, другие готовились к приему товаров. Пароходы курсировали главным образом между Баку и Астраханью; перевозили в одну сторону нефтепродукты, в другую — товары из России. Рядом с гордыми громадами пароходов стояли небольшие суда с перепутанными канатами и беспорядочно свисавшими парусами, они

со своими деревянными обшивками и грязными палубами походили на деревенские избушки, притулившиеся у высоких городских домов. Эти простые парусники ходили между Персией и Баку, перевозя преимущественно фрукты.

Работа на море и на берегу была в самом разгаре. Вот, в стороне от пристани, одно из судов осело под тяжестью грузов и тихо покачивается из стороны в сторону. Крепкие, сильные матросы, по-видимому тюрки, выносят огромные тюки товаров. С их лиц, почерневших от солнца и морских ветров, обильно льется пот. Когда матросы на длинных канатах вытаскивают из трюмов тюки, спины их, обмотанные шерстяными шарфами, напрягаются от усилий, но они, кажется, этого не чувствуют. Несмотря на палящее солнце и тяжелый труд, они работают с обычной улыбкой на лицах, присущей только матросам, находящимся на сушке. Они поют, смеются, шутят друг с другом и, кладя тюк на спину грузчика, добавляют ему сзади пинка ногой, чтобы тот быстрее доставил ношу. Однако рабочий, который переносит тюки с палубы на пристань, обычно несколько медлит под десяти-двусиддатипудовой тяжестью. Колени его подгибаются, шея вытягивается, невольно открывается рот, и при каждом шаге из груди вырывается стон. Иногда, с опаской уронить тюк, он подносит заскорузлую руку ко лбу и смахивает крупные, грязные капли пота.

В стороне, на палубе судна, стоит владелец груза. Это перс, торговец, в круглой, высокой фуражке из сукна. Он одет в широкий архалук, стянутый синим шелковым поясом. Из-под пол его белого летнего халата виднеются каблуки зеленых пресидских башмаков. В одной руке он держит зонтик и небольшую записную книжку; длинными и тонкими пальцами другой руки сжимает карандаш, аккуратно отмечая количество тюков, их номера и вес. При этом на лице его играет многозначительная улыбка. Покрикивая на рабочих, он то и дело откидывает голову назад, отчего окрашенная хной бородка приподнимается, как хвост фазана. Когда он отдает приказания грузчикам, изо рта этого благочестивого мусульманина обильно сыплются сквернословия с такой быстротой, с какой он, по всей вероятности, произносит молитву великого пророка во время намаза.

Немного подальше стоит другое судно. Все матросы на нем русские. Столпившись на краю палубы, они под на-
глядением капитана тянут толстый канат, привязанный
к столбу на пристани, чтобы пришвартоваться. Заметней
всех среди них — великан в красной рубашке. Он поет
традиционную русскую «Дубинушку»; временами ему под-
тягивают остальные матросы, повторяя хором: «Эй, ух-
нем, ухнем, ухнем»... Звуки песни летят над тихим морем
и исчезают в соленой пучине; вместе с ним тонут и горь-
кие стоны, вырывающиеся из груди тех, кто сгибается под
непосильным трудом.

А вот группа грузчиков катит от пристани к пароходу
бочки с керосином. На них самодовольно посматривает хо-
зяин — румяный, полный армянин, небрежно играющий
толстой золотой цепочкой от часов. Он дает распоряже-
ния приказчику, который снует около него, как охотничьи
собаки. Каждый раз, когда хозяин заговаривает, он скром-
но поднимает голову, выслушивая его с таким вниманием,
будто поглощает его слова глазами, ртом, всем своим су-
ществом. Одним словом, здесь царит захватывающее
оживание, которое можно встретить только в промыш-
ленном приморском городе.

На другом конце пристани суетится толпа. Растряка-
вая друг друга, люди стараются проплыть вперед, взо-
ры всех устремлены к морскому горизонту, где вьется еле
заметная струйка дыма; она все растет, увеличивается,
будто выползая из глубины. Это — пароход, идущий из
Астрахани. На пристани с нетерпением ждут его. Одни
пришли встретить своих родственников, другие — получить
письма, третья — из праздного любопытства.

Впереди встречающих — группа армянских торговцев;
их человек шесть. Несмотря на тесноту, они чувствуют
себя на пристани свободно. Толпа, казалось, признавая
за ними эту привилегию, не смеет стеснять их, держится в
стороне. Это самые богатые в городе армянские нефтепро-
мышленники; они также ждут парохода. Став кругом, они
все же не сближаются, будто этому мешает какое-то не-
видимое препятствие. И в самом деле, таким препятствием
были их собственные бочкообразные животы, будто отли-
тые из одной формы. Некоторые оперлись обеими руками
на поставленные сзади палки; расставив короткие ноги и
выпятив животы, они напоминали бурдюки. Все они оде-

ты богато, по-европейски, но не очень опрятно. Под лучами солнца у каждого на животе сверкали золотые цепочки от часов.

Из этой группы выделялся своим обликом лишь один молодой человек. Он был высок ростом, худощав, с плоской грудью; редкая черная бородка обрамляла его желтоватое лицо. Ему можно дать лет сорок, хотя на самом деле было не больше двадцати семи. Развратный образ жизни уже наложил на это лицо печать старости: на темной коже появились складки, она сморщилась, как печеное яблоко, около носа легли глубокие борозды. Под глазами, лишенными ресниц, также образовались синеватые морщины. Еле заметные линии на лбу, благодаря нескольким сохранившимся волоскам, убеждали в том, что когда-то и у этого человека были брови — украшение нашей внешности, без которого мы поистине походили бы на обезьян. Все его лицо выражало какую-то похотливость, в маленьких черных глазах горела животная страсть. Он был одет по-летнему — в белый шелковый костюм, более чистый и более изящно сшитый, чем у его друзей. Широкие поля желтой соломенной шляпы прикрывали его лоб, покрытый мелкой сыпью, — признак развратного образа жизни. На животе молодого человека сверкала огромная золотая цепочка, на которой висел золотой медальон, величиной с пятикопеечную монету, усыпанный мелкими бриллиантами. Из-под тонкой желтой перчатки на среднем пальце правой руки виднелось кольцо с большим бирюзовым камнем. В атлас белого галстука была воткнута золотая булавка, также украшенная бриллиантами. «Петр Степанович Долмазов» — было выведено на позолоченной ручке его палки.

В этой группе шел горячий разговор о промыслах, заводах, нефти и других столь же интересных вещах. Некоторые из собеседников так воодушевились, что чуть не изменили своих поз и не нарушили образовавшийся круг. Один из них, желая в чем-то убедить соседа, подался вперед, и животы их соприкоснулись...

Лишь молодой человек не участвовал в разговоре. Обратив лицо в сторону моря, он непрерывно смотрел в бинокль на идущий пароход, который теперь настолько приблизился к пристани, что можно было различить толпившихся на палубе пассажиров.

— Петр Степанович, почему ты смотришь с таким нетерпением, вероятно, ожидаешь кого-нибудь? — обратился к молодому человеку один из толстяков, когда разговор на несколько секунд прервался, и положил руку ему на плечо.

Петр Степанович не ответил. Он продолжал пристально смотреть в сторону моря.

— Петр Степанович, ведь с тобой разговаривают, — повторил любопытный толстяк и, чтобы обратить на себя внимание, встал против Долмазова, закрыв рукой стекло бинокля.

— Гм, — только произнес Петр Степанович, и, отстранив его руку от бинокля, опять стал вглядываться вдаль.

— Кого ждешь, скажи пожалуйста? — не отставал толстяк, и вырвав из рук Петра Степановича бинокль, спрятал его за спину.

— Жду! — коротко ответил Долмазов.

— Кого?

— Семью Карла Марковича.

— Откуда?

— Из Астрахани.

— Что ты сказал? Карл Маркович? А кто это?

— Мой управляющий.

— Он немец?

— Армянин из Астрахани.

— Карл Маркович... — повторил Сергей Иванович (так звали толстяка), выпучив глаза и изобразив на лице удивленную улыбку.

— Это старик Гаспар; ты знаешь его?

— Гаспар... гм... а я думал, что это за Карл, — сказал Сергей Иванович, вздыхая, будто освободившись от тяжести. — А почему Гаспар везет сюда свою семью?

— Я посоветовал — бедняга скучает без жены, думаю, дай сделаю доброе дело — в одном из своих домов отвел ему хорошую квартиру, пусть живут и радуются. Карл Маркович стоит этого; он очень хороший приказчик.

— Стоит, стоит, он правильный человек, подлости не сделает. Я его хорошо знаю. Раньше он был первым купцом в Астрахани, но друзья его обманули, обобрали, остали на пустом месте. Возвращаясь из России, я заходил в Астрахани к ним, пил кофе. У него хорошие дети — сын и дочь. Они тоже едут?

— Да. Сын его мне очень нравится; хочу его назначить приказчиком на один из нефтепромыслов Балахани.

— Прекрасно сделаешь, прекрасно сделаешь, Петр Степанович, парень хороший, смелый, как отец. А у дочери — ангельская красота, во всей Астрахани не сыщешь такой девушки.

Сказав это, Сергей Иванович скосил заплывшие жиром глазки и слегка прикусил нижнюю губу, глядя прямо в лицо Долмазову. Тот ответил таким же взглядом, ничего не сказал и опять стал смотреть в бинокль на приближающийся пароход.

— В первый раз, когда я увидел ее, то чуть было не потерял рассудка, — продолжал болтать Сергей Иванович. — Вот иметь бы такую жену, подумал я, чтобы без стеснения бывать в обществе. А как она играет на фортепиано, танцует, разговаривает — и по-армянски и по-русски! Одним словом, золото с головы до ног. Такую бы жену повезти с собою в Россию и удивить всех! Жаль, что отец беден, Петр Степанович, а то для тебя она была бы очень хорошей невестой.

Петр Степанович улыбнулся, не отнимая от лица бинокля, и ничего не ответил.

— Она уже взрослая девушка, но из-за бедности отца никто не просит ее руки. В проклятой Астрахани ни один мужчина не женится без приданого.

Петр Степанович опустил бинокль, белоснежным платком вытер глаза и опять произнес только «гм...», будто спрашивая, чего добивается его собеседник.

— Я говорю, ты сделаешь большое и добре дело, если здесь выдашь девушку замуж за хорошего человека, — продолжал Сергей Иванович.

Пряча бинокль в карман, Петр Степанович ответил:

— Ее отец, когда был богатым, не раз помогал моему отцу... Конечно, и я должен отплатить за это добром.

— Молодец, Петр Степанович, Гаспар достоин этого, ведь он несчастный, пропащий человек.

Послышался гудок парохода. Встречающие, толкаясь, устремились вперед. Выпуская пар, гремя якорными цепями, пароход плавно приближался к пристани.

Приподнимаясь на цыпочки, Петр Степанович настойчиво кого-то искал глазами на палубе. Наконец он заметил своих трех знакомых: женщину лет сорока пяти, укутанную в черную шаль и одетую по-европейски, высокого молодого человека с небольшой черной бородой, на симпатичном лице которого выделялся довольно крупный нос, и барышню в светлом летнем платье и широкополой желтоватой соломенной шляпе. Ей можно было дать лет двадцать пять. Высокая ростом, с тонкими чертами лица, она казалась не столько красивой, сколько милой и привлекательной.

Петр Степанович, в сопровождении Сергея Ивановича, подошел к приехавшим. Поздоровавшись, они взяли их чмоданы и спустились на пристань.

— А где Карл Маркович? — спросила старшая из женщин.

— Он на заводе, скоро приедет, а пока я покажу вам квартиру, фаэтон ждет нас,— при этих словах Петр Степанович бросил вежливый и какой-то вопрошающий взгляд на девушку.

Сергей Иванович толкнул его локтем и предостерегающе прошептал на ухо.

— Приглядись к этой красотке!

— Катерина Карловна, как вы чувствовали себя на море? — обратился к девушке Петр Степанович.

— Ой, ой, и не спрашивай, мой дорогой, растряслось наши кости,— ответила за нее мать.

— Что ты говоришь, мама, ведь море было спокойное, я чувствовала себя хорошо,— возразила Катерина Карловна, взяв за руку брата.

— А как вы поживаете, Артем Карлович? — ради приличия обратился Петр Степанович к молодому человеку.

— Я весело провел время,— скромно ответил Артем Карлович, немного опустив голову.

Так, беседуя, дошли они до улицы, где ожидал их роскошный экипаж Петра Степановича, запряженный парой резвых лошадей. Долмазов помог дамам сесть в фаэтон, а сам вместе с Артемом Карловичем устроился напротив них. За несколько минут рысаки домчали экипаж до кон-

ца широкой приморской улицы и исчезли за поворотом. Сергей Иванович остался, глядя им вслед.

— Шарлатан, развратник Долмазов, я разгадал твое намерение,— произнес он.

Затем, многозначительно покачав головой, вернулся на пароход.

3

Экипаж остановился перед новым двухэтажным домом на одной из широких улиц города. Подвижной Петр Степанович ловко соскочил с подножки и помог выйти Катерине Карловне и ее матери. Он показал им квартиру, состоявшую из трех комнат в нижнем этаже дома, расположенного в глубине двора.

— Вот эта квартира приготовлена для вас. Достаточно ли вам, Мария Ивановна, трех комнат или нет? — обращаясь к матери, Петр Степанович смотрел на девушку.

— На что нам столько, мой дорогой, для нас четверых хватило бы и двух комнат,— ответила Мария Ивановна, хотя в душе была очень довольна, что квартира оказалась просторной.

— Карл Маркович по ночам бывает на заводе, Артема Карловича я назначил управляющим в Балахани; значит, в городе останетесь вы и Катерина Карловна, а не четыре человека. Но пусть вам будет просторней — я же не сдаю квартиру за плату. Дом мой; что хочу, то с ним и делаю.

— Дай бог вам здоровья, дорогой Петр Степанович, но было бы лучше, если бы вы моего Артема устроили в городе. Без него нам будет скучно.

— Это легко сделать, но пусть там немного познакомится с делами, а потом я ему дам в городе хорошую должность.

— Нет, мама, в Балаханах хорошо,— заметил Артем Карлович.

— Конечно, воздух там чище — в городе мы задыхаемся от пыли и дыма...

— Как хотите, так и делайте — воля ваша и мы ваши, Петр Степанович,— согласилась Мария Ивановна и начала осматривать квартиру.

Они вместе с Петром Степановичем в течение четверти часа обошли комнаты и кухню, внимательно разглядывая каждый уголок.

— Мама, вот это будет моя комната,— сказала девушка, остановившись в одной из них. У окна я поставлю пианино. Вы с папой будете жить в другой комнате, а вон ту оставим для Артема.

Во время этого разговора Петр Степанович не сводил глаз с Катерины Карловны. Он был увлечен девушкой — ему нравился ее тонкий стан, сверкающий взгляд, ясное и привлекательное лицо, мягкие движения. Каждый раз, когда девушка заговаривала, Петр Степанович смотрел на нее похотливым и жадным взглядом. По его телу будто проходил электрический ток, в маленьких обезьяньих глазах сверкала животная страсть. Он беспрестанно щурился, приторно улыбался, а на его лице появлялось отталкивающее, хищное выражение. Девушка будто не замечала этого и разговаривала с ним равнодушно. Однако, когда Петр Степанович один раз особенно продолжительно посмотрел ей в лицо и неуместно улыбнулся, она, покраснев, слегка наклонила голову.

Мария Ивановна обратилась к сыну:

— Сбегай, Артем, на пароход, привези вещи.

— А вы вместе с Катериной Карловной поедемте ко мне обедать,— вмешался Петр Степанович.

Мария Ивановна согласилась; Долмазов дал свой домашний адрес молодому человеку, сел вместе с дамами в фаэтон и отправился домой.

Уже стало смеркаться, когда, пообедав, вся компания вернулась на свою новую квартиру. Артем Карлович успел перевезти вещи, и можно было приняться за наведение порядка. Мария Ивановна с сыном убирала крайнюю комнату, а Катерина Карловна с помощью Петра Степановича — свою. Девушка просила его не беспокоиться и идти отдыхать, но заботливый Петр Степанович не хотел отходить от нее ни на шаг и помогал ей с большой готовностью и усердием. Катерину Карловну это стало тяготить. Петр Степанович не столько помогал, сколько надоедал неуместными комплиментами и многозначительными взглядами...

Сначала Катерина принимала эти взгляды как выражение обыкновенной вежливости со стороны молодого че-

ловека. Но когда Петр Степанович стал переходить границы такта, в душе девушки возникло сомнение. Присутствие Петра Степановича стало угнетать ее, она старалась избегать его взглядов.

Однажды Катерина Карловна ревешивала в шкафу свои платья; ее мать и брат были в другой комнате. Петр Степанович стоял неподвижно и смотрел на девушку. Закончив свое дело, Катерина хотела запереть шкаф, несколько раз повернула ключ, но замок не поддавался. Петр Степанович сразу заметил это своим острым взглядом. Он быстро подошел к девушке.

— Разрешите мне запереть, Катерина Карловна, у вас мало сил, мне жалко ваши нежные и красивые пальчики.

— Нет, прошу вас, не беспокойтесь; этот шкаф никто, кроме меня, не сможет ни запереть, ни открыть.

— А я смогу; видите, как покраснели ваши руки.

С этими словами Петр Степанович мягко отстранил девушку. Одной рукой поворачивая ключ, другой он крепко сжал ее руку. Катерина осторожно старалась освободиться, но это ей не удалось, Петр Степанович продолжал сжимать ее пальцы. Девушка не знала, что делать. Она еще раз попыталась высвободить руку, но не смогла; ее охватила дрожь. В Петре Степановиче вспыхнула необузданная страсть. Продолжая вертеть ключом в замке, он осторожно приблизил губы к лицу девушки и хотел... Но сдержал себя.

В этот момент вошла Мария Ивановна. А вслед за ней, как мяч, в комнату вкатился худощавый, низенький человек с седеющей головой.

— Папа, папа,— закричала Катерина Карловна и бросилась в объятия старика.

Вбежавший человек был Карл Маркович Попов. Несколько минут отец и дочь целовались, обнимая друг друга. Наконец Карл Маркович выпустил девушку из своих объятий и с такой же нежностью обратился к сыну, несколько раз поцеловав его в лоб. Потом он поздоровался с женой, прикоснувшись губами к уголку ее рта. Петр

Степанович был здесь все же чужим, и скромность заставила Карла Марковича сдержать супружеские чувства.

— Я обязан тысячу раз благодарить вас за заботу,— обратился Карл Маркович к Петру Степановичу, который стоял в стороне, наблюдая эту семейную сцену. Затем старик подошел к Долмазову, вытянул руки по швам, шаркнул ногой и с молодым задором несколько раз поклонился ему.

— Не стоит, не стоит,— произнес равнодушно Петр Степанович, не отводя своего взгляда от Катерины Карловны, которая в это время разговаривала о чем-то с братом.

— Мария, Катя, Артем, подойдите ближе, поблагодарите Петра Степановича — ведь это он распорядился привезти вас в Баку.

Все члены семьи Карла Марковича пожали руку Петру Степановичу. Это была первая благодарность, которую получил сердечный благодетель от признательной семьи.

— Посмотри, Мария, какая барская квартира,— продолжал Карл Маркович, вертаясь вокруг Долмазова.— Я очень благодарен Петру Степановичу, очень... Мой долг — стараться для него, служить верой и правдой, потому что такого хозяина, как он, я не найду и за границей.

При этих словах шестидесятилетний Карл Маркович так жестикулировал, выделявал такие движения руками, плечами и даже головой, будто был молодым двадцатипятилетним человеком.

Но Петр Степанович не обращал внимания на своего болтливого управляющего. Он был погружен в свои мысли. Однако это продолжалось не долго; вдруг он серьезным тоном обратился к Карлу Марковичу:

— Завод сегодня работал?

— А как же, как же, мой господин.

— Кто там сейчас?

— Я поручил завод, мой господин, до завтрашнего утра главному приказчику.

— Гм,— лишь произнес Петр Степанович, вновь погрузившись в размышления и кусая усы.

Карл Маркович немного растерялся.

— Не беспокойтесь, мой господин, все будет в порядке.

— Утром поезжайте пораньше, чтобы завод не остановился, а то, знаете, из-за одного дня простоя я лишусь тысячного дохода,— сказал несколько повелительным тоном Петр Степанович, стараясь придать своему лицу внушительный вид.

Надо сказать, что Петр Степанович немного покривил душой. Завод в следующий день мог бы работать и без Карла Марковича, а если бы и встал, убытки за один день не могли составить тысячи рублей. Но Долмазов хотел порисоваться перед семьей Карла Марковича — показать власть над ним, да пустить пыль в глаза своим богатством, чуть не в двадцать раз увеличивая дневной доход. Повторив свое распоряжение, Долмазов с кровенным самодовольствием взглянул на каждого из присутствующих, чтобы увидеть, какое впечатление произвели его слова, особенно на Катерину Карловну. И в самом деле, он не ошибся.

Услыхав его слова, Мария Ивановна так удивилась, что прищурилась и разинула рот. «В день тысячу рублей зарабатывает, счастье тому, кто такого зятя займет», — подумала она и, скрестив руки на груди, взглянула на Петра Степановича. Немало был удивлен и Артем Карлович. «На тысячу рублей в день можно по-барски жить за границей — да прямо в центре Парижа. Глупый он — почему задыхался здесь среди ветров и пыли?» — мысленно удивился молодой человек и также стал внимательно разглядывать Петра Степановича.

Только на Катерину Карловну хвастливые слова Долмазова, казалось, не произвели никакого впечатления. Она отвернулась и вышла в другую комнату.

— Утром я буду на заводе с первыми петухами, мой господин, я не допущу, чтобы вы понесли убытки, — заверил Карл Маркович Долмазова.

Как только Катерина Карловна ушла, вид Петра Степановича изменился. Он сморщил лоб, обычная веселая фальшивая улыбка исчезла, и без того недовольное выражение лица стало еще более кислым.

— Садитесь, пожалуйста, Петр Степанович, сегодня вы очень устали, — Карл Маркович, шаркая ногами, подошел, подобострастно и робко предложил ему стул.

— Нет, я ухожу; приведите в порядок квартиру, завтра я зайду к вам. Пусть Артем утром придет ко мне

перед отправкой в Балахани. А вы, Карл Маркович, по раньше отправляйтесь на завод.

— Непременно, непременно, что за разговор, мой господин. А чайку не попьете? Катя, завари и принеси Петру Степановичу чаю.

— Нет, благодарю, я занят и ухожу; до свидания.

Петр Степанович подал руку только Марии Ивановне, а Карлу Марковичу и его сыну лишь слегка поклонился.

— До свидания, Катерина Карловна,— сказал он, подойдя к дверям, ведущим в другую комнату, и протягивая девушке руку.

— До свидания,— холодно ответила она, подавая ему кончики пальцев.

Петр Степанович почувствовал этот холод. Заметил его и Карл Маркович — он бросил на дочь недовольный взгляд.

Наконец, в сопровождении управляющего, Петр Степанович вышел на улицу и удалился, раздосадованный первой неудачей. Катерина Карловна оскорбила его самолюбие. Он не мог перенести этого спокойно — нелегко было проглотить грубое обращение барышни. «Нищая, а такая гордая» — думал он, идя по улице. «Не сочла достойным даже по-человечески подать руку, только протянула кончики пальцев. Что за гордость?! Спросить бы у нее, чем она гордится передо мной — ведь захочу, заморю их голодом. Но подождем, думаю, не долго придется ей важничать, подождем. Однако, что за рост, что за стан, что за лицо... Ах, если бы Карл Маркович был богатым купцом, а не мелким приказчиком, как сейчас — с пустым карманом и безвестным именем. Тогда я даже не отказалася бы от законного брака с Катериной, хотя врачи... Гм, врачи... Да ну, плевал я на эту науку...»

Пройдя пешком один квартал, Петр Степанович сел на первый попавшийся фаэтон и поехал в клуб.

— Маша, душа моя, скажи, как ты себя чувствуешь? Сколько времени я пробыл без тебя совсем один... — начал было Карл Маркович, проводив Петра Степановича, и бросился на шею жене.

— Отойди отойди — от тебя пахнет керосином, мне тошно делается,— прервала его, отталкивая, Мария Ивановна.

— Что ты говоришь, мамочка, ведь это мой парадный костюм, я его только что сшил.

— Ну ладно, довольно, отстань; постеснялся бы хоть детей,— продолжала противиться Мария Ивановна, когда Карл Маркович опять сделал попытку поцеловать ее.

— Кого это мне стесняться, Артема? Ну, ты еще погоди, вот он тоже женится, тогда узнает сладости супружеской жизни. А ты видела, Мария, какой у меня хозяин хороший, просто золото? Меня очень уважает; каждое воскресенье я у него пью кофе. Только на днях он сделал меня управляющим своего завода. Катя, а как тебе понравился Петр Степанович? Не правда ли, очень любезный человек? — обратился Карл Маркович к дочери, которая в это время разливала чай.

Катерина Карловна промолчала.

— Сразу видно, что он хороший человек,— отвстили в один голос мать и сын.

— К тому же он очень образован,— продолжал расхваливать хозяина Карл Маркович.— Он много путешествовал по России, а по-русски разговаривает, как москвич. Так что и ты будешь им восхищена, Катя-джан! Он читает разные газеты, а в клубе вряд ли найдется такой преферансист, как он. А это игра образованных, не подумай, Мария, что любой может играть в преферанс. Он умеет так хорошо ухаживать за барышнями, так нежно разговаривает с ними — прямо актер. О-о-о, это очень образованный человек, настоящий барин. Я удивлен, что встретил такого человека на Кавказе, ведь Кавказ — дикий, нецивилизованный край, не то, что наши места. А ты, Катя, дорогая, поступила с ним неделикатно, а это, знаешь, нехорошо. Да!

— Поступила так, как надо; а что, должна была проводить до самой улицы, как это сделал ты? — строго и холодно прервала отца Катерина Карловна.

— Ого, что ты говоришь?! Я обязан быть с ним любезным, потому что я его подчиненный, он мой хозяин! — воскликнул Карл Маркович, поправляя галстук и приглашивая обеими руками седеющие волосы.

— Ты обязан, а я нет. Ты можешь лебезить около него,

но от меня не требуй того же,— еще более холодно произнесла Катерина Карловна.

— Что ты, мамочка, что ты говоришь; тебе скучно, или настроение плохое, а может быть, лихорадит? — сразу переменил тон Карл Маркович, действительно усомнившись в здоровье дочери.

— Она повредила руку, когда закрывала шкаф,— ответила вместо дочери Мария Ивановна.

При этих словах Карл Маркович так передернулся, будто к его телу поднесли электрический провод. Стул под ним упал, стол покачнулся, перевернулся стакан, и чай пролился на пол. Растревявшись Мария Ивановна и Артем поднялись со своих мест.

— Душа моя, а ну-ка, а ну, покажи руку,— закричал Карл Маркович, бросившись к дочери.

Катерина Карловна, испуганная страшным поведением отца, невольно попятилась назад.

— Карл, что с тобой, с ума ты сошел, что ли? Ведь ты перепугал всех нас! — воскликнула со смехом Мария Ивановна.

Однако Карл Маркович не обратил внимания на ее слова.

— А ну, душа моя, дай посмотреть твою руку,— не унимался старик.

— Успокойся, папа, ничего нет, боль уже прошла,— растревяно проговорила Катерина Карловна.

Карл Маркович немного успокоился и отпустил руку дочери. Оглядевшись, он заметил последствия своего странного поведения и почувствовал себя неловко.

— Ну и напугала ты меня, Мария; мне показалось, что Катя раздавила себе палец,— сказал Карл Маркович, садясь на свое место.

— Ты так вскочил, что сам чуть не придавил нас столом,— смеясь заметила Мария Ивановна.

За ужином она рассказала мужу, как жила с детьми без него. И Карл Маркович, казалось, ждал удобного случая, чтобы поговорить о своей жизни вдали от семьи. Несколько стаканов вина разгорячили ему голову и сделали многословным. Он рассказал о заводе, нефтепромыслах, о Баку, сравнивая его с источником клада. Карл Маркович говорил о том, как быстро богатеют здесь люди, как разбогател Петр Степанович, работая ранее приказ-

чиком. Он снова стал расхваливать своего хозяина, прибавив, что надеется с помощью Долмазова опять стать заводчиком — ведь многие здесь разбогатели, не имея ни гроша в кармане. Оказывается, Карл Маркович по этому поводу уже делал намек хозяину, и тот обещал ему помочь стать независимым заводчиком, если он будет верно служить. Сейчас Карл Маркович старался всеми силами угодить Петру Степановичу, чтобы заслужить его расположение. Все больше хмелая от вина, Карл Маркович так увлекся своим рассказом, что начал описывать будущее в самых розовых красках. По его словам, пройдет не так много времени, и он снова станет «купцом первой гильдии Поповым», а может быть, и немного повыше. Тогда пусть его враги посмотрят на «Ашхана» — от зависти лопнут их сердца. Наконец Карл Маркович сказал, что он и сейчас вполне обеспеченный человек и не знает никаких забот. Надо только, чтобы все оберегали свое здоровье. Говоря о Катерине Карловне, стариk намекнул, что в Баку можно найти для нее хорошего жениха, что здесь много богатых холостяков, но очень мало красивых, просвещенных девушек. «Кавказ,— сказал Карл Маркович,— еще «дикая страна», женщин здесь большей частью держат под покрывалами, они не приобщились к культуре». Воображение Карла Марковича о будущем своей семьи так разыгралось, что он посмел выразить еще одну дерзкую надежду... Но тут же поспешил добавить, что исполнение этой надежды зависит от самой Катерины Карловны, от того, как она отнесется к Петру Степановичу и, наконец, как последний посмотрит на Катю...

Карл Маркович наказал Марии Ивановне принимать Петра Степановича с почетом и уважением и непременно угощать его кофе. Он попросил также Катерину Карловну, чтобы она как можно любезней и деликатней вела себя с Долмазовым, разговаривала с ним по-русски, так как сам Петр Степанович — «цивилизованный» кавалер и любит хорошие манеры.

Словом, Карл Маркович рассказал обо всем, учил и наставлял Марию Ивановну и особенно Катерину Карловну.

Ужин закончился. С захмелевшей головой Карл Маркович удалился к себе. Артем, Мария Ивановна и Катерина также пошли в свои комнаты.

Наутро Карл Маркович, как и обещал Петру Степановичу, уехал на завод «с петухами».

В десять часов Артем явился к хозяину и, получив от него распоряжение, тотчас же отправился в Балахани на должность приказчика:

6

В следующий полдень Петр Степанович вновь посетил семью Карла Марковича. На этот раз он был одет еще более шикарно. Мария Ивановна в это время на кухне готовила обед. Катерина Карловна что-то шила на машине. Услыхав за спиной приветственные слова Петра Степановича, она тут же отложила работу, встала, холодно ответила и, подав руку, пошла на кухню сказать матери о госте.

— Ничего, ничего, не беспокойтесь, Катерина Карловна,— произнес Петр Степанович, преграждая путь девушке.

Но Катерина не послушалась. Через секунду явились Мария Ивановна с рукавами, засученными до локтей. Петр Степанович вскочил и вежливо поздоровался с ней.

— Вчера, когда Катерина Карловна раскладывала вещи, я заметил, что ее комод для белья совсем старый. Не обижайтесь, Мария Ивановна, я без вашего разрешения купил для нее новый комод: сию минуту его доставит мой приказчик.

— Благодарю вас, но вы зря купили, мой комод еще очень хороший,— ответила Катерина Карловна и посмотрела на мать, давая ей знать, что и она должна отказаться от подарка. Мария Ивановна поняла дочь, но все же комод сильно заинтересовал ее.

— Дорогой мой, зачем вы ради нас делаете лишние расходы, если бы вы меня спросили, я не разрешила бы вам этого,— сказала она любезным тоном, всматриваясь при этом в выражение лица Петра Степановича, чтобы понять, как он воспримет ее неопределенные слова.

— Я заплатил за него недорого, всего сто рублей; это не деньги, чтобы о них думать,— ответил Петр Степанович, улыбаясь Катерине Карловне.

Девушка повернулась к матери и с укором посмотрела на нее.

— Катя, ведь комод действительно тебе нужен, ничего, что Петр Степанович купил его, не спросив у нас. Ну, скажи отцу, чтобы он отдал Петру Степановичу сто рублей из своего жалованья.

— Что ты говоришь, мама; сто рублей — месячное жалованье папы, на что мне нужен такой дорогой комод, — вновь возразила девушка.

— Вы меня огорчаете, Мария Ивановна, я не нуждаюсь в деньгах; я делаю незначительный подарок, но не продаю комод, — заметил Петр Степанович, притворяясь обиженным.

В это время грузчик в сопровождении приказчика внес довольно большой комод из орехового дерева.

Его поставили на балкон. Петр Степанович повернул ключ, открыл ящики, чтобы показать Катерине Карловне и Марии Ивановне.

— Очень красивая штука, дешево мне досталась.

Комод был так красив, что сразу понравился Марии Ивановне. Долго она рассматривала его со всех сторон — внутри, снаружи, сверху и снизу и все не могла наглядеться. «Какой хороший, какой большой комод, Катя» — без конца радостно повторяла она, семеня вокруг.

Не теряя времени, Петр Степанович закрыл комод и, склонившись перед Катериной Карловной, предложил ей ключ.

— Подарок недорогой, но дорога моя любовь — как говорят русские, — произнес по-русски Петр Степанович, держа ключ прямо перед лицом девушки.

Эти слова еще больше смущили ее. Она покраснела, ничего не ответила, но ключ все-таки не приняла.

По лицу Петра Степановича скользнула недовольная улыбка, но, сдерживая свое негодование, он вновь предложил подарок.

— Что ты стоишь, Катя, ведь Петр Степанович предлагает тебе ключ.

Катя продолжала молчать. Долмазов с кислым выражением лица передал ключ Марии Ивановне.

— Спасибо, большое спасибо. Пусть бог умножит ваше богатство в тысячу раз, Петр Степанович, доброту вашу не забудем вечно. Катя, пригласи Петра Степановича в комнату, побеседуйте, а я пойду приготовлю кофе.

— Мама, оставайся ты здесь, а кофе приготовлю я.

— Нет, нет, что ты говоришь, ведь ты никогда не варила кофе, как же я тебя теперь пущу? Сиди здесь, я сию минутку...

Катерина Карловна нехотя согласилась и пригласила Петра Степановича в комнату. Она подошла к швейной машине и, предложив гостю сесть, продолжала свою работу.

Петр Степанович сидел молча и с жадностью рассматривал девушку, которая, склонив голову, работала, не принося ни слова. Он хотел завязать беседу, но не знал, с чего и как начать. Так длилось несколько минут. Наконец Долмазов взял стул, поставил его около стола, за которым работала Катерина, и решился нарушить тягостное молчание.

— Катерина Карловна, сегодня ночью в клубе будет хороший концерт, я пришел пригласить вас. Согласитесь ли вы пойти со мной? Билеты я уже взял.

— Нет, извините, я не могу, лучше в другой раз, сегодня я очень устала,— ответила Катерина Карловна довольно спокойно.

— Сейчас уже поздно отказываться, билеты куплены,— сказал посмелее Петр Степанович, хотя это было заведомой ложью — билетов он еще не покупал...

— Зря вы купили, не сказав мне.

— Так или иначе, билеты куплены: один для вас, другой — для меня, идти нужно обязательно.

— Нет, я не смогу.

— А как же быть с билетами? — спросил Петр Степанович шутливым тоном.

— Отдайте своим друзьям.

— Друзей у меня нет, Катерина Карловна, на всем свете я одинок, но сейчас хочу приобрести друга... — Продолжил это Петр Степанович, лицемерно изменив голос и выражение лица, чтобы вызвать сочувствие девушки.

Однако на лице Катерины он не заметил никаких изменений. Она оставалась безразличной и холодной по-прежнему.

— В этом большом городе такой богатый человек, как вы, может легко приобрести друзей,— ответила девушка, не подымая глаз.

— Но я одинок, Катерина Карловна, совсем одинок.

Ах, если бы вы узнали мою тоску. У меня много знакомых, но нет ни одного друга.

— Почему?

— Потому что здешние люди не воспитаны, я не могу с ними дружить.

— Извините за вопрос, а откуда вы родом?

— Я кавказец. Родился в Шуше. Но, долго живя в Москве и в Петербурге, забыл кавказские нравы. Я привык общаться с образованными, просвещенными людьми, которые любят посещать театры, оперы. Здесь таких людей нет, тут все думают только об одном — о заработке, о деньгах, и этому отдают свою жизнь. На заводах, на промыслах, измазанные мазутом и грязью, задыхаясь в магазинах от пыли, они корпят день и ночь только ради того, чтобы набить свои карманы. А набив карманы, не знают, куда потратить деньги, как жить, потому что не образованы, не понимают, что такое культура. Многие объехали весь свет, но ничему не научились. Месяцы, годы проводят в столицах, но, кроме гостиницы и нескольких улиц, ничего не видят. Живя в России, эти люди не бывают ни в театре, ни в опере, не ездят в клуб. А если и бывают где-нибудь, то пользы от этого мало — в театрах они покупают самые последние места, чтобы обошлось подешевле, многие уходят с представления, не дождавшись конца, потому что у них нет вкуса. Для них звуки зурны приятнее пения Патти. В Москве все удивлялись, когда я платил по двадцать пять рублей, чтобы послушать Патти или Нильсона или посмотреть игру Сальвини, но я от души смеялся над таким невежеством. Деньги для меня — путь к роскошной жизни, а для них — самоцель. Я презираю их, презираю потому, что, несмотря на молодость, у них дряхлые души и изношенные сердца. Вот почему, Катерина Карловна, я не общаюсь с ними. Ах, если бы вы знали, насколько трудно мне даже разговаривать с ними. Я одинок, Катерина Карловна, одинок, и время здесь тянется, для меня тоскливо.

Петр Степанович говорил вдохновенно и жестикулировал как актер.

— Переезжайте жить в другой город,— сказала Катерина Карловна, когда Петр Степанович наконец остановился.

— Не могу, Катерина Карловна, меня привязывают

дела, оставить их невозможно. Но я буду счастлив, если, если... ах...

Здесь язык Петра Степановича начал заплетаться, и он, не сумев закончить фразы, испустил глубокий вздох.

Катерина Карловна исподлобья посмотрела на него и, слегка склонив голову, покраснела. В это время в дверях показалась Мария Ивановна и тут же исчезла. Это заметил лишь Петр Степанович.

— Многие думают, что деньги делают человека счастливым,— продолжал Долмазов через несколько минут после исчезновения Марии Ивановны.— Я этого не понимаю. Вот я, славу богу, богат: всего мне хватает—состояние мое около миллиона (на самом же деле состояние Петра Степановича не превышало двухсот тысяч рублей). Я владею всем — у меня дом, золото и серебро, слуги, фаэтоны; живу один-одинешенек — ни родителей у меня нет, ни братьев, ни сестер, нет и долгов. Словом, я полный хозяин над собой и над своим состоянием. Но пусть кто-нибудь спросит у моего сердца, что оно скажет? Пусть кто-нибудь войдет в мое положение, тогда он увидит, как я себя чувствую среди этого богатства... Скучно, скучно мне, до смерти скучно...

Тут Петр Степанович вздохнул и вновь заглянул в глаза девушки.

— Женитесь, быть может, тогда вам станет веселее,— сказала Катерина Карловна, пытаясь уяснить себе его мысли.

— Жениться? Но где же девушка, достойная моей любви? — спросил Петр Степанович, вздохнув еще раз.

— Почему же? Говорят, в Баку много прекрасных девушек.

Петр Степанович вспыхнул, лицо его изменилось, глаза налились кровью; неожиданно он быстро поднялся со стула.

— Нет их, нет, Катерина Карловна... за исключением вас, разрешите...

Он бросился к девушке, пытаясь поцеловать ее. Катерина в ужасе вскочила с места, оттолкнула от себя Петра Степановича.

— Что вы делаете, отойдите,— воскликнула она...

— Я вас люблю.

— Вы лжете!

— Клянусь богом, Катерина Карловна, поверьте мне и разрешите... — повторил Петр Степанович, пытаясь приблизиться к девушке.

— Не подходите, а то я закричу...

Петр Степанович застыл на месте. Несколько секунд он стоял неподвижно, потом подошел к девушке и покорно сказал:

— Простите, Катерина Карловна, я пошутил, прощите...

— Так с девушками не шутят.

— Ну ладно, забудьте, пожалуйста, об этом разговоре.

Вошла Мария Ивановна с кофейником и молочником в руках.

Катерина Карловна и Долмазов успели оправиться от смущения. Наивная Мария Ивановна ничего не заметила.

Сели пить кофе. Постепенно Катерина Карловна совсем пришла в себя, стала поддерживать разговор и даже шутить, будто ничего не случилось. Петр Степанович опять осмелел. После кофе он набрался храбрости снова предложить Катерине Карловне пойти вечером на концерт. Девушка решительно отказалась. Однако, после долгих уговоров Петра Степановича и Марии Ивановны, она дала слово пойти с Долмазовым на концерт через неделю.

Петр Степанович ушел повеселевший.

Петр Степанович по два раза в день навещал семью Карла Марковича. Трудно описать, как радовали эти посещения бедную Марию Ивановну, с каким восторгом она принимала Петра Степановича, как юлила вокруг него, стараясь понравиться ему. Да разве могла она поступить иначе, видя заботу такого богача, как Долмазов, о семье ничтожного приказчика. Но особенно радовалась Мария Ивановна, замечая то внимание, которым удостоивал Долмазов Катерину Карловну. Частенько, сидя где-нибудь в уголке комнаты с руками, скрещенными на груди, она смотрела, как беседует ее дочь с Петром Степановичем, и погружалась в свои размышления. В такие минуты ее чувствительное материнское сердце жило предвкушением

счастья любимой дочери. Перед взором Марии Ивановны вставали шикарные фаэтоны, многочисленные слуги, богато обставленные комнаты в большом прекрасном доме. Этот дом принадлежал Долмазову, а ее дочь была в нем хозяйкой. Катерина Карловна прохаживается по чудесным комнатам, отдает распоряжения, принимает и провожает гостей... А вечером они вместе с Петром Степановичем садятся в фаэтон и едут на прогулку к берегу моря. Вернувшись, Катерина Карловна пьет чай, переодевается в еще более роскошное платье и отправляется с мужем в театр или на бал. Их сопровождает Артем. А Мария Ивановна с Карлом Марковичем остаются дома и за веселой беседой ждут возвращения молодых супругов, чтобы вместе с ними сесть за ужин.

Итак, Мария Ивановна мечтала не только о счастье Катерины Карловны, но о близком счастье всей семьи — конечно, если Долмазов, при его добром сердце, не придаст значения Катиной бедности, а будет смотреть только на нее, на ее красоту, способности, характер, и если сама Катя, хорошенко взвесив свое будущее, постарается эти свои качества показать в наиболее выгодном свете, чтобы безвозвратно завоевать сердце Петра Степановича.

По Катя, очевидно, этого не понимала; по мнению Марии Ивановны, она была глупа и вместо того, чтобы еще больше привлечь к себе Долмазова, упорно отталкивала его от себя. Она по-прежнему относилась к Долмазову холодно, а иногда и грубо. Видя это, Мария Ивановна возмущалась до глубины души, но не могла высказаться в присутствии Петра Степановича. Она сдерживала свое недовольство, ожидая ухода Долмазова. А как только благодетель удалялся, мать обрушивала на дочь бесчисленные упреки, а иногда и брань.

— Тысячу раз я говорила, что ты сумасшедшая, у тебя нет ума, ты не думаешь ни о нас, ни о себе. Ты пшицая, а гордячка. Раскрой пошире глаза и посмотри хорошенько, что ты представляешь из себя, кто Долмазов и кто ты? Знаешь ли ты, что от него зависит наша жизнь; как он захочет, так и сделает — может обогатить нас, а может и оставить голодными. А ты все задаешься и задаешься. О чем ты думаешь, Катя? Смотри, я еще раз говорю, что от тебя зависит наша жизнь...

Такими упреками Мария Ивановна без конца осыпала

дочь. Однако та продолжала свои «глупости». Однажды она даже посмела ответить на упреки матери, заявив, что нарочно относится к Долмазову холодно, чтобы он прекратил свои посещения. Непокорность дочери взбесила Марию Ивановну, но... без пользы.

Надо заметить, что Долмазов даже в отсутствие Марии Ивановны с большой осторожностью относился к Катерине Карловне. Он держал себя скромно, не говорил ничего лишнего и делал вид, что сожалеет о прежнем поступке. Как ни была осторожна и предусмотрительна Катерина Карловна, она не поняла эту хитрость Долмазова, не проникла до конца в его душу.

Наступил вечер, когда они должны были поехать на концерт. Петр Степанович пораньше нарядился, сел в собственный фаэтон и отправился к Катерине Карловне. Барышня еще не была одета. Она забыла о своем обещании и попыталась отказаться. Мария Ивановна рассвирепела: как можно отказаться провести время с таким человеком, как Долмазов? Чтобы рассеять сомнения девушки, Долмазов сказал:

— Мария Ивановна, оденьтесь и вы, поедемте вместе с нами.

Мария Ивановна от души обрадовалась этому приглашению, чуть было даже не согласилась, но, вспомнив, что у нее нет приличного платья, отказалась.

— В другой раз,— сказала она,— в другой раз. Катя, пойди переоденься.

Впоследствии девушка много раз упрекала себя за то, что не проявила волю и не осталась дома. Вместе с матерью она пошла в свою комнату.

Оставшись один, Долмазов подошел к зеркалу и стал рассматривать себя с ног до головы.

— Эх, черт, ведь правда, что я стал очень некрасивым... Как отвратителен человек без бровей и ресниц,— говоря это, он поправил свой белый галстук.— Лекарство, выписанное из Парижа, также не помогает— волосы не растут. Говорят, что от этого вылечивают в Вене. Надо обязательно поехать в Вену, иначе — позор; женщины избегают меня. Эге, вот еще забота, что это растет у меня на носу? — продолжал он, ощупывая кончик носа, на котором появился какой-то красный прыщ.— Больно; это нехорошо, надо обязательно показать врачу...

Вошла Катерина Карловна. Долмазов поспешил отойти от зеркала.

Уже стемнело. Зал городского собрания, где бывали концерты, освещали три огромные люстры, свисавшие с потолка и, многочисленные стенные лампы. Барышня в сопровождении Долмазова по широкой лестнице поднялась наверх. Концерт еще не начался. В ожидании его публика прогуливалась.

В буфете, вокруг стола собралась группа молодых купцов. Среди них был и Сергей Иванович, с которым мы познакомились на пристани.

Петр Степанович постарался войти в зал так, чтобы его не заметил кто-нибудь из этой группы. Но это ему не удалось.

— Ого, Петр Степанович, откуда ты взялся? — воскликнул громко молодой человек с тщательно выбритым лицом и красными глазами. Он тут же отделился от остальных и подошел к Долмазову.

— Здравствуйте, Семен Лазаревич, как ваше самочувствие? — спросил Петр Степанович, немного растерявшись, и быстро пожал руку молодому человеку.

— Постой, куда ты убегаешь, постой... Я хочу посмотреть, кто это с тобой, — сказал тот, поймав Долмазова за руку.

— Ого, Пето, поздравляю, откуда подцепил эту красавицу?

Но Пето старался скорее избавиться от собеседника. Он кое-как освободился от его цепких пальцев и поспешил к Катерине Карловне, которая стояла в отдалении и не слыхала разговора.

— Ребята, новость, Долмазов новую девушку отхватил, — заявил молодой человек, возвращаясь к друзьям.

— Кто же это? — спросили несколько человек одновременно.

— Как будто похожа на армянку, но я ее не знаю. Красавица. Дайте-ка мне еще стаканчик — проглочу и пойду с ней знакомиться.

Семен Лазаревич опорожнил еще стаканчик.

— Напрасно ты беспокоишься, Семен Лазаревич, Долмазов не из тех, кто может поделиться с тобой. А девушку я знаю и знаю, какова она.

— Кто же, кто она, Сергей Иванович? — воскликнули все хором и плотно обступили товарища.

— Это дочь его приказчика.

— А, астраханец...

— Да я тоже видел ее; я тоже; очень красивая,— заговорили наперебой собеседники.

— Красивая-то красивая, по что поделаешь, когда...

И Сергей Иванович, не закончив начатой фразы, многозначительно покачал головой.

— А что?

— Так, — ответил он, прищурив один глаз и покусывая губы. — Дом, квартира, каждый день подарки, у брата и отца должности с хорошим жалованьем...

— Эх, Долмазов, чтобы он шею себе свернул — чужими женщинами пресытился, а теперь армянку отхватил, — произнес Семен Лазаревич, потирая руки.

— Не верю я, потому что знаю дочь Карла Марковича: она очень гордая и умная девушка. Долмазов не сможет вскружить ей голову, — вмешался купец, молчавший до этого.

— Эге, верно ты плохо знаешь Долмазова, — ответил простаку Сергей Иванович, покачав головой. — Он не такой человек, чтобы без выгоды хоть копейку на кого-нибудь потратить, а тем более делать такие подарки дочери Гаспара. Он наполнил ее дом подарками; не проходит дня, чтобы не ходил к ним в гости с подарками.

— Нет, брат, я хорошо знаю Долмазова, знаю, какая у него душа...

Раздался звонок, все вошли в зал, концерт начался.

Петр Степанович и Катерина Карловна сидели во втором ряду. Девушка была одета хоть и не богато, но со вкусом. Под светом многочисленных ламп на ее груди сверкал бриллиант золотого медальона. Зал был переполнен зрителями. Несколько мужчин и женщин, забыв о том, что происходило на сцене, направили свои бинокли на незнакомую барышню. Петр Степанович видел это и самодовольно улыбался. Он гордился, что в нынешний вечер был предметом зависти многих молодых людей. Долмазов часто наклонялся к Катерине, нашептывая ей на ухо. Девушка молчала: она внимательно слушала музыку, иногда лишь движением головы отвечая на вопросы Петра Степановича.

Наконец концерт окончился, публика стала расходиться; вышла и Катерина. Долмазов следовал за ней, вертя в руке шляпу и то и дело бросая вокруг торжествующий взгляд. Его дряблое лицо сияло радостью, а маленькие глазки блестели, бегая по сторонам.

Садясь вместе с барышней в фаэтон, ожидавший их у подъезда, Долмазов шепнул на ухо кучеру несколько слов, и в то же мгновение лошади помчались.

— Увози, увози, но посмотрим, чем все это кончится, — сказал вслед отъехавшему фаэтону человек, прятавшийся за дверями клуба и зорким взглядом следивший за нашим героям.

Это был Сергей Иванович.

8

Было уже поздно. На ясном небе не было видно луны. Улицы освещал только слабый свет керосиновых фонарей.

— Куда мы едем? Наш дом остался, кажется, в другой стороне, — забеспокоилась вдруг девушка, заметив, что фаэтон заехал на незнакомую ей улицу.

— Мы едем ко мне, — ответил коротко Долмазов.

— Отвезите меня домой, а сами потом поезжайте к себе.

— Вместе с вами?

— Зачем мне ехать к вам?

— Мы должны вместе поужинать.

— Благодарю вас, Петр Степанович, я не хочу есть; прошу вас проводить меня домой.

— Это невозможно.

— Нет, нет, уже поздно, мама беспокоится и не спит, ожидая меня.

— Мы быстро поужинаем, и я сейчас же провожу вас.

— Я устала, Петр Степанович, разрешите, в другой раз зайду к вам в гости, — стала просить девушка теперь уже умоляющим голосом.

— Я всегда рад видеть вас у себя в гостях, но сейчас вы напрасно возражаете, мы непременно должны заехать ко мне, — произнес Долмазов решительно.

Пока Катерина Карловна противилась этим уговорам, экипаж остановился у подъезда дома Долмазова. Девушка не согласилась выйти. Петр Степанович уговаривал ее, умолял, просил, но напрасно. Катерина Карловна упрямо стояла на своем. Она уцепилась за фаэтон, и оторвать ее было невозможно. Терпение Долмазова иссякло. Однако он сдержал себя и, грызя усы, начал снова упрашивать девушку. Она также вышла из терпения и приказала кучеру гнать лошадей, но тот не пошевелился. Такое отношение Катерины Карловны оскорбило Долмазова, задело его самолюбие. Петр Степанович огляделся по сторонам. На улице тишина, вокруг не было видно ни одной человеческой фигуры, никто, кроме кучера, не видел этой сцены. Кучер молча сидел на козлах, крепко натянув вожжи, сдерживая резвых лошадей и приговаривая сочным голосом: «тпrr, сто-о-ой, проклятая!» Долмазов стал на подножку, обхватил обеими руками девушку и в один миг вынес ее из фаэтона.

Перед Катерины Карловной было два пути: подчиниться или убежать...

Они вошли в подъезд, по широким лестницам поднялись наверх. Минуя балкон, Петр Степанович провел девушку в небольшую комнату. Затем он отлучился на несколько минут, отдал распоряжение слуге и вернулся к гостью.

Круглая лампа, свисавшая с потолка, освещала комнату, стены которой были обиты серыми обоями; их украшали несколько картин сомнительного содержания. В одном углу стояла высокая кровать с мягкой постелью, в другом — огромное зеркало, в третьем — круглый стол, а в четвертом — мраморный умывальник с туалетными принадлежностями. Петр Степанович поспешил предупредить, что в зале и в других комнатах только что покрашены окна и двери, от краски стоит неприятный запах, поэтому он пригласил девушку сюда. При взгляде на обстановку, окружавшую ее, Катерина Карловна содрогнулась. Преодолевая дрожь, она почти бессознательно подошла к четырехугольному столу, стоявшему посреди комнаты, и села около него.

Вошел слуга, накрыл стол чистой белой скатертью; появились различные блюда и напитки. Долмазов тотчас налил себе водки, а барышне какого-то заграничного вина.

— Выпейте, это очень сладкий напиток, он не повредит вашему сердцу,— сказал Петр Степанович, ставя бокал перед Катериной Карловной.

Барышня бессознательно поднесла бокал к губам, но тут же поставила его обратно.

— За ваше здоровье, Катерина Карловна,— произнес Долмазов, чокнулся с девушкой и выпил свой стакан до половины.

Стараясь опомниться, Катерина Карловна, не сказав ни слова, покачала головой. Долмазов начал ужинать. Катя не прикасалась к еде, но когда Долмазов стал настаивать, она нехотя съела что-то, отошла от стола, со страхом осматриваясь вокруг. Она чувствовала себя, как затравленный охотниками олень, загнанный в глубь леса, откуда нет надежды на спасение. Дрожа всем телом, с обеспокоенным лицом, она то бросала взоры на Долмазова, то на окружавшие ее стены.

— Почему вы не кушаете, Катерина Карловна? — беспрестанно повторял Долмазов один и тот же вопрос.

— Я не голодна; прошу вас, Петр Степанович, поскорее проводите меня домой.

— Не торопитесь, еще очень рано, ведь лет и двенадцати часов. Выпейте хотя бы бокальчика два этого сладкого напитка, он очень вкусен, попробуйте!

Долмазов опять наполнил бокал и поставил его перед Катериною. Девушка отодвинула бокал и отвернулась.

— Зачем вы так делаете, Катерина Карловна, ведь вы обижаете меня!

— Бедная мама ждет меня,— ответила девушка, пытаясь подняться.

— Куда вы уходите, подождите,— стал просить Долмазов, поймал ее за руку и нежно усадил на стул.

Катерина неохотно подчинилась его настоянию. Петр Степанович пододвинул к ней полный бокал.

— Если и на этот раз вы не выполните мою просьбу и не опорожните этот бокал, знайте, что оскорбите меня до глубины сердца. Возьмите, Катерина Карловна, и с радостной душой выпейте: это за здоровье вашего брата Артема Карловича.

Сказав это, Долмазов палил себе стакан вина, взял его в руки, ожидая девушку. Катерина Карловна с отчаянием

подняла бокал и, сделав маленький глоток, поставила обратно.

— Я удивляюсь, какая вы бессердечная, если отказываетесь пить за здоровье своего единственного брата,— сказал Долмазов, оставляя свой стакан.

Девушка ничего не ответила. Петр Степанович продолжал разговор, постепенно воодушевляясь. Он сказал, что счастливым должен чувствовать себя человек, имеющий брата; затем, переведя разговор на себя (а к этому именно он и стремился), добавил, что завидует людям, имеющим братьев. Долмазов стал жаловаться на свою якобы грустную судьбу. Описав свое положение в самых мрачных красках, Петр Степанович прикинулся перед девушкой глубоко несчастным человеком, уверял, что судьба немилосердна к нему, Долмазов повторил также, что он может стать счастливым, только связав свою жизнь с любимой женщиной, которая смогла бы разделить с ним горести и радости. Петр Степанович прибавил, что его несчастье состоит именно в том, что до сих пор он не мог найти такое существо,— та, на которую он возлагает надежды, относится к нему очень жестоко...

При этих словах Долмазов устремил свой сладострастный взгляд на девушку, пытаясь уловить впечатление, которое произвели на нее эти слова.

Катерина, хоть и слушала его невнимательно, все же поняла намек, но ничего не сказала.

— Когда голова занята делами, время проходит незаметно,— продолжал Долмазов.— Но только освободишься немного, придешь домой, и опять какая-то тяжесть ложится на сердце. Оглянешься кругом — ничего радостного, ничего, способного облегчить душу. Стены собственного дома кажутся мне враждебными. Да, Катерина Карловна, около меня нет той, которая смогла бы нежным взглядом, приятной беседой утешить мое истосковавшееся сердце. В отчаянии я иногда целые дни провожу в постели, отдаваясь своим мыслям. Поверьте, сколько раз я плакал, как ребенок, а затем убегал из собственного дома, как из тюрьмы. Но нигде не нахожу себе места — везде та же скука, та же горечь. До каких пор будут продолжаться эти невыносимые муки, не знаю сам. Но я сейчас чувствую, Катерина Карловна, что есть существо, которое может положить конец моим страданиям, это... ах...

Из груди Долмазова вновь вырвался притворный вздох.

За этим разговором прошло довольно много времени. Воспользовавшись минутным молчанием, Катерина Карловна поднялась со стула.

— Подождите, — сказал Долмазов.

— Нет, хватит, вы и так сильно задержали меня, разрешите.

— Прошу вас, посидите еще немного.

Однако на этот раз девушка не согласилась сесть. Она решительными шагами направилась к двери.

— Куда вы убегаете, — воскликнул Долмазов, схватив ее за руку.

— Хватит, Петр Степанович, пойдемте.

— Хватит или не хватит... Вот и хватит!

Произнеся эти неопределенные слова, Долмазов, закрыл двери и повернул в замке ключ, потом показал его девушке и положил в карман.

— Видите, ха-ха-ха, — злорадно рассмеялся он. Этот смех показался Катерине Карловне мерзким. Подавленная, она несколько секунд смотрела на Долмазова; он ответил ей взглядом, выражавшим его гнусные намерения. На его тонких, сжатых губах появилась наглая улыбка, помятое лицо приняло отвратительное выражение. Оно привело в ужас Катерину Карловну. Ее опять охватила лихорадочная дрожь.

— Ради бога, Петр Степанович, откройте дверь, — произнесла она с отчаянием.

Посмотрев на нее, Долмазов сказал:

— Так просто не открою...

— Чего же вы хотите? — спросила девушка, бледнея.

— Чего я хочу... гм... ничего...

Долмазов не смог закончить фразы. Непонятная сила в этот момент сковала ему язык. Но вдруг он вновь поднял голову, протянул руки и одним движением бросился на девушку. Она в ужасе отпрянула, прислонилась спиной к стене, будто ища защиты.

Долмазов сделал еще один прыжок, стараясь схватить своими руками, похожими на клещи, прижавшуюся к стене девушку.

— Не трогайте меня, а то...

Сильный удар в грудь отбросил Долмазова на несколько шагов. Тут же его маленькие сатанинские глаза

налились кровью, морщины на лбу разгладились, впалая грудь выпятилась колесом. С возгласом «довольно я терпел» он, как рассвирепевший лев, вновь бросился на свою жертву.

Раздался душераздирающий крик,— крик, который может вырваться только из отчаявшейся груди. Затем в комнате настала непроницаемая темнота...

9

Прошло два месяца. Однажды утром Петр Степанович Долмазов, накинув халат, сидел в своем кабинете у окна. Он был мрачен. Резче обозначившиеся морщины на лбу и сжатые губы выдавали душевное волнение. Время от времени он потирал ладонью лоб и склонял голову на грудь, углубляясь в размышления. Через несколько минут, тяжело вздыхая и кусая губы, он вновь подымал голову, бросая вдаль блуждающий взгляд.

Было ясно, что Петр Степанович чем-то очень встревожен.

Время от времени дверь комнаты осторожно приоткрывалась и показывалась, тотчас исчезая, гладко причесанная голова молодого человека. Это был слуга, следивший, выпил ли барин стакан чаю, давно стынивший на столе. Но барин не обращал внимания ни на чай, ни на слугу. Он был углублен в свои мысли. Наконец слуга рискнул напомнить:

— Барин, чай остыл.

— Вон отсюда!

Слуга исчез.

Петр Степанович ударил рукой по лбу, встал и неуверенными шагами стал ходить взад и вперед по комнате.

Да, перед ним была трудная задача. Много раз попадал он в затруднительные положения и, однако, выкручивался. Но на этот раз счастье изменило ему. Тем не менее, надо было найти выход — во что бы то ни стало избавиться от грозившей неприятности и притом как можно скорее, в течение нескольких дней, иначе...

Петр Степанович развел руками и задержал взгляд на своих домашних туфлях. Ведь это настоящий позор. Вчера он опять был там: на самом деле, она в жалком со-

стоянии. Бедная, как она изменилась после той ночи, похудела, пожелтела. Но почему... Почему? Вот глупый вопрос! Ведь не сегодня-завтра все может выясниться, и тогда она погибла, похоронена заживо. А Мария Ивановна? Гм... наивная женщина... Она еще ничего не знает, думает, что ее дочь простудилась, больна и больше ничего. Глупая старушка! Она еще надеется, что придет тот счастливый день, когда Долмазов рука об руку с ее дочерью встанет перед алтарем. Гм, еще этого не хватало Долмазову — стать зятем ничтожного приказчика. Что скажут люди? Нет, Мария Ивановна, это бред. Долмазов, слава богу, еще не так глуп, легковерная астраханская мамаша!

Вчера и сама девушка со слезами на глазах впервые намекнула. Несчастная, наивная — она говорит, что хотя и не любит, но вынуждена согласиться, чтобы скрыть позор. Смешно,— не любит Петра Степановича Долмазова и кто, кто? Дочь Карла Марковича Попова...

Так или иначе, вокруг имени Долмазова могут распространиться сплетни, оно уже склоняется в городе. Сергей Иванович, этот льстец, прикидывающийся другом, первый начал распускать разные слухи. Это еще ничего. Петр Степанович не так уж боится сплетен. Но есть другое обстоятельство, более серьезное. Если теперь же не пресечь, завтра или послезавтра все выяснится и дело дойдет до суда. Тогда волей-неволей Долмазову придется связать свою жизнь с дочерью Карла Марковича. Карл Маркович... о-о-о, это астраханец, который знает дорогу в суд. Может прижать его... Как выкрутиться, господи боже, как? Беспрестанно вздыхая, Петр Степанович опустился на стул. Наконец он вспомнил о чае, подошел к столу, залпом опорожнил стакан, закурил и, вновь усевшись у окна, стал смотреть на улицу.

Окно выходило на восток, где был расположен Черный город. Далекий горизонт потемнел от густого дыма нефтяных заводов... И вдруг, о счастье, в голове Долмазова родилась мысль. Глаза его засверкали, морщины на лбу моментально разгладились. Он быстро подошел к столу, взял ручку, на клочке бумаги написал несколько строк и вложил записку в конверт.

— Это письмо пошли на завод, не задерживая ни минуты,— приказал он вошедшему на звонок слуге.

Тот исчез. Петр Степанович снял халат, оделся и вышел на улицу. Он вернулся часа через два, еле дыша от усталости.

— Никто не приходил? — спросил он у слуги еще в передней.

— Нет.

Лицо Петра Степановича выразило нетерпение. Он вошел в кабинет, снова облачился в халат и устало опустился в кресло.

Через четверть часа слуга доложил:

— К вам пришли, прикажете пустить?

— Впускай немедленно.

Петр Степанович погладил усы и бороду и еще удобнее уселся в кресле, придав своему лицу спокойное выражение.

Двери осторожно приоткрылись, и вошел черноволосый молодой человек среднего роста; как только он переступил порог, в комнате распространился острый запах керосина. На нем был короткий серый пиджак, потерявший от копоти первоначальный цвет, и такие же узкие брюки, заправленные в голенища грязных сапог. Молодому человеку можно было дать лет двадцать пять. Копоть, покрывавшая его лицо, не могла скрыть красоту тонких черт. Он поклонился Петру Степановичу и, вытянув руки по швам, неподвижно встал около дверей.

— Подойди сюда и садись, — сказал Долмазов.

Молодой человек поклонился еще раз, но не осмелился сесть. Долмазов повторил свое приглашение в более учтивой форме. Молодой человек, держа фуражку в руке, застенчиво присел на край стула.

— Гм, Смбат, расскажи, что у тебя нового, — спросил Петр Степанович, зажигая новую папиросу.

— Все хорошо, желаю вам здоровья, — ответил Смбат, слегка поднимая голову. Голос его был очень приятным.

— Получили сегодня керосин из Балахани?

— Да.

— Кто принимал?

— Карл Маркович.

— Да, а что делает Карл Маркович, как себя чувствует, как его настроение?

— Чувствует себя хорошо и настроение у него веселое.

— Гм... так, так. Что же еще там у вас? Завод сегодня работает?

— Да, только начали сливать первые котлы. А я, как получил ваше приказание, сейчас же сел на лошадь и выехал сюда.

— Очень хорошо сделал, правильно сделал... Знаешь что, Смбат, я вызвал тебя по делу, касающемуся тебя.

— Приказывайте,— сказал молодой человек с удивлением.

Слова Петра Степановича немного испугали его. «Как бы не выгнал с работы», — мелькнула у него мысль.

— Знаешь что, Смбат, ты давно просил, чтобы я прибавил тебе жалованье, не так ли?

— Да...

— И я дал обещание, но до сих пор его не выполнил?

— Да.

— А семья у тебя есть?

— Отец, мать и две сестры.

— Где же они находятся?

— В Шуше.

— А сам ты не женат?

— Нет.

— И не обручен?

— Нет.

— Гм... Значит, на тебе большой груз,— произнес Петр Степанович сочувственно.

— Да, потому я и просил вас прибавить жалованье.

— Конечно, на сорок рублей в месяц трудно содержать семью. А знаешь ли ты, Смбат, почему я до сих пор не выполнил твою просьбу?

— Нет, не знаю.

— Потому, что я задумал для твоей пользы другое. Смбат весь превратился в слух.

— Я хочу со временем сделать из тебя приличного человека. Это важнее, чем прибавить к жалованью пять или десять рублей.

— Большое спасибо, Петр Степанович, большое спасибо...— молодой человек поклонился Долмазову и спустился на край стула.

— Хотя, Смбат, иногда я бываю недоволен тобой, но парень ты неплохой. Уже четыре года служишь ты у меня, и ничего дурного я за тобой не замечал. Я тоже человек,

у меня есть глаза и я вижу, что сейчас пришло время отблагодарить тебя за службу.

Молодой человек поклонился еще раз. От радости его сердце стало биться чаще.

— Хочу оборудовать для тебя квартиру в моем доме, что на берегу моря, такую же, какую дал Карлу Марковичу. Если хочешь, можешь написать в Шушу письмо отцу, чтобы он перевез сюда семью, будете жить вместе. Напиши о том, что я, Долмазов, хочу тебя женить.

У молодого человека от смущения покраснели уши. Он опустил голову.

— Ну, как, хочешь жениться или нет?

— Нет, Петр Степанович,— застенчиво ответил Смбат, исподлобья посмотрев на хозяина и комкая фуражку в руках.

— Понимаю: не хочу, но и не отказываюсь. Не так ли?

— Где у меня средства, чтобы содержать и себя, и родителей, и сестер, да еще жениться?

— Это ты верно говоришь, Смбат. Но бог милостив. Ты хорошо служи, и я скоро, очень скоро помогу тебе.

Смбат опять поклонился.

— Но почему не спрашиваешь у меня о невесте? А это такая девушка, Смбат, такая девушка... Если увидишь, глаз не отведешь. В Баку не найдешь другой такой красавицы.

Смбат бросил на своего господина вопросительный взгляд.

— Ну, если ты и вправду умный, угадай, о ком я говорю. Угадай-ка, гм...

Смбат отрицательно покачал головой.

— Ну конечно, куда тут догадаться; тебе и в голову не придет, что сможешь обладать такой девушкой.

Смбат подумал, что Петр Степанович шутит и, улыбаясь, посмотрел ему в лицо.

— Ты знаешь управляющего моим заводом, астраханца Карла Марковича, господина Попова? — спросил Долмазов, подчеркивая последние слова.

Смбат ответил, что с Карлом Марковичем знаком.

— А его дочку, Катерину Карловну, знаешь?

— Тоже знаю.

— Ну вот, я тебя и женю на ней.

Смбат был уверен, что Петр Степанович продолжает

шутить, поэтому не придал особого значения его словам и ничего не сказал.

— А ты видел дочь Карла Марковича?

— Видел.

— Ну как, нравится она тебе?

Смбат опять промолчал.

— Правда, хорошая?

— Очень хорошая.

— Ого, какой ты молодец, а я думал, что она тебе не понравится,— произнес Долмазов с насмешливой улыбкой.

От стыда и смущения Смбат снова залился краской и опустил голову.

— Ну, значит, готовься,— продолжал Петр Степанович, на этот раз придав лицу серьезное выражение.

— Что прикажете?

— Я с тобой говорю о таком деле, а ты еще спрашиваешь «что прикажете»,— вспыхнул Долмазов.— Да: телеграмму своим, чтобы они выехали сюда. Недели через две я должен отправиться в Нижний Новгород на ярмарку и хочу закончить все сам. С ярмарки привезу тебе в подарок два лотерейных билета — один на твое счастье, другой на счастье твоей невесты.

Смбат вовсе опешил. Он все еще не верил, что Петр Степанович говорит с ним серьезно.

— Ну, понял ты меня? Иди, душа моя, иди, приготовься,— повторил Петр Степанович решительным тоном.

Смбат не двигался с места.

— Да, кстати, возьми вот это на расходы; если тебе не хватит, я дам еще.

С этими словами Петр Степанович выдвинул ящик стола, вынул три сотенных и положил их перед Смбатом. Увидев деньги, молодой человек будто очнулся. Постепенно он начал приходить в себя. То, что до этого момента казалось ему фантазией, стало явью. Но он не посмел даже пошевельнуться и, бросив взгляд на деньги, вновь удивленно посмотрел на хозяина.

— Что ты смотришь, как баран? Встань, возьми деньги, слышишь ты меня?

Смбат встал.

— Сейчас же пойди и закажи себе приличный костюм,— повторил Петр Степанович.

Смбат взял деньги.

— Положи их в карман и не задерживайся. К полу-
дню придешь ко мне обедать, я подробно расскажу о моих
намерениях, касающихся тебя.

Смбат, согнувшись до колен, поклонился хозяину, не
произнося ни слова. Потом он попятился к дверям, еще
несколько раз поклонился и вышел.

Из груди Петра Степановича вырвался глубокий вздох
облегчения.

— Ух, слава тебе господи, я не думал, что так легко
отделаюсь. А Смбат теперь готов взлететь от радости,
только крыльев у него нет. Однако посмотрим, что даль-
ше будет,— еще надо уломать родителей Катерины. Ну,
это не так уж трудно. Все же надо быть осторожным.
Осторожность, осторожность прежде всего!

— Придется кое-что пообещать и Карлу, и Марии
Ивановне, и Смбату, а потом... посмотрим... Это будет
уже легко уладить.

При этих словах Долмазов вскочил с кресла, от ра-
дости потирая руки. Он позвал слугу и приказал принести
кофе.

10

— Что ты говоришь, мамочка, Смбат не шарлатан, он
настоящий барин.

— Настоящий барин или не настоящий, но он не стоит
одного волоса моей Кати. Кто мог подумать, что Катя
согласится пойти за какого-то чумазого приказчика.

— Тебе говорят, что не долго ему оставаться чума-
зым. Петр Степанович должен открыть магазин, пони-
маешь это или нет? Смбат, я и Артем войдем в компанию.
Пожалуйста, иди посмотри, что за квартира будет у
Смбата, какую мебель уступил ему Долмазов! Ну, пойди,
а потом будешь рассуждать, годится ли Смбат в женихи
для Кати. Мария-джан, сегодня я его встретил — он одет
как франт и похорошел — прямо кавказский красавец.

— Эх, господи, думала я одно, выходит другое...

— Не получилось, так что поделаешь! Знаешь, Мария,
я слыхал, будто врачи запретили Долмазову жениться,
потому что он болен.

— Болен, болен... На днях он будет сватать дочь Пирзадова, а ты говоришь — болен.

— Ну-у-у, что ты говоришь? Да... вот, вот, видишь, Мария, разве Петр Степанович упустит такого богача, как Пирзадов, и сосватает дочь какого-нибудь приказчика, вроде меня...

— А чем Катя хуже дочери Пирзадова — умом, красотой или способностями?

— Потише, потише... Чем хуже, ты спрашиваешь? Приданым, приданым, вот чем.

Долмазову, как и был он уверен заранее, ничего не стоило уговорить Карла Марковича. Для этого достаточно было пообещать кое-что, и простачок, растерявшийся от этих подачек, не долго думая, согласился выдать дочь за Смбата.

Но не так легко было уговорить Марию Ивановну. В мыслях она готовила другую судьбу своей дочери. Когда однажды утром Долмазов сказал ей, что нашел для Кати хорошего жениха, Мария Ивановна сначала подумала, — не намекает ли он на себя. Ее сердце чаще забилось от радости. Но за этими радостными секундами последовало разочарование. Долмазов выразился яснее, и счастье бедной матери сменилось грустью. Мария Ивановна потупила глаза и ничего не смогла ответить, только глубоко вздохнула, бросив на Долмазова укоризненный взгляд.

Петр Степанович появлял Марию Ивановну, но не придал ее вздохам никакого значения. Быть может, молчание и взгляды Марии Ивановны произвели бы на Долмазова более сильное впечатление, если бы он был уверен, что наивной матери известно тяжелое испытание, обрушившееся на голову ее несчастной дочери...

Долмазов похвалил Смбата, его ум, образованность, энергию и красоту. Он повторил, что после женитьбы откроет для Смбата, Карла Марковича и Артема хороший магазин, сделает их своими компаньонами. Но Мария Ивановна осталась безразличной. Его обещания не произвели на нее такого впечатления, как на Карла Марковича. Она не поддалась уговорам, не дала своего согласия, однако попросила Долмазова повременить, чтобы подумать и посоветоваться с мужем. Долмазов ушел с надеждой, что Карл Маркович уговорит Марию Ивановну, и трудная задача, так беспокоившая его, будет благополучно решена.

Но что думала сама Катерина Карловна? Согласна ли она выйти замуж за Смбата? Надо сказать, что вначале это очень волновало Долмазова. Однако, поговорив однажды с девушкой наедине и узнав ее мысли, он вернулся домой в довольно веселом настроении. Да, ответ Катерины Карловны утешил Петра Степановича. Да иначе и не могло быть. Перед девушкой были два выхода из ее горестного положения: согласиться на предложение Долмазова и выйти замуж за Смбата или остаться у своих родителей, открыть им свою тайну, ожидая позора, который угрожал ей в ближайшем будущем.

Последняя мысль приводила в ужас Катерину Карловну: стыдливость, скромность, наконец, самолюбие не позволяли ей рассказать родителям о своем неизгладимом позоре. Да ведь это значило не только слышать упреки родителей, но и обрушить на них неожиданный удар: ни Карл Маркович, ни Мария Ивановна, конечно, не перенесли бы такого удара.

Не могла она обратиться и к противоестественному и преступному способу, к которому обращаются многие женщины в ее положении: это было опасно, страшно; Катерина отказалась от него.

Она хотела жить, не раскрыв своей позорной тайны родителям, не став предметом сплетен и презрения общества. И ради этого она не отказывалась от средства, которое казалось ей не менее позорным и отвратительным. Она терпела присутствие Долмазова, уединялась и говорила с ним о своем будущем, выслушивала его советы. Она была бы согласна даже выйти замуж за него, лишь бы скрыть свой позор. И Долмазов, воспользовавшись ее безвыходным положением, постепенно склонял ее на свои грязные условия...

Так или иначе, девушка согласилась выйти замуж за Смбата. Согласился с этим и простачок Карл Маркович. Возражала лишь Мария Ивановна. И вот супруги у себя в спальне горячо спорили. Катерина и Артем находились в своих комнатах; молодой человек был занят какими-то расчетами, которые должен был представить Петру Степановичу.

— Я тебе говорю, не затягивай дело, имей в виду, потом хуже будет,— продолжал уговаривать свою жену Карл Маркович.— Сама Катя согласна, чего же ты еще хо-

чешь? Ну, дело закончено, завтра будет обручение, а через пять дней свадьба; Петр Степанович торопится, на будущей неделе он должен выехать в Астрахань, а оттуда на ярмарку.

— А ты откуда знаешь, что Катя согласна? Я ее спрашивала — она ничего не отвечает, плачет. Не знаю, что случилось с моей бедной дочерью — больше месяца у нее глаза не высыхают от слез, с каждым днем она тает.

— Девочка нездорова; мне Петр Степанович сказал, что в тот вечер она простудилась. А вчера я щупал пульс — ее лихорадит. Да где же она?

— Сидит в своей комнате, грустит, ни с кем не разговаривает.

— Катя, Катюша, душенька, пойди-ка сюда,— позвал Карл Маркович.

Вошла Катерина Карловна. Как изменилась бедная девушки после того злосчастного вечера, как она пожелтела и осунулась за два месяца! На ее бледных щеках, как следы прежней свежести, еле виднелись два красных пятна. Черты ее лица обострились, глаза ввалились, губы поблекли. Даже ее походка, недавно твердая и гордая, стала другой, как и все ее движения.

Войдя, она тихими шагами приблизилась к стулу, стоявшему у стены, и, обессиленная, не села, а упала на него.

— Вот так, Катя, ведь через несколько дней ты выйдешь замуж; сядь поближе, чтобы наглядеться на тебя. Что ты делала у себя?

— Читала,— ответила девушка слабым голосом, в котором чувствовалось ее глубокое горе.

— Опять роман; сколько раз говорил я тебе, что вредно читать романы. Посмотри на себя, как ты похудела.

— Катя читала не роман, папа, а библию, скоро она священником станет,— вмешался в разговор Артем Карлович, вошедший в комнату вслед за сестрой.

— Библию? Это ты хорошо делаешь, но разве сейчас время для чтения? Ведь в воскресенье твое обручение, приготовь свой туалет. Да, Катя, душа моя, жениха-то своего ты видела? Нравится он тебе?

Девушка ничего не ответила, только опустила голову. Из груди ее вырвался глубокий вздох.

— Ну ладно, не стесняйся, знаю и так, что нравится. Да кому не понравится Смбат?

— Мне он тоже нравится, папа,— опять вмешался Артем.— Мы вчера с ним на лодке покатались по морю. Очень хороший парень.

— Слышишь, ну, слышишь, Мария, и Артему он нравится, а ты что форсишь?

— А почему Смбат не должен ему нравиться — ведь они оба одинаковые.

— А что, мама, чем же я плох?

— Не плохой ты, но ничего из себя не представляешь.

— Ну-ну-ну, хватит. Самой Кате по душе пришелся жених. Не так ли, Катя?

— Как вам угодно, так и делайте,— ответила Катерина Карловна.

— Вот так, молодчина, Катя. Ну, Мария, говори, что надо завтра купить — ведь Петр Степанович торопится. Вчера он мне дал двести рублей на расходы.

Мария Ивановна вновь стала возражать. Она сказала, что торопиться не надо, лучше подождать, может быть, найдется более подходящий жених для Кати, что Катю уже знают в городе и все ее хвалят — много богатых молодых людей пожелают сделать ей предложение.

Было уже поздно. Катя ушла в свою комнату, Артем лег спать. Супруги продолжали спорить.

Наконец, увидев, что жена упорствует, Карл Маркович не выдержал:

— Все равно, если даже ты подавишься, Мария, я Катю выдам за Смбата, потому что не могу обидеть Петра Степановича.

Мария Ивановна вспылила, но, получив от мужа легкую пощечину, в конце концов оскорблённая, с горечью в душе, ушла.

На следующее утро Долмазов вновь посетил Поповых и через час ушел совершенно успокоенный. Ему удалось сломить упорство Марии Ивановны.

Спустя пять дней, прекрасным тихим вечером, в небольшой церкви в центре города состоялось бракосочетание Катерины Карловны и Смбата. Долмазов, до последнего момента выполняя роль благодетеля, присутствовал на свадьбе, как крестный брат Смбата.

Смбат был сыном бедных родителей из города Шуши. Двенадцатилетним мальчиком его отдали в городскую школу. Спустя три года, когда Смбат еле научился читать и писать по-армянски и по-русски, отец взял его из школы и определил в магазин. Скромный по характеру, способный и трудолюбивый, юноша уважал старших. Он любил своих родителей и двух сестер. Уважал он и купца, у которого работал приказчиком, выполнял все его поручения. Но его покорность не доходила до раболепия. Его отец работать уже не мог, и вся забота о семье легла на его плечи. Пять лет прослужил Смбат в магазине у купца, его мизерного жалованья еле хватало для поддержания существования семьи. Чтобы вырваться из нужды, Смбат уехал в Баку искать счастья и поступил приказчиком к Долмазову за сорок рублей в месяц. И здесь он жил впроголодь, так как почти весь свой заработок отсыпал родным. Отец беспрестанно жаловался на бедность. Читая письма, полученные из дома, Смбат часто проливал слезы, уединившись где-нибудь в укромном углу. Четыре года он прослужил у Долмазова на том же жалованье. Не раз он просил хозяина прибавить жалование, но тот оставлял эти просьбы без внимания. Когда недавно Смбат еще раз намекнул об этом, Долмазов рассердился:

— Если будешь беспокоить меня, собирай свои вещи и убирайся.

Смбат замолчал. Но не прошло и двух месяцев, как Долмазов пригласил к себе юношу и сообщил, что берет его под свое особое покровительство, предложил в невесты такую красавицу, как Катерина Карловна, и обещал независимую жизнь, собственный магазин... В доказательство этих обещаний дал три сотенных.

Какое счастье, какая неожиданная радость для молодого человека, с детства гнувшегося под ярмом нищеты! Выйдя от Долмазова с тремя сотенными в кармане, Смбат чувствовал себя ошеломленным от радости. Он не верил, что все это происходит наяву, предложение Долмазова казалось ему сновидением. Но это не сон, не чудо — вот они, три зелено-красных бумажки! Смбат прямо на улице то и дело вынимал из кармана сотенные, рассматривал их

со всех сторон, складывал и так и этак, клал в карман и опять вытаскивал, смотрел на них и прятал вновь. Постепенно он начал приходить в себя, и сердце его сильнее забилось от радости.

— Наконец, наконец я стану на ноги,— повторял он про себя. Наконец бедные мои родители и сестры увидят хорошие дни! Катерина Карловна... гм... мог ли я когда-нибудь думать, что эта красавица станет моей женой...

Целую неделю Смбат не находил себе места.

Наконец наступил день свадьбы. Рука об руку с Катериной Карловной, щегольски одетый, стоит Смбат перед алтарем. Он весь дрожит от радости, его большие черные глаза сияют, сердце готово вырваться из груди. Бракосочетание закончено. Взяв под руку Катерину Карловну, Смбат входит в собственную квартиру. Счастью его нет предела, он мечется из стороны в сторону, ухаживает за гостями. Ему кажется, что счастлив не только он сам, но и все окружающие, все радуются за него. Десять, сто раз он склоняется в поклоне перед Долмазовым, неустанно благодаря своего доброго покровителя.

Но, увы, призрачное счастье Смбата длится недолго. Неумолимая судьба спешит разрушить недолгодневное счастье бедного юноши.

Четвертый день после свадьбы. Утро. Солнце еще только окрасило небосвод. Смбат, небрежно одетый, сидит в своей комнате. Его лицо бледно и озабоченно, его мучают какие-то мысли. Закрывшись в своей комнате, он без конца вздыхает, сжимает обеими руками голову, рвет на себе волосы. Вдруг он решительным движением встал, оделся и с растрепанными волосами, как сумасшедший выбежал на улицу. Он не возвратился домой ни в этот день, ни на следующий. Его искали, но напрасно.

Где же Смбат?

12

Чудесное зрелице представляет приморский город в тихую, лунную ночь. Стоя на берегу, сквозь густой лес мачт смотришь на водные просторы, которые отливают серебром под бледным светом луны, плывущей по бездон-

ному небу, и восторг охватывает тебя... Есть непонятное могущество, необъяснимая сила, которая зачаровывает человека, заставляет забыть тревоги материального мира. Душа и думы улетают далеко, в беспредельную глубину небес, где нет ни горестей, ни повседневных мелких забот и огорчений, которые день и ночь одолевают смертного. В такие минуты человек не думает ни о чем, мысли его замирают, он весь отдается мечте, погружается в фантастический мир, растворяется в нем, как лед в кипящей воде.

В такой чудесный вечер, на пятый день после свадьбы Катерины Карловны, на одной из пристаний нетвердыми шагами прохаживался молодой человек. Он был в черном суконном костюме, без пальто, с непокрытой головой. Скрестив руки на груди, он жал под мышкой белую летнюю фуражку. Время от времени молодой человек останавливался, смотрел на луну, которая, как застенчивая барышня, то скрывалась за редкими прозрачными облаками, то выскальзывала вновь.

В дальнем конце пристани стоял небольшой грузовой пароход, готовившийся к отплытию. Матросы складывали на палубе товары. Здесь же находилось несколько пассажиров, по-видимому персов. Засунув руки в карманы и устремив острый взгляд в далекий морской горизонт, на палубе стоял низенький, краснолицый и тучный швед, капитан парохода. Смбат поднялся по трапу и подошел к капитану.

- Когда вы отправляетесь?
- Через час, — ответил тот, не отрывая взгляда от моря.
- Значит, в одиннадцать часов?
- Точно!

Смбат сошел с парохода и сел на одну из труб на пристани. Убежать — вот единственный выход, который может спасти его от позора. А другое... о-о-о... он не сможет сделать этот страшный шаг. Страшный не только для него, Смбата, но и всех его родных — ведь он их единственный кормилец. Это было бы неожиданной смертельной раной для его старых родителей. Да, сыновняя любовь не позволяет ему покончить самоубийством. Единственный выход — уехать из этого проклятого города... Какой позор, господи боже, и кто мог подумать, что Долмазов окажет-

ся таким чудовищем. И как он, Смбат, очертя голову, бросился в расставленные сети! Долмазов... о-о-о, Долмазов, теперь понятен скрытый смысл твоих благодеяний. Отвратительный, грязный человек, разве мало тебе того, что ты принес горе одной семье, ты сделал несчастной и вторую. О-о-о... если бы когда-нибудь ты встретился Смбату... Но теперь остается одно — скорее уехать отсюда. Уже он стал посмешищем для всего города, все говорят о свадьбе. С каким лицом он может остаться здесь?

Погруженный в эти мысли, Смбат стал вглядываться в дальний морской горизонт. Так он стоял, не двигаясь, около получаса. Вдруг до его слуха донесся слабый гудок. Быстрыми шагами он направился к пароходу и поднялся на палубу.

Пароход стал медленно отчаливать, держа курс в открытое море. Смбат неотрывно смотрел на город, который постепенно отдался, исчезал. В последний раз он взглянул в сторону берега и испустил тяжелый вздох.

— До свидания, призрачное счастье,— сказал Смбат, и две крупные слезы, выкатившиеся из его глаз, упали на палубу.

13

Прошло около трех лет с тех пор, как Смбат уехал в Персию. На одной из узких улиц Астрахани, в маленькой комнате, жила семья из трех человек: сгорбленная старушка, худая, пожелтевшая, но не потерявшая красоты молодая женщина и двухлетний болезненный мальчик. Это были Мария Ивановна, Катерина Карловна и ее сын, Карла Марковича не было в живых. Когда открылась тайна бегства Смбата в Персию, это разбило его сердце. Вместе с сыном он ушел от Долмазова и долго не мог найти работу. Позор, выпавший на долю его дочери, и невыносимая нужда окончательно придавили старика. Года через два он умер. Артем Карлович остался жить в Баку. Он работает приказчиком на каком-то заводе и, получая маленькое жалованье, содержит мать, сестру и ее ребенка.

1884 г.

Тифлис



ФАТЬМА И АСАД



1

изнь на улицах в Шахари-Ширване, днем замиравшая от удущливой жары, к вечеру пробуждалась. На базаре поднимался невероятный шум. Фруктовщики, продавцы овощей, молока и сыра разноголосым хором, не щадя красок, восхваляли свои товары. Купцы и ремесленники закрывали лавки и возвращались домой.

Издали доносился церковный звон, а с высоты минарета Джума-мечети звучали молитвенные напевы муллы Халила. Правоверные на корточках совершали омовение у водоемов мечетей и усердно молились.

Юноша, проходивший в этот час по среднему базару в сторону Имамлу, был мрачен и задумчив. Его печаль не была похожа ни на безвыходную тоску обездоленного нищего, ни на отчаяние купца, потерявшего в морской пучине свой товар, ни на скорбь мусульманина, не сотворившего ни одной из пяти обязательных молитв. Никто и ничто не привлекало его внимания, даже дервиш Ахад, распевавший в угоду иноверцам своим проникновенным голосом:

Иисус спустился на землю с небес.
Он весть принес о мире чудес...

Юноша брел неверными шагами, понурясь и засунув правую руку за чеканный пояс, словно это был несчастный Меджнун, покинувший родительский кров и шагавший по пустынным, выжженным солнцем полям Аравии, прославляя любовь к Лейли.

Юноша миновал базар, прошел половину квартала Имамлу и, свернув в узкую улицу, остановился перед полуразвалившимся домом. Здесь было пустынно, лишь вдалеке играла группа детишек да какой-то босой и полуодетый человек снимал белье со стен бани.

Юноша вынул руку из-за пояса, поправил широкие полы желтой чухи и короткого суконного архалука и провел рукой по едва пробивавшимся темным усикам. Это был Асад из Сари-торпага, пользовавшийся известностью в Ширване благодаря атлетическому телосложению, мужественному виду и бесстрашному сердцу.

Заложив руки за спину под чухой, он долго всматривался в темно-серые ворота новенького домика. Частые вздохи, необыкновенный блеск глаз, нетерпеливые движения — все указывало на то, что он кого-то ждет.

Вдруг на его лице сверкнула радостная улыбка. Темно-серые ворота медленно приоткрылись, и показалась головка молодой женщины, покрытой шелковым убором с ровным рядом турецких золотых монет на лбу.

Взволнованный Асад бросился к воротам.

Надо было иметь чрезвычайно тонкий слух, чтобы разобрать шепот юной девушки, шепот слабый, робкий и отрывистый.

И у Асада появлялся этот тонкий слух, когда он внимал румяным губкам, обвеявшим его дыханием небесного счастья. Он стоял в пяти шагах от ворот, прислонившись к стене, чтобы скрыться от нескромных глаз случайного прохожего.

О чем они шептались? Это известно только тому, кто читает в сердцах смертных и для кого нет тайн. Но мы бы погрешили против истины, сказав, что шепот длился более пяти минут.

Ворота снова закрылись, и украшенная золотыми турецкими монетами головка скрылась, унося с собой глубокий вздох Асада. И вот он опять один — лицо его взволнованно, глаза сверкают, широкая богатырская грудь вздымается от тяжелых вздохов.

— Боже всемогущий, даруй мне терпенье! — вырвалось у него.

Но словам его не было доступа в плотно закрывшиеся ворота.

Он все ждал. Увы, темно-серые ворота постепенно обволакивала вечерняя мгла. Как голодный волк, юноша бродил по безлюдной улице.

Тени сгущались, на синем небе засияли звезды, водворилась тишина, базарная суeta давно стихла.

Вдалеке раздались шаги, на углу мелькнула темная фигура. Асад все шагал взад-вперед.

Неизвестный продолжал медленно приближаться. Асад не сразу услышал шаги. Когда юноша обернулся, тусклый отблеск его папиросы упал на лицо человека среднего роста, полного, с короткой бородой, выкрашенной хной. Узнав Асада, незнакомец вздрогнул и словно прирос к месту.

Кто это был?

2

Семь раз обошла луна свой круг с того дня, как взор Асада приковала дочь имамлинца муллы Гани, Фатьма. Первый раз он увидел ее в квартале Сари-торпаг. Фатьма гостила у сестры Багим, жены сариторпагца Халила-аги.

Когда Фатьма сидела на дворе без шали, Асад, гонявший голубей у себя на крыше, увидел ее, и сердце его мгновенно воспламенилось.

И кто остался бы равнодушен, если бы хоть на мгновенье увидел Фатьму — ее глаза, схожие с черным янтарем, ее дугообразные брови, родинку на лбу, ресницы, подобные стрелам, румяные щеки, белый пухленький подбородок, ее подобную двум гранатам грудь, вздымавшую тонкую канасовую рубашку, когда она шла своей грациозной походкой!

С этого дня Асад и день и ночь изводил свою мать просьбами пойти к матери Фатьмы и начать переговоры о сватовстве. Старуха Нурджиган попыталась вскользь намекнуть об этом мужу, но он ее так отчитал, что она не решилась больше и заговорить с ним о просьбе сына.

Фатьма была красива и довольно богата; немало беков и хаджей не прочь были взять ее в жены. Но суженym

ее считали Хаджи-Алеакпара, первого человека в квартале Имамлу. А кем был Асад? Простым чеканщиком по серебру...

И все же Асад не отчаялся. С тремя огромными караван-сарайами и громким именем Хаджи-Алеакпара он мог поспорить только одним оружием — мужественной красотой и отвагой. И он решил сразиться этим оружием с Хаджи.

И когда Фатьма как-то опять гостила у сестры, Асад, притаясь на крыше, взором, полным огня, следил за красавицей. Фатьма слышала, что он по отваге и силе первый среди юношей Сари-торпага. Узнав Асада, Фатьма засмеялась, покраснела и убежала.

Это было добрым знаком. Надежды Асада окрепли. С бьющимся сердцем он часто приходил к кварталу Имамлу, если Фатьма долго не появлялась в доме сестры. Он надеялся хоть издали посмотреть на любимую. Но это ему не всегда удавалось.

Хаджи-Алеакпар узнал о тайной, пока еще невинной связи молодых людей, а однажды собственными глазами увидел Асада вечером у ворот Фатьмы.

Он поклялся положить конец посещениям Асада. И вот сейчас, поздним вечером, они неожиданно встретились лицом к лицу.

— Негодный! — пробурчал Хаджи-Алеакпар, закладывая под чухой руку за спину.

Асад молчал. Будь чуть светлее, можно было бы подметить глубоко пренебрежительный взгляд, устремленный на Хаджи. Между тем Хаджи-Алеакпар, постепенно приближаясь, отрезал Асаду путь.

— Салам меалекум¹, — проговорил Асад со сдержаным волнением.

Не отвечая на приветствие, Хаджи-Алеакпар отступил шага на два и процелил:

— Свидетель бог, я тебе не уступлю дороги, пока ты не поклянешься, что духу твоего не будет впередь в этом квартале.

Асад иронически засмеялся.

— Клянись, негодник!

¹ Салам меалекум — приветствие.

— Хаджи,— ответил Асад спокойно,— Асад в жизни не проливал ничьей крови и не собирается этого делать.

— Что такое? — заревел Хаджи исступленно.— Да кто ты такой, чтоб кровь проливать! Плюбуйтесь-ка на него, бога ради,— продолжал Хаджи-Алеакпар, оглянувшись, хотя на улице, кроме них, никого не было.— Щенок из Сариторпага задумал отбить у Хаджи-Алеакпара девушку. Да ты заруби у себя на носу — ведь сам аллах не может отнять у меня дочь муллы Гани, а уж подобные тебе... щенки...

Кровь ударила Асаду в голову. Но все же у него хватило силы сдержаться.

— Фатьма пойдет за того, кого любит.

— Хах-ха-ха, да чтобы Фатьма полюбила Асада, ха-ха-ха!..

— Видит бог, Хаджи, довольно. Двух жен имеешь, и будет с тебя. Алчность к добру не приводит.

— Да будь у меня и сорок жен, все же не допустил бы, чтобы Фатьму получил такой проходимец, как ты!

Терпение Асада иссякло. Не в силах снести оскорблений соперника, он крикнул вне себя от ярости:

— И ты, бесстыдный, еще носишь звание Хаджи?

— Заткни глотку... сук...

Не договорив, Хаджи-Алеакпар отступил на шаг и быстро вытащил из кармана какой-то черный предмет. Это движение даже в темноте не ускользнуло от глаз Асада. Он бросился на Хаджи, схватил его за локти и отшвырнул с такой силой, что тот покатился кубарем. Хаджи-Алеакпар не успел еще прийти в себя и позвать на помощь, как Асад, подняв револьвер и забросив его на крышу соседнего дома, скрылся.

3

Опять наступил вечер, опять муэдзины просили помочь у аллаха, а звон церковных колоколов призывал верующих в божий дом. С востока дул ветерок. Но как ни было приятно его дыхание, оно несло с кладбища и, казалось, напоминало живым:

«Не гордись, человек, и знай, последний твой приют здесь!»

Но никто не внимал этому зову, а имамлии — в особенности.

Перед высоким домом Хаджи-Алеакпара собралось около десяти отважных юношей. Среди них стоял Хаджи-Алеакпар в шелковой абе¹, накинутой на плечи, и с длинным чубуком в руке. Юноши, заложив руки за пояс, почтительно слушали его речь:

— Каждый обязан отстаивать честь своего квартала. Мы, имамлинцы, с дедовских времен оберегали наше достоинство, тем более мы должны беречь его теперь. Одному аллаху известно, как закипает во мне кровь, когда я вспомню, как этот нечестивец, сын нечестивца, проходил по этим улицам. Плюньте же в лицо сыну Хаджи-Кяrima, Хаджи-Алеакпару, за то, что он в тот вечер не пустил свинца в брюхо подлецу. Но что я мог сделать, если негодяй вырвался из моих рук, как заяц? С досады я зашвырнул револьвер на крышу. Ну, что было — то прошло, «кто стреляет сзади — всегда попадает в пятку», — говорит пословица. Теперь защита нашей чести за вами: парень из Сари-торпага осмелился опозорить доброе имя нашего квартала — стерпите ли вы это? Аллах свидетель — не будь я Хаджи, сейчас бы сбросил шелковую абу, взялся за дубину и один выступил против всего Сари-торпага. Но на что это будет похоже? Такие молодцы, как вы, не допустите, чтобы я опозорил мою бороду? Не правда ли?

— Верно, Хаджи, сущая правда, — подхватил шашлычник Эйбат, потерявший глаз в Магаррамской схватке.

— Слышите, молодцы, — не то опозоримся навеки! — поддержал Мейти, о котором было известно, что он ловко владеет дубинкой.

Охотник на птиц Аскяр, отличный метатель камней, двоим выбивший глаза, а третьему сломавший ногу, заявил, что откладывать такое дело — малодушие и что сегодня же надо начать квартальное сражение с Сари-торпагом. Это соображение было всеми одобрено. Однако Хаджи-Алеакпар не спешил. Он предложил молодцам по папиросе и молвил:

— Торопиться незачем, успеем, не сегодня, так завтра. Но вот что необходимо принять в расчет.

— Приказывай, Хаджи, приказывай! — подхватили в один голос удальцы, складывая руки на груди и отвешиваая поклоны почтеннейшему Хаджи-Алеакпару.

¹ Аба — накидка.

— Допустим, нынче же начнется квартальное сражение,— продолжал Хаджи, вынимая изо рта чубук и поглаживая бороду,— на мой взгляд, наша затея медного гроша не будет стоить, если из схватки выйдет невредимым сам зачинщик.

— Асад? — в один голос спросили все.

— Да, именно Асад. Клянусь святым именем Али, что ваш священный долг — прикончить его. Прикончить во что бы то ни стало. Эйбат, твое дубье ему первому должно разбить голову. Аскяр, запуская камень, целься в него, точно так же пусть поступит и каждый из вас. Слышите?

— Будет исполнено! — отозвался каждый, прикрывая пальцами глаза и отвешивая поклон.

— Долгой жизни вам, настоящим мужам! — одобрил удовлетворенный Хаджи-Алеакпар.— А теперь пожалуйте ко мне на чай. Там мы потолкуем о предстоящей схватке.

Удалцы, полыщенные приглашением, переглядываясь, последовали за Хаджи-Алеакпарам.

4

Было утро. Девятипалый Махмуд из Сари-торпага перед своей лавкой брызгал водой и постегивал прутиком крапчатую папаху из ширазской шерсти. В это время имамлинец шапочник Мейти нарочно прошел мимо него. Махмуд невзначай обрызгал его. Мейти приостановился и пустил крепкое словцо. Махмуд попросил извинения. Мейти, еще вечером обещавший Хаджи-Алеакпару и своим товарищам найти предлог для ссоры, выругал Махмуда еще крепче. Махмуд дорожил своей честью, а потому ответил Мейти как подобало, за что получил увесистую оплеуху.

Имамлинцы были наготове, они мгновенно бросились на Махмуда. Появилось несколько сари-торпагцев, и завязалась легкая схватка. Лавки шапочников сейчас же закрылись. Побитые сари-торпагцы отступили в свой квартал. Дорогой они поведали обо всем серебряных дел мастеру Асаду.

Асаду не хотелось участвовать в потасовке, но он счи-

тался предводителем молодежи и понимал, что обязан вступиться за пострадавших товарищей.

С быстротою молнии разнеслась по базару весть, что кварталы Имамлу и Сари-торпаг восстали друг на друга и что готовится яростное побоище. И не только обитатели этих кварталов, но и многие из других кварталов города позакрывали свои лавки, если не для участия в драке, то чтобы присутствовать в качестве зрителей.

Хаджи-Алеакпар на углу большой улицы подзадоривал молодежь, с которой был и брат Фатьмы — Ашим. Прежде всего с обеих сторон выступили юноши, поснимав чухи и намотав их вместо щитов на левые руки. Не прошло много времени, как за ними выступили и взрослые — квартальный бой начался.

Сражение происходило на центральной, самой просторной улице. Тысячи камней летели в ряды сражающихся. У всех были длинные дубинки, но ими еще не дрались, «палочный бой» еще не начался: противников разделяло большое расстояние. Звон выбиваемых стекол, вопли женщин и детей, дикий вой сражавшихся все нарастали, распространяя ужас.

Полицейские пытались вмешаться и унять противников, но, согбаясь под ударами дубинок, дали тягу и смешались с толпой. Безуспешными оказались угрозы и увещевания стариков.

Охотник на птиц Аскяр, метая камни как пули, уже вывел из строя двоих и заставил их бросить палки.

Шашлычник Эйбат яростно орал, потрясая дубинкой, выставляя чуху-щит и подпрыгивая на месте.

Внезапно раздались громкие крики имамлинцев. Шапочник Мейти, надвинув ширазскую папаху на глаза, под градом камней вдруг ринулся вперед. За ним бежал Эйбат и брат Фатьмы — Ашим. С той стороны, крича еще яростней, побежал шапочник Махмут — тот самый, что получил оплеуху от Мейти.

Начался бой дубинками.

В воздухе затрепетала чуха с красной подкладкой, приковавшая общее внимание. Владелец чухи ревел, как лев, и раскаты его голоса разносились далеко, далеко.

Имамлу наседал, Сари-торпаг отступал. Из строя было несколько раненых. Крики женщин усилились: матери оплакивали, отцы проклинали своих непутевых сыновей.

И ради кого же все это? Ради одной девушки. Но где же она, что делала в такую страшную минуту?

На крыше бани Ахмада-аги собралась группа женщин и, притаившись за куполами, следила за ходом драки. Впереди всех, на краю крыши, стояла Фатьма, да, сама Фатьма. Ах, как хорошо, что матери не угадывали в ней истинную виновницу драки, не то, пожалуй, растерзали бы ее из-за своих любимых сыновей. Женщины старались оттащить Фатьму от края кровли, но это им не удавалось. Да и кто бы смог это сделать, когда всесильной волей судьбы все ее внимание, все ее мысли, душа, сердце были прикованы к одной точке... к красной чухе.

Но вот все разбежались, площадь опустела, и на ней осталась только красная чуха. Имамлинцы, сломя голову, понеслись туда, а впереди всех — Эйбат, Мейти и Ашим. Но убежит ли красная чуха, или окажет сопротивление этой разъяренной толпе? Выйдет ли Ашим живым из этого побоища? Почему заодно с ними и брат Фатьмы? Не будь его — сгинуть бы всем имамлинцам,— не стоят они и волоска красной чухи.

Пока красавица Фатьма изнемогала от этих мыслей, сражение все разгоралось. Сари-торпагцы, получив подкрепление, с криками двинулись вперед. Эйбат, Мейти и Ашим окружили красную чуху. Фатьма невольно вскрикнула: опасная минута! Она видела, как ее брат колотил палкой красную чуху. С другой стороны нападали Эйбат и Мейти. Фатьма заметила, что красная чуха не обращает внимания на Ашима, а отвечает на удары только двум противникам. Несомненно, он щадит Ашима. Сердце Фатьмы скнуло: на такое великодушие способен только Асад!

Палка выскочила из рук Мейти — и он растянулся навзничь у ног Асада. Та же участь постигла и Эйбата. Браво, красная чуха! В ту же минуту на лбу Асада выступила красная черточка: кровь, струясь, заливалась ему лицо и грудь. Это рана — от камня, пущенного птицеловом Асляром. Ноги у Фатьмы подкосились. Но вот Асад, помедлив минуту, выхватил из кармана что-то белое, быстро обмотал им лоб и с окровавленным лицом еще яростней заработал дубинкой.

Имамлинцы разбежались. Фатьма машинально обернулась. Крыша бани опустела, женщины скрылись. Она

бросила взор вниз: сари-торпагцы наседали. Один за другим валились на землю отведавшие палки Асада. Вдруг Асад исчез. В глазах у Фатьмы потемнело: не убили ли его? Она громко позвала на помощь и присела у края крыши.

Несколько человек с улицы приставили длинную лестницу к бане. Фатьма увидела, как слуги Хаджи-Алеакпара поднимаются по ней. Они уже поднялись до самой крыши и подзывали Фатьму, но в эту минуту лестница под ними дрогнула и с грохотом полетела вниз, увлекая за собой людей Хаджи-Алеакпара.

В этот же миг Фатьма почувствовала, как чьи-то руки сзади охватили ее. Как птица, попавшая в силки, она пыталась вырваться из этих рук, сжимавших ее точно железные тиски. Однако силы изменили ей, и она, обессиленная, отдалась власти неизвестных рук...

5

Если тщетными оказались усилия полиции и стариков, то самой природе удалось положить конец схватке: надвинулась вечерняя мгла, и ярость молодежи ослабела. Малопомалу толпы зрителей разошлись, противники, усталые и побитые, покинули поле сражения.

Взял верх Сари-торпаг, но имамлинцы утешались вестью об исчезновении в горячей схватке серебряных дел мастера Асада. С обеих сторон пострадало человек двадцать пять, троим из них грозила смерть.

Юноши, собираясь на перекрестках, делились подробностями боя. Хаджи-Алеакпара убеждали, что Асад если не убит, так тяжело ранен. Он приказал подать своим сторонникам шербету.

Пока они пили приторно-сладкий напиток, из дома муллы Гани послышались отчаянные крики, и какая-то женщина, растрепанная, босая, вырвалась на улицу с воплями:

— Люди, дочери моей нет! Люди, дочь мою похитили!
Это была мать Фатьмы — Зейнаб.

Только теперь стало понятно, почему исчез Асад. Кто другой мог похитить Фатьму, как не он?

Дрожь пробежала по спинам имамлинцев, все от стыда не знали, куда спрятать головы.

Сейчас же из среды молодежи выступило около двадцати человек с обещанием во что бы то ни стало найти Фатьму и вернуть домой. Но для этого следовало прежде всего получить доступ в Сари-торпаг.

Несколько «ахсахкалов»¹ заключили временное соглашение с «ахсахкалами» враждебной армии на право беспрепятственного передвижения по улицам обеих враждущих сторон.

У великих государств война имеет свои правила и законы; у шемахинцев были также свои правила и законы для квартальных битв. Законы, правда, неписаные, по с дедовских времен чтимые и охраняемые. Враждуют они только на поле брани,— в часы мира и перемирия противники внешне стараются соблюдать требования приличия.

Однако юноши, искавшие Фатьму, не нашли ее у Асада, да и его самого не было дома. Где же укрылись они? Те, кто это знал, не сказали, а те, кто не знал, обрадовались, услышав о новом подвиге своего любимца. Но честь имамлинцев требовала в эту же ночь отыскать Фатьму.

— Кто меня любит — пусть следует за мною! — воскликнул бледный, как полотно, Ашим.

Он сейчас же помчался домой, оседлал коня, вскинул ружье на плечо, засунул за пояс револьвер и кинжал и поскакал на поиски. Из двадцати добровольцев за ним последовали только четырнадцать.

— Эй, парни, отправляйтесь и вы! — приказал Хаджи-Алеакпар двум своим слугам-арабам.

Слуги, припрыгивая, пустились домой, захватили по хорошей дубине с круглым, точно утыканным гвоздями, набалдашником и примкнули к добровольцам. Группа разделилась на две части: одной должен был руководить Ашим, другой — «гумарбаз»² Гасан. Он в совершенстве изучил все глухие и темные закоулки города, двенадцать лет подряд играя с уличными сорванцами в бабки.

Все было готово к походу. Гумарбаз Гасан свой отряд повел нижней окраиной города к Сардарскому саду, а

¹ Ахсахкалы — старейшие предводители.

² Гумарбаз — азартный игрок.

Ашим был убежден, что Асад увел Фатьму либо к куполообразным могилам ханов, либо к тутовым рощам.

Всю ночь в квартале Имамлу стоял шум. Многие провели ночь без сна, сидя у ворот, чтобы дождаться возвращения юношей.

Не сомкнул глаз и Хаджи-Алеакпар, но по другой причине: его честь, его доброе имя были посрамлены. Хаджи стал предметом недовольства и глухого ропота всего квартала. Ведь всем стала известна сущность дела, все уже прекрасно знали, что подстрекателем, «зачинщиком» схватки был именно он, знали также о его побуждениях.

— Проклятье тебе, злобный сатана! Будь проклят! — повторял он беспрестанно по адресу Асада, яростно шагая взад и вперед по балкону своего дома.

Старая жена Хаджи-Алеакпара, Гюльнизар, испросив разрешение супруга, отправилась ночевать к родителям. Она не в силах была остаться в эту ночь под одним кровом с человеком, который захотел ввести в дом третью жену, да вдобавок с таким скандалом.

Уже было за полночь, когда распространилась весть, что Фатьма нашлась и что ее ведут. Те, кто не спал, разбудили спящих и гурьбой высыпали на улицу, направляясь к дому муллы Гани. Но весть оказалась ложной. Вернувшись со своим отрядом гумарбаз Гасан рассказал, что обыскал все уголки нижней части города — но тщетно, не нашел и следов Асада и Фатьмы.

Группа Ашима еще не вернулась. Мать его бросилась в ноги Гасану, умоляя его в слезах, чтобы тот со своими молодцами поспешил на помощь сыну. Кое-кто из юношей, окончательно обессилев, отправился спать. Вместо них отыскались другие добровольцы, и Гасан во главе большого отряда двинулся в верхнюю часть города.

Асад уже давно решил похитить Фатьму, если ему не удастся покончить дело миром. Непредвиденная схватка разрушила его последнюю надежду: он знал, что после такой борьбы невозможно надеяться на уступки со стороны матери и брата Фатьмы, и особенно самого Хаджи-Алеакпара.

Необходимо было, значит, решиться на крайние меры. В самый разгар суматохи Асад оседлал коня, прихватил двустволку, пистолет и кинжал работы дагестанца Теймура. Все это он вручил полоумному Беандалу, дав ему при этом рублевку, и наказал издалека следить за схваткой.

— Если кто и спросит — ни слова, понял? — приказал он полоумному Беандалу, который и впрямь медлителен был на ответы.

О своих дерзких планах Асад поведал только самым близким товарищам и попросил их помочи.

— Пусть это дело будет стоить нам даже жизни — мы охотно поможем тебе!

— Как начнется палочная схватка, вы не спускайте глаз с крыши и укажите мне, где Фатьма. Остальное я беру на себя. Вы ведь знаете ее, встречали, когда она ходила к сестре. Фатьма, конечно, не усидит дома...

Договорившись с товарищами, Асад бросился в гущу боя.

Он раньше всех увидел Фатьму. Как только сари-торпагцы обрушились на имамлинцев, как только Мейти и Эйбат свалились, Асад, считая бой выигранным, перебежал улицу и исчез за баней Ахмад-аги. Он поднялся на крышу, отбросил сопротивлявшегося банщика, побежал дальше и... нам известно, что он сделал.

День уже угасал, когда Асад, посадив на коня свою драгоценную добычу, добрался до сада сари-торпагца Хаджи-Багиша.

Садовник Абдулла, старик, закаленный в горниле жизни и многое повидавший за свои годы, знал Асада и, встречаясь с ним, обычно вспоминал его отца, с которым провел в молодости немало бурных дней.

— Что с тобой, паренек? — спросил он удивленно, увидя, что лицо Асада в крови, голова его повязана, а в объятиях у него потерявшая сознание девушка.

Асад в двух словах рассказал ему обо всем. Старый удалец предложил ему сойти с коня и спрятаться с бесценной добычей в его лачуге.

Пока садовник принес воду, Фатьма очнулась, открыла глаза, и глубокий вздох вырвался из ее груди.

— Это я, Фатьма, не бойся, — тихо и нежно сказал ей Асад.

Фатьма в ужасе вскочила, волосы у нее растрепались, бледная, колотя себя по голове, она восклицала:

— Ой, мать родная! Ой, брат родной!

Она бросилась к двери, но Асад загородил ей дорогу и схватил за руки.

— Не терзай себя напрасно,— и мать, и брат, и сестра твои живы.

— Зачем ты привез меня сюда?

Зачем? Неужели Фатьма не понимает зачем? Неужели она думала, что Асад допустил бы, чтобы она стала женой другого?

Фатьма мало-помалу успокоилась и не проронила больше ни слова. Ее отчаянные крики были наполовину притворными. В душе Фатьма радовалась тому, что случилось. Она давно мечтала об этом. Только присутствие старика садовника заставило ее поднять шум: как бы почтенный садовник не заподозрил, что юная мусульманка лишена стыда.

Уж таков характер у ширванок.

Старик приготовил влюбленным ужин — хлеб, сыр, огурцы и зелень. Весь день у Фатьмы и Асада крошки хлеба во рту не было, поэтому скромный ужин садовника показался им вкуснее праздничного «молочного пилава».

Маленькая лачуга была освещена допотопной лучиной. Старик садовник старался развлечь гостей, рассказывая им напоминавшие сегодняшний случай из своей жизни. Асад был бледен. Рана причиняла ему сильную боль, но он старался сдерживаться, хотя и с большим трудом.

— Паренек, почему у тебя дрожат губы? — спросил старик. — Не от раны ли это? Ох, постой, постой, под платком у тебя кровь. Надо приложить лекарство, чтобы кровь перестала течь.

При этих словах садовник быстро вырвал из старого архалука лоскут подкладки, зажег его от лучины и бросил на пол. Когда лоскут сгорел, он собрал золу, заставил Асада обнажить рану и, присыпав ее золой, туго стянул голову повязкой.

И точно, кровь перестала сочиться.

Фатьма усердно помогала старику.

— А теперь усни, — проговорил садовник с отеческой лаской, — об остальном подумаешь завтра. «Утреннее зло лучше вечернего добра», — говорили наши предки.

Ночь проходила спокойно. На темно-синем небе ярко сияли звезды, время от времени издали слышалась перекличкаочных сторожей. Им вторили сари-торпагские собаки. Суеверный старик решил не смыкать глаз и всю ночь охранять дом: собачий вой не предвещал ничего хорошего.

Фатьма, не раздеваясь, легла в углу, прикрывшись чухой Асада.

В другом углу, на постели садовника, лежал Асад. Одной рукой держась за ружье, а другую заложив под голову, он не то спал, не то бодрствовал. Рана мучила его еще сильнее. Но он старался не стонать, чтобы не разбудить Фатьму. В памяти его теснились события дня: он видел себя то в гуще схватки под градом камней, то на крыше бани похитителем Фатьмы, то скачущим верхом со своей добычей на глазах удивленной толпы.

Потом он стал размышлять о настоящем и будущем. Что же ему делать завтра? Ведь долго оставаться у садовника нельзя, имамлинцы безусловно не будут сидеть сложа руки, они, разумеется, приложат все силы, чтобы разыскать Фатьму и кровью Асада смыть пятно бесчестия.

Он решил про себя на рассвете отправиться с Фатьмой в одно из ближайших сел, разыскать там муллу и обвенчаться.

Но тут его охватил сильный озноб. Впрочем, это продолжалось недолго. Озноб прошел, но мысли затуманились, и он начал бредить.

Вот Фатьма, простоволосая, босая, садится на коня, приказывает сесть и Асаду. Они мчатся далеко-далеко неведомой дорогой. На голом поле точно из-под земли вырастает старик с белой как снег бородой, подходит к ним и короткой черной палкой слегка ударяет их. Фатьма и Асад мгновенно попадают в роскошный дворец. Там справляется их свадьба. Все радостны, играет музыка, гости пляшут, слуги разносят шербет.

Но тут входит полицейский, за ним другой, и все доброжелатели-гости вмиг становятся врагами-имамлинцами. Фатьму похищают. Связанного Асада сажают на осла задом наперед, мажут ему лицо смолой и ведут к Имамлу. Враги швыряют в него камнями, насмехаются над ним, освистывают, пллюют в лицо. К Асаду подходит брат Фатьмы Ашим, шапочник Мейти и наносят ему несколько пощечин. О-о, какой позор! Ах, не будь связаны руки, он сумел

бы им ответить! Но вот полицейский начальник бьет его хлыстом по плечу — раз, два, три...

Асад открывает глаза.

В избе все еще темно, но в щель видно, что восток уже заалел. С трудом приподняв отяжелевшую голову, Асад видит перед собою человека.

— Кто ты такой?

— Торопись, паренек, вставай, идут! — отвечает знакомый голос. Асад вскакивает с ружьем в руке, бросается в другой угол и видит — Фатьма еще спит.

— А кто идет?

Старик садовник берет Асада за руки и подводит к дверям. При слабом свете раннего утра Асаду видны в конце сада какие-то люди и слышны чьи-то глухие угроzy. Неизвестные постепенно приближаются, и голоса их слышатся все явственней. Вот за деревьями один за другим появляются всадники и пешие — все они имамлинцы. Один бежит впереди всех.

Асад узнает его: это — Ашим.

В мгновение ока Асад вбегает в комнату, хватает ружье и, боясь разбудить Фатьму, выходит из избы, запирает дверь и заслоняет ее собою. Бежать с Фатьмой — невозможно: противники недалеко, надо защищаться. Но как теперь быть? Их человек пятнадцать, а у него единственная опора — старик со своим заржавленным кинжалом. Впрочем, все равно, пусть идут, никто не отнимет у него Фатьму, пока он дышит.

Наконец имамлинцы вышли из-за деревьев и расположились полукругом против избы. Ашим быстро вскинул ружье и, целясь в грудь Асаду, крикнул:

— Ни с места!

Его примеру последовали гумарбаз Гасан, девятипалый Сейфулла, белобрысый Гейдар, черный Багир, одноглазый Миталлим и еще кое-кто. И Асад увидел — в него направлено больше десяти стволов: их темные дула походили на глаза дьяволов и дышали смертью.

Старик садовник выбежал вперед и принял усовещивать разъяренных имамлинцев, доказывая, что нападение

такого отряда на одного человека — поступок недостойный.

Кто-то метнул в него камнем.

— Убирайся, старый хрыч, не то попадешь черту в лапы!

Старик отошел, сожалея, что при нем нет ружья, а то бы он проучил дерзких «мальчишек».

Ашим требовал, чтобы Асад вывел из избы Фатьму и отдал ему. Асад сперва пытался образумить его. Он сослался на единство веры и на заповедь корана, запрещающую правоверному проливать кровь собрата. Но Ашим ничего и слышать не хотел, настойчиво требуя, чтобы Асад вернул ему сестру.

— А если не верну? — воскликнул Асад, вне себя от гнева.

— Тогда я растопчу твой труп, а ее возьму!

При этих словах ружье дрогнуло в руках Ашима.

Старик садовник стал убеждатель Асада пощадить себя и, не споря, отдать Фатьму. Асад его не слушал. С повязанной головой, с невысохшей еще кровью на лице, с полуоткрытой грудью, одной рукой держа ружье, другой упервшись в бок, он стоял на том же месте спиной к дверям и, казалось, выжидал решительной минуты. Глаза его покраснели, голова отяжелела, руки и ноги дрожали от лихорадки.

— Эй ты, бессовестный, пощади себя, жалко твоей юности! — закричал один из имамлинцев, восхищенный мужественной красотой дерзкого сари-торпагца.

— Такого жалеть? Всыпь ему, собаке, дыму в рот! — рявкнул чей-то зычный голос.

Грянуло ружье девятипалого Сейфуллы. Пуля просвистела над головой Асада и впилась в ствол тутового дерева за избой. Имамлинец думал припугнуть упрямого сари-торпагца. Но тщетно. Асад приготовился защищаться до последнего вздоха.

Выстрел разбудил Фатьму. Двери распахнулись, и юная девушка, с распущенными густыми косами, выбежала из избы, терзая себе грудь и неистово крича. Выбежав, она встала перед Асадом лицом к имамлинцам.

— Осторожно! — приказал Ашим своим парням и опустил ружье.

— Сгинуть бы всем вам! — вопила Фатьма, забыв обычную стыдливость.

— Беги к нам! — воскликнул Ашим, приближаясь к ней.

Фатьма стала рядом с Асадом, готовая защитить его.

— Не подходи, — обратилась она к брату, — не подходи, я не дам волосу упасть с его головы. Он не виновен, я сама убежала с ним, да, именно сама, по своей доброй воле. Ашим, не подходи, я не позволю, не позволю!..

Между двумя врагами как будто бы выросла нерушимая стена.

Ашим даже представить себе не мог, что Фатьма будет так горячо заступаться за своего похитителя. Он был убежден, что сестра против воли очутилась в руках Асада, что она — несчастная жертва и, чтобы избавить ее, нужно упиться кровью врага. Теперь же, при виде ее упорства и отчаянной защиты, Ашим словно окаменел. И чувство мести в его душе мгновенно сменилось сожалением о случившемся. Тот, кто минуту назад был готов всадить пулю в грудь дерзкому похитителю, теперь недоуменно посматривал на своих спутников.

Сама жертва прощает виновного, а виновный до того великодушен и бесстрашен, что готов до последнего дыхания отстаивать похищенную девушку. Не бесчестно ли поднимать руку на такого молодца и убивать его на глазах любимой? Вот что читалось на лице Ашима. И чуткие ширванцы, мигом разгадав его мысли, переглянулись.

Косой Нурулла первый дерзнул возвестить молчаливое решение отряда. Он осадил лошадь и провозгласил:

— Ашим, не забывай о своей чести!

Среди имамлинцев началось глухое брожение. Их возмущала податливость Ашима: можно ли простить дерзкому врагу, обесчестившему добре имя Имамлу похищением одной из красивейших девушек квартала? Что скажут жители других кварталов? Нет, нет, ни в коем случае нельзя кончать дело миром! Неужели для этого бились вчера весь день имамлинцы? Неужели ради этого двадцать человек провели бессонную ночь, бродя в поисках по окраинам города? Надо наказать врага, надо отомстить, восстановить поруганную честь Имамлу!

— Крови, крови! — заревели дикие голоса.

Ашим понял настроение имамлинцев. Ему было ясно, что если он и простит Асаду, не простят другие и, возможно, не простят даже ему. Но как разлучить Фатьму с Асадом? Она так беззаботно прильнула к нему, что, если бы кто попытался поразить юношу, удар обрушился бы прежде всего на нее.

Пока Ашим пребывал в недолгом раздумье, от имамлинцев отделились трое и, прячась за деревьями, незаметно подкрались к Асаду. Это не укрылось от глаз садовника. С обнаженным заржавленным кинжалом он стал позади Асада, решив защищать его ценою собственной крови.

Между тем Асад старался осторожно отстранить от себя Фатьму, чтобы один на один биться с врагами.

Завязалась борьба между стариком и тремя имамлинцами. Асад обернулся и выстрелил. Раздалась арабская ругань, и один из слуг Хаджи-Алеакпара, держась правой рукой за колено, упал с глухим стоном. Асад выстрелил еще — но без успеха.

И в то же мгновение юноша почувствовал резкую боль в спине. Он задрожал и со стоном упал к ногам Фатьмы.

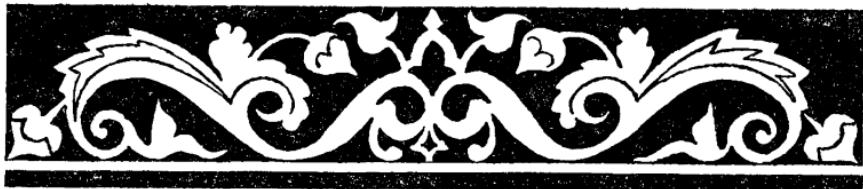
— Аллах, аллах! — раздался глухой голос Асада, его огненный взор был устремлен на Фатьму.

Только это могла услышать несчастная девушка. Больше Асад не вымолвил ни слова и не шевельнулся.

Когда имамлинцы с диким воем бросились к его телу, чтобы поближе взглянуть на дело своих рук, Фатьма горько рыдала на груди Асада...

1889 г.

Тифлис



ЗЛОЙ ДУХ

Г

1

ородок, где произошли эти события, и теперь все такой же незаметный и забытый, как много лет назад. Его жители бедны, большинство домов развалилось, улицы загромождены грудами камней и песка: кругом печально и пустынно.

И только одна природа здесь прекрасна. Воздух нежен, ясное небо ласково синеет, окрестные луга пестреют яркими цветами, в долинах веет нежная прохлада. Весной на высоких тополях всю ночь свищут соловьи, и их трели сливаются с тихим шелестом листвы.

Вот среди развалин дома развивается веселая детвора: крики и звонкий смех оживляют неприветливую улицу. Тут же играет семилетняя девочка, по прозвищу «красотка Сона». Босая, с непокрытой головой, она держит в одной руке ломоть хлеба, а другой откладывает со лба непослушные золотистые кудри; стоя на холмике, она звонко кричит:

— Сюда, сюда, ловите, кто поймаёт!

И глаза ее искрятся, как черные бриллианты. Ей весело, что никто не умеет так быстро бегать. Вот уже четвертый раз обежала она вокруг холмика, и никто не мог ее догнать. В самом деле, она красивая; правда, жгучее

солнце опалило ей щеки, ножки у нее исцарапаны камнями, и все же она красива, в лохмотьях, еле прикрывающих ее тельце, в лохмотьях, что на языке бедняков имеется платьем.

— Сюда, сюда, ловите, если можете!

Дети опять бросились за ней. И снова она старалась ускользнуть от них, но тут стряслась нежданная беда: пробежав несколько шагов, Сона вдруг вскрикнула и свалилась как подкошенная.

Дети бросились поднимать ее, но она так странно затряслась, что все в ужасе разбежались. Мускулы как будто одеревенели, зрачки полузакрытых глаз расширились и стали неподвижными, пена била изо рта. Большие пальцы рук, впившиеся в ладони, походили на узлы грубых бечевок, напруженные ступни напоминали ореховую скорлупу. Побледневшее лицо посинело, потом постепенно заалело. На мгновение девочка перестала дышать. Так продолжалось около минуты. Наконец мускулы задрожали, сначала на левой, потом на правой щеке, затем на шее. Вскоре задвигалось и все тело. Девочка дышала прерывисто, казалось, стонала.

Внезапность происшествия озадачила детей. Стоя неподалеку и сбившись в кучу, они глядели на подругу с боязливым любопытством. Что могло случиться с Соной? Всего лишь минуту назад она носилась быстрее всех, почему же теперь лежит навзничь, и все ее тело как-то странно содрогается? Не запустил ли кто в нее камнем? Да нет, никто ее не трогал, все видели: она упала сама.

Смуглянка Маргарит побежала к родителям Соны, но дома их не застала. Отец был на базаре, а мать, видимо, как всегда ушла печь хлеб чужим людям: она была поденщицей-пекаркой. О, если бы мать знала, что ее единственное дитя лежит беспомощно, вдали от родного очага, на улице, под жгучими солнечными лучами, что ее всклокоченные кудри все в пыли и сама она хрипит, как ягненок, которого режут!

— Сумасшедший Данэл! Сумасшедший Данэл! — закричали дети, разбегаясь куда попало.

Издали показался человек, державший на груди дубинку, как держат саз¹; он тромко распевал по-персидски. Он

¹ Саз — восточный музыкальный инструмент.

был бос с обнаженной головой. Грудь, почерневшая и косматая, раскрыта, полуседые волосы взлохмачены, борода похожа на щетину. Вся одежда его состояла из рубашки грубого холста и коротких штанов, измазанных грязью.

Кто в городке не знал сумасшедшего Данэла! С утра до вечера он бродит по улицам городка, то оплакивая его развалины, то бегая, то ползая на четвереньках, чтобы нагнать страх или посмешишь детишек.

Подойдя к Соне, он прикрикнул на нее; девочка не шевельнулась. Данэл удивился, кто эта отважная девочка, что не страшится даже сумасшедшего Данэла? Он уставился на Сону. Теперь уже руки и ноги ее разогнулись, но бледность не оставляла ее лица, и она с удивлением смотрела на Данэла. Волосы ее и лицо были в грязи. Но вот она медленно подняла отяжелевшую голову и попыталась сесть.

— Тебя побили? — спросил Данэл.

Девочка молча смотрела на него. Она чувствовала неподолимую усталость. Она ничего не знала о внезапном припадке, свалившем ее на землю.

— Голова болит,—тихо произнесла она.

Данэл искоса взглянул на нее, и вдруг мрачное выражение его лица сменилось необычайной нежностью.

— Манишак, голубка моя, Манишак,—произнес он,— помню. Она тоже не говорила, не вставала. Ты подымись, детка моя, я помогу тебе.

Ухватив Сону за локти, он поднял ее, с любопытством оглядев ее глаза и волосы. Потом, озинаясь, точно он опасался нескромных взоров, он поцеловал девочку в лоб, обнял и взял на руки.

— Эй вы, щенки, покажите-ка мне дом моей Манишак! Я — лев Данэл, разорву вас на части, живьем вас съем.

В другой раз эти обычные угрозы безумного сразу бы заставили детишек разбежаться. Но на этот раз, заметив, как заботливо он обнял их подругу, ребята осмелели и, побежав вперед, показали дом Сонь.

Неподалеку между двумя домиками высилась стена, сложенная кое-как из дикого камня; воротами служили две ветхих доски, скрепленные гвоздями.

Сумасшедший Данэл, прижимая Сону к груди, вошел в грязный дворик, в глубине которого стояла лачужка; там жила Сона.

Осторожно опустил он девочку на землю и у дверей лачужки повернулся к детям:

— У этой девочки есть мама?

— Есть и мать и отец.

— Вот как? У моей Манишак мамы не было, а волосы были такие же, и лобик, и глазки. Смотрите, щенки, не смейте отсюда уходить ни на шаг, пока не вернется мать. Поняли? А то на клочки разорву и живьем съем!

Но едва он хотел подняться с колен, как показалась женщина, одетая по-местному; под мышкой у нее виднелись два свежеиспеченных хлеба. Вопреки обычаям, у этой нестарой женщины на голове не было покрывала. Увидев столпившихся детей и Данэла, она слабо вскрикнула:

— Ах, опять этот несчастный!..

Но при виде беспомощно лежавшей Соны руки у нее опустились, так что хлебы покатились по земле, и она с диким воплем кинулась к дочери:

— Дитя мое, дитя!

Пот катился по ее лицу. Щеки раскраснелись и были похожи на обожженный кирпич. Глаза налились кровью, синие жилы на шее вздулись. В этот день Шушан уже успела сотню раз нагнуться над раскаленным тондиром; жар обжигал ей лицо, и кровь приливалась к голове.

— Она валялась на улице, а лев Данэл ее поднял и принес сюда,— сказал безумный.

— Валялась? На улице? — твердила женщина.— Но почему же она валялась?

— У ней из ротика пена бежала, вся она была красная, как ты, а ножками била о землю.

Отчаянный крик прервал слова Данэла. Уставясь в помутневшие глаза Соны, Шушан как будто припомнила что-то и стала колотить себя по голове:

— Горе мне, твоей бедной матери!

Тут кое-кто из детей, перебивая друг друга, принялись рассказывать о происшествии. Слушая их лепет, Шушан менялась в лице и бессмысленно кивала головой. Она пристально всматривалась в лицо дочери; все было теперь понятно, это уже третий раз за последний год случается с Соной. Первые два припадка произошли дома; кроме родителей, никто их не видал. Но вот теперь на улице, на глазах у детей...

— Ступайте, ступайте,— сказала несчастная, обернувшись к детям,— нечего вам тут делать; и ты иди, дядя Данэл, только никому ни слова, если у тебя есть совесть. Девочка упала — что тут такого? Разве другие не падают? Какая там еще pena, синяки да краснота... все вздор!

В горьких речах бедной матери для Данэла звучало что-то таинственное. Его просят молчать, значит тут кроется какой-то важный секрет. Приложив руку к губам, безумец поклонился в знак согласия и шепотом сказал детям:

— Тссс... Никому! А то растерзаю и живьем сожру.

Одним взмахом дубинки он разогнал детвору и сам отправился к воротам, напевая:

Охотника злого стрела
Сердечко малютки пронзила...

Шушан унесла дочку в дом. Из стенной ниши она достала постель, разостлала ее на полу и, уложив больную, присела у изголовья, устремив на нее взор, полный отчаяния. Сона молчала, растерянно озираясь. На все вопросы она отвечала бессвязно. По-прежнему жаловалась на боль в голове, на усталость, на тяжесть во всем теле.

Но тут вошел муж Шушан — кузнец Воскан — и, остановясь у изголовья больной, спросил:

— Что случилось?

Это был мужчина лет за сорок, среднего роста, некрасивый. Лицо, руки, шея у него почернели от копоти. Орлиный нос был весь в прыщах. Под ушами какие-то синие пятна; маленькие глазки и нависшие брови — все это производило отталкивающее впечатление.

Жена не посмотрела на него и, подняв взор к небу, молча простерла руки: она молила у неба терпения.

Достав из-под полы поношенной чухи кусок мяса в пестром платке, Воскан протянул его жене.

— Вот, поджарь, есть хочется.

Уже одиннадцать лет томится Шушан со своим мужем как раба. Не только грубость Воскана терзает бедняжку. Часто он приходит домой пьяный, и горе жене, если она по его желтым глазам не догадается, чего ему надо. Тогда на спине ее надолго останутся синяки от тяжелых кулаков кузнеца.

Лентяй и бездельник по природе, Воскан, на беду же-
не, имел еще одну привычку: чуть ли не весь день, зевая,
таскался он из лавки в лавку, выпрашивая то здесь, то
там по рюмочке, пока не напивался. Но этого мало. Он
проводил на кладбище всех покойников, когда была на-
дежда поесть за поминальным столом.

Но особенно оскорбляло бедную женщину тунеядство
мужа. Бедность и сознание безысходной нужды не уничто-
жили, а, наоборот, обострили в этой женщине чувство соб-
ственного достоинства. Не покладая рук, трудилась
она в поте лица, поддерживая существование своей
семьи.

— Вот видишь, до чего дошло! — сердито набросилась
она на мужа, впервые в жизни осмелившись заговорить с
ним строго и властно.— Вещий сон сбылся. Видела я твоего
отца на черном коне, позади на седле прижалось мое
бедное дитя... И едут они, едут, бог весть куда... Зачем,
зачем он увез мою дочку? Чтоб перевернуться ему в мон-
гиле, ни дна ему ни покрышки! Падучая! Господи, за ка-
кие грехи?

Эту жалобу Шушан произнесла с такой скорбью, так
горестно, что Сона устремила на нее свои грустные глаза
и тихо заплакала. Крупные слезы катились по ее бледным
щекам,— казалось, девочка поняла, какая беда пришла
в дом.

Воскан почерневшими пальцами, как клещами, вце-
пился себе в бороду, похожую на метлу. Вопли жены и
слезы дочери тронули его. Он уже успел догадаться, в чем
дело, и только спросил:

— Где же она упала?

— На улице, на глазах у детей.

Наступило тяжелое молчание. Мать обнимала головку
девочки и, поднимая глаза к небу, твердила про себя мол-
итву. Сона по-прежнему плакала, обняв руками шею мате-
ри. Воскан задумчиво расхаживал по комнате. Наконец,
остановившись, оставил свою бороду в покое, нагнулся к
Соне и поцеловал ее в лоб.

Это был первый отеческий поцелуй с того дня, когда
Сона могла понять и почувствовать родительскую ласку.
Схватив жесткую руку кузнеца, она прижалась к ней губами...

Больше не приходилось подружкам встречаться с «крапоткой» Соной. Мать заперла ее в четырех стенах, хотя по обычаю она еще могла года два-три резвиться на воле.

Стоило только молве о несчастье с Соной разойтись по городу, будущее девочки было бы разбито: кто решится взять ее в жены? Так думала поденщица Шушан. Ей не приходило в голову, что если и удастся скрыть болезнь дочери до замужества, то ведь, в конце концов, о ней когда-нибудь да узнают. Мать все надеялась на милость божию, ей не хотелось верить, что болезнь ее дочери неизлечима.

И года не прошло с того несчастного дня, как у Соны было еще два припадка. В последний раз она свалилась прямо на отца, который сидел на полу, поджав ноги. Воскан был немного под хмельком: он только что вернулся с богатых поминок Амбарцума-аги, первого в городе человека,— надо же было пожелать его душе райского блаженства!

Кузнецу показалось, что дочь наскочила на него случайно, и он в сердцах отбросил ее.

Девочка корчилась в судорогах и начала хрипеть. Тут только пьяный кузнец разобрал, что с ней. Поднявшись, он взял девочку на руки, но, посмотрев на ее крепко сжатые веки, осторожно опустил на пол, перекрестился и отошел.

Был весенний день. Природа начинала пробуждаться. Ласточки, вившие гнездо в лачужке, под потолком, радостно реяли и щебетали над головой Соны. Яркие лучи, проскальзывая в горницу, играли на лице распростертой девочки. Снаружи слышны были звонкие голоса играющих детей. Пьяный кузнец косился на дочь и что-то невнятно бормотал.

К приходу матери Сона успела очнуться. Жалобно и горько причитая, Шушан бросилась обнимать ее; девочка до того ослабела, что с трудом переводила дух и, наконец, прошептала:

— Ноги ноют, спина болит...

С улицы доносились крики и смех детворы. Шушан недовольно поморщилась и, вскочив, закрыла дверь. О, как тяжело было ей слышать эти беззаботные голоса!

— Что за долю послал мне господь! — воскликнула она и повернулась к мужу. — Иди, стань на колени перед церковными вратами, лобызай камни, обливай их слезами и моли бога: «Избавь мою бедняжку дочь от нечистой силы, спаси ее, господи...»

Но кузнец уже давно забыл дорогу к храму, давно разучился молиться, он просто не знал, что такое молитва, храм, бог. Он ко всему был одинаково равнодушен. От вечного похмелья он отупел, и мысли его оцепенели. Он превратился в какую-то бессловесную тварь и вел бесмысленную жизнь.

А между тем Шушан и утром и вечером ходила в ветхую церковь и, став у почерневшей от копоти колонны, горячо молилась. Пока шла служба, она не подымалась с колен и терпеливо стояла на холодном каменном полу. Молитва ее была очень коротка:

«Господи, спаси дитя мое от напасти! Пусть ее болезнь перейдет на меня, господи!»

И сколько раз в течение дня она повторяла эту мольбу. Не только дома и в церкви, но даже и на улице, и во время работы в чужих домах; иногда, подняв голову, склоненную над тондиром, утираясь грубым передником, она подымала глаза к небу. Все слышали ее шепот, но никто не знал, о чем она шепчет и чего она хочет.

Увы, ее горячие слезы и усердные молитвы не были услышаны. Сона не только не поправлялась, но с каждым днем все больше и больше подпадала под власть «злого духа». Безвыходное отчаяние иногда вызывало в душе матери сомнение в справедливости творца. Небо, очевидно, равнодушно к ее мольбам. Часто половину своего скучного дохода Шушан отдавала бедным, а на остальные деньги покупала свечей, чтобы поставить их перед ликами святых. Но не помогали и святые. Вздохи ее и мольбы оставались без ответа. А дочь каждый день терзала ее вопросом:

— Когда же ты, мама, отпустишь меня на улицу?

— Ты теперь уже большая стала,— отвечала мать,—стыдно тебе на улицу выходить.

Другого ответа она не могла найти, а между тем Соне шел только девятый год. Она знала, что ее сверстницы все еще продолжают привольно бегать и развиваться.

Их голоса и смех порой долетали до нее, и сердце девочки начинало сильнее биться. Как птица, у которой подрезали крылья, Сона по целым дням бродила у себя во дворике и даже не смела выглянуть на улицу, особенно когда родители были дома. Когда же отец уходил на базар, а мать на работу, дверь снаружи крепко запиралась: пусть будут с ней какие угодно припадки, только бы люди не видели.

Для Соны это были самые тяжелые часы. Окон в комнате не было, свет пробивался через щели, залепленные лощеной бумагой. Девочка иногда подходила к двери и пыталась разглядеть что-нибудь сквозь дверную щель. Во дворике дрались петухи, кудахтали куры, чирикали воробы. О, как она завидовала этим свободным птицам! Потом она принималась плакать, наконец, утомленная, еле живая, засыпала на полу. Но вот возвращалась мать, обнимала больную дочку и, осыпая жаркими поцелуями, вела за руку во двор:

— Ну, деточка, полюбуйся на свет божий.

Иногда Шушан позволяла Соне забраться на плоскую землянью крышу, а сама не спускала с нее глаз: вдруг ужасный припадок повторится. Каждое слово, каждое движение дочери заставляли бедную женщину трепетать. Сона осматривалась, видела туточные деревья, полуразвалившиеся стены. Она быстро уставала и просила мать, чтобы та помогла ей сойти вниз.

Мало-помалу время заставило Сону примириться с печальной участью. В конце концов она потеряла всякую надежду увидеться с подругами и стала искать развлечения дома. Мать приносила ей цветные тряпочки; из них Сона шила платья для кукол, слепленных ею из глины. Каждая кукла называлась именем одной из подруг Соны, и бедная девочка разговаривала с ними, как в былые времена.

Между тем Сона подрастала. Она постепенно распускалась, как нежный тепличный цветок, тело ее приобрело предназначенную природой форму: она была красива. Она только и жила ласками матери. Признательное детское сердце пламенело ответной любовью. Сона уже не грустила и не порывалась на улицу. Ей бывало скучно, только когда уходила мать: некому было показать кукольные наряды, не с кем порадоваться на них.

Один только человек еще участвовал в ее тревогах и радостях и, пожалуй, не меньше, чем родная мать.

С того самого дня, как случился припадок на улице, сумасшедший Данэл раза два в неделю заглядывал в дом кузнеца, чтобы узнать о здоровье Соны. Сколько нежного внимания выказывал этот безумный бродяга больному ребенку! Можно было подумать, что это любящий родственник, озабоченный судьбой близкого существа.

Сначала мать пыталась скрыть от Данэла болезнь дочери; безумец тоже никогда не упоминал о ней. Шушан наконец уверилась, что о припадке давно забыли и Данэл и детвора. Но вот однажды припадок произошел на дворе при сумасшедшем; скрывать истину стало невозможно.

Данэлу этот недуг был знаком: ему на своем веку приходилось видеть не раз больных падучей.

— Святая! — вымолвил он, перекрестясь. — Послушаем, что она будет предсказывать.

И, опустившись на колени рядом с Соной, Данэл стал благовосхитительно вслушиваться, но ее глухое хрипение ничего ему не сказали.

— Теперь, дядя Данэл, ты все знаешь, — умоляюще заговорила Шушан, — так пусть же об этом знают только господь на небе да мы с тобой на земле.

— Тсс! Моя Манишак успела, — шепнул безумец, приложив палец к губам.

Лицо его в эту минуту было так многозначительно и в то же время таинственно, что женщина не нашла нужным повторять свою просьбу.

Теперь безумец стал еще чаще бывать у них. Иногда он являлся вместе с кузнецом. Казалось, Воскан питает какие-то нежные чувства к новому приятелю. Уж не потому ли, что Данэл частенько приводил домой пьяного кузнеца? А может быть, они вместе провожали покойников. Однако Данэл ходил на кладбище не ради поминальной трапезы, а по какой-то другой причине, неведомой для Воскана. Как бы то ни было, Данэл был находкой для мужа Шушан. Вместе шествовали они в похоронной процессии, за поминальный стол усаживались рядом, поджав ноги; вместе провозглашали покойнику «вечную память», случалось даже, если из одной

миски. Сам Данэл пил очень мало, но усердно подливал кузнецу.

— Братец Воскан, разогрей себе нутро.

А то вдруг ни с того ни с сего вскочит из-за стола и уйдет своей подпрыгивающей походкой. Куда — никто не знал. Через полчаса вернется, уронит голову на грудь и грустно затянет под нос протяжную песню.

И всякий раз он приносил с поминок долю для Соны: то яиц, то кусок мяса, то халву, обернутую лавашем. Поденщице очень не нравились эти приношения, но она не спорила, чтобы не обидеть сумасшедшего Данэла: ведь она его любила и была благодарна за участие к Соне. Шушан по временам даже приглашала безумца к обеду, сажала подле мужа и одинаково усердно служила обоим.

Сона в свою очередь все больше и больше привязывалась к Данэлу. Уже не оставалось и следа необъяснимого страха, который она когда-то чувствовала при виде его. Теперь она даже посмеивалась над подругами, которые когда-то так боялись Данэла. Нет, нет, он вовсе не сумасшедший; он очень добрый, тихий и совсем не страшный. Только почему он относится к ней с таким состраданием? И Сона поневоле задумывалась. Она вообще становилась все задумчивей и мечтательней. В ее маленькой головке роилось много мыслей. Но ясно сознавала она только одно: непонятная скорбь отравляет жизнь ее матери. Но что виною этой скорби — вечное пьянство отца или его грубость? Ведь прежде мать не была такой грустной. Своей болезнью девочка не сознавала, не могла догадаться, что в ней-то и таится главная причина материнской скорби. Об этом ей никто не говорил. И вот однажды, очнувшись после припадка, девочка увидела горько рыдавшую мать и спросила:

— Мама, я разве больна?

— Нет, деточка, нет.

— Голова болит. Я спала?

— Да, милая, да.

— Отчего же ты плачешь?

Мать точно онемела и ничего не могла сказать; она только обняла голову Соны и покрыла поцелуями ее пышные кудри, щеки и глаза. Понемногу время как будто успокоило материнское горе. Шушан страдала, но

уже не так, как прежде. Она жаловалась на судьбу, но в то же время благословляла божью волю.

«Говорят, кого господь сильнее любит, того и сильнее наказывает,— утешала себя Шушан.— Кто знает, может быть, бог меня очень любит».

И она пыталась подыскать оправдание своему несчастью. Судьба была слишком беспощадна, а Шушан не могла примириться с мыслью, что бог без причины может быть так суров. «Господь справедлив и милостив»,— эти слова она слышала ежедневно в церкви. И неужели священник может говорить неправду? Нет!

— Господи помилуй, господи помилуй,— твердила пекарка, лишь только в сердце ее закрадывалось сомнение.

3

Каждый раз, идя на работу, Шушан встречала веселые вереницы детей; они, резвясь, спешили в школу. Для девочек школа была открыта совсем недавно. Шушан приходилось слышать, что там учат не только чтению и письму, но и всевозможным рукоделиям. Вот было бы хорошо отправить Сону в эту школу! Уж она не отстала бы от других: ведь она единственная дочь у них.

«Эка важность, что отец у нее пьяница, а мать поденщица. Уж я бы, кажется, ни есть, ни пить не стала, только бы скопить денег и купить моей бедной девочке книжек да платьице»,— так думала Шушан, когда еще болезнь Сони для всех была тайной. Но теперь она боялась и мечтать о подобном счастье. Как! Чтобы вся школа узнала, чем она хворает? Нет, пусть уж девочка отстанет от подруг, но не будет посмешищем для всех. Пусть читают и пишут счастливые дети счастливых отцов и матерей!

«А для дочери несчастной поденщицы довольно и того, чему ее может научить мать».

И вот Шушан принялась учить Сону всему, что сама умела: чинить отцовскую одежду, вязать и штопать чулки и раз в неделю обмазывать жидкой синеватой глиной стены и пол. Она учила дочь и молитвам: каждое утро и вечер Сона должна была повторять: «Господи, спаси меня и помилуй».

Часто Сона по вечерам при свете тусклой лампы вязала чулки. Мать умоляла ее не утомляться и не портить глаза; отец, напротив, понукал. И тут Сона слушалась отца: завтра она вручит ему чулки, а он продаст их на базаре. Эка важность, что деньги, как всегда, останутся в шинке: это ее не занимало.

Едва-едва ее детские пальцы научились держать иголку и спицы, а уж пьяница кузнец норовил жить за счет больной дочери. Отец и мать из-за этого часто ссорились.

— Стыда у тебя нет! Девочка совсем раздета, дрожит от холода, а ты каждый день напиваешься на ее деньги!

— Это тебя не касается: Сона моя дочь,— отвечал в этих случаях кузнец.— Не правда ли, девочка? Я ведь знаю, ты любишь отца и не оставишь его без копейки.

И девочка, одинаково любившая отца и мать, ласково кивала кузнецу, стараясь как-нибудь примирить родителей. Между тем, кузнец, открывший для себя неиссякаемый источник дохода — деньги, добытые каторжным трудом ребенка, — становился все ленивей; его капризы и грубость росли с каждым днем. Все чаще возвращался он с пустыми руками и требовал горячего. Жена возражала, что в доме пусто, ей ничего не удалось заработать.

— Почему же?

— Никто меня не панимал печь хлебы.

— Тогда проси подаяния, ис оклевать же мне из-за тебя! Гм! Сона, голубка моя, ну, скажи, разве можно жить с пустым брюхом? Видишь, какая у тебя бессовестная мать: дома, говорит, пусто, а сама не пускает меня на поминки.

— Иди, куда душё твоей угодно, ешь, пей: все равно бездельничаешь!

— Да коли нет покойников, куда мне идти?

И кузнец произносил это таким тоном, будто люди говорились не умирать, чтобы он голодал.

Однажды, в дождливый день, Воскан пришел к обеду сердитый. Три дня он уже не пил и места себе не находил от тоски. А тут все христиане, как на грех, поклялись не умирать,— и он костили богачей, которые не думают собираться на тот свет. Сона, сидя перед домом, штопала

старый отцовский архалук. Она обрадовалась, увидев отца трезвым.

— Что, матери нет дома?

— Нет.

— А ну-ка, вставай, посмотрю я, чего ты мне дашь поесть.

Сона принесла ему хлеба с сыром и немногого сливочного масла.

— Это еще что? — и кузнец покосился на тарелку, которую подносила ему Сона. — Куда мне твое масло! Тыфу! Вот уж четвертый день капли во рту не было, хочется чего-нибудь этакого существенного — ну хоть кусочка рыбы и мяса, а ты мне масло суешь. Убирайся!

Сона была очень огорчена. Это масло для нее купила мать, а она нарочно спрятала его для отца. У девочки было такое лицо, как будто она в чем-то виновата.

— А скажи-ка ты мне, милая Сона, нет ли у матери деньжонок?

Девочка смутилась. Она знала, что в стеннную нишу мать спрятала немного мелочи. Поденщица откладывала эти деньги из своих скучных доходов, зачем — Сона не знала.

— Ну, что же ты молчишь? Отвечай, есть ли деньги?

— Я не знаю.

— Говори правду!

— Не знаю, — повторила девочка, невольно устремляя глаза туда, где были спрятаны деньги.

— Ну, не виляй! Говори правду: врать грехно.

И верно, двенадцатилетняя девочка много раз слышала от матери, что ложь великий грех. Поэтому она никогда не лгала. Но знала она также, что воровать грешнее.

— Не знаю, есть или нет, не знаю.

Но боязливые поты в голосе выдали ее.

— Сона, — крикнул кузнец, — ты хочешь обмануть отца, я отлично слышу, что у нас в доме пахнет деньгами. Я голоден, пить хочу!

Сона не знала, что делать. Совесть мучила ее. Как быть: так — ложь, а этак — воровство; с одной стороны, мольбы отца, а с другой — бедная мать, добывающая деньги горьким непосильным трудом.

— Ну, теперь я вижу, что вы с матерью сговорились замучить меня голодом и жаждой. Вы обманываете

меня. Ежели так, не видать вам больше меня. А ты, милая Сона, ищи себе другого отца.

И он раздраженно направился к двери.

Это была хитрость, принесшая горькие плоды. Нет, Соне другого отца не надо. Лучше кузнеца на свете нет никого. Она бросилась к Воскану, схватила его грубую, черную руку, припала к ней губами и заплакала. Потом, подойдя к нише, минуту постояла нерешительно и взглянула на отца. Ах, она прекрасно понимала, что делает дурно, и вся затряслась. Но в горнице стоял отец, не сводя с нее глаз. Как жадно горели его глаза! Должно быть, кузнецу уже чудился восхитительный запах водки.

— Не бойся, милая Сона, не бойся.

Тут Сона принялась рыться в нише, разыскивая лоскуток, в который были завернуты деньги: он был запрятан под соломенными циновками.

— Бери сам,— шепнула девочка и вся побледнела,— мне страшно! Вот там, в синем лоскутке.

Кузнец торопливо вытащил маленький сверток, взвесил его на ладони и сунул в карман.

— Я тебе куплю жвачку,— сказал он, поцеловал дочь и кинулся к двери.

После его ухода Сона забилась в угол и горько разрыдалась. Ей так было жалко мать! Она грабила свою дорогую бедную мамочку, похитила ее медяки, добытые кровью и потом. Ведь она совершила воровство. А для кого? Ах, неужели у всех девочек такие отцы?

Слезы высохли, но сердце мучительно ныло. Сона не знала, как ей быть.

Теперь она не будет ни спать, ни есть, день и ночь будет вязать чулки, отец продаст их, и вырученные деньги она положит на то же место. Только маме не надо говорить: она заплачет. Побои для Соны не страшны, только бы мама не плакала. О боже, что за страшное дело воровство!..

— Кто это дверь раскрыл? — раздался голос матери, и Сона испуганно вскочила.

Шушан пришла, как всегда, с двумя мягкими хлебами под мышкой; в руке у нее было зажато несколько медных монет. Войдя, она тотчас легла на пол, вздыхая и охая.

— Слава тебе, господи, что и таким несчастным, как я, даешь ты отдых. Силушки моей нет...

Несчастная женщина! Как у нее обожжено лицо от этого тондира! Так вот кого обокрала Сона!

— Отчего ты такая скучная? Поди-ка, детка, потри мне немного спину.

Девочка молча подошла.

— Отец приходил? Ел он что-нибудь?

Сона вздохнула.

— Чего же ты вздыхаешь? Знать, он был под хмельком?

— Нет, ему только есть хотелось...

— Куда же он на тощее брюхо пошел?

— Не знаю.

— Ты, кажется, плакала?

— Нет, нет.— И Сона смущенно отвернулась.

Мать поняла, что случилось что-то недобroе. Но, пытливо посмотрев в глаза дочери, она не заметила в них того странного оттенка, который появлялся каждый раз после припадка.

— Сона, видно, отец кричал или бил тебя?

Тут девочка уже не могла сдержаться. Припав к матери, она горько заплакала и призналась ей во всем. В первый миг поденщица, позабыв обо всем, оттолкнула дочь и яростно закричала на нее. Она даже занесла было руку, чтобы ударить Сону, но тут же опомнилась и, хлопая себя по коленям, завопила:

— Чтобы рухнула кровля над твоим родителем!

И мать рассказала дочери, для чего она откладывала деньги: ей хотелось купить к пасхе ягненка, заколоть на пасху и раздать нищим мясо, чтобы они молились за здоровье Соны. Выходит, что Сона украла деньги, предназначенные для пасхального агнца. При этой мысли девочка немного успокоилась.

— Не хочу я такой жертвы,— сказала она, думая этими словами утешить мать.

— А что украла — это, по-твоему, пустяки? Ведь ты теперь воровка, настоящая воровка!

Более тяжелого наказания, чем этот упрек матери, Сона не могла себе представить.

Быть воровкой. Теперь в ее детских глазах сквозил ужас. Как перепуганный зайчик, забилась она в угол и

робко озиралась. Мать подошла, взяла ее за руку, поставила на колени и, глядя на восток, сказала:

— Перекрестись! Скажи: «Прости меня, господи». Вот так! Повтори это три раза. А теперь скажи: «Господи, прости меня, больше не буду». Ну уж ладно, вставай! Чтобы этого больше не было!

К вечеру вернулся кузнец Воскан весь в грязи. Не успел он войти, как тотчас свалился. Тут Шушан впервые в жизни обругала его вслух. Кузнец попробовал встать и опять упал. Наконец, отдуваясь и пыхтя, он насилиu поднялся и с кулаками полез на жену. Она уклонилась, и Воскан в третий раз повалился на пол.

Прижалвшись к стене, Сона со страхом глядела на эту безобразную сцену. И вдруг девочка закричала: ей показалось, что перед ней не отец ее, а зверь. И какой чудовищный: громадный, разъяренный, глаза налиты кровью! Сейчас он растерзает ее и мать.

— Боюсь, боюсь,— твердила Сона; подбежав к нише, она уткнула голову в постель.

Мать растерялась. Она взяла девочку за руку и заглянула ей в глаза. Потом побежала за водой и брызнула ей в лицо.

Сона понемногу стала приходить в себя. Но как она была бледна и как дрожала! Обняв мать, она повторяла:

— Не уходи, не оставляй меня!

— Будь ты проклят, нечистый дух! Сгинь, черная сила,— повторяла поденщица, крестясь сама и крестя лицо дочери.— Убирайся отсюда! — закричала она мужу.— Чтобы духу твоего здесь не было, безбожник, бессовестный, бессердечный, убил ты мою девочку!

Босой в горах брошу я много дней,
Кярам-ашуг, с Асли я разлучен,
Пусть мать пришлет мне саз; скажите ей,
Что мир я бросил; мне противен он.

Эта песня успокоила Сону, она подняла голову, прислушалась, ей стало легче. Высвободившись из объятий матери, она выбежала из комнаты. Уж не с неба ли пришла помошь?

— Сона, ненаглядная, иди, иди, я тебе просфору принес.

Сумасшедший Данэл вынул из бумажки кусочек просфоры, приложил к губам и ко лбу, потом протянул Соне:

— Милость христова да сохранит тебя... Что же ты, деточка, дрожишь, отчего бледна? Сестрица Шушан, что с ней случилось?

Поденщица вся в слезах глядела то на безумца, то на Сону.

— Пойдем домой,—молвил Данэл.

Сона вырвала руку.

— Вот те на! Кого же ты боишься? Скажи, я растерзаю его, живьем съем!

Тогда Шушан, взяв безумца за руку, ввела его в комнату и сказала:

— Вот кого она боится.

В сумерках Данэл узнал своего сотрапезника.

— Налакался и валяется! Эге! Это уж слишком! За это я его, сестрица Шушан, больше на поминки водить не буду, нет. Я сон видел. Восемнадцать чудовищ вышли против меня. Кер-оглы стоял высоко. У коня его сыпались искры из ноздрей. Вот такие у нее были волосы, только звали ее не Сона, а Манишак. Огромные камни обрушились на нее: один угодил в голову, другой в грудь. Мать была в яме. Из головы у нее струилась кровь. А лев Данэл был тихим человеком, никого не трогал, портняжил себе. Мою иглу взяли и выкололи мне глаза; взяли мои ножницы и все сердце мое изрезали, как сукно. Милая Сона, ненаглядная Манишак, зачем ты вырвалась из моих рук? Завтра схожу на твою могилку... Нет у меня сердца, оно умерло... Сестрица Шушан, твоя Сона — хорошая девочка... Ну, с аллахом! Иду! Фархад, Фархад, пусть твой дом перевернется вверх дном...

Проговорив эту бессвязную речь, безумный быстро удалился, прыгая и махая дубинкой.

Всю ночь Сона бредила и часто просыпалась. Мать шептала заклинания и молитвы, сжимая ей голову рукой, в которой была зажата горсть соли.

Едва солнце поднялось из-за горы, как Сона открыла глаза. Цвет ее лица напоминал предрассветный желтоватый луч, проходивший через узкое отверстие. Неподвижные глаза ее были суровы. Казалось, мысли

девочки витали далеко. Мать сидела у изголовья и упорно смотрела на стиснутые губки.

— Я, детка, тебе купила инжиру.

Сона посмотрела на мать печальным взглядом. Ей вспомнилось вчерашнее, вспомнилось лицо отца, и она невольно посмотрела на него. Кузнец спал тяжелым, беспокойным сном. Одевшись, Сона подошла к нему. Теперь на этом лице не было ничего страшного. Какая, однако, она трусиха, почему она так закричала вчера? Отец скоро должен проснуться. Сона нальет ему воды, чтобы он умылся, побеседует с ним.

Если он не будет сердитым, она уговорит его, упросит не бить мать и не ссориться с ней. Скажет: «Я тебе буду вязать носки — одну пару в два дня. Не бей маму, не кричи на нее, не ссорься».

Кузнец проснулся еле живой от страшной головной боли. После вчерашнего пьянства он чувствовал тоску. Припомнилась ему ссора с женой, и сердце невольно сжалось. Он хотел приласкать Сону и придумал странную шутку: привязал к бороде метлу, накинул шубу наизнанку и встал перед входом в домик.

Сона подметала двор. И вдруг, подняв голову, она увидела отца. Ужас охватил ее. С диким, душераздирающим криком она опрокинулась навзничь. Новый припадок был вызван отцовской шуткой.

Солнце озаряло лоб Соны, обрамленный пышными кудрями. Девочка лежала лицом к востоку; туда с молитвой постоянно обращалась ее мать.

4

К шестнадцати годам Сона поняла всю тяжесть своего неизлечимого недуга. Это сознание угнетало ее. По целым часам она размышляла в одиночестве. Ее едва сложившийся ум пытался определить причину несчастья, но не мог. Она обливалась слезами; эти слезы хоть немного облегчали наболевшее сердце.

Чего только не делала она, чтобы умилостивить бога. Она исполняла все, чему ее учила мать. Соблюдала все посты, а великий особенно. Одну неделю в году ниче-

го не ела; обошла с матерью все святые места в окрестности. И все было напрасно.

«За что?» — этот вопрос неотступно преследовал Сону. Почему бог не слышит ее молитвы? Чем она провинилась? Ведь только раз в жизни она согрешила: показала отцу, где лежат деньги матери, и отец украл и пропил эти жалкие гроши. Но ведь она каялась без конца, долго молилась, пролила много слез. Видно, причина не в этом.

«Мама говорит, что мне было шесть лет, когда случился первый припадок...»

— Так за что же, за что?

Этот простой вопрос до того измучил ее, что мысли ее начинали путаться. А мать на это ей отвечала:

— Божья воля, дитя мое.

Но разве можно допустить, чтобы бог что-нибудь совершил без причины?

— Почему же, мама, одному бог дает здоровье и счастье, а другому болезнь и горе?

Смиренная, богобоязненная поденщица приходила в ужас от этих слов. Когда-то и у нее возникали эти вопросы, но она сумела их подавить и укрепиться в мысли, что бог справедлив и милостив.

— Не говори так, дитя мое, не говори! Небесный огонь опалит того, кто будет роптать.

И Сона невольно умолкала. Но роковой вопрос ее преследовал. Как же не роптать? Ведь уже девять лет она взаперти, и неужели ей никогда не видать мира? Не побывать на свадьбе подруг, на чьих-нибудь похоронах или в церкви в сочельник или на пасху?

Из ее сверстниц иные уже успели выйти замуж, а некоторые даже стали матерями. Вот ей слышится звук свадебной зурны. Как раз сегодня вснчается веселая смуглянка Маргарит. Ах, кабы глазком взглянуть на нее! Как она, должно быть, выросла теперь! Любопытно, раздобрела она или все такая же сухая, как каштановая кожура?

Сона вспомнила, что подруги прозвали ее «красотка Сона». Раньше она об этом не думала, но теперь ей захотелось узнать: правда ли она красива, или это только шутка подруг? И она каждый день смотрелась в

зеркало, полученное матерью в подарок от тетки в день свадьбы.

Густые вьющиеся пышные волосы падали ей на спину. Домашняя работа нисколько не повредила ей. Она была стройна, немного выше среднего роста. Теперь она была даже красивее, чем в детстве. Но лицо у нее болезненно бледное; в глубине черных глаз мерцает безысходная тоска. По временам в этих глазах, из-под вялых век пропадало какое-то тупоумие.

Сона гляделась в зеркало, но не знала, хороша она или нет. Ей не с кем было сравнить себя. Мать говорила, что Сона похожа на нее. Сходство, действительно, было, хотя время и тяжелый труд давно стерли с лица пекарки следы природной красоты.

— Должно быть, мамочка, ты была очень красива?

Этой хитростью Сона думала узнать от матери что-нибудь о себе.

Не догадываясь об этом, мать ответила:

— Главное — счастье, детка моя, а красота — пустяки.

Раз Шушан велела дочери лечь пораньше.

— Почему?

— Завтра надо подняться чуть свет: пойдем приложиться к мощам святого Карапета.

— А разве завтра день поклонения?

— Нет, послезавтра. Отправимся мы завтра, ночь проведем в монастыре, на другой день дадим обет и возвратимся.

Наконец-то настанет еще один блаженный день, когда Сона поглядит на людей. Всю ночь она не спала, а когда задремала, видела беспокойные сны. Будто она идет на богомолье, но сколько ни шагает, все не дойдет до святых мест. На каждом шагу препятствия: то перед нею поднимается стена, то угрожает трясина, то теряет она шаль или башмаки...

— Вставай, уже светает, — слышится ей голос матери.

Поденщица давно уже была готова. Сона быстро вскочила. Мать передала ей узелок со съестным, изловила на дворе петуха, связала ему ноги, сунула под мышку, и они пустились в путь. Солнце уже было высоко, когда мать и дочь очутились за городской чертой. Шушан при-

казала Соне разуться и идти босиком. Сама она сделала то же. Накануне она узнала, что, кроме них, еще кое-кто собирался на богомолье. Поэтому она и отправилась пораньше, чтобы не одним идти все семь верст: разные люди могут встретиться, неровен час. Вот показалось несколько повозок. Шушан и Сона прибавили шагу и скоро догнали богомольцев. Ехали только старухи и пожилые женщины; девушки шли пешком. Не закрывая лиц, они весело пели, смеялись, прыгали...

Сона, по совету матери, шла сторонкой: поденщице не хотелось смешиваться с толпою этих девушек.

«Кто знает, — думалось сей, — вдруг с Соной сделается припадок. Вот все и увидят».

А Сона так и тянулась к девушкам. Ах, как ей хотелось вместе с ними попеть, посмеяться! Нет, дальше, дальше от них; ей суждено идти по другой дороге, а эта — только для здоровых и счастливых.

Телеги сопровождал молодой всадник в шапке набекрень; опустив поводья, он тихо напевал. Иногда он останавливал коня, дожидаясь, пока подъедут телеги. Внезапно отстав, он стал вглядываться в Шушан и Сону:

— Закройся шалью, — шепнула поденщица.

Девушка закрыла лицо, но вскоре опять открыла: неужели и здесь ей не дадут хоть немного свободы? Так и тянет ее к поющей толпе, к смеющимся сверстницам. И вот она приблизилась к ним.

— Сюда, Сона, иди сторонкой, — повторяла мать.

К ним подъехал всадник.

— На богомолье идете?

— Да, сынок.

— Да примет господь вашу молитву.

— Аминь, сынок. И твою также.

Но всадник не отъезжал. Он двигался рядом; между тем телеги уже были далеко впереди.

— Устали, небось? — спросил он, помолчав. — Пожалуйте к нам, на телеге есть для вас mestechko.

— Спасибо, сынок, дай бог тебе здоровья, но мы дали обет идти пешком.

Всадник пристально взглянул на Сону. Девушка поспешно закрылась; поденщица угрюмо молчала. Стегнув коня, всадник отъехал. И вдруг Сона услышала сзади знакомый голос:

Как черный змей, сверкал тяжелый меч,
Быстрой орла ретивый конь скакал,
Из пасти пену ветер разносил:
Могучий Кер-оглы врагов карал...

Обернувшись, она увидела безумного Данэла; он придерживал свою дубинку на затылке обеими руками, как это делают пастухи. Он был бос и с непокрытой головой.

— Да услышит твою молитву святой Карапет, сестрица Шушан! Здравствуй, Сона-хатун.

Сона была рада этой неожиданной встрече. С Данэлом можно поговорить, расспросить его о девушках, которые идут за телегами.

— Это наши, — ответил Данэл, — идут на поклонение святому. Двух овец и барана ему везут. А ты не заметила, Сона-хатун: ведь я в той рубахе, что ты стирала, — и он показал на свою рубаху, против обыкновения чистую.

— Приноси хоть каждую неделю, а я буду стирать.

— Нет, лучше новую сшай, я куплю материал. Манишак не умела шить, пальчики у нее были вроде самшист...

— Отчего же ты опять босиком? А где чулки, что я связала?

— Берегу, Сона-голубка, на твою свадьбу надену. Ох, только бы не помереть до тех пор. Увидеть мою Манишак перед святым престолом. Дайте мне камень, буду бить себя в грудь и кричать. Дайте мне земли, посыплю себе голову и буду плакать. А ты приглядись, сестрица Шушан, к этому всаднику. Я видел, как ты с ним говорила. Эх, Данэл смекнул кое-что хорошее, очень хорошее!

И безумный, подпрыгивая, пошел вперед, ударяя дубинкой по кустам малины и напевая:

Сидит на ретивом коне Кер-оглы:
Эй, дайте дорогу гнедому коню!

И, подняв дубинку, заголосил:

— Эгей, Мурад, эгей, Мурад, погоняй, за тобой несется лев!

Он подбежал к верховому, потом остановился и стал поджидать поденщицу и ее дочь. Из его несвязных слов

можно было понять, что на телегах сидят его родственники; молодой всадник приходится ему племянником, имя его Мурад.

— А завтра приедет старший брат Мурада. Но я не останусь с ними, я буду при вас. А на базаре я Восканя встретил. Нет, сестрица Шушан, он был трезвый. Говорит он мне: «Смотри, братец Данэл, оберегай хорошенько мою дочку». Ты не бойся, Сона-хатун, свет очей моих; пусть кто-нибудь попробует тебя тронуть: на клочки растерзаю, заживо съем!

Он подошел к поденщице и заговорил с нею шепотом. Сона ничего не слыхала, но ей было ясно, что разговор идет о чем-то очень важном. Безумец иногда крестился и клялся именем святого Карапета.

— Я дело говорю, видел своими глазами, слышал своими ушами, — доносились до нее слова Данэла.

Но вот и место поклонения. Это полуразрушенный монастырь на краю большого села. Дьячок при нем оказался до того обходительным, что отвел для Соны и ее матери одну из келий. Данэл, вопреки желанию поденщицы, принес взятые им у родственниц коврик, подушку и тюфячок.

— Это для моей Сона-хатун: устала она, пусть отдохнет.

Утром Данэл зарезал у монастырских ворот жертвенного петуха, наскоро сварил и раздал полунагим деревенским ребятишкам. Сона издали смотрела на них, вспоминая детские дни, когда она свободно резвилась на улицах городка. Это счастливое время промелькнуло так быстро! Теперь сердце ее переполнено скорбью, она молится святым угодникам, прикладывается к мощам и просит о защите. Сумасшедший Данэл бессвязно и без конца рассказывает ей о чудесах, которые творят святые: сколько хромых, слепых и немых исцелилось в этом полуразвалившемся храме!

— Своими глазами видел и могу пересчитать по пальцам их всех, — уверял безумец. — Это было еще при шахе Наср-Эддине. Вся земля пересохла. Крестьяне били себя в грудь и взывали к небесам. Вот пришел сюда крестный ход и отнес моши в город. Солнце жгло немилосердно, а в небе хоть бы тучка. И вдруг на востоке по-

темнело, и хлынул дождь, да какой: казалось, землю стегают прутьями! В тот год халвар¹ пшеницы продавался всего за пять рублей...

Безумец рассказывал, а там, за оградой, девушки-богомолки играли, пели и плясали. Казалось, нет у них никакого горя, пришли они на богомолье только для того, чтобы повеселиться и раздосадовать Сону. И разве не грех плясать и смеяться у святого места? Но как упоительно это веселье за оградой свежей зелени, среди мшистых камней, в зарослях ярко-зеленых кустов! И мысль о грехе уступала место зависти. Безудержное веселье сверстниц было для Соны укором: ведь она одержима недугом, наказана богом, забыта людьми.

После обеда богомольцы разбрелись по окрестностям. Данэл отправился в ущелье за ключевой водой. Поднявшись вместе с матерью на зеленый холмик, Сона любовалась снежными вершинами далеких гор. И вдруг перед ними вырос человек. Сона поспешила закрыться шалью, но тотчас ее откинула и узнала вчерашнего добродушного всадника. Заломив папаху, держась одной рукой за рукоятку кинжала, а другую заложив за желтую чуху, он смело глядел на Сону. Иногда он пощипывал тонкие усики и осматривался, точно любуясь собою. На это он имел право: стройный, рослый, с красивым лицом и всего двадцати шести лет от роду — он любой девушке показался бы очаровательным. Сона опять закрылась. Тогда парень, заметив ее смущение, вежливо повернулся и скрылся за стеной.

А Данэл с кувшином на обнаженном плече уже приближался к монастырю. Сона заметила хитрую улыбку на его лице. И когда мать и дочь подошли к монастырской ограде, безумец, держа дубинку наподобие саза, что-то напевал. Завидя поденщицу, он подбежал к ней и зашептал ей на ухо. Речь шла о парне в желтой чухе: ему, дескать, сильно приглянулась Сона; он хочет просить ее руки. Впервые он увидел ее еще через ворота, проходя по улице, когда Сона подметала двор. Он спрашивал о ней своих домашних: никто ничего не знал. Но увидя как-то, что Данэл вышел из ее дома, он приступил к нему с расспросами о Соне. Тут же лев Данэл так

¹ Халвар — мера веса, равная 30 пудам.

расписал Сону, что у паренька Мурада «глаза разбежались».

— Я говорю, совсем обезумел, свихнулся парень! — и Данэл дружески хлопнул пекарку по плечу. — Не нынче-завтра зашлет сватов.

Через час мимо кельи прошли две женщины, старая и молодая. Обе они с любопытством оглядели Сону. Данэл сообщил пекарке, что старуха — мать Мурада, а молодая — невестка.

Усердно помолившись, Шушан и Сона собрались домой. Данэл не покидал их; без устали твердил он о Мураде, расхваливал его ум, красоту, домовитость. Обо всем этом он говорил, как вполне нормальный человек. И только поднявшись на высокий придорожный холм, откуда виднелся городок, Данэл сразу переменился. Он указал на кладбище, лежавшее в двух verstах от города, и горестно воскликнул:

— Там она, там!

И бросился вперед, поднимая над головой дубинку, испуская дикие вопли. Впервые Сона увидела безумца в припадке ярости. Но она не испугалась. Пробежав около ста шагов, Данэл остановился, занес дубинку над головой и, крупными шагами подойдя к спутницам, закричал:

— О святой Карапет! О святой Карапет!

Как канатный плясун, устремляя глаза в одну точку, он поводил плечами. Сона улыбалась, но в душе жалела бедняка. За что он наказан богом, неужели он согрешил? Несомненно, душевный недуг Данэла имеет свою причину. Но в чем она, Сона не знала и боялась даже заговорить об этом. Только когда безумец подошел к ним, девушка спросила:

— Где ты теперь ночуешь?

— У звонаря.

— А почему не у племянников?

Данэл в ответ запел по-персидски:

Каменное сердце у тебя, охотник!
За что ты убил моего ребенка?
За что ты убил моего ребенка?

Теперь безумец каждый день являлся к поденщице и непременно с вестью: вот-вот, не сегодня-завтра придут сваты.

Шушан рассказала об этом мужу. Кузнец обрадовался и стал дружелюбней относиться к Данэлу.

— А почему бы и не так? — хлопнул он однажды Данэла по плечу. — У кого найдется такая дочка, как Сона? Меня же ты хорошо знаешь, дорогой Данэл. Мы тоже не последние люди в городе. Не в деньгах сила. Пусть кто-нибудь попробует сказать о Воскане — мол, такой-сякой. Люди мы почтенные, дети почтенных родителей! Да твой племянник на голове должен ходить от радости, что будет моим зятем, меня Восканом зовут, знай ты это.

Данэл как будто соглашался, но в то же время ему казалось, что у его приятеля нет особых оснований хвастаться. Впрочем, Воскан человек не без чести: носит папаху¹, только по временам теряет подобающий образ.

— Я, братец Воскан, насчет «змеиного яда», про водку то есть: поменьше бы ты вливал ее в себя, нутро себе спалить, что ли, хочешь?

— Это ты, к примеру, толкуешь, чтобы не пить, так, что ли?

— Пей, пожалуйста, только по одной, по две, не больше.

Советы безумца, видимо, показались ему смешными. Прищуря глаза и наклонив голову, пьяница иронически спросил:

— Братец Данэл, тебя бы посвятить в архиереи, хорошо читаешь проповеди. Лучше ты вот что мне скажи, дружок, будет ли моя дочь счастливой?

— Я уже тебе говорил: сам увидишь.

— Спасибо, братец Данэл, ты добрый человек. Хорошо породниться с приличными людьми, не так ли? Только не мешает, чтобы у них карман был набит потуже, а то я им дочь не отдам, себе дороже. Мы ведь люди почтенные, нам тоже ведь на карманные расходы гроши нужны... Не мешает иной раз и пропустить за их здоровье пшеничную либо виноградную водку, а?..

¹ Носить папаху считалось признаком мужской доблести.

Безумец видел, что Воскан все сворачивает на свое. Этот разговор надоел ему. Он засверкал глазами, дубинка в руке начала дрожать.

— Братец Воскан, ты знаешь льва Данэла?

Пьяница струсил: в чертах безумца засветилась ярость.

— Ну, не серчай, дружок.— И кузнец схватил Данэла за руку.

— У тебя жена и дочь по целым ночам плачут, ты льва Данэла знаешь?

— Ну, ну, не буду пить! Провались тот, кто гонит водку.

Безумец притих и сунул дубинку под мышку. Отныне Данэл уже не водил Воскана по поминкам и все расспрашивал поденщицу, не бывает ли ее муж и не обижает ли Сону. Казалось, что кто-то поручил ему заботиться о бедной семье. Однако на Воскана пришлось махнуть рукой. Разва три-четыре в неделю он возвращался, еле держась на ногах, и сыпал ругательствами.

Однажды сумасшедший, запыхавшись, прибежал и сказал поденщице:

— Сейчас придут, своими глазами видел, своими ушами слышал, будь готова...

И мгновенно исчез. Шушан догадалась, в чем дело; быстро убрала комнату и стала ждать. И верно, раздались шаги. Шушан велела дочери спрятаться в нише за занавеской. Вошла хромая низенькая женщина с гордым лицом, степенная и важная. Это была известная всему городу сваха, по прозвищу хромая Саарназ.

Без приглашения она уселась на коврике на полу.

— Мужа-то, видно, нет дома. Ну и хорошо. Бабье дело баба скорее поймет да справит. Я с доброй весточкой к тебе.

— Дай тебе бог всякого благополучия, говори.

Без лишних слов хромая Саарназ начала с того, что сестрица Шушан, конечно, слыхала про Мурада, сына «выжатой» Зарнишан. Весь город без ума от него: молодец, красавец, умница, не пьет, не курит, в карты не играет, нрава смиренного, дело свое знает хорошо.

— Невест в городе найдется немало,— продолжала сваха.— И какой дурак откажется породниться с Зарнишан? А счастье-то выпало как раз на вашу долю. Мурад твою дочь увидел и полюбил. Ты сама женщина умная, подумай да скажи свое слово, и я пойду.

— Да что говорить? — ответила Шушан, не долго думая.— Слава богу, что парень сам ее выбрал. Девушка как девочка... Шить умеет, штопать, стряпать; кроткая, как овечка; к родителям почтительна; ежели с кем встретится, семь раз обернет шалью лицо,— одним словом, коли не лучше, так и не хуже других.

Пока женщины вели переговоры, Сона с любопытством слушала, боясь проронить хоть слово. Сердце ее колотилось. Сама она о будущем думать не смела: все было во власти матери, а разве мать захочет зла дочери? Пусть поступает, как находит нужным, только бы ей, бедняжке, было хорошо.

Отдернув занавеску, Шушан вызвала Сону. Вся красная от волнения шестнадцатилетняя девушка стояла перед свахой.

Та окинула ее опытным взглядом с ног до головы, заговорила с ней, чтобы узнать, не немая ли она, не косноязычная ли; расспросила кое о чем, чтобы «смерить ее ум», и попросила сходить за стаканом воды, чтобы убедиться, не хромает ли Сона.

Дня через три дом поденщицы сделался неузнаваем. Кузнец чисто вымылся, гладко причесался, надел архалук, сшитый к свадьбе двадцать лет назад. На плечах Шушан красовалась новая шаль; стан ее стягивал красный атласный пояс — знак радости. На полу горели лампы, взятые на время у соседей; свет выдавал убогое убранство нищенского домика. В углу на подиосе — бутылка водки и два блюдечка с вареньем, сохранившимся у Шушан бог весть с каких пор. Кузнец расхаживал, то и дело жадно посматривая на бутылку, и нетерпеливо почесывал затылок.

Сона стояла в углу, сложив руки на груди и вздрагивая от волнения. Две соседки, усевшись около хозяйствки, беседовали о предстоящем торжестве.

— Идут, встречай! — вскочила Шушан.

Воскан поспешил навстречу гостям.

Первым показался посох отца Маркоса, затем полы его серой рясы и, наконец, он сам в своей приплюснутой камилавке.

За ним шла мать жениха, «выжатая» Зарнишан, без чадры, в коричневой шали. Действительно, она была как выжатая. Костлявое лицо с широким подбородком и огромным ртом казалось особенно строгим от блеска черных

проницательных глаз, похожих на два раскаленных уголька. Сона невольно вздрогнула, увидев эту женщину: так может вздрогнуть человек, повстречавшийся с ходячим скелетом, в глазницах у которого два светляка. Но походка старухи отличалась живостью, так что вряд ли можно было рассчитывать, что она скоро уподобится скелету.

Вот в дверях мелькнула высокая бухарская папаха; ее обладатель неизвестно почему не решался войти.

— Пожалуйте, сват, пожалуйте! — говорил за дверью Воскан.

Тут показалась нога в белом носке, за ней другая, на конец длинная чуха. Теперь уже было ясно, что в гости пожаловал Рябой Карапет, старший брат жениха. Он был коренаст, с крошечными глазками, с пухлыми щеками, обильно разрисованными оспой.

Сона снова вздрогнула, посмотрев из-под шали на этого неуклюжего человека.

Но вот и четвертая, последняя, гостья, жена рябого Карапета — Гюльнаز, с головы до ног окутанная чадрой.

Немало времени прошло, пока гости уселись в порядке, предлагаемом хозяевами дома. Рябой Карапет непременно хотел сидеть у дверей, выказывая свою необычайную скромность. Старуха Зарнишан упрямо отказывалась от мягкой подушки, с неменьшим упорством предлагавшейся ей хозяйкой. А невестка ее, Гюльназ, как будто решила вывести кузнеца из терпения: до того она медленно и важно передвигалась. Когда же она открыла лицо, по телу Соны в третий раз пробежала дрожь.

Какая-то непонятная сила приковывала ее глаза к лицу будущей родственницы. Само по себе это лицо было ничем не примечательно. Гюльназ была еще молода, среднего роста. По ее светлым бровям можно было предположить, что она светловолоса, но косы ее были выкрашены хной и казались темно-красными. Всего страннее были глаза этой женщины: точно две стекляшки, неподвижные и холодные. От первого взгляда ее у Соны подкосились ноги. Бедная девушка слышала рассказы о неотразимой силе змеиных глаз: если лягушка посмотрит змее в глаза, то невольно сама бросится ей в пасть. Но Сону, напротив, отталкивало что-то от этой женщины, и все же она не могла оторвать от нее глаз.

Опять потянулись обычные переговоры, хотя все уже

было кончено. Раздались похвалы жениху, обещания, распросы, и опять Сону заставляли под разными предлогами ходить, говорить, показывать зубы.

Наконец старая Зарнишан повернулась к хозяйке:

— По внешности твоя дочь мне нравится. Коли нет каких других недостатков, она — наш товар.

— Плоха ли, хороша ли — сама видишь. Коли нравится, пусть будет твоей,— ответила поденщица, смущившаяся от последних слов старухи.

— Все налицо, милая сватушка,— вмешался кузнец, соскучившийся от этих церемоний,— но вдвое лучше она внутри.

— Дай-то бог,— сказал рябой Карапет.

— То, что внутри, узнать трудно,— прибавила его жена, меряя Сону стеклянным взором.

— Не девушку я вам даю, а чистое золото,— опять заговорил Воскан, воодушевляясь собственным красноречием.— Разум у нее подобен морю, а усердия еще больше. Ведь весь дом на ее плечах. А уж готовит так, что с кушаньем вместе и пальцы съешь. О шитье и стирке не говорю. От дедов идет умное слово: «Доброе дитя узнаешь по очагу». Ведь и мы в нашем городе не последние люди, и у нас есть имя. Как по-твоему, батюшка?

— Сущую правду говоришь.

Поденщица, видя, что хвастовству мужа не будет конца, перебила его:

— Одно слово: девушка как девушка. Хвали не хвали — что толку,— сами увидите.

В глубине души Шушан сознавала, что обманывает гостей, скрывая от них недуг дочери, что грешит перед Богом и людьми. Но у нее не хватало духу помешать счастью единственной дочери.

Был момент, когда Шушан едва не выдала себя. Она вышла и сообщила свои опасения Данэлу, стоявшему у дверей. От родственников был ему строгий наказ: неходить в тот вечер к поденщице. Но он не вытерпел и пришел, чтобы своими глазами посмотреть на «обручение своей Манишак».

— Не бойся, говорю, не бойся,— ободрял безумец Шушан,— лев Данэл никому не скажет...

И он протянул Шушан красный гранат.

— Бери, сестрица, поздравляю. Не бойся ничего. А Манишак скажи, что я надел подаренные ею носки.

Тут отец Маркос прочитал молитву, благословил кольцо и надел на палец Соны, окинув проницательным взором голову сахара, принесенную сватами.

Скромное торжество окончилось; гости ушли. Хозяин так и накинулся на недопитую водку. Сона, согнувшись в уголке, горько плакала. Это не понравилось кузнецу: ему и без того порядком надоела болтовня гостей.

— Ну, ты что меня беспокоишь! — крикнул он.— Эй, жена, сейчас же утихомирь девчонку.

Шушан казалось преступлением обидеть в такой вечер больную дочь.

И она сердито крикнула мужу:

— Лакай, да заткни глотку!

— Как? Как? Ты говоришь — лакай? Собака я, что ли? — заорал Воскан и поднялся.

— Не собака, но по-собачьи поступаешь с дочерью!

У кузнеца потемнело в глазах. Сжимая кулаки, он двинулся на жену и уже собирался ее ударить, как вдруг к нему подбежала Сона и оттащила прочь, крича:

— Не пущу! Не пущу!

Но пьяница до того дошел, что занес руку на дочь с яростным ревом:

— А, так вы сговорились!

Тут кто-то цепко ухватил его за руку.

— Не допущу я — лев Данэл!

Глаза Восканы скрестились со страшными глазами Данэла; кузнец в бешенстве вырвал руку:

— Вон! Вон из моего дома, идиот!

Однако, посмотрев на Данэла, кузнец мгновенно утих, уронил руки и тихо произнес:

— А, это ты, братец Данэл? Садись, пожалуйста, ведь мы сегодня обручили нашу Сону.

Но безумец уже ничего не видел и только кричал:

— Под камнем лежит моя Манишак, лев Данэл этим камнем башку тебе прошибет!

И, схватив Воскану за горло, он начал душить его. Поденщица с воплем бросилась на выручку. Данэл, не обращая на нее внимания, изо всех сил тряс кузнеца. Глаза его от ярости выкатились из орбит, но вот Сона повисла у него на руке.

— Дядя Данэл, дядя Данэл, это я — Манишак.

Случилось неожиданное. Безумец, казалось, не выпустит Воскана, но при имени Манишак он разом опомнился. Оставив кузнеца, Данэл бросился перед Соной на колени:

— Господи, прости меня, прости! — твердил он, крестясь и целуя платье Соны.— Манишак, голубка моя, я раб твой, руби мне голову...

6

Никогда еще Шушан не страдала так, как эти четыре месяца со дня обручения и до свадьбы Соны. Она знала, что счастье дочери строится на шаткой основе. Чуялось ей и то, что в чужой семье, даже под защитой мужа, Сона не будет счастлива: ее преследует злой дух. Месяца не прошло со дня обручения, как с Соной опять случился припадок,—ударившись о камень, она разбила подбородок.

И все же вера в божье милосердие не оставляла бедную Шушан. Она искренне верила, что дочь ее не останется беззащитной. Даже дружбу Данэла она приписывала божьей воле. Если человек, лишенный ума, так участливо относится к ее дочери, тут безусловно предназначение свыше. Как же допустить, чтобы люди, здоровые и разумные, оказались бы до такой степени жестокими, чтобы не склониться над женщиной, страдающей по воле божьей? Если будущий муж Соны окажется хоть немного добросердечным, благородным и честным человеком — этого будет достаточно. Он не даст Сону в обиду даже родной матери.

— А скажи-ка, дядя Данэл, хороший ли парень Мурат? — спрашивала не раз поденщица и каждый раз получала ответ:

— Золотой!

И это было единственным утешением бедной Шушан.

— А вдруг,— спросила она однажды,— откроется, что у Соны падучая, что тогда будет?

Об этом Данэл не думал и знал только одно: никому нельзя говорить о болезни Соны. Ему казалось, что этого достаточно, чтобы скрыть ее болезнь.

После некоторого раздумья, подняв палку над головой, он заявил:

— Кто тронет мою Манишак, голову разобью.

Но почему безумец назвал Сону Манишак? Этого никто не знал. Все только замечали, что, называя это имя, он с особенной лаской заговаривал с Соной и выражение его глаз менялось. А та в этом взоре чувствовала давнюю и глубокую печаль. Угадать причину ей не удавалось. Сердечная привязанность Соны к этому человеку все возрастила. Когда он бывал весел, и ей делалось радостно; когда грустил, и Сона печалилась.

Однажды безумец вошел, держа под мышкой кусок дешевого синего полотна.

— Сона-ханум, сшей архалук льву Данэлу: день твоей свадьбы близок.

Данэл и архалук — какая неожиданность для Соны!

Три недели оставалось до свадьбы, и Сона задумывалась все чаще. Собственно о замужестве она имела весьма несложное представление: судьба девушки зависит отволи родителей. Если они берегут и холят свое дитя, они должны и мужа ей выбрать. Девушка, оставшаяся дома, — обуза. Женщина должна жить на мужины средства: родители не обязаны содержать ее. И поэтому каждая девушка, если она зрячая, должна выйти замуж, хотя бы даже за нищего.

Но эти простые мысли запутывались, когда Сона вспоминала, что она больна. Бог послал ей несчастье, а мать непременно хочет видеть ее счастливой. Не сегодня-завтра ее возьмут и уведут в чужой дом. А жених не знает, что невеста больна. Если знает, то почему женится на несчастной девушке? Если не знает, разве не нужно ему сообщить?

Непрерывная цепь сомнений сковывала слабый разум Соны. А вдруг она уже в церкви, под венцом, по воле злого духа, забывается в припадке? Вот будет позор и стыд! Жених ее с презрением бросит, все отвернутся, и Сона останется с матерью. И долго ли ей придется лежать в припадке, или она быстро очнется? И наконец, когда она падает, что делает, о чем говорит?

— Мама, когда я падаю, я говорю что-нибудь?

— Зачем ты спрашиваешь, дитя мое? Все в руках божьих.

Уж не лучше ли ей умереть и избавить мать от позора? Сейчас умереть, сию минуту!

— Господи, помилуй,— шептала Сона,— ведь желать смерти — грех.

По четвергам и воскресеньям кузнец неизменно навещал своих сватов, и если б не чувство стыда, готов был ходить туда каждый день в тот самый час, когда они садились обедать. Дома он уверял, что ему нравится только жених, а прочие так себе, неотесанное мужичье, с людьми не умеют обращаться.

На самом же деле Воскан опротивел сватам. Его закоптевые руки, почерневшее лицо были особенно не по душе старой Зарнишан и ее невестке. Обе женщины и без того были против брака Мурада с дочерью поденщицы, и если соглашались на это, то только повинуясь его воле. А тут еще этот закоптевый кузнец.

И вот однажды к поденщице явилась хромая Саарназ и в разговоре намекнула, что кузнец слишком уж часто ходит в гости к будущей родне. Сона слышала это. Каждое слово свахи, как нож, вонзалось ей в сердце. Она сгорала со стыда за отца: ведь она виновница его позора. Если сваты не могут простить Воскану его пьянства, так неужели они простят его дочери падучую болезнь? На мгновение у нее даже мелькнула мысль рассказать обо всем хромой свахе. Пусть она расскажет жениховой родне, что невеста наказана богом, и пускай они берут назад обручальное кольцо; позор падет на голову Соны. Она была уже готова рассказать Саарназ обо всем, но встретила умоляющий взгляд матери. Догадалась ли Шушан о том, что происходило в душе дочери, или это произошло невольно, только Сона оцепенела от этого взгляда.

В это время старая Зарнишан и Гюльназ уговаривали Мурада отказаться от невесты, пока не поздно.

— Мать — поденщица, отец — пьяница: нищие, голодные, грязные, что ты прилип к этой девчонке? — твердила Зарнишан.

— Разве может быть у таких родителей порядочная дочь,— вторила Гюльназ.

— Пускай хромая, слепая, безрукая: она моя невеста, другой не хочу! — отвечал Мурад.

И женщинам пришлось уступить. Знали они, что противоречить Мураду бесполезно: уж такой он человек, что настоит на своем, хотя бы весь мир был против. Спорить

же с Мурадом опасно: на нем держится весь дом. Не дай бог, разойдется с братом и заживет отдельно.

Настал и день свадьбы.

Подсеница позвала только самых близких родственников, хотя ни с кем из них она до этого времени не поддерживала отношений: ей хотелось, чтобы свадьба прошла возможно скромнее. Кузнец, напротив, настаивал на приглашении всех «почтенных» семейств, хотя и сам не знал, куда посадить гостей. В конце концов Шушан победила; кузнец понял, что большое количество гостей потребует и больших расходов.

Правда ли, что день свадьбы приносит радость? Нет, должно быть, это ложь. Ведь этот день принес для Соны нескончаемую вереницу страданий, сомнений и страхов.

Вот она стоит в углу за занавеской. Две молодые женщины одевают ее в подвенечное платье. Она не понимает, что происходит вокруг; знает только, что сегодня день ее свадьбы. Она дрожит, бледнеет, то по всему телу проходит ледяная дрожь, то ее охватывает жар.

Подчиняясь чужой воле, как заведенная машина, она делает все, что ей прикажут. Прежде она не знала, что такое хна, но вот уже две недели ей красят волосы. Цвет ее темно-золотистых пышных кудрей по традиции считается некрасивым. И теперь от потемневших волос лицо ее кажется еще бледнее. В зеркале она не узнает себя.

— На кого я похожа! — улыбается Сона.

Но эта слабая улыбка теряется на мрачном лице. Каякая-то старуха берется «украсить» ее. Концами маленьких ножниц старуха отрезает от бровей Соне лишние волосы, сурмит ей ресницы, заплетает косы. Потом Соне приказывают встать, закрывают ей лицо фатой, окутывают в чадру. Велят сесть, встать и снова сесть. Наконец берут под руки и выводят.

Тут раздаются голоса священника и дьячка. Начинается пение. Вот оно кончилось, отовсюду слышны поздравления. Опять Сону ведут куда-то; лицо ее по-прежнему закрыто. Кто-то идет подле нее, близко, близко. Кто же? Сона чувствует, что этот неизвестный скоро станет ее господином.

Резко заголосила зурна. Вот этот звук, тот самый, что так часто слышался Соне издали. Почему же сегодня он ей не кажется таким приятным, как на свадьбе подруг?

Как будто ее похороны начались. А где мать? Как могла она оставить дочь среди чужих людей?

Еот, наконец, Сона в церкви. Кругом шепчутся, будто иголками колют ее. Голоса священника и дьячков раздаются словно из-под земли. И девушке чудятся страшные картины: могилы, скованные цепями трупы, черви. И что это за страшные звуки? Почему она здесь? Кто рядом с нею? Почему ее все время толкают? Чья холодная рука соединяет ее руку с неизвестной рукой?

— Согласна ли ты, дитя?

На ее шею ложится рука и трижды наклоняет голову. Но вот ее выводят вперед, надевают на шею какую-то нитку и опять снимают ее.

Служба кончилась.

Опять слышен глухой шепот, но он уже не пугает Со-ну. Под пронзительные звуки зурны, возгласы и крики брачная процессия направляется к дому жениха.

И Сона понемногу приходит в себя. Теперь она понимает, что всему конец, она уже не вернется в родительский дом, где так долго страдала. Но этих страданий она уже не помнит больше: ей грустно расставаться с родным уголком.

А вот и тот дом, где ей суждено оставаться до самой смерти. Похож ли он на родительский? Но Сона ничего не видит: лицо ее закрыто. Но где же мать? И Сона чуть слышно рыдает.

Эка важность! Все девушки под венцом плачут: конечно, от радости. Почему бы не радоваться и Соне? Дочь жалкой поденщицы и вечно пьяного кузнеца — и вдруг такой же! Богатый дом, удачная торговля, сам парень умница и красавец. А за невестой какое приданое? Одно платьишко. Да, правду говорят, что у счастья нет глаз: покружит, покружит, да вдруг и бросится к дочери поденщицы на шею.

Это шептались женщины и больше всех старые подруги Соны. Уж им ли не знать невесты: плакса, труслива как заяц. Всегда босая, с открытой головой.

— Ну да, помню, девочка с волосами цыганки,—раздался голос Баргаманц Марджан.

— Каждый день свежим хлебом лакомилась,— добавила Мисаканц Зарвард.

— Да ведь мать-то поденщица,— подхватила Шаваланц Русик.

Разговор на миг оборвался. Подруги подошли к Соне и поочередно начали поздравлять ее, приподнимая фату и заглядывая в лицо. Смуглянка Маргарит вдруг спохватались:

— А помните, что случилось в тот день?

— Что? Когда?

— А вот, когда Сона вдруг грохнулась и вся посишла.

— Да, да, а безумный Данэл отнес ее домой.

— С тех пор мы ее и не видали.

Тут собеседницы принялись усердно рукоплескать старшей сестре жениха, пустившейся в пляс.

— Говорят, что...— начала было Маргарит.

— Что же говорят-то?

— А бог знает что, грех тому, кто говорит: будто у Соны голова не в порядке.

— И я так думаю: тут что-то не то...

И подруги с насмешливым сочувствием посмотрели на новобрачную.

— Теперь «выжатая» Зарнишан весь мир перевернет, как узнает, что у невестки в голове не того...— продолжала Марджан.

— Не дай бог никому попасться ей в руки,— добавила хитрая Русик.

— Да и Гюльназ не лучше,— вмешалась Зарвард,— съедят они ее, бедняжку, съедят.

— Да о чем вы толкуете? Рыбак рыбака видит издалека,— зашептала Маргарит,— чем их Данэл лучше Соны?

— И то правда. Данэл сегодня сватом. Видели, как он перед невестой факел нес, выходя из церкви? Как плясал и прыгал — со смеху умрешь!

— Ну что же, нашел себе подружку.

И в самом деле, кроме кузнеца Воскане, в тот вечер ликовал от всей души один Данэл. Вопреки желанию родных, он не только был на свадьбе, но даже распоряжался: открывал дорогу новобрачным, пел, плясал, приказывал музыкантам играть. Теперь на нем красовался архалук, сшитый Соной, на ногах новые носки, связанные ею же, на голове папаха, изъеденная молью. Горделиво

показывал он всем и архалук и носки. В этот вечер, говорил он, у него двойная свадьба: племянника Мурада и хатун Соны.

— Я дал клятву, что буду нести факел на их свадьбе. Давай его сюда!

И от церкви до дома он так и не выпустил факела из рук.

7

Обыватели полуразрушенного городка считали новую родню поденщицы людьми состоятельными и значительными. Это семейство переселилось сюда лет двадцать пять назад.

Тогда главой семейства был Саргис, отец Мурада. Его старший сын, по прозвищу Рябой Карапет, еще был холост, а младшему, Мураду, едва исполнилось два года. Вторым в семье был Данэл, младший брат Саргиса. В те времена он был скромным и трудолюбивым портным и среди ремесленников весьма уважаем. Женат он был на дочери бывшего своего мастера и уже имел трехлетнюю дочку. Это был примерный семьянин: жену и дочь он любил всей душой, как настоящий мирный ремесленник, для которого жизнь вне семьи не имеет смысла. В этом темном простолюдине не было и тени деспотизма. Мягкость и доброта его граничили со слабостью. Больше всего на свете он любил дочь. Часто, осыпая ее поцелуями, он говорил:

— Господи, неужели есть на свете кто-нибудь лучше?

Однако бог судил по-своему, и дочь Данэла сделалась жертвой кори. Это событие потрясло Данэла до глубины души. Целый год на лице его не появлялось улыбки. Но тут господь послал ему вторую такую же дочку. Не успела зажить его сердечная рана, как он получил другую, еще более глубокую. Жена его, черпая воду, споткнулась и упала в колодец. При падении она ударилась о камень головой и дня через два скончалась.

Вот когда в душе Данэла совершился страшный переворот! Несколько месяцев проплакал он, не расставаясь с могилой жены. Его охватила страшная тоска. Как призрак, бродил он целыми днями, бросив работу и с трудом отвечая на вопросы. Одно теперь осталось ему в жизни: вторая дочь, уже подраставшая и очень походившая

на мать. Бедный вдовец сажал дочку на колени, ласкал, целовал и подолгу не отрывал взгляда от ее ясных глазок, чистых, как две росинки. Вопреки обычаям своей среды, Данэл никогда не высказывал недовольства, что бог дал ему не сына, а дочь. Он даже был рад этому: сердцу его отрадней, что дитя — девочка, а не мальчик.

Наконец скорбь Данэла стала утихать. Он даже улыбаться начал. Но судьба не щадила его. Дочке было уже семь лет, когда произошло трагическое событие.

В начале мая, в ясный погожий день, когда все были заняты обычными мелкими заботами внезапно послышался подземный гул. Животные завыли, птицы закричали, земля затряслась, и густая пыль окутала городок.

Не осталось камня на камне. Все валилось и рушилось со страшным грохотом. В несколько секунд городок превратился в груду развалин.

В это время Данэл сидел в мастерской за работой. Разумеется, прежде всего он вспомнил о дочери и босиком, без шапки бросился домой. Еще у ворот ему послышался плач. Несколько женщин стояли у песчаного бугра. Они дали дорогу портному, и он увидел то, что навеки разбило его жизнь.

Перед ним лежала навзничь его девочка. Тельце ее только что вытащили из-под камней и обломков. Еся грудь ее была разбита, но лицо уцелело. Пышная россыпь волос походила на венок. Это был ее погребальный венок...

Всю эту грустную повесть рассказала Соне старшая сестра Мурада — Наргиз, жена оружейника. Она и лицом и характером походила на Мурада и с каждым днем все родственнее относилась к новой невестке.

— Один бог знает, что случилось тогда с этим бедняком Данэлом,— продолжала Наргиз.— Он не только не сказал ни слова, но даже и не вздохнул ни разу. Посмотрел на нас безумными глазами и снова уставился на дочь. Долго стоял как окаменелый. Вдруг слышим не голос, а будто волчий вой. Данэл без сил свалился на тело девочки и так лежал до поздней ночи. И вот с тех пор начал он громко хохотать и колотить себя в грудь. На другой день его дочь схоронили, а он без шапки, босиком провожал гроб. Так мы и не видели с тех пор на нем ни шапки, ни обуви. Да, постой, постой... Как же это?.. Ведь на твоей свадьбе он был в папахе, обутый. Что за чудеса!

И действительно, впервые после смерти дочери Данэл оделся, как все люди.

— Портняжить он перестал. Без конца скитался по улицам и, когда видел бугор земли, начинал топать ногами и стонать: «Манишак моя, Манишак!» Уж каких только мы снадобий не применяли, каких захарей и ворожей не приглашали,— ни заговоры, ни зелья не помогли. Лавку Данэла брат мой продал, а на могиле жены и детей бедняги поставил камень. И каждый день Данэл ходит туда, а люди говорят: «Вот идет безумный».

Этот рассказ поразил Сону в самое сердце. Она горько зарыдала. «Так вот кто эта Манишак!»

— Бедняжка дядя Данэл! — повторяла Сона, утирая слезы.

— Доброе у тебя сердечко, Сона, раз ты плачешь,— сказала Наргиз, обняв невестку.

Увы, она не знала, что Сона в это время вспомнила рассказ матери о том, как Данэл когда-то принес ее домой. И ей тогда было семь лет, как в год смерти Манишак, и она лежала на песчаном бугре так же павничья и с рассыпавшимися кудрями. Вот откуда началась его дружба с незнакомой девочкой и матерью. Увидя Сону, он вспомнил Манишак.

— Я так люблю дядю Данэла, а теперь еще больше полюбила. Пусть он приходит к нам почаше.

— Но он избегает нас. Видишь это дерево? Тут неподалеку лежала Манишак. Там был наш старый дом. Несколько раз в год становится Данэл под этим деревом, прижимает дубинку к груди и поет. Раньше он ходил очень редко, а теперь приходит каждую неделю. Опять ты заплакала, Сона?

— Мне хочется его чем-нибудь утешить. Только несчастному понятно чужое горе...

Сказав это, Сона спохватилась... Ведь ее слова у Наргиз могут вызвать подозрения. Между тем для Соны все-го страшнее было, что тайну ее узнают муж и вся родня. И бедняжка с ужасом ожидала надвигавшегося припадка: так осужденный на казнь ждет неизбежной минуты.

Первые три дня в мужнином доме прошли для Сони как в тумане. Сколько новых, незнакомых впечатлений! Как трудно разобраться в них! Сона, казалось, грезила наяву,— ее давил свинцовый кошмар.

Наконец свадебная суeta кончилась, число гостей убавилось и голова Соны стала проясняться. На четвертый день с нее сняли фату, и ей показалось, что и с ее души спала какая-то пелена. Загадочная тайна брака наконец открылась. Одна в своей горнице, она долго и горько плакала. Ах, если бы никого не видеть! Поцелуй свекрови обжег ее. К мужу она чувствовала даже отвращение. Все люди казались ей не знающими стыда животными.

Но до чего было глубоко это переживание в ее сердце и как она страдала, вспоминая недавнее прошлое и сравнивая его с настоящим! Ушло, исчезло оно, это прошлое, и теперь даже стены спальни как будто смеялись над ним.

Завидя мать, пришедшую навестить ее, Сона, рыдая, бросилась к ней в объятия. Ей было совестно смотреть на мать и в то же время непонятная ненависть закипала в душе ее. Почему с ней поступили так безжалостно? Ведь она была так счастлива под родною кровлей. И неужели мать этого не понимает? Она искала у нее сочувствия, но странно! — мать не только не печалится, а даже улыбается почему-то. Неужели позор дочери может ее радовать?

— Да положит сегодня господь конец всем нашим несчастьям! — сказала поденщица.— Да почнет его благословение на твоем челе! Пусть злое исчезнет, а на тебя и мужа твоего да слизойдет благо. Сколько лет я мучилась, ожидая счастья!

Сона продолжала с удивлением смотреть на мать. Почему она так весела?

— Да, деточка, сегодня я счастлива и уповаю на бога, что он продлит мои радости. Я видела два сна. Один сбылся, а другой сбудется. Что же ты плачешь? Положим, я тоже плакала, когда сняла с лица фату... Попривыкнешь, детка, и увидишь, как хорошо жить на свете. У тебя не такой беспутный муж, как у меня. Я была несчастна. Ты будешь счастливой, если богу будет угодно...

Сона понимала затаенный смысл материнских слов. Одно лишь ей непонятно: как она может быть счастливой, раз ей не хочется даже видеть лицо мужа.

Но со временем и этот вопрос стал для нее ясным. Понемногу Сона привыкла к своей участи, и жизнь стала казаться ей сладкой. Безотчетный страх перед мужем сменился теперь преданной любовью. Наконец Сона убе-

дилась, что муж не грубое животное, а добрый, милый друг. Он обходился с ней как с нежным, редкостным цветком, как будто боясь развеять его лепестки. На лице его светилась милая улыбка, как у ребенка, получившего любимую игрушку. Он не умел выразить свою любовь словами, но ласковые и нежные взгляды мужа говорили ей, что он счастлив.

Иногда Сона вспоминала недавнее прошлое, когда она просила у бога смерти, и ужасалась. Покинуть свет, когда жизнь так мила! Теперь только ей стал понятен смысл материнских слов!

Одно только беспокоило Сону: любя супруга, имеет ли она право быть любимой?

«Нет, нет, я недостойна любви. Я одержимая. Муж этого не знает, но скоро узнает».

И как знать, может быть, Мураду уже все известно, может быть, с ней уже был при нем припадок? Ведь она не чувствует, когда с ней бывает припадок. И с трепетом взглядалась она в глаза супруга, пытаясь прочесть его мысли. Как-то раз Мурад шутя взял ее за подбородок. Сона, схватив его руку и глядя ему в лицо, улыбнулась. Она даже едва не спросила: «А знаешь ли ты, что мной владеет злой дух?» Но слова остановились у неё в горле. А Мурад между тем сиял счастьем: в глазахискрилось пламя любви — и какой любви!..

Рожденный для семейного счастья, Мурад нравом напоминал своего дядю Данэла — не теперешнего безумца, а прежнего семьянина, чья скорбная тень блуждала ныне по земле. Мурад гордился своей женой, восхвалял перед матерью и братом ее кротость и красоту, уверял, что подобной жены не найдется на земле.

— Да, ее родители бедны, но это не позор. Только бы она была мне по сердцу. Слава господу, пославшему мне такое счастье!

— Ну что же, сынок, дай бог, ведь мы не враги тебе,— отвечала старая Зарнишан, негодяя в глубине души, что дочь какой-то поденщицы и забулдыги-кузнеца может осчастливить её сына.

А Гюльназ упорно молчала и хитровато покачивала головой, как бы говоря: «Поживем, увидим».

Ей всей душой хотелось отыскать у Соны хоть какой-нибудь недостаток, чтобы оправдать свои подозрения и

завись к юности и красоте Соны. Как старшая невестка, Гюльназ имела в доме больше прав и власти, чем младшая, но знала хорошо, что если свекровь полюбит Сону, старшинство ее поколеблется. А пока Гюльназ самовластно распоряжалась и приказывала Соне. Та безропотно выслушивала ее наставления: юной невестке не хотелось перечить этой женщине, внушавшей непреодолимый страх своими стеклянными глазами. Точно так же боялась Сона и злорадного взора свекрови.

И все-таки Сона считала себя счастливой: она любила и была любима. Порой это сознание так овладевало ее душой, что она забывала прошлое и помнила только свое любовное счастье. В эти минуты лицо ее просветлялось и розовело, в затуманенных глазах начинала искриться жизнь.

Однажды, сидя у окна, Сона поджидала Мурада. И вдруг раздался голос безумного Данэла.

Он шел с дубинкой на плече, напевая что-то. И опять он был босой и без шапки. На конце его дубинки красовался большой пучок диких цветов. Приблизившись к окошку, Данэл осторожно снял с палки цветы и передал их Соне.

— Тысячу приветствий моей ханум-хатум! Я был на горе Кыз-Кала и там нарвал для тебя эти цветы.

Сона с улыбкой приложила к лицу букет.

— Какое доброе сердце у тебя, дядя Данэл! Я поставлю твои цветы в воду и буду хранить.

— А когда увянут, еще принесу. Каждое воскресенье буду носить. Красивые цветы, не правда ли?

— Ах, ах, как хорошо,— говорила Сона, вдыхая аромат лепестков.— А почему тебя не видно, дядя Данэл?

Безумец как будто опомнился. Он оглядел двор и таинственно прошептал:

— Нет ее, нет!

И опять повернулся к Соне.

— Встретил я лихого всадника и полюбил. А хорошо ли тебе тут, Сона-ханум? Ресело? Нравится Мурад?

Сона смущенно потупилась. Данэл опять оглянулся и прошептал:

— Свекровь добра ли к тебе? Карапетова жена не обижает ли?

— Нет, дядя Данэл, они хорошие — и свекровь и Гюльназ. Спасибо им за все.

— Смотри, уж не врешь ли ты?

— Что ты, дядя Данэл! Когда же я врала тебе?

— А кто тебя тронет, того я на куски разорву!

Сона невольно улыбнулась, вспоминая, как и она когда-то боялась безумного.

— А почему ты, дядя Данэл, опять босой и без шапки?

— Справил я, голубка, свадьбу твою — и будет с меня... А теперь прощай: пора к звонарю...

И он почти выбежал со двора.

Отголоски его хриплого голоса придавали особенную тоскливость развалинам, слабо озаренным лучами заходящего солнца.

8

Шушан навещала дочь раза два в неделю. Зато кузнец являлся почти каждый день. Шушан никогда не оставалась обедать, как ее ни приглашали, а кузнец при одном намеке на приглашение сбрасывал огромную папаху и усаживался, поджав ноги.

Иногда Соне приходилось выслушивать грубые замечания Зарнишан и Гюльназ об отце. Его она защищать не могла, но и не хотелось ей говорить ему, чтобы он скратил свои посещения.

— Человек должен держаться с достоинством, если хочет, чтобы его уважали,— сказала как-то свекровь, набивая нос табаком,— иначе грош ему цена. Впрочем, это дело не мое, но, человек ты божий, о чем ты думаешь, когда грязными ногами пачкаешь мой дом?

Сона молча стояла перед старухой, опустив голову. А та все больше раздражалась.

— В подачке я никому не откажу. Хоть каждый день буду посыпать ему и водку и закуску. Пускай у себя дома вволю кифует¹, а у меня не кабак!

На другой день Сона со слезами на глазах уговаривала мать повлиять на отца, чтобы он не ронял себя в глазах новой родни.

¹ Кейф — пир, пирушка.

Вечером поденщица и кузнец сильно повздорили. Жена стыдила его, что он каждый день таскается в дом сватьев и по его милости Соне приходится выслушивать попреки. А Воскану не верилось, что зятева семья не хочет его принимать. «Неотесанное мужичье» должно бы за честь считать, что такой почтенный человек переступает их порог.

— Это все Сона придумала, я знаю, это она!.. — крикнул кузнец, грубо выругавшись. — Еще бы, теперь она жена богача, и ей стыдно, что у отца руки в саже. Вот я завтра же поймаю ее супруга на базаре, да и выведаю все. Я этого так не оставлю. Меня Пулузанц Восканом зовут. Ежели Мурад скажет, что не хочет меня видеть, я ему плону прямо в рожу. Видит бог, при свидетелях плону и на вски вечные прощусь! Ноги моей у них не будет!

Как Шушан ни уверяла, что Сона не виновата и что Мураду не надо об этом говорить, кузнец твердил свое:

— Нет, я его за горло схвачу. Я ему отдал дочь, а не выжатой Зарнишан и не жене рябого!

Сказано — сделано.

На другой же день кузнец поймал Мурада на базаре и напустился на него.

— Что это за новости такие, слыханное ли дело, чтобы зять выгонял тестя? Плевать я хочу на вашу водку. Нуждаюсь я в ней, что ли?

Ничего не ведавший Мурад изумленно глядел на тестя.

— Не пойму, кто обозвал твоего осла хромым, что ты так сердишься. Для тебя мой дом всегда открыт. Приходи, когда хочешь; ешь и пей, как у себя дома.

Кузнец смягчился.

— Вот что, — изменил он тон. — Если так, то ты, значит, человек приличный. Да, старших надо почитать. А еще лучше, кабы ты своих домашних поучил, как надо обходиться с порядочными людьми.

— И домашние тебе ничего сказать не посмеют. Ты мой тесть. Принимаю я тебя или нет — мое дело.

— Год молодчина парень! — восторгался Воскан. — Вот настоящий мужчина! Поцелуемся!

Но тут он вдруг переменил тон.

— А вирочем, что за невидаль! — он небрежно сунул руки за пояс. — Ты, кажется, думаешь, что я так и рвусь к тебе? Нет, милый друг, пока меня тысячу раз не попро-

сят, я шагу не сделаю — не зря меня Пулузанц Восканом зовут! Плевать мне на богатство! Дело в порядочности и честности, а деньги что? Грязь одна: нынче есть, а завтра тю-тю. Я не о себе, а о тебе забочусь. Если ты меня почитать не будешь, добрые люди тебе же в глаза будут тыкать.

— Верно, верно,— соглашался Мурад.

Дома он настоял, чтобы Сона ему все рассказала. Долго противилась молодая, наконец сдалась. Узнав, что ей досталось от свекрови, Мурад тотчас отправился к Зарнишан.

— Знайте раз навсегда вы обе,— объявил он матери,— если ты или Гюльназ еще раз что-нибудь подобное скажете моей жене, я уведу ее, и мы будем жить отдельно.

Старуха перетрусила и еще больше возненавидела невестку.

— Какова пекаркина дочка! Месяца не прошло, а уж хочет поссорить сына с матерью и братом. Ну уж постой: я тебя обуздаю!

— И то пора ее осадить,— поддакнула Гюльназ.— Это только первая нитка. Посмотрим, каков клубочек-то выйдет. Я готова выколоть себе глаза и бросить собакам, если эта гадина меня с мужем не разведет!

И обе женщины стали размышлять, как быть. Дело оказалось немаловажным. Вся торговля была в руках Мурада. Он умел читать и писать, вести счета. А Карапет недоучка, где ему знать, с кого получить и кому заплатить. Сам он сознался, что без Мурада ему цена грош. Очень огорчился Карапет, узнав, что брат грозит отделиться. И из-за чего: из-за того, что с его тестем дурно обходятся. Карапет не был против посещений кузнеца. Однако Гюльназ сумела убедить мужа, что Сона вносит в дом раздор; вот почему она не ладит с невесткой.

Теперь против Соны образовался наступательный союз. Скоро ей это пришлось почувствовать. Противники, как могли, наговаривали на нее супругу.

Первое время Мурад при намеках на лень и своевольство Соны сердился на родных. Потом решил сам проверить жалобы на жену, и тут оказалось, что она не только не ленива, но что вся работа по дому лежит на ней. Вот когда Мурад столкнулся со своими домашними! В пылу

гнева он обвинил во всем Гюльназ. Та, разумеется, горько обиделась и в слезах бросилась к мужу. Теперь очередь дошла до рябого. Карапет упрекнул брата, зачем-де он так обошелся с его супругой, и между братьями впервые вспыхнула ссора.

В конце концов Зарнишан и Гюльназ пришли к убеждению, что их дело проиграно, что Мурада нельзя поссорить с женой,— и вдруг... судьба решила по-своему.

Воскресным утром вся семья сидела за чаем. Разливала его Сона. Подойдя к свекрови с подносом, уставленным стаканами, она вдруг почувствовала, что ей холодно и точно мокрицы ползут у нее по спине. Дрожь охватила ее, она вскрикнула, задрожала, выронила поднос и грязнулась оземь.

Гюльназ закричала диким голосом. Зарнишан хлопнула себя по коленям. Карапет вытащил изо рта трубку и тупо глядел на разбитые стаканы и пролитый чай. Один Мурад вскочил и побежал к Соне. Он хотел ее поднять, но, взглянув на ее лицо, застыл на месте. Дети Карапета заревели. Сначала всем показалось, что Сона ненароком споткнулась обо что-то. Но, видя ее багровое лицо, пену, клубившуюся изо рта, язык, прикушенный зубами, услышав зловещий хрип, все как будто прозрели.

— Падучая! — воскликнула Гюльназ первой.

Накинув шаль на лицо Соны, она увела детей. Зарнишан все хлопала себя по коленям и горестно причитала. Карапет сочувственно смотрел на брата. А Мурад стоял как вкопанный, не сводя глаз с беспомощно валявшейся у его ног жены.

Это продолжалось минуты две. С лица Соны сбросили шаль. Она начала приходить в себя.

Немедленно послали за Шушан. Может быть, у Соны совсем не падучая, как утверждала Гюльназ.

При входе Шушан старуха крикнула:

— Твоя дочь одержимая!

Несчастная мать! Эти слова пронзили ее острее иглы.

Она побледнела, но не проронила ни слова. Да и что она могла сказать? Сомнений не оставалось. Пекарка прошла в комнату дочери. Сона одетая лежала на постели. В углу на сундуке, скрестив на груди руки и уставившись глазами в пол, сидел ее муж. Он поднял голову и посмотрел на тещу. Его страдальческий, молящий взор загорелся на-

даждой. Ему хотелось услышать, что нет, Сона не больна падучей, что обморок произошел с ней случайно. Но у пекарки отнялся язык, и ее молчание убило надежду Мурада.

— Что, у нее падучая? — спросил он.

Сона лежала, повернувшись лицом к стене. Она почувствовала, что мать вошла в комнату и опустилась перед ней на колени. Но Сона не шелохнулась. Она боялась встретиться глазами с мужем — ведь как только она очнулась, Гюльназ прямо и безжалостно бросила ей в лицо, что она больна падучей и лишь минуту назад лежала в припадке.

— У Соны падучая? — еще раз спросил Мурад.

— Пусть огонь небесный испепелит меня! — воскликнула пекарка.

Мурад ничего не сказал и продолжал смотреть в одну точку. Это молчание для пекарки было более тягостно, чем если бы ее укоряли, брали, плонули в лицо. Она сочла бы себя счастливой, если бы этот добряк, так любивший Сону, ударом кинжала неожиданно прикончил бы ее. Но Мурад молчал.

— Воды! — шепнула Сона, точно опасаясь, что ее может услышать муж.

Шушан оглянулась. Воду надо было принести из соседней комнаты, а там несчастную пекарку ожидали трое непримириимых судей. Три пары глаз с ненавистью и презрением впились в нее, когда она вошла туда. Шушан почувствовала в сердце уколы, как от острых игл. Она поняла, что неумолимые судьи потребуют от нее объяснения и что ей надо наконец предстать перед ними лицом к лицу. Вот почему, напоив Сону, Шушан унесла графин назад и остановилась перед ними.

Первой зашипела Зарнишан; ее землистое лицо так и дышало ядом.

— Приветствую счастливую мать счастливой дочки! Подойди ближе, расцелуем подол твоего платья, голову твою омоем розовой водой, ноги твои хной окрасим, милая сватышка, свет наших очей! Дочь твоя бесценный жемчуг, достойный сверкать на пальце шах-иншаха! И ты еще смеешь глядеть на свет божий! И земля не расступится под тобой! И не трескается земля там, где коснется ее твоя нога! Будь же ты опозорена, как ты опозорила всех нас!

Поденщица слушала эти ядовитые проклятия, не смея поднять глаз.

— А мы-то радовались, что в наш дом вошла молодая красивая невестка! — подхватила Гюльназ, сверля Шушан взглядом. — Радовались, нечего сказать! Мало того, что породнились с блудолизкой да с наглым пьяницей,— теперь еще придется прислуживать ее бесноватой дочери.

Пекарка утерла глаза передником. Теперь очередь была за третьим судьей.

— Я много говорить не буду,— сказал рябой Карапет, выколачивая трубку.— Нынче же, сию же минуту забирай свое отродье и уводи к себе! Нам некогда возиться с ней.

Но тут на пороге вырос Мурад. Он был бледен, губы его дрожали, лицо дергалось. Не замечая его, рябой продолжал:

— Забирай, говорят, свою дочь и веди к себе!

— А кто тебя поставил судьей? — взволнованно крикнул Мурад.— Кто ты такой, что выгоняешь из моего дома мою жену?

Никто и не ожидал, что Мурад заступится за Сону, разбившую все его счастье. Карапет от удивления выпучил глаза. Зарнишан вышла из себя.

— Судья нам всем — бог,— повернулась она к Мураду,— а я, как мать, не позволю, чтобы сын мой жил с женщиной, одержимой злым духом!

Мурад подошел к матери и почтительно поцеловал ей руку.

— Долг сына,— молвил он,— покоряться родительской воле. И я доныне не прекословил тебе, все делал так, как ты хотела. Раз только я ослушался тебя, и господь меня покарал. Так пусть же я понесу это наказание, позволь мне его нести, я этого достоин!

— Значит, ты не хочешь расстаться с одержимой?

— Не хочу.

— Не хочешь отвернуться от нечистой, отвергнутой самим богом?

— Не хочу.

— Смотри, пожалеешь!

— Что написано на роду — должно свершиться.

Тут Мурад безотчетно обернулся. Сона привстала на кровати и слушала разговор. Лицо ее было белее мела,

зрачки застыли. О, как жалел ее Мурад! Он даже забыл о своем горе и был весь поглощен мыслью о болезни жены. Он понимал, как она тяжело страдает. Но не только чувства любви и сострадания заставляли его защищать Сону. Большую роль играло самолюбие. Если он сам выбрал эту девушку, он сам же должен и защищать ее.

— Я с ней не расстанусь,— сказал он решительно,— хотя бы все оставили меня.

И быстро вышел в соседнюю комнату, притворив за собой дверь. Его встретил благодарный взгляд Соны, трепетавшей между страхом и надеждой.

— Ох, околдовали моего сынка! — выла старуха.— Околдовали и бросили в когти дьяволу!

9

Беспощадный удар судьбы неожиданно сразил молодого супруга. Не успел он вкусить сладость любви, как уже рок разбил его жизнь. Он с тоской глядел на стиснутые губы жены, тяжелые вздохи вырывались из его груди.

Порою в сердце его вспыхивала невольная ненависть к этой женщине, которую он так любил, с которой мечтал наслаждаться счастьем у родного очага. Зачем она так безжалостно его обманула? Зачем навеки омрачила ему жизнь?

Но эти мгновения проходили, и опять в душе Мурада возникала беспредельная жалость.

Он не жаловался на судьбу; прежде всего он считал виновным себя. Еобще он был не из тех, кто в своих несчастьях винит других. Он мог смело смотреть в глаза жизни: совесть его не упрекала ни в чем. Но в то же время он никому не позволял судить себя. Теперь тоска терзала его день и ночь. Целую неделю не выходил он из дома. Ему чудилось, что встречные будут указывать на него пальцами, смеяться или сожалеть. Когда старший брат напомнил ему о делах, Мурад только рукой махнул:

— Нет у меня дел, поступай как хочешь!

Несчастный как будто забыл обо всем на свете. Не ел, не спал, по целым дням угрюмо мерил шагами двор или, сидя недвижно, смотрел в одну точку.

Лицо его заметно побледнело, в глазах светилось уныние. Прежде всех это заметила Сона, с замиранием серд-

ца следившая за каждым шагом мужа. Ей хотелось облегчить его муки, но как это сделать? Стать на колени и просить прощения? Уж лучше бы он не был таким добрым и не защищал жену перед родней. Тогда бы и Соне пришлось меньше страдать. Но нет, так продолжаться не может. Сона не в силах переносить вечное молчание Мурада.

— Выслушай меня,— сказала она однажды.

Она сидела у окна. Мурад ходил взад-вперед по балкону. Он остановился, бросил папиросу и обернулся к жене. Ни тени укора или обиды на этом помертвелом лице!

— Долго ли,— продолжала Сона,— ты будешь безмолвно терзать мое сердце?

— До тех пор, пока у меня есть сердце.

— Но терзаться должен тот, кто виноват.

— То есть кто же?

— Жена твоя, твоя раба! Почему ты не накажешь ее?

Мурад ответил горькой улыбкой. Ему ли наказывать бедное существо, уже наказанное богом?

Сона угадала смысл его безмолвного ответа.

— Мне самой непонятно, как я смела вступить в твою семью. Бот уже неделя, как я только об этом и думаю: нет, я не имею права жить здесь. Отпусти меня к родителям. А че хочешь — брось или убей как собаку, только не оставляй без наказания.

— А меня кто убьет тогда? И куда отправится мое горе, если я тебя отправлю к твоим родным? Поздно...

— Клянусь богом, сколько раз хотела рассказать тебе всю правду о себе, но не могла.

И она концом шали вытерла заплаканные глаза.

— Довольно! — возмутился Мурад.— Мы не смеем бороться с богом. От судьбы не уйдешь! Я был так слеп, что все равно женился бы на тебе, хотя бы весь мир был против меня. Довольно! Поди принеси мне чаю.

Когда Сона поставила чай на подоконник, от ветра распахнулась ее шаль, обнажив шею. Мурад, глядя на жену, по-прежнему восхищался ее красотой.

— Что это? — вдруг спросил он.

Сона тотчас закрылась шалью и отвернулась.

— Что это? — повторил Мурад.

— Ничего...

Не получая ответа, Мурад вошел в комнату, заставил Сону снять шаль: на шее виднелись свежие синяки.

— Кто тебя научил царапать себе грудь? — сердито крикнул Мурад.

Несчастная страдалица терзала свое тело, чтобы пересилить этой болью душевную боль. Все ее тело было в пятнах: так она наказывала себя.

— Если я еще раз увижу это, простись со мною,— объявил Мурад решительно.

Сона ответила ему покорным и благодарным взглядом. В глазах мужа она читала сочувствие и любовь. Сердце ее забилось.

— Ах, я недостойна быть пылью у твоих ног! — шепнула она еле слышно.

И вдруг лицо ее просияло улыбкой: она увидела Данэла. Так же радостно улыбнулся ему и Мурад. На этот раз безумец шел в молчании, опустив голову на грудь. Во всей семье, кроме Соны, только Мурад радовался приходу Данэла. Мало того, он всегда настойчиво приглашал его к себе.

Остановясь посреди двора и опираясь на дубинку, Данэл покачал головой и мрачно молвил:

— Ударил я себя в грудь и спросил во весь голос: «Фархад, Фархад, есть ли в мире счастливый человек?» Небо загремело, земля затряслась, и Фархад ответил: «Человек, неси то, что написано на роду твоем. Это и есть счастье».

И безумец подал Мураду пару яблок.

— Сперва отведай ты, Меджнун, потом дай Лейли¹. Это принес для вас лев Данэл. Белое яблоко — невинность, красное — счастье. Иван-креститель сказал мне во сне: «Кто невинец, тот — счастлив».

Он вытащил обрывок серой тряпки и подал Соне.

— Поцелуй и приложи ко лбу. Это с могилы святого Нишана. Держи у себя под подушкой. Божья сила убережет тебя от дурного глаза.

Поденщица уже успела рассказать Данэлу о припадке Соны. Сона не знала, как отнесется муж к приходу безумца, но Мурад попросил его сесть и предложил чаю.

Данэл приложил руку к сердцу, поклонился племяннику, но не сел. Отблеск заката горел на высоких вершинах тополей. Обернувшись загорелым лицом к востоку,

¹ Меджнун и Лейли — герои распространенной у народов Востока сказки.

Данэл три раза перекрестился и повернулся к западу. Хозяева молча смотрели на него. Глаза Данэла пылали необычайным огнем. Казалось, его расстроенное воображение делало последнее усилие сосредоточиться на какой-то таинственной мысли. Безмолвно следил он за тихим полетом сияющих облаков и пристально смотрел на гигантские хребты гор, облитые нежным сиянием. Губы его тихо шевелились. Не то он молился, не то беседовал с облаками. Седая растрепанная борода придавала его бронзовому лицу какую-то таинственность: он походил на солнцепоклонника, самозабвенно стремящегося постигнуть сущность своего божества.

Но вот безумец неслышно подошел к Мураду и три раза перекрестил его. Потом, поставив дубинку в угол, он вошел в комнату, взял Сону за руку, вывел ее на балкон и вселел стать рядом с Мурадом. Супруги, движимые какой-то незримой силой, безмолвно подчинялись велениям безумца.

— Взгляните на небо,— торжественно говорил он,— вон видите там два облака: розовое и белое. Еот они стремятся друг к другу. Лев Данэл с вершины горы искал ваш дом. И, разглядев вершину этого дерева, молвил: «Вот где сошла под землю Манишак». Какое прекрасное лицо было у нее! Я подошел и поцеловал... Смотрите на дядю Данэла: он бос и без шапки, ему ничего не нужно. А вот облака слились, из двух стало одно. Дай мне свою руку, Мурад, дай и ты, Сона. Лев Данэл говорит: «Сатанаил да возьмет того, кто вас посмеет разлучить». По ночам я вижу дурные сны: меня хотят задушить, как пса. Дубинку у меня отнимают. Манишак плачет. И все я вижу ее на земле, под солнцем. Вскакивает она и спасает льва Данэла от руки палача. Мурад, Мурад, я любил ее, как свят очей моих! Полюби же Сону! У бедного льва Данэла нет деток. Господи, помилуй! Не плачь, Сона-хатун, Данэл твой раб. И Мурад сумеет защитить тебя. Манишак лежала под солнцем... у меня ее отняли...

Крупные слезы покатились по смуглым щекам безумного. Эти слезы Сона видела впервые. Кто знает, как давно эти капли застыли в его глазах! И вот теперь они растаяли и пролились.

И Мураду все его муки за эти десять дней показались ничтожными перед той великой скорбью, что много лет владела сердцем Данэла. Ведь и он потерял свое семей-

ное счастье в молодые годы. Было нечто схожее в их судьбе, и это сходство пронзило сердце Мурада мучительной мыслью: достанет ли сил у него, чтобы твердо вынести горе, не обезуметь, как Данэл, и вечно любить одно существо на свете?

— Чего ты хочешь, дядя? Скажи, и я исполню твою волю.

— Поклянись могилой отца,— сжал ему руку безумец.

— Клянусь.

— Обещай: «Я буду любить мою Сону до гроба» Скажи это ради моей Манишак, пожалей Данэла...

— Клянусь, что люблю и буду вечно любить мою Сону! — взволнованно воскликнул Мурад.

И вдруг он почувствовал какую-то тяжесть на руке. Это потрясенная Сона крепко оперлась на руку мужа. В углу двора стояла мать Мурада и невестка; с изумлением и любопытством следили они за этим странным зрелищем. Когда же Данэл быстро удалился, старуха Зарниша приблизилась к Мураду.

— Хоть глазком взглянуть, как это безумная с безумцем стакнулись свести с ума моего бедного сына.

Ее лицо дышало решимостью. Видно было, что сейчас она скажет свое последнее слово.

— Зачем приходил сюда безумец? — крикнула она Мураду.

— Это мой дядя, он приходил в гости.

— О чём же он так долго говорил?

— Он благословлял нас.

— Его, наверно, поденщица послала. Что за узелок он дал твоей жене?

— Это земля с могилы святого Нишана.

— Лжешь! Это либо волчьи губы, либо лапы черного кота, а может, и глаз ворона. Твоя жена ведьма!

Избегая споров с матерью, Мурад взял узелок и показал ей черную землю. Старуха сунула его за пазуху.

— Если бы святые захотели помочь твоей одержимой жене, они бы давно это сделали. Довольно! Я не хочу, чтобы ты оставался в когтях у дьявола. Поглядись-ка в зеркало: на кого ты похож? Желтый, худой, глаза ввалились. Не ешь, не пьешь, лишился сна. Будь проклят тот день, когда черная сила ворвалась в наш дом! Внуки мои хвора-

ют, старший сын горюет день и ночь, старшая невестка со страху просыпается ночью раз по десяти. У меня рассудок помутился, сон бежит от глаз. Вот уже три дня мы все думаем и ничего придумать не можем. Ты обязан отказаться от этой одержимой, изгнать из моего дома злую силу. Отшли ее к родителям!

— А теперь слушай меня,— внезапно заговорил подошедший Карапет.— Вот уже десять дней, как ты сидишь дома, забросил все дела. Мне одному не управиться. Если не желаешь разориться, приди в себя! Говорю тебе раз навсегда: если и на сей раз меня не послушаешь, ты мне не брат, я на все плону и уйду; я должен заботиться о своем семействе.

Карапет выходил из себя, а Гюльназ, не сводя взгляда с Соны, злорадно улыбалась. Лицо ее до того было отвратительно, что Мурад не сдержался:

— Ты, видно, говоришь по указке жены. Коли так, слушай и меня в последний раз: делайте что хотите, а я со своей женой не расстанусь!

— И это твое последнее слово?

— Да!

— Хорошо. Сделаем так, как я сказал.

Нахмутившись, Карапет отошел. Дня через три он через мать повторил Мураду свои угрозы и получил тот же ответ. Но дело предстояло ему нелегкое. Во-первых, Зарнишан предпочла бы сама расколоться надвое, чем пережить раздел сыновей. Во-вторых, Карапет сознавал, что он без Мурада останется как без рук, и в глубине души любил и жалел его. Сердце его болело, видя страдания брата. Ведь если Мурад не образумится, он непременно сойдет с ума, как Данэл. И Карапет постоянно твердил:

— Не сдровать тому, у кого вечное горе на душе!

10

Шушан за это время пыталась повидать дочь, но родня Мурада не пускала ее и на порог. И она уже не смела прийти к дочери. Кузнец давно уже перестал посещать Сону и не испытывал в этом потребности, так как ежедневно встречался с зятем на базаре, и тот деликатно совал тестю в руку измятую ассигнацию. При этом кузнец неизменно твердил:

— Пока не разойдешься с братом, ноги моей у тебя не будет!

И теперь, когда Мурад засел дома, Воскан чувствовал себя отвратительно.

— Не дочь, а зятя мне хочется видеть,— сердито говорил он.

Если бы кузнец знал наперед, что его не выгонят, он тотчас помчался бы к Мураду за обычной подачкой. Но можно ли теперь видеться с зятем? Расспрашивал об этом Воскан у безумца, но тот вместо ответа отвернулся.

Ежедневно Данэл заходил к Шушан, шептался с ней и тотчас убегал. Иногда он навещал и Сону. Во дворе он осматривал все углы и опять исчезал до нового неожиданного появления. Иногда заглядывал в окна и, не глядя ни на кого, грозил своей дубинкой и исчезал. Дух безумца чувствовался всеми в доме, даже когда его не было. Больше всех чувствовала это Сона. Ей даже казалось, что у ней над головой скопились грозовые тучи, от которых спасти ее может только Данэл.

Эти черные тучи мерещились ей в ядовитых зрачках Гюльназ, в землистом лице Зарнишан. Старуха была как в лихорадке. После заявления Мурада, что он жены не бросит, Зарнишан делала все, что могла, изощряясь в своих усилиях разлучить Мурада с женой. От Соны не ускользнули приемы этой злой старухи. Она видела, как Зарнишан падала на колени и била себя в грудь; слышала ее проклятия, и сердце бедной женщины болезненно ныло. Она понимала, что свекровь на все решится, чтобы вырвать Мурада из «бесовских когтей», и порою сй было даже жаль старуху. Но вот Зарнишан помолилась во всех храмах и обошла всех колдуний; осталась только старая персиянка, что ютилась на одной из глухих улиц. К ней-то и отправилась Зарнишан за помощью. Колдунья загадала на воде и ответила, что ей необходимо самой увидеть Мурада.

И Зарнишан пригласила персиянку к себе. Увидев ведьму, Сона тотчас поняла, в чем дело, а та, оглядев Мурада с ног до головы, заговорила с Соной. Ей не было известно, что у той падучая; сказали ей только, что в «болезни» Мурада виновата Сона.

После обстоятельных расспросов персиянка объявила, что молодых сглазили, что в зрачках Соны отражается

что-то черное, а Мурад, ей кажется, околдован. Зарнишан пришла в восторг и окончательно уверилась в силе ворожеи. Теперь, по приказу ведьмы, надо было изловить ворона, задушить, держа головой вниз, и закопать во дворе, где Мурад любил прогуливаться по ночам. Это было только начало: настоящие средства еще держались втайне. Персиянка обещала обдумать дело в течение недели, затем, перевязав Соне указательный палец ниткой, велела не развязывать до ее прихода.

Этот обрывок нитки казался Соне тяжелее гири. Она суеверно внушала себе, что от этой нитки зависит ее судьба. По ночам ей грезились странные сны: в них указательный палец всегда оказывался на первом месте. Встав утром, она прежде всего оглядывала его, как бы ждала чего-то. И без того бедняжка днем и ночью не знала покоя, теперь же ей казалось, будто ее опутали железными цепями. О, как она теперь хотела умереть! Безмолвные терзания Мурада, мысль, что в этом виновата она, доводили Сону до исступления.

Семь дней прошло, ворожея явилась. И опять она начала свои расспросы, опять осмотрела все уголки в доме. Потом, сняв с пальца Соны нитку, долго глядела на нее и, тихо подкравшись к спальне молодой невестки, вдруг с громким криком упала на колени, царапая ногтями землю. Все с изумлением и испугом следили за ней.

— В этом доме бес!

Сказав это, она страшно выпучила глаза и замахала костлявыми руками, как будто пытаясь схватить беса.

— Смолы мне, черных ниток и казанок!

Дрожа от страха, Сона подала персиянке эти вещи.

Семь раз ворожея измерила нитку, оторвала семь пядей, семь раз обмотала ею казанок, семь раз перевязала и семь раз ударила казанком в пол. Потом осмоляла его, помяла в руках, помолилась, глядя на запад, произнесла несколько проклятий и, прилепив засмоленный казанок к порогу Мурадовой спальни, конец нитки прикрепила к полу.

И все это она проделывала с ужимками, хитро подмигивая. Все с нее глаз не сводили. От каждого движения колдунья Сону бросало в дрожь. Ей было и страшно и гадко.

Разумеется, колдунья понимала, как ее взгляды и гримасы должны действовать на Сону и, желая еще более усилить впечатление, она по временам, хмуря брови, про-

низывала несчастную больную острым взглядом. И опять Соне припомнились легенды о змеиных глазах. Ее встревоженные мысли беспокойно кружились. Зрелища страшные, немыслимые, невозможные проносились в сознании. Вдруг мерещилось, что персиянки уже нет, что ее поглотила черная бездна. Это длилось недолго, но все же на душе у Соны было мрачно и смутно. Бессознательно она вошла к себе и затворилась. Вскоре домашние услышали глухой стук и бросились на помощь. Перед ними на полу корчилась Сона. Персиянка, страшно вращая глазами, крикнула:

— Бес! Бес!

И тотчас начала яростно кружиться над бесчувственной Соной. Потом потребовала кинжал; сняв со стены, Гюльназ поднесла его ворожею. Выхватив кинжал, персиянка обнажила его, три раза плеснула на лезвие, обвела вокруг Соны кинжалом и молвила:

— Сжечь, задушить, бросить в горячую смолу, выварить, выварить, выварить!

Если Зарнишан хоть на минуту сомневалась в могуществе ворожеи, то теперь она поверила ей всецело. Персиянка воткнула кинжал в пол, дверь приказала запереть и оставить «бесноватую» лежать лицом к окну.

Но вот кто-то открыл ставню, одним прыжком вскочил в комнату и, опустившись на колени около Соны, устремил на нее нежный сострадательный взгляд. Очнувшись, больная не сразу узнала его.

— Это я, Манишак, это я,— говорил безумец, жесткой рукой гладя ее волосы.

А в это время Зарнишан в смежной комнате умоляла колдуна спасти Мурада от «беса». До Соны ей не было дела, пусть пропадает, только бы сын избавился от беды.

— Бес бesa призывает, ему нужен друг,— веско произнесла персиянка.

Когда ее спросили, что это значит, она сложила указательные пальцы.

— Понимаю,— сказала Гюльназ.

Ворожея обещала подумать о спасении Мурада и, щедро награжденная, ушла.

Увы, тоска Мурада не только не исчезла, но становилась сильнее с каждым днем. Правда, он уходил из дома, но, по словам Карапета, толку от этого было мало.

— Заговоришь с ним, а он только глаза на тебя пялит.

Ни на кого смотреть не хочет. Вот вчера одному крестьянину передал лишнюю десятку, а с другого совсем денег не получил. Счета забросил, торговые книги хочет изорвать. Погибнет наш дом! Спасите его!

— Лучше погибну сама, а сына спасу от дьявольского наваждения! — рвала на себе волосы Зарнишан.

— Надо, надо спасти! — кричала Гюльназ.

Теперь они от души желали, чтобы Соны умерла. Ведь все равно в городе все знают о ее болезни. То и дело заходили женщины, будто бы в гости; им хотелось посмотреть «бесноватую». Иные намекали, что знали об этом и раньше, только не хотели говорить. Старуха чувствовала, что многие, хотя внешне и выражали сочувствие, но в глубине сердца радовались страданиям невестки. И это еще больше раздражало ее и усиливало ненависть к Соне.

Гюльназ злилась, что лицо невестки все еще хранит красоту и привлекательность.

Теперь колдунья ходила все чаще и советовалась с хозяйками. Средства ее не помогали. Мурад положительно таял.

— Сынок мой, ты сохнешь, как деревцо от удара молнии,— стонала Зарнишан и била себя в грудь.

За последние четыре месяца у Соны было шесть приступов. Они отняли у нее последние силы: лицо пожелтело, глаза стали мутными. Она стала забывчивой, равнодушной ко всему. Работа валилась из рук; сколько она перебила посуды! Раз выронила целую дюжину тарелок, а то опрокинула лампу и залила керосином дорогой ковер. Это до того взбесило свекровь, что она ударила невестку по голове. Теперь Зарнишан уже не боялась Мурада. Ее примеру последовала и Гюльназ. Сона сносила их удары безропотно. Не от них она страдала, а от проделок колдуньи. Мысль, что персиянку наняли, чтобы разлучить ее с Мурадом, преследовала бедную Сону, как черный призрак.

— Меня истерзали, замучили,— сказала она Данэлу. У того глаза налились кровью.

— Кто тебя мучает? — крикнул он, взмахнув дубинкой.

Сона испугалась и поспешила отречься от своих слов.

— А зачем сюда шляется эта ведьма? — спросил Данэл.— Я ее на куски разорву!

И вот, встретив колдунью у ворот, Данэл схватил ее за горло:

— Что тебе надо, окаянная, в этом доме? Отвечай, не то задушу!

На счастье персиянки, к дому подходил Мурад и вырвал ее из рук Данэла... Обозленная колдунья пожаловалаась Зарнишан: «бесы» ее едва не задушили; теперь она не может лечить Мурада. Старуха со слезами принялась умолять ее помочь сыну.

Тогда колдунья стала гадать на воде. Держа стакан и глядя в потолок, она шептала, беседуя с «бесами», прося открыть ей вещие тайны. И вдруг глаза ее забегали, она вцепилась себе в горло и прохрипела:

— Вот так, так, конец!

Зарнишан и Гюльнааз побледнели. Проводив ворожею, они долго совещались, и выходило так, что смысл ее таинственных заклятий и та и другая поняли одинаково.

Время бежало, а в доме Зарнишан жизнь становилась невыносимой. Карапет был в полном отчаяния: дела совсем рассстроились. А тут еще в нача.е зимы умерла его двухлетняя дочь, а старший сын с трудом поправлялся от тяжелой болезни. Разумеется, женщины винили во всем этом «бесноватую» Сону.

— Ох, ох, какой я страшный сон видела,— сказала как-то утром Зарнишан.— Будто едем мы на богомолье. Мурад едет рядом с повозкой, на желтом коне. И вдруг его окружили тысячи черных кошек. Он их кнутом отгоняет, а одна кошка обернулась человеком и давай Мурада душить. У него изо рта пена пошла, и весь он посинел. Уж, конечно, желтый конь — это его жена, а черные кошки — бесы. Спасите моего сынка!

Однажды в морозный декабрьский день, когда со снежных гор дул пронзительный ветер, Карапет и Мурад были на базаре, дети Гюльнааз ушли к тете Наргиз, а Зарнишан и Гюльнааз сидели в средней комнате, называвшейся «залом». Перед старухой на курси¹ лежало сорок две горошины; она гадала на Мурада, а Гюльнааз шила. Обеих занимала одна мысль: как спасти семью.

¹ Над тондиром (врытым в землю очагом) ставят нечто вроде стола на коротких ножках (курси), покрывают его паласом и одеялом, чтобы тондир не остывал. В тондире пекут хлеб, одновременно он обогревает комнату.

Показалась ворожея; она опиралась на суковатую палку и дрожала от холода.

— Холодное же у вас курси,— сказала она, пряча застывшие ноги под покрывало, которое лежало на курси.

— Скажи-ка этой — чтобы имя ее стерлось с лица земли! — пускай раздует угли,— приказала Зарнишан невестке.

И пока Сона за дверью исполняла приказание, три женщины вели обычную беседу. Сегодня у них глаза сверкали по-волчьи. Но суть их беседы осталась тайной. Однако, как только Сона вошла и взглянула на них, она поняла, что они приняли какое-то решение.

В руках она держала большую железную жаровню с горячими угольями. Их синие языки так и змеились, пожирая один другого. Искры трещали и гасли, падая на пол черными огарками.

— Плохо разогрела! Угореть можно,— буркнула Зарнишан.

Сона хотела унести огонь, но старуха крикнула:

— Да уж ладно, оставь, замерзли мы совсем.

Сона вернулась, откинула с курси палас и высыпала горячие угли в ямку, вырытую под курси. Зарнишан, чувствуя, что ей сделалось жарко, вытащила ноги из-под курси и велела Соне оставить одну из сторон курси открытой, чтобы выпустить опасный чад.

Персиянка, не мигая, глядела в глаза Соне. И Гюльназ уставилась на нее своим стеклянным взором. Когда Сона, исполнив приказание свекрови, хотела подняться с пола, она увидела устремленные на нее зловещие взгляды. Сона вспомнила вечер, когда впервые увидела глаза Гюльназ, и ей стало страшно. Казалось, она тогда прочла в ее глазах роковое предзнаменование своей судьбы. Мгновенно промелькнули образы отца и матери, давно не виденных ею. Еще с утра Сона чувствовала особенно сильную тоску по матери и решила, что если придет Данэл, она попросит его разыскать мать и привести ее. Весь день перед ее взором стоял бедный домик, где прошло ее детство, глиняные куклы, вместе с которыми она переживала свои радости и печали.

И теперь под зловещими взглядами колдуньи и Гюльназ она вспомнила Мурада с его трубкой, с рассеянным взором, бледного, убитого горем. А вот и Данэл с дубин-

кой, с поднятой головой распевающий одну из своих грустных песен. Ах, как ясны и живы все эти картины! Она чувствовала близость этих людей, даже их дыхание... Но все они теперь далеко от нее.

Вдруг какая-то черная пелена застлала ее сознание. В глазах у нее потемнело.

Персиянка и Гюльнаэз не сводили с ее лица пытливых взоров. Гюльнаэз была бледна. Землистые сжатые тонкие губы колдуны тряслись, но не от холода, как прежде, а, вероятно, от ужаса перед незримым злым духом.

Едва Сона упала, как они обе вскочили и посмотрели на Зарнишан.

— Спасите моего сына! — исступленно бормотала старуха, закрываясь руками.

Что-то страшное было в этом шепоте.

Первой схватила дрожащую руку Соны Гюльнаэз, но сейчас же выпустила ее: пальцы Гюльнаэз онемели. Колдунья своими жилистыми, жесткими руками ухватила «бесноватую» и потащила под курси. Гюльнаэз поспешила закрыть двери и окна. Зарнишан сидела, закрыв лицо руками. Злая ворожея уселась на курси, чтобы Сона не могла приподняться и чтобы воздух не проник под курси.

Отгуда доносились глухое хрюпение, протяжный крик и тяжкие вздохи, словно из-под земли. Через несколько мигов все стихло.

Вдруг дверь с шумом распахнулась, и в комнату вошел босой Данэл с непокрытой головой, синяя рубашка едва прикрывала его тело. Воспаленные глаза безумца горели, косматые волосы напоминали львиную гриву.

Гюльнаэз поторопилась заслонить персиянку от Данэла. Между тем та, приподняв палас, схватила Сону за ноги и вытащила ее из-под курси.

— Мне ее, мне! — заревел Данэл и, оттолкнув персиянку и Гюльнаэз, бросился к Соне.

«Бесноватая» была мертва.

— На куски разорву! — зарычал безумец и, одним ударом свалив колдунью, начал душить ее.

Зарнишан, еле живая от ужаса, смотрела на них. Гюльнаэз пыталась вырвать персиянку из рук разъяренного Данэла. Но было уже поздно.



ОГОНЬ

И

1

а этот раз у адвоката Мирабяна мы гостили втроем: врач, архитектор и я. На дворе завыла пурга; крупные снежинки облепили оконные стекла. А на столе приветливо шумел самовар, в камине потрескивали дрова, фиолетовый абажур лампы разливал уютный мягкий свет. Все это настраивало нас сидеть подольше в теплом, скромном, но со вкусом обставленном кабинете гостеприимного хозяина.

Врач с увлечением говорил о взаимовлиянии личности и среды; мы спорили.

Мирабян молчал, словно не интересуясь общей беседой. Он, не мигая, глядел на пламя печки, изредка поглаживая густую бороду, уже начинавшую серебриться.

— Да, это был огонь: он пожрал сам себя и исчез,—вдруг произнес он тихо, не сводя глаз с печки.

Врач промолчал, а мы все с удивлением взглянули на Мирабяна.

— Извините, господа,—заметил он, слегка смущившись,— я замечтался, но не подумайте, что вас не слушал.

— О чём же ты думал?—спросил врач.

— Странная вещь — человеческая мысль... Возможно, тут ассоциация идей. Я думал об этом полене с зеленою

корой, что трещит сейчас в камине. Должно быть, ствол молодого дерева. Вот этот самый огонь и ваш разговор напомнили мне один случай... как бы точнее назвать? Жизнь одного несчастного человека.

Мы догадались, что в неистощимом запасе воспоминаний Мирабяна оставалось еще что-то, нам неизвестное. Мы всегда с удовольствием слушали его, а он любил рассказывать. Нечего и говорить, что у нас разгорелось любопытство, и мы попросили хозяина рассказать нам, что именно пробудило в нем это воспоминание. Предложив нам еще по стакану чая, он закурил и поудобней уселся у камина.

* * *

— В ту пору, господа, я был еще студентом,— заговорил он,— и обитал в одном из кривых московских переулков в качестве жильца в почтенном семействе. Оно состояло из пожилой вдовы и двух ее молодых дочерей: двадцати трех и двадцати лет. Старшая давала уроки музыки, младшая только что кончила гимназию. Отец их много лет служил учителем немецкого языка в одной из московских гимназий. Вдова получала пенсию. Квартира состояла из семи комнат: в двух ютились хозяйки, остальные занимали жильцы.

Как-то одна из комнат освободилась. Озабоченная этим, старушка попросила нас во что бы то ни стало подыскать жильца. Ее просьбу смог исполнить только один из нас: армянин, студент физико-математического факультета — Зарифян.

Так как этому Зарифяну принадлежит видная роль в моем рассказе, то позвольте сказать о нем несколько слов. Его можно отнести к числу людей, про которых с первого же взгляда можно безошибочно сказать, что жизнь для них не будет горькой. Его румяное лицо, красные уши, плоский лоб, светло-карие подобострастные глаза являли смесь фальшивой скромности с откровенной наглостью. Держал он себя с достоинством, в речи слышались нотки пренебрежения. Его манера вести себя казалась мне наигранной. Он старался выглядеть более рассудительным и зрелым, чем это свойственно двадцатичетырехлетнему молодому человеку, еще не успевшему закончить образование.

Я чувствовал к Зарифяну какую-то глухую антипатию, хотя столкновений между нами никогда не бывало. Ко мне он относился чрезвычайно вежливо и даже старался овладеть моим доверием. Трудолюбивый, расчетливый, хитрый, Зарифян умел заискивать у профессоров. В глазах его таилось нечто злое и порочное, особенно когда он молчал. К сожалению, наблюдательные люди встречаются не часто. Должно быть, поэтому Зарифяна считали добродушным и скромным, кое-кто — даже образцом благородства. Впрочем, мне не приходилось слышать, чтобы эти прекрасные качества в нем когда-нибудь действительно проявлялись.

Вот этот-то молодой человек и привел с собой однажды студента-естественника, тоже армянина, кавказца, который без лишних разговоров снял комнату и в тот же день перебрался к нам. Три дня спустя новый жилец уже обедал с нами за общим столом. Я сидел напротив и невольно следил за ним. Его смуглое лицо отливало бледностью, большие черные глаза так и сверкали под высоким лбом. Прямой нос, женственный склад губ, под которыми уже был заметен пушок. Весь его облик выражал душевную чистоту. В умном взгляде просвечивала печаль, смешанная с легкой иронией,— как бы скрытая усмешка, но добрая и сочувственная. По крайней мере, таким показался он мне с первого же раза.

И за обедом и после он ни на минуту не оставался спокойным. Принимая участие в наших беседах, он то поджимал губы, горько улыбаясь, то потирал лоб, точно у него болела голова, то неожиданно вздрогивал, будто слыша что-то неприятное. Его худые руки слегка трепетали, в голосе чувствовалась дрожь.

На другой день за обедом я опять сидел против него. Так же и на третий, четвертый и в следующие дни. Казалось, какая-то необъяснимая сила, гнездившаяся в его глазах, приводила мой взгляд к его лицу. Собираясь что-либо сказать, я прежде поглядывал на него. Мне приятно было наблюдать за ним. Сам же он смотрел на всех вообще и ни на кого в особенности. Казалось, мысль его ни на минуту не задерживалась на собеседниках: видно было, что, даже разговаривая с нами, он думал о чем-то своем.

Из пяти жильцов один был поляк, служивший в банке; другой — русский студент; трое — армян; наша хозяйка

была немкой, и все мы, разумеется, говорили по-русски. Таким образом, наше общество было интернациональное. Зарифян обычно садился между барышнями, расточая комплименты налево и направо. Старшая сестра, Мелита, уже была обручена с музыкантом-немцем и вскоре должна была выйти замуж; естественно, что она вся ушла в предсвадебные хлопоты. Не будучи красивой, Мелита обладала умом и добрым сердцем. Младшая, Аделаида, напротив, выделялась красотой: золотистые кудри, пышущее здоровьем лицо, большие глаза, сверкающие жизнью, изящная фигурка; веселая девушки без конца пела, хохотала — и все это так же соответствовало ее юности, как щебет ласточки весеннему утру. Мы все ее любили побратски — поддразнивали, шутили с ней. Ее звонкий и заразительный хохот скрашивал наши обеды.

Но с тех пор, как появился новый жилец, характер нашего общества постепенно начал изменяться. Новичок не принимал участия в шутках, не острил, не смеялся, не развлекался с молодыми хозяйками. Можно было подумать, что его преследует какая-то мучительная мысль. С каждым днем я все больше удивлялся ему. Я жаждал поскорее и ближе познакомиться с ним. «Почем знать,— думал я,— может быть, у него большое горе, может быть, он нуждается в дружеской помощи, и я мог бы оказаться полезным». Перед этим приходилось мне раза два-три встречаться с ним, но знакомы мы не были.

2

Однажды, с обычной немецкой пунктуальностью, мы уселись за обед. Новый сотрапезник почему-то медлил явиться. Может быть, поэтому мы и были по-прежнему веселы, особенно девушки. Была какая-то нравственная сила в этом юноше, незаметно действовавшая на нас. При взгляде на его постоянно бледное и грустное лицо смех сам собою замирал на губах.

Обед уже подходил к концу, когда наконец вошел наш новый жилец и, не здороваясь, занял свое место. На этот раз лицо его казалось особенно бледным, глаза из-под угрюмо наморщенного лба метали искры. В это время

русский студент спорил с поляком о благотворительности и человеколюбии — на модную тогда тему.

Студент утверждал, что благотворительность неразрывно связана с неправильной организацией современной экономики. Поляк оспаривал его.

Русский говорил с большим жаром; видимо, его поощряли одобрительные улыбки Зарифяна и внимание Мелиты.

— Нет! — воскликнул неожиданно наш новый жильтя; он поднял голову и глядел русскому прямо в глаза. — Нет, вы ошибаетесь! То, о чем вы говорите, утопия. Ничто не изменится, пока переворот не произойдет в душе человека, понимаете, коренний переворот!..

— Что вы хотите этим сказать, господин Сантурян? — спросил удивленно русский.

Все мы тоже были удивлены и не сводили с Сантуряна недоумевающих взглядов.

— А то, что души у нас загажены, сердца прогнили, — ответил Сантурян, резко отодвигая тарелку с супом, поставленную перед ним служанкой. — Человечеству никогда не подняться до ваших идеалов, пока наука и цивилизация не вырвут из нашей груди кусок окаменевшего, испорченного мяса и не вставят на его место настоящее человеческое сердце. Вы слышите — я говорю о человеческом сердце... Вы попосните буржуа, бросающего беднякам хоть обедки со своего стола. А что вы скажете о тех образованных варварах, что, на словах проповедуя излюбленные вами идеи, на деле пожирают не только плоть друзей своих, — о, этого мало! — но и душу их. Понимаете, душу! Да, пожирают, пересваривают и все-таки считают себя идеальными. Ах, простите, хозяйки, у меня сегодня нет аппетита; простите, господа...

Сантурян быстро поднялся и ушел к себе. Мы переглянулись. Зарифян ухмыльнулся в усы, покачал головой и что-то шепнул Аделаиде. А я, не в силах сдержать любопытство, встал из-за стола и поспешил за Сантуряном. С минуту я колебался — войти к нему или нет: до этого дня мы не бывали друг у друга. Но как-то невольно рука моя дважды постучала в его дверь; в ответ послышался звонкий голос: «Войдите!» Когда я вошел, Сантурян быстро завертывал в газетную бумагу летнее пальто.

— Простите мою бес tactность, ах, простите! — повторил он.

рил он, глядя на меня встревоженными глазами.— Вы меня, наверно, считаете сумасшедшими. Что ж, может быть, вы и правы. Но я очень рад вашему приходу; жаль только, что сейчас мне необходимо уйти. Знаете, у меня дело неотложное, а я, бессердечная тварь, еще собирался отобедать.

Он надел зимнее пальто и вышел со свертком.

Я изумленно глядел ему вслед.

Час спустя, когда я прилег отдохнуть и поразмысльть о случившемся, послышался стук в дверь. Вошел Сантурян. При свете лампы я заметил, что он выглядит спокойным и удовлетворенным.

— Еще раз прошу извинения, а теперь пойдемте пить чай.

Он дружески взял меня под руку и повел к себе.

— Я был взбешен,— заметил Сантурян, заваривая чай,— но теперь ничего, прошло...

— Что же случилось?

— Несчастье. Нет, бесчеловечный поступок. Весьма обыкновенный, но в сущности гнусный поступок. Бесчеловечность товарища по отношению к своему же товарищу. Если вам угодно, я расскажу.

Оказалось, что один из его знакомых студентов заболел. Узнав об этом в университете, он отправляется навестить больного. И что же? Его он застает в полном одиночестве, беспомощным; нет даже денег вызвать врача, купить лекарство.

Причиной такого отношения — его мать, которая в молодости пошла по скользкому пути. Бедняга рожден от случайного отца и теперь расплачивается за грехи матери.

— Должно быть, по теории наследственности Дарвина,— добавил Сантурян иронически.— Представьте, даже в таком безвыходном положении бедняга не решается попросить помощи у товарищей. К сожалению, у меня самого в кармане был всего полтинник,— продолжал Сантурян.— Что я мог сделать? Побежал к одному, к другому, к третьему,— никто не дал мне взаймы. Наконец, иду к четвертому. «Нет, говорит, у меня денег». Делать нечего, ухожу с пустыми руками, и вдруг на лестнице попадается мне его служанка: в одной руке — бутылка дорогого вина, в другой — пачка кредиток... Я понял, что мой знакомец послал ее с четвертной бумажкой в винный магазин, чтобы попировать с друзьями... Вот какие дела! А ведь

этот же самый вечно разглагольствует о высоких материях... О, как противны мне эти болтуны! Теперь вы понимаете, почему я сегодня так грубо ответил нашему супрапезнику...

В словах Сантуряна звучал неподдельный гнев.

— Почему же вы не обратились ко мне, у меня были деньги,— спросил я.

— Пока в этом нет надобности: мне удалось достать деньги.

Не было надобности узнавать, где раздобыл Сантурян деньги: несомненно, он заложил летнее пальто.

В тот вечер я долго просидел у него. Несмотря на свои юные годы, Сантурян был очень развит, много читал и прекрасно запоминал прочитанное. Он легко разбирался в сложных вопросах, порою мне не удавалось уследить за полетом его смелой мысли. И думал и изъяснялся он своеобразно.

Он был впечатлителен до крайности. Его возмущало всеобщее равнодушие к обездоленным и гонимым. При одном упоминании об этом он приходил в ярость: заметно бледнел, и голос его начинал дрожать. А глаза, глаза — из них сыпались искры.

Нет, такого чувствительного юноши мне не случалось видеть. Казалось, этот человек весь соткан из первов, и притом обнаженных.

С этого дня мы часто павещали друг друга. Сантурян охотно беседовал на самые различные темы, только о себе и своей родной семье не говорил никогда! А я, разумеется, об этом его не спрашивал. Только мне казалось, что фамилия его мне знакома, что где-то мне приходилось не то слышать, не то читать о чем-то, что с нею связано.

Я искренне полюбил Сантуряна. Но что он думал обо мне, не знаю. Однако я замечал, что мои посещения ему не досаждают. Впрочем, я заметил также, что расположением Сантуряна пользовался и Зарифян: из его комнаты, расположенной по соседству с моей, нередко доносился голос юноши.

3

Мелита вышла замуж и уехала с супругом в Одессу. Единственным украшением нашего общества осталась Аделаида. Зарифян начал еще усерднее ухаживать за

нею. Что именно таилось в его сердце — трудно было догадаться: он это хитро скрывал. Во всяком случае, отношение Зарифяна к девушке мне не нравилось; не по душе мне был и он сам. Когда он разговаривал с девушкой, я подчас замечал в его глазах откровенную похоть. Аделаида не избегала его сладких и двусмысленных улыбок, однако заметно было, что девушка украдкой следит за Сантуряном, к которому она стала гораздо внимательнее. Между тем чувствительный юноша оставался к ней равнодушным.

Моя дружба с Сантуряном со дня на день крепла, и все же его семейная жизнь для меня оставалась непроницаемой тайной.

Больной студент, ради которого он заложил пальто, вскоре умер от чахотки. В день его похорон Сантурян рано утром разбудил меня и попросил взаймы пятнадцать рублей. К счастью, у меня оказались деньги. Как безумный он выскочил, на ходу крикнув мне адрес больницы, где умер его товарищ.

Этот день я никогда не забуду. За гробом вместе со мною шли с десяток бедных студентов. Среди них был и Зарифян. Он шел, придав своему лицу подобающее случаю выражение. Но, боже мой, что делалось с Сантуряном! Никогда еще мне не приходилось видеть у гроба покойника такой скорби. Все хлопоты по похоронам он принял на себя. Этот юноша с далекого Кавказа следовал за гробом чужого ему по роду и племени человека в таком состоянии, в каком находится разве только родная мать покойника.

— Что их связывало? — спросил я одного из студентов.

— Ровно ничего. Они учились на одном факультете, вот и все.

Вот и кладбище. Священник с дьячком совершили последний обряд. И, когда уже собирались опустить гроб в могилу, Сантурян знаком остановил их.

Он стоял на холмике могильной земли в ногах покойника. Лицо его посинело от холода, щеки дрожали, зуб на зуб не попадал, но глаза по-прежнему горели.

Нервным движением откинув кудри со лба, он взволнованно заговорил. Вначале голос Сантуряна срывался, полузамерзшие губы с трудом роняли слова. Но это дли-

лось всего несколько мгновений. Он преодолел и стужу, и душевное волнение. Голос его окреп.

Мне никогда не приходилось слышать таких проникновенных, из самой глубины души льющихся слов. Это была не просто надгробная речь, а целая трагедия. Мрачными красками он обрисовал душевное состояние покойного, его положение в среде своих товарищей, окружавших его безмолвием, тайным презрением. Впечатлительный и больной, он не находит сил переносить хладнокровно всеобщее пренебрежение и все более и более сгибается под его тяжестью. И в чем заключалась его вина? В заблуждениях матери, молва о которых, передаваясь из уст в уста, распространилась и в университете. На этом примере трагической жизни товарища он широко развел мысль о взаимоотношении среды и личности. Он стал жертвой человеческого эгоизма и ложного честолюбия. В этом заключалась мысль надгробной речи Сантуряна.

«Боже мой, как он прекрасно говорит, сколько огня в сердце этого человека, сколько силы в его голосе!»— думал я.

У меня навернулись слезы; прослезился и еще кое-кто — только не Зарифян.

Печальная церемония окончилась, и мы возвращались домой под впечатлением речи Сантуряна.

— Вы смело можете гордиться вашим соотечественником, это — талант,— сказал мне один из студентов.

Да, я искренне гордился моим соотчичем. У Сантуряна был талант, кристальный и самобытный.

— Хорошо говорил наш земляк, но не ему следовало бы держать речь,— обратился ко мне Зарифян.

— Почему же?

— Да ведь история его отца здесь почти всем известна.

— Какая история, вы о чем? — воскликнул я, удивленный.

— Значит, вы ничего не знаете? Ведь отец Сантуряна в тюрьме и, как знать, скоро может очутиться и в Сибири.

— За какую же вину?

— Будто вы не кавказец и не армянин. Неужели вам не приходилось читать о процессе Саргиса Сантуряна, обвиненного в поджоге дома с целью получить страховую

премию. Это нашумевшее дело. О нем писали даже в московских и петербургских газетах.

Так вот что! Тут только я понял, почему фамилия Сантурян с первого же раза показалась мне знакомой. В самом деле, этот сенсационный процесс породил немало разных толков. Кое-кто из журналистов усмотрел в Саргисе Сантуряне общенациональный тип, и это послужило сигналом для газетных нападок на весь армянский народ. Фамилия Сантурян стала нарицательной у армян, в особенности среди «патриотов».

В словах Зарифяна я почувствовал злорадство. Однако если он напоминанием о семейной драме нашего товарища рассчитывал вызвать во мне пренебрежение к нему, то он глубоко ошибся. Я еще больше полюбил Сантуряна.

Теперь я стал к нему заходить чуть не каждый день и неизменно заставал его за работой. Он тотчас оставлял ее, и завязывалась оживленная беседа.

Редко можно было увидеть Сантуряна вполне спокойным: вечно взволнован. Всякая несправедливость как в общественном, так и в товарищеском кругу возмущала его до глубины души. И, сталкиваясь с нею, Сантурян каждый раз вступался за угнетенного, слабого и гонимого. Однажды, прочитав в газете, что в Харькове какая-то женщина убила свою падчерицу, он при мне разрыдался, как ребенок.

Но об отце своем Сантурян ни разу не заикался, и это казалось мне единственным пятном на его совести.

Вскоре я узнал, что многие из его земляков-студентов уклоняются от встреч с ним, полагая, что фамилия Сантурян непоправимо обесчещена. Кое-кто считал, что этим они проявляют какой-то патриотизм. «Пусть же,— говорили они,— все узнают, что мы тоже беспощадны к пороку, порожденному в недрах нашего общества».

— Сам-то Сантурян, положим, парень не плохой, да напрасно защищает отца,— говорил один.— Он лишен национальной гордости.

— Если б он хорошенъко поразмыслил, так давно бы отказался от такого отца,— подхватывал другой.

— Он первым должен был дать ему пощечину! — кричали самые ярые из радикалов.

Пощечину — родному отцу! О, молодость, молодость!

Многие из этих неумолимых рыцарей правственности уже вступили в жизнь. И что же? Еще вчера я видел одного из них в суде; он защищал с пеной у рта своего клиента, ограбившего банк.

Я замечал, что неприязненное отношение товарищей угнетает Сантуряна. Самолюбие побуждало его уклоняться от встреч с ними, нигде не бывать и никого не принимать. Один только Зарифян поддерживал с ним внешне дружеские отношения. Сколько раз в моем присутствии этот человек получал доказательства теплой дружбы со стороны Сантуряна! Между тем мне ни разу не приходилось слышать, чтобы он хоть полусловом обмолвился в пользу Сантуряна в кругу товарищей.

4

Однажды вечером, зайдя к Сантуряну, я застал его горько рыдавшим. Растревавшись, я хотел было уйти. Но он, услышав мои шаги, обернулся, встал и быстро вытер глаза.

— Извините, я, кажется, пришел не вовремя,— прогорнил я.

— Нет, нет, никаколько, я очень рад, что пришли. Присаживайтесь, пожалуйста. Не смущайтесь, я немножко взволнован; это со мною случается передко.

Да, передко, но в чем же все-таки дело? Мне захотелось это узнать. Сантурян одинок, мой прямой долг его утешить.

— О, как я возненавидел жизнь! — воскликнул он и зашагал по комнате.— Люди злы, как они злы! Что мы сделали, за что нас преследуют? Неужели любовь к отцу — преступление? И разве суды все знают, никогда не ошибаются, их решения всегда беспристрастно-справедливы и случайная ошибка невозможна?.. Я лучше других знал сердце отца... Он меня любил... Он обожал свою семью. Если он и провинился в чем-нибудь, то только во имя ее блага. Нет, он не виновен, верьте мне. Сердце мое никогда не примирится с этой мыслью... Эх, да что! Будь он даже преступник — и то я не в силах был бы вырвать из сердца сыновней любви... Вините во всем природу. За-

чем она одарила меня этим глубоким, необъяснимым чувством? Нет, нет, тысячу раз нет, отец мой невиновен... Он всегда был так благороден. Почему осуждают и его и всех нас?.. Вот читайте, вам я доверяю.

Он положил передо мною письмо. Младший брат его, гимназист, писал о положении семьи, глухой неприязни соседей. Гимназист жаловался на товарищей, то и дело напоминаявших ему с остротами и смехом о преступлении отца, на родственников, отвернувшихся от семьи.

Но одно обстоятельство особенно возмутило Сантуряна. Его сестра была уже обручена, когда вдруг раскрылось дело отца. Жених сперва не придавал этому значения, намереваясь обвенчаться по окончании судебного разбирательства. Между тем дело затянулось и наконец в первой инстанции решилось не в пользу отца. Жених начал откладывать день свадьбы, а теперь, подстрекаемый родственниками, совершенно отказывается от невесты.

— А знаете, что это значит? — воскликнул Сантурян. — Это значит, что моя несчастная сестра должна страдать всю жизнь, и бог весть, чем кончится все это. Она любит своего недостойного жениха.

Я пробовал, как мог, утешить Сантуряна.

— Быть может, и вы в глубине сердца упрекаете меня, — продолжал Сантурян, постепенно успокаиваясь, — за мою любовь к отцу. Быть может, думаете даже: «Вот человек, сам протестует против несправедливостей, а к проступку родителя снисходителен». И вы имеете право так думать, что вполне естественно. Но прежде убедите меня, что мой отец действительно виновен, а во-вторых, — научите, как мне возненавидеть родного отца. Могу ли я оставаться равнодушным, когда вижу, что все осуждают его, все, даже, быть может, настоящие преступники?.. Попросите, что я скажу: видят бог, если бы даже посторонний был уличен в проступке, я не осудил бы его именно потому, что все его обвиняют. Во мне сидит что-то такое, что постоянно заставляет меня перечить всем и не соглашаться с чужим мнением. Стадный инстинкт мне ненавистен. Понимайте, как хотите...

Сантурян не притворялся, он часто поступал не так, как следовало бы по мнению товарищей. Он подавал руку тем, кто изгонялся из их общества. И я замечал, что эта

черта восстанавливала студентов против него еще больше, чем пятно на репутации его семьи. Мне даже казалось, что иные в глубине души его уважают и только прикидываются недругами, потому что сам Сантурян с пренебрежением относится к ним. Сантурян ни от кого не скрывал своих подлинных чувств и мысний. Он говорил всем прямо в лицо, что думал. И очень многим это не нравилось.

— Он издевается над нами, не хочет с нами считаться,— твердили студенты.

Как-то в одно воскресное утро я зашел к Сантуряну за книгой. Припав грудью к столу, он что-то быстро писал. Увидев меня, Сантурян отшвырнул рукопись. Мы уже успели сойтись на «ты».

— Что ты писал?

— Так, глупости.

Любопытство во мне зашевелилось, и я украдкой взглянул на рукопись. Она заинтересовала меня. Это были стихи — вот чего я никак не ожидал от Сантуряна. Я протянул было руку к листу, но Сантурян удержал меня.

— Погоди. Если хочешь, я дам тебе другие, законченные, читай и смейся...

И он достал из стола тетрадь в красной обложке, на которой крупными буквами было написано: «Огонь». Я прочел было вслух несколько строк, но Сантурян, заткнув уши, отвернулся и попросил продолжать про себя. Я пробежал одно, два, четыре стихотворения. Говорят, у каждого свой вкус, быть может, мой вкус грубый или неразборчивый, но должен признаться, что в тот день меня взролновали стихи на языке моей родины; это был бурный, пламенный протест против человеческого эгоизма; казалось, густой, смертельный яд бьет из тайников пестрадавшегося сердца. Огонь, пылавший в душе этого человека, пожирал его. Сколько чувства, живых образов и ярости было в этих стихотворениях!

Глубоко потрясенный, я не сводил глаз с поэта. «Так вот какой у тебя талант!» — думал я, жадно всматриваясь в меланхолическое лицо Сантуряна.

— Скоро ли лумаешь издать их?

— Издать? — переспросил Сантурян.— Никогда!

— Почему же?

— Неужели подобную мазню стоит издавать?

— Какая же это мазня? У тебя талант, и притом большой.

— Легко сказать! — иронически покачал Сантурян головой, улыбаясь себе под нос.— Талант! Чего доброго, не гений ли я?.. Писал я это для себя, с какой же стати я буду свои мысли и чувства навязывать другим? В иные минуты эти каракули помогают мне приглушить муки сердца, отсюда и громкое название. Давай сюда, довольно...

Сантурян чуть не вырвал у меня свою тетрадь и, пряча ее в стол, добавил:

— Последний раз я брал в руки эту тетрадь. И пусть она так истлеет!..

Ах, как жаль, что я не догадался похитить этот «Огонь»!

Может быть, я ошибаюсь, может быть, я увлекся, но сдается мне, что этот «Огонь» мог бы хоть немного согреть и озарить нашу обескровленную и холодную поэзию, к тому же я бы спас от забвения светлое имя...

Порою у Сантуряна я встречал Зарифяна. Преодолевая свою антипатию к нему, я разговаривал с ним только потому, что уж очень любил Сантуряна. В их отношениях я с одной стороны наблюдал искреннюю простоту, ложь и фальшивую учтивость — у другого.

Сознавая умственное превосходство Сантуряна, Зарифян завидовал ему, но искусно скрывал свою зависть. А тот не пытался, как говорится, влезть в чужую душу и относился к Зарифяну, как к искреннему другу, часто резко критикуя при нем поступки и взгляды своих земляков-студентов. Я же был убежден, что все его резкие слова Зарифяни им сообщал.

За обедом нельзя было не заметить, что Зарифян уж слишком внимателен к Аделаиде. Во мне давно росло подозрение, что это добром не кончится. Однажды русский студент сказал мне, что мой соотечественник влюблен в немку. Я не считал Зарифяна способным к нежным чувствам. Человек, который даже галстук свой завязывает с расчетом, навряд ли способен любить.

Направляясь к себе, я проходил мимо комнаты Аделаиды. По временам оттуда отчетливо доносились мерный, холодный голос и сдержанный смех Зарифяна. Мысленно я негодовал на Аделаиду: зачем она позволяла

этому субъекту ухаживать за собой. Наконец моя затаенная антипатия к Зарифяну нашла нечаянный выход.

Это было в день рождения Аделаиды — ей исполнялось двадцать лет. Накануне вечером она пригласила нас на чашку шоколада. Вместе с поздравлением мы все поднесли ей подарки. Зарифян принес роскошный шелковый зонтик, что не совсем соответствовало его скромности. А Сантурян подарил маленькую лиру слоновой кости. Это была простая, но со вкусом выточенная брошка.

Барышня сложила наши подношения на особый столик и с гордостью показывала их подругам, пришедшим ее поздравить. Нимало не жемаясь, Аделаида с особенным удовольствием демонстрировала подарок Сантуряна, который, быть может, был самым дешевым.

— Ах, что за прелест! — повторяла она.— Сразу видно, что это дарит человек со вкусом...

Сантурян посматривал то на нее, то на меня и смущенно отводил глаза. Надо заметить, что вот уже целую неделю он был особенно внимателен к девушке. Ясно было, что за этот короткий срок он успел привлечь к себе внимание хозяйки несравненно больше, чем Зарифяни за несколько месяцев. Дня за два перед тем Сантурян первый раз заговорил об Аделаиде у меня в комнате. Из его отрывистых слов легко было понять, что юная немка пришла к нему по вкусу, особенно пленял его бойкий и жизнерадостный характер девушки.

Аделаида не переставала восторгаться подарком Сантуряна, все время улыбаясь юноше. Надо было видеть Зарифяна! Беспрестанно кусая губы, теребя усы и бородку, он не спускал глаз с Аделаиды. Мне было ясно, что он сгорает от зависти.

Редкий случай, когда Зарифян выдал себя. Обычно он лучше скрывал свои чувства.

На другой день Сантурян дружески признался мне, что он неразнодушен к Аделаиде. С этого дня он время от времени навещал барышню. Они вместе читали, что именно, мне, разумеется, не было известно. Однако, зная характер Сантуряна, я безошибочно мог бы предвидеть, что, однажды возникнув в его сердце, слабое чувство любви быстро разрастется и окрепнет, как и любая другая страсть. Я не хотел отнимать у него счастливых часов

и стал реже заглядывать к нему. Однако он дружески бранил меня за это и нередко сам приходил ко мне.

Любовь еще только разгоралась в сердце Сантуряна. Он, как и прежде, был преисполнен негодования, беспощадно осуждал эгоизм, защищал бедных и гонимых. Он тратил свои последние гроши, закладывал что было можно и помогал нуждавшимся товарищам, совершенно не считаясь с тем, как они к нему относятся. Однажды Зарифян за обедом сообщил, что какой-то студент-медик не может внести плату за ученье и что ему грозит исключение. Сантурян как раз получил из дома деньги, по из них уплатил хозяйке за комнату и обед. Он сейчас же вывернул карманы. Налицо оказалось семнадцать рублей с копейками.

— Вот моя доля, пусть добавят другие,— сказал он, пододвигая деньги к Зарифяну.

— Завтра вы сами отдайте ему,— заметил Зарифян.

— Нет, у меня он не возьмет. Как-то он собирал деньги на велок, я хотел тоже дать — он не принял. «Ваши деньги, сказал он мне, нельзя равнять с нашими». Вот передайте ему, только ни слова, что эти деньги от меня. Они принадлежали моей матери, уверяю вас...

И Сантурян, кусая губы, с трудом удержался от слез.

Вспоминается мне также день, когда студенты собирались чествовать одного знатного кавказца. Большинство хотело обойти Сантуряна. Но я и еще кое-кто протестовали и убедили товарищей быть справедливее к Сантуряну. На самом же деле намерение студентов объяснялось не столько тем, что фамилия моего друга была запятнана, а тем, что иные из товарищей опасались, как бы умственное превосходство Сантуряна не бросилось в глаза имениному гостю. Студенты не могли не сознавать, что Сантурян выше их; в этом-то и таилась главная психологическая причина их упорного отчуждения от несчастного юноши. Зарифян, любивший с особенным смаком размазывать сплетни, поспешил поведать Сантуряну разговоры, что велись из-за него. Мне это не было известно. Являюсь к нему с приглашением на вечер и что же вижу? Лежит он полураздетый на кровати. Глаза горят, он страшно взъярен и с трудом переводит дыхание — так подействовало на него отношение товарищей.

— Успокойся, друг мой,— начал я утешать его, сей-

час же поняв в чем дело.— Поверь мне, не стоит быть чувствительным к подобным мелочам.

— Да, к подобным мелочам! — воскликнул Сантурян, приподымя голову и бросая на меня огненный взгляд.— Ведь это пощечина! Впрочем, правда твоя, не надо быть чувствительным. Это я виноват, что дал повод преследовать меня, да, я, потому что слишком непримирим.

И Сантурян глухо зарыдал, уткнувшись лицом в подушку. Но я не жалел его. Жалеют слабых, а он не был слабым. Сантурян был чувствителен, прям и искренен,— вот эти-то качества и стали главной причиной всех его несчастий.

Недавно в одной из тифлисских газет появился пасквиль на его несчастного отца. Студенты читали и насмеялись. Прочитал и Сантурян; пламя негодования с новой силой забушевало в его сердце. Я всеми силами старался облегчить его горе, опасаясь в то же время оскорбить в нем сыновние чувства.

Меня искренне радовало, что он все сильнее увлекается Аделаидой. Это увлечение могло бы, если и не совсем рассеять его тоску, то, по крайней мере, облегчить ее, стать целительным бальзамом для его душевных ран.

Как-то он зашел ко мне в хорошем настроении. Впервые я увидел на его меланхолическом лице жизнерадостную улыбку. Откровенно и прямо он сообщил мне о своей любви к Аделаиде и о том, что девушка разделяет ее. Аделаида — прекрасное создание, она его любит и понимает. Около четверти часа Сантурян превозносил юношу немочку, восторгаясь ее взаимностью. Мне было трудно сдерживаться; как человек, еще не испытавший чувства любви, я взглянул на это дело серьезно.

— Но какой может быть конец вашей любви?

— Мы обвенчаемся — вот и конец.

Признаюсь, мне это не приходило в голову. Я видел во всем этом только временное увлечение, которое так же легко могло кончиться, как и началось. Но решительный ответ Сантуряна заставил меня устыдиться своего вопроса: как это я мог подумать, чтобы такой юноша мог затеять двусмысленную интригу с молоденькой, чистой девушкой? Но в то же время я всей душой был против этого брака. Мне почему-то казалось, что Аделаида никогда не сумеет стать для Сантуряна достойным товари-

щем в совместной жизни. Спору нет, она изящна, образована, трудолюбива и, как большинство немок, вероятно, оказалась бы хорошей хозяйкой. Однако меня немного смущала ее чрезмерная веселость, хоть и естественная в ее возрасте. Уж слишком много она смеялась и пела. Это мне казалось признаком легкомыслия. Но если правда, что крайности сходятся, Сантурян несомненно должен был любить Аделаиду: они являли собой полнейший контраст.

И только одно обстоятельство помешало мне в тот день быть вполне искренним. Сантурян предполагал жениться только по окончании курса. Ну, что ж, думалось мне, мало ли что может случиться за целый год. С какой стати я буду отравлять счастье моего приятеля своими непрошеными подозрениями.

Теперь Сантурян за обедом уже садился подле Аделаиды. Поляк делал мне знаки, что, дескать, все понятно, и, видимо, подсмеивался над Зарифяном. Русский студент оставался равнодушен; у него была своя избранница. Старая хозяйка, должно быть, уже догадалась, к чему клонится дело, и по всем признакам не противилась желанию дочери.

Сантурян ей нравился, она всегда отзывалась с похвалой о его серьезности. А Зарифян?.. Пока что он держал себя по-прежнему, не изменяя своей деланой дружбе с Сантуряном. Этот человек не был лишен силы воли. И однако мне казалось, что он не столько завидует, сколько жалеет о деньгах, даром брошенных на зонтик для Аделаиды. Но это было не так, только потом я догадался, что ошибаюсь.

Нечего и говорить, что отныне Сантуряна гораздо больше занимал предмет его любви, чем университетские занятия. Он частенько водил Аделаиду то в театр, то на концерты, то прогуливался с нею, и я замечал, что это ухаживание весьма сказывается на его тощем студенческом бюджете. Так пробежало месяца два. Зима приближалась к концу, наступила и пора экзаменов. Однажды я заметил за обедом, что Сантурян уже не сидит с Аделаидой и не разговаривает с нею. Барышня же, опустив головку, грустно смотрела на скатерть, ничего не ела и, казалось, только ради приличия оставалась за столом. Зарифян, сидя напротив, не сводил с нее пытливых глаз.

Ничего нельзя было прочесть на лице этого скрытного субъекта. Зарифян не умел ни от стыда краснеть — он и без того всегда был румян, — ни от гнева бледнеть, ни радостью одушевляться.

На другой и на третий день Сантурян по-прежнему сидел врозь с Аделаидой, и барышня была все так же грустна. Зарифян по-прежнему пожирал ее глазами. А на четвертый день Аделаида совсем не вышла к столу. Любопытство мое росло: мне захотелось непременно узнать подоплеку всех этих любовных перипетий. Чувствовал я, что случилось что-то неприятное.

В тот же день вечером Сантурян, взволнованный, вошел ко мне.

— Что там такое случилось? — спросил я.

— Несчастье. Она избегает меня.

— Почему?

— Вот это «почему» меня и занимает. Не поможешь ли ты мне решить эту загадку?

— Я?

— Да, ты. Твой долг потребовать у нее объяснения.

— А почему бы не сделать это тебе?

— Она мне ничего не отвечает. Она вообще не хочет разговаривать со мной.

— Вот какое дело!..

— Именно так. При встречах она на меня даже не смотрит.

— Так что ж, отверпись и ты.

— А дальше?

— Дальше — ты сам по себе, а она сама по себе.

Сантурян удивленно приподнял брови.

— Ты шутишь?

— Ничуть. Твою любовь я не могу одобрить, если она не останется платонической.

— Почему, собственно?

— Аделаида тебе не подруга.

— Но она во всех отношениях выше меня. Это я знаю.

— Нет! Она недостойна тебя.

— Не смейся надо мной, Мирабян.

— Я не смеюсь. Но уверен, что Аделаида тебя не любит — по крайней мере любовью, достойной серьезного человека.

— Выходит — я человек несерьезный?

— Напротив...

— Будь что будет,— прервал Сантурян,— ты обязан у нее потребовать объяснения от моего имени.

Я задумался. Мне предстояла тонкая и нелегкая роль посредника в таком сложном деле,— сумею ли я справиться с ней?

— Прости, Сантурян, но я не могу сделать этого.

— Почему же?

— Прежде всего у меня строгий принцип: не вмешиваться в чужие любовные дела; во-вторых, я от души желаю, чтобы ты разошелся с этой девушкой.

— Значит, ты отказываешься? Хорошо, тогда моим посредником будет Зарифян.

— Зарифян? — спросил я, глубоко изумленный.

— Ну да, ничего другого не остается. Ведь ты знаешь, что у меня больше нет товарищей.

— Тогда напиши ей письмо.

— Письмо? Есть вещи, о которых в письме не скажешь. Я знаю, ты не любишь Зарифяна, но он парень неплохой. Главное — он близок с Аделаидой.

Тут уж я не вытерпел.

— Да неужели ты не замечаешь, что Зарифян сам неравнодушен к Аделаиде?

— Может быть, так было прежде, но теперь он любит ее как брат. Зарифян даже поддерживает меня: у него есть такт, не дает мне падать духом.

— Нет слов, он тактичен, но...

— Причем тут «но»?..

— Сантурян, не обижайся на мои слова: держись по дальше и от девушки, и от Зарифяна.

Больше я не прибавил ни слова. Немного подумав, Сантурян решительно махнул рукой и с недовольным видом удалился.

На этом месте Мирабян оборвал свой рассказ и принялся мешать в камине угли. Затем, налив нам еще по стакану чая, заметил:

— Вы, наверно, устали, господа. Не отложить ли продолжение до завтра?

Было еще восемь часов вечера. Мы в один голос попросили его закончить рассказ. Закурив папиросу, Мирабян уселся подальше от камина.

5

На другой день Зарифян занял свое обычное место за столом и выполнял прежнюю роль: то есть предупреждал желания барышни, говорил ей комплименты, но только втихомолку. Порою он украдкой взглядывал на Сантуряна и пожимал плечами, точно хотел сказать: «ума не приложу, что с этой девушкией».

Как-то в одно из воскресений Сантурян не явился к обеду. Это меня встревожило. Он до того был чувствителен, что под влиянием минуты мог весть на что мог решиться. И тревожился я только о нем: ведь, кроме себя, он никому не хотел и не мог причинить вред. Запас яда и желчи в его сердце угрожал лишь ему самому.

Я несколько раз заходил в его комнату, но его не было. День прошел, прошло время вечернего чая,— а Сантуряна все нет. Наконец уже в полночь я услышал, как скрипнула его дверь, и тотчас поспешил к нему.

— Ах, это ты? Заходи! — сказал он, держа в одной руке зажженную спичку, а в другой — стекло лампы.— Весь день я бродил по улицам,— начал он, отшвырнув пальто, и усталый, задыхаясь, присел на кровать.

— Почему?

— Потому что я несчастлив. Сегодня утром Зарифян мне сообщил, что он переговорил с Аделаидой.

— Ну и что же?

— Аделаида боится меня полюбить, потому что я — задира, все отворачиваются от меня, все пренебрегают мною...

— Откуда же ей это известно?

— Ах, для меня это безразлично!

Я не мог не улыбнуться.

— Неужели ты не видишь,— сказал я,— что это не любовь, а легкомыслие? И неужели любящая женщина будет смотреть на избранника сердца чужими глазами?

— Нет, конечно, нет. Но ведь Аделаида неопытна как ребенок. Она еще не умеет рассуждать как взрослый человек. Я больше о любви не думаю. Нет, теперь меня

мучит другое: представь, Зарифян говсрит, что Аделаида обо мне плохого мнения.

— Например?

— Язык не поворачивается сказать...

— Ну, а все-таки?

— Будто у меня была грязная цель... Ты понимаешь?..

— Вот оно что! У нее имеются основания так думать?

— Видит бог, что я даже о своих чистейших чувствах говорил сей через силу, со стыдом.

— И ты после всего этого избегаешь личного объяснения с девушкой?

— Зарифян уверяет, что Аделаида об этом и слышать не хочет.

Зарифян говорит, что барышня плохого мнения о Сантуряне. Зарифян утверждает, что она не хочет с ним видеться. Все Зарифян да Зарифян. Нет, подумал я, тут что-то кроется.

— Сантурян,— воскликнул я,— забудь ты об этой девушке и развязись с Зарифяном.

— Теперь я постараюсь исполнить этот совет. Конечно, Аделаида забыть я не в силах, но нашим отношениям — конец. Насильно мил не будешь. Она имеет право пренебречь мною, ведь все пренебрегают мною. И пусть! Отныне я не буду ей надоедать...

Несколько дней спустя ко мне зашла хозяйка и с грустной улыбкой сообщила, что Сантурян оставляет квартиру.

Я поспешил к нему. Сантурян, кусая губы, расхаживал взад-вперед. Вещи уже были уложены, он только поджидал извозчика.

— Куда это ты собрался?

— Я только что хотел зайти к тебе. Как видишь, перебираюсь.

— Неужели уж до этого дошло?

Сантурян сказал, что он не может жить так близко к Аделаиде и в то же время сознавать, что он так далек от нее; ему кажется, что его присутствие в доме неприятно барышне. Наконец, самолюбие не позволяет ему теперь пускаться в объяснения.

Прошло с неделю. Я нигде не встречал Сантуряна. Не показывался он и в университете. К сожалению, я забыл спросить его новый адрес. Наконец как-то утром мы

встретились на Тверской. Он быстро подошел ко мне и крепко сжал мою руку. Я полуслыша спросил, не зажила ли его сердечная рана. Горько усмехнувшись, Сантурян попросил меня не шутить так.

— Моя рана глубже, чем даже я сам думал.

Два дня назад он видел Зарифяна с Аделаидой на конке и впервые испытал чувство ревности.

— Хотя,— добавил Сантурян,— я и не имею права ревновать к Зарифяну.

Тут уж я не мог сдержать возмущения против Зарифяна и рассказал Сантуряну обо всем, чему я был свидетелем за время его отсутствия: о резкой перемене в настроении Аделаиды, о победных улыбках Зарифяна, о том, что они постоянно шептались, о том, что барышня навещала Зарифяна,— все это раскрывало суть их взаимных отношений.

Сантурян слушал меня, побелев как мел. Грудь его высоко вздымалась; глаза, казалось, готовы были выскочить из орбит. В эту минуту он казался страшным. Я уже раскаивался, что нанес ему неожиданный удар. Но было поздно. Отправившись вместе с ним в его новую комнату, я провел там ночь, стараясь успокоить его.

Да, мой друг умел и любить, и страдать. Теперь, когда ревность раздувала его сердечное пламя, юноше угрожала особенно большая опасность. День ото дня он становился все угрюмее, но тем сильнее пылал огонь в его сердце. Постепенно он замыкался в себе, хотя оставался по-прежнему откровенным и незлобивым. Ни разу не слыхал я ст него дурного слова о Зарифяне или хотя бы недовольство им. Он только негодовал на судьбу и во всем обвинял себя. Не обвинял он ни в чем и Аделаиду.

— Это ее право любить того, кто ей нравится,— говорил Сантурян,— и я не вижу ничего дурного в ее поступке. Я не виню ее даже за то, что она плохо отзывается обо мне. И взрослые люди ошибаются, а ведь она еще ребенок; когда-нибудь девушка опомнится и поймет свою ошибку.

6

Экзамены кончились. Я выехал на Кавказ, заранее взяв с Сантуряна слово, что и он на лето покинет Москву. Мне казалось, что перемена обстановки поможет ему

справиться с горем. Не получи я от родителей спешного письма, повременил бы с отъездом, пока Сантурян не кончит экзамены,— тогда мы вместе отправились бы на родину.

Погостив три недели в родных местах, я прибыл в Тифлис. Как мне хотелось встретиться с Сантуряном! В тот же день я отыскал его квартиру. Сантурян был дома. Он выбежал и радостно обнял меня.

Когда твой друг постоянно с тобой, тебе трудно подметить изменения в его внешности. Но довольно и короткой разлуки, чтобы сразу их обнаружить. Зеркало достойно нашей глубочайшей благодарности: оно искусно обманывает нас, незаметно примиряя с подступающей старостью.

Всего месяц как мы не виделись — и как разительно изменился мой друг! Его щеки впали, подбородок заострился. В пышных кудрях двадцатичетырехлетнего юноши уже мелькала седина. Прежним был только пламенный блеск его черных глаз.

Сантурян познакомил меня со своей семьей.

Худощавая мать очень походила на сына. Сестра, против моего ожидания, оказалась светловолосой. Младший брат тоже.

Дело их отца перешло в судебную палату. Много было потрачено усилий, чтоб взять его из тюрьмы на поруки до вторичного разбирательства. Но ничего не вышло. Адвокат обнадеживал, что судебная палата пересмотрит прежнее решение. Теперь семья жила только этой надеждой.

Большинство родственников отвернулось от них. Сестра от стыда и горя избегала появляться в обществе. Мать не переставала проливать слезы. Брат-гимназист, не вытерпев насмешек товарищей, в середине года бросил гимназию.

Обо всем этом я узнал от Сантуряна, когда мы остались наедине в его комнате.

— Просто не знаю, кого утешать, о ком заботиться,— с горечью говорил мой бедный друг.

Я каждый день навещал его. Вместе мы отправлялись прогуляться за город.

Никогда не забуду наши прогулки и его вдохновенные речи. О, как радовали меня его прямые суждения, вольные мысли, его парадоксы — эти широкие, хотя и неровные по-

леты сильного ума. Иногда Сантурян одним нечаянным словом, вскользь произнесенным афоризмом неожиданно раскрывал тайный смысл тех или иных явлений. Ничего не могло укрыться от его острого взора, ничто из того, что так или иначе соприкасалось с общественной жизнью.

Сантурян отгораживался от всего, что, по его мнению, не соответствовало чувству человеческого достоинства. «Страдай, но не лги!» — таков был его девиз, и ему он остался верен до конца...

Однажды я почти насилием затащил Сантуряна на общее собрание, не помню теперь какого товарищества. Там были армяне, русские, грузины, тюрок — почти все с высшим образованием. Обсуждались вопросы экономической жизни нашей страны.

Сантурян наблюдал собравшихся, внимательно прислушиваясь к речам ораторов. С лица его не сходила ироническая улыбка...

— Смотри,— обратился он ко мне,— ведь все эти громкие речи — сплошная фальшь. Полюбуйся-ка вон на этого господина, только что ратовавшего за интересы крестьянства. Посмотри, как он украдкой крутит усы и поправляет дорогой галстук. Он кричит душой. Будь уверен: галстук для него куда важнее интересов народа. Посмотри на другого: он — армянин, считается либералом, но с каким подобострастием посматривает он на своего влиятельного соседа!.. Должно быть, местечка добивается... получит его и завтра же сделается врагом народа. А этот краснощекий субъект. Он тоже печатно поносит моего отца. Но, когда его однажды спросили об участии одной общественной суммы,— вдруг онемел, как Захарий. Вот соль нашей земли. Нет, Мирабян, у меня голова закружилась... Уйдем!

И, взяв меня под руку, он быстро вышел.

— Но мой отец,— продолжал Сантурян на улице,— этот малограмотный человек, по крайней мере, никому не давал уроков благородства. Быть может, я бы так не болел душой за него, если б нравственный облик нашего общества был чистым...

И во всех разговорах Сантуряна имя его отца сквозило какой-то черной нитью.

Иногда я водил моего друга на бульвар. Там мы встречались со знакомыми студентами. Теперь уже Сантурян сам отворачивался от них. Нигде ему не хотелось надолго

задерживаться. Вечно взволнованный, вечно задумчивый, он ни на минуту не знал покоя. Раньше мне казалось, что несчастье отца сделало его таким. Но, узнав его поближе, я убедился, что Сантурян всегда был такой.

Каждый день он вспоминал Аделаиду. Он хотел забыть о своем недолгом счастье, но тщетно. Я не стану продолжать рассказ о его страданиях: это завело бы меня слишком далеко.

В конце августа Сантурян отправился в Россию, а я — в родные края. На этот раз я застал мою мать в постели тяжело больной. Целых семь недель она находилась между жизнью и смертью. Поэтому я не мог покинуть ее, хотя и давно бы пора мне возобновить занятия в университете. Наконец мать начала понемногу выздоравливать, и только в конце октября я добрался до Москвы. Я решил последний студенческий год прожить у той же старухи немки. Полагая, что моя бывшая комната может быть уже занята или немка перебралась на другую квартиру, я на сутки остановился в гостинице и в тот же день отправился к старухе.

Я надеялся, что Аделаида у матери. О том, в каких она теперь отношениях с Зарифяном, мне ничего не было известно. Только почему-то мне казалось, что Зарифяна нет в Москве.

Войдя в знакомый двор, я прямо направился к квартire старой немки. Дворник был тот же. Подойдя ко мне, он снял картуз и спросил:

- Вы, знать, немку хотите видеть?
- Да.
- Ее нет.
- Переехала?
- Точно так.
- Куда же?

— Туда, где за постой не платят,— ответил дворник со своимственным русскому мужику холодным пренебрежением к смерти.

Бедная старуха — она умерла! Я узнал, что утром она захворала, а к вечеру отдала богу душу. Случилось это в середине лета. Аделаида после смерти матери распродала все домашнее имущество и переехала куда-то. В их бывшей квартире помещалась теперь портняжная мастерская.

Я не расспрашивал больше и вышел на улицу с тяжелым чувством. Как будто меня лишили домашнего уюта — до того я привык к этой квартире и к ее хозяевам. «Бедная старуха, удалось ли тебе, по крайней мере, порадоваться на счастье твоей младшей дочери?» — подумал я.

На другой день я снял комнату в русской семье и переехал. В университете я тщетно искал Сантуряна. Прошла неделя, а нам так и не пришлось встретиться. Никто не знал, где он живет. Говорили, что он редко бывает на лекциях. Один из наиболее беспощадных его судей с иронией заметил:

— Времени у него нет — занят он ловлей птичек на бульваре.

— Это занятие не для него! — перебил я с негодованием.

Студент смерил меня взглядом и отвернулся. Я понял, что даже заочно защищать Сантуряна его враги считают недопустимым. Теперь ему притисывали «ловлю птичек». В другой раз тот же судья осмелился грубо заметить:

— Неудивительно, если теперь ваш, никого в грош не ставящий, своенравный приятель запишется в покровители и адвокаты «птичек»...

Тут уж я вышел из себя и дал пощечину распоясавшемуся наглецу. Первый и последний раз мне пришлось поднять руку на человека. Нас тотчас окружили студенты и разняли. Я ожидал, что в тот же день оскорбленный потребует от меня объяснений. Мое предположение не сбылось: он молча проглотил оплеуху.

Наконец в адресном столе я узнал, где живет Сантурян. Было начало ноября. Небо хмурилось, стоял суровый, бесснежный холод. Проезжавшие экипажи глухо стучали по мерзлой мостовой. Дрожа от стужи в легком пальто, я миновал бульвары и очутился на Малой Басманной. Там жил мой друг. Помню, когда я подошел к воротам двухэтажного дома, сердце мое забилось. Я очень любил Сантуряна. Как раз накануне на экстренной студенческой

сходке было вынесено мне порицание: за оплеуху, нанесенную оскорбившему Сантуряна студенту. Мучительные подозрения терзали меня: жив ли мой бедный друг, здоров ли, не случилось ли с ним чего?..

Нажимая кнопку звонка. Дверь открыла молодая девушка. Она проводила меня на второй этаж. На веранде меня встретила худощавая, костлявая старуха, вытиравшая грязным передником сальные руки. Это и была хозяйка Сантуряна.

— Дома,— сказала она и, пройдя со мною через темноватую переднюю, указала мне комнату моего друга.

Войдя без стука, я сперва ничего не мог различить. Вдруг чьи-то худощавые руки крепко обняли меня.

— Наконец-то, наконец-то! — радостно твердил Сантурян, торопливо застегивая тужурку.

Это была одна из тех минут, что запоминаются на всю жизнь. Кожа да кости — вот все, что осталось от моего бедного друга. Синие жилы еще резче выступали на лбу, лопатки выпирали. Мне показалось даже, что Сантурян с трудом дышит. Во мне зародилось тревожное подозрение.

— Ты болен!

— Ах, я всегда такой! Присядь. Почему опоздал? Если б только ты знал, как я ждал тебя! О, ты еще не знаешь, что со мною было! Ты — пророк, ты видишь насеквость людей...

Я стал расспрашивать, однако никакого определенного ответа не получил. О смерти старухи я знал. Заговорил было об Аделаиде, но Сантурян, заскрежетав зубами, только покачал головой. Моему любопытству не было предела. По лицу Сантуряна можно было заметить, что случилось что-то необычайное.

— Почему не ходишь на лекции?

— Их я в жизни наслушался. В университете меня считают безнравственным. Всего не расскажешь. А вот пойдем сейчас, и я покажу тебе, что такая настоящая безнравственность. Идем, ты должен сейчас, сию минуту видеть ее.

И Сантурян поспешно надел пальто. Я молча последовал за ним. Мы вышли на улицу.

— Вот тут близко...

Не успели мы сделать и ста шагов, он остановился у

ворот узкого трехэтажного дома. Первый этаж был полу-подвальный. Сантурян подошел к небольшому квадратному окошку на локоть от земли и тихо стукнул два раза. Чья-то рука раздвинула оконные занавески; женское лицо мгновенно показалось и исчезло. Тогда Сантурян быстро открыл наружную дверь, и мы, спустившись на две ступеньки, очутились еще у какой-то двери. Когда она отворилась, Сантурян сказал:

— Со мною гость.

— Пожалуйста,— ответил за дверью женский голос, болезненный и разбитый.

Мы вошли в небольшую комнату, очень скромно обставленную. Но кто же тут живет, почему Сантурян ничего не сказал мне? Все это придавало нашему странному посещению таинственность. Сердце у меня забилось от любопытства. Посредине комнаты стояла молодая женщина в скромном домашнем платье. Увидев меня, она улыбнулась, покраснела и растерянно протянула руку.

— А-а, это вы, господин Мирабян?

Туман рассеялся: я тотчас узнал Аделаиду. Но куда же девалась веселая, здоровая попрыгунья? Передо мной была бледная, высохшая женщина с опущенной головой. Ее стройный стан согнулся, плечи опустились, грудь впала. На голове накинута желтая шаль. Я заметил, что она прикрылась ею при моем появлении.

Говорить мне было трудно. Я не сводил глаз с ее жилистой шеи. Мне показалось, что она с трудом сдерживает рыдания, упомянув о смерти матери. Я попытался утешить ее.

— Да, она умерла, и вот я осталась одинокой,— отозвалась Аделаида, зарыдав.— Бедная, бедная моя мама!— повторяла Аделаида плачущим голосом.— Всего двенадцать часов она проболела. Утром проснулась и стала жаловаться на головную боль. Прилегла и сразу лишилась чувств. Вызвали врача, но он ничем не мог помочь... Целый день промучилась бедняжка и все на меня смотрела... В десятом часу вечера она скончалась... О, бедная мама, добрая труженица, мама!..

Но я уже не жалел старуху. Хорошо, что она вовремя скончалась и, по крайней мере, не видела родную дочь в таком ужасном положении.

Все было понятно и без объяснений. Передо мною бы-

ла жертва цивилизованного хищника. Одно было трудно понять — как ему удалось увлечь эту девушку?

Невыносимо было смотреть на гнетущее зрелище. Сердце мое сжималось, когда я смотрел на Аделаиду. И она стеснялась взглянуть мне прямо в глаза. Смутился и Сантурян... из-за чужого поступка. Зато с какой нежностью, благодарностью и даже благоговением смотрела Аделаида на моего друга!

Я спешил разузнать подробности всей этой гнусной истории. Разумеется, касаться их при Аделаиде было невозможно. Мы стали говорить о посторонних делах, между тем нас всех мучила одна и та же неприятная мысль! Мы сознавали, в каком ложном положении находимся. Не желая стеснять Аделаиду, я встал и простился. Я был уверен, что Сантурян последует за мною.

Лишь на улице я вздохнул свободней. Мой друг упорно молчал. Слышались только его сдавленные вздохи. Войдя к себе, он обессиленный опустился в кресло.

— Теперь ты увидел ее; продолжай же свои упреки.

— Кого же мне упрекать?

— Меня.

— За что?

— За то, что я не слушал тебя; не раскусил этого человека и, точно слепой, не разглядел врага под маской друга. Аделаида? Не она виновата. А я, да, именно я, не умевший побороть глупую гордость. Наперекор самому себе я не уговорил ее рассказать мне все, что было у нее на душе.

И все больше и больше волнуясь, Сантурян сообщил мне обо всем. Тут только я понял, до каких ужасных крайностей может доходить порою страсть.

Сделавшись посредником между влюблеными, Зарифян умышленно искажал все, что они передавали друг другу через него.

Но это было только под конец. Вначале же Зарифян всячески старался уронить достоинство своего соотчича в ее глазах. Действовал он осторожно и так хитро, что девушка сама не сознавала, что зародившееся у нее чувство любви постепенно уступает место ненависти. Зарифян твердил Аделаиде, что Сантурян сын преступного отца, презренного и гонимого всеми. Он прочел ей все газетные сплетни о несчастном старике. Сантурян — душевно больной. несчастный,— где ему любить! — уверял ее Зарифян

фян. Говоря так, он прикидывался верным другом, полным сочувствия к товарищу. И незаметно, день за днем он вливал по каплям яд сомнения в неопытное сердце Аделаиды.

— Знаю,— продолжал Сантурян,— ты спросишь, почему же Аделаида ни разу не говорила мне об этом. Да ведь требовать этого можно только от зрелой и опытной женщины, а не от ребенка, не умеющего даже объяснить себе, в чем дело...

Позже, когда Аделаида начала чуждаться Сантуряна и он попросил Зарифяна о посредничестве, перед мнимо преданным другом открылось широкое поприще для новых козней. Никогда Аделаида не говорила, что «не уважает Сантуряна», никогда не говорила, что и «слышать не хочет о личном объяснении с ним», а главное, ни словом не обмолвилась, будто Сантурян по отношению к ней «имел грязные намерения». Напротив, Зарифян сам утверждал, будто «Сантурян высмеивал Аделаиду»...

— И ко всем этим гнусностям Зарифян прибегал лишь для того, чтобы нас разлучить,— продолжал Сантурян.— Он сам признался Аделаиде, что любит ее, страдает из-за нее. Знаю, ты возразишь: «И опять-таки виновата Аделаида. Зачем она оказалась такой слабой и так легко позво-лила увлечь себя?» Правда, это обвинение естественно. Но, друг мой, не забывай и того, что любовь Аделаиды ко мне только зарождалась и не могла бороться с интригами этого пройдохи. В состоянии ли юное деревцо, не успевшее пустить корней, выдержать хотя бы слабую бурю?..

Однако, как ни пытался Сантурян оправдать Аделаиду, я все же считал, что девушка в какой-то степени винна в своем несчастье. Но спорить было уже поздно. Я только спросил:

— Что же ты теперь думаешь делать?

— Разумеется, мстить Зарифяну.

Я был вполне уверен, что Сантурян способен по-рыцарски отомстить за девушку, даже если бы это была не Аделаида. И я готов был вступиться за честь Аделаиды, а уж он, влюбленный, и подавно.

— Как же ты собираешься ему мстить?

— Морально.

— Не понимаю.

— Так пойми — я женюсь на Аделаиде.

— Признаюсь, всякая месть мне понятна, но только не такая...

— Ты удивляешься? — продолжал Сантурян. — Но ведь это единственный способ отомстить, возможный для честного человека. Слушай. Зарифян оставил Аделаиду в безвыходном положении, а сам позорно удрал. Жениться на ней не думает. К сожалению, в студенческой среде подобные случаи теперь не редки. Заставить Зарифяна женитьбой искупить свою вину — невозможно. Если даже он согласится, Аделаида будет против. Теперь она с омерзением вспоминает о Зарифяне. Это во-первых. Что теперь остается делать девушке? Оставаться в том же положении? Ведь она — беззащитный ребенок. Долго ли ступить на дурной путь? Мир полон искушений. Ты скажешь, что она заслужила эту судьбу? Нет, ты человек благородный, не можешь так думать. Это во-вторых. Но есть и третья причина — самая сильная: я люблю Аделаиду, люблю и теперь, и даже сильнее, чем прежде. Вот причины, по которым я принимаю такое решение.

— Но как же университет, семья, общество?

— Я и об этом подумал. Весною я кончу курс. Мать и сестра не будут против — ведь я женюсь хоть и на обманутой, но порядочной женщине. А что до общества — я никому не обязан давать отчет, поступок мой касается меня одного.

Я не возражал. Прощаясь, Сантурян просил меня наш разговор пока хранить в глубокой тайне...

8

Через несколько дней Сантурян явился ко мне с просьбой быть у него на свадьбе шафером.

— Уже все готово. Аделаида сначала колебалась. Считая мою жертву чрезмерной, она не хотела выходить за меня замуж. Но любовь побеждает все. Я ее убедил: завтра же мы венчаемся.

— Так скоро?

— Ты знаешь, что откладывать неудобно...

Я не стал скрывать от него своих сомнений и высказал все. Конечно, его решение показывает его высокое благородство и честность; несомненно это подвиг. Но как знать, куда может завести Сантуряна этот шаг? Что легко схо-

лиг с рук холостяку — отцу семейства может причинить болыни неприятности. Ведь не легко выдержать гнет общественного мнения. Еще тяжелее станет тогда положение Аделаиды в новой незнакомой ей среде.

Мои соображения говорили далеко не в пользу решившего Сантуряна. Но глубоко серьезное отношение моего друга к браку перевесило все мои доводы. Его решение было непоколебимо. Мне не хотелось долго спорить. Познание, зародившееся в моем сердце относительно его здоровья, теперь еще больше укрепилось. В этот день юноша был так слаб и раздражителен, что я беспокоился больше о его здоровье, чем о браке.

Венчание совершилось по обряду армянской церкви — Аделаида была протестанткой. Как любящий и преданный сын, Сантурян еще две недели назад сообщил своей матери о предстоящем браке, приложив к письму фотографию своей невесты. За два дня перед свадьбой пришел ответ. Мать не возражала, но опасалась, как бы сын не ошибся в выборе. Несомненно, сын пока скрыл от матери правду. И поступил разумно.

— Я знаю, теперь у меня прибавится недругов,— говорил он на второй день после венчания.— Но я не запятнал свою совесть, и этого для меня достаточно. Никакие преследования не заставят меня раскаяться в моем поступке. Ах, Мирабян, поверь, я тебя люблю не только потому, что ты мой единственный друг. Нет, этого мало: я люблю тебя и за то, что ты живешь не чужим умом, предрассудки не сковывают тебя... Впрочем, и ты начинаешь страдать от этого, знаю, студенты уже косятся на тебя из-за меня. Отвечай по совести: не каешься ли ты, что связался с таким забиякой, как я?

— Нет! — воскликнул я.— Наоборот, я очень доволен нашей дружбой.

— Так дай же мне руку и останемся павечно друзьями.

И мы действительно остались друзьями.

У Аделаиды родился сын. Как раз в это время мы с Сантуряном сдавали последние экзамены и встречались не чаще раза в неделю. Но одно печальное обстоятельст-

во очень тревожило меня: мой друг день ото дня угасал. Он не кашлял, и только это вселяло в меня надежду, что у него не чахотка. И чем больше Сантурян изнемогал физически, тем ярче разгорался в нем внутренний огонь, тем пламеней вспыхивали его зрачки. И казалось, что именно этот страшный огонь пожирал его.

Ежедневно мне приходилось слышать в кругу студентов толки об опрометчивом поступке Сантуряна. Его шаг всем казался безнравственным. Я же, знаяший подробности этой истории, не знал, как убедить скептиков в благородстве моего друга. Никто не хотел верить, что Аделаида вовсе не из тех несчастных, к кому ее причисляли.

Больше всего возмущало меня, что подлинный виновник ее несчастья никому не был известен. Это ставило меня в крайне неловкое положение: с одной стороны, я хотел во что бы то ни стало сорвать маску с Зарифяна, а с другой — мне это казалось неудобным. Правда, Сантурян, в случае надобности, мог бы сам раскрыть истину — до того он был смел и прямодушен. Однако я опасался, что это может принести Аделаиде горе.

Говорили даже, что Сантурян, дескать, искупает собственную вину. Это мнение казалось наименее вздорным, и я против него не возражал, давая понять, что тут-то и скрывается истинная подоплека истории.

Как-то раз мы совещались в аудитории по поводу устройства «кавказского кайфа». Самый «кайф» меня не занимал, но я прислушивался к словам ораторов. Наконец приступили к составлению списка участников. Кто-то насмешливо выкрикнул имя Сантуряна. Это явилось сигналом для новых острот и инсинуаций. Я упорно молчал, открыто пренебрегая их мнением, чем и бесил сплетников. К тому же они еще не забыли о моей пощечине.

— Итак, — провозгласил какой-то остроумец, — мы все вернемся на родину с одним дипломом, а у Сантуряна будет их целых два.

— А почему бы и не три? — подхватил другой.

— Третий — фальшивый.

Снова кровь ударила мне в голову, снова хотел я проучить подлеца, но тут кто-то схватил меня за руку и оттащил. Я обернулся. Смотрю — Сантурян. Незаметно войдя, он сразу угадал, в чем дело. При виде его студенты притихли и хотели разойтись.

- Постойте! — воскликнул он.
Все остановились.

— Господа,— взволнованно заговорил он,— я знаю, речь шла обо мне, и мой друг хотел меня защитить. Вы очень внимательны ко мне. Вопрос не в том, приму я или нет участие в вашем «кеифе». Разумеется, вы не намерены приглашать меня, да и я не позволю себе осквернить своим присутствием ваш последний товарищеский праздник. Минуту внимания! Вы осуждаете мой поступок и считаете его безнравственным. А мне... мне он представляется более чем нравственным. Вы утверждаете, что я женился на падшей женщине. Если б вопрос касался меня, разумеется, я бы промолчал так же, как игнорирую все ваши — уж простите — инсинации. Но теперь... теперь вы безжалостно позорите имя, которое для меня дороже всего на свете. Вы поступаете нечестно. Спорить с вами не стану. Но допустим, что вы правы, что я действительно связал свою жизнь с обесчещенным существом. Прежде всего, это мое дело, только мое; затем, если в ваших сердцах есть мужество и отвага, если ваши души не поробощены, то ответьте мне, что лучше: бросить женщину в грязь или вытащить ее из грязи? Я жду ответа!

Сантурян стоял посреди зала и обводил глазами присутствовавших. От волнения он весь дрожал, но сдерживал себя изо всех сил. Его худое истощенное лицо дышало и глубокой грустью и беззаветной отвагой. До чего он был красив в эти минуты! А студенты? Мне теперь представлялись они воплощением ничтожества. С восторгом я глядел на Сантуряна и мысленно рукоплескал каждому его слову. Готовый защищать его до последней капли крови, я ждал — кто первый посмеет поднять руку на него или хотя бы сказать ему обидное слово.

Но все молчали, не сводя с него глаз. Роли теперь переменились. Всеми презираемый и осуждаемый, теперь он явился в свою очередь судьей и на свой настойчивый вопрос ожидал ответа. Но ответа не было. Студенты молча переглядывались. Остряк только растерянно улыбался.

— Так вы не можете ответить? — продолжал Сантурян, повышая голос.— Вы молчите? Понимаю. Не потому ли, что для большинства трудно ответить на мой вопрос. О, я никого не осуждаю, хотя и располагаю для этого фактами!.. Но, господа, довольно. Вы уже давно преследуете

меня, и я молча переношу все ваши обиды. Но, поверьте, для меня обидно не это, а то, что вы превратно понимаете правила чести и долга. Больше я ничего не скажу. И это будет моим прощальным словом. Мирабян, угодно тебе идти со мной?

И он направился к выходу. Студенты невольно расступились.

— Болен,— шепнул один.

— Не стоит и связываться с ним,— заметил другой.

— Извольте видеть, только теперь опомнился и требует от нас объяснения.

Теперь уж я ни на кого не обращал внимания. Мне казалось, что Сантурян отомстил вполне. Твердыми шагами я последовал за ним, и с этого дня мои отношения со студентами были прерваны.

10

Приближалась весна. Уже начался ледоход на Москве-реке. Солнце пригревало все сильнее. После пасхальных каникул наступила пора экзаменов; кончались они в середине мая.

В чудесный, ясный, хотя и прохладный день я послал университету последнее «прости» и с дипломом юриста возвращался к себе, полный самых радужных надежд. Я собирался, наскоро отобедав, отправиться к Сантуряну, чтобы поделиться с ним моей радостью. Экзамены он еще не закончил, значит, угощать следовало мне. Я решил пригласить его и Аделаиду поужинать в ресторан. Кроме них, у меня не было друзей.

Однако моим радостным надеждам не суждено было сбыться. Когда я вернулся в свою комнату, мне бросилась в глаза записка на столе:

«Скорее приходите к нам. Маркар непременно хочет вас видеть. Аделаида».

Как раз в этот день в Тифлисской судебной палате должно было вторично слушаться нашумевшее дело отца Сантуряна. Мне пришло в голову, что мой друг получил дурные вести и хочет теперь поделиться со мною своим горем. Но почему письмо написано Аделаидой? Я не был у них целую неделю.

Уж не помню, как я кончил обед. Вскочив на извозчика, я отправился к другу. Тогдашняя его квартира состояла из двух комнатушек. Первая служила приемной, столовой и кабинетом, другая — спальней. Аделаида встретила меня на пороге и растерянно прошептала, что Сантурян очень болен. Я уже подготовился к худшему и поэтому сравнительно спокойно прошел в спальню. Подхожу к постели. У Сантуряна был сильный жар, от тяжелого дыхания грудь высоко подымалась и опускалась.

— Ничего, ничего,— заговорил он шепотом,— малость прихворнул, это пройдет...

Я сел у изголовья. Аделаида шепотом рассказала, как было дело. Четыре дня назад Сантурян усердно занимался до поздней ночи и, почувствовав легкую головную боль, хотел уснуть. Как на грех, в тот же день заболел и ребенок: не спал, не брал груди, все время плакал. Сантурян всю ночь носил его на руках и убаюкивал. Босой, рассстегнутый, он несколько часов ходил по сырому полу. Рано утром, усталый, полусонный, скрывая приступ лихорадки от Аделаиды, он побежал за врачом. К вечеру, навестив ребенка, этот врач нашел моего друга уже в постели.

Огонь, многие годы тлевший в груди Сантуряна, теперь разом вспыхнул. Самая легкая хворь могла оказаться для него смертельной. Когда доктор вторично навестил Сантуряна, я попросил его сказать мне, как другу больного, всю правду.

— Не будь организм так надорван,— ответил врач,— можно было надеяться на выздоровление. Но, к сожалению, его легкие давно повреждены.

Я с трудом удержался от слез и, кусая губы, вернулся в спальню.

Ночь Сантурян провел беспокойно. Аделаида должна была все время возиться с ребенком.

Кошмары давили больного; в бреду он что-то несвязно лепетал. Я то и дело менял ему компресс и каждый час давал лекарство.

Утром Сантурян ненадолго пришел в себя и заговорил со мной. Вспомнил отца, говорил о его процессе, о матери, о брате и сестре, об Аделаиде и ребенке. Сколько любви и нежности таилось в его словах! Аделаида не сводила с него глаз, полных благоговения и любви. То, что мой

друг слег из-за ребенка, удваивало заботливость молодой немки.

А больной был уверен, что жар вот-вот спадет и что завтра или через день ему можно будет встать. Сантурян все время говорил о студентах, профессорах, об экзаменах. Ему хотелось как можно скорее покончить с университетом и увезти Аделаиду к себе на родину.

— Я уверен,— обратился Сантурян к жене,— что мать и сестра тебя очень полюбят...

Когда Аделаида удалилась покормить ребенка, больной опять вспомнил о последних событиях в университете. Он ни в чем не винил своих недругов, только называл их ограниченными людьми; они не умеют и не смеют мыслить; точно попугай повторяют то, что слышали и о чем читали. Когда Аделаида вернулась, больной начал лихорадочно шутить и смеяться. Взяв ребенка, он долго всматривался в него и кончиками тонких, пожелтевших пальцев нежно погладил ему щеки. Аделаида избегала смотреть на меня...

После обеда опять явился врач, осмотрел больного, загадочно покачал головой и бросил на меня многозначительный взгляд.

— Сегодня ночью ждите кризиса...

Было уже поздно. Я продолжал сидеть у изголовья, а Аделаида стояла у ног больного.

Горькие, тяжелые минуты! Они всегда останутся в моей памяти. Мне довелось однажды сидеть у смертного одра любимого существа и чувствовать, как смерть приближалась к нему. Но теперь было совсем другое. Меня терзало страшное горе. Вдали от родины, среди чужих людей умирал добрый, благородный, великодушный, талантливый юноша. Как знать, что уносил он с собою в могилу! Достойнейший из нас, он был гоним и презираем. Почему? Потому что он по воле природы мыслил и чувствовал не так, как все.

Один только я мог понять Сантуряна. Но все ли в нем мне было понятно? Вряд ли. Чтобы понять его всецело, необходимо было обладать таким же, как у него, широким умом и глубоким сердцем. Понимала ли его Аделаида? И этого не думаю. Вот почему мне и казалось всегда, что Сантурян чувствует себя вечно одиноким. На его губах появлялась необъяснимая, таинственная улыбка, когда из

соседней комнаты напомнил о себе плачущий ребенок... Быть может, ему, этому маленькому существу, суждено понять Сантуряна. Но когда?..

А смерть между тем неумолимо подкрадывалась шаг за шагом, чтобы сжать в своих черных когтях моего бедного друга. Ее мрачная тень сгущалась над постелью больного.

Я переглядывался с Аделаидой, и мы с трудом удерживали слезы. Больной лежал лицом к стене. Его пышные черные кудри рассыпались на белой подушке.

Теперь Сантурян бредил. Он все время повторял, что его отец невинен, что сам он верит в честность людей.

Медленно ползли тяжелые часы. Вдруг одеяло на постели шевельнулось; исхудалая рука Сантуряна искала моей руки. Слабыми, но все еще теплыми пальцами сжимая мою ладонь, он заговорил:

— Нет, плохо мне... грудь так и горит...

Мне показалось, что он просит воды. Я поднес стакан к губам его. Отстранив стакан, он устремил взор в угол, где была печка.

— Нет огня, пускай затопят,— с трудом выдавил он,— холодно..

Аделаида мигом исполнила его желание, и не прошло пяти минут, как в печке затрещали дрова.

— Телеграммы не было? — спросил он вдруг.— А должна быть...

Сантурян ждал телеграммы о решении палаты по делу отца.

— Обязательно будет,— добавил он,— будет радостная телеграмма...

Он сделал рукой знак приподнять его. Мы усадили его на постели, обложив подушками. Ему никак не удавалось держать голову прямо, но непременно хотелось сидеть.

Печка теперь ярко пылала. Сантурян жадно глядел на огонь, не сводя лихорадочных глаз.

Ах, как значительно было в эту минуту выражение его лица!

— Огонь, огонь! — произнес больной слабым голосом,— он сжигает мне сердце!..

Уронил голову на грудь, снова приподнял, поглядел на меня.

— Нет, конец приближается... дай мне руку...

Я приблизился. Он пристально воззрился на меня.

— Обещай мне, что ты отправишь Аделаиду к сестре, в Одессу...

Я обещал, еле удерживая рыдание. Аделаида была в соседней комнате. Бедная женщина, она не знала, что ей делать. Теряя голову от беспредельного горя, она то и дело металась от мужа к ребенку, надрывавшему ей сердце своим плачем.

И вдруг померкшие глаза больного зажглись, лицо просияло и голосом, еще довольно твердым, он воскликнул:

— Не давайте огню гаснуть, не давайте, не то я умру!..

Мы заметили, что он ищет что-то глазами, глядя в соседнюю комнату. Мне показалось, что Сантурян хочет видеть ребенка. На мой вопрос он отрицательно покачал головой.

— Огонь, мой огонь, дайте!..

Аделаида первой поняла его мысль. Бросившись за дверь, она тотчас вернулась, держа знакомую мне красную тетрадь с крупным черным заголовком: «ОГОНЬ».

Кинув беглый взгляд на тетрадь, Сантурян прошептал:

— В печку ее! Творец сгорел — пусть сгорит и творение!

Бедная женщина не знала, как отнестись к этой просьбе. Она посмотрела на меня. Но широко открытые глаза умирающего умоляли так неотступно, что не исполнить его воли было невозможно. И Аделаида швырнула тетрадь в печку.

Раздался звонок. Аделаида выбежала. Большой не услыхал звонка: он не мог оторвать глаз от запылавших страниц.

Вбежавшая Аделаида украдкой сунула мне телеграмму. Я взглянул на нее: судебной палатой отец Сантуряна был оправдан...

В первые минуты мы с Аделаидой растерялись: сказать больному или нет? Чрезмерная радость могла мгновенно убить его. Но ведь он и без того угасает. Так пусть хоть умрет спокойно. Безмолвными взглядами выразили мы эту мысль.

Нагнувшись к больному, не сводившему глаз с огня, я шепнул:

— Маркар, могу тебе сообщить радостную весть!

Глаза Сантуряна широко раскрылись; из-под одеяла высунулась его рука. Показывая ему телеграмму, я сказал:

— Твоего отца оправдали!

Схватив телеграмму, больной слабыми руками прижал ее к груди.

— Видел? — шепнули его уста.

Подошла Аделаида. Я дал ей место. Опустившись на колени перед кроватью, она жадно охватила шею умирающего.

И я должен был вытерпеть всю тяжесть этого гнетущего зрелища!

А в печке дотлевал «Огонь». Только уголок красной обложки еще продолжал дымиться. Был уже третий час ночи, когда угас и творец «Огня».

Я сам закрыл ему глаза. До последнего вздоха мой бедный друг мужественно преодолевал свои страдания.

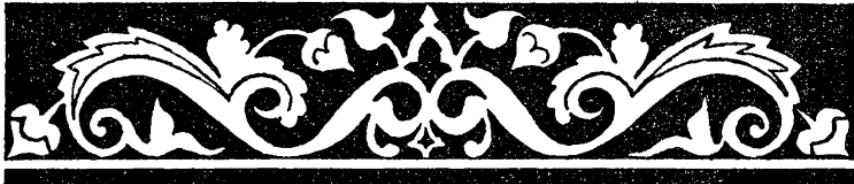
* * *

Тяжело вздохнув, Мирабян умолк. Мы ждали, что последнее слово будет о Зарифяне. И я, не дождавшись, спросил:

— А Зарифян, неужели ему все так и сошло с рук?

— Есть люди, которым судьба покровительствует, избавляя от заслуженной кары. Я мог бы наказать Зарифяна, сообщив вам его подлинное имя. Но для чего? Неужели это вернуло бы к жизни моего друга? Так пусть же тот, кого я назвал Зарифяном, продолжает пользоваться уважением общества...

И Мирабян захлопнул дверцу потухшей печки.



АРТИСТ



яти месяцев не прошло, как я поселился в Одессе, а комнату менял уже четвертый раз. Для человека одинокого частая перемена квартиры в большом городе не лишена своеобразного удовольствия. Переезжаешь из квартала в квартал — и словно из одной страны попадаешь в другую: новые знакомства, новая среда, а порою иной быт.

Теперь мне суждено было поселиться на одной из шумных улиц, в третьем этаже большого дома. Квартирная хозяйка моя была итальянка — полная, крепкая, здоровая вдова лет пятидесяти. Ее супруг, очень давно переселившийся в Россию, служил супфлером в итальянской опере. Умирая, он оставил в наследство жене и единственной дочери большую кипу старых нот и знакомства с итальянскими артистами. Вдова, не имевшая иных источников существования, сдавала комнаты внаем.

В первый же день я познакомился с соседями. Это было для меня новое и интересное общество. Состояло оно преимущественно из итальянцев. Кроме них, здесь жили русский студент и зубная враачиха, довольно привлекательная еврейка, не первой молодости.

Центром внимания была дочь хозяйки Луиза, двадцатилетняя, светловолосая, с блестящими, как слоновая

кость, жемчужными зубами и прекрасными глазами. У нее был сильный, приятный голос, и она готовилась посвятить себя сцене. Она давала уроки музыки, чтобы скопить деньги на поездку в Италию.

В первый день, как это обычно бывает, я чувствовал себя неловко среди незнакомых людей; на второй день я свыкся с ними, а через неделю уже подружился со всеми. Обедали за общим столом в одно время. С двух часов пополудни и до четырех, пяти не смолкали смех, пение, музыка, танцы и остроты.

Поток общего веселья объединял этот пестрый кружок людей разных племен и разной веры.

Как-то после обеда Луиза села за рояль и заиграла вальс. Бас Челлини обнял контрабасо Лукрецию Кафарелли и пустился танцевать. Поднялся общий хохот — это была поистине уморительная пара: Челлини худощавый, высокий, а Лукреция Кафарелли толстушка небольшого роста. Луиза, играя, запрокинула голову и безудержно хохотала, наполняя комнату сочными звуками своего приятного голоса.

В самый разгар веселья в дверях показалась незнакомая фигура. Никто не заметил ее, кроме меня, потому что я сидел у дверей. Незнакомец сразу привлек мое внимание. Я присмотрелся к нему: это был юноша на вид лет шестнадцати-семнадцати, худощавый, бледный, со слегка впалой грудью, в темно-синей куртке, стянутой поясом, узких брюках того же цвета. В руках он держал мягкую синюю шляпу с пером, вроде тех, какие носят бродячие греки, торгующие статуэтками, или итальянские музыканты. Черты лица у него были правильные и тонкие, глаза мечтательные.

Он принадлежал к счастливым патурам, располагающим к себе с первого же взгляда.

— Бон джурино¹, — произнес он с поклоном.

— О-о, артист! — первым отозвался баритон Кавалларо, добродушный мужчина средних лет.

— Артист, артист! — послышалось со всех сторон.

Танцы, музыка, смех прекратились, и все устремились к юноше.

¹ Добрый день (итал.).

— Где ты пропадал, почему тебя так долго не было видно? — спросил Кавалларо.

— Погодите, он грустит, — вмешалась Луиза, подойдя к юноше. — Что еще случилось? Почему не заходишь?

— Где синьора Стефания? — спросил юноша.

Голос его взволнованно дрожал, в нем слышалась задушевная нотка грусти.

— А-а, понимаю, — продолжала Луиза, — должно быть, твоя мать опять захворала. Бедняжка, ты рвешься к небу, а она тянет тебя к земле!

— Синьорина Луиза, прошу не жалеть меня! — вспыхнул юноша. — Синьоры Стефании здесь нет?

— Мама на кухне.

Юноша вежливо поклонился и вышел.

— Он очень грустен, — заметил Кавалларо, — вероятно, мать его на этот раз тяжело захворала.

— Ну, не думаю, — отозвалась Луиза. — Эта женщина вечно болеет и мучает сына. Бедный мальчик!

— Бедный! — повторил русский студент насмешливо. — Но ведь он не хочет, синьорина Луиза, чтобы вы его жалели. Вы заметили, как он обиделся?

— Горд, как испанский гранд, — подхватил Кавалларо, посматривая на меня из-под густых бровей своими добрыми глазами. — И эта гордость сродни его деликатности. Он очень напоминает моего брата. Талантливый был скрипач. Он умер двадцати лет, на моих руках.

— Вы знаете Левона? — обратилась ко мне мадемуазель Раиса, зубной врач. — Нет? Представьте, господа, сосед не знает нашего артиста!

— О-о, это непростительно! — воскликнули разом Луиза и Лукреция Кафарелли.

— А по-моему, — сказал Кавалларо, — каждый, кто любит искусство, обязан знать Левона. Это подлинный артист, да, артист душой, всем существом своим...

Любопытство мое было задето. Кто же этот полуребенок, покоривший сердца моих соседей?

— Если вам угодно, можете сейчас же познакомиться, — предложила Луиза. — Право, стоит посетить нашего артиста. Знаете что, — обратилась она ко всем: — недурно бы нам всей компанией павестить его больную мать. Я иду, кто со мной?

С этими словами она направилась к дверям. Кроме

студента и второго баритона Борелли, все, даже толстушка Лукреция Кафарелли, пошли за ней.

Артист жил на пятом этаже того же дома. Луиза повела нас по широкой лестнице на четвертый этаж. Отсюда узкая грязная деревянная лесенка вела на пятый этаж. Мы очутились в темном проходе. В нос ударил неприятный запах пригоревшего сала.

Луиза остановилась перед низенькой дверью.

— Синьор Челлини,— сказала она,— следовало бы для вашей милости приподнять потолок еще на фут.

— А для синьоры Кафарелли необходимо расширить дверь на два фута,— пошутил Челлини.

Комната, в которую мы вошли, была чуть больше курятника. В темном углу, у стены, стояло подобие койки, ее заслоняла от меня мощная фигура синьоры Стефании. Шагнув вперед, я увидел женщину, прикрытую ветхим одеялом. Лоб ее был перевязан черным платком, глаза неподвижно смотрели на потолок. Она кряхтела и тяжело стонала. У ног ее стоял «артист». По-видимому, мысли его были поглощены болезнью матери либо еще чем-то, и он не сразу заметил нас, тем более, что наше появление было неожиданным.

— Ладно, будет тебе стонать,— сказала синьора Стефания,— не умрешь, не бойся! Самая пустая болезнь, завтра же встанешь. Ба-ба-ба! Погляди-ка, что за почтенные гости — тут все мои кавалеры и дамы! Эй, паренек,— обратилась она к Левону,— видать, это из-за тебя пришло столько людей!

Юноша растерянно взглянул на нас и не знал, кому из семерых гостей предложить сесть: в комнате стояло лишь два разбитых стула.

— Господин доктор? — спросила больная, увидев меня.

— Нет, не доктор,— ответила синьора Стефания,— но болезнь твою, надеюсь, он поймет не хуже доктора. Он твой соотечественник.

— Армянин? — восхлинула больная не то удивленно, не то радостно и, медленно подняв голову, села на постель.

— Армянка? — спросил я, удивленный в свою очередь: в этой среде я не ожидал встретить представителя своей национальности.

— Да,— подтвердила мадемуазель Раиса,— артист — ваш соотечественник. Удивительно, что вы не догадались об этом с первого взгляда.

— Откуда вы? — спросила больная.— Не из Бессарабии ли? Нет? Это очень хорошо. Ох, эти бессарабские армяне! Безбожники, звери, они не хотят посочувствовать мне! Господи боже, никто не понимает моей болезни, никто!

— Ну, пошла тянуть старую песню,— возвысила голос синьора Стефания.— Довольно!

— Нет, Стефания, я не могу молчать, душа горит. Ты ведь тоже мать, но у тебя дочка. Эх, кабы у меня была дочка! Ты не знаешь, какие штуки он выкидывает. Терзает меня, как и его отец. Сударь,— обратилась она ко мне,— этот беспутный мальчишка мой единственный сын, понимаете, единственный, у меня больше нет детей! Бога ради, образумьте его, он пошел по отцовской дороге...

— Обычные жалобы,— шепнула мне на ухо Луиза,— не обращайте внимания.

Я взглянул на Левона. Смутившись, он отвернулся к стене.

Луиза подошла к нему, взяла за руку, повернула его лицом к себе и прямо поглядела юноше в глаза взглядом друга — нет, больше того: нежным взглядом любящей сестры. Мне показалось, что этот взгляд тронул Левона до глубины души. Да и чью душу он не произил бы! Левон признательно посмотрел на итальянку.

— Будь он порядочным сыном,— продолжала больная,— разве принимал бы он сегодня таких почтенных гостей в этом свином хлеву? Видите, даже стульев нет! Бесстыдник, чего ты торчишь, как пень?

Левон снова предложил нам свои два стула. Но сесть было нельзя: в этой комнатушке семь-восемь человек могли только стоять. Лукреция Кафарелли не вынесла духоты и вышла. Челлини последовал за ней, заметив, что мать «артиста» пока не собирается умирать и, значит, беспокоиться нечего.

В комнате стало просторнее, я смог рассмотреть обстановку. Увиденное приятно поразило меня. В одном углу красовались в виде веера фотографии крупнейших композиторов, музыкальных виртуозов, певцов и певиц, в другом углу стоял небольшой письменный стол, устав-

лениный дешевыми вещицами. Тут были кирпичного цвета
бюсты — Бетховена, Моцарта, Шекспира, Вагнера, тер-
ракотовая дудка, сломанная свирель и тому подобное.
На стене — гитара, мандолина и театральный костюм
вроде наряда Риголетто. Всего интересней была картина
на палитре, изображавшая драку двух юношей из-за
уличной певицы. Девочка с распущенными волосами пы-
талась разнять соперников.

— Видите,— шепнул мне на ухо Кавалларо,— музы-
ка, живопись, поэзия,— ничто не забыто.

Больная все продолжала причитать.

— Вот уже три дня, как я даже по утрам его не вижу.
Когда же он спит? Ведь этак и заболеть недолго,— что
я буду тогда делать, кто станет ходить за мной? День
и ночь по театрам шляется. Отцовская зараза переда-
лась и сыну.

— Все те же жалобы,— произнесла Луиза,— и как
только ей не надоест! Эгоистка!..

В самом деле, взгляд больной казался надменным,
и все же эти глаза были еще прекрасны и ярки на увяд-
шем лице пятидесятилетней женщины.

От меня не укрылось, что при прощании Кавалларо
украдкой пытался сунуть в руку Левона золотую монету,
а тот отказывался ее взять. Тогда баритон замешкался
в комнате, дав Левону возможность проводить нас.

Синьора Стефания рассказала мне о юноше: отец его
был театральным парикмахером и большим любителем
искусства. Скромный, безобидный ремесленник внезапно
запьянистовал, и не без причины: выяснилось, что он без-
надежно влюблен в какую-то певицу. Вскоре несчастный
стал предметом всеобщих шуток и насмешек. Все, от пер-
вого артиста и до последнего сторожа в театре, издева-
лись над его дерзким чувством к красавице, в числе
поклонников которой называли городского голову, изве-
стного миллионера грека Маразли...

Насмешки и душевная тоска так подействовали на
парикмахера, что даже водка не давала ему забвенья.
Однажды он поколотил режиссера; тот насмехался над
париком его изделия и в сердцах обозвал парикмахера
мерзавцем. Драчуна изгнали из театра. Несчастный
окончательно погряз в пьянстве. Однажды вечером поли-
цейские нашли его в сугробе и привезли домой. Дня

через три он умер, оставив на произвол судьбы жену и сына.

Вконец измученная вдова отдала восьмилетнего Левона в обучение к плотнику, а сама стала зарабатывать хлеб шитьем. Двух месяцев не прошло, как мальчик сбежал от плотника. Ему удалось поступить в школу. Нашлись добрые люди — стали платить за него. Он выучился грамоте, и мать отдала его в магазин готового платья. Мальчик не удержался и там, точно какая-то неведомая сила толкала его в театр. Он сделался разносчиком афиш, зарабатывал полтинник в день, но зато получил право посещать галерку. Он проник за кулисы и постепенно завел знакомства среди актеров. Теперь они все знают его, всем им он оказывает услуги, и все его любят за добрый нрав и бойкость. Ни одного спектакля юноша не пропускает, в особенности привлекают его спектакли итальянской труппы.

— Синьор, наверное, удивится, услышав, что теперь Левон иногда создает славу вновь прибывающим сюда неизвестным актерам,— продолжала Луиза рассказ своей матери.— Да, да, синьор Челлини, не возражайте, это верно. У него много товарищей — русских, греков, евреев, которые доверяют его вкусу и души в нем не чают. Это не клакеры, нет, это подлинные театралы. Не знаю, быть может, их и подкупают, но Левона — нет, его не подкупишь. Синьор Кавалларо, ведь я же правду говорю, не так ли?

— Он невинен, как младенец, и чувствителен, как струны лиры,— подтвердил баритон.— Это живой портрет моего покойного брата...

— Каким же образом он создает славу новым актерам? — заинтересовался я.

— Первыми аплодисментами,— ответил Кавалларо.

— Не понимаю.

— Синьор, вероятно, не знает, что такое первые хлопки для актера, выступающего в незнакомом городе. Очень многое, а иногда и все. Вы театрал и могли заметить, что зрители в первый раз сдержанно аплодируют незнакомому артисту. Нередко восхищенные лением, они не решаются выразить свой восторг, боясь, что их могут заподозрить в отсутствии вкуса. Но вот приходит на помощь Левон. Он свободен от предрассудков и не стес-

няется аплодировать первым. За ним начинают хлопать его друзья, а потом уже аплодирует весь зал. На другой день о приеме, оказанном неизвестному актеру, упоминается в газетах, и успех ему обеспечен.

— Если только актер не лишен дарования,— прибавил Челлини.

— Ну да, разумеется.

— Но твой Левон может рукоплескать иной раз и бездарностям,— заметил Борелли.

— Простите,— ответил Кавалларо, иронически улыбаясь,— по крайней мере по отношению к нашей труппе у него подобных промахов не было.

Я понял, что Борелли до сих пор не удостоился рукоплесканий Левона.

Спор, вероятно, затянулся бы, но тут вошел Левон. Выражение лица у него было довольно спокойное. Он отвел Кавалларо в сторону и, шепнув ему два слова, опустил в карман певца золотую монету. Потом я узнал, что Левон после нашего ухода нашел эту монету под подушкой у матери. Сообразив, что золотой, должно быть, положил Кавалларо, он вернул ему деньги.

— Ну и упрям же ты, Левон! — воскликнул Кавалларо, отечески гладя юношу по голове.— Ладно, не сердись, присядь на минутку, поговорим. Ты, разумеется, был вчера в театре?

— Да.

— Понравился я тебе?

— Конечно.

— Почему же ты отворачиваешься? Лицемеришь, значит?

— Синьор Кавалларо, вы вчера волновались.

— Я? Нисколько! Ты ошибаешься.

— Нет, синьор, не ошибаюсь. Когда вы спокойны, вас трудно сбить. Мы все догадались, что вы не в духе.

— Это тебе показалось. Я был совершенно спокоен. Вот видишь, Левон, ты меня еще мало знаешь.

Левон посмотрел в глаза Кавалларо таким ясным, умным взглядом, что кривить душой было невозможно. Кавалларо, положив руку ему на плечо, сказал:

— Ты не ошибаешься, друг мой: вчера перед самым спектаклем я крупно поговорил с режиссером.

— Нет, синьор Кавалларо, скажите: с дирижером,— смело поправил Левон.

— Откуда ты знаешь?

— Когда вы исполняли арию «О, Карло!», синьор Мартини взял полутоном выше, чтобы сбить вас. Синьор Мартини ко всему равнодушен, кроме самого себя. Из-за режиссера он не стал бы мстить вам. Он злопамятен по отношению к своим врагам.

— Слышите, синьор,— обратился Кавалларо ко мне с воодушевлением,— у этого юнца есть и музыкальный слух и наблюдательность.

Левон поднялся, поклонился, поблагодарил нас за посещение и собрался уходить. Он так понравился мне, что захотелось непременно побеседовать с ним.

— Говорите вы по-армянски? — обратился я к нему, чувствуя невольную симпатию к соотечественнику.

— Говорю.

Он и его мать разговаривали по-русски с турецким акцентом. Из итальянцев по-русски говорили только моя квартирная хозяйка, ее дочь и Кавалларо. С остальными Левон объяснялся по-итальянски.

Я задал ему несколько вопросов на армянском языке. Он удивленно посмотрел на меня и улыбнулся.

— Не понимаете? — переспросил я по-русски.

— Это язык церковный,— ответил он мне по-турецки.

Для меня не было новостью незнание бессарабскими армянами родного языка, но впервые пришлось встретить человека, принимавшего турецкий язык за армянский.

Я попросил Левона почаше навещать меня и со своей стороны обещал заглядывать к нему.

Левон не заставил себя долго ждать. На другой же день он зашел и весело сообщил, что мать уже начинает поправляться. По правде говоря, меня не интересовало состояние матери, а занимала судьба сына.

Когда я заговорил о театре и музыке, юноша преобразился, как пламенный любовник при упоминании о предмете своей страсти.

Он восторженно рассказывал про знаменитых певцов и музыкантов, которых ему довелось слышать. Левон слышал почти всех выдающихся певцов и музыкантов, приезжавших в Одессу за последние семь лет.

— Ты сам, должно быть, тоже играешь на чем-нибудь или поешь? — спросил я.

— Нет, синьор.

— Не верю.

— У меня нет голоса, чтобы стать певцом.

— Но у тебя много музыкальных инструментов — я их видел вчера.

— Да, я играю на мандолине и на гитаре.

— Ноты знаешь?

— Синьорина Луиза научила. Вы слышали ее, чудесный голос, не правда ли? Да? Вам понравился? Еще бы, кому он может не понравиться! О-о, у Луизы большое будущее!

Левон помолчал, вздохнул и уставился в одну точку. На лице его отразилось скрытое душевное страдание. Признаюсь, тогда я не придал этому значения. Да и могли я допустить, чтобы семнадцатилетний юноша оказался способен на серьезное, глубокое чувство.

— Все это хорошо, — сказал я, — только как же ты зарабатываешь, чтобы содержать себя и мать? Ведь отец не оставил вам никакого наследства?

— Продаю программы, выступаю статистом на сцене, стою в «хвосте». Ах, синьор, будь у меня средства, я бы научился играть на виолончели и поступил бы в оркестр!

— Ты помнишь отца?

— Конечно. Отлично помню.

— Говорят, он был добрый человек.

— Да, синьор, очень добрый, только...

— Любил выпить, — добавил я.

— Он меня не бил никогда, даже не сердился. Впрочем, нет, вспоминаю, однажды рассердился...

— Вероятно, за шалость?

— Да. Его парикмахерская помещалась в нижнем этаже вон того углового синего дома. Каждый день я ходил туда расчесывать парики. Однажды отец был очень грустен; к нему зашел какой-то генерал побриться. У него часто бывали знатные люди. Взял я гребенку, приладил бумажку и стал наигрывать на губах. Генерал рассердился и приказал отцу выгнать меня. Тот выдral меня за уши и, надавав подзатыльников, выгнал вон. Но после ухода генерала отец позвал меня, утер мне слезы, поцеловал и сказал: «Если у тебя есть музыкальные

способности, я себя заложу, а дам тебе образование». Да, синьор, очень хороший человек был мой отец, хотя и пил. Простите, синьор, который час?

— Одиннадцать.

— О, я опоздал. Извините, я приду еще. Прекрасная у вас комната. Вы мне дадите что-нибудь почитать? Спасибо. До свидания. Сегодня бенефис Калафати, театр будет полон. Пойду постою в «хвосте».

Не успел я спросить о каком «хвосте» идет речь, как Левон уже исчез.

Калафати была отличной певицей.

Я отправился в театр за билетом. Перед кассой тянулась длинная очередь, доходившая почти до середины квартала. Была холодная, сырая, неприятная погода. Предстояло занять место в самом конце этой длинной вереницы и прождать по крайней мере час. Я уже собирался вернуться домой, как услышал свою фамилию. Это был голос Левона. Он стоял в нескольких шагах от кассы между двумя теснившими его мужчинами.

— Хотите билет? — спросил он по-турецки.

— Да.

— Тогда займите мое место, а то не скоро доберетесь до кассы.

Я занял его место, а он перешел в самый конец. Тут только я понял, что значит «стоять в хвосте». Обычно Левон становился в очередь и, когда начинал приближаться к кассе, продавал свое место желающим за пять-десять копеек, затем опять становился в очередь. Юноша прибегал ко всяческим уловкам, чтобы не расставаться с театром. Театр был для него воздухом, пищевой, жизнью — всем!

Я до того заинтересовался юношой, что готов был видеться с ним каждый день.

Однажды утром я застал Левона беседовавшим у дверей его комнаты с двумя незнакомцами. Один казался его сверстником — в потертой одежде и в новой шляпе. Черты его лица были чисто еврейские, над карими глазами нависали рыжевато-красные волосы. Другой часто попадался мне на бульварах и у театров. Это был молодой человек лет двадцати пяти, сухой и бледный, словно обтянутый пергаментом. Продолговатое и узкое лицо, круглые маленькие глазки, кадык на шее. Гладкие ред-

кие волосы, выбиваясь из-под надвинутой на брови мягкой шляпы, прилипали, как горчичник, к плоскому затылку. На черный сюртук была накинута легкая крылатка с широким капюшоном. В одной руке у него была толстая желтая суковатая дубинка, в другой — книги без переплета и несколько газет.

— Мои товарищи,—познакомил меня с ними Левон.— Поэт Чаушенко, Ицка Маргулис.

Я с удовольствием пожал обоим руки.

— Чаушенко привык, чтобы прежде всего знакомились с его сочинениями,— произнес обладатель широкой крылатки и, тотчас сунув мне книжечку, спросил: — Не угодно ли вам экземплярчик?

— Охотно.

На обложке книжки значилось:

«Часы страданий и скорбей.

Стихотворения Леонида Николаевича Чаушенко».

— Может быть, вы удивитесь, мсье, что я, так сказать, осмелился навязать вам свое сочинение,— заметил он, принимая деньги и пряча их в карман,— но вы не слишком возмущайтесь — другие продают совесть, а Чаушенко только свои книжки. Я — бывший наборщик. Сам пишу, сам набираю, сам печатаю, сам продаю и сам же проедаю барыши от пламени сердца своего...

— А я — бывший и настоящий еврей,— прервал поэта Ицка Маргулис,— иногда продаю газеты, иногда состою при театре, а в трудные минуты чищу на улицах обувь.

— И воображает себя будущим Рубинштейном,— поддел его Чаушенко.

— Сударь, может быть, вы учитель музыки? Нет? Жаль! Я бы стал брать у вас уроки на рояле. Смейся, Чаушенко, а все-таки я положу на музыку твои «Часы страданий и скорбей». Ну, да уж ладно, не замахивайся папкой, я ведь не из робкого десятка. Аревидерчи¹, синьор!.. Пошли, поэт! Чимба-чимба-чилала!..

Он выпорхнул, точно ветерок. Чаушенко последовал за ним, колотя по ступенькам деревянной лестницы пако-печником своей дубинки.

Слава богу, на этот раз матери Левона дома не было: она пошла на рынок за провизией. Левон объяснил, что

¹ До свидания (*итал.*).

Чаушенко и Ицка Маргулис пришли посоветоваться по поводу бенефиса Барбины — примадонны итальянской оперы... Готовились особые овации. Чаушенко задумал посвятить бенефициантке стихотворение, которое необходимо было перевести на итальянский язык.

Желая испытать Левона, я спросил:

— А что вам за дело до бенефиса певиц?

— Как что за дело? — воскликнул он удивленно. —

Разве певицы не служат искусству?

— Мало ли что, ну, служат, а вам-то что?

— Каждый обязан чтить искусство.

— Искусство — роскошь. Оно для богатых. А ты и твои товарищи — люди бедные.

— Богачи делают артистам подарки, а мы устраиваем овации.

В этот момент вошла мать Левона. Поставив корзину с провизией, она тотчас же обрушилась на сына:

— Опять эта уличная шантрапа была здесь? Опять совещались? Целую неделю вы изводите меня этим бенефисом! Сударь, видели вы, каковы товарищи этого беспутного? Ну, чему он может научиться от них? Пропаща ты душа!

Иногда матери бывают врагами собственных детей. Мать Левона, несомненно, любила сына, но не видела пропасти, разделявшей их — той огромной пропасти, которую никак не заполнишь нескончаемыми упреками. Однажды за обедом об этом зашла речь. Синьора Стефания и Борелли защищали мать, а прочие — сына.

Дважды Левон в моем присутствии плакал, когда мать отчитывала его как «негодного» сына. Он обнимал ее, восклицая:

— Мама, мама, не сердись, я люблю тебя!

Юноша не лицемерил. Он безгранично любил мать.

— Можно? — услышал я как-то утром, еще лежа в постели, голос Левона за дверью.

Меня обрадовал его приход. Левон был без шляпы, неумытый, с помутившимися глазами, растрепанный и побледневший. Под мышкою крепко зажата мандолина, словно он боялся, что ее отнимут. Куртка расстегнута, галстука нет, рубаха на груди распахнулась, обнажив впалую грудь.

— Извините, синьор,— заговорил он, окинув комнату рассеянным взглядом,— я думал, что вы уже встали.

Я поспешил успокоить юношу, сказав, что собирался вставать. Левон попросил разрешения на полчаса оставаться у меня.

— Сколько и когда угодно,— воскликнул я. Меня огорчил его расстроенный вид.

— Что случилось? — спросил я и подумал: «Не скрывается ли он от кого-нибудь?»

С минуту Левон молчал. Не повторяя вопроса, я начал одеваться. Он подошел к двери, выглянул, вернулся и стал посреди комнаты, еще крепче прижимая к груди мандолину.

— Знаете, синьор, сюда может явиться моя мать.

— Ну, так что ж, пускай приходит.

— Я убежал от нее, она хотела разбить мою мандолину и сжечь.

— Почему?

— Потому что я играл всю ночь и не давал ей спать.

Потом он рассказал мне о бенефисе оперного оркестра. После спектакля все музыканты отправились в гостиницу ужинать. Директор пригласил и Левона. Между прочим за ужином кто-то сыграл на виолончели испанскую песенку «Мадридский бродяга».

— Этот мотив никак не выходил у меня из головы, я хотел непременно в эту же ночь разучить его.

— И что же, разучил?

— Да.

— Сыграешь мне?

Левон был парень покладистый. Я не раз слушал его игру. Хорошо ли он играл или дурно — судить не берусь, но играл он, несомненно, с чувством.

Левон присел на стул и тронул струны. Желтые лучи утреннего солнца скользнули в окно. Взгляд Левона бессознательно устремился к ним. Ах, эти мечтательные глаза, это кроткое лицо! Прошло всего три года, и, может быть, пройдет еще много лет, но я никогда не забуду этого дня!..

Не берусь сказать, что именно играл Левон. Помню только впечатление от этой игры. Полуодетый, застыл я посреди комнаты, внимая потоку бурных чувств. В «Мадридском бродяге» слышались скорбь и радость, буря и

тихая грусть — по крайней мере так мне казалось. Ты был огнедышащий вулкан, вырывавшийся из сердца народа и укроенный творческим порывом неведомого гения. Но всего интересней был сам исполнитель: Левон не замечал моего присутствия; охваченный потоком сладостных звуков, он точно растворился в них. Казалось, душа его слилась с песней и умчалась в далекий, неведомый, волшебный мир, доступный лишь немногим.

Кончив игру, юноша остался неподвижно сидеть.

Я не удержался.

— Браво, Левон, браво!

Он не слышал меня и не двигался; его тонкие губы заметно дрожали. Внезапно руки его ослабели, голова слегка склонилась к плечу, мандолина соскользнула на колено; в глазах его, все еще устремленных на отблески лучей, я заметил слезы.

— О чём ты плачешь, мальчик? — спросил я сочувственно.

Он приподнялся и, откинув густые волосы с высокого лба, произнес странным голосом:

— Виолончелист мне сказал, что «Мадридский бродяга» был несчастен. В морозные ночи он играл под окном дочери знатного гранда и плакал. Отец его повесился из-за нищеты.

Тогда я не понял всей скорби, скрытой в его словах.

— Ах, простите меня! — воскликнул он внезапно, приходя в себя. — Это... я — от бессонницы...

— Да, Левон, тебе надо выпастись. Если хочешь, отдохни у меня.

— Спасибо, синьор. Разрешите только оставить здесь мандолину. Мать может бросить ее в печь. Вчера она выбросила в окно мою гитару и несколько фотографий.

— Злая же у тебя мать, Левон! — не сдержался я, глубоко возмущенный ее диким поступком.

Левон не на шутку огорчился и начал заступаться за мать. Нет, нет, его мать не злая, напротив — она очень добрая. Она любит Левона. Иногда он чувствует, как мать потихоньку целует его, спящего. Она любит, только не хочет показать своей любви: боится, как бы сын не испортился совсем.

— Да разве ты испорчен? — почти крикнул я.

— Как знать, синьор? Мать говорит: плох тот сын, который не считается с родителями.

— Так почему же ты не слушаешься матери? — спросил я нарочно, желая его испытать.

Он поднял на меня печальные глаза и ничего не ответил. Во взгляде Левона я прочел твердую решимость не покоряться. Было бесспорно: он скорее отказался бы от всего на свете, но только не от театра...

За обедом я рассказал о странном состоянии Левона. Луиза слушала меня с напряженным вниманием. Ее смущали слова Левона о «Мадридском бродягсе». Кавалларо таинственно улыбнулся, укоризненно качая головой и глядя в глаза Луизе. Студент сказал, что Левон вообще ненормален — так сказать, душевно болен; у него-де несоответствие между возрастом и чувствами. Это замечание возмутило Кавалларо. Не щадя русской грамматики, он принял с жаром возражать:

— Душевно болен? За последнее время словно затем и обучаются наукам, чтобы всех талантливых людей объявить сумасшедшими. Нет, господа, если кто душевно здоров, так только такие юноши, как Левон! Но они несчастны, синьор студент, понимаете, несчастны из-за того, что родились в неблагоприятных условиях. Чем заниматься «научными» объяснениями, вы бы лучше помогли им делом — вот что! Не оставляйте алмаза в уличной грязи!.. Ах, как жалко юношу! Он таает, как воск, — продолжал Кавалларо сочувственно, — он слишком хрупок для такой жизни. Вскакивает с постели чуть свет, бежит без пальто в театр, становится в очередь перед кассой, чтобы заработать несколько копеек. А вдобавок большую часть заработка тратит на театр. Вот завтра бенефис синьоры Барбини. Это его самая любимая певица. Я уверен, что он терзается, не зная, как помочь ее успеху.

На другой день я был в театре. Сидя в ложе знакомой семьи, я смотрел на галерку. В массе голов я различил голову Левона. Опираясь локтями о барьер и склоняя голову руками, он не сводил глаз со сцены. Справа от него сидел поэт Чаушенко, слева — Ицка Маргулис. Когда на сцене появилась певица Барбини, Левон поднял голову и первый зааплодировал. Примеру его последовали Чаушенко и Ицка, а за ними и часть галерки. В ту же минуту десятки рук начали бросать на сцену

цветы и цветные бумажки. Этой забавой увлекся и партнер: минут пять театр гремел и сотрясался от бури рукоплесканий. Подхватив капли цветочного дождя, летевшего на нее отовсюду, певица прижала цветок к сердцу, продолжая кланяться направо и налево; затем, подняв глаза на галерку, она послала воздушный поцелуй своим юным поклонникам. Это еще более подзадорило их, крики и аплодисменты усилились.

Левон перегнулся через барьер. Казалось, он хотел вместе с цветами броситься к ногам певицы бескорыстной жертвой любимому искусству.

Кончился первый акт, второй, третий... Воодушевление Левона росло вместе с успехом певицы. Он то аплодировал, поднимая руки выше головы, то кричал: «Эввива, браво, брависсимо!..»

В середине последнего действия Левон исчез вместе с Чаушенко и Ицкой, и до конца спектакля их не было видно в зале.

Выходя на улицу в густой толпе, я увидел перед театром группу полицейских, образовавших круг, залитый светом электрических фонарей. Те, кто выходил из театра, толпились за кругом. У входа с одной стороны собралось около сотни студентов, а с другой — стояло много юношей и подростков, разделившихся на два ряда. Самым старшим среди них был Чаушенко. В руках он держал лист бумаги.

У некоторых студентов были в руках букеты, а у юношей — зажженные свечи.

Какое любопытное зрелище! Догадываясь, что Левон играет здесь не последнюю роль, я принялся искать его глазами и сразу увидел. Он возглавлял один из отрядов, держа длинный шест с зажженной свечой на конце. Неужели он не чувствовал холода — без пальто, без калош, в тоненькой куртке? Должно быть, нет, а ведь погода была осенняя. Он весь ушел в свою роль и всеми силами старался поддерживать порядок. Огненные язычки свечей при свете ярких электрических ламп казались тусклыми, желтоватыми точками, как звезды в лунную ночь.

Худощавое лицо Левона казалось светло-фиолетовым. Оно напоминало портрет капризной кисти художника-декадента. На этом болезненном лице глаза отсве-

чивали стальным блеском. Освещенная со всех сторон фигура его не отбрасывала тени, он сам казался почти тенью. Движения его были порывисты. Когда он начинал говорить, мне казалось издали, что каждый нерв в нем напряжен. Шум огромной толпы заглушал голос Левона, но я мог побиться об заклад, что в нем звучал восторг. Левон был счастлив...

Когда певица вышла из театра, окруженная толпой поклонников, первым крикнул «ура» Ицка Маргулис. Чаушенко, отстранив приятеля своей дубинкой, подошел к певице и поднес ей бумагу, которую держал в руке. Несомненно, это было его стихотворение, написанное в честь бенефициантки.

Левон сорвал шляпу и подбросил вверх. Его густые волосы тяжелыми прядями упали на нежный лоб. Все юноши последовали его примеру. Я разглядел узкую, продолговатую голову Чаушенко с жидким пробором. Еще не успевшие окрепнуть полудетские голоса плохо одетых юнцов, восторженно кричавших «браво!», «брависсимо!», сливались в общий хор и, казалось, застывали в морозном воздухе. В душе я готов был проклясть счастливую певицу, которая, хотя и невольно, сводила с ума столько юных существ, подвергая опасности их жизнь. Неужели искусство так беспощадно, что заставляет склоняться перед собой даже невинность?

Когда певица подошла к великолепному экипажу, поджидавшему ее у театра, несколько рук принялись выпрягать лошадей. Мне пришло в голову, что это, вероятно, затея Левона, и я мысленно его крепко выругал. Однако я еще плохо знал его. Левона не было ни среди распрыгающих, ни среди впряженных. У оглобель теснились одни студенты, легкомыслие которых не знало предела.

Весь отряд с зажженными свечами сопровождал экипаж. Певица время от времени принимала от студентов букеты, развязывала их и бросала юношам цветы, а студентов награждала воздушными поцелуями.

Протиснувшись сквозь толпу, я подошел к Левону.

— А, вы тоже тут! — воскликнул он, тяжело дыша. — Слышали, как она пела? Ах, как она пела!..

— Да, Левон, пела она превосходно. Но эти студенты... Что они делают?.. Неужели ты одобряешь подобные безумства?

— Боже упаси!

— Мы не животные,— заметил Ицка Маргулис.

Чаушенко возмущенно крикнул:

— Эй, господа студенты, не позорьтесь! Стыдно, господа!..

— Поглядите-ка,— воскликнул Левон,— ей и самой это не нравится, она хочет сойти... Но нет, не сходит... А-а... Витя, Петро, Мергель, Хайс, погасите свечи!.. Нет, нет, нет, погодите!.. Она сходит с экипажа... Сошла, сошла!.. Запрягают лошадей... Каириссима, браво, Барбани! Эввива, браво, брависсимо! Вперед, вперед!..

И, крича, с поднятой свечой, он исчез со своими товарищами в толпе... За ними последовал Чаушенко; широкие полы его накидки развеялись, как рваные паруса...

Я вернулся домой в подавленном состоянии. Ночью мне снился отец Левона. Несчастный парикмахер, пьяный, в грязной, оборванной одежде, валялся у входа в театр. Прохожие издевались над его безнадежной любовью, которая — как знать! — быть может, возникла из любви к искусству. Так я обычно представлял себе парикмахера, и таким он мне приснился...

Утром мне захотелось повидаться с Левоном. Я поднялся наверх. Мать встретила меня слезами и горькой жалобой: сынок опять вернулся домой в три часа ночи, а утром — тотчас исчез.

— Сударь,— взмолилась вдова,— вы один можете его вразумить! Он вас любит, он послушает вас. Он идет по отцовской дорожке. Все это кончится тем, что мальчик запьет и как собака будет валяться под забором...

— Этого он не сделает, он — умница.

— А вы думаете, отец его был глуп? Нет, покойник был умница. Но его свели с ума. У меня отняли мужа, я не хочу, чтобы отняли и сына... Сударь, помогите мне,— я мать, понимаете — мать...

Да, эта женщина была настоящей матерью, я видел, что она любила сына и терзалась из-за него. Теперь я жалел ее больше, сочувствовал ей; но все же мне не нравились ее бесконечные жалобы и эгоистичная забота о Левоне.

После полудня я вновь поднялся наверх и застал Левона дома: он лежал в постели. На его исхудальных щеках горел необычный румянец. Я пощупал его пульс — он был частый и неровный. Несомненно, юноша простудился накануне, но не хотел сознаться, что болен. Левон был весел и, пользуясь отсутствием матери, объяснил причину своей радости. Достав из-под подушки фотографическую карточку, он показал мне.

— Узнаете?

Это была карточка вчерашней счастливой певицы. «Моему милому артисту», — прочел я на ней.

— Все меня называют артистом, — сказал Левон, — уж и не знаю почему. Сегодня я ходил поздравлять ее со вчерашним успехом. Понес цветы. Она пригласила меня и угостила кофе. Поговорили. Она спрашивала, сколько я зарабатываю. А я соврал: отец, говорю, оставил мне наследство. Боялся, что она мне предложит деньги. Тогда она подарила мне свою карточку, я поцеловал ее руку, она поцеловала меня в лоб. О синьор, у меня немало подобных подарков. Вон, полный альбом.

Так вот какой наградой он был доволен и счастлив!

— Но у меня есть одна карточка, которую я не вставил в альбом. Мать грозит сжечь все, и я боюсь, как бы она и эту не сожгла... Сейчас покажу...

Левон поднялся, достал из кармана пиджака пакет и, открыв его, показал мне заветную карточку. На ней я прочел: «Моему будущему поклоннику. Луиза».

— Это правда, синьор, сущая правда, я непременно буду ее поклонником. У Луизы блестящее будущее, вот увидите, синьор, увидите... Что это со мной? Голова кружится — я прилягу...

Когда вошла мать Левона, я посоветовал ей вызвать врача. Левон поднял голову и сел на кровати: какой там врач, он не болен, не надо врача! Я попял его. Левон боялся, что врач, чего доброго, запретит ему выходить.

Около семи часов вечера я в третий раз поднялся наверх, но Левона уже не было. Мать сказала, что после моего ухода он потихоньку оделся и исчез...

Безумный юноша! Он рисковал жизнью. Я поспешил на улицу, догадываясь, где можно найти Левона. Так и есть: я встретил его у входа в театр.

— Господа, кому угодно программу? — обращался он к прохожим.

Все проходили равнодушно, не глядя на него, иные даже грубо обрывали: «Убирайся к черту». Левону приходилось терпеть эти оскорблении. У меня защемило сердце при виде его посиневшего лица.

— Ступай домой, ступай,— начал я,— ты совсем болен!

— Кто сказал, что я болен? Мать? Ей всегда кажется, что либо я болен, либо она. Нынче вечером идет новая опера,— что ж, по-вашему, мне сидеть дома? Нет, синьор, мой дом здесь!.. Господа, кому программу, новая опера, интересная... Гривенник всего!

На следующее утро я поднялся наверх и снова застал Левона в постели. В нашем доме жил врач, я поспешил позвать его. Осмотрев Левона, доктор прописал какие-то лекарства. С трудом удалось нам продержать больного дома два дня, а на третий, вечером, когда ему запретили идти в театр, он разрыдался. К счастью, в этот день температура упала...

Зимний сезон кончился. Мои соседи, артисты, в первый же день великого поста уехали на родину. Этот день был грустным не только для Левона, но и для меня: я привык к ним.

Мы проводили итальянцев на вокзал. Кавалларо, прощаясь, трижды по-приятельски облобызился с Левоном.

В тот же день Луиза сказала мне, что самое позднее через месяц она собирается в Италию. Вопрос был решен — синьора Стефания давно уже примирилась с мыслью о разлуке с дочерью.

Когда я сказал Левону, что в скором времени нас собирается покинуть и Луиза, мне показалось, что весть эта не произвела на него особенного впечатления. Быть может, потому, что все эти дни он был грустен. Шла первая неделя великого поста, театры были закрыты. Левон ежедневно заходил в скверик городского театра, садился на скамью и подолгу смотрел на огромное здание. Потом, понурив голову, погруженный неведомо в какие мысли, возвращался домой. Он починил гитару, выброшенную матерью за окно, и теперь играл на ней. Время от времени он приходил ко мне и, уступая моим

просьбам, наигрывал на мандолине. Как-то я попросил его сыграть еще раз «Мадридского бродягу», он отказался.

Оперу сменила драма. Спектакли возобновились с первого воскресенья великого поста. Левон опять вошел в свою роль, но уже без прежней горячности. Драма ему нравилась меньше оперы, к тому же среди гастролеров не было настоящих талантов. Но вот юношу вновь охватила тревога. Каждый день он являлся ко мне, усаживался с мандolinой у окна и играл «Мадридского бродягу». Иногда Левон внезапно обрывал игру, клал мандолину на стол и убегал к Луизе, подолгу засиживаясь у нее, расспрашивая о предстоящей поездке. Добродушной Луизе не надоедали его расспросы — ей было приятно говорить с ним о своем будущем.

— Знаете, — обратилась ко мне как-то Раиса, — Левон влюблен в Луизу. Могу поклясться, что влюблен.

— Будьте осторожны, — ответил я, — Левон может услышать, ему будет обидно...

Я вспомнил историю несчастного парикмахера и побоялся, как бы и сына не постигла та же участь. К счастью, люди, окружавшие Луизу, были куда лучше и деликатнее знакомых той певицы, которая увлекла парикмахера. Раиса дала мне слово, что больше не будет говорить о заветных чувствах Левона.

Наконец настал день отъезда Луизы. Уже за неделю до этого Левона нельзя было узнать: он стал веселым и оживленным, будто сам готовился к поездке. Он часто появлялся у нас, острил, балагурил и не знал, что бы еще придумать, чтобы расположить к себе Луизу. Накануне отъезда Луиза показала мне серебряную ручку.

— Посмотрите, какой сумасброд ваш соотечественник. Ведь это же его недельный заработок!

— Он сделал этот подарок, чтобы получать от вас письма.

— Да я все равно буду ему писать. Я хотела было отказаться — он обиделся, чуть не заплакал.

Поезд отходил в десять часов утра. Все мы, жильцы синьоры Стефании, отправились на вокзал провожать Луизу. Я думал, что Левон придет туда раньше всех. Однако его там не оказалось. Это было странно: что

могло помешать ему повидаться с Луизой в последний раз?

Синьора Стефания с восторгом рассказывала, что получила от Кавалларо любезное письмо. Певец с радостью берет на себя заботы о Луизе.

— Человек он очень благородный,— прибавила хозяйка,— он будет заботиться о Луизе, как о родной сестре. Не будь Кавалларо, я бы не отпустила дочь одну...

Никогда я не видел Луизу такой оживленной, как в этот день, хотя по дороге на вокзал она успела раза два всплакнуть, вспомнив о предстоящей разлуке с матерью. Ни на минуту не оставалась она спокойной: прыгала, как семилетнее дитя, смеялась, радовалась, шутила и каждому из нас обещала непременно писать. Она была полна надежд и не скрывала этого. Года через два она вернется, у нее окрепнет голос, и она начнет выступать в опере. Вот увидите, какой ее ждет успех и сколько будет у нее поклонников!

«А он,— невольно промелькнуло у меня в мыслях,— о нем ты не думаешь?»

— Но где же Левон? — спросила вдруг Луиза, как бы угадав мои мысли.— Догадываюсь, почему он запоздал. Проезжая по Ришельевской, я заметила его у цветочного магазина. Душа у этого юноши — широкая... А вот и он! Смотрите, что он несет!.. Ведь я говорила... Неисправимый!..

Пробравшись сквозь вокзальную толпу, Левон предстал перед нами с прекрасным букетом в руках. От быстрой ходьбы он разгорячился и запыхался. Подойдя к Луизе, Левон снял шляпу и с поклоном поднес ей букет.

Зная его достаточно хорошо, я опасался только одного — упреков Луизы. Намекни она, что это подношение ему не по карману, он бы жестоко обиделся. Но девушка оказалась чуткой — она поняла чувство Левона и так деликатно выразила свою признательность, так мило улыбнулась, что щеки юноши залил яркий румянец неподдельной радости.

Но все испортила Раиса.

— Кавалларо будет встречать тебя в Милане? — обратилась она к Луизе.

— Непременно,— ответила за нее синьора Стефания.

— Разве он там? — спросил Левон взволнованно, с дрожью в голосе.

— Он выехал в Милан нарочно, чтобы встретить Луизу, — с особым удовольствием произнесла синьора Стефания.

Спокойствие, которое принесла было юноше улыбка Луизы, мгновению сменилось острой затаенной ревностью. Но Левон умел владеть собой.

— Вот и хорошо,— заметил он,— синьор Кавалларо на первых порах будет помогать синьорине Луизе.

После второго звонка Луиза стала прощаться. Она сделала больше, чем можно было ожидать от такой добродушной девушки, чуждой предрасудкам. Высвободившись из объятий матери, она первому пожала руку Левону и... поцеловала его просто, по-приятельски. Потом, поспешно пожав всем нам руки, она с букетом поднялась по ступенькам вагона.

Я наблюдал за Левоном. Он застыл на месте, ошеломленный прощальным поцелуем Луизы, и не отрывал глаз от окна, в котором должна была показаться девушка. Молча взял я его за руку и отвел подальше от вагона...

Но вот показалось в окне смеющееся лицо Луизы. Она посыпала нам воздушные поцелуи. Еще несколько минут — раздался третий звонок, и поезд тихо тронулся. Тут только Левон очнулся и, подняв шляпу, крикнул по-итальянски:

— Счастливого пути! До свидания! До скорого!..

Домой мы вернулись вместе. Дорогой Левон не проронил ни слова. Молчал и я, не желая прерывать его размышлений. Он страдал — это было ясно — и вместе с тем был счастлив поцелуем Луизы. О чем он думал, я не мог угадать, однако по всему было видно, что его занимали не совсем обычные мысли.

Я пригласил Левона зайти. Он отказался под каким-то предлогом и быстро поднялся к себе.

Всю следующую неделю я не видел Левона; сам он перестал заходить ко мне, я же, поднимаясь к нему, всегда заставал только одну мать.

— Приходит он поздно ночью, когда я уже сплю, а уходит чуть свет, когда я еще сплю. Нечего сказать, хорош сынок! Каждый день оставляет на столе милостыню — полтинник... Будь он проклят!

— Мадам,— крикнул я в сердцах, выйдя наконец из терпения от этих бесконечных проклятий,— ведь дает же он вам деньги на расходы, чего вам еще нужно?

Бедная женщина изумленно взглянула на меня и отступила на шаг. Видимо, я был очень зол, и она никак не ожидала подобной выходки. Я раскаялся: что ни говори, она была несчастна, по крайней мере считала себя такой.

— Вы бы хоть разузнали, куда он ходит каждый день,— продолжал я уже более спокойно.

— Как мне узнать, когда он ничего не говорит? Но я все же узнаю, где он пропадает, и не дам ему погибнуть, как его отцу...

Странное дело, даже у театров я не встречал больше Левона. Я положительно стосковался по нем, тем более, что столовая синьоры Стефании утратила для меня былую привлекательность. Там уже не раздавался больше звонкий голосок и веселый смех Луизы. Синьора Стефания на другой же день после отъезда дочери вернула рояль в музыкальный магазин, откуда его брали напрокат. Уже не было ни пианиста, ни певцов, ни смеха. Раиса свела дружбу со студентом, и они были заняты друг другом: после обеда спешили уединиться.

Я хотел перебраться в другую комнату, но это могло отразиться на бюджете синьоры Стефании. Ей пришлось бы совсем тугу: большая часть комнат пустовала.

Как-то после обеда я пошел на бульвар. Отсюда открывался чудесный вид на море. С высоты двухсот футов виднелись гавань и бухта с множеством судов. Но эта панорама давно уже наскучила мне, и я, усевшись на скамью подальше от толпы, слушал музыку. Невольно припомнилась мандолина Левона, уже одиннадцатый день сиротливо лежавшая на моем столе. «Где-то он теперь?» — спрашивал я себя.

— Бонжур, мсье,— послышался слабый, чахоточный голос.

Я поднял голову и увидел перед собой Чаушенко вместе с Ицкой Маргулисом. Я обрадовался неожиданной встрече, пожал обоим руки и тотчас же начал спрашивать их о Левоне.

Чаушенко выхватил свою толстую дубинку из-под крылатки и, указывая на гавань, театрально произнес:

— Он — там!

— Чаушинко, отчего у тебя сегодня трагические жесты? — спросил Ицка.

— Потому что, милый ты мой, там совершаются трагедия жизни — люди мучаются и мрут во тьме! Пойдем, новеди меня туда, Ицка. Чаушенко не аристократ поэт, который чурается толпы! Если ты не читал книг Максима Горького, так прочтешь Чаушенко. Восемь лет изучал я мир свинцовых мерзостей, а теперь хочу узнать жизнь тружеников моря. Пойдемте и вы, сударь, — обратился он ко мне, — вы тоже писатель, пойдемте, не стесняйтесь.

— Куда угодно, лишь бы найти Левона.

— Ицка проводит нас. Он — порождение тьмы. Отец его в гавани собирает тряпье и лом, сын должен знать все уголки темного царства, как свои пять пальцев.

— А ты должен осветить темное царство вот этим, — ткнул Ицка пальцем в книжку поэта. — Сколько экземпляров прихватил? Десять? Спустим, будь покоен! Ну, чимба-чимба-чилала... Чаушенко, чилала!

Он, подпрыгивая, пустился вперед.

Одесскую гавань соединяет с городом гигантская каменная лестница; над ней посреди бульвара — памятник основателю города Ришелье; у подножия ее — церковка для жителей порта. Спустившись по лестнице, мы очутились на дугообразной широкой улице. Это — последняя приморская улица; далее во всю длину гавани тянется эстакада — железнодорожный мост для товарных поездов. День и ночь по этой гигантской эстакаде пробегают, свистя, паровозы с длинными рядами вагонов, а внизу, под многочисленными сводами, катятся повозки, проходят матросы, рабочие. Это — шумное место, сложный узел, связывающий морскую жизнь города с сухопутной. Густой пароходный дым, грубые окрики матросов, гулкий грохот эстакады под тяжестью товарных поездов, каменноугольная пыль — все это угнетает непривычного человека.

Ицка Маргулис повел нас в глубь улицы, исчезавшей в клубах угольной пыли. Направо, шагах в двухстах от церкви, начиналась улица кабаков, дешевых трактиров и чайных. Она кишила портовым людом. Из

харчевен слышались звуки гармошек и балалаек, вместе с пением, криками, проклятиями и бранью. Те, у кого был досуг и деньги, наедались и напивались в обществе портовых гурий. А те, у кого денег хватало только на выпивку, шли в «монопольки». Здесь отпускали им запечатанную водку, и они, отойдя на несколько шагов, опрокидывали содержимое бутылки в глотку. Запрещалось пить казенную водку у прилавка, а потому пьянство, ютившееся когда-то в стенах кабаков, выплынуло теперь на улицу. Жалкие жертвы его валялись у лавок, на тротуарах, на мостовой, рискуя попасть под колеса возов и экипажей.

Ицка остановился перед большим кабаком; на вывеске было написано: «Царская яхта».

— Левон здесь,— сказал Ицка,— а на прошлой неделе он играл в «Золотом якоре».

— Гм,— обратился ко мне Чаушенко,— колеблешься? Страшно войти? Не бойтесь, никто вас не съест, здесь такие же люди, как и мы...

Он поднял палку и об руку с Ицкой Маргулисом победным маршем вступил в кабак. Я был одет немного лучше их и, чтобы не показаться «барином», поднял воротник и низко надвинул на лоб шляпу, рассчитывая в крайнем случае сойти за каменщика из греков.

Кабак был полон. В первую минуту я ничего не мог различить — до того воздух был пропитан дымом и кухоннымиарами. Трудно было разобраться в этом хаосе. Часть посетителей толпилась перед буфетом. Нас толкали со всех сторон. Тщедушный Чаушенко под могучими толчками матросских локтей прыгал, как щепка на волнах. Иногда он отступал, отталкивая дубинкой наседавших на него пьяниц. Щуплый Ицка Маргулис протискивался сквозь толпу с кошачьей ловкостью, я же с трудом ограждал свое лицо от ударов.

Мы прошли две неуютные и грязные комнаты, сплошь набитые матросами и железнодорожниками. Женщина с распухшим носом и с синяками под глазами, увидев меня, громко крикнула:

— Эй, басурман, давай-ка отколем трепака!

С трудом вырвался я из ее любезных рук, а Чаушенко, покачивая головой, философически произнес:

— Птичка, а где твои перышки?

— Общипала кошку дядюшки Сидора,— усмехнулся Ицка.

Дядя Сидор — хозяин «Царской яхты», кошка — водка.

Наконец нам удалось добраться до более тихого уголка, где бока наши были в сравнительной безопасности. Здесь за длинным столом сидело человек десять моряков. Стол был завален грязной посудой, пустыми пивными и водочными бутылками, усеян корками хлеба, объедками и окурками.

— Вот и ваш артист,— сказал Ицка, указывая на стол, где с краю сидел Левон.

Он играл на гитаре, увеселяя посетителей. До этого дня я никогда не видел Левона таким обтрепанным и грязным. Прежде на нем всегда была свежая рубашка, лицо и руки чисто вымыты.

Мое появление удивило его. Он смущился и густо покраснел, но продолжал играть. Пьяные моряки слушали его внимательно, выражая свой восторг одобрительным гулом. Время от времени то один, то другой поднимался, лез к Левону с поцелуями и объятиями, похлопывал артиста по плечу и приговаривал:

— Ай да Лева, молодчина!..

Чаушенко устроил нас за свободным столиком, объяснив, что опасно мешать Левону,— пьяные могут разозлиться. Спросив бутылку пива, мы уселись. Левон то и дело посматривал на нас и улыбался. За эти десять дней он сильно похудел и опустился. Впервые я заметил у него в углах губ легкие морщинки.

Из-за стола вылез дюжий бородатый матрос и, покачиваясь, подступил к Левону. Опустив руку на его костлявое плечо, матрос крикнул:

— Эй ты, стрекоза, сыграй для меня «Унеси ты мое горе!» Я хочу «Унеси мое горе»...

— Садись на место, Сибирь! — закричали товарищи.— Не мешай Леве!

— Не сяду, пока не услышу «Унеси ты мое горе!» Лева, Лева, «Унеси ты мое горе!»..

— Глупая голова,— заметил кто-то,— ведь Лева играет «Унеси ты мое горе», не слышишь, что ли, сиволапый!..

— Лева, он не врет?

Левон кивком подтвердил, что играет именно эту песню.

— Черт побери,— рявкнул сибиряк.— Ты хорошо играл! А теперь сыграй «Дунайскую красотку». Левушка, Левушка, «Дунайскую красотку»!

— Вот тебе «Дунайская красотка»! — перебил какой-то великан и, ухвативши сибиряка за локти, приподнял и усадил на место.

— Ах ты, Калуга, да как ты смеешь! — заревел сибиряк.— Я тебе рожу расквашу!..

И он так хватил кулаком по столу, что бутылки и стаканы запрыгали.

Поднялся шум. В табачном воздухе замелькали кулаки. Быть может, «Сибирь» и «Калуга» сцепились бы, если бы не седой моряк, которого товарищи называли «Дядюшкой». Он бросился их разнимать. Помог и Левон: отложив гитару, он вскочил со словами:

— Господа, разрешите мне пойти к херсонцам?

Драка мгновенно прекратилась, и все обступили музыканта:

— Лева, голубчик, не надо! Левушка, играй, как это можно! — упрашивали его.

— Играй!.. Как мне играть, господа, если вы и слушать не хотите, а деретесь, точно бояки. Разве это достойно моряков «Русского общества»?

— Недостойно, конечно недостойно! — подхватил «Дядюшка».

— Вы переманили меня от тираспольцев для того, чтобы я на драку вашу любовался? Вы не умеете ценить музыку.

«Херсон», «Тирасполь» — пароходы, по имени которых называли себя матросы.

— Да что ты, Левушка, ведь мы совсем не тово...

— Денег, что ли, хочет эта стрекоза? — зарычал сибиряк и, вытащив из кармана кисет, швырнул его Левону.— На, подавись!..

— Дадим и мы, мы тоже дадим! — закричали все и полезли в карманы.

— Посмотрите, посмотрите, теперь Левон разбогатеет! — крикнул Йцка, радостно потирая руки при виде кисета.

— А вот посмотрим,— произнес Чаушенко.

Облокотившись на стол, он пристально следил за происходящим. Левон спокойно отодвинул кисет и сказал:

— Я не возьму больше, чем полагается. Десять копеек номер — ни больше, ни меньше. Спрячьте деньги и садитесь, я начинаю.

— Браво, Левон, браво! Не осрамил ты нас! — воскликнул Чаушенко с воодушевлением.

Моряки обернулись в его сторону.

— Это что еще за кошка? — воскликнул сибиряк.— А-а, дьячок! Нет, кажись, странник, либо монах... Может, собираешь на святую обитель в Иокогаме? А ну-ка, поди сюда, и мы пожертвуем на спасение души.

Чаушенко собрал со стола свои книжки и торжественно подошел к матросам.

— Господа, я не дьяк и не монах. Я — певец...

— Певец, певец, вот и отлично! — раздались голоса.— Ну так спой, послушаем...

— Спой «Унеси ты мое горе»! — потребовал сибиряк.

— Темнота, вот твое горе! — произнес поэт.— Господа, купите у меня по книжке. Вы, как я вижу, любите музыку, так помните, что поэзия и музыка — родные сестры.

— Сестры? — удивился сибиряк.— А ну-ка, подай мне одну из этих сестричек...

Он выхватил книжку, положил на тарелку, облил водкой и поджег.

— Посмотрим, как запоет твоя сестра.

Водка была недостаточно крепкой, чтобы загореться.

— Дядя Сидор,— заорал сибиряк.— Обрубил ты кошке когти, ха-ха-ха! Давай сюда спирту! Спирту сюда!

— Эй, сибирская образина! — закричал «Дядюшка».— Ты срамишь нас. Книга — вещь святая, грешно ее жечь... Давайте, братцы, купим по одной...

Матросы сразу разобрали все экземпляры «Часов страданий и скорбей», а беспокойный сибиряк подступил к автору с большим стаканом водки:

— Опрокинь,— видать по морде, что ты пить горазд!..

Чаушенко не пил. Отведя обеими руками стакан, он патетически воскликнул:

— Чур от меня, всероссийский яд!

Тогда сибиряк стал приставать к Левону.

— Выпей, ты до сих пор не причащался... Ежели ты христианин, ты должен...

— Лева, Левушка, глоточек ради нас! — просили остальные.

Но Левон отказался, уверяя, что после выпивки он играть не в силах. «Дядюшка» поддержал его.

Уже стемнело. «Дядюшка» напомнил, что пора на пароход. Компания, расплатившись с дядей Сидором и рассчитавшись с Левоном, шумя и толкаясь, высыпала на улицу.

На воздухе у Чаушенко так закружилась голова, что он, наверное, упал бы, если бы не прислонился к стене. От винных испарений и табачного дыма он хоть и ошелел, но продолжал твердить:

— Я рад, что побывал тут, очень рад. Буду приходить сюда. Сколько тут материала для писателя!..

Ицка юлил перед Левоном. Наконец, подхватив его под руку, он спросил:

— А чего ты мне сегодня купишь — шоколаду или табаку?

— И того и другого.

— Фиам, фиам! Стало быть, ты сегодня большие двух рублей набрал... браво! А я — ни гроша. Поэт, ты должен мне купить свирель, хочу учиться играть на свирели.

— Почему бы и не купить,— благодушно ответил Чаушенко.

— Чимба-чимба-чилала, Чаушенко, чилала!..

Когда товарищи расстались, я начал расспрашивать Левона, отчего он переменил образ жизни. Не верилось, чтобы он без причины бросил театр.

— Нужда заставляет, синьор,— ответил Левон спокойно.

— Да ведь ты и раньше нуждался.

— Я исполняю волю матери.

— То есть?

— Хочу ее обеспечить.

Я посмотрел ему в глаза и понял, что он говорит неправду: свет уличного фонаря выдал его замешательство.

— Ну что ж, это очень похвально. Но, прости, Левон, на этот раз я не очень-то тебе верю. Думается, цель у тебя другая...

Он ничего не ответил и только ускорил шаг.

— Куда ты спешишь?

— В театр.

— Опять?

— Да, синьор... Сегодня идет хорошая пьеса.

И, вероятно, чтобы избавиться от лишних расспросов, он побежал вперед. Я уже разгадал его тайну...

Несколько раз я побывал в «Царской яхте». Левона там любили. Матросы отбивали его друг у друга. Особенно удавались ему украинские мотивы. Переходя от стола к столу, он увеселял гостей и собирая свои гриневники. В разгар веселья ему предлагали водки или пива. Он не хотел, да и не мог пить.

Однажды в моем присутствии, когда Левон с отвращением отодвинул стопку водки, для него заказали какой-то сладкий напиток. Он осушил стакан, за ним другой и тотчас повеселел.

Было больно видеть его в таком кабаке. Но я не считал себя вправе увести его. Да и какие могли быть у него доходы, помимо прежнего жалкого заработка?

Как-то он сказал мне:

— Синьор, не прошло еще и двух месяцев, а я уже успел накопить тридцать рублей. Только не говорите матери.

— Почему?

— Эти деньги мне нужны.

— На поездку в Италию,— добавил я.— Не удивляйся, Левон, я давно знаю об этом.

— О синьор, вы правы. Я хочу видеть Италию...

— И Луизу...

Он смущенно отвернулся. Я рассказал ему, что синьора Стефания недавно получила от Кавалларо письмо. Баритон пишет, что преподаватели пения в восхищении от голоса Луизы, его чудесного тембра. Один известный профессор обещал за три года так подготовить Луизу, чтобы она смогла исполнять в опере главные партии драматического сопрано.

Все это не было новостью для Левона. Он, оказы-

вается, в тот же день получил письмо от Луизы. Однако это было ее первое и последнее письмо к Левону...

Всю зиму и лето юноша играл в портовых кабаках. Время от времени он заходил ко мне и рассказывал новости: матросы его все еще любят, охотно слушают. В общем, он ежемесячно откладывает больше двадцати рублей. Скоро, очень скоро его желание исполнится — он поедет в Италию...

Между тем, трактирная атмосфера постепенно накладывала на него отпечаток. Иногда вырывались пошлые словечки, которых прежде не было в его лексиконе. Произнося их, он, однако, тотчас извинялся и краснел. Не раз мне приходилось замечать, что от него попахивает вином. А однажды у наших ворот я встретил его совершенно пьяным: с гитарой под мышкой, покачиваясь, брел он домой, делая шаг вперед, а другой — в сторону. Я помог ему подняться по лестнице.

Завидя его, мать шлепнула себя ладонями по щекам и закричала:

— Убил, зарезал!..

Но было не до упреков. Я попросил огорченную мать не давать воли своему раздражению.

Левон свалился ничком на постель, так что одна нога оставалась на полу. Зрелище было отталкивающее,— Левон, юноша, которого я привык представлять себе каким-то чистым существом, на моих глазах опускался все ниже и ниже. Мне было горько видеть, как он валяется бесчувственный и грязный. По временам он вытаскивал из-под подушки руку и щупал левый сапог.

Я не выдержал этого печального зрелища и вышел. Неужели мой друг кончит так грустно? Неужели пророчество матери сбудется?

Когда на другое утро я поднялся наверх, мать уже успела облегчить свое сердце, и, насупясь, сидела в углу. Левон разыскивал гитару, чтобы пойти на работу, и не мог найти ее. Мать спрятала ее и не хотела отдавать. Увидя меня, несчастная женщина расплакалась. На этот раз у меня не нашлось слов, чтобы заступиться за Левона.

— Ведь говорила же я, что он кончит, как и его проклятый отец! Четвертый раз уже возвращается, непутевой, в стельку пьяным!..

Я предпочел переговорить с Левоном с глазу на глаз и пригласил его к себе. Он стыдился своего вчерашнего поведения и молча ждал, чтобы я заговорил. Что мне было сказать? Упреки были излишни. Левон не глуп и не ребенок — скоро ему девятнадцать. Я попытался дружески объяснить, к каким ужасным последствиям приводит пьянство. Все это он терпеливо выслушал и сказал:

- Знаю, отец мой умер от этого.
- Знаешь, и все же пьешь?
- Меня заставляют.
- Кто?
- Матросы.
- Тогда перейди в другой трактир.
- Меня и там заставят.
- Неужели так трудно отказаться?
- Раньше отказывался, а теперь не могу, заставляют.
- Что значит заставляют? Ты сам себе господин.
- Ну нет, синьор, когда полупудовый кулак лезет тебе в нос, забудешь поневоле, что ты сам себе господин.
- Так неужели они тебя бьют?
- Побьют, если буду артачиться.
- Но какая им выгода спаивать тебя?
- Пьяные не любят трезвых. Когда не пьешь, они говорят: ты, небось, смеешься над нами, пей и ты, будем наравне.
- Ты бы поменьше пил.
- Пью немного, но и этого достаточно, чтобы я опьянел.
- А что же они дают тебе пить?
- Раньше поили сладким вином, а теперь считают, что это накладно, и суют мне пиво или водку...
- Я замолчал, но надо было как-нибудь кончить этот неприятный разговор.
- Левон, перестань ходить по кабакам и вернись опять в театр.
- Разумеется, синьор, скоро я уеду в Италию... Я накопил уже полтораста рублей.
- А мать?
- Я ее тоже возьму с собой.

— На полтораста рублей?

— Разве этого мало? Я многих спрашивал,— говорят, что на тридцать рублей в месяц там можно прожить не хуже, чем здесь.

— Левон, скажи правду, что тебя заставляет ехать в Италию? — спросил я, глядя ему в глаза.

— Хочу научиться играть на виолончели, потом вернуться и поступить в здешний оркестр.

«Кривишь душой, дружок,— подумал я,— не это главная причина...»

Я пристально смотрел на Левона, и у меня щемило сердце. Он чахнул, как сорванный цветок.

Левон просил меня уговорить мать вернуть ему гитару. Все равно, если не вернет — придется купить новую. Опять лишние расходы.

Не прошло и недели, как однажды вечером ко мне вошла расстроенная мать Левона.

— Бога ради, сударь, потрудитесь подняться к нам наверх.

Я застал Левона в невероятном состоянии. Кроткий юноша был вне себя от ярости. Полураздетый и босой, он валялся на полу у дверей и, кусая руки, выл, как раненый зверь. Жилы на его тонкой шее вздулись, и казалось, вот-вот лопнут, как туго натянутые струны. В исступлении он метался на полу.

Левон оказался жертвой весьма заурядного происшествия, какие случались почги ежедневно в глухих углах Одессы. Когда он возвращался с гавани, на него напали какие-то голодные проходимцы, отняли у него гитару и стащили пиджак и сапоги.

— И ты из-за этого убиваешься? — обратился я к нему, взяв его за руку.— Стыдись!

— Я тоже ему говорю,— вмешалась мать.— Сынок, я не упрекаю тебя. У тебя есть еще пиджак и сапоги. Господи боже, что за наказание!

Не верилось мне, чтобы Левон из-за гитары и в особенности из-за жалких сапог и пиджака был способен разыграть такую сцену. Несомненно, потеря была крупнее. Я попросил Алмаст оставить нас на несколько минут. Старуха вышла. Зная Левона, я понимал, что в таких случаях надо прежде всего затронуть его чувствитель-

ную струну: всего приятнее было Левону, когда его принимали за взрослого.

— Стыдно, Левон, ты, слава богу, не мальчик, приди в себя... Можно ли так убиваться?

— Не стоит, да? Синьор, вам тоже так кажется? Но ведь вы не знаете, что я потерял. Левый сапог... Да... левый... знаете?.. Италия, виолончель, песня, музыка — все погибло!.. У большой лестницы это случилось. Их было двое: один — высокий, другой — коренастый. Высокий схватил меня сзади за руки, другой обшарил. Больше рубля не нашли, рассердились. Я думал: отнимут гитару, уйдут. Но не тут-то было. Сняли пиджак... Бог с ними, пусть бы и рубашку сняли, я бы не пикнул... Но стащили левый сапог!.. «Снимай,— сказал жулик,— чарочки две водки дадут». Когда коренастый стал снимать сапоги, я взбесился и вцепился ему в затылок... Тогда он закатил мне по уху. В глазах потемнело... Стал я просить, молить... Не послушались, безбожники... Унесли все, унесли!..

— Значит, ты плачешь из-за сапог? — спросил я, начиная смутно понимать, в чем дело.

— Полтораста рублей, синьор, полтораста рублей в левом сапоге... Там я хранил свои сбережения.

И Левон снова горько заплакал.

Так, значит, была похищена плата шести-семимесячного труда юноши, его единственная надежда на поездку в Италию, на свидание с Луизой... Более надежного места для своих сбережений он не нашел, а держать дома опасался: мать нашла бы и не отдала. Эта женщина каждое утро обшаривала его карманы и отбирала все деньги.

— Завернул я их в бумажку, запрятал под стельку, заложил кожей да еще гвоздиками забил... Сколько я почем проспал не разуваясь. Унесли ногодяи!.. Теперь они сплавят их за стопку водки или за фунт хлеба... Боже мой, боже мой, что я буду делать?..

Не было слов, чтобы утешить беднягу. Бестактно было укорять его за непредусмотрительность. Необходимо было внушить Левону хоть тень надежды, что деньги отыщутся. Слишком велико было его горе.

— А! — воскликнул он вдруг, хлопнув себя по лбу.— Есть надежда, есть!

— Да? — обрадовался я, как ребенок.

— Да, синьор. Вы знаете отца Ицки Маргулиса? Его зовут «Селедкой». Он ловкий человек, старьевщик, знает всех уличных бродяг. Сейчас же побегу к нему. Мама, мама, давай сюда другие сапоги и пиджак, пойду искать свою гитару...

Левон быстро оделся и убежал.

Разумеется, я не говорил Алмаст, что именно потерял Левон. Воображаю, какой вой она бы подняла и как начала бы проклинать сына!

Вернулся я к себе, завидуя в душе богачам,— если бы я был богат!..

Чуть свет зашел я к Левону. Его не оказалось дома. По словам Алмаст, он всю ночь не сомкнул глаз и ходил из угла в угол. Поздно вечером он зашел ко мне усталый, весь в поту. Он не в силах был даже говорить. До полудня скитался он с отцом Ицки, а потом к ним примкнул и Чаушенко. Побывали они на всех рынках, где торговали старыми, подержанными вещами. Искали сапоги, но тщетно... Отец Ицки посоветовал Левону забыть, что у него были деньги. Чаушенко заявил в полицию. Пристав высмеял его: «Какой же дурак станет прятать деньги в сапог?»

Весь день Левон ничего не ел. Я предложил ему пожинать вместе, он отказался. Он вышел, обессиленный, отчаявшийся, качаясь, как пьяный.

На другой день я встретил его на улице с худощавым и бедно одетым евреем. Это был Мойша, отец Ицки.

— Мосье,— обратился он ко мне, узнав, что я друг Левона,— клянусь, у бедняка не должно быть денег. Деньги самолюбивы и водятся только у богачей, а глупый бедняк воображает, что их можно хранить под сапожной стелькой... Младенец,— повернулся он к Левону,— тебе надо было рассечь сердце и сказать этой сотняге: «Почтенная, милая, пожалуйста, вот твоя обитель!..»

Целую неделю Левон с раннего утра до позднего вечера разыскивал свой заветный сапог. Чаушенко и Ицка уже отчаялись и отказались помогать Левону, но он продолжал поиски, не зная сна и покоя.. Возвращался домой по вечерам, ложился, не раздеваясь, и плакал без конца. Старуха мать совсем потеряла голову, не знала, чем помочь сыну, и страдала вместе с ним. Она твердила,

что Левон сойдет с ума, если так будет продолжаться. Он забыл обо всем на свете, ничего ему не мило, даже театр...

Признаюсь, у меня не хватало мужества видеть Левона в таком горе. Его тяжелые вздохи, вопли, стоны терзали мое сердце. Между тем Левон бывал у меня чаще прежнего. Придя ко мне, он садился у стола и начинал без конца говорить о своем несчастье. В душе его еще теплилась слабая надежда отыскать деньги. Как знать, невозможного на свете не бывает: сапоги могут обойти весь город и снова вернуться к своему владельцу... Но скоро и эта слабая надежда погасла, и мысли Левона постепенно стали проясняться. Знакомые матросы по-прежнему зазывали его в трактир, обещая купить новую гитару. Я посоветовал Левону принять это предложение и начать съезжавшегося копить деньги. И вот, наконец, он отправился в «Царскую яхту» с новой гитарой. Вечером юноша рассказал мне, как радостно встретили его матросы, как они его обнимали и целовали. Опять от него попахивало водкой — вероятно, на этот раз Левон решил «заливать горе».

Незначительная сумма, которую ему удалось скопить за первый месяц, снова воскресила в нем радужные надежды. На этот раз он искренне признался мне, что главная цель его поездки в Италию — увидеть Луизу. Не проходило дня, чтобы Левон не спрашивал меня:

— Какие вести, синьор, от Луизы?

Он стеснялся обращаться прямо к синьоре Стефании. Я рассказывал ему все, что узнавал от хозяйки. Луиза неизменно посыпала приветы Левону. Не знаю, мог ли кто-нибудь другой так радоваться каждому успеху начинающей певицы. Левон говорил, что больше всего на свете он любит Луизу и хотел бы первым приветствовать ее успех — и не в Одессе, а там, в Италии.

Однажды он сказал мне:

— Если до весны не сумею уехать, с ума сойду!

В другой раз он спросил меня:

— Как вы думаете, синьор, не загордится ли Луиза, когда станет знаменитой певицей?

Я понял, что его волновало. В глубине души Левон считал себя недостойным любви Луизы, но самолюбие мешало ему открыто признаться в этом.

Чтобы хоть немного охладить его нарастающий изодня в день пыл, я ответил:

— Конечно, загордится! Она и теперь, хотя ей далеко еще до того, чтобы стать знаменитостью, задирает нос.

— Кто вам сказал? — воскликнул Левон, глубоко огорченный.

— Видно по ее поведению. Она забыла тебя.

— Как? Почему? Она мне постоянно шлет приветы, вы же сами их передаете.

— Шлет-то она шлет, только прости, дружок, это просто актерская хитрость. Видел я талантливых певиц и актрис, которые заигрывают в университетских городах со студентами, в провинции — с гимназистами только ради оваций. Луиза поддерживает издали дружбу с тобой ради будущей славы, хотя в то же время она отлично понимает, что тебя нельзя подкупить. Ах, друг мой, не увлекайся, как тот студент, который, помнишь, покончил с собой в прошлом году из-за какой-то певицы! Луиза тебя не любит; если бы любила, писала бы. Почему после первого письма она замолчала?

Возможно, я клеветал на Луизу, но в моих словах была доля правды. Чтобы спасти Левона, я готов был изобразить Луизу в мало привлекательном свете.

— У нее нет времени писать, она слишком занята,— ответил Левон не столько, чтоб оправдать Луизу, сколько из самолюбия.

— Возможно, и это... — заметил я, чтобы вконец не огорчить Левона.

Помнится, в этот день синьора Стефания была в необычайно радостном настроении.

— Синьор, — воскликнула она, — теперь меня можно поздравить.

— Что случилось?

— Случилось то, чего я давно ждала с нетерпением. Луиза вчера обвенчалась с Кавалларо... Я только что получила телеграмму. Рот!

— Так неожиданно? — изумился я, хотя чутье давно уже мне подсказывало, что между Луизой и Кавалларо есть какая-то близость.

— Нет, синьор, нет, вы не знали этого, а мне было давно известно, что они обручены. Но не это важно, синьор, а то, что они обвенчались. Я молчала, боялась,

и вдруг свадьба случайно расстроится. Ах, наконец-то! Как я рада, как я рада! Кавалларо — жених вполне по мосму вкусу, добрый, любезный, хороший певец и большие деньги получает. Да, Луиза лучшего выбора сделать не могла. Вчера они повенчались, а сегодня выезжают в Париж. Кавалларо пробудет там год. И Луиза, разумеется, останется с ним.

Я поздравил счастливую мать, хотя понимал, что становлюсь неискренним. Как-то отнесется к этому известию Левон, который мне дороже Кавалларо и Луизы?

Я вернулся поздно ночью, чтобы не встретиться с Левоном. Однако на другой день к вечеру он пришел ко мне раньше обычного. Синьора Стефания за обедом показала мне вторую телеграмму об отъезде новобрачных в Париж.

Грустный и незабываемый вечер! В первый раз после пропажи заветных денег я заметил, что Левон весело улыбается. Он поспешил рассказать о своей радости. Два дня подряд его приглашали на пароход «Херсон». Там он играл для капитана и его помощников. Сегодня младший помощник, передав ему мандолину, попросил что-нибудь сыграть. Левон исполнил его просьбу. Капитану особенно понравился «Мадридский бродяга». Человек он очень добрый: узнав, что Левон мечтает поехать в Италию, он обещал помочь ему. Скоро «Херсон» отывает в Кронштадт, оттуда через Средиземное море — на Дальний Восток. Он и доставит Левона с матерью прямо в Италию.

— О синьор, синьор, я готов прыгать от радости! Я не останусь в долгу перед капитаном — всю дорогу буду ему играть. Италия, Италия, я непременно должен увидеть Италию! Как удивится Луиза и как обрадуется!..

Тяжело было после так искренне сказанных слов скрывать правду от него.

— Левон,— спросил я,— тебе очень хочется увидеть Луизу?

— Конечно!

— Тебе будет очень грустно, если ты ее не увишишь?

— Но я увижу ее, синьор, увижу в Милане! — воскликнул Левон, и во взгляде его, полном пламенной веры, проскользнула тревога.

— Луиза теперь не в Милане.

— Кто это вам сказал?
— Синьора Стефания получила телеграмму.
— Где же теперь Луиза?
— В Париже.
— С кем?
— С Кавалларо...
— С Кавалларо? — будто не веря услышанному, переспросил юноша задыхаясь.

— Он женился на Луизе, и вчера они выехали в Париж, — быстро выговорил я, чтобы разом освободиться от гнетущей тяжести.

Левон был потрясен, мускулы на его лице задрожали. В одно мгновенье он покраснел, потом побелел как полотно.

— Ну, вот видишь, Луиза тебя не любит, а ты виташь в облаках...

Левон с трудом сдерживал волнение. Этот восемнадцатилетний юноша, чувства которого так рано созрели, обладал незаурядной силой воли. Но удар был слишком тяжел. Бедняжка в изнеможении опустился на стул, повторяя:

— Вот так новость.. Вот так новость... Надо их поздравить!..

— Да, надо поздравить, — подхватил я, делая вид, что не замечаю его волнения.

— Кавалларо — человек хороший, благородный, — продолжал Левон дрожащим голосом, кусая губы.

— Луиза даже недостойна его.

— Синьор...

— Недостойна, недостойна! — твердил я, возмущенный поведением итальянки.

— Луиза — выше, Луиза — ангел...

Он больше не мог владеть собой, уронил голову на стол и разрыдался так, точно тело его рвали на части.

Я почувствовал неудержимую ненависть к Луизе, словно она нанесла мне тяжелую душевную рану, и стал несправедливо поносить существо, достойное любви и уважения. Я перечислил ее незначительные недостатки, раздувая их, выдумывая то, чего не было. Всякий легко мог подумать, что нет и не бывало на свете девушки более чванной, легкомысленной и даже некрасивой. И все это только для того, чтобы охладить Левона. Чтоб заглушить

в сердце юноши глубокую любовь, я низвергал его кумир, хотя отлично знал, что Луиза нисколько не виловата перед своим фанатичным поклонником. Быть может, сна и не подозревала, что ее товарищеское отношение могло породить в груди юноши такое зрелое, глубокое и горячее чувство.

Однако Левон оказался более великодушным и благородным, чем можно было предположить.

Из его истерзанной груди вместе с рыданиями вырывались слова:

— У Луизы нет недостатков! Луиза — ангел!..

Левон вытер слезы, поднялся и схватился за шляпу.

— Надо поздравить синьюру Стефанию, но сейчас поздно... завтра... Извините, синьор, я не из-за Луизы плакал... Устал... Знаете... Луиза напрасно едет в Париж с мужем. Кавалларо собирается совершенствовать голос... Луиза должна будет пожертвовать своей будущностью... Впрочем, мне-то что... мне-то что!..

На минуту в нем заговорило уязвленное самолюбие. Левон стыдился, что проявил малодушие, стыдился своих слез до того, что не мог смотреть мне в лицо. Несколько раз он брался за мандолину и опять откладывал ее, искал шляпу, держа ее в руках, невпопад улыбался. Наконец, вцепившись в свои густые кудри, он остановился перед столом и уставился покрасневшими глазами на яркий огонек лампы. Не знаю почему,— глаза его постоянно тянулись к свету. Любил он смотреть на солнечные лучи, на свет лампы, на огоньки в камине. Особенно часто случалось это с ним в минуты смущения и душевного расстройства.

Меня терзало бессилие: как утешить его?

Молчание длилось долго. Я ходил по комнате. Левон продолжал стоять. Вдруг, закусив губы и хлопнув шляпой о ладонь, он повернулся и, не простившись, быстро вышел...

Мандолина осталась на столе и словно была огорчена тем, что ее опять забыли... А ведь Левон пришел именно за ней. Завтра он собирался на пароход.

Мною овладело глубокое раскаяние: зачем я сразу, без подготовки сообщил ему роковую новость? Кто знает, куда он теперь помчался и что может натворить? Дважды поднимался я наверх, но, заслышав за дверьми его го-

лос, успокоенный, возвращался. Меня утешала мысль, что я исполнил долг искренней дружбы, открыв ему глаза. Думалось мне: «Ну, что там, ведь ему всего восемнадцать, и вряд ли он будет долго горевать,— повздыхает, поплачет и успокоится...» Так я думал, но в то же время уверенности не чувствовал.

Утром я проснулся с необычайной тяжестью на сердце. Наскоро выпив стакан чаю, я пошел к Левону. Его не оказалось дома. Мать рассказала, что в эту ночь он дал ей пятьдесят рублей, поцеловал ее, долго сидел за столом, что-то писал, вычеркивал и рвал. Утром еще раз поцеловал ее и вышел, оставив гитару, которую каждый день брал с собой.

— Грустен он был? — спросил я.

— Не грустен и не весел,— как всегда.

Гитара дома, мандолина — у меня, ясно, что Левон не в трактире и не на пароходе. Где же он может быть? Встревоженный, я хотел разыскать его тотчас же. Безуспешно обойдя все театры, я дважды прошелся по Дерабасовской улице, где Левон иногда гулял. Там его не было. «Сегодня воскресенье, не пошел ли он к обедне?» — подумал я. Но его не было и в армянской церкви.

Побродив часа два, я вернулся в раздумье. Мне казалось, что я потерял что-то очень ценное...

У ворот я встретил Чаушенко. Он возвращался из квартиры Левона, которого искал по какому-то «важному» делу. Поэт заглядывал в трактиры, был на пароходе «Херсон», расспрашивал, не видали ли матросы Левона.

Я рассказал про вчерашнее.

— О суeta сует! — воскликнул Чаушенко со свойственным ему пафосом.— Я всегда твердил, что любовь к женщине — болезнь душевная! Левон давно мне признался, что влюблен в эту девушки. Сколько он о ней рассказывал мне... Надо его разыскать, разыскать сию же минуту. Он парень горячий...

Я попросил Чаушенко обождать меня на улице, а сам поднялся к синьоре Стефании. Несомненно, Левон сегодня заходил к ней, ведь он же хотел ее поздравить.

Стефанию я застал в радостном настроении. Она сказала, что пригласила кое-кого из друзей и знакомых, чтобы отпраздновать радостное событие.

— Ах, синьор, я так довольна, что мне хочется обнять весь мир!

«И меня?» — невольно подумал я, не без испуга глядя на ее толстые, как тумбы, руки.

Ах, Левон?.. он был утром, поздравил и поцеловал ей руку.

— Парень он деликатный, одно слово — артист. Можно подумать, что отец его был не парикмахером, а знатным господином. Смешно сказать: ему все не верилось, что Луиза вышла замуж. Показала я телеграмму — прочитал, поздравил еще раз, но так странно посмотрел мне в глаза, так удивленно, точно в первый раз видел меня. А потом вдруг сказал: «Синьора Стефания, не оставляйте мою мать, она несчастная женщина...» Вообще Левон вел себя очень странно.

Ее слова пробудили во мне недобroе предчувствие. На улице я высказал Чаушенко свои опасения. Поэт предложил пойти к театру. «Ицка там, он поможет разыскать Левона».

Мы застали Ицку в разгаре оживленной перебранки с ровесником-греком. Чаушенко, пригрозив греку дубинкой, заставил его замолчать. Тут же выяснилось, что юноши сцепились из-за Левона: грек был соперником Левона на галерке и освистывал певиц, которым тот аплодировал. В присутствии Ицки грек поносил Левона. Ицка заступился за отсутствовавшего товарища, и у них разгорелся спор.

Когда Чаушенко передал Ицке все, что узнал от меня, тот вздрогнул:

— Ой, ой, бедный Левон!..

Он тоже знал, что Левон мечтает о Луизе, и даже припомнил кое-какие подробности. По словам Ицки, когда Левону становилось очень грустно, он отправлялся в Александровский парк и там, на берегу моря, в дальнем уголке, присев с гитарой на скамью, подолгу следил за удалявшимися из гавани пароходами. Сколько раз Ицка видел его там, и Левон говорил ему: «Ицка, когда я гляжу на отплывающий пароход, мне кажется, что и я уезжаю далеко, далеко...»

— Пойдемте в Александровский парк, — предложил я.

За десять минут мы обошли весь парк, заглядывали в каждую аллею — Левона нигде не было!

Вернулся я домой утомленный физически и душевно. Чаушенко и Ицка продолжали поиски.

От мрачного предчувствия щемило сердце. Я наотрез отказался присутствовать на вечеринке синьоры Стефани и лежал одетый на кровати, думая только о Левоне. Споминались его грустные глаза, полные отчаяния и беспредельной муки. Представлял я Левона в положении его несчастного отца: пьяного, грязного, на земле у входа в театр...

Глядел я на его мандолину, и сердце ныло. Казалось, бездушный инструмент обрел дар речи и оплакивал своего хозяина. Я взял ее со стола и повесил в угол, чтобы она не так бросалась в глаза.

Несколько раз пальцы мои касались струн, и слабые звуки напоминали то незабвенное утро, когда Левон впервые сыграл «Мадридского бродягу». Бедный бродяга, где ты теперь?!

А в соседней комнате ели, пили и веселились. Я слышал голос Раисы и громкий, раскатистый смех синьоры Стефании. Наконец я задремал, потому что прошлую ночь плохо спал. В полуудремоте донесся какой-то грохот. Я вскочил — мандолина Левона валялась на полу. Не успел я опять повесить ее, за дверью раздался необычайный шум. Я поспешил туда и увидел синьору Стефанию и ее гостей. Лица их выражали удивление и страх.

— Что случилось? Что случилось? — спрашивали они друг друга.

У наших дверей стояла вдова Алмаст и, указывая вниз, истошно вопила. Двое полицейских и наш дворник несли Левона. За ними по лестнице поднимались Чаушенко и Ицка.

При виде мокрого платья и посиневшего лица Левона все стало ясно... Подробности в нескольких словах поведали мне Чаушенко и Ицка.

Левона вытащили матросы из-под парохода «Херсон», который через две недели должен был увезти его в Италию...



АЛИНА

Н

а этот раз мой давний кавказский приятель, доктор Тигран Ахурян, особенно был расположен к беседе.

Кафе, где мы сидели, было битком набито, но у нас был уголок подальше от шума и толчей. К тому же оба мы свыклись с бурной парижской жизнью и держались подальше от столичных сует, столь сбивающих с толку и попусту волнующих каждого новоприбывшего, особенно если он не европеец. Мы превосходно знали цену фальшивым улыбкам размалеванных гурий Латинского квартала, цену их наглого хохота и прозрачных намеков.

— Александр,— сказал доктор, отодвигая пустой пивной бокал,— сегодня я намерен слегка одурманиться — составишь мне компанию?

— С удовольствием,— ответил я, чувствуя потребность немного оживить свое скучливое настроение.

Он велел проходившему официанту подать абсенту.

— Скажи, пожалуйста, что ты разумеешь под словом «любовь»? — спросил он вдруг, облокотясь на мраморный столик и испытующе глядя мне в лицо большими и умными глазами.

Говорю «вдруг», потому что вопрос был для меня совершенно неожидан и к тому же задан человеком, за все наше двадцатилетнее знакомство при частых встречах ни разу не говорившим о любви, хотя жизнь его изобиловала приключениями. Когда среди товарищей заходила речь о женщинах, доктор Ахурян хранил молчание. Он предоставлял говорить другим, хотя многое могли бы услышать от него и многому научиться. Как человек с большим жизненным опытом, он знал, конечно, что о женщинах обычно много говорят мужчины, очень мало или почти не удостоенные их внимания.

Уж не помню, что я ответил доктору, но не забуду его снисходительной улыбки.

— Знаешь,— начал он, с минуту подумав,— мне хочется рассказать тебе случай из моей жизни, подобный которому вряд ли переживал когда-нибудь человек даже умнее меня. Хочешь послушать?

— С величайшим удовольствием,— поспешил ответить я совершенно искренне: я знал, что повествование доктора Ахуряна не может быть неинтересным, особенно приняв во внимание его такт и умение не докучать собеседнику.

Доктор прибавил в стакан абсента сахару, воды, размешал все это, отпил и так начал свой рассказ:

— Это случилось давно, мне тогда едва минуло девятнадцать. Я только что кончил гимназию и собирался в столицу для поступления в университет. Был я юным провинциалом, физически здоровым и бодрым, как годовалый теленок, нравственно чистым как атиец, несмотря на то, что мои преждевременно познавшие жизнь товарищи легко могли бы сбить меня с пути. Женщина? О-о, я никогда не думал о ней. Ни о любви, ни даже о влюбленности я не имел ни малейшего понятия.

Прежде чем покинуть Кавказ, мне надо было съездить в Гохтанский уезд попрощаться с родными. Но по какому-то тайному велению судьбы поездку эту я отложил до конца августа, вероятно для того, чтобы со мною случилось то, что должно было случиться. По велению той же судьбы я решил переменить комнату. В тот же день мне без труда удалось отыскать просторную, чистую и светлую комнату на одной из не особенно малолюдных улиц. Хозяйкой моей оказалась благонравная вдова, рус-

ская по происхождению. Муж ее служил мелким чиновником в одном из государственных учреждений и умер не так давно, оставив двух сирот.

На другой день после переезда мое внимание привлек соседний дом. Это был не особенно большой, двух- или, говоря точнее, трехэтажный особняк, все двери и окна которого были плотно закрыты. В общем он производил мрачное впечатление, хотя и не был так стар, как его соседи справа и слева. На ставнях и оконных стеклах лежал густой слой пыли.

Все говорило о том, что дом уже давно пустует. На дверях верхнего этажа виднелась бумажка — должно быть, объявление о сдаче. Говорю «должно быть», потому что надпись на бумажке давно стерлась от непогоды. Двери отделяла от мостовой каменная лестница всего в пять-шесть ступеней. За день не более двух-трех прохожих пытались прочесть это объявление и потом уходили с недоуменным видом: их, вероятно, удивляло, почему домовладелец не потрудится восстановить надпись. В то же время я не мог не заметить, как сапожник, содержавший мастерскую в подвальном этаже соседнего дома, неизменно подходил к каждому, пытавшемуся прочитать объявление, и что-то таинственно шептал ему. Я заметил также, что после этого прохожий окидывал взглядом дом и удалялся, покачивая задумчиво головой.

Сапожник был щупленький, низенький человечек с жидккой, седоватой бородкой и пожелтевшими от табака усами. Затрудняюсь сказать, ленив ли он был, или мало было у него дел, только большую часть дня просиживал он перед своей мастерской, рассматривая прохожих с усердием сыщика. Казалось, чужая жизнь его занимала больше, чем судьба собственных троих детей. В целом квартале не нашлось бы ребятишек таких же оборванных и грязных, как дети этого сапожника. До позднего вечера они визжали, плакали, смеялись, швыряя при этом в прохожих камнями.

— Полина Николаевна,— обратился я однажды к моей квартирной хозяйке,— кому принадлежит вон этот дом на той стороне?

Вдова нахмурилась и вздохнула:

— Понятия не имею. Говорят, какому-то очень богатому князю.

- Почему же он пустует?
- Потому что никто его не нанимает.
- Как так?
- Да уж так — он проклят.
- Проклят? — изумился я.
- Да. Вот уже шестой год, как он пустует, и никто не решается перешагнуть его порог.

И хозяйка моя рассказала:

— Лет восемь назад в этом доме жил со своей семьей один купец. Как-то зимой двое из его четырех детей заболели и умерли. Купец, подавленный печальными воспоминаниями, с женой и двумя оставшимися детьми перебрался в другой дом, а сюда поселился еврей-часовщик с женой и двумя детьми. В конце той же зимы заболевают и умирают дети еврея. В это же самое время умер единственный сын фруктовщика, проживавшего в подвалном этаже того же дома — девятилетний красивый мальчик. И еврей и фруктовщик покинули несчастный дом и переселились куда-то. Наконец, следующей осенью верхний этаж снял священник-грузин.

— Это случилось, — продолжала хозяйка, — когда мы только что перебрались в нынешнюю квартиру. Супруг мой был тогда еще жив. Священник-грузин был человек нестарый, но до того хилый и тощий, что, кажется, подуй — и рассыплется. Имел он троих малышей-погодков. Но ужас весь в том, что эти бедняки тоже захворали ча другую зиму и умерли. Один за другим, в течение недели. Да, молодой человек, никогда не забыть мне этих дней! Все казалось нам, что священник с попадьей сойдут с ума и умрут, до того тяжко было их горе. Однако они не сошли с ума и не умерли. Особенно памятен мне день, когда они переезжали из этого дома. На их отъезд глядела я вон из того окна. Все соседи высыпали на улицу. Когда домашний скарб погрузили на телегу, вышли и священник с попадьей. С горя или с тоски — в глазах у них горел мрачный огонь. Священник неверными шагами спустился по лестнице, остановился среди улицы, повернулся к дому, поднял руку и громко провозгласил:

«Будь ты проклято, логовище злых духов! Будь прокляты и твой хозяин и твой строитель! Проклинаю я тебя, — пусть никогда, никогда не послышится человеческого голоса в стенах твоих!»

— Говорят,— продолжала хозяйка со вздохом,— в ту же зиму в этом доме умерли жена и двое детей князя. Вот, молодой человек, с того времени этот дом пустует и никто, никто не смеет его нанять. А кто вздумает снять, не зная, что дом проклят, вон этот самый сапожник сейчас же предупредит его. Сам он теперь уверяет всех, будто слышит по ночам в этом доме какие-то голоса, точно там ются злые духи. Кто их знает!..

Рассказ хозяйки на меня произвел гнетущее впечатление. Значит, над этим несчастным домом нависло проклятье! За что? Быть может, только по той простой причине, что после смерти детей купца от дифтерита по невежеству не догадались произвести дезинфекцию? Точно так же поступили, вероятно, и после смерти детей еврея-часовщика. Я посочувствовал несчастному дому как существу одушевленному, и с того дня сердце мое переполнялось горечью всякий раз, когда взглядал на него. Его закрытые ставни напоминали мне веки покойника.

Но вот однажды эти мертвые глаза раскрылись, и вот по какому случаю,— продолжал доктор Ахурян, допивая последние капли ацесента.— Дело было вечером. Сидя у окна, я читал новый русский роман. Оторвавшись от книги, заметил я на каменной лестнице проклятого дома рослого человека. Он старался разобрать пожелтевшее объявление на дверях и, ничего не разобрав, спустился. Я присмотрелся к нему, и во мне пробудилось любопытство. Лицо у него было до странности бледное и неподвижное. Прямой нос, тщательно подстриженные усы, гладко выбритый подбородок, походка, манеры, наконец, безупречный европейский костюм не изображали в нем местного жителя. Он походил скорее на приезжего.

Человек этот осмотрелся с холодным видом вокруг: видимо, искал кого-нибудь, кто бы мог сообщить ему сведения об этом доме. Тут как раз подковылял к нему неизбежный сапожник и поведал роковую тайну: что, мол, дом сдается в наймы, но он проклят.

Я подумал, разумеется, что рослый незнакомец немедленно отшатнется от проклятого дома. Но не тут-то было. Мне показалось, что слова сапожника только заинтересовали его, и ему захотелось узнать подробности. Потом он решительным жестом дал какое-то поручение сапожнику, с недовольным лицом покинувшему его. Несколько минут

спустя к незнакомому подошел один из дворников, на которого была возложена забота о проклятом доме. Ростлый незнакомец сделал ему знак рукой. Дворник поднялся вместе с ним по каменным ступеням, достал ключ, открыл двери в верхнем этаже проклятого дома, и оба вошли туда. Спустя несколько минут они вернулись, и я видел, как незнакомец дал дворнику пачку ассигнаций, сделал какие-то распоряжения и медленно удалился.

Ясно было, что он снял квартиру. И действительно, на другой же день рано утром окна верхнего этажа широко распахнулись. Я заметил, как дворник и его подручный прибирают комнаты. В тот же день вечером перед проклятым домом остановились две тяжело нагруженные подводы. Я разглядел мебель и кухонные принадлежности, видимо, только что купленные. Подводы были разгружены, вещи снесены на квартиру, а вечером у подъезда остановилась закрытая карета. Из нее вышел сперва рослый незнакомец, за ним просто одетая женщина; оба они помогли выйти даме под густой вуалью; затем все трое быстро, почти бегом, поднялись по лестнице и скрылись в дверях.

Все это происходило так загадочно, что любопытство мое разгоралось с каждой минутой.

На другое утро окна остались открытыми часа на два, а затем закрылись, как прежде. Все это вновь вызвало во мне сочувствие к проклятому дому. Ни дать ни взять — покойник, ненадолго открывший глаза, оглянувшись, тяжко вздохнувший и снова скрывшийся под саваном.

2

Тут доктор Ахурян вздохнул и велел официанту подать еще абсента и, затянувшись папиросой, продолжал:

— Вечером моя хозяйка зашла ко мне.

— Известно ли вам, что верхний этаж проклятого дома ужс наняли?

— Как же. А кто снял его?

— Этого я не знаю. Жена саножника в изумлении. Она говорит: когда супруг ее сообщил этому рослому незнакомцу, что дом, дескать, проклят, тот ответил: «Мне

как раз такая квартира и нужна». И тотчас занял помещение, не торгуясь.

— Странно, не правда ли? — заметил я.

— Да, очень и очень странно.

— А не могли бы вы узнать, кто этот рослый незнакомец?

— Жена сапожника, вероятно, скоро узнает и, конечно, мне сообщит. Она сама очень заинтересована.

Официант подал абсент. Доктор несколько минут возился с ним и, прихлебнув, продолжал:

— Только теперь, собственно, и начинается мой рассказ. Но, чего доброго, мое вступление уже успело тебе порядком надоест.

— О-о, нет, напротив, готов слушать тебя хоть до полуночи, — искренне воскликнул я; и точно, рассказ увлек меня.

— Нелегко мне рассказывать все это, но уж коли начал — кончу. Постараюсь не быть многословным. Проклятый дом снова как будто умер. Целую неделю я не сводил глаз с окон и все ждал, что вот-вот хоть одно из них откроется. Ни движения, ни признака жизни. Словно этот рослый мужчина, эта женщина вся в черном, слуги, наконец, подводы и мебель были призраками, исчезнувшими после мгновенного появления. Казалось, проклятие священника низвергло их в пропасть.

Но вот как-то утром, примерно часу в десятом, когда я одевался, двери проклятого дома открылись, и из них вышел рослый незнакомец. Он бегло взглянул на окна и, видимо, был доволен, что они закрыты. Бросив вокруг испытующий взгляд, он медленно отправился куда-то.

В первый раз за всю неделю рослый незнакомец покинул дом. По крайней мере я его увидел в первый раз.

В ту же минуту, когда я собирался выйти, растворы одного из окон открылись, и я увидел молодую женщину в черном, с большой желтой розой на груди. Слегка опираясь на подоконник, она мельком окинула взором улицу и замерла на месте. Я невольно вздрогнул, и точно что-то приковало меня. Она была средних лет и превосходного сложения. Ее черные волосы густыми прядями упадали на полуоткрытые плечи. Тонкая, цвета фиалки, лента охватывала лоб. Вокруг стройной белой шеи была накинута темноватая лента. Большие светлые глаза из-

под тонких бровей смотрели нежно-задумчиво. Лицо было неподвижно и бесстрастно, как у изваяния. До чего странен был блеск этих глаз! Чудилось, что какое-то страшное видение когда-то предстало ей и навсегда отразилось в ее зрачках.

В раме окна этот образ показался мне чудесным творением Мурильо. Я несказанно был рад, что эта женщина не замечает меня, и мне представлялась полная возможность восторгаться ею. Но увы, восхитительное зрелище длилось недолго. Женщина тихо отошла от окна, и чьи-то руки наглухо закрыли окно. Проклятый дом, на мигу прозревший, снова ослеп.

Так повторилось и на другой, и на третий, и на четвертый день почти в один и тот же час, после ухода рослого незнакомца. И ни разу эта женщина не взглянула в мою сторону. Взор ее вечно устремлялся в неведомую даль. Казалось, мысли ее далеки не только от окружающей среды, но и от всего мира.

С этих пор я потерял сон и аппетит, лишился моей юной бодрости. Мои книги, университет, товарищи и даже родные — все было забыто.

Единственным предметом моих дум и грез стало это загадочное существо. Проснувшись, я тотчас приникал к окну и, замирая, ждал, впиваясь взором в окна проклятого дома. Проклятый! Нет, для меня отныне он не был таким, я проклинал проклявшего его.

Несколько дней окно оставалось закрытым. Я изнемогал. Голова моя отказывалась работать. Одно я сознавал — что поступаю по-мальчишески, безумно, безрасчетно, что смешно так вдруг очароваться женщиной, мгновенного взгляда которой еще не удостоился и голоса которой еще не слышал. Я походил на того правоверного фанатика, перед духовным оком которого на миг приподнялась завеса вечности, и несчастный фанатик в исступлении мечется, не зная, достоин ли он вечного блаженства.

Чудесный образ сделался моим неизбежным спутником, светлым призраком, не покидавшим меня ни днем, ни ночью. Чудилось мне, что я задыхаюсь в золотой петле. Я сознавал, что петля эта с каждым часом, с каждым днем все туже стягивает мне горло.

Доктор допил второй бокал.

— Предчувствия иногда до того точно осуществляются, что волей-неволей хочется верить в существование какой-то незримой силы, распоряжающейся нашей судьбой. Однажды утром, когда я, умывшись, вытирая лицо, передо мною на мгновение ясно выступил образ этой женщины, точно снимок на экране. Я почувствовал, что она сейчас должна явиться у окна и впервые взглянуть на меня. Быстро одевшись, поспешил к окну и уселся с книгой, как всегда. Я не заметил ухода рослого незнакомца, но был почему-то убежден, что моя загадочная незнакомка сейчас покажется. И в самом деле, она показалась в том же черном платье, с той же желтой розой на груди. На этот раз она придвигнула стул к окну, села, оперлась на подоконник, склонила голову на ладонь и устремила вдаль все тот же неподвижный взгляд. Чего она искала там? Или многоного, или ничего — до того взор ее был прозрачен и в то же время глубок.

Я уже не пытался ловить ее взгляд — ей самой надо было посмотреть на меня. Я никогда не причислял себя к тому разряду самодовольных существ, которые слишком думают о себе, воображая, что ни одна женщина не пройдет мимо них равнодушно. Но в то же время я и не считал себя ничтожеством. Не признавая себя достойным ее серьезного внимания, я сознавал, что она недосягаема для меня, как яркая звезда далека от ничтожной кометы. Созерцание ее чудесной красоты вызывало во мне восхищение. И мысленно я благословлял всемогущую природу, создавшую такое чудо для моих бессмысленных, безумных мучений.

Но чья же она? Кто наслаждается этой божественной красотой? Неужели этот рослый, суровый мужчина? Ежели это действительно так, если они супруги — да будет проклята вся жизнь с ее нелепостями!..

Счастливая и страшная минута... она взглянула на меня... улыбнулась!.. Но что за странная, непонятная и неразгаданная улыбка! Она меня и радует и пугает. Как чудесно-бессмысленна она! Блеснули ее лазурные, но холодные, как бирюза, очи. Я вздрогнул. Мне чудилось, будто этот неподвижный свинцовый взгляд пронизывает меня, как осенний ветер. Но это был холод, спаливший мне сердце. Я задрожал, не зная, отвечать ли улыбкой на

улыбку. Низко наклонившись, я сделал вид, будто читаю книгу. Сердце мое сильно билось, я дрожал как мальчик, уличенный в воровстве. У меня не хватало силы глядеть в ее сторону. Когда же взглянул — ее уже не было.

Мое невинное юношеское воображение уже подняло это загадочное существо в недосягаемую высоту, все мои помыслы и чувства рвались к нему. Я ничего не замечал и ничего не чувствовал, ни скорби людские, ни радости. Для меня в ней одной была сосредоточена вся вселенная. Ею только я жил и ею одной дышал. Не хотелось мне встречать ни знакомых, ни товарищей. Я походил на скончавшегося случайно набредшего на сокровище и теперь дрожавшего над ним. Говорить об этой женщине с кем бы то ни было я счел бы преступлением, глупостью. Преступлением — потому что люди, в особенности мои близкие друзья, могли неосторожным намеком оскорбить мою святыню; глупостью — потому что мог подвергнуться насмешкам: ведь я безумно влюбился в женщину, совсем не зная ее, не обменявшихся с ней и словом.

Итак, всецело уйдя в себя, я страдал молча, безропотно и безотчетно.

— Что такое с вами, что вы вечно сидите дома? — спрашивала моя добрая, милая хозяйка.

— Занят, готовлюсь к экзаменам, говорят, скоро начнутся занятия в университете, — бесстыдно лгал я.

Так же отвечал я товарищам и знакомым, когда по неотложному делу приходилось ненадолго покидать комнату.

3

А она каждый день показывалась у окна в черном платье с неизменной желтой розой на груди.

Однажды я, не в силах сдержаться, слегка кивнул ей, когда взгляды наши встретились. Никакого ответа и никакого признака одобрения или нежелания ответить не подметил я на этом точно из слоновой кости выточенном лице, в этих небесно-лазурных очах. Она смотрела на меня недвижным, холодным взглядом и, казалось, не видела меня.

Я раскаялся в своей дерзости, негодовал на себя и со стыдом отошел от окна. В то же время я почувствовал себя глубоко оскорбленным ее невниманием, как может оскорбиться юноша моих лет.

Напрасно я пытался заняться чем-нибудь, чтобы забыться хоть ненадолго. Увы! Перо не подчинялось мне, буквы рябили в глазах.

Вдруг загремели звуки рояля. Я взглянул — ее нет у окна. Ясно, что играла она — в первый раз за три недели! Что именно она играла — я не мог разобрать. Вся мелодия состояла из трех неизменных нот, повторявшихся поочередно — высоко и низко. Болезненные, нервные, раздирающие сердце звуки, которые потом повторялись по нескольку раз в день. До сих пор памятны мне эти ноты, и буду помнить их всегда, до самой смерти. Злое сомнение рождалось во мне, оно выворачивало всю мою сущность: так не играют здоровые люди — будь они мастера или ученики. В этих трех неизменных нотах таится какая-то тоска, необъяснимая, непостижимая грусть страдающей души.

Однажды хозяйка, поставив на мой стол кипящий самовар, задержалась и, скрестив руки, взглянула на меня с материнской укоризной.

— Почему вы так смотрите, Полина Николаевна? — спросил я, улыбаясь. — Перемена во мне, что ли?

— И даже большая. Вас просто не узнать. Не одна я это заметила, а даже дети мои и соседи.

— Я здоров, Полина Николаевна, совершенно здоров. Хотите, одной рукой вас подниму.

И впрямь я был готов обнять и поднять ее, до того был матерински нежен взгляд этой женщины.

— Дай бог, чтобы я ошиблась, — вздохнула она, — берегите себя для ваших родителей.

Чтобы переменить разговор, я спросил:

— Какие новости у наших соседей?

— Новостью является то, что жена сапожника узнала от дворника, кто такие наши жильцы напротив.

Этого-то мне и надо было.

— Да? — подхватил я, прикинувшись равнодушным.

— Да.

— Кто они такие?

— Муж и жена — супруги.

— Неужели? — воскликнул я, не в силах больше сдержать обидного любопытства.

— Да, и детей у них нет.

— Дальше?

— Они не здешние, они из Крыма приехали.

— Как их фамилия?

— Одну минуточку — сейчас вспомню. Да, да, Азовские...

— Значит русские?

— Нет, представьте, армяне. Дворник говорит, в их паспортах значится: «армяне-григоряне».

— Вы говорите, они недавно здесь?

— Месяца два-три. Сперва стояли в гостинице, потом сняли квартиру. И здесь же купили мебель.

— Ну-с, а еще что вам известно? — спросил я с притворной ironией, как будто сведения вдовы и впрямь для меня не представляют особого интереса.

— Пока ничего. Но вам надо следить за собой, так нельзя. У меня сердце болит, когда подумаю о ваших родителях.

— Спасибо, Полина Николаевна, искренне благодарю вас. Но обо мне не беспокойтесь, у меня железное здоровье.

И в самом деле, болел был я душой, но физически чувствовал себя вполне здоровым.

Вдова удалилась, многозначительно покачивая головой.

Для меня было ясно, что она, как женщина неглупая, угадывала мое душевное состояние, поняла, для кого и почему сижу я дома и кто виновник резкой перемены во мне. Было для меня ясно также, что она с умыслом подчеркнула, что женщина в черном — замужем.

Я не буду говорить о том, какое впечатление произвело на меня это известие. Замечу только, что оно явилось для меня подлинным ударом. Но ударом не отрезвляющим, а еще беспощаднее воспламеняющим. Отныне я возненавидел рослого незнакомца со всем пылом юношеской души. Почему, по какому праву? — это мне не приходило на ум. Пусть он благороднейший из благородных, достойнейший из достойных — но он муж этой женщины, значит мой заклятый враг. Несомненно, это беспощадный деспот, полонивший красивейшую из красавиц, и держит он ее в

оковах под своей властью. Несомненно, это эгоист, ослепленный ревностью, он угнетает ее, подчиняясь велению своего «я». Иначе что могут значить эти вечно закрытые окна, из которых только одно раскрывается ненадолго, и то в отсутствие деспота? Как же иначе объяснить, что эта женщина никогда не выходит из дома и день ото дня на моих глазах бледнеет и чахнет, и день ото дня все расширяются ее зрачки и все резче ложатся под ними синие тени? Как же иначе истолковать сущность этих трех неизменных нот, раздающихся ежедневно,— нот, таких монотонных, таких скорбных? Боже мой, я схожу с ума от этих странных звуков! Они тянутся из глубин распадающейся души и точно иглами терзают мои и без того изболевшиеся нервы. Ах, знает ли эта женщина, что одних этих звуков достаточно, чтобы свести меня с ума? Знает ли она, что порою находит на меня неистовое желание выставиться из окна и крикнуть:

«Довольно, довольно, я не в силах слушать эти безумные звуки!»

Доктор опять сделал паузу, нервным движением руки обмакнул короткие с проседью волосы и прикусил губы, сдерживая невольное волнение. В эту минуту он как бы сливался со своим прошлым. Наскоро закурив, доктор Ахурян продолжал:

— Было утро. Я писал письмо родителям. Уже давно я не писал им ничего. Писал машинально: мысли мои летели к проклятому дому. Нетерпеливо ждал я появления рослого незнакомца. Выходил он ежедневно с точностью хронометра в десять утра и возвращался к трем. Вот в это время открывалось окно и показывалась его супруга вся в черном.

И в этот день незнакомец вышел ровно в обычный час, но супруга не показывалась до полудня. Беспокойство охватило меня: быть может, она больна или деспот отнял у нее и последний жалкий призрак свободы? Неужели мне не придется больше увидеть ее? Это невозможно, я сойду с ума. И впрямь, если бы кто-нибудь увидел меня, как я, взволнованный, вне себя метался по комнате, подобно тигру в клетке, тот, несомненно, принял бы меня за сумасшедшего. Как будто я уже овладел этой женщиной и бесился, что ее отнимают у меня.

Наконец стены комнаты стали теснить меня. Я задыхался и поспешил выйти, захватив письмо к родителям. Но как только я очутился на улице, открылось заветное окно и показалась моя дама с конвертом в руке. Я машинально снял фуражку и поклонился — опять неизвестно по какому праву. На этот раз она слегка кивнула и — о чудо! — протянула мне конверт. Пока я, растерявшись, не знал, что делать, она выбросила письмо из окна и скрылась.

Опасливо оглянувшись, я подбежал и поднял письмо. К счастью, никто этого не заметил. Ясно, что конверт предназначался мне, хотя имени моего на нем не было. Быстро вернувшись домой, я вскрыл конверт. Сердце сильно билось, руки дрожали.

Ещё одна страничка на русском языке. Письмо не было адресовано мне, оно не было адресовано никому. Прочитав, я ничего не понял. Прежде всего это был ни на что не похожий почерк: буквы неровны, одни едва заметны, другие выпирают из строчки.

Впоследствии, будучи врачом, я работал в Москве при университетской клинике. Там в психиатрическом отделении мне часто приходилось просматривать подобные рукописи, принадлежавшие перу вполне грамотных и развитых людей.

Только три строчки можно было разобрать, и, по всей вероятности, в них скрывалась какая-то мысль. И до сегодняшнего дня памятны мне эти строчки слово в слово:

«Вольдемар полюбил Алину, Алина сказала — нельзя. Зверь увидел, разъярился, убил, убил, убил...»

Что значили эти строчки? Разумеется, разгадать их смысла я не мог. Ясно было лишь одно: эта загадочная женщина душевно больна, и я негодовал на себя, что так поздно догадался об ее болезни. Да, этот стеклянный взор больших глаз, эта бессмысленная улыбка, эти закрытые окна, эти печальные, монотонные три ноты, эта мрачность рослого незнакомца — неужели всего этого не было достаточно для меня?

Письмо я спрятал в стол и каждый день перечигывал его. И до сих пор хранится у меня это письмо, как память бессонных ночей и неиссякаемых слез. Такой пламенной любви мне не суждено было пережить дважды. Разумеет-

ся, если бы мой рассудок бодрствовал и не утратить я в то время способности соображать и разбираться, я, прочитав это письмо, очнулся бы от своих горячечных фантазий и попытался бы погасить пламя, с каждым днем все более разгоравшееся в сердце. Мечтать о женщине, чье существование есть уже мечта — равносильно самоубийству, мечтать о женщине, которая беспощадной рукой природы оторвана от жизни и томится в мире призраков! Но удивительное дело! С того дня я полюбил эту женщину еще сильней. Было ли это сочувствие юной души к душе несчастной — затрудняюсь сказать.

Наутро моя хозяйка как всегда явилась прибрать комнату. От бессонницы я до того ослабел, что попросил отложить уборку.

— Вижу, что вы прихворнули, зато могу сообщить вам любопытную новость,— и она грустно посмотрела на меня.

— Да что случилось?

— Наша визави психически больна.

— Неужели? — отозвался я безразличным тоном.

— Да. Хотите, я расскажу, как она потеряла рассудок? Жене сапожника удалось все разузнать от служанки Азовских.

— Рассказывайте,— ответил я тем же тоном.

Хозяйка присела к столу, спуская рукава у платья и прикрывая локти, загрубевшие от работы и раскрасневшиеся от кухонного чада.

Вот что она рассказала.

4

Уже восемь лет, как Азовские повенчались. Мужа зовут Срапионом, жену — Алиней. Супруг — драгунский офицер, богатый помещик, получивший в наследство от отца несколько тысяч десятин в Бессарабской губернии.

Что касается Алины — она дочь небогатого отставного полковника, сумевшего, однако, дать ей отличное образование. Срапион женился на ней, пленившись несравненной красотой, тогда как Алина согласилась на брак, лишь уступая настояниям родителей, мечтавших получить бога-

того зятя. Им хотелось, чтобы их единственная дочь жила в довольстве. Алина не любила Срапиона, как вообще не любила никого.

Худо ли, хорошо ли, Азовские четыре года прожили мирно и безмятежно. Алина постепенно привыкала к узам супружества с нелюбимым человеком, как привыкают девяносто девять из ста женщин всего мира. Люди, всегда и обо всем судящие по внешности, думали, что не найдется пары более счастливой. Женщины завидовали Алине. Мужчины завидовали Срапиону. Через год после брака у них родился сын, умерший двух с половиной лет от воспаления мозга. Хотя семейное горе, казалось, скрепило до известной степени их супружеские узы, все же Алина не любила Срапиона. Он же, напротив, все больше и больше привязывался к ней. От пережитого ли горя или от чего другого — Алина начала чуждаться людей. Старания мужа возбудить в ней интерес к жизни оказались тщетными: ни путешествия по Европе, ни развлечения на мировых курортах, ни музыка, ни театр, ни дорогие наряды и пышные вечера — никто, ничто не могло помочь. День за днем Алина все больше уходила в себя. Енезапная смерть родителей еще больше ухудшила ее состояние.

Как раз в это время, уже в начале осени, из Петербурга приезжает в Крым сын одного из старых друзей Срапиона — веселый, жизнерадостный молодой человек, лет двадцати пяти, с пышными русыми кудрями. Заезжает он к Азовским, представляется Алине, прогуливается с ней — и вот он уже обворожен ею. Была ли увлечена им Алина — неизвестно до сего дня. Однако ее печаль смягчается, она примиряется с жизнью, снова сближается с миром.

Срапион, разумеется, заметил эту перемену. Сперва он радовался оживлению жены. Но потом вдруг начал подозревать, ревновать и следить за каждым шагом Алины. Однажды, не сдержавшись, он холодно принял сына своего приятеля. Алина упрекнула супруга, заметив, что больше всего на свете ненавидит грубость. Этот упрек еще больше подогрел подозрения Срапиона.

— Да, я уже давно замечаю, что ты неравнодушна к этому молодому человеку.

— Не буду скрывать, Спириданов мне нравится, но я никогда не забуду, что я твоя жена.

Слова Алины вселили доверие в сердце Срапиона. Он даже попросил извинения у жены. Но это продолжалось недолго. Скоро сомнения снова овладевают им, и ему начинает казаться, что он теряет рассудок.

Наконец однажды, вернувшись домой, Срапион видит: Алина играет на рояле, а Спиридонов поет, и оба до того полны друг другом, что даже не заметили, как муж переступил порог. Это выводит из себя Срапиона, но ему удается сдержать себя; не поздоровавшись с гостем, он молча проходит в кабинет.

Алина продолжает петь, желая скрыть от гостя ревность супруга и в то же время показать Срапиону, что в поступке ее нет никакой вины, что это только развлечение молодых людей, обожающих музыку и пение.

Но Срапион иначе представляет себе поступок жены. Он видит в нем пренебрежение двадцати трехлетней женщины к сорока двухлетнему мужчине.

Срапион выходит из кабинета, суровый и бледный, и, не в силах сдержать ревность, бросает жене:

— Алина, довольно!

Алина улыбается и, сделав еще несколько аккордов, спокойно встает из-за рояля и закрывает крышку. Улыбается и молодой человек. Эта улыбка на свежем, красивом юношеском лице как стрела пронзила сердце Срапиона. Его ревность разгорается, и он бросает ему неопределенно:

— Я рад, но и жалею, что вы сын моего друга.

— Почему же?

— Так просто.

— Я вас понимаю прекрасно, все будет по вашему желанию,— и, обращаясь к Алине, Спиридонов добавляет:

— Сударыня, простите, отныне я не могу бывать в доме вашего уважаемого супруга и приятеля моего отца.

И с этого дня Спиридонов перестал бывать у Азовских.

Все это видела и слышала служанка Азовских и слово в слово рассказала моей квартирной хозяйке.

Однако Алина не прекращает знакомства со Спиридоновым и продолжает встречаться с ним вне дома. Срапион не возражает, признаваясь, что слишком резко обошелся с сыном приятеля.

— Зная свой ревнивый характер, ты не должен был жениться,— сказала Алина.

— Я тебя люблю.

— Не верю я в любовь, которая так подозрительна.

— Ладно, помиримся.

— Прежде всего помирись с сыном своего приятеля и попроси у него извинения, а уж потом помиримся.

— Я не могу так поступить.

— А я не могу из-за твоих неуместных подозрений лишить себя свободы.

Однажды Срапион встретил Алину на городском бульваре вместе со Спиридоновым. В припадке ревности после короткого объяснения он оскорбляет молодого человека. Спиридонов отвечает ему вызовом и на другой же день посыпает к Срапиону своих секундантов. Но перед дуэлью он отправляет Алине письмо с букетом роз.

«Сударыня,— пишет он в письме,— говорят, что желтая роза — символ ненависти. Но я всегда предпочитал этот цвет. Сегодня решается моя судьба. Быть может, я скоро отойду в вечность. Пусть же эти розы свидетельствуют о чистоте моей любви. Прощайте...»

Письмо с букетом было тайком передано Алине.

Вечером вернулся Срапион необычайно взволнованный.

Уже по лицу его Алина догадалась о том, что случилось. Не сказав ни слова мужу, она уходит в свою комнату и остается там всю ночь. Служанка несколько раз наведывается к ней под тем или другим предлогом и всякий раз видит одно и то же: Алина неподвижно сидит, не сводя глаз с букета желтых роз.

С этого дня Алина порывает все связи с миром. Весь день она сидит у себя взаперти, не желая видеться ни с кем. Не от стыда, а от горя.

Служанка уверяла, что Алина целый месяц твердила:

— Ты убил невинного. Ты не имел права так поступить с бедным мальчиком. О-о, как ты ответишь перед богом!

— Совесть моя спокойна. Всякий уважающий себя муж не мог бы поступить иначе,— отвечал неизменно Срапион.

— Нет, нет, совесть твоя не может быть спокойна, потому что я невинна. Кровь этого молодого человека день

и ночь передо мною. Я невольная причина его смерти, и бог накажет меня.

И вот лишается Алина сна, покоя и аппетита. Ненавидя супруга, начинает она ненавидеть всех. И осуждая супруга, осуждает самое себя. По ночам служанке слышатся ее мучительные крики:

— Прочь от меня, не подходи, на твоих руках невинная кровь!

И ничто не может исцелить ее — ни заботы врачей, ни мольба супруга, ни его пламенная любовь, ни его раскаяние. Кто знает, быть может, он искренне каётся, убедившись в чистоте Алины, — но тщетны его усилия: день изо дня распадается душа Алины...

В маленьком губернском городе происшествия рассказывают друг другу в искаженном виде. Сомнительные слухи передаются как факты. Клевета преследовала Алину еще задолго до дуэли. Теперь злые языки бесновались, но Алина оставалась безразличной к общественному мнению. Она целиком ушла в себя и была далека, очень далека от внешнего мира. Оттуда до ее слуха не доходило ничего. Букет желтых роз давно увял, но по-прежнему в изящной вазе украшает рояль Алины. Чуть не по сто раз в день она подходит к букету, нежно касается увядших роз; поблекшие лепестки один за другим обрываются. В конце концов от благоуханных роз остаются высохшие стебельки. Тогда Алина приказала преданной служанке, ходившей за нею с нежностью родной сестры, каждый день, каждый божий день покупать по желтой розе. Эта таинственная роза и до сих пор украшает грудь Алины.

Срапион наконец решил взять Алину и удалиться в незнакомые края. Бросив дом на попечение слуг, он по желанию Алины берет с собой только верную служанку. Очи отправляются в Москву, потом в Западную Европу. Но ничто не изменилось в душе Алины, ни разу улыбка не озарила ее лица. Врачи в один голос твердят:

— Сударь, вашей супруге необходимо полное спокойствие. Никакой шум не должен тревожить ее.

Консилиум известных профессоров советует поместить Алину в санаторий для душевнобольных.

— Никогда! — отрезал Срапион, твердо решив не расставаться с любимой.

По возвращении из-за границы Срапион всеми силами старается создать для Алины необходимый покой. Для этого он принимает решение переехать в Тифлис, где у Азовских не было знакомых. В сердце Срапиона еще теплится слабая надежда, что дома Алина поправится.

Все это поведала мне моя хозяйка с таким глубоким чувством, точно она была одной из близких Алины. И тут я вдруг почувствовал жгучую ненависть к этому мужчине. Отныне я смотрел на Срапиона как на чудовище, уничтожить которое счел бы подвигом. Алина для меня являлась воплощенным страданием.

Я полюбил ее вдвойне. Я понял, что отныне душа моя навеки связана с этой больной душой, что уже никакая сила не может разлучить нас без того, чтобы сердце мое не разорвалось на клочки. Почекуствовал я также, что мое трагическое положение является в то же время ребячески смешным для других. Я любил существо, реально не жившее,— существо, казавшееся призраком, кошмаром. Я страдал ради существа, лишенного возможности понять и почувствовать страдание другого.

Доктор Ахурян опять помолчал.

Теперь вокруг нас было сравнительно тихо. Кафе почти опустело — посетители прошли в столовую. Париж обедал — единственный час во весь день, когда оглушительный шум большого города более или менее стихает.

— Однако уже поздно. Я, кажется, слишком заговорился,— сказал доктор, посмотрев на часы.

— Я слушаю вас с огромным интересом,— ответил я вполне искренне.

— Мы уже приближаемся к концу,— заметил он, зажигая сигаретку.

Итак,— продолжал доктор Ахурян,— я страстно любил сумасшедшую и сам был недалек от сумасшествия. Боже, хоть бы раз увидеть ее вблизи, хоть бы раз услышать ее голос! Может быть, я разочаровался бы и очнулся от кошмара. Или, кто знает, может быть, удалось бы мне в ее распавшейся душе найти одну здоровую нить и отогреть ее своей любовью. Как знать, может быть, и есть ка-

кое-нибудь средство для ее спасения. И почему этот деспот никого не подпускает к ней? Неужели этому себялюбцу непонятно, что один вид его невыносим для Алины и усугубляет ее страдание? Неужели непонятно ему, что муки раненого растут, когда перед его глазами кинжал? Не случалось разве, что к многолетнему безумцу внезапно возвращался рассудок от какого-нибудь радостного случая, от душевного потрясения? Да, да, случалось много раз, мне приходилось читать об этом в медицинских книгах, слышать от психиатров.

Таков был единственный стержень, вокруг которого вращались все мои помыслы, все мои чувства, и не только наяву, но и во сне.

Но увы, мне не было суждено увидеть ее близко и говорить с нею!

Вот послушайте! Однажды, после ухода рослого мужчины, окно не открылось. Не открылось оно и на другой день. А на третий уже с раннего утра распахнулись все окна.

В первый раз за все четыре месяца я заметил в проклятой квартире необыкновенное оживление.

Служанка быстро перебегала из комнаты в комнату. По временам рослый мужчина показывался у того или другого окна все с тем же неизменно мрачным лицом. Но Алина не показывалась.

К подъезду подкатил экипаж. Из него поспешило вышел неизвестный и поднялся к Азовским.

Но Алины все не было видно. Я начинал беспокоиться — до того привык видеть ее каждый день, каждый день восторгаться ею и каждый день благословлять жизнь.

Так как моей хозяйке все было известно и с моей стороны напрасно было бы притворяться перед этой добродушной и благородной женщиной, то я, когда она вошла, напрямик спросил:

- Полина Николаевна, что случилось у Азовских?
- Алина заболела.
- Заболела? — воскликнул я в ужасе.
- Да, вот уже третий день. Служанка сказала. А вы не заметили? Доктор приехал. Сегодня консилиум.

Так вот оно что! Алина опасно больна — Алина, предмет моих мечтаний, а я лишен возможности ежеминутно,

ежесекундно осведомляясь о ее состоянии. Особенно тяжело не видеть ее. И она не узнает, не почувствует, что есть на свете человек, готовый не задумываясь принести ей в жертву свою девятнадцатилетнюю жизнь!

— Полина Николаевна,— обратился я к хозяйке,— вы любите меня?

— Бог свидетель, как я люблю вас.

— Полина Николаевна, я знаю, вам все известно.

— Ох, известно!

— Я знаю, что от вас не скрылись мои страдания.

— И сколько раз за этой стеной приходилось мне слышать ваш плач! Сердце щемит при виде, как вы сохнете.

— Оставим это, Полина Николаевна, это неважно. Речь об Алине. Ее жизнь мне дороже моей. Полина Николаевна, у меня к вам просьба.

— Приказывайте.

— Вот сейчас же идите к Алине.

— Зачем?

— Узнать что-нибудь о ней. Мне хочется знать, насколько опасна болезнь Алины. Полина Николаевна, умоляю!

— Но ведь я незнакома с ними. Они могут меня не принять. До сих пор еще никто не переступал их порога.

— Пустяки. Наконец, вы соседи. Скажите, что у нас так принято.

— Уж не знаю, постараюсь,— ответила моя хозяйка неопределенно и вышла.

Пять экипажей один за другим остановились перед проклятым домом. Это прибыли врачи — два старика и трое молодых. В те времена я с величайшим пietetом относился к медицине, и любой врач казался мне магом и волшебником. Поэтому, созерцая серьезные и безмятежные мины эскулапов, я сразу пришел в себя. Ну, подумал я, эти-то уж поставят на ноги Алишу. Они даже исцелят ее больную душу. И я увижу эту женщину в черном здоровую физически и духовно, во всей ее красоте.

Консилиум продолжался довольно долго. С сердечным трепетом ожидал я выхода врачей, надеясь по их лицам угадать состояние Алины. Ни на миг я не отрывался от окна.

Наконец врачи вышли все вместе.

Лица их сияли, особенно у стариков. Говорили они громко и громко смеялись. Ну, подумал я, это знак добрый. Жизнь Алины вне опасности, иначе эти люди не казались бы такими веселыми и бодрыми, уходя от больной. Впоследствии, когда я сам стал врачом, да, именно только впоследствии, я понял, что наше ремесло ничем не отличается от поповского. С течением времени оно огрубляет наши сердца и делает нас безразличными к смерти. Сколько раз случалось мне отходить от одра пациента, уже чувствуя над ним веяние смерти, с улыбкой!

В одном окне показалась фигура Срапиона Азовского. Никакой перемены на этом вечно неподвижном лице — ни радости, ни грусти.

Показалась служанка — и в ней никакой перемены. Все это немного ободрило меня. Вот почему, едва завидев в дверях хозяйку, я радостно провозгласил:

— Пустяки, ничего опасного! Вы видели ее?

— Ходила, но ее не видела.

— Почему?

— Постеснялась войти. Расспросила служанку, кое-что узнала.

И, простонав, хозяйка умолкла.

— Да что же сказали врачи? — воскликнул я.

Служанка не знает. Вспрыснули что-то Алине. Она очень слаба и часто падает в обморок. Дежурному врачу наказано этой ночью не отходить от больной. Сейчас он ушел, а вечером придет. Служанка все время плачет и без конца повторяет: «Вы не знаете, вы не знаете, как добра была моя барыня до этого несчастья. Никого на свете я так не любила».

Сердце мое упало, надежды поблекли. Я почувствовал, что состояние Алины серьезно. И обессиленный свалился на стул. Слезы подступали к горлу. Не в силах их сдержать, я дал волю безумным рыданиям.

Моя добрая, сердобольная хозяйка тихо подошла и стала меня утешать. Рыдая, я слышал се отрывистые слова:

— Не бойтесь, Алина не умрет. Но кто эта женщина тебе? Ни разу ты с ней слова не сказал. Ну, хорошо, хорошо, не будь ребенком, приди в себя. Да и стыдно, что люди скажут? Боже мой, он с ума сходит — как мне быть?

Обняв мою голову, она ласкала меня. Ах, до чего были нежны, милы, точно руки матери, эти огрубевшие в труде руки! Я вполне сознавал свое безрассудство, свое смешное положение, но не стыдился этой женщины — женщины для меня чужой и чужого племени.

Передавать ли мне, как я провел этот вечер, эту ночь, весь следующий день, все четырнадцать дней? О-о, эти незабываемые дни! Сна, разумеется, я не знал, хотя, чтобы не беспокоить хозяйку, всегда гасил лампу. Четырнадцать ночей я выходил каждые полчаса на улицу, становился под закрытым окном Азовских и, затаив дыхание, прислушивался. А ведь смерть большей частью приходит по ночам. И думалось мне: если Алина умрет, так я хоть услышу, быть может, рыданье ее верной служанки. От Срапиона рыданий я не ждал.

И ни звука, ни шороха во все четырнадцать ночей. А днем однообразные сообщения моей хозяйки:

— Состояние Алины без перемен.

Особенно терзало меня беспокойство в последнюю ночь, всю проведенную на улице. На безоблачном небе сияли звезды ярко и радостно, а в душе моей было темно и тоскливо. Неужели этот блеск равен одному часу жизни Алины, одному ее дыханию? Ах, пусть рассыплется вселенная, только бы жить Алине!

— Алина, Алина, Алина!.. — пламенно шептал я в ночной тиши.

И ни звука, ни шороха.

Наконец силы изменили мне. На самом рассвете, не раздеваясь, я прилег и задремал. Четырнадцать ночей не смыкал глаз и задремал я в тот час, когда должен был бодрствовать.

— Вы спите? — услышал я вдруг голос хозяйки и раскрыл глаза.

Скрестив руки, она стояла у изголовья.

— Что случилось? — воскликнул я, вскочив.

— Алина скончалась!

Я ничего не ответил. Слабый крик вырвался из груди моей, в полном бессилия опустившись на кровать, я молча понурил голову.

Хозяйка добавила:

— Проклятье священника...

Спустя час в окнах проклятого дома замелькали неизвестные лица. Теперь уже все окна распахнулись. Повар и служанка торопливо приводили в порядок мебель. Медленно вышел на улицу старый священник. Несомненно он напутствовал Алину. Служанка плакала. Раз только показался у окна Срапион, выглянул на улицу и тотчас отошел. Боже, ни одна черта не дрогнула на этом желтом, неподвижном лице! Все тот же мертвенный взгляд из-под нахмуренных бровей.

Доктор Ахурян снова помолчал. Я ждал, чем кончится рассказ. Но он хранил молчание, всматриваясь куда-то вдали невидящим взглядом.

— Вы были на ее похоронах? — спросил я, прерывая его тяжелое молчание.

— Алину не хоронили.

— Как же так?

— Этот человек бальзамировал ее тело и увез к себе на родину, в Крым. Ему тяжело было расстаться даже с ее бездыханным телом. А вот на проводах я присутствовал. Никто не шел за гробом, кроме двух-трех священников, меня, повара, служанки, сапожника с женой и моей квартирной хозяйки. Да и кто же знал Алину? Теперь я увидел ее вблизи. Это моя единственная встреча с ней! Я возложил на ее гроб букет желтых роз. До чего лицо ее своим цветом походило на эти розы! Одели ее в черное платье. На груди у покойницы не было желтой розы. Я понял: супруг сорвал эту розу с ее груди. Понял я это, когда клал свой букет на гроб, а Срапион, вздрогнув, мрачно взглянул на меня. Он даже шагнул, как бы намереваясь сбросить мой букет, но, отвернувшись, остановился...

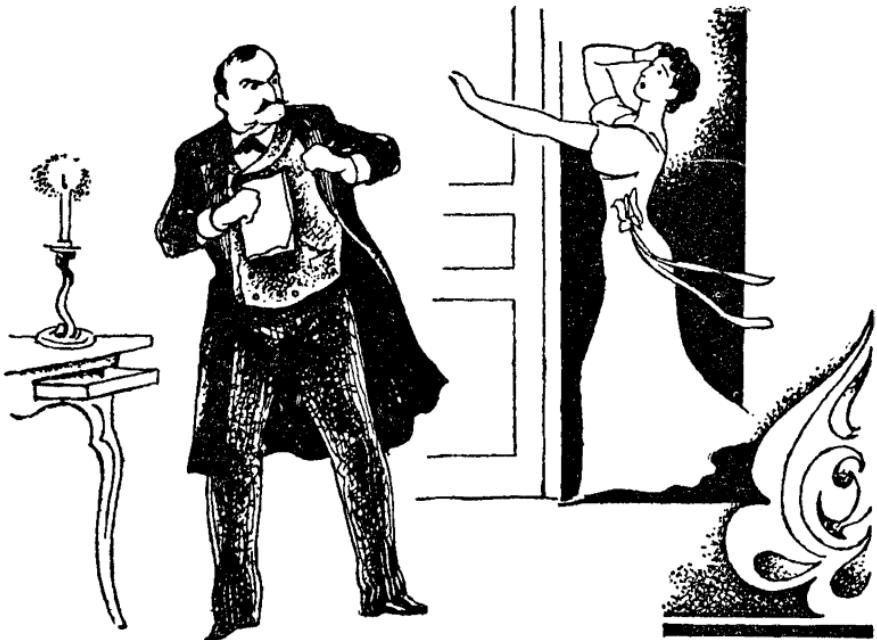
Знаете, я много пережил, много передумал и перечувствовал за эти тридцать лет: любил, был любим, знал женщин и убедился, что сам я любил только раз в жизни. Друг мой, любовь — это совсем не то, что мы обычно называем любовью, считая ее чем-то ощутимым и предметным. Друг мой, любовь — это не женщина, с которой мы говорим, объясняемся, спорим, боремся, миримся, чтобы снова бороться и снова мириться. Любовь — это не та женщина, которую мы обнимаем, целуем, чтим, чтобы овладеть ею, и овладеваем, чтобы осквернить ее. Нет, это не любовь. Любовь — это мечта, и мечтою же она должна

на остаться навеки. Любовь — вечна, неистребима, незабвенна, но необъяснима. Это — луч, который никогда не угаснет, но и не дает себя поймать как птица; это — идея, которая никогда не устареет, но и не может служить средством для телесной улады; это — мысль, неподдающаяся уловлению и невоплотимая. Страшно ее назначение, хотя и желанно, беспредельно желанно и беспредельно ядовито: бороться, чтобы никогда не победить, и стремиться, чтобы никогда не достигнуть! Это не драма с завязкой, развитием и эпилогом. Это — трагедия без мизансцен и без актов. Она знает начало и не знает конца; она только рождается, никогда не умирая...

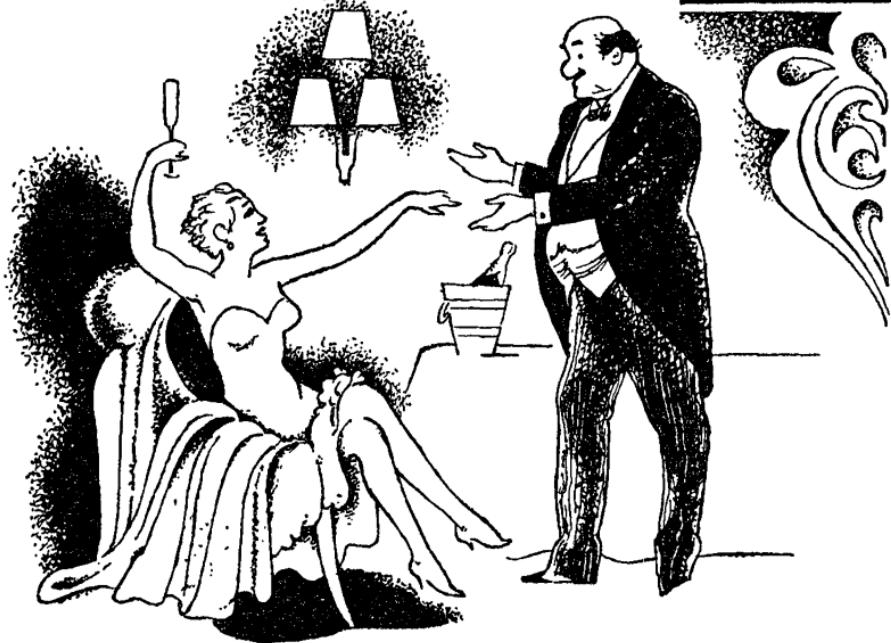
— Полное воплощение любви — Алина! — и доктор Ахурян поднялся.— Я кончил.

1917.

Тифлис.



ПЬЕСЫ





ПРАВА ЛИ ОНА?

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Антон Бегмурян — богатый помещик и член различных акционерных обществ, 43 лет.

Эрсила — его жена, цветущая, красивая женщина лет 24—25. Одевается роскошно и со вкусом.

Соломон Суратян — отец Эрсиле, 52 лет.

Наталья — его жена, 46 лет.

Анна Алимбарян — подруга Эрсиле, ее сверстница.

Рубен Алимбарян — муж Анны, 30 лет.

Илья Мартынович Мармарян — родственник и близкий друг Антона Бегмуряна, 44 лет.

Сурен Франгулян — племянник Антона Бегмуряна и управляющий его делами, 29 лет.

Варварэ — его жена, 26 лет.

Самсон — слуга в доме Бегмурянов.

Вержинэ — их служанка.

Алеко — сторож на даче.

Гости.

Первое и второе действие происходит на даче Бегмурянов, третье и четвертое — в их городской квартире.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Красивый сад. В центре два рядом растущих дерева с густой листвой. Под их тенью чайный стол, накрытый белой скатертью, вокруг плетеные стулья. В глубине, во всю длину сада, железная ограда, посередине — калитка, окрашенная в зеленый цвет. Справа — гамак, на котором подушка и книга без переплета. За оградой — улица, в перспективе — холмы, покрытые кустами. Вдалеке снежная вершина горы. Правая сторона сцены представляет собой продолжение сада.

На авансцене — желтая скамья для двоих.

По левую сторону — дом с обвитой плющом полукруглой верандой с несколькими ступенями в сад. На веранде две двери: одна — посередине, широкая, со сводом, вторая — подальше, небольшая. По обеим сторонам центральной двери — окна.

Повсюду в саду цветы и тропические растения. Полдень августовского дня. Солнечные блики мелькают по красному гравию. Листья деревьев бросает густую тень.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Вержинэ, Алеко, затем Мармарян.

При поднятии занавеса Алеко, тихо напевая народную песню, поливает из лейки цветы, растущие справа. Слева с веранды спускается Вержинэ с большим серебряным подносом в руках; на подносе пустые кофейные чашки, масло, варенье, яйца и т. п. Расставляет все на столе. Некоторое время оба заняты своим делом.

В э р ж и н э. Распелся, смотри — всеоловы слетелись, вот сидят на дереве и слушают тебя. (Пауза.) Перестань, говорят, вот уж надоел!

А л е к о. Ишь ты! А тебе-то что, девчонка?

В е р ж и н э. Голова трещит, вот что!

А л е к о. Ишь ты, думаешь, для тебя пою?..

В е р ж и н э. Не на ветер же!

А л е к о (гордо). Для барыни.

В е р ж и н э. Ей-богу?.. (Смеется).

А л е к о. Ишь ты!.. Чего смеешься, барыня пение любит. На днях вот тоже копаю тут и напеваю, вдруг вижу — стоит она на веранде и смотрит. Хотел было собрать весь свой инструмент, а она говорит: «Пой, пой, Алеко, хорошо поешь!» И я спел, полтину подарила. (Продолжает петь.)

За оградой показывается *Мармарян* — красивый мужчина среднего роста, с добрыми глазами, лицо его носит следы бурно прожитой жизни. Заметно, что правая рука и правая нога парализованы.

Опираясь на палку, он все же шагает довольно бодро.

Вержинэ. Ну ладно, замолчи, идет кто-то.

Алеко (*поднимая голову*). Это хромой барин, уходить надо. (*Напевая, медленно уходит направо*.)

Мармарян (*стоя у калитки, смотрит вслед уходящему Алеко*). Эх ты, баязетский тенор, да не иссякнет вовек твой голос! (*Подходит к столу*.) Вержинэ, принеси-ка мне живо холодного молока и сельтерской воды.

Вержинэ. Слушаюсь, Илья Мартыныч.

Мармарян. Что поделывают ваши? (*Садится за стол в шляпе, с палкой в руке*.)

Вержинэ. Вон барин идет. (*Уходит через небольшую дверь на веранде*.)

Из больших дверей выходит Антон Бегмурян. Он в черном сюртуке, в сорочке с отложным воротником, с черным узким галстуком. В руке несколько газет и счета. Сейчас же вслед за ним выходит Сурен Франгулян. Это крепкий молодой человек с энергичным лицом; весь облик его выражает деловитость. Одет в простой пиджак.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Антон, Сурен и Мармарян

Антон (*в дверях*). На этот раз просьбу твою считаю неуместной. (*Спускается в сад*). Да, Сурен, мне это не нравится. (*Здороваются с Мармаряном с дружеской небрежностью и садится за стол, кладя перед собой газеты и бумаги*.)

Сурен (*смело и резко*). Извини, дядя, я у тебя не милостыни прошу, а честно заработанного жалованья за свои труды. (*Почтительно протягивает руку Мармаряну и становится у стола*).

Вержинэ приносит холодное молоко, сифон, пустой стакан, ставит перед Мармаряном и уходит.

Антон (*горячась*). А что, у тебя такая уж тяжелая служба? Другие управляющие работают вдвое больше, а получают вдвое меньше, чем ты. (*Начинает завтракать*.)

Сурен. Будь я один, мне и ста рублей в месяц было бы много.

Антон. Ах да, у тебя пятеро детей, не так ли? Вот это я и хотел услышать. В двадцать девять лет — пятеро детей! Скажи, пожалуйста, кто ж должен отвечать за твое легкомысление?

Мармарян (*наполнив стакан наполовину молоком*).

Сурену). Молодой человек, будьте любезны, нажмите сифон.

Сурен (нажимая сифон, наполняет стакан Мармаряна). Не думал я, что иметь детей — легкомыслие.

Мармарян. Клянусь, холостяки вроде меня молодцы!

Антон. Для таких, как ты, разумеется, легкомыслие. Тебе не было и двадцати одного года, когда ты женился, да еще на нищенке. Как по-твоему, разве не обязан разумный человек сперва обеспечить себя, а потом жениться?

Сурен (с едва сдерживаемой иронией). А что ты прикажешь делать разумному человеку до женитьбы?

Антон. То, что делают все.

Сурен. Прости, дядя, я не хотел подвергать себя... опасности.

Мармарян (глядя на Сурена, снизу вверх). Как я?

Сурен. Извините, я говорю не о физическом здоровье.

Антон (раздражаясь.) Сурен, ты слишком мудрствуешь. По-моему, те люди нарушают законы нравственности, которые, еще не вылупившись, обзаводятся кучей щенят.

Сурен (побледнев, однако сдерживаясь). Дядя, у меня нет времени спорить, я должен немедленно вернуться в город. Приказывай, какие будут распоряжения.

Антон (одержимый). Ступай, я уже обо всем распорядился.

Сурен. До свидания. (*Кланяется и уходит.*)

Антон. Погоди. (*Сурен оборачивается.*) Напомни своей жене: в это воскресенье годовщина моей свадьбы. Приходите пораньше.

Сурен. Спасибо. (*Выходит решительным шагом через садовую калитку.*)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Антон и Мармарян, затем Эрсиле.

Антон (беря со стола газету). Эти родственники способны только кровь человеку портить.

Мармарян (многозначительно). Своей горькой правдой.

Антон. И ты согласен с ним?

Мармарян. Хотел бы не согласиться (вздыхая), да факт слишком явный. (Показывает на парализованную ногу.)

Антон. Кто виноват в твоей неосторожности?

Мармарян (с горькой иронией). О, ты, конечно, был осторожней. Однако не забывай, что слова этого молодого человека относились не только к физическому здоровью, но и к нравственному. И я затрудняюсь теперь решить, мой друг, кто из нас безнравственней, ты или я.

Антон (занимается счетами). Конечно, я: ведь это я, несмотря ни на что, пожелал быть счастливым.

Мармарян. Смейся, смейся, но твоими устами глаголет сама истина.

Доносятся звуки рояля. Исполняется бурный мотив.

Слышишь? В этих бурных аккордах я чувствую какой-то страстный протест. Протест чистой молодой души против всякой грязи и немощи.

Антон (кладя счета на стол, пристально смотрит на него). Видно, твоя сердечная рана еще не зажила.

Мармарян. Ах, перестань, ради бога! Рана затянулась давно. Да, я мечтал быть в своем положении, но меня спас паралич. Я был так глуп, что воображал, будто осень и весна могут слиться воедино. Эрсилье мне сильно нравилась, да, ты это знаешь. Но сама природа пресекла мой дерзкий замысел жениться на ней. И теперь я весьма доволен этим.

Игра на рояле обрывается.

Замолкла... А завтра будет то же самое.

Антон. Значит, по-твоему, я не счастливый муж?

Мармарян. Да, и никогда не сможешь быть счастливым мужем. Не будь, Антон, слепым, открай глаза и взгляни, какая пропасть лежит между вами. Кем ты был, когда женился? Человеком лет под сорок, изрядно изношенным, человеком, у которого, выражаясь вульгарно, сливки жизни были сняты и осталась одна лишь кислая жижка, а она была восемнадцатилетним ребенком. Клянусь, ты не жену искал, а красивую вещь, которой мог бы хвастаться перед другими.

Антон (*иронически*). Браво, браво, ты замечательный психолог! Но хватит. Если я разрешаю тебе свободно говорить со мной, то это вовсе не значит, что ты, болтая всякую чушь, можешь злоупотреблять моим терпением.

Мармарян. Извини, я увлекся. Слова этого молодого человека взбудоражили мои мысли. Тише, она идет...

Эрсиле *входит* через правую дверь. Двумя пальцами держит бабочку и внимательно разглядывает ее. Антон, увидев Эрсиле, оживляетя. Мармарян, поднимаясь с места, кивает головой и снова садится, положив шляпу на стул.

Эрсиле. Здравствуйте, Илья Мартыныч. (*Подходит*). Посмотрите, какая чудесная бабочка, крохотная, нежная головка и очень странные крылышки — одно черное, другое белое, вот каковы бывают капризы природы. (*Обращается к Антону*.) Вообще я не люблю бабочек, но эту поймала. Она порхала у моего окна и билась об стекло. А я лишила ее свободы.

Антон. И плохо поступила.

Эрсиле. Да? Лишив свободы? (*Грустно улыбается*.) Ты прав. (*Подходит к деревьям, выпускает бабочку*.) Лети, счастливое создание, живи день, но живи свободно!

Мармарян (*все время украдкой следит за ней, временами смотрит на Антона*.) Орлица расправляет крылья...

Антон. Эрсиле, а что поделывают мои мотыльки?

Эрсиле (*меняя тон*). Ох, не спрашивай. Сегодня они прямо невыносимы. Успокаиваю одного, плачет другой.

Вержинэ приносит кофейник, ставит перед Эрсиле и уходит.

Мармарян. Потом третий, и тогда начинается чудесное трио. А вот в моем доме — полный поэтический покой.

Эрсиле. Ах, Илья Мартыныч, временами я завидую тому, кто свободен от семейных забот.

Антон. Ты так говоришь «от семейных забот», словно чересчур обременена ими. Илья свой человек и отлично видит, как я берегу тебя.

Эрсиле. Да, Илье Мартынычу все известно.

Мармарян и Антон переглядываются. Эрсиле ставит перед мужем чашку кофе.

Илья Мартыныч, может, сделаете сегодня исключение и выпьете чашку кофе?

Мармарян. Если хотите наказать меня, выпью с радостью.

Эрсила. Значит, строжайше запрещено? (*Наливает себе кофе.*)

Мармарян. Строжайше, притом все напитки, кроме молока.

Эрсила. Мне кажется, что для мужчины это ужасно.

Мармарян. Да, особенно для меня. Когда-то я очень любил черный кофе и часто пил его с холодным шампанским и ананасом.

Эрсила. Кофе с шампанским? Впервые слышу. Надо попробовать.

Антон (*занят счетами*). Это очень вредный напиток.

Эрсила. По-твоему, все вредно: и пить кофе без молока, и курить, и поздно спать, и ужинать.

Антон. Всем этим я давно пресытился...

Эрсила (*иронически улыбаясь*). Пресытился...

Мармарян. Антон чуточку клевещет на себя. В нашей компании он славился своей умеренностью и воздержанием.

Эрсила. Да? И своим вкусом, не так ли?

Антон (*подсчитывая*). Двести пятьдесят и семьдесят — триста двадцать рублей. Только за одни обои — дорого!

Мармарян. День ото дня я все более убеждаюсь, что вкус Антона выше всякой похвалы.

Эрсила. Ах, вы неисправимы... Опять комплименты!..

Антон. Семьсот рублей маляру. Прямое разорение!..

Эрсила (*недовольно*). Хоть на полчасика оставь эти счета. (*Мармаряну.*) С утра только и занят своими подсчетами, право, надоел.

Антон. Я с утра своими подсчетами, а ты с утра своим бренчаньем на рояле. Вот мы и квиты.

Эрсила. С радостью избавила бы тебя от своего рояля, если бы ты согласился. Что же мне делать, если ты противишься...

Антон. А, все та же старая песня на новый лад. Эрсила, выкинь эту дурь из головы. Ты никогда не смо-

жешь стать пианисткой. Не слушай никого. Они льстят тебе.

Эрсила. Я прислушиваюсь только к голосу своей души.

Антон (*иронически*). И голос этот говорит, что ты талант?

Эрсила. Не знаю. Я чувствую лишь одно — если брошу заниматься музыкой, буду несчастной...

Антон (*некоторое время раздумывая, кладет в сторону счета*). Эрсила, выслушай меня, пусть слушает и наш друг. Ты женщина умная и судить можешь трезво. Предположим, на несколько лет я дам тебе свободу, и ты станешь талантливой пианисткой, ну, даже мировой звездой, в чем я очень сомневаюсь. А куда денусь я, что я стану делать? Возьму кипу твоих нот и буду таскаться из города в город, как муж артистки? Быть хвостом своей супруги и подвергаться всеобщим насмешкам и издевательствам! Нет, Эрсила, требуй что угодно, но только не этого, я слишком себя уважаю и мне дороги моя самостоятельность и свобода.

Эрсила (*поднимаясь с места*). А я, по-твоему, что? Жалкое существо, у которого нет самолюбия и права на самостоятельность?

Антон. Ты женщина.

Эрсила. Иными словами, личность несамостоятельная и лишенная собственных стремлений и идеалов?

Антон. Я сотню раз тебе твердил и еще раз повторяю, что женщина рождена быть только женой и матерью. Я не признаю за ней другого призыва.

Мармарян (*стоит в стороне, издали слушает, укоризненно*). Антон!

Антон (*раздраженно*). Чего тебе?

Мармарян. Ничего, после скажу...

Эрсила. Какое же примитивное представление у тебя о женщине! (*Взволнованно подходит к ограде и смотрит вдаль.*)

Антон (*возмущаясь*). Примитивное!.. Эрсила, не увлекайся модными идеями, они заманчивы лишь в теории, а в обычной жизни они ничто! Для женщины не может быть более величественного, более святого призыва, чем то, которое предопределено ей природой. Выкинь из головы весь этот вздор.

Эрсиле. Это вы, мужчины, считаете самостоятельность женщины вздором. Женщина тоже личность...

За оградой показывается *Анна Алимбарян*.

Мармарян. Кто-то сюда идет.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и *Анна*.

Анна — смуглая женщина, просто, но со вкусом одетая. Манеры и движения свободны, несколько резки, но не без женственности. На узком пояске висит серебряный кинжалчик-брелок. Дойдя до калитки, останавливается, смотрит в сад.

Анна. Простите, пожалуйста, это дача Бегмурянов?

Мармарян. Да.

Эрсиле (*не узнавая*). Кого вам надо?

Анна (*вбегая*). Эрсиле!

Эрсиле (*узнав*). Анна!.. Я тебя не узнала. (*Обнимаются и целуются*.)

Анна. Боже, после семи лет разлуки!

Эрсиле (*радостно*). Да, семь лет! Откуда ты, когда приехала? Вот сюрприз!.. Садись... Ах, знакомься, мой муж и его друг. Господа, вот та самая моя подруга Анна, о которой я так много говорила вам.

Антон и *Мармарян* почтительно кланяются *Анне*.

Когда же приехала?

Анна. Вчера вечером. Утром узнала, что ты здесь, и сейчас же примчалась к тебе.

Садятся.

Эрсиле. В последние месяцы от тебя совсем не было писем, я очень сердилась. Но об этом после, а теперь садись поешь.

Анна. Спасибо, я уже позавтракала у тети.

Эрсиле. Ты у нее остановилась?..

Анна. Нет! Мой муж не захотел. Мы в гостинице.

Эрсиле. Ты? В гостинице? А почему не у нас на даче? Напрасно вы так сделали. Антон, вели Самсону сейчас же пойти перенести вещи Анны.

Антон. С удовольствием. (*Хочет идти*.)

Анна. Нет, нет, благодарю! Рубен ни за что не согласится. Не стоит беспокоиться. (*Антон садится и продолжает просматривать счета.*)

Эрсила. Рубен? Твой муж и мой бывший сосед? Сколько лет я не видела его. Я была совсем девочкой, когда он уехал с Кавказа. Поздравляю, дорогая, надеюсь, ты счастлива.

Анна. Я также поздравляю, хотя в письмах мы сто раз поздравляли друг друга. (*Антону.*) Вы должны быть весьма счастливы, имея такую жену, как Эрсиле.

Антон. Да, мадам, я счастлив. (*Продолжает просматривать счета.*)

Мармарян. Скажите, пожалуйста, вы не дочь покойного доктора Хореняна?

Анна. Да. А вы знали его?

Мармарян. Ну как же, мы были добрыми знакомыми. Он был очень образованным человеком, знал почти все европейские языки.

Анна. Да, он был весьма просвещенным человеком. Это он завещал мне во что бы то ни стало получить высшее образование.

Эрсила (*вздыхая*). И тебе удастся выполнить его завет? Тебе все удастся, Анна, у тебя есть сила воли...

Антон. Пять тысяч триста рублей плотникам... Ужасно!.. (*Бросает счета и берет газету.*)

Анна. Знаешь, Эрсиле, в этом году я оставила педагогические курсы. Теперь готовлюсь поступить в Петербургский женский медицинский институт...

Антон (*с явной иронией*). Следовательно, вы хотите быть самостоятельной, независимой женщиной... Эманципация!.. (*Эрсиле укоризненно смотрит на него.*)

Анна (*резко*). Не ошибайтесь, господин Бегмурян, я хочу быть независимой, и мой муж мне не препятствует...

Антон. Это, разумеется, похвально. У вас, вероятно, нет детей...

Анна. Пока нет. А если и будут, они не помешают.

Мармарян. А чем занимается ваш муж?

Анна. Он архитектор.

Антон. Это хорошо, кстати, я попрошу его составить проект моего второго дома.

Анна. Он не принимает пока заказов. Не оторвешь он книг — хочет совершенствоваться в своем искусстве.

Антон (*собирая со стола счета*). Прошу простить меня — нужно написать несколько важных писем. (*Уходит через левую дверь на веранду.*)

Мармарян. У двух подруг после семилетней разлуки найдется о чем поговорить. (*Эрсиле.*) С вашего разрешения, я пойду на веранду.

Эрсиле. Прикажите Самсону отнести туда ваше кресло.

Мармарян кланяется и выходит через вторую дверь на веранду.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Эрсиле и Анна.

Вержинэ входит, убирает со стола и уносит посуду, с интересом разглядывая Анну.

Анна (*смотрит вслед сначала Антону, затем Мармаряну*). Этот господин — родственник твоего мужа?

Эрсиле. Двоюродный брат.

Анна. Несчастный человек!

Эрсиле. Да, он болен.

Анна. Вижу и знаю... И как много стало у нас таких больных... Почему ты улыбаешься? Теперь я почти врач, знаю тайные причины многих болезней. (*Ждет ухода Вержинэ.*) Эрсиле (*подходит и берет ее руку*), посмотри мне в глаза. Ты счастлива?

Эрсиле (*смузенно*). Зачем спрашиваешь?

Анна. Затем, что в письмах своих ты старательно умалчивала об этом, а я о себе не скрывала ничего. И теперь ты должна обо всем рассказать, понимаешь, обо всем.

Эрсиле (*грозя пальцем*). Анна, я чувствую, что он не понравился тебе.

Анна. Он похож на обыкновенного купца... Но скажи, как случилось, что ты избрала его другом жизни? Об этом ты почти ничего не писала. (*Указывает на скамью на авансцене, справа.*) Сядем и рассказывай. Ты его хорошо знала, когда выходила замуж? (*Садятся.*)

Эрсиле. Я его тогда совершенно не знала.

Анна (*удивленно*). Как?! Значит, ты польстилась на его богатство? Это с твоей поэтической душой и мечтами о любви?

Эрсила (слегка вздыхая). Послушай, Анна, если ты так интересуешься, то я расскажу. Ты знаешь, что, когда мы кончили гимназию, мне не было еще и восемнадцати лет. Ты поехала к своему брату за границу, а я жила светской жизнью... В течение зимнего сезона я не пропускала ни одного бала, ни одного благотворительного спектакля, я бывала почти на всех концертах, дневных и вечерних. Ведь ты знаешь, как я влюблена в музыку...

Анна. Влюблена! У тебя музыкальный талант. Но об этом после. Продолжай, продолжай...

Эрсила. Мне, конечно, было приятно беззаботно порхать в обществе. Понемногу я входила во вкус такой жизни. Около меня было множество кавалеров. Некоторые усиленно ухаживали за мной.

Анна. А ты, пренебрегая всеми, парила в эфире...

Эрсила. Да, во всяком случае, мужчины для меня еще не существовали. Я увлекалась только музыкой. И вот как-то в кругу знакомых я увидела Бегмуряна. Весь вечер он крутился около меня, стараясь понравиться. Что тебе сказать — среди моих знакомых он внешностью своей не выделялся. Манеры были самые неуклюжие. Он даже не умел со вкусом одеваться. На нем и новый костюм казался потрепанным. Одно мне было ясно — он очень понравился моему отцу. Так или иначе — прошла зима, весна. Лето мы провели на водах, отец мой лечился. Я, конечно, забыла Бегмуряна, однако он напомнил о себе сам. Однажды я гуляла с матерью, и он предстал перед нами, улыбающийся, радостный... Стал ежедневно бывать у нас в доме. Наконец — к чему тянуть? — не прошло и месяца, и я стала госпожой Бегмурян. В ближайшее воскресенье исполняется шестая годовщина нашей свадьбы. Вот и весь мой роман.

Анна. Значит, все же он понравился тебе?

Эрсила (категорически). Нет. Почему я дала свое согласие, не знаю. Ведь я была вольна сказать «да» или «нет». Никогда в жизни не забуду дня, когда я дала свое согласие; этот день был для меня ужасным. Я знала, что если откажу, то глубоко опечалю свою мать. Она не при нуждала, не упрашивала меня, нет, но не спускала с меня глаз, полных какой-то молчаливой мольбы и покорности. К тому же я жалела Антона. За короткий срок он без

памяти влюбился в меня. Ах, Анна, какое это тяжелое чувство — жалеть мужчину, в особенности, если его все хвалят. Я понимала, что я лицемерю, сознательно заглушаю голос своей души. И все-таки не нашла в себе силы отказаться от данного слова. Даже в день венчания, когда священник в третий раз спросил, согласна ли я, я подумала: «Еще не поздно, я еще могу от всего отречься». Но взглянула на радостное лицо моей матери, на счастливую улыбку Антона, и язык у меня, Анна, отнялся. Я не произнесла ни слова, только опустила голову на грудь. И в этот момент у меня по всему телу прошла какая-то странная дрожь. (*Сжимает руку Анны.*)

Анна. Дрожь? (*Многозначительно смотрит в глаза Эрсиле.*) Эрсиле, я страшусь твоего будущего.

Эрсиле (*закрыв лицо руками*). Нет, нет, Анна, не говори этого, не говори, Антон хороший человек... (*Встает.*)

Анна. Возможно, он хороший человек, но ты недовольна своей судьбой. А это, Эрсиле, очень опасно для женщины.

Эрсиле. Замолчи, довольно, слышишь?.. Я... Я... я не так уж несчастлива... Теперь лучше расскажи о себе, Анна.

Анна. Мой рассказ весьма короток. Я решила добиться моральной и материальной независимости, жить так, чтобы чаши весов нашей супружеской жизни были уравновешены.

Эрсиле. Я понимаю твою мысль, Анна. Какая ты умная, проницательная!.. Да, я теперь убеждена, что та женщина несчастна, которая чувствует себя во всем обязанной мужу.

За оградой появляется Рубен Алимбарян. Это худой, чуть бледный молодой человек с вдумчивым лицом. Одет в серый пиджак и брюки того же цвета, в белом жилете. У него элегантный вид, но движения нервные и резкие. Не входя в калитку, он некоторое время обозревает дачу и окружающую местность.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Рубен Алимбарян.

Рубен. О горечь детских воспоминаний! (*Видит Эрсиле, уже издали снимает шляпу.*)

А нна. Можешь представить, Рубен, что эта красавица — та самая маленькая, худенькая и бледная девочка?..

Р убен (*пожимая руку Эрсиле*). Которая забрасывала меня во дворе снежками.

Э рсила. Когда вы приходили к брату. Помню. Садитесь, пожалуйста. А зачем вы меня злили? Знаешь, Анна, как он меня дразнил?

Рубен садится около Эрсиле.

А нна. Помню, «зайкой-залезайкой», потому что каждый раз, когда приходил учитель музыки, ты залезала за рояль, как заяц под куст при виде охотника. Как странно, Эрсила, раньше ты всячески увиливала от музыки, а потом так полюбила ее.

Э рсила (*Рубену*). О каком горьком воспоминании детства вы упомянули?

Р убен. Мальчишкой как-то летом был я тут с родителями и кубарем слетел вон с того холма. (*Оглядываясь вокруг*.) В то время здесь было совсем пустынно.

А нна (*ходит, временами останавливается*). А нынче на холме, откуда ты скатился, вырос великолепный замок. Смотри, чтобы волшебница замка не околдовала тебя.

Э рсила. Ты неисправима, Анна... Вот и мой супруг...

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же, Антон и Мармарян.

Входят одновременно — Антон из правой, Мармарян из левой двери веранды.

Э рсила (*Антону*). Ты покончил со своими делами?

А нтон (*спускаясь в сад*). Да.

Э рсила. Значит, можем теперь погулять?

А нтон. Но позволь сначала познакомиться с нашим гостем...

Р убен (*подходит к Антону и подает руку*). Алимбран. Если не ошибаюсь, мы встречались за границей.

А нтон (*довольно равнодушно*). Весьма возможно...

М армарян (*здравовавшись*). Может, помните и нашу честь?

Р убен. Конечно, и вас, обоих вместе, в Париже.

Э рсила. Анна, теперь я могу показать тебе наши окрестности. (*Рубену*.) И вам, если хотите погулять.

Рубен. С радостью.

Антон. Довольно-таки жарко.

Эрсила (*шутливо*). Тебе всегда или жарко, или холодно. Но с условием, Анна, чтобы вы сегодня пообедали у нас. (*Рубену*). Вы тоже, надеюсь, не откажетесь.

Анна (*подошла к ограде, смотрит вдаль*). Какие тут красивые места. Эрсила, ты, наверное, каждый день гуляешь?

Эрсила. Нет, я очень мало гуляю.

Анна. Почему?

Эрсила. Близко гулять не люблю, а на дальние прогулки спутника нет.

Анна (*подходя к центру сцены*). А господин Бегмурян?

Эрсила. О, он очень тяжел на подъем.

Антон. Тяжел! Ведь ты по ровным местам не ходишь, а все по скалам любишь лазить да скакать и меня заставляешь следовать за собой, как гончую собаку. Поневоле отяжелеешь.

Эрсила. Да, люблю скалы, горы, люблю глубокие ущелья и мрачные пропасти. (*В сторону*) Вержинэ!..

Анна подходит к гамаку.

Мармарян (*в сторону*). Глубокие ущелья, мрачные пропасти... что значит молодость!

Входит Вержинэ.

Эрсила (*к Вержинэ*). Подай мне шляпу и зонтик. (*Вержинэ уходит*).

Анна (*берет с гамака книгу и смотрит на заголовок*). «Нравственность или предрассудок?» Эрсила, ты читаешь эту книгу?

Эрсила. Да.

Анна (*кладет книгу на место*). Интересно.

Вержинэ приносит шляпу и зонтик Эрсиле.

Эрсила (*надевая шляпу*). Я готова. (*Антону*) Ты идешь или нет?

Антон. Извини меня. Чем бродить под солнцем, я лучше поиграю с Ильей в нарды. Вержинэ, принеси-ка нам нарды.

Вержинэ уходит, Эрсиле делает недовольную мину.

Эрсиле. Мы не надолго. Анна, дай мне руку. (*Берет ее под руку*). Вот так. Я вспомнила нашу юность и опять почувствовала себя свободной. Анна, ты не можешь представить, как я рада твоему приезду.

Они уходят, оживленно беседуя. Рубен кивает головой Антону и Мармаряну и следует за ними.

Мармарян (*проводив взглядом Эрсиле, обращается к Антону*). Почему ты не пошел с ними?

Антон. Лень.

Мармарян (*загадочно*). А вот Алимбарян не поленился и будет следовать повсюду за своей женой.

Антон. Ты все о том же.

Мармарян. О том же, и постоянно буду повторять. Либо соберись с силами и полюби жизнь, как Эрсиле, либо затуши в ней пламя любви к жизни.

Антон. Я не стар.

Мармарян. Нет, для нее ты стар — стар и телом и душой.

Вержинэ приносит наряды.

Антон. Я прощаю тебе эти глупые слова только как больному другу. (*Берет наряды у Вержинэ*.)

Вержинэ уходит.

Мармарян. В таком случае позволь мне сказать тебе еще два слова. Во время недавнего спора с Эрсиле ты заявил: «Женщина рождена быть только женой и матерью». Сделать замечание в ее присутствии я счел неудобным, а теперь скажу: Антон, не повторяй так часто эту банальную фразу, пожалеешь...

Антон (*смеется*). Ладно, а ты поменьше мудри. Сядись, сыграем.

Мармарян смотрит на него с нескрываемым укором, садится и берет костяшки.

(*Бросая костяшки*.) Сегодня я непременно выиграю.

Мармарян. Посмотрим...

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Дача Бегмуряна. Небольшая, красиво убранная гостиная. Справа две двери, из которых одна, в глубине, ведет в кабинет Антона, а вторая, ближе к авансцене,— в соседнюю комнату. Между этими дверями никогда не топившаяся печь. Слева также две двери, из которых ближайшая к авансцене ведет в спальню, а вторая, в глубине,— в столовую. В средней стене большая сводчатая дверь, по обе стороны которой широкие окна. Снаружи веранда, которая тянется влево, за кулисы. За верандой виден сад, затем лес, далее горный пейзаж. В правом углу гостиной стол с книгами, журналами, газетами; тут же альбом и фотографии. В левом углу — пианино, на нем большой букет цветов и коробка с конфетами. У стен стулья, а посередине сцены софа, легкие кресла. Вечереет. Солнце еще не зашло. Вершины дальних гор освещены его последними лучами. При поднятии занавеса лучи эти постепенно угасают и из-за гор появляется луна. Праздничный обед недавно закончен. Гости гуляют по саду. Со сцены видны их силуэты, затем они исчезают. Слуги убирают стол. Самсон во фраке и Вергинэ, одетая по-праздничному, проходят по веранде влево, унося тарелки, ножи, вилки, бутылки и т. п. Все двери и окна открыты.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Соломон и Наталья Суратяны.

Соломон — бодрый для своих лет мужчина со здоровым цветом лица, с коротко остриженной бородкой, с проседью. Одет в серый редингот, белый жилет не застегнут, на нем болтается висящее на шнурке пенсне. Входит с балкона. Прежде чем войти, дает какое-то распоряжение проходящему по балкону *Самсону*. Наталья — женщина с худым лицом, сухощавая; умные глаза ее выражают твердую волю и решительность. Она с открытой головой. Волосы с заметной сединой уже поредели, но лицо все еще носит следы былой красоты. Одета в коричневое шелковое платье, без украшений. Входит вместе с мужем.

Соломон. Уф, наконец-то обед окончился! Эти кавказские тосты изрядно надоели. Теперь попробуем сигару нашего уважаемого зятя. (*Достает из жилетного кармана сигару и закуривает.*)

Наталья. Ты что, в карты вздумал играть?

Соломон. (*Опускаясь на софу*). Да, бдительный страж моей нравственности, да, рьяный апологет мужского воздержания. Не видела разве, что я велел Самсону приготовить карточный стол? А куда гости делись?

Наталья. Многие ушли, остальных мадам Алимба-рян со своей шалой головой потащила к ущелью. Смот-

рят на закат солнца, как на какое-то чудо невиданное. Соломон, пора идти домой.

Соломон. Нет, моя дражайшая половина. Ты что, забыла девиз жизни Соломона Суратяна: веселье превыше семейной идиллии!

Наталья (*садится, вздыхает*). Уж и не знаю, когда ты откажешься от этого девиза.

Соломон. Молчи, перестань зудеть, точно муха. Но обед прошел на славу.

Наталья. Не знаю. Для меня главное, что Эрсила сегодня была веселой.

Соломон. И как еще! Я ни разу не видел ее такой радостной, а сегодня шестая годовщина ее свадьбы.

Наталья (*задумчиво*). Да, положа руку на сердце могу теперь сказать, что я осчастливила дочь.

На веранде перед окном справа Самсон готовит карточный стол.

Соломон. Всей душой хочу этому верить, но...

Наталья. Никаких «но». У Эрсиле есть все, что нужно для счастья женщины.

Соломон. Кроме одного — достойного ее мужа.

Наталья. Бога ради, не повторяй этой глупости.

Соломон. Нет, милая моя, я говорил и всегда буду говорить: Антон — это проза с головы до ног, да еще избитая проза, а Эрсила, о, Эрсила — особая женщина, ты ее плохо знаешь! К тому же, до тридцатилетнего возраста о женщине нельзя говорить, счастлива она или несчастна.

Наталья. Я думаю, что шести лет совместной жизни с мужем достаточно, чтобы убедиться, что Эрсила счастлива.

Соломон. Думать можешь что хочешь, но я не слеп. Вот что я тебе скажу: сегодня во время обеда, когда эти Алимбаряны так мило веселились, я уловил на лице Эрсиле грусть. И понял — в ту минуту она думала: «Почему мой муж не такой?» А если женщина так думает, она никогда не может быть счастливой. Есе же с твоей стороны было непростительной ошибкой выдавать Эрсиле за этого человека.

Наталья. Замолчи, босга ради!

Соломон. Молчу, молчу, но вот увидишь, об этом когда-нибудь заговорит сама Эрсила. Ну, да ладно... сюда идут, я пошел играть в карты. (*Выходит на веранду.*)

Наталья (задумчиво). Неужели он прав? (Некоторое время остается под впечатлением слов мужа, затем, махнув рукой, уходит в спальню.)

Соломон и трое гостей садятся за карточный стол.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Эрсила, Антон, Анна и Рубен Алимбаяны, Сурен и Варварэ Франгуляны и Мирмарян.

Эрсила в ярком летнем нарядном платье. Анна тоже одета по-праздничному. Антон в модном светлом костюме. Самсон приносит из столовой чай и разносит его гостям.

Анна (воодушевленно). Ах, какой был чудесный закат! Вы заметили, каждую секунду облака и горы меняли свою окраску. А какие тона! Такой изумительной смеси тонов я не видала ни в Швейцарии, ни в Италии.

Эрсила (необычно весело). Анна, что ты сделала со мной? Я чувствую необыкновенное воодушевление. Ты словно вдыхаешь жизнь во все окружающее. Знаешь, после твоего приезда я на многое смотрю совсем иначе. Раньше я любила мрачные пропасти, глубокие ущелья и головокружительные высоты. А ты научила меня любить мягкую, нежную красоту природы. Скажу больше: ты открыла мне светлые стороны жизни, научила любить и понимать их.

Мирмарян. Говорят, что внешним явлениям окраску придает наше восприятие.

Анна. Вот это правда, Эрсила, наше восприятие. Возможно, на нас повлиял твой праздник, веселые гости, восхитительная природа (улыбаясь), а может, чуточку и шампанское. А вы, господин Бегмурян, кажется, не очень-то любите природу...

Антон (занят деловым разговором с Суреном). Я уж насмотрелся на эти пейзажи.

Эрсила. Ты никогда не восторгался красотой природы. (Берет с рояля коробку конфет, открывает и кладет на стол.)

Варварэ (просто одетая, довольно красивая женщина, с полным грубоватым лицом). Откровенно говоря, я удивляюсь, когда люди восхищаются каждым пустяком. Солнце закатилось, луна появилась, небо покраснело или

посинело — ну чем тут особенно восторгаться?! (*Берет две большие конфеты, одну кладет себе в рот, другую протягивает мужу.*)

Сурен (заметив ироническую улыбку Анны в ответ на слова своей жены, раздражается). По-моему, красивым можно считать только то, что так или иначе способствует благополучию нашей жизни. А эти высокие горы со своими снежными вершинами не что иное, как препятствие этому благополучию.

Рубен. Каким образом, интересно знать?

Антон. Очень просто, если бы не было этих гор, возможно, наша страна была бы покрыта сетью железных дорог.

Сурен. И средства для благополучия нашей жизни мы приобретали бы вдвое дешевле.

Рубен. Опять благополучие!.. Но что вы, господин Франгулян, подразумеваете под благополучием жизни?..

Сурен. Здоровье и материальную обеспеченность моей семьи.

Антон. Коротко и ясно.

Варварэ. (беря еще одну конфету). Конечно, это так. (*Кладет конфету в рот.*) Ты не согласна, Эрсила?

Эрсила. Не спрашивай меня. Я в таком настроении, что не знаю... не знаю... кажется, я готова любить красивое даже в преступном.

Антон (удивленно). Красивое в преступном?

Анна. Часто красивое в преступном в тысячу раз лучше, чем уродливая добродетель.

Мармарян. Странные слова говорят наши дамы.

Варварэ. Ничего не понимаю. (*Берет конфету.*)

Рубен. Я так понимаю это: красота — сама по себе уже добродетель. Конечно, красота в общем смысле, а не одна лишь физическая красота.

Варварэ. Лучше всех сказал Сурен: здоровье и благополучие, а все остальное глупости.

Рубен. Глупости... Какие чудеса природы и жизни могут доставить такое удовольствие, как здоровье и сытые физиономии членов своей семьи?..

Сурен. Вы шутите, господин Алимбаян.

Рубен. Нет, нет, я в восторге, видя, что у вас все жизненные вопросы суммированы и подведены под одну черту — здоровье и благополучие семьи. Все остальные

вопросы — пустяки, продукт праздного ума глупых бездельников...

Сурен. Вы, господин Алимбарян, просто-напросто насмехаетесь, несмотря на то, что сами женаты. Но я утверждаю, что счастье личности непрочно, если оно не постоится на том пьедестале, который называется семьей.

Соломон (*с веранды*). Поразительно не везет мне сегодня, поразительно! Пас.

Антон, в знак одобрения кивая головой Сурену, подходит к Эрсиле, которая сидит в кресле, и, став за неё, нежно кладет руки ей на плечи. Эрсила печальна.

Рубен (*с горькой иронией*). Только жаль, господин Франгулян, что пьедестал этот нынче изрядно расшагался. И теперь даже тот, кто судит не выше сапог своего, не в состоянии построить свое личное счастье на этом пьедестале.

Сурен (*горячась*). Это там, в вашей просвещенной Европе, но не у нас.

Рубен. Дай бог, чтобы и у нас семья была так счастлива, как там!

Наталья (*выходит из спальни*). Ох, больше возиться с ними не могу. Дети хотят спать.

Эрсила. Да, уже пора. (*Поспешно проходит в спальню.*)

Наталья. Антон, они тебя зовут.

Антон (*полушутя, полусерьезно*). Извините меня, я должен уложить ребят. (*Уходит в спальню.*)

Варварэ (*Рубену*). Видели, вот это и есть семейное счастье.

Рубен. Мне прибавить больше нечего. (*Подходит к роялю, перелистывает ноты.*)

Соломон (*с веранды*). Наталья, иди постой рядом, у тебя легкая рука.

Наталья идет на веранду. За сценой слышатся звуки свирели. Все слушают.

Анна. Что это такое?

Мармарян. Свирель. Представьте, какой-то босой и полуголый курд каждый вечер здесь, на бугре под окном, усаживается, поджав ноги, и играет. (*Подходит к Рубену.*)

Анна. Чудесно! И как гармонируют эти тихие, нежные звуки с лунным светом!

Рубен. Любопытно бы увидеть этого музыканта.

Мармарян. Пойдемте. (*Tuxo.*) Я понял смысл ваших слов. Мы с вами поговорим об этом наедине. (*Уходит на веранду, взяв Рубена под руку.*)

Варварэ. Пойдем, Сурен, и мы вблизи послушаем его. (*Берет горсть конфет. Анне.*) Вы не хотите послушать?

Анна. Издали свирель звучит приятнее.

Соломон (*бросая карты на стол*). Господа, я больше не хочу играть. Хватит, черт знает сколько проиграл. (*Встает и вместе с Натальей уходит через веранду налево. Партнеры, весело разговаривая, следуют за ними.*)

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Эрсиле и Анна.

Эрсиле выходит из спальни.

Эрсиле. Ты одна?

Анна. Я осталась, мне хочется побывать с тобой.

Эрсиле. И мне. (*Взяв руку подруги.*) Ах, Анна, не знаю, что со мною творится, я в каком-то непонятном настроении. Кажется, я тут наговорила глупостей.

Анна. Глупостей ты не говорила, но...

Эрсиле. Что но? Говори...

Анна. Но выдала при гостях свое настроение. Эрсиле, я понимаю твоё состояние и...

Эрсиле. И жалеешь меня, да?.. Ах, какая ты счастливая, Анна, какая счастливая, что сама решила свою судьбу.

Анна. Но ведь и ты свою судьбу решила сама.

Эрсиле (*с горькой ironией*). Я? И ты веришь этому? Нет, Анна, моя воля была в плена у родителей, то есть в плена у моей матери, отец тут не виноват. Она ослепила меня, затуманила мозги, отняла у меня волю. Она совершенно опьянила меня неумеренными похвалами Бегмуряну, и, представь себе, недостатки его улетучились, а крохотные достоинства выросли. И лишь после этого она прямо обратилась ко мне и сказала: «Милая моя, ведь мы не принуждаем тебя, а только спрашиваем:

«Хочешь выйти за Бегмуряна?» Я произнесла «да». И это «да» раз и навсегда избавило ее от ответственности.

Анна. Но ведь ты говорила, что Бегмурян хороший человек.

Эрсила. Говорила, и сейчас я этого не отрицаю, Анна, но что мне до того, если он хороший человек, что мне до того? Он чужд моей душе, совершенно чужд и всегда был чужим, всегда!..

Анна. Бедняжка, значит ты несчастна?..

Эрсила. И ты еще спрашиваешь? Разве сама не видишь?

Игра на свирели прекращается.

Анна. Да, я вижу — он тебе совсем не друг жизни. Но ты живешь с ним шесть лет, неужели привычка вас не связала?

Эрсила. Именно связала, связала жестокими цепями. Живу? Кто, я? Нет, я не живу, я прозябаю...

Свирель начинает новую мелодию.

Анна. И ты только теперь это почувствовала?

Эрсила. Почему только теперь? С тех пор как стала думать о жизни, сознавать свою участь. А сейчас мое состояние мне кажется совершенно невыносимым, и виной тому — ты, Анна.

Анна. Я?

Эрсила. Да, ты, Анна, не обижайся, это делает тебе честь. Я всегда чувствовала, что на свете есть счастливые люди, есть счастливая жизнь. Чувствовала смутно, инстинктивно. И вот после твоего приезда мне стало ясно то, что до сих пор было непонятно. Твои прекрасные слова о настоящем супружестве, твои широкие взгляды на цели жизни, твои свободные идеи о самостоятельности женщины и, наконец, твое собственное счастье — все это нанесло мне последний удар. И теперь я, Анна, совершенно несчастна. Прости, дорогая, зависть моя незлобивая, дружеская, будь еще счастливее, в тысячу раз счастливее, а я... я несчастна. (*Тихо плачет.*)

Свирель обрывается.

Анна. Успокойся, дорогая, приди в себя. Поговорим потом, сейчас не время. Сюда, кажется, идут.

Эрсила. Нет, нет, больше не могу лицемерить, довольно!.. (*Вытирает глаза, успокаивается.*)

Анна. Лицемерить? Да, жить, лицемеря,— большое несчастье.

С веранды входят Рубен, Мармарян, Франгуляны, Суратяны и остальные гости.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Рубен, Мармарян, Варварэ.

Рубен. Это было очень интересно. Давно не слушал ничего подобного. Бедняга, с каким удивлением посмотрел он на меня, когда я зааплодировал.

Мармарян. Для восточного человека аплодисменты — дикость. Он восторгается музыкой в благоговейном молчании.

Антон выходит из спальни.

Рубен (*подходя к Эрсиле*). До свидания, Эрсиле, с вами всегда так приятно, но уже поздно.

Эрсила. Разрешите Анне остаться у меня ночевать.

Рубен. Разрешить? В наших отношениях с Анной слово «разрешить» не существует. Она вольна делать все, что ей захочется. (*К Анне.*) Хочешь остаться?

Анна. Я вернусь, Эрсиле, сейчас нужно к тете забежать, воображаю, как та беспокоится, весь день меня не видела. А пока до свидания. (*Пожимает руки остальным.*)

Варварэ. Сурен, ведь нас ждут дети. Ты же знаешь, я не привыкла ночевать у других. (*Протягивает руку к коробке конфет, но, постеснявшись, отходит.*)

Эрсила (*закрыв коробку, протягивает Варварэ*). Милая, передай от меня эту коробку своим детям.

Варварэ (*тянется к коробке*). Ах, не надо, не надо.

Эрсила. Нет, нет, бери.

Целуется с Варварэ.

Гости пожимают руки хозяевам и выходят через двери в глубине. Эрсила и Антон провожают их до веранды. Там Самсон подает им пальто, палки и т. д. Вержинэ собирает стаканы и уносит в столовую.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Эрсиле и Антон

Антон (*возвращается под руку с Эрсиле*). Дорогая, мне так хочется побыть с тобой вдвоем, а ты простишь госпожу Алимбарян ночевать у нас. Не понимаю, что за странное желание.

Эрсиле (*высвобождая руку*). Дети заснули?

Антон. Да, спокойно спят. Господин Алимбарян пусть говорит что хочет, а для меня нет ничего выше семьи.

Эрсиле. По-моему, Алимбарян придает семье более высокое и важное значение, чем ты, твой двоюродный брат и все остальные.

Антон. Он отвергает счастье семейной жизни.

Эрсиле. Да, той семейной жизни, в которой нет согласия.

Антон (*пристально смотрит на нее*). Эрсиле, ты говоришь таким тоном, словно почувствовала в его словах намек на нас.

Эрсиле. Как знать, быть может, он и намекнул. Разве у него нет основания?

Антон. Основания? И это говоришь ты? Во всяком случае, такой намек в мой адрес несправедлив. Я доволен своей семейной жизнью и вполне счастлив. Когда вспоминаю о своем бессмысленном прошлом и сравниваю его с настоящим, то поражаюсь, как я мог быть таким слепым и не женился лет десять назад. Хотя что я говорю, ведь тогда ты не была бы моей женой. (*Обнимает Эрсиле*.) Сядем, сегодня мне особенно хочется побеседовать с тобой.

Эрсиле (*высвобождаясь из его объятий*). Оставь меня, мне сидеть не хочется.

Антон. Боже, сколько усилий и хитрости я приложил, чтобы отбить тебя у десятка блестящих молодых людей. Год ты теперь моя, и, откровенно говоря, я не знаю, чему приписать мое счастье... (*Целует.*)

Эрсиле (*вновь отстраняя его*). Скажи, пожалуйста, ты меня сильно любишь?

Антон. И ты еще спрашиваешь? (*Берет ее руки в свои.*)

Эрсила. Если лишишься меня, очень опечалишься?
Антон (*оставляя ее руки*). Эрсила!

Эрсила. Мне кажется, что твоя любовь основана на глубоком эгоизме, что во мне ты любишь не меня, а себя, свое личное счастье.

Антон. Не понимаю, что это за рассуждения? Разве личное у мужа и жены не связано самыми прочными узами?

Эрсила. Да, так говорят. Но я этого не чувствую. Скажи, можешь ты меня любить независимо от своего я, любить просто так, как чужую тебе женщину?

Антон. Как чужую? Вот как! Но что мне даст эта так называемая платоническая любовь?

Эрсила. Она даст тебе многое — уважение любимой, ее преданность, признательность и бесконечную благодарность.

Антон. Невелика награда. Но все же я не понимаю твою мысль, Эрсила.

Эрсила (*задумчиво*). Мою мысль... Мысль моя неотделима от моих чувств. Если можешь, загляни в мое сердце и пойми. (*Подходит к окну и смотрит в сад*.)

Антон (*некоторое время в мучительном раздумье смотрит ей вслед*). Ах, вот что, кажется, немного понимаю...

Эрсила. Да, немного? И так поздно?

Антон. Поздно? Нет, я это чувствовал с первого дня нашей женитьбы. Но я думал, что ты еще совсем молода, плохо знаешь жизнь и по-настоящему не понимаешь, что такое семейное счастье.

Эрсила. И согласился вместо настоящей любви получить поддельную... Не так ли?

Антон. Поддельную?

Эрсила. Да, ту лицемерную любовь, которую дают своим мужьям девяносто девять женщин из ста. Ты надеялся, что с годами придёт привычка и это примирит меня с моей участью. Ведь ты думал так: «Пусть у нее внутри кипит и бурлит сколько угодно, время все успокоит и сделает ее в конце концов моей пленницей».

Антон. Пленницей?

Эрсила. Да, одним из тех жалких существ, которые, попав в ярмо законного брака, до конца дней своих несут это ярмо, как покорные животные.

Антон. Ты ошибаешься, я думал иначе. Я думал так: любовь, истинная, прочная любовь, приходит не сразу; это самое ценное сокровище в мире, и добыть его можно только настойчивостью и терпением. С первого дня нашего знакомства я шаг за шагом старался приблизиться к тебе. Я любил тебя всей силой души, любил не только как жену, а как друга жизни, как человека, я ничего не жалел для тебя, бесконечными уступками и добротой стараясь растопить лед твоего сердца.

Эрсиле. Да, верно, ты всегда был со мной уступчивым, добрым и любящим, возможно, даже великодушным. Но неужели ты не чувствовал, что эта твоя доброта, любовь и великодушие давят меня, как тяжелое ярмо? Неужели ты не чувствовал, что для женщины невыносимо получать, даже от законного мужа, все — и ничего не хотеть дать ему взамен, ничего, кроме холода и безразличия?

Антон. Каюсь, не чувствовал, так как никогда не мог предположить, что то, что делает человек для своей законной жены, он делает это из расчета на ее благодарность. Эрсиле, не истязай свою душу, смотри на жизнь проще и уими свое пылкое воображение. От тебя зависит превратить нашу жизнь или в тернистую пустыню или в цветущий сад.

Эрсиле. О, если бы это зависело от меня, разве я так разговаривала бы с тобой? Но, к великому несчастью, разум мой не может задушить мои нынешние чувства и породить в сердце иные.

Антон. Значит, я никогда не узнаю твоей ответной любви, никогда?..

Эрсиле (*пауза, борется с собой*). Не знаю...

Антон (*раздражаясь*). Эрсиле!

Эрсиле. Не жди, чтобы я и дальше лицемерила. Довольно, сколько я намучилась. Я больше не могу. Теперь мне понятна разница между жизнью и прозябанием.

Антон. Только теперь? Понимаю. После встречи с подругой. Ты завидуешь ее участи, не так ли? Ты считаешь ее счастливой, а себя несчастной, да? Эрсиле, не верь счастью других. Оно может быть обманчивым. Заглянуть в душу человека очень трудно.

Эрсиле. Я это не просто говорю. Я это чувствую сердцем.

Антон. Эрсиле, тебе завидуют сотни женщин. Спроси их, и они скажут, что ты самая счастливая.

Эрсиле. Да, не отрицаю, меня считают счастливой, однако считают те женщины, которые во имя богатства, золота, брильянтов, роскошных нарядов, дорогой мебели могут забыть самое главное — свою душу.

Антон. А ты... ты... хочешь заполнить пустоту своей души чем-то более... чем-то более существенным, да?..
(Волнуется.)

Эрсиле *(оскорблённая)*. Не оскорбляй меня подозрениями, я не давала тебе никакого повода.

Антон. Да, до сих пор не давала, но что будет дальше?

Эрсиле. Я не могу говорить в таком тоне. *(Направляется к спальне.)*

Антон. Нет, погоди. Именно так я теперь буду говорить с тобой. Хватит, довольно терпеть, молчать и мучиться. Эрсиле, обуздай свое пылкое воображение, не то оно свалит тебя в бездну.

Эрсиле. Пусть свалит, но лицемерить я больше не хочу и не могу.

Антон. Не можешь? В таком случае и я не стану лицемерить. Послушай, до сегодняшнего дня ты больно ранила мое самолюбие, мое мужское я, но я прощал тебе и молчал. А теперь, когда ты так дерзко пренебрегаешь мною, я тебе вот что скажу, слушай хорошенъко. Некоторое время я еще буду продолжать относиться к тебе так, как относился до сих пор.— с любовью и лаской. Но если ты и впредь останешься такой же холодной и безразличной, если и впредь в глубине души ты будешь презирать меня, тогда вспомни, что я сын простого крестьянина, горец. Понимаешь мою мысль?

Эрсиле. Понимаю. Ты прибегнешь к приемам своих отцов и дедов, станешь деспотом.

Антон. Я буду вынужден им стать. Жена должна или любить своего мужа или бояться его. Я не смог вызвать в тебе любовь, так вызову страх и уважение. Быть может, это и к лучшему. *(Хочет идти в свой кабинет.)*

Анна *(входит с балкона)*. А вот и я... *(Видя Эрсиле взъерошенной и бледной, в удивлении останавливается на пороге.)*

Антон. Прошу вас, продолжайте воспитывать мою жену... (*Проходит в кабинет.*)

Анна. Эрсиле, что случилось? Ты вся дрожишь.

Эрсила. Ах, не спрашивай! (*Рыдая, падает в кресло.*)

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Городская квартира Бегмурянов. Большая гостинная. Направо дверь на уличный балкон, по обеим сторонам которой окна. Напротив две двери: одна, ближе к углу, ведет в переднюю, другая, посередине,— в столовую. Две двери на левой стороне: одна ведет в кабинет Антона, другая, ближе к авансцене,— в будуар Эрсилы, за которым находятся спальня и детская. В правом углу комнаты рояль, а у авансцены красивый письменный столик из черного дерева. На столе серебряный чернильный прибор, несколько книг в изящных переплетах и настольные часы. У левой стены — диван, кресла, стол, покрытый вышитой скатертью, на столе альбом. В общем, комната убрана со вкусом, украшена картинами, гравюрами, статуэтками и разными безделушками, которыми Эрсила увлекается. На средней стене зеркало в венецианском стиле, а на правой — печь, перед которой стоит ширма.

Середина сентября. Погода теплая. Все окна и двери, кроме двери кабинета, открыты. В столовой видны обеденный стол с белой скатертью и стенные часы. Временами там показываются Самсон и Бержинэ.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Эрсила и Наталья.

При поднятии занавеса Эрсила увлеченно играет на рояле. Из передней доносится звонок. *Самсон* выходит из столовой, идет в переднюю. Немного погодя оттуда выходит Наталья в шляпе. Наталья подходит к Эрсиле, останавливается, выжиная, чтобы она обернулась к ней. Эрсила, увлеченная игрой, не замечает Наталью, которая, подождав, целует ее.

Эрсила (*вздрогнув, сильно бьет по клавишам, и игра обрывается резким диссонансом*). Ах, только разыгралась и помешали. (*Оглядывается.*) А, это ты, мама? (*Встает.*)

Наталья. Он дома?

Эрсила. Да, сидит в кабинете со своими счетами.

Наталья (*развязывая ленты шляпы*). Все еще сердится?

Эрсила. Не знаю, ступай сама спроси. (*Подходит к зеркалу, поправляет волосы.*)

Наталья (*кладет шляпу на стол и, тихо подходя к Эрсиле, берет ее за руку*). Эрсила, скажешь ли ты мне наконец, что произошло между вами?

Эрсила (*высвобождая руку*). Оставь меня, мама, не спрашивай ни о чем, не спрашивай, прошу тебя.

Наталья. Легко сказать «не спрашивай ни о чем». Еот уже больше месяца я не вижу в этом доме радостных лиц. Он не разговаривает со мной, а ты день ото дня все худеешь и бледнеешь. «Не спрашивай!» — как будто я не мать и у меня нет сердца.

Эрсила (*с горькой иронией*). Мать, конечно, ты мать, и очень заботливая, очень любящая мать, как и все подобные тебе матери!

Наталья. Каким тоном ты это говоришь? Ты что, насмехаешься надо мною?..

Эрсила. Мама, довольно, не терзай и ты меня.

Наталья. Я тебя терзаю или ты меня? Эрсила, я не успокоюсь до тех пор, пока не узнаю, что в этом доме произошло. Затем я и пришла и не уйду отсюда, пока ты обо всем мне не расскажешь... Слышишь, обо всем?

Эрсила (*некоторое время молчит, борясь с собой, подходит к матери*). Мама, прежде чем обо всем узнать, скажи мне: если я покину этот дом, примешь ли ты меня к себе?

Наталья (*вздрагивает*). Покинешь этот дом и уйдешь? Зачем?

Эрсила (*с горькой иронией*). Зачем?.. Просто так, для удовольствия, ведь это теперь модно. (*Горький смех*.)

Наталья (*поражена*). Ты что, сошла с ума или издаешься надо мной? Говоришь серьезно и в то же время смеешься над своими словами. Не понимаю, ничего не понимаю.

Эрсила. Да, мое состояние понять трудно, очень трудно! Это надо пчувствовать. Почувствовать то, что чувствую я, и потом осуждать тех женщин, которые будто бы без серьезной причины оставляют своих мужей и уходят.

Наталья. Чем дальше, тем больше путаются мои мысли и темнеет в глазах. Эрсила, умоляю, не терзай меня, скажи, что тебя мучает.

Эрсила. Скажу, мама, скажу, чаша уже переполнилась, но теперь оставь меня и уйди. Он скоро выйдет из кабинета, а я не хочу, чтобы вы встретились. Пройди к детям, они одни. Вот, кажется, он идет, уйди, мама...

Наталья (*берет со стола шляпу*). Боже милосердный, спаси нас от беды! (*Проходит в будuar*.)

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Эрсила и Антон.

Антон (*выходит из кабинета. Грустный и раздраженный*). Я иду к нотариусу. Если Мармарян придет, попросите его подождать здесь, я скоро вернусь.

Эрсила (*не глядя в сторону Антона*). Хорошо.

Антон. И впредь будьте любезны, сударыня, хотя бы по утрам не играть, вы мне мешаете заниматься моими непоэтическими делами.

Эрсила. Хорошо.

Антон (*едва сдерживая раздражение*). Няня ушла, кто теперь с детьми?

Эрсила. Моя мать.

Антон (*с ироническим смехом*). Обязанности матери исполняет бабушка! Должно быть, и эту новую моду вы переняли у свободомыслящей госпожи Алимбаян.

Эрсила. Вам больше нечего сказать?

Антон. Кое-что имею.

Эрсила. Слушаю.

Антон. Я вам приказываю, чтобы в моем доме больше не было ноги этой женщины. Хватит, она вас уже достаточно просветила.

Эрсила. Я не могу закрыть двери моего дома перед своей подругой.

Антон. «Двери моего дома!» У вас, сударыня, нет дома, нет!

Эрсила. Да?

Антон. Да. Это было раньше, когда я, мечтая покорить ваше сердце, отдал вам все. Теперь дом принадлежит мне, и только мне! А вы... вы в нем... экономка без прав. И даже эта должность, как вижу, для вас велика.

Эрсила. Если находите, что велика, отнимите и ее.

Антон. И это для вас ничего не значит, пустяки, да?

Эрсила (колеблется, потом решительно). Да, пустяки...

Антон. Вы не женщина, а чудовище...

Эрсила. Почему? Потому что я не лгу и не могу лгать? Потому что говорю то, что велит мне сердце? Потому что из-за твоего богатства не убиваю в себе искренности и правды?..

Антон. Искренность и правда — зло, если они губят жизнь всей семьи...

Эрсила. Жизнь, основанную на лицемерии, лжи и обмане. Жизнь, позолоченную снаружи и гнилую внутри.

Антон. Браво. Вы отлично преуспели в безнравственном обучении. Вы считаете гнилью основу, которая освящена божескими и человеческими законами. Восстаете против принципа, который является единственным устойчивым и прочным фундаментом для разумного и нравственного существования? в таком случае, скажите, что является опорой ваших фантазий?

Эрсила. Сердце.

Антон. Ах, сердце, сердце, которое в девяносто девяти из ста случаев — враг здравого смысла!

Эрсила. И которое не покоряется ложным законам, не подчиняется их насилию.

Антон. Хотел бы знать, что вам диктует сегодня ваше сердце.

Эрсила. Оно диктует сказать, что жить так больше нам невозможно, что нужно наконец найти выход, чтобы избавить и вас и меня от этих бесконечных ссор.

Антон. Но кто или что вам дает право разрешить вопрос по вашей воле?

Эрсила. Мое личное желание, моя мечта жить по-человечески.

Антон. Но ведь и у меня есть личное желание и мечта жить по-человечески.

Эрсила. Живи, как хочешь, я тебе не мешаю.

Антон (распалился). Эрсила, моя любовь не подействовала на вас, не забывайте, что есть сила, которая может сломить вашу строптивость.

Эрсила. Я знаю, что это за сила. Насилие, к которому вы уже стали прибегать.

Антон. Нет, я еще не стал прибегать. То, что я делал до сих пор, это цветочки, ягодки будут впереди.

Эрсила. Делайте, что хотите, теперь мне все безразлично. (*Хочет пройти в будуар.*)

Антон. Погодите.

Эрсила (*останавливаясь*). Что вам угодно?

Антон (*сдерживая гнев*). Подойдите ко мне. (*Упорно смотрит на Эрсила.*)

Эрсила (*глядя на Антона*). Что прикажете? (*Ужасается его взгляда.*) Ах! (*Закрывает лицо руками.*)

Антон. Боитесь, да? Вы этого хотели? Моя любовь была ненавистной, не так ли, тягостной, невыносимой? О!.. (*Сдерживает яростную вспышку гнева. Раздражение смениется порывом чувства. Некоторое время страстно смотрит на нее, но самолюбие побеждает.*) Будь ты проклята, сатана, я боюсь самого себя! (*Быстро проходит в переднюю.*)

Эрсила медленно, бессильно опускается на диван.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Эрсила и Наталья.

Наталья. Теперь я знаю, что здесь творится. Я все слышала. Эрсила, ты его не любишь?

Эрсила. И ты еще спрашиваешь!

Наталья. Я не знала.

Эрсила. Шесть лет я непрерывно боролась с собой, принуждала себя, пытаясь полюбить и не сумела. Как я могла потерять голову и связать свою жизнь с ним? Ах, мама, мама, почему ты хоть еще на год, на два не оставила меня у себя, пока я сама не научилась думать? Тогда я не попала бы в этот ад. Неужели у тебя не было куска хлеба для дочери?

Наталья. Погоди, погоди, все это так неожиданно для меня, я даже не знаю, что сказать. Разве Антон плохой человек? Чем?

Эрсила. Ах, мама, разве муж обязательно должен быть плохим человеком, чтобы не любить его? Разве недостаточно того, что я каждый час, каждую минуту чувствую, что он мне не друг жизни, что я обманулась? Разве недостаточно того, что сожительство с ним — для меня цепь душевных страданий? И неужели можно требовать от меня, чтобы я носила эту цепь до самой могилы только

потому, что один конец ее в руках чуждого моему сердцу человека? Антон — человек неплохой, да, но он чужд моему сердцу, мама, и даже более чем чужд...

Наталия. Послушай, дочь моя, теперь я понимаю тебя и знаю, почему ты считаешь себя несчастной. Слушай внимательно. Когда я вышла замуж за твоего отца, мне было двадцать лет и я была такой же красивой и пылкой, как ты. Среди тогдашней молодежи он выделялся не только своей пленительной внешностью, но и своими способностями и остроумием. Я полюбила его и была счастлива, как сказочная королева. Но (*сдержанная волнение*) вскоре радостные дни моей жизни сменились скорбными. Не прошло и года, и для меня наступили самые черные дни, какие выпадают лишь на долю тем женщинам, которых обманывают, которым изменяют, делая их предметом насмешек и глумлений.

Эрсила (удивленно). Мама, неужели мой отец?..

Наталия. Да, дорогая моя, твой отец действительно очень хороший, но в то же время совершенно безвольный человек. Эрсила, разве я не знаю, почему Антон тебе не нравится? Конечно, он не красив, не красноречив и по сравнению с тобой не молод — словом, ни телом, ни душой он тебе не пара. Но, милая моя, все это пустяки в сравнении с тем большим достоинством, каким обладает Антон. Эрсила, он не попирает твою честь, не изменяет тебе, не делает тебя посмешищем в глазах своих любовниц, а что это значит — я знаю. Сколько горестных ночей провела я, сидя одна-одинешенька среди четырех стен, проливая слезы и проклиная свою судьбу! Я всей душой желала, чтобы муж мой был уродом, стариком, даже дураком, лишь бы среди женщин он любил только меня одну.

Эрсила. Бедная мама, бедная мама!

Наталия. И вот в одну из таких ночей я поклялась выдать тебя замуж за кого угодно — за простого крестьянина, за захудалого ремесленника, лишь бы была уверена, что он не станет тебе изменять. Говорят, что меня подкупило и прельстило богатство Бегмуряна, но клянусь жизнью твоего брата, твоей жизнью, Эрсила, что это не правда. Я полюбила его как человека. Когда я в первый раз увидела его, сердце подсказало мне: «Отдай свою дочь этому человеку, он будет хорошим семьянином, он никогда не изменит своей жене». И мне кажется, что я не

ошиблась. Так или не так? Ты шесть лет замужем за Антоном, скажи, изменил ли он когда-нибудь тебе, увлекся другой женщиной?

Эрсила. О, если бы этого было достаточно, чтобы любить, я бы покорилась. Мама, мама, к чему мне его верность, если я не люблю его и никогда-никогда не смогу полюбить!

Наталья. К чему? Вот если бы он изменял тебе, ты бы знала, к чему верность. Человек только тогда что-либо ценит, когда теряет.

Эрсила. Возможно, это и так, я не знаю, но поверь, мама, по временам в глубине души я даже хочу, чтобы он вызвал во мне чувство ревности; этим, быть может, он сумел бы согреть мое сердце, но он шесть лет без памяти влюблен в меня, и для меня эта любовь — не любовь, а... а... как бы мне выразиться... какое-то наказание, невыносимое бремя на моей душе.

Наталья. Эрсила, ты сама не знаешь, что говоришь, ты теряешь рассудок. Первый раз слышу, чтобы женщина могла страдать от любви своего мужа, да к тому же такого мужа, который окружил ее всеми благами жизни. Эрсила, я боюсь сказать, уж не пресытилась ли ты супружеской жизнью и не хочешь ли завести роман, как это делают безнравственные женщины...

Эрсила (*возмущаясь*). Замолчи, мама! По-видимому, я вынуждена тебе наконец сказать то, чего не хотела говорить. (*Понижая голос*) Мама, Антон мне противен, понимаешь, противен.

Наталья (*содрогаясь*). Противен?

Эрсила. Да, я чувствую физическое отвращение к нему.

Наталья. Вот оно что!

Эрсила. Каждый раз, когда он приближается ко мне и грубо обнимает меня, в особенности же когда целует, по моему телу пробегает мороз. Вначале я терпела, как-то сдерживалась, но потом, потом, ох, боже мой!. (*Закрывает лицо руками*.)

Наталья. Но ведь ты шесть лет жила с ним, у тебя от него дети...

Эрсила. Да, жила, как казалось другим, но на самом деле я не жила, а испытывала только страдания и отвращение... (*Тихо плачет*.)

Наталья (забоченно). Физическое отвращение — это... это что-то другое, сама я не испытала, но слышала, что против этой хвори никакого лекарства нет. Ладио, Эрсила, не плачь, слезами горю не поможешь. Пойдем к детям, они утешат тебя, пойдем. (Звонок.) Вот, сюда идут... Пойдем, умойся, оденься... (Обняв Эрсила, ведет ее в будуар.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Антон и Мармарян.

Антон (входит с Мармаряном из передней). Продолжай, почему замолчал? (Садится на диван.) Продолжай, что это за истина, о которой я якобы не осмеливаюсь думать?

Мармарян (озираясь вокруг). Истина эта такова: кто хочет быть счастливым супругом, тот сам должен быть в состоянии дать счастье жене.

Антон. Выходит, что я не могу дать счастье. Так, что ли?

Мармарян (садится). Вероятно, можешь, но не такой женщине, как Эрсиле.

Антон. Почему?

Мармарян. По той простой причине, что между тобой и ею — непроходимая пропасть.

Антон. Ты намекаешь на мой возраст? Да, я на восемнадцать лет старше. Но неужели это непреодолимая пропасть между мужчиной и женщиной?

Мармарян. Не только это, Антон, не только это. Мы привыкли повторять, как попугай, что женщина отстала от мужчин в своем интеллекте и в своих стремлениях. Быть может, это и верно, но если взять, например, тебя, то картина будет обратная. Оглянись на себя и посмотри, каков ты. Чтобы люди поверили, что у тебя высшее образование, ты должен постоянно носить на груди университетский значок и иметь диплом в кармане. А между тем, ум Эрсиле запечатлен, так сказать, на ее челе. Вот уже сколько лет я не вижу в руках у тебя ни одной серьезной книги. Твое любимое чтение — счета и договора управляющего. А она... она постоянно читает, постоянно думает и развивает свой ум. Мне часто приходилось быть свидетелем ваших споров, и победа всегда оставалась за

нею. А у тебя имелось одно-единственное оружие — насмешка. Эрсила постоянно взлетала вверх, а ты старался подрезать ей крылья и держать прикованной к земле. Ах, Антон, Антон, будь я на твоем месте, знаешь, что бы сделал? Клянусь, дал бы ей полную свободу. Пусть свободно развивала бы свой талант. Одно из двух: или она стала бы хорошей пианисткой — и тогда я охотно преклонился бы перед ней, или же у нее ничего бы не получилось, она разочаровалась бы — и тогда сама преклонилась бы перед моим великодушием и была бы в вечном долгу передо мной.

Антон. Продолжай, продолжай...

Мармарян. Но ты постоянно твердил и твердишь одну и ту же плоскую мысль: «Женщина рождена быть женой и матерью». Ну, положим, что это так. Но скажи, пожалуйста, каково было твое положение в течение всех этих шести лет? Был ли ты убежден хотя бы день или даже час, что Эрсила принадлежит тебе душой и сердцем, всем своим существом, а? Ты ежеминутно с трепетом думал, что вот-вот явится более достойный и вырвет ее из твоих рук. А ведь ты, клянусь, воображал, что у тебя счастливая семейная жизнь. Жалкий человек! А теперь, скажи, пожалуйста, что ты теперь делаешь? Что за обращение с женой? Запер в четырех стенах чуткую, умную женщину и мучаешь ее, как варвар... Зачем, с какой целью?

Антон. Я обращаюсь с ней строго для нашей же взаимной пользы. Я знаю, у нее временное затмение ума, скоро все пройдет, и она образумится.

Мармарян. И ты веришь, что так покоришь ее сердце?

Антон. Сердце, возможно, и нет, но разум покорю и подчиню своей власти, так как, образумившись, Эрсила поймет, что она мать детей.

Мармарян. Дети, дети! Вот на что ты надеешься. Эх вы, эгоисты! Ослепляете наивных девушек, женитесь на них, затем торопитесь навязать им детей. А после, когда молодая женщина становится старше, у нее раскрываются глаза и она хочет жить по велению своего ума и сердца, вы начинаете лицемерно волить: «Это непростительно, постыдно, у тебя есть дети, обязанности, честь...» — и не знаю что еще там. А где собственная жизнь женщины,

спрашиваю тебя, ее собственная жизнь? Она ничего не стоит, ничего? Она постоянно коверкается, попирается ради вас, эгоистов?

Антон. Ах, довольно, оставь меня в покое! (Встает.) Ты не знаешь, что здесь творится. (Указывает на сердце.) Ты не знаешь, Илья. Да, это правда, что, выбирая Эрсиле, я следовал эгоистическому чувству, избрал ее за красоту и молодость. Я заранее мысленно гордился перед другими, что у меня будет блестательная жена. Но теперь, теперь клянусь честью, Илья, хотел бы, чтобы она была некрасивой или старой. Да, да, желал бы, чтобы какая-нибудь незримая рука внезапно наложила пятно на это прекрасное лицо, какой-либо изъян, чтобы, чтобы...

Мармарян. Чтобы она больше никому не нравилась. Понимаю.

Антон. Нет, нет, ты еще не знаешь всего. Послушай, Илья (взяв руку Мармаряна, понижает голос), я поведаю тебе одну тайну. Но пусть никто ее не узнает. (Загадочно.) Эта дьявольская мысль появляется у меня знаешь в какое время? В глухие ночи, когда в ее спальне царит мертвая тишина. Погоди, когда же это было? Да, не вчера, а позавчера ночью. Страдая от бессонницы, я ходил здесь один. Она была там. (Указывает на будуар.) Я подошел к двери, приоткрыл и воровски заглянул, потому что знаешь, Илья, теперь я могу смотреть на свою жену только как вор! Она лежала на диване в белом платье. Ее пышные волосы образовали вокруг красивой головки — да, да, у нее очень красивая головка! — чудесный венец. Но для меня, Илья, она была чужой, совершенно чужой. Мне казалось, что я в первый раз вижу ее, мою законную жену. И я был очарован ее красотой так, как никогда раньше. Слушай, слушай, Илья. Вдруг мною овладело какое-то бесовское наваждение. (Он все больше и больше понижает голос.) Ее красота и молодость пробудили во мне ужасную злость (трогая его за руку), ты слышишь, слышишь? Да, да, ее красота показалась мне моим самым злым врагом. Там, в моем кабинете, в ящике стола, хранится жидкость. Достаточно смочить кусок ваты этой жидкостью, провести хотя бы по ее красивым бровям и... злой враг сгинет. Илья, ты понял мою мысль?.. (Оставляя руку Мармаряна, смотрит на него горящими глазами, ужаснувшись своих слов.)

Мармарян (пораженный, смотрит на него). Антон, в тебе сидит страшный зверь... Я даже слушать не хочу тебя...

Антон (задыхаясь). Да, она должна принадлежать или мне или никому, слышишь, никому?..

Мармарян. Она никому не принадлежит, и вряд ли когда-нибудь...

Антон. Ты так думаешь, ты убежден?..

Мармарян. Могу поручиться своей жизнью и честью, что Эрсиле теперь принадлежит только самой себе и будет послушна лишь голосу, идущему из самых глубин ее совести.

Антон. Но в этих глубинах она может найти могилу своей нравственности... Такое душевное состояние женщины опасно для чести ее мужа... Илья, надо спасти Эрсиле от падения...

Мармарян. И для этого додуматься до такой дикости — отнять у нее дар божий, изуродовать ее... Ну, довольно, я вижу, ты начинаешь сходить с ума.

Антон. Сходить с ума? Да, может и так случиться. (*В голосе чувствуются слезы.*) Но загляни, Илья, в душу этого зверя и посмотри, что там делается... Прошло несколько минут, и злодей стал совершенно другим человеком. Я стал, Илья, несчастным, жалким существом. И тогда во мне возникло желание — подойти к ней, опуститься на колени и, обливаясь слезами, вымолить прощение. Я — у нее? Это даже смешно, не правда ли? Просить прощение у той, перед которой я виновен лишь в своей безграничной любви. Илья, находиться так близко от нее и быть таким далеким! Любить собственную жену, с которой прожил шесть лет, любить безумно и не обладать ею — это больше, чем несчастье, это страшное горе! (*Пауза.*) Но я мужчина и не должен позволить себе пасть духом.

Мармарян. Во всяком случае, надо положить конец этому, не то, как вижу, ты станешь душевнобольным... Но теперь выйдем, пройдемся, чтобы рассеяться. Свежий воздух подействует на тебя.

Антон. Ты прав, пойдем. (*Направляется в переднюю, Мармарян следует за ним. Из будуара выходит Наталия.*)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Наталя.

Наталя. Антон!

Антон (*останавливается*). Что вам угодно?

Наталя. Погоди, я знаю теперь, что случилось, все это пустяки, помиритесь.

Антон. Я с нею нессорился.

Наталя. Знаю, ты не виноват. Это она немного речитается. Ведь ребенок еще, что поделаешь, улыбнись ей и все уладится.

Антон. Слышишь, Илья, мне предлагаю улыбаться, мне, который целых шесть лет старался превратить ее жизнь в одно веселье.

Наталя (*в сторону будуара*). Эрсиле, поди-ка сюда. Выходи, прошу тебя! (*Антону*.) Ну, сынок, поди сам попроси. (*Антон из самолюбия недвигается с места*.) Не хочешь? (*Мармаряну*.) Илья Мартыныч, попросите вы, она вас очень уважает.

Мармарян (*подходит к будуару*). Мадам, на минуточку!..

Эрсила выходит, здоровается с Мармаряном.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Эрсила.

Эрсила. Что вам угодно, Илья Мартыныч?

Мармарян. Хотя я здесь третий лишний, но мне известны ваши размолвки и, как искренний друг вашего дома, я очень не хотел бы видеть этих ссор. Мой друг страдает...

Антон. Илья!..

Мармарян. Почему не сказать правды, разве сама она не знает? Сударыня, бывают ситуации, когда от нас зависит превратить их в комедию или в драму.

Эрсила. Могу теперь я удалиться?

Мармарян (*удивленно*). Куда?

Эрсила. В одну из многочисленных комнат этого дома. Запереться там, никого не видеть, ни с кем не разговаривать, ни с кем!

Антон. Такова ваша мечта?

Эрсила. Да.

Антон. Илья, пройди на минутку в мой кабинет.
Мама, прошу выйти.

Мармарян проходит в кабинет. Наталья -- в будуар.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Эрсила и Антон.

Антон. Чего ты в конце концов желаешь, чего требуешь, скажи откровенно, решительно, чтобы и я знал?

Эрсила. Развода.

Антон. Развода? Ладно. Но ведь для этого должна быть веская причина? Изменил ли я тебе, обманул ли, оставлял голодной? Что я, развратник, вор, разбойник или не могу кормить и содержать тебя?

Эрсила. Все это пустяки по сравнению с этим.
(Указывает на грудь.)

Антон. Но что имеется там, скажи, чтобы и я знал...

Эрсила. Ах, если до сих пор ты не почувствовал и не узнал, объяснить это теперь излишне.

Антон. Ладно, не любишь, знаю... Не люби, принудить не могу, но продолжай оставаться моей женой, понимаешь, моей женой, матерью моих детей. Ничего не поделаешь, ведь не все женщины любят своих мужей.

Эрсила. Сперва я была равнодушна к тебе, потом начала ненавидеть, а затем ты стал мне омерзителен...

Антон (*вздрагивая*). Омерзителен?

Эрсила. А теперь я боюсь тебя...

Антон. Боишься?:

Эрсила. Да, неужели ты забыл? Боже мой, что это было?! Я там лежала (*указывает на будуар*) с закрытыми глазами. Ты вошел. Думал, я сплю. Я взглянула на твоё лицо. Глаза у тебя горели, как угли, губы были сжаты и дрожали. Весь твой облик выражал что-то дикое. Что ты намеревался сделать -- не знаю, но на твоем лице я прочла злой замысел. Я с криком вскочила, ты посмотрел на меня, стиснув кулаки, скрежеща зубами, и удалился, точно привидение. Нет, нет, я ужасаюсь, вспоминая. Не могу, не могу. Если еще с неделю продолжится такое положение, я сойду с ума. А я не хочу этого, не хочу, потому что считаю жизнь незаменимым божьим даром.

Антон. Ты пользовалась всеми благами жизни и не

оценила меня. Эрсиле, не заставляй меня сделаться злодеем, образумься.

Эрсиле. Мне противно лицемерить и лгать.

Антон. Опять о том же.

Эрсиле. Да, и всегда!

Антон (*раздражаясь*). По-видимому, в тебе от природы было семя безнравственности, а эта бесстыдная женщина лишь способствовала его расцвету. (*Эрсиле хочет удалиться в будуар.*) Погоди, ты не туда идешь (*показывает на переднюю*), вот твоя дорога...

Эрсиле. Об этом я решила раньше тебя. *Направляется в будуар.*

Антон. Нет! Я не позволю тебе повидаться с ними.

Эрсиле (*с ненавистью*). Все твои угрозы бесполезны... (*Хочет идти в будуар.*)

Антон (*теряя над собой власть*). Нет, твоя дорога не та и не эта. Вот она! (*Указывает на окно.*) Я вышвыриу тебя на улицу, как грязную тряпку. (*Набрасывается на нее.*)

Эрсиле (*кричит*). А-а!..

Наталья (*врывается в гостиную*). Антон!..

Мармарян (*поспешино выходит из кабинета*). Антон!

Антон, ужаснувшись своего намерения, останавливается, стараясь собраться с мыслями. Эрсиле падает в объятия матери.

Антон. Илья, уведи скорей меня отсюда. Я совершу преступление.

Мармарян берет его под руку и ведет к выходу.

Занавес

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Та же гостиная, с той же меблировкой. На рояле шляпа Антона. Постепенно темнеет. При поднятии занавеса Мармарян дремлет в кресле, обернувшись лицом к левой стене, рядом с ним трость. Через некоторое время входит Вержинэ, ставит зажженную лампу на стол перед диваном, поднимает фитиль.

Сцена освещается.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Мармарян и Вержинэ.

Мармарян (*очнувшись, поднимает голову, смотрит по сторонам. Увидев Вержинэ*). А, это ты? Уже рассвetaет?

Вержинэ (*улыбается*). Темнеет, а не рассветает.
Мармарян (*смотрит на часы*). Верно, я так крепко
уснул, что мне казалось — ночь...

Вержинэ. Сейчас семь часов вечера.

Мармарян. Барин не выходил из дома?

Вержинэ. Нет, он у себя в кабинете.

Мармарян. Принеси мне сельтерской воды.

Вержинэ. Сейчас. (*Идет в столовую*.)

Мармарян (*взяв трость, встает, подходит к кабинету Антона, приоткрывает дверь, осторожно заглядывает, потом закрывает и возвращается*). И он, как я, заснул в кресле... Пусть поспит, отдохнет немного. Идиотская жизнь!..

Вержинэ (*приносит из столовой сифон и стакан, ставит на стол*). Илья Мартыныч, налить?

Мармарян. Конечно.

Вержинэ наполняет стакан, подает ему.

Мармарян (*пьет и ставит стакан на стол. Заметив, что Вержинэ пристально смотрит на него*). Что ты на меня так уставилась?

Вержинэ. Илья Мартыныч!.. (*Не решается продолжать*.)

Мармарян. Ну?

Вержинэ. Сердце изболелось смотреть на...

Мармарян. На кого?

Вержинэ. На мою барыню. Сидит в своей комнате, все время детишек целует да плачет. Прямо на глазах чахнет, хиреет, ничего ей не интересно... сё-богу!..

Мармарян. По-моему, твоему барину еще хуже...

Вержинэ. Нет, не говорите, Илья Мартыныч... Правда, и барин душой болеет, но барыня... ах, боже мой! (*Вытирая слезы*.) Разве можно так, Илья Мартыныч, ведь дня не проходит, чтобы барин... (*с опаской озирается по сторонам*.)

Мармарян. Что?..

Вержинэ. Бьет он ее... ей-богу!..

Мармарян (*про себя*). Я это знаю. (*Вержинэ*.) Не ври, болтунья!

Вержинэ. Ей-богу, Илья Мартыныч, своими глазами видела... (*Тихо плачет*.)

Мармарян. Молчи, девушка. Ступай, не твое это дело... (*Из передней доносится звонок.*) Звонят, иди открой дверь... Но никому ни слова, понимаешь, никому!..

Вержинэ. Ну конечно, другим не скажу... (*Уходит в переднюю.*)

Мармарян погружается в раздумье. Из передней появляются Соломон и Наталья. Вержинэ относит сифон и стакан в столовую. Наталья печально кивает головой Мармаряну и тут же уходит в будуар.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Соломон и Мармарян.

Соломон (*пожимая руку Мармаряну, опускается в кресло, кладет на стол шляпу.*) Какие новости?

Мармарян. Какие могут быть новости? Червь гложет сердце обоих, а я, точно страж, охраняю их.

Соломон. Но так же невозможно жить!

Мармарян. Разумеется, невозможно... Но что по-делаешь, упрямству вашей дочери нет границ... Это непонятно и совершенно неразумно...

Соломон. Возможно, но заставить ее любить нелюбимого человека нельзя.

Мармарян. Заставить, разумеется, нельзя, а убедить, что во имя детей она обязана подчиниться своей судьбе, можно. И это, господин Суратян, ваша обязанность... Да, ваша обязанность... Вы отец...

Соломон. Я не могу требовать от своей дочери делать то, что она считает преступлением,— лицемерить и лгать...

Мармарян. Но ведь Эрсиле — мать.

Соломон. Да, но в то же время она человек, личность, у нее своя душа. Пусть что хочет говорит ваше общественное мнение, но из-за так называемого долга никто—понимаете?—никто, даже родной отец, не имеет права требовать мученичества. Я сам человек жизнерадостный и не способен ни на какие жертвы ради вашей хваленой морали. (*Пауза.*) Да знаете ли вы, что ваш родственник теперь не стесняется кричать на мою дочь и даже грубо бранить ее. О, не пытайтесь отрицать, об этом вся прислуга говорит!..

Мармарян. Отчаяние сделало его нервным и вспыльчивым... Ведь он как безумный любит вашу дочь,

и страх потерять ее мучает его днем и ночью. Я даже опасаюсь за его рассудок. Он на все способен... Вот почему я, позабыв о своей болезни, как тень следую за ним по пятам. Он сделался задумчивым, мрачным и таким подозрительным, что даже мне не верит...

Соломон. Все можно допустить, кроме подозрения. Эрсиле из тех несчастных женщин, для которых ложь и лицемерие — самый тяжелый грех. Она еще никого не любила, а если полюбит, то не побоится и не скроет этого. Вот почему я решил со своей стороны оставить все в ее воле: хочет, пусть примирится со своей судьбой, а не хочет — пусть...

Мармарян. Пусть оставит детей и уйдет, так что ли?

Соломон. Илья Мартыныч, не будьте ребенком... Никакая мать, будь у нее каменное сердце, без серьезной причины не расстанется со своими детьми... И вы не должны осуждать Эрсиле, если она когда-нибудь уйдет из этого дома... И, наконец, есть вещи, о которых я не могу говорить открыто...

Мармарян (*смотрит загадочно на Соломона*). Я это знаю, догадываюсь...

Соломон. Знаете? Ну, тогда молчите...

Мармарян (*прислушиваясь у дверей кабинета*). Кажется, проснулся. Ради бога, уходите, он не может хладнокровно вас видеть. Он думает, что вы настраиваете свою doch против него...

Соломон. Я пойду к Эрсиле. Во всяком случае, вопрос должен разрешиться сегодня же — так или этак.

Мармарян. Однако постарайтесь разрешить вопрос мирно... Он должен сейчас пойти на собрание кредиторов Мизандарова. Его присутствие там обязательно. Уйдите, кажется, он идет...

Соломон уходит в будуар Эрсиле.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Антон и Мармарян.

Антон (*входит из кабинета, застегивая пуговицы сюртука*). Ты тут?.. Присматриваешь за мной, как нянька?..

Мармарян. Что же делать, если ты ведешь себя как ребенок?

Антон (*внезапно раздражаясь*). Кто там? Я слышу голос ее негодяя отца. Эти люди словно поклялись свести меня с ума. Я не могу терпеть его присутствие в моем доме. (*Направляется к будуару*.)

Мармарян (*преграждая путь, хватает его за руку*). Стой! Если ты хоть на волосок уважаешь себя, не скандал с ее родителями. В этом деле ни одно третье лицо не виновно...

Антон (*останавливаясь, потирает лоб, затем пристально смотрит на Мармаряна*). Третье лицо... Да... (*Более раздражаясь*.) Но что я знаю, что ты знаешь, глупец?.. Может быть, именно третье лицо и виновно. А в самом деле, Илья, как по-твоему, нет ли третьего лица?..

Мармарян. Не бери, Антон, греха на душу, ведь ты знаешь, что никого нет...

Антон (*отрезвившись*). Да, знаю, убежден... Нет третьего лица, его не может быть... Эрсиле не из таких женщин, но почему? (*Снова раздражается*.) Почему она так себя ведет?.. Ведь я тот же Бегмурян, ведь я не изменился?.. Откуда возникла эта ненависть, эта страшная драма?.. Скажи, Илья, разве я изменился, разве я теперь стал другим человеком?.. Постарел, да? Никуда не гожусь, тряпка, хлам, который надо выкинуть в мусорный ящик, да?..

Мармарян. Изменилась она, а ты не изменился и не мог измениться... И твое несчастье в том-то и состоит, что не можешь измениться, поздно...

Антон. Но я вытравлю из нее это чувство. Я уничтожу в ней... Я образумлю ее... Я... я... (*В сильном возбуждении*.)

Мармарян. Грубостью,ссорой, руганью и побоями?.. Никогда!.. Напротив. Ты станешь ей еще омерзительнее и еще больше унизишь себя в ее глазах и в глазах других.

Антон. Так укажи мне способ вернуть потерянное.

Мармарян. По-моему, единственный способ — это дать ей свободу.

Антон. Развестись? Никогда, ни за что!.. Ты с ума сошел, ты говоришь, как легкомысленный холостяк. Об

этом я и слышать не хочу. Она была моей и, пока я жив, останется моей.

Мармаряи. Приуждением, насилием?

Антон. Да, буду действовать принуждением, насилием, правами, законом — все равно как, но свободы я ей никогда не дам. Никогда не позволю, чтобы имя мое ни с того ни с сего сделали предметом пересудов... Она моя и вечно останется моей, потому что я так хочу... (*Входит Самсон и передает Антону письмо.*)

Антон. Что это? (*Вскрывает, быстро читает и бросает в сторону. Самсону.*) Скажи, чтобы меня не ждали.

Самсон хочет идти.

Мармаряи (*поднимая с пола письмо. Самсону.*). Погоди. (*Читает письмо. Антону.*) Нельзя, Антон, ты обязательно должен пойти на это собрание. Дважды из-за тебя откладывали его. Ведь ты самый крупный кредитор обанкротившегося Мизандарова, без тебя нельзя что-либо решить. (*Самсону.*) Скажи, что сейчас придет.

Самсон уходит.

Ну, пойдем, и я с тобой, я тоже приглашен, мне следует тоже кое-что получить. Пойдем.

Антон. Я бы хотел потерять все и впасть в крайнюю нищету, лишь бы сердце мое было спокойно. Пойдем, пойдем, я прихожу в бешенство, когда слышу голос этого человека. (*Бросает в сторону будуара полный ненависти взгляд. Вместе с Мармаряном уходит в переднюю.*)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Эрсиле, Соломон и Наталья.

Соломон (*войдя первым*). Где он? Я хочу с ним наконец поговорить. Бить мою dochь, мою Эрсиле!

Эрсиле. Папа, ни слова! Я прошу не вмешиваться в наши отношения. Я сама подумаю и решу, что мне делать.

Наталья (*сильно взъерошенная*). Ты уйди, займись своим делом... Нечего тебе вмешиваться. Такой человек, как ты, не вправе поучать других.

С о л о м о н. А такая женщина, как ты, не вправе быть матерью. Это ты сделала несчастной мою дочь, ты, своей жадностью, сребролюбием. Бегмурян не пара Эрсиле.

Э р с и л е (*выдавая свои муки*). Ради бога, родные мои, оставьте меня в покое. Ах, что за муки!

С о л о м о н. Нет, я больше не могу оставаться безучастным. Ты скелетом стала. Ты больше не останешься в этом доме. Забирай детей и пойдем ко мне домой... Разводись с этим грубым мужланом... Не отдаст детей?.. Пусть не дает, ты переезжай, я и детей отниму у него.

Н а т а л ь я. Бог отнял у тебя разум — вот что я могу сказать. Кого уводишь отсюда, куда? Что случилось, чтобы ей разводиться с мужем? И кто, наконец, примет ее в мой дом? Ты думаешь, что я перенесу такой срам? Ну что тут особенного? Человек разгорячился, кровь ударила в голову, ну, он один раз и ударил ее. Что же случилось, ведь не обрушился мир? Я была бы в тысячу раз счастливее, если бы ты меня бил, а не бесчестил. Эрсиле, выкинь дурь из головы... Не слушай этого болтуна... Он сам не знает что говорит...

Э р с и л е. Успокойся, мама, и ты успокойся, папа. Я сама позабочусь о себе. Уходите только отсюда, оставьте меня одну. Папа, умоляю, уйди. Я хочу остаться одна.

С о л о м о н (*берет ее за руку*). Эрсиле, смотри мне прямо в глаза. Будь осторожна, понимаешь, осторожна, не думай о глупостях...

Э р с и л е. Нет, папа, будь спокоен, я уж не так малодушна. Этого никогда не будет, понимаешь, никогда, папа. Я хочу жить и буду жить. Он применяет физическую силу, я применю нравственную. Я докажу ему, что и женщина может иметь в жизни свою цель и свою волю, что и женщина может разорвать свои цепи... Мама, не плачь, прошли те времена, когда слезы были единственным оружием женщины... Ты это увидишь... Пусть что хотят говорят другие... Ну, мама, уйди...

С о л о м о н (*Наталье*). Пойдем, Эрсиле сама лучше знает, что надо делать. Мы можем прийти попозже. (*Эрсиле*.) Послушай, дочь моя, что бы ты ни решила, знай, что я всегда готов защитить и помочь тебе...

Э р с и л е. Спасибо, папа... (*Целует его*.) Ты добрый.

Н а т а л ь я. А я разве злая, доченька? Разве я не мать? (*Вытирая глаза*.) Что поделаешь, если не можешь

побороть себя, заглушить омерзение к нему: делать нечего, и мой дом — твой. (*Целуется с Эрсилем.*) Но что бы ты ни сделала, подумай хорошенько, потом сделай. Слышишь их голоса? (*Указывает на будuar.*)

Эрсила, сдерживая рыдания, бросается на шею матери и горячо целует ее. Наталья вместе с Соломоном направляется к выходу. На пороге Эрсила снова кидается к ним, целует и затем некоторое время смотрит им вслед.

Эрсила (*подходит к окну, выглядывает на улицу, возвращается*). Ушли. Бедняги, если бы вы знали мою тайную мысль... (*Подходит к дверям столовой, заглядывает, затем садится за письменный стол, обхватывает голову руками и, опервшись локтями на стол, задумывается.* Затем, решительно махнув рукой, берет перо и пишет.)

Из передней доносится звонок.

(Она вздрагивает, рвет письмо и бросает в корзину; старается собраться с мыслями.)

Входит Анна Алимбарян в дорожном костюме.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Эрсила и Анна Алимбарян.

Анна (*смотря по сторонам, подходит к Эрсиле и целует ее*). Признаюсь, с трепетом вошла сюда. Твой муж, кажется, считает меня своим злейшим врагом. Но как я могла уехать, не повидавшись с тобой?

Эрсила. Значит, вы сегодня обязательно уезжаете?

Анна. Да, мы и без того слишком задержались. Не знаю, удастся ли мне теперь сдать экзамены. Боже мой, во что ты превратилась, Эрсила? Ты больна?

Эрсила (*стараясь беспечно улыбнуться*). В эту пору года я всегда худею.

Анна. Не только это, Эрсила, твое лицо выражает такое горе, страдание. (*Подходя, берет ее руки.*) Эрсила, я все знаю, знаю все. Ты очень несчастна.

Эрсила (*отнимая руки и отворачиваясь*). Когда отходит поезд?

Анна. В четверть десятого. Ах, как бы не опоздать!
(Смотрит на свои часы.) Нет, еще нет восьми.

Эрсила (делая решительный жест, подходит к дверям столовой, нажимает кнопку звонка, слышен звонок). Садись, Анна, у тебя еще достаточно времени...

Анна садится за письменный стол, опирается локтем о стол, положив голову на ладонь, смотрит мрачно в одну точку. Из столовой выходит Вержинэ. Эрсила шепотом дает какое-то распоряжение. Вержинэ с недоумением смотрит на нее. Эрсила торопит. Вержинэ спешно проходит в будуар, оглядываясь на Анну и пожимая плечами.

Анна (поднимая голову). Эрсила, если ты хлопочешь об угощении, не стоит, опоздаю.

Эрсила (странным, взволнованным голосом, но пытаясь сдержаться). Да, я хочу тебя угостить, но не в этом доме, а... Анна, я готовлю тебе сюрприз. Быть может, ты удивишься, но возмущаться ты не должна.

Анна. Эрсила, что за странные слова и каким странным тоном ты говоришь! (Вставая, снова берет ее руки в свои.) Посмотри на меня, в глазах твоих я читаю какую-то необыкновенную решимость. Эрсила, твой муж опять огорчил тебя, опять оскорбил. Расскажи, Эрсила, что случилось? (Хочет обнять.)

Эрсила (высвобождаясь из ее объятий). Оставь меня, может, я недостойна, чтобы меня обнимала моя подруга. (Подходит к окну и смотрит на улицу.)

Анна. Ничего не понимаю. Эрсила, чем дальше, тем больше ты становишься непонятной. Неужели у тебя есть тайна от меня? Ведь я все знаю, знаю, какая тяжелая драма происходит сейчас в твоей душе.

Эрсила. Как она тяжела, ты не можешь даже вообразить, ведь ты еще не мать! (Направляется к будуару, но на полпути останавливается.)

Анна. Здесь или произошло что-то необыкновенное, или должно произойти. Эрсила, не мучай меня этими двусмысленными намеками, говори прямо. Ты разводишься с ним?

Эрсила (сама с собой). Дети! Разве я теперь для них мать или была когда-нибудь ею? С того дня, когда я поняла, что я несчастна, материнское чувство сделалось для меня невыносимым страданием. Конечно, я их люби-

ла, любила, как родившая их женщина... какое животное не любит своих детенышней? Но эта любовь всегда была смешана с какой-то глухой ненавистью.

Анна (*продолжает с удивлением смотреть на нее*). Ненавистью?..

Эрсила. Нет, нет, мучением, невыносимым мучением.. Оно появилось, когда я поняла, что они от нелюбимого мужа, особенно, когда глядела на их лица и подмечала сходство между ними и этим человеком. Пусть что хотят говорят обо мне, но я не считаю любовью ту материнскую любовь, которая не освящена супружеской любовью. Нет более глубокого несчастья, чем видеть в родном ребенке воплощение своей ошибки. А теперь... когда я гляжу теперь на них, сердце разрывается от горя, оттого что я не настоящая мать, я только их родила, но духовно они мне как-то чужды. И разве это не преступление, Анна, разве не преступление? А если это преступление, зачем продолжать, зачем совершать его каждый день? Скажи же, Анна, надо ли, надо ли все это продолжать?

Анна. Спроси, дорогая, у своего сердца, у своей души. Ответ на такие вопросы человек должен искать только в самом себе.

Эрсила. Спросить у своей души? Ах, я много и подолгу советовалась со своей душой и пришла к выводу, что из двух зол надо выбрать меньшее. Я мать, да — значит обязана воспитывать своих детей. Но какое воспитание детям может дать мать, которая считает этих детей следствием своей собственной ошибки и несчастья? Я поверкаю их души и буду безнравственной матерью, если так будет продолжаться. Нет, нет, надо положить конец этому лицемерию и лжи. Я не имею права так поступать, никакого права... Анна, я не имею права!..

Анна. Дорогая, бесценная моя, как же оставить тебя в таком волнении и уехать? Успокойся, родная... (*Обнимает*)

Эрсила (*высвобождаясь из ее объятий*). Не бойся и совершенно не заботься обо мне. До сегодняшнего дня ты видела меня слабой и безвольной, теперь увидишь другой. Ступай, ты можешь опоздать. Я хочу, чтобы ты сегодня уехала, непременно сегодня. Понимаешь, потом, возможно... будет поздно. Ну, счастливого пути!..

Анна. Но ты холодно прощаешься со мной. Эрсила,

ты что-то задумала, что-то решила, меня поражает выражение твоего лица. Скажи мне о своем намерении.

Эрсила. Узнаешь, скоро узнаешь... Я напишу... Сегодня же, сейчас, в эту минуту... Ступай, я боюсь, что он придет. Он тебя ненавидит, он тебя считает причиной того, что я изменилась. Он может оскорбить тебя...

Анна. Счастливо оставаться, дорогая... Вот что, Эрсила, на что бы ты ни решилась, знай, что мои симпатии всегда на твоей стороне, но кроме одного решения... Понимаешь, о чем я говорю? Это слишком старый способ разрешения вопроса... Не надо быть малодушной...

Эрсила. Никогда я не проявлю слабости.

Анна. Так, значит, ты поняла меня. Будь осторожной и благоразумной.

Эрсила (*с горькой усмешкой*). Будь осторожной и благоразумной!.. И это говоришь ты, Анна, ты, которая свободным порывом своих мыслей вызвала во мне этот душевный переворот?..

Анна. Но ты поняла, в каком смысле я говорю: будь осторожна...

Эрсила. Да, да, поняла... Ну, иди, уезжай, счастливого пути!.. Прощай! Нет, до свидания, скоро увидимся... Ступай, чтобы не встретить его...

Целуются. Анна целует ее несколько раз и быстро выходит через переднюю.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Эрсила и Вержинэ.

Эрсила (*проводив Анну, подходит к дверям будущего*). Вержинэ!

Вержинэ (*показывается на пороге*). Готово.

Эрсила. Скажи Самсону, пусть кликнет извозчика. Скорее. И все, что уложила, вынеси на улицу. Погоди. Заснули?

Вержинэ. Они давно спят.

Эрсила. Торопись...

Вержинэ проходит в переднюю. Эрсила некоторое время стоит неподвижно.

Да, да, другого выхода нет!.. Все дороги, кроме этой, небезнравственны, все!.. (*Неуверенно шагая, проходит в будущее.*)

Вержинэ (*входит из передней, она чрезвычайно взволнована; ищет глазами Эрсиле, затем подходит к двери будуара, прислушивается*). Кажется, плачет...

Самсон (*входит из передней*). Извозчик внизу.

Вержинэ (*указывает в стороны передней*). Там, у дверей, я оставила узел, возьми снеси в экипаж. (*Самсон уходит*.)

Эрсиле (*выходит из будуара, в шляпе, в руках маленький сверток. Несколько секунд бессильно стоит у порога, затем, собравшись с силами, решительно идет вперед*). Пусть настоящее меня осудит, будущее оправдает. Вержинэ, подойди...

Вержинэ (*бросается к Эрсиле, хватает ее руку и прижимает к губам*). Как же мы без тебя?..

Эрсиле (*сдерживая слезы*). Вержинэ, я тебе поручаю. (*Целует ее, поспешило подходит к письменному столу, берет перо, быстро пишет несколько строк, вкладывает письмо в конверт и оставляет его на столе*.)

Эрсиле. Не надо быть малодушной... (*Еще раз целуется с Вержинэ и торопливо проходит к выходу*.)

Вержинэ (*вытирая глаза, следует за ней. Некоторое время сцена остается пустой. Вержинэ возвращается в комнату, подходит к окну, наклоняется, выглядывает в окно и отходит*). Уехала. Боже мой, зачем она так сделала?.. (*Хочет пойти в будуар, но из передней доносится звонок, Вержинэ вздрогивает, стоит как вкопанная, затем поспешило проходит в будуар*.)

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Антон, Мармарян, затем Вержинэ, Наталья и Соломон.

Мармарян (*входя с Антоном из передней*). Что это за нелепый поступок, что за ребячество?! Оставить заседание в самый важный момент и так внезапно уйти?! Задаешь вопрос председателю. Он хочет ответить, а ты, не дослушав его, вдруг срываешься с места. Это прямо-таки поступок сумасшедшего. Ты спятил с ума. Все обратили на тебя внимание и стали шушукаться...

Антон. Плевать мне на всех! Пусть считают меня сумасшедшим. Меня тянуло сюда какое-то дурное предчувствие. Илья, посмотри, никого там нет?..

Мармарян. Антон, не мучь себя глупыми подозрениями. Эрсиле никогда этого себе не позволит. (*Подходит к письменному столу.*)

Антон (*в сторону будуара*). Вержинэ!.. Кто там? (*Прислушивается.*) Ничего не слышно. Лицо Самсона мне показалось весьма подозрительным.

Вержинэ выходит из будуара и останавливается у дверей, виновато опустив голову.

Кто там? Суратяны ушли?

Мармарян (*заметив письмо на столе, берет*). Что это? Письмо на твоё имя.

Антон (*выхватывает письмо, торопливо вскрывает и читает*). Вот этого я уж не ожидал! (*Побледнев, протягивает письмо Мармаряну.*) Прочти.

Мармарян (*читает*). «Если бы я осталась в твоем доме, то была бы безнравственной женщиной и плохой матерью. Пусть меня считают бессердечной матерью, но лицемерить и лгать не могла. Подробности с дороги».

За несколько минут до чтения письма входят Наталья и Соломон, так что и они все слышат.

Орлица сломала клетку и улетела.

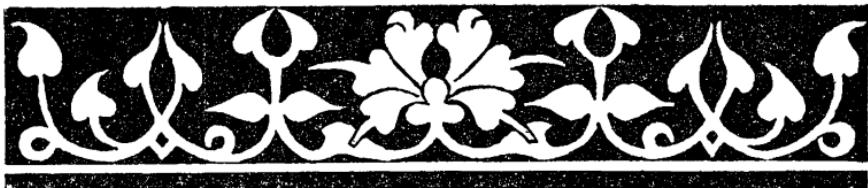
Антон. Чтобы подохнуть с голоду...

Соломон. Нет, я не оставлю ее голодной...

Антон (*Наталье*). Радуйтесь, ваша дочь стала героиней! (*С горьким рыданием падает в кресло.*)

Наталья закрывает лицо руками.

Занавес.



ИЗ-ЗА ЧЕСТИ

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Андреас Элизбарян — один из видных местных богачей, здоровый и крепкий мужчина 55 лет; волосы с проседью, коротко острижены, жидкай бородка, румяные щеки.

Ерануи — его жена. Дочь священника, 46 лет; в прошлом красивая, а теперь увядшая, бледная и худая, но милая женщина.

Баграт — старший сын Элизбарянов. Современный деловой человек 27 лет с энергичным выражением лица; движения и жесты быстрые, в разговоре резок и категоричен.

Сурен — младший сын Элизбарянов, 23 лет; довольно симпатичный, жизнерадостный молодой человек, на лице которого разгульная жизнь наложила уже свои следы. Одевается по последней моде.

Розалия — старшая дочь Элизбарянов, 24 лет. Девушка с красивым самодовольным лицом.

Маргарит — младшая дочь Элизбарянов, 22 лст. Девушка с задумчивым лицом и выразительными глазами. Похожа на мать, но более красивая. Одевается скромно и со вкусом.

Арташес Отарян — усыновленный Андреасом сын его покойного компаньона, 26—27 лет, с вдумчивым лицом, нервными движениями. Одевается всегда в черное.

Сагател — брат Ерануи и правая рука Андреаса; 50 лет, невозмутимый и хитрый; лицо бритое, но у висков небольшие бачки. Одет всегда в одно и то же: широкие штаны, черный атласный архалук, стянутый золотым наборным поясом; поверх архалука длинный просторный пиджак; на шее золотая цепочка от часов; все время перебирает желтые янтарные четки; подошвы на башмаках толщиной с палец.

Аристакес Каринян — бухгалтер Андреаса; прежде временно состоявшийся мужчина 42 лет. Тип заурядного служащего.

Вардан — слуга при kontоре Элизбарянов; молодой человек, говорит на шемахинском диалекте.

Заруи — молодая горничная.

Действие происходит в доме Элизбарянов.

События наших дней.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Кабинет Андреаса и Баграта Элизбарянов — не очень большая угловая комната в бельэтаже собственного дома, между квартирой и kontорой. Справа от зрителя два больших окна на улицу. В простенке стол Андреаса. На нем письменные принадлежности, счеты, телефон и настольная электрическая лампа. У стола большое кресло, напротив — стул. В средней стене две двери. В центре — ведет в kontору, левая — в переднюю. Справа дверь — в квартиру. Возле нее, на авансцене, стол Баграта, заваленный чертежами и книгами. Позади стола несгораемый шкаф. Направо, в глубине сцены, печь. Вдоль стен стулья. Справа пол покрыт ковром. На окнах занавески.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Сагател и Каинян.

При поднятии занавеса *Сагател*, стоящий у стола Андреаса, разговаривает по телефону. Из двери в центре появляется *Каинян* и медленно шарит на столе Андреаса. В открывшуюся дверь видна высокая kontорка, за которой работает молодой человек. Время от времени там мелькают фигуры других служащих и посетителей, озабоченно снующих взад и вперед. В продолжение всего действия, до закрытия kontоры, оттуда слышатся щелканье счетами и телефонные звонки.

Сагател (*в трубку*). Я слушаю. Да, скоро придет. Что? Не слышу. Да-а, ладно, присылай. До свидания. (*Кладет трубку*.) Благословение тому, кто выдумал телефон. Незаменимая вещь для купца. Да, вот я о чем, Аристакес. Когда кончишь эту работу, займись счетами Баграта. (*С иронией*.) Наш господин инженер желает знать, сколько затрачено на его завод.

Каинян. Но ведь вы еще не представили в kontору ваших счетов. Господин Баграт на каждую затрату требует оправдательный документ.

Сагател. И выдумал же господин Баграт — оправдательный документ! Я у Андреаса Элизбаряна сколько лет прослужил без этих оправдательных документов, и дальше так буду служить. Коли верит отец, пускай верит и сын. (*Пауза*.) Чего ты там ищешь?

Каинян. Договор с Мнацаканянами. (*Перестает искать*.)

Сагател. Эх ты, человек божий, столько времени служишь тут, а до сих пор не знаешь, что Андреас Элизбарян никогда не оставляет на столе деловых бумаг.

Каринян. Верно, я и позабыл, что Элизбарян каждого считает вором с самого рождения.

Сагател. Да, по его мнению, люди крадут все, что не заперто. И это мнение справедливое. На свете ни одного честного человека нет, все сплошь воры. (*Перекатывает четки между ладонями и нюхает их.*)

Каринян. Против совести говорите, господин Сагател.

Сагател. Заладил — совесть да совесть. Видно, это лакомство тебе по вкусу. Жаль только, что им не насытишься.

Каринян. Да, немногие способны его переварить.

Сагател. Например, ваша милость. Дотянул ты до сорока двух лет, седеешь, спина согнулась, а все еще млеешь от слова совесть. Хотел бы я знать: если ты завтра протянешь ноги, найдет ли жена у тебя в кармане деньги на саван?

Каринян. Может, и не найдет, зато я умру спокойно.

Сагател (*с едкой ironieй*). Ну, конечно, оставил полдюжины голодных ребятишек на улице. Эх, сударь ты мой, совесть — вещь хорошая, но жаль, что хиреет она день ото дня в плену у денег. Да, вот что я хотел спросить: не приходил ли к нам сегодня Отарян?

Каринян. Нет.

Сагател. Ну и слава богу. (*Теребит и нюхает четки.*)

Каринян. Скажите, пожалуйста, что произошло между этим молодым человеком и господином Андреасом?

Сагател. Длинная история. Не наше это дело.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Сурен.

Сурен быстро входит в левую дверь. На нем пальто и шляпа.

Сурен. Папы здесь нет? Тем лучше. (*Сагателу.*) Дядя, ради бога, сию же минуту дай мне триста рублей.

Сагател (*пряча в карман четки, про себя*). Э-э-э,

снова беда на мою голову. (*Сурену.*) Что такое? Опять ты не в духе.

Сурен. Мне теперь не до расспросов... До зарезу нужно триста рублей.

Каринян. Должно быть, опять в баккара проиграли?

Сагател. А ты думал, проторговался? Ему подавай либо баккара, либо пухленьких мамзелек.

Сурен (*раздраженно, Кариняну.*) Господин чернильная душа, не ваше это дело! Оставьте, пожалуйста, роль непрошеннего наставника. Дядя, если у меня сию минуту не будет трехсот рублей, я опозорюсь. Тут вопрос чести. Если ты любишь меня, не тяни!

Сагател. Очень люблю, Сурен, милый, но как быть, коли денег нет? Ты ведь знаешь, что теперь делами своего отца ведает твой брат. (*Достает из кармана четки.*)

Сурен. Все брат да брат! То и дело он мне пакостит. Ну, дождется же и он, когда-нибудь я покажу ему когти.

Сагател. Э-э, он не из пугливых.

Сурен (*нетерпеливо*). Даешь денег или нет?

Сагател. Бери, братец, что мне с тобой делать? Вот она, касса. Бери, сделай милость, чего ты ко мне пристал?

Сурен. Дай ключ.

Сагател (*вздыхая*). Нету. Сурен, дорогой, исту. Страж этого рая теперь не я. Еще доложу тебе — между нами говоря, кроме векселей и договоров, ты там ничего не отыщешь. Твой брат ведь изменил наши порядки. До него в этом шкафчике педелями хранилось по десять, по двадцать тысяч, а теперь твой братец деньги в банке держит.

Каринян. Он говорит: ныне и деньги и способности всегда должны находиться в обороте.

Сурен. Ну, так дай из своих.

Сагател. Откуда, милый, мне их взять? Я всего только бедный приказчик.

Сурен. Будет тебе Лазаря петь! Знаем мы! Даже в твоих заплатанных сапогах защиты деньги.

Сагател. Боже, да минует меня чаша сия.

Сурен. Полно тебе повторять слова деда. Говорят, ты на него настолько же похож, насколько я на апостола Павла. А ну, тряхни мошной!

Сагател (*в сторону*). От него не отвертишься.

(Медленно прячет в карман четки и с величайшей осторожностью достает огромный потрепанный, грязный бумажник). Кажется, здесь не найдется больше сотни. (Отвернувшись, украдкой смотрит в бумажник.) Вот тебе и на, даже сотни нет, всего пятьдесят!

Сурен. Это легко проверить. Давай сюда! (Вырывает у него бумажник.)

Сагател (испуганно). А, что ты делаешь?!

Сурен. Хочу немного пошарить в этой археологической мешне. Полюбуйтесь, чего тут только нет: старые векселя, акции, банковские чеки, гербовые марки и ярлык от винной бутылки...

Сагател. Послушай, стыдно!

Сурен (достает письмо). А это что такое? Дамское письмо на розовой бумаге! (Нюхает.) Надушенено...

Сагател (стесняясь Кариняна). Послушай, стыдно копаться, тут посторонний...

Каринян беззвучно ухмыляется.

Сурен (достает из бумажника кусок ткани). А вот и ответ на письмо — образчик для платья, тридцать копеек аршин. Боже мой, взгляните-ка сюда! Рецепты, сигнатуры, глазные капли, хина, просто целая аптека. Не хватает только врача. Сейчас посмотрю, что за болезнь у тебя и попробую полечить. Во-от оно, во-от! Тут и триста, и пятьсот, и целая тысяча.

Сагател (пытаясь отнять бумажник). Ну, это чистый грабеж среди бела дня. Что скажешь, Аристакес?

Каринян (про себя). Лучше уж грабить открыто, чем грабить тайком, как ты.

Сурен. Не бойся, лишнего не возьму. Айн, цвай, драй... Хватит. (Прячет деньги и возвращает бумажник.) Получай свой музей обратно. Фи, мазутом пахнет!

Сагател (пряча бумажник). Дешево отдался...

Сурен. Спасибо. Теперь моя честь спасена. Мерзавцы не хотели играть со мной на мелок. Луфвидерзеен. (Хочет уйти).

Сагател. Нескромный вопрос,— а как же вексель?

Сурен. Пиши по известному тебе условию, подмажну! Только смотри, без шейлоковских процентов! (Направляется в переднюю.)

Каринян, качая головой, идет в контору.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Ерануи, Ерануи и Сагател.

Ерануи выходит из правой двери, в домашнем платье, без шляпы.
Бзволнована.

Ерануи (*Сурену*). Постой, не уходи.

Сурен (*останавливается*). Э, мама, довольно слез,
я человек нервный.

Ерануи (*Сагателу*). Дал ты ему денег?

Сурен. Да, мама, твой брат оказался добреe тебя
и твоего старшего сына.

Ерануи. Возьми назад, Сагател, возьми назад! Деньги
его погубили...

Сурен. Ладно, мама, тут не место петь старые песни,
в конторе могут услышать. (*Притворяет дверь в контору*.)

Ерануи. Ну и пускай их слушают. Теперь всем известно,
что ты для меня божие наказание.

Сурен. Почему? Потому что я хочу жить? Жить, как
живут все мои товарищи?

Сагател. То есть как все блудные сыновья. (*В сто-
рону*.) Ой, и хватил же я!

Сурен. А ты, дядя, в мои дела не вмешивайся. Твое
дело — отцовские счета погашать да ублажать себя ово-
щами.

Сагател (*про себя*). Здорово куснул, поделом тебе,
Сагател!

Сурен. Ты бы, мама, лучше о другом сыне позабо-
тилась. Уверяю тебя, что он на худшем пути, чем я. Наши
деньги — грязь, а грязь беречь не к чему. Понимаешь,
дорогая мама? До свидания. К обеду меня не ждите.
(*Направляется к двери в переднюю*.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Ерануи и Сагател.

Ерануи (*бессильно опускается на стул*). Замучили
меня, без ножа зарезали. Схватил револьвер и приставил
к груди брата... давай, мол, денег, не то убью. Ноги у меня
подкосились, помутилось в глазах. Ну, думаю, пропали
оба. Кое-как разняла. И есть же еще на свете женщины,
которые мне завидуют: ты, дескать, жена богача.

Сагател. Э-э, не беда: ежели один сын беспутный, зато другой умница. Один разрушает, другой строит.

Ерануи. Не надо мне ни разрушителя, ни строителя. Для одного деньги — могила, а для другого они — и отец и символ веры. Оба свернули с праведного пути. Деньги в наше время — кара божья.

Сагател. Благослови бог того, кто их чеканит. Есть ли что-нибудь на свете слаще денег?

Ерануи. Язычники, нет у вас бога, Вельзевулу вы поклоняйтесь.

Сагател. Э-э, опять пошли в ход отцовские слова.

Ерануи. Да воссияет свет над его могилой. Покойник говорил, что деньги — дело рук дьявола: они-то и ведут людей в ад.

Сагател. Он так говорил, потому что был священником, а нам, мирским, до этого нет дела.

Ерануи. Бойся страшного суда, Сагател. Не поклоняйся деньгам, как идолу.

Сагател. Сестра, кара и награда божии — все только в этом мире. Нет никакого божьего суда.

Ерануи (с ужасом). Есть, безбожник, есть!

Сагател. Ну, пусть все это есть. А спросила бы ты своего старшего сына да послушала бы его. Выходит, что твой загробный мир выдумали несчастные люди, чтобы утешить себя. Твой сын так говорит, слышишь? Говорит, это наукой доказано.

Ерануи. Проклятье вашей науке!

Сагател. Почему? Неужели за то, что вместо твоей смрадной сальной свечки она дает нам электрический свет? Скажи на милость, кто придумал железную дорогу, пароход, телеграф, телефон, граммофон — наука или твои попы?

Ерануи. Недаром говорят, что у попов дети безбожники.

Сагател. Эх, Ерануи, на целых пятьдесят лет отстала ты от мужа. Очнись, открай глаза, погляди, как живут жены других богачей. Пьют, едят, развлекаются, по заграницам разъезжают, а ты все про страшный суд. (*Короткая пауза.*) Что еще за новость придумала твоя младшая дочь, Маргарит? Вчера пустилась меня уму-разуму учить: «Дядя, люди обязаны жить по правде».

Ерануи. Что ж, по-твоему, она неверно сказала?

Сагател. Знаешь, дорогая моя, вряд ли нашелся бы в городе человек справедливее нашего отца. А что он нам оставил? Нужду непроходимую и голод. Не успел умереть — пришлось руку протянуть. Еще слава богу, что ты была недурна и судьба тебя в этот дом забросила. Что бы мы стали делать, если бы Элизбарян не женился на тебе? Ведь покойник никакому ремеслу не учил меня. Хотелось ему, чтобы и я стал попом, — таким же нищим, как он. Нет, сестра, я не верю ни тебе, ни Маргарит. Вы не умеете жить. Вот зато на старшую твою дочку любо поглядеть! Она жизнь за глотку хватает. Видишь, как поставила твой дом, какой шик задает! Одним словом, ты совсем не похожа на жену миллионера. Э, да что говорить! Кажется, я слышу голос Андреаса.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Андреас.

Андреас появляется в дверях конторы. На нем шляпа и пальто.

Андреас (*останавливается на пороге*). Скажите им, что меня тут нет. Знаю, зачем пожаловали. Гоните их. Заприте контору и ступайте обедать. Вы мне не нужны. Вечером придете пораньше. (*Входит, закрывая за собой дверь.*)

Сагател. Кто еще там?

Андреас. Национальное воронье! У меня не благотворительное общество, я не глупее их и сам знаю, кому надо помочь, кому нет. Собралась дюжина шалопаев и обивает чужие пороги: собираем, мол, деньги на дом трудолюбия.

Сагател помогает ему снять пальто и берет шляпу и палку. На Андреасе длинный пиджак и широкие брюки, золотая цепочка на жилете, на правой руке — бриллиантовый перстень.

Что это за дом трудолюбия? Трудолюбивый человек имеет и работу и дом. Набрали лентяев и бездельников, да и кормят их даром: дескать, нацию спасаем.

Сагател. Золотые слова! (*Относит пальто и палку в переднюю и тотчас возвращается.*)

Андреас (*садится к столу и замечает Ерануи*).

А-а, ты здесь? Чего опять насупилась? (*Раздражается.*) Не отравляй мне жизнь, не отравляй, и без тебя немало отравителей.

Ерануи. Отказывать просящему грех.

Андреас (*ядовито*). Ай да дочка миллионера, браво. Ну и занимайся благотворительностью, давай из своего приданого или из наследства, что оставил тебе отец,— вон из тех громадных караван-сараев.

Ерануи (*вставая*). Вечно ты попрекаешь меня нищетой моего отца.

Андреас. Еще бы не попрекать! Он тоже все проповедовал: творите добро. Сам ничего не имел, а требовал от других. Сострадание! Что такое сострадание? Человек — скот, видишь его в грязи — толкни сильнее, а не хватай за руку, чтобы поднять. (*Короткая пауза. Меняя тон, Сагателу.*) Тот молодой человек не приходил?

Сагател. Нет еще.

Андреас (*жене*). Ну что ты торчишь передо мной? Чего тебе надо?

Ерануи (*вздыхая*). Ничего.

Андреас. Слава богу. А я уж думал, что опять начнешь меня отчитывать.

Ерануи. Когда я отчитывала тебя?

Андреас. Ты? Ты тридцать лет подряд ешь меня поедом. Я тебя хорошо знаю, ты — мой первейший враг! (*Встает и начинает ходить.*)

Ерануи. Не знаю, чем я тебе враг.

Андреас. Чем? Тем, что ты никогда обо мне хорошо не думала. (*Пауза.*) О чём говорил с тобой Отарян?

Ерануи. Арташес? Ни о чём. О чём он с тобой говорит, о том и со мной.

Андреас. Каков этот юноша, на твой взгляд?

Ерануи. Он — человек порядочный, очень порядочный, скромный, умный...

Андреас. Ладно, ладно, не тяни. Хвалить его нечего...

Ерануи вздыхает.

(*Раздражаясь.*) Слушай, тысячу раз я тебе говорил и опять повторяю: брось ты эти ахи и охи. У тебя в глазах, в каждом слове — упрек. Твоя печаль меня бесит. Ты как тень меня преследуешь: я, видите ли, криво ставлю но-

ту.— должен ставить прямо. Кого я обездолил? У кого лишнее взял? Кому недодал? Оставь ты меня в покое; совесть ты моя, что ли? Не падо мне, не нуждаюсь! Во мне и совесть, и душа, и бог!..

Ерануи (*в недоумении*). Не понимаю твоих слов...

Андреас. Нет, ты очень хорошо понимаешь. (*Бес-покойно глядя на часы.*) Уже два часа, а его все нет.

Ерануи (*сдерживаясь*). Обедать будешь дома?

Андреас. Конечно, что за вопрос!

Ерануи (*многозначительно*). Кто тебя знает.

Андреас. Вот видишь, под этим твоим «кто тебя знает» скрывается сатана. Упреки,ечно упреки. Ну, точно змия жалит. Уходи! Я с утра не ел, голоден как собака. Иди распорядись насчет обеда да поставь лишний прибор для Арташеса. Я его оставлю обедать. Будь с ним полюбезней, мне это нужно. Если Баграт дома, пришли его сюда.

Ерануи уходит.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Андреас и Сагател.

Андреас (*после паузы*). Сестре твоей все известно. Надо постараться, чтобы она не испортила дела.

Сагател. А ты с ней так обращаешься, что сам можешь все испортить.

Андреас. Это верно. Иной раз я не могу сдержаться. Но что же делать, сегодня я с утра расстроен. Уже начинают поговаривать обо мне. Э, я знаю, их гложет черная зависть. Звезда Андрея Петровича Элизбаряна многим слепит глаза. Мои дома, мои караван-сарай выводят людей из себя. (*Пауза.*) Служащие ушли?

Сагател (*в дверях конторы*). Ушли.

Андреас (*ходит назад и вперед, разговаривая сам с собой*). Подумай только, что он говорит: половина земли и домов Элизбаряна — мои, не больше и не меньше. (*Пауза.*) Иногда я сам тоже думаю: а может, и впрямь я должен? Но как же я в здравом уме и твердой памяти возьму да и уступлю ему половину состояния? Что станут говорить обо мне? Дескать, вместе с его отцом купил я участок. Да, верно, но когда это было?

Сагател. При патриархе Ное.

Андреас. Правда, мы вели дело вдвоем, но ведь деньги-то заработал я? Я — Андреас Элизбарян! Внук цирюльника Элизбара все свое состояние, положение, имя, честь добыл своим умом и своим горбом. Пятнадцать лет служил у Мусаэла-аги, терпел его плевки и укоры. Хуже собаки жил, а в конце концов правдой и кривдой сколотил деньжонок малую толику, ушел от него и начал свое дело в компании с Аракелом Отаряном.

Сагател. Эх, как сейчас помню: на старом базаре лавочка у тебя была, зеленью и соленьями торговал. А к пасхе ездил в Сальяны, рыбу на продажу привозил.

Андреас. Что говорить, Аракел был тоже деляга. Но если бы я поступал по его указке, то и сейчас оставался бы лавочником. Никух не хватало ему. Ведь это я без устали твердил: «Аракел, скупим эти дешевые участки, потом они золотыми станут». И начали мы скупать на морском берегу гнилые болота, свалки, по полтине за сажень. Аракелу этого не хотелось, а я покупал, стало быть, я и заработал свое богатство. Оно мое, и только мое! А этот щенок приходит и говорит: «Подавай мне половину». Пах! свихнулся я, что ли, чтобы отдать? Коли я свихнулся, чего же меня в сумасшедший дом не сажают? (*Раздражаясь*). Извольте видеть, вот вам и награда за благотворительность! В память отца я его усыновил, дал ему образование, человеком сделал, содержал его мать и сестер. А чем он мне платит? Черной неблагодарностью!

Сагател. Ну, да ладно, будет тебе кровь портить. Как-нибудь заткнем ему глотку.

Андреас. Конечно, нужно ему заткнуть глотку. Не по судам же мне с ним таскаться. Запутает он меня в сетях какого-нибудь пройдохи-адвоката, потом выпутываясь как знаешь...

Вардан выходит из передней. Черный архалук, желтый пиджак короче архалука, наборный серебряный пояс. Говорит беспечно, на шемахинском диалекте.

Вардан. Этот Арташес пришел, хочет тебя видеть.
Андреас. Проси.

Вардан уходит.

Сагател, поди в контору, после придешь.

Сагател, уходя, затворяет дверь. Андреас садится в кресло и усилием воли старается придать лицу благодушное выражение.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Андреас, Отарян, потом Баграт и позднее Сагател.
Отарян выходит из передней, вежливо кланяясь.

Андреас (*любезно*). Здравствуй, сынок. Чего это мы вас совсем забыли?

Отарян (*жмет руку Андреасу*). Я был у вас вчера.

Андреас. Да? А мне и не сказали. Садись, сегодня мы у нас обедаешь. Поговорим немного, потом пройдем в столовую. Нашел работу?

Отарян (*садится у стола, лицом к зрителю*). Да, кое-какие частные уроки.

Баграт входит в левую дверь, он в сапогах и пиджаке, забрызганном мазутом. Заметив Отаряна, слегка вздрагивает, сдержанно поклонившись, садится к своему столу и тотчас принимается за работу — чертит. В то же время внимательно следит за собеседниками.

Андреас. Уроки! Получив такое образование, давать уроки?

Отарян. Ничего не поделаешь, господин Андреас, пока приходится.

Андреас. Но ведь уроками сыт не будешь, сынок. Давай-ка найдем мы тебе работу у нас на заводе. А? Что скажешь, Баграт? Верно, на твоем заводе найдется работа? Конечно, подходящая работа...

Баграт (*решительно*). Мой завод еще не скоро будет готов.

Отарян. Благодарю, господин Андреас, служить я не собираюсь.

Андреас. Зазорным считаешь?

Отарян. Нет, я думаю, что мне не понадобится служить. А если и попадобится, во всяком случае, я вашему сыну служить не стану.

Андреас. Почему?

Баграт (*ехидно, не прерывая работы*). Белые перышки идеалиста могут почернеть на службе у буржуа!

Отарян (*сдержанно*). Только в том случае, если его дела покрыты сажей.

Андреас. Не понимаю, почему вы, друзья, так раздраженно разговариваете?

Баграт (*с иронией*). Друзья, гм, друзья! Нет, папа, между нами нет никакой дружбы.

Андреас (*с укором*). Баграт!

Баграт (*бросая карандаш и кальку*). Папа, я думаю, пора нам свести счеты с этим господином. У него какие-то претензии к тебе?

Андреас (*строго*). Это тебя не касается! Занимайся своим делом!

Баграт (*вставая*). Прости, папа, но я не могу спокойно видеть человека, который хочет опозорить наше доброе имя, человека, еще не успевшего вылезти из костюма, купленного на наши деньги!

Отарян (*взволнованно вскакивает, но сдерживает себя*). Господин Андреас, уймите вашего сына. Я не желаю вступать здесь с ним в спор.

Баграт. А я позволю себе потребовать у вас объяснения. Папа может относиться к вам как ему угодно, а между нами должно быть все выяснено теперь же.

Андреас (*раздраженно*). Я сказал — не твоё дело, не мешайся!

Баграт. Но, папа, мое самолюбие оскорблено. Разреши мне задать ему несколько вопросов. (*Отаряну*.) Я бы хотел знать — благодетели мы ваши или нет?

Отарян (*сдержанно*). Да.

Баграт. Кто вас опекал и дал вам высшее образование?

Отарян (*сдержанно*). Ваш отец.

Баграт. Вы, признавая все это, еще смеете быть неблагодарным? И после всего этого ты, папа, требуешь, чтобы я спокойно относился к этому субъекту?

Андреас. Повторяю, это не твоё дело! Ты тут ничего не смыслишь.

Отарян (*Баграту*). Вот что, сударь. Сегодня я не имел намерения сводить с вами счеты, но раз вы настаиваете — я скажу. Да, я вырос, опекаемый Элизбарянами. Вы девять лет содержали и опекали меня, мать и сестер. Но как? Это одному мне известно. Того, что я перечувствовал за эти долгие годы, не пожелал бы я ни одному самолюбивому человеку. Каждую свою копейку вы отправляли ядом...

Андреас. Видит бог, если я хоть раз попрекнул тебя моими благодеяниями...

Отарян. Неужели нужно было еще и попрекать, когда я и без того чувствовал свое унижение? Да, внешне

вы были со мной вежливы. Но то, чего вы не говорили, выражали ваши жесты, глаза, движения. Вы унижали меня даже в моих собственных глазах всякий раз, когда я имел несчастье просить у вас помощи. Вы жалили меня безмолвно, как — простите — скорпион...

Баграт (*с иронией*). Странно, что все эти годы вы молчали и только теперь подаете голос.

Отарян. Ах, я молчал, жалея мать и сестер. Заговори я, вы бы лишили их куска хлеба. Я думал, как-нибудь перенесу все это, а придет время — уплачу Элизбарянам все свои долги и вздохну. Молчала и моя мать. Но что это было за молчание! (*Обращаясь к Андреасу*.) Давая моей матери двадцать пять рублей в месяц, вы двадцать пять раз корили ее: «Много тратишь, живи в подвале, шей и стирай для других, пусть твои дочки в служанки поступают...»

Андреас (*нетерпеливо*). Господи помилуй!

Отарян. А однажды вы оказались до того безжалостны, что предложили ей поселиться в богадельне. Ваши слова, как шипы, вонзились в сердце бедной женщины. Сестры мои и до сих пор не могут об этом вспомнить без слез. А почему? Кто моя мать? Разве она не вдова вашего равного компаньона? Женщина столь же богатая, как и вы. Когда она со слезами рассказывала о перенесенных обидах, кровь в жилах стыла. Я волосы рвал от бессилия, кусал пальцы. Искал, чем отомстить, — не находил. И вот в это время мать сама подоспела мне на помощь...

Андреас. И рассказала, что я обобрал твоего отца, ха-ха-ха!

Баграт. И отплатила своему благодетелю черной неблагодарностью.

Отарян (*не глядя на Баграта*). Да, сударь. Она передала мне предсмертные слова отца: «Я умираю в нищете, меня обобрал компаньон. Бери эти бумаги, отдашь их сыну, когда он кончит учиться».

Андреас (*содрогаясь*). Бумаги? Какие еще бумаги?

Отарян. Несколько договоров, которые докажут, что половина вашего состояния принадлежит мне. Вы, пользуясь тяжкой и долгой болезнью отца, изо дня в день обманывали его, переводя на свое имя все, что принадлежало вам обоим.

Андреас (*возмущенно*). Ложь! Все, что я имею, закреплено за мною по закону, нотариальным порядком.

Отарян. Да, но вы не уплатили ни копейки. Вы даже закон умудрились обойти. Вот это и докажут бумаги моего отца.

Баграт (*в ярости*). Вон отсюда, клеветник!

Отарян (*гордо и гневно*). Сударь, сжалитесь над вашим собственным отцом...

Андреас (*ударив по столу, встает*). Молчать, говорю тебе, ты бесишь меня!

Входит Сагател.

Баграт. Но ведь он тебя оскорбил: назвал тебя грабителем.

Андреас (*сдерживаясь*). Пусть называет, кто ему поверит? Он еще молод, ничего не понимает, горячится. (*Отаряну*.) Все, что ты, сынок, сказал,— пустяки. Как отец, я тебе прощаю. Давай разговаривать, как взрослые люди. Я знаю, кровь в тебе кипит, ты хочешь жить широко, а не на что. Думал ты думал...

Отарян делает негодящие жесты.

Андреас. Не горячись, сынок, побеседуем мирно. Ну, что делать, хотя я много помогал тебе, но в память твоего отца готов и впредь помочь. Бери несколько тысяч рублей, выдай обязательство, что не имеешь претензий, и избавь нас обоих от этой чепухи.

Баграт (*решительно*). Никогда! Я не позволю дать ему ни копейки!

Андреас. Господи, помилуй! Да замолчишь ты наконец или нет?

Сагател (*тихо Баграту*). Пусть даст, не понимаешь ты ничего.

Баграт (*не слушая*). Это невозможно. Предложить этому субъекту денег — значит показать, что мы боимся его. Пусть обращается в суд, я сам буду твоим защитником: я уверен, что он клевещет.

Отарян. Остерегайтесь, сударь, вы дорого заплатите за ваши слова.

Баграт. Ах, оставьте эти фразы! Я вас хорошо знаю и недаром всегда вами пренебрегал. Однако зачем тратить

лишние слова, вот мое окончательное решение: делайте что вам угодно, я ваш противник. (*Поспешно собирает со стола бумаги.*) Дядя, я еду на свой завод. Скажи Зейльману, чтобы поторопился отправить трубы. Папа, к обеду меня не ждите... (*Быстро удаляется в переднюю, бросив на Отаряна пренебрежительный взгляд.*)

Сагател (*про себя*). Ну и герой! Горячий парень!

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же без Баграта, потом *Маргарит*.

Андреас. Видишь ли, сынок, мы, старые люди, все же добре, чем вы, молодые. Послушай-ка меня, не упрымься, получай три тысячи — и заключим мировую.

Отарян. Больше вы ничего не скажете?

Андреас. Так ты согласен? (*Передавая Сагателу ключ от кассы.*) Сагател, достань-ка чековую книжку. А ты садись и напиши бумагу, что не имеешь ко мне никаких претензий.

Сагател подходит к кассе с ключом.

Отарян. Прощайте!

Сагател останавливается.

Андреас. Куда ты? Постой! Счета счетами, а дружба дружбой. Ты у нас обсдаешь.

Отарян. Прощайте!

Маргарит, в скромном домашнем платье, выходит из левой двери.

Маргарит (*Отаряну*). Мама просит вас к обеду.

Отарян останавливается.

Андреас. Видишь, как тебя любят в нашем доме. А ты собираешься отвернуться от нас.

Маргарит (*удивленно глядя на Отаряна*). Отвернуться? Почему?

Андреас. Кто знает, какая его муха укусила. Может быть, ты образумишь его... Пойдем, Сагател. Маргарит, думаю, его пристыдит. (*Отаряну.*) Ну, сынок, не заставляй нас долго ждать. (*Уходит с Сагателом.*)

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Маргарит и Отарян.

Маргарит. Что это значит? (*Нежно берет его за руку.*) Чем это ты так взволнован?

Отарян. Ничего, пустяки.

Маргарит. Что случилось, почему ты не остаешься обедать? Что значат слова папы: «Ты собираешься отвернуться от нас»? Отвечай, я не в силах это перенести!

Отарян. Прошу тебя, Маргарит, сегодня ты меня ни о чем не спрашивай.

Маргарит (*огорченная, выпускает его руку.*). Ладно, я не буду спрашивать. Если угодно, я даже не буду удерживать тебя, раз тебе со мной скучно.

Отарян. Ах, Маргарит, оставь это ребячество, ты ведь так непохожа на других женщин!

Маргарит. Но ты смотришь на меня, как на ребенка. Ты уже забыл свои слова о том, что между любящими не должно быть никаких тайн? Хорошо же ты держишь свою клятву!

Отарян (*растерянно*). Но есть дела, о которых тебе лучше не знать. У тебя еще слишком юное сердце. (*Нежно жмет ее руку.*)

Маргарит. А я думала, нет вещи, которая касалась бы только одного тебя. (*Отнимая руку.*) Оставь, ты оскорбляешь меня! (*Отворачивается.*) Это безжалостно — так нельзя поступать с любящим тебя человеком.

Отарян. Что делать, оскорбленное самолюбие не знает иногда жалости.

Маргарит. Оскорбленное самолюбие? Чье самолюбие оскорблено? Твое? Кто тебя оскорбил? Отец или брат? (*Пауза.*) Но ты молчишь... ты не смотришь на меня. Не испытывай моего терпения. Я ненавижу ложь, понимаешь? Скажи прямо: что случилось? А-а, понимаю. Ты говорил с отцом обо мне, просил у него согласия. Он отказал... Но нет, что я говорю. Отец расположен к тебе. Наконец его отказ не может тебя оскорбить, раз я тебя люблю и сама отвечаю за себя. (*Пауза.*) Погоди, может быть другое... Ты говорил с ним о моем... Но что я говорю, ты не способен на такой недостойный торг. Скажешь ты наконец или нет?

Отарян. Не неволь меня, Маргарит. Повторяю, есть вещи, о которых тебе не следует знать.

Маргарит (*с жаром*). Нет! У тебя не должно быть от меня никаких тайн! Хочешь — люби меня такой, какая я есть, не хочешь — расстанемся! Других отношений я не признаю.

Отарян (*делает решительный жест*). Ну, будь что будет! Скрыть от тебя я все равно не сумею.

Маргарит (*почти задыхаясь*). Что же? Что?

Отарян. Скажи, Маргарит, ты любишь отца?

Маргарит. Я? Отца? (*Решительно и нежно*.) Да!

Отарян. Конечно, любишь не слепой любовью, а сознательно?

Маргарит. Не понимаю.

Отарян. Я хочу спросить, уважаешь ты его как человека?

Маргарит. Несомненно. Ведь он же человек.

Отарян. И честный человек, не так ли?

Маргарит. Безусловно. Его нельзя назвать неблагородным.

Отарян. Ты в этом уверена?

Маргарит. Глубоко уверена. По крайней мере до сих пор я не знала за ним ни одного неблаговидного поступка. Я его уважаю за то, что он трудолюбивый и умный, за то, что он после долгих лишений сумел обеспечить своих детей, за то, что, будучи сам неученым, ничего не пожалел для образования своих детей. (*Пауза*.) Но почему ты так подозрительно смотришь на меня? Неужели ты не веришь в мою искренность?

Отарян. И ты не находишь у отца никакого недостатка?

Маргарит. Нет, отчего же. Он сребролюбец, строг в делах, думает только о своих барышах. Но ведь все люди его круга таковы. Считать его неблагородным — нет, нельзя!

Отарян (*после паузы*). Что бы ты сделала, Маргарит, если бы убедилась в его неблагородстве?

Маргарит (*с укором и возмущением*). Арташес!

Отарян (*горячась*). Да, да, он был неблагороден, по крайней мере в своем прошлом.

Маргарит (*тем же тоном*). Подумай, Арташес, что ты говоришь!

Отарян. Я говорю то, что знаю. На совести твоего отца страшное преступление в прошлом.

Маргарит. Какое?

Отарян (смягченным тоном). Он безжалостно обездолил...

Маргарит (вздрогнув). Кого?

Отарян. Одно покинутое и несчастное семейство — сирот своего верного компаньона.

Маргарит. Тебя?

Отарян. Меня, мою мать и сестер.

Маргарит. Ах!.. (Обессиленная, падает на стул, закрывая лицо руками.)

Долгая пауза.

Отарян. Ты сама хотела узнать правду.

Маргарит (овладев собой, встает). Докажи, что это не ложь! Слышишь? Не то я возненавижу тебя, как клеветника! Но нет, нет, ты не можешь клеветать на своего благодетеля. Ты любил и уважал его. Тут, наверное, недоразумение. Ты должен во всем этом разобраться. Пусть он мой обожаемый отец, а ты мое счастье,— правда мне дороже вас обоих.

Заруи (показывается из левой двери). Вас ждут обедать.

Маргарит. Сейчас.

Заруи уходит.

Отарян. Согласись, что отныне я не имею права бывать в этом доме.

Маргарит. Нет, напротив, ты обязан у нас бывать! Ты отравил мою любовь, и ты обязан ее исцелить. Теперь можешь уходить, но завтра ты объяснишь мне все.

Отарян кланяется и быстро направляется в переднюю. Маргарит, шатаясь, идет влево, останавливается и опирается о притолоку двери.

Занавес медленно опускается.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Большая, богато, но безвкусно обставленная гостиная Элизбарянов. В правой стене две двери: дальняя ведет в переднюю, другая, ближе к зрителю, — в комнату Андреаса. Между ними диван, по бокам его кресла. Перед диваном стол, покрытый шелковой скатертью, на нем вычурная электрическая лампа. В глубине сцены правая из двух

дверей ведет в столовую, левая — в комнаты барышень. В левой стене дверь в комнаты Баграта и Сурена. У этой стены диван; круглый стол перед ним окружен стульями. На столе альбом и безделушки. Над диваном зеркало. Ближе к авансцене — рояль. Золоченые стулья, тумбочки, вазы, статуэтки, тропические растения и т. п. Пол устлан коврами. На дверях яркие занавеси. Под потолком огромная люстра. Полнень. Двери в столовую открыты. Там *Заруи* накрывает стол к завтраку. При поднятии занавеса в столовой бьет двенадцать часов. Из передней выходит *Вардан* в красной черкеске и в огромной белой папахе, нагруженный множеством свертков. Он осторожно несет большую картонку с дамской шляпой.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Вардан и Заруи.

Вардан. Уф! Ей-богу, дух вон! Спина пополам. (*Бросает один за другим на пол все свертки, кроме картонки. Вытирает лоб полой черкески и бросает на пол папаху.*)

Заруи (*выходит из столовой, вытирая салфеткой кофейную чашку*). Ага, явился! Ба-ба-ба, сколько добра приволок.

Вардан. Она на меня напялила эту окаянную черкеску и лезгинскую папаху на башку, посадила на козлы по-казачьи и давай ходу. Не было магазина, куда бы не зашла, и тваря, которого бы не купила. Глянь сюда, словно ярмарку открываем.

Заруи (*поставив чашку и положив салфетку на золоченый стул, с любопытством перебирает свертки*). Шелк на платье. Опять. Кружево. Еще кружева. Зонтик, веер, шаль, перчатки, целая дюжина. А ну-ка, погляжу я, какая шляпа.

Вардан (*заслоняя картонку*). Но-но, она никому не велела показывать. Так и обомлеешь. Вот она и сама идет.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Те же и Розалия.

Розалия выходит из передней, в пальто и шляпе.

Розалия. О, mon Dieu, как я устала! Искала, искала и насилиу смогла выбрать хоть что-нибудь на свой вкус. С тех пор как я побывала в Париже, мне тут реши-

тельно ничто не нравится. (*Вардану*). Дурак, почему бросил на пол? (*Заруи.*) Возьми и отнеси в мою комнату. Шляпу тут оставь. (*Берет у Вардана картонку и ставит на стол.*)

Заруи и Вардан уносят свертки в крайнюю левую дверь и тотчас возвращаются. Розалия перед зеркалом с восторгом смотрит на себя, снимает шляпу и кладет на стол. Заруи и Вардан ждут приказаний.

(*Розалия достает из картонки огромную белую шляпу с красным пером и восхищенно любуется.*) Еще разок посмотрю, идет ли мне. (*Надевает и смотрится в зеркало.*) Гм, мадемуазель Ильдарян уверяла, что модель эта выписана для нее. Кажется, недурно, а, Заруи?

Заруи. Ай, барышня, как идет, как идет!

Вардан. Ни дать ни взять — гранатовый цветок!

Заруи. Небось рублей двадцать заплатили.

Розалия (*пренебрежительно*). Фи дон! Теперь всякая маклерская дочка щеголяет двадцати рублевой шляпой. Эта прямо из Парижа, девяносто рублей стоит.

Вардан. Девяносто рублей!.. Ай, чертов сын Вардан, на эти деньги в Шемахе ты построил бы целый дом. Да еще и крышу залил бы смолой.

Розалия (*не глядя на Вардана*). Ты еще здесь?

Вардан. Приказа жду. Не надо ли тебе чего?

Розалия (*обращаясь к нему*). «Тебе»! Чего ты каешься? Что я тебе — сестра или ровня?

Вардан. Мы чабаны, откуда нам знать?

Розалия. А теперь «мы». Что за народ, по-царски разговаривает; других на «ты», а себя на «вы». Ступай! Скажи Ивану, чтобы распрягал коляску.

Вардан в растерянности уходит, забыв поднять папаху.

(*Заруи.*) Кто у нас дома? (*Прячет новую шляпку в картонку.*)

Заруи. Барыня и барышня.

Розалия. Позови сюда Риту. Шляпу отнеси в мою комнату.

Заруи уходит с картонкой в комнаты барышень. Розалия бросает пальто на кресло и снова прихорашивается перед зеркалом.

Вардан (*вернувшись из передней, ищет на полу папаху*). Куда ж ты провалилась, проклятая?

Розалия. Чего ты ишешь?

Заруи возвращается и уносит верхнюю одежду Розалии в переднюю.

Вардан. Свой колпак. Не знаю, где он. (*Находит.*) Вот он, вот! (*Поднимает.*) Да свернет твой хозяин себе шею! (*Хлопает по папахе.*)

Розалия (*гневно*). Что ты тут делаешь, дикарь? Пошел прочь, невежа-армянин!

Вардан (*про себя*). Служить им — сущая беда. (*Уходит в переднюю, откуда возвращается Заруи.*)

Розалия. Попробуй-ка сделать человека из такого медведя. А я еще хотела взять его кучером для кабриолета, напялить на него цилиндр и фрак. Нечего сказать, недурной выйдет грум. Нет, придется нанимать иностранца.

Заруи берет чашку, салфетку и идет в столовую.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Розалия и Маргарит.

Маргарит входит, одетая скромно, несколько наряднее, чем в первом действии. В руках книжка без переплета.

Розалия. (*смеясь*). Точь-в-точь Маргарита из оперы «Фауст»: с книжкой в руках, скромная, стыдливая, не хватает только веретена. Хотела бы я знать, что ты находишь в чтении? (*Растягивается на диване.*)

Маргарит. Где ты была? (*Кладет книгу на стол и садится.*)

Розалия. Ох, и не спрашивай, устала я. Наконец-то получила шляпу. Посмотришь потом, что за чудесная вещь. Истратила я сегодня рублей триста. Папа будет сердиться, но что поделаешь, все нужные вещи.

Маргарит. До каких же пор, Розалия, ты будешь так транжириТЬ?

Розалия. Ого, ты попрекаешь меня?

Маргарит. Если хочешь — да. Твоя расточительность заслуживает упрека.

Розалия (*иронически*). Неужели? Ай-яй-яй! Если

ты мне завидуешь, можешь и сама столько же тратить.
Что тебе мешает?

Маргарит. Видно, что-то мешает.

Розалия. Ого, сегодня ты довольно занятна. Расскажи-ка, что случилось? У тебя лицо загадочное.

Маргарит. Розалия, пойми наконец, что происходит в нашем доме. Нельзя со спокойной совестью швырять деньги, над которыми висит тяжелое обвинение.
(Встает.)

Розалия *(быстро вскакивает)*. Но кто предъявляет это обвинение? Кто? Твой Арташес Отарян? Грязный и бессовестный клеветник!

Маргарит *(с мягким укором)*. Розалия!

Розалия. Довольно, не смей его защищать при мне! Я хорошо его раскусила. Ненавижу его, ненавижу всем сердцем. Это неблагодарная змея, пригретая нашим отцом. И я удивляюсь, как папа до сих пор не показал ему на дверь.

Маргарит *(вздыхая)*. Как знать, может, это и не так просто.

Розалия *(вставая, строго)*. Рита, ты забываешься. Нужно быть дрянной девушкой, чтобы поверить этому клеветнику.

Маргарит *(тем же тоном)*. Ах, очень хотелось бы не верить, но...

Розалия. Но ты боишься лишиться его благосклонного внимания, не так ли?

Маргарит. Что ты хочешь этим сказать? Что я люблю Отаряна? Да, я люблю его, и крепко люблю, да будет это известно тебе и всем прочим. *(Ходит взад и вперед.)*

Розалия *(с завистливой ironией)*. Какая ты храбрая, совсем героиня! Впрочем, я это давно знаю. Но я не могла допустить, чтоб твоя любовь была до того сильна, что даже честь отца ты готова принести ей в жертву.

Маргарит. Только в том случае, если эта честь не запятнана.

Розалия. Что это значит?

Маргарит. То, что я, ни минуты не колеблясь, отвернулась бы от Отаряна, если бы была уверена, что его обвинения ложны, и стала бы чтить отца, как бога, будь я убеждена, что он невиновен. *(Подавленная, голосом,*

унылым и скорбным.) Папа все еще не может опровергнуть обвинения Арташеса фактами. Над нашей семьей нависло страшное обвинение. Оно свинцом давит меня. От стыда я не знаю куда деваться. (*Садится и опускает голову.*)

Розалия (*прежним тоном*). Конечно, кому, кроме тебя, знать, что такое честь и семейная гордость. Мы все слишком легкомысленны для этого. (*Серьезно.*) Одно из двух: либо ты сошла с ума, либо этот человек не просто интриган, а коварный дьявол. Иначе я не могу объяснить нынешнее твое настроение. (*Короткая пауза.*) Послушай, Рита, я, как дочь, обязана любить и защищать родного отца, будь он даже разбойник. И вот мое последнее слово: пускай твой Отарян плетет про отца что ему угодно, а я постараюсь выставить его с позором из нашего дома. Поняла? Ты можешь злиться, ссориться со мной—это мне безразлично.

Маргарит. Ах, делайте что хотите, мне все равно. Я прислушиваюсь только к голосу совести. По-моему, на лжи и обмане не построишь никакой любви.

Заруи (*в дверях столовой*). Завтрак подан.

Розалия. Пойдем. Папа сейчас придет. Ты должна не подавать виду.

Маргарит. Мне не хочется есть.

Розалия, бросив на Маргарит полный ненависти взгляд, проходит в столовую.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Маргарит, Andreas, Bagrat и Сагател; последние трое входят из передней.

Андреас. Не спорь со мной. Как я сказал, так и будет. Маслом огня не тушат.

Баграт. Если только это огонь. Дело мы выиграем, потому что у него нет фактов. Пусть требует по закону. Когда мы покончим с гражданским иском, начнем против него уголовное дело. Это необходимо для спасения нашей семейной чести.

Андреас. Пускай меня повесят, я против него дела не начну.

Баграт. С детства, отец, я слышал от тебя много раз, что ты нажил состояние честным трудом.

Андреас (*раздраженно*). Да, я говорил и опять говорю, а ты помалкивай. Этот парень на меня клевещет, но я все же хочу с ним помириться.

Баграт. Не понимаю, хоть убей, не понимаю.

Андреас. Сагател, пошли за ним кого-нибудь из конторы.

Сагател уходит в переднюю.

(Замечает Маргарит; она стоит у левой стены и внимательно слушает отца.) А-а, ты подслушивала! Господи, ни на минуту нет покоя! Точно все поклялись свести меня с ума.

Маргарит. Прости, папа, я ухожу.

Андреас. Ладно, не обижайся. Я не виноват, твой брат меня бесит. Да и ты хороша, ты, как и мать, ненавидишь меня.

Маргарит (*с глубокой скорбью*). Папа!..

Ерануи и Розалия появляются в дверях столовой.

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же, Ерануи и Розалия, без Сагатела.

Андреас. Ступай, я тебе не отец, ты мне чужая. И я в этом доме чужой, никто обо мне не думает. Для вас я выночное животное, и больше ничего.

Розалия. Но, папа, обо мне так говорить ты не можешь.

Андреас. А-а, все в сборе! (*Розалии*.) Прочь, тебя я тоже отлично знаю. Ты тогда только думаешь обо мне, когда надо платить по счетам. Вы меня съели, разорили. (*Постепенно раздражаясь*.) Никто меня в грош не ставит. Ни свои, ни чужие. Все меня считают золотым мешком, и только. Уважают в лицо, а за глаза поносят. Когда я нужен, лезут ко мне; не нужен — будто и на свете нет.

Баграт. Пожалуй, это отчасти верно!

Андреас. Верно, конечно, верно. Эх, я не дурак, людей-то уж я знаю. Все только о себе и думают. Взять хотя бы тебя. Ведь ты меня тоже не любишь, ты менячишь из-за денег. Да, да, я не человек для тебя, а только

сундук с деньгами. Но долго меня обманывать тебе не удастся. Ни копейки больше не дам!

Баграт. Папа, успокойся.

Андреас. Да, не дам, и пусть завод твой остается недостроенным. Мне-то что? Разве я от отца деньги получил? Сколько плевков и лишений я перенес, сколько голодал, прежде чем вышел в люди! Сам попробуй заработать потом и кровью, и я скажу, что ты умен. Ступайте живите своим трудом! Полюбуйтесь, как они дом-то обставили! На кой шут мне золоченая мебель? Что я — ханский или княжеский сын? Бывший холоп, живший впроголодь! Что вы меня разоряете? Это ваша вина, что Отарян схватил меня за горло. Да, да, ваша. Он видит, как вы мотаете мое состояние, вот и ему захотелось того же. Вы наживаете мне врагов...

Маргарит тихо плачет.

Опять слезы? Заели меня, задушили, убили! Довольно, уходи, я ненавижу слезы! При Андреасе Элизбаряне не смейте ни плакать, ни смеяться!

Маргарит, громко рыдая, уходит в свою комнату.

Ерануи. Как ты решился ее обидеть? Ведь это агнец божий.

Андреас. Агнец божий, вроде твоего отца! Ненавижу я этих агнцев божьих. Дайте мне самого Всльзевула, мне с ним будет легче, чем с божьими агнцами. Убирайтесь, что вы, точно воронье, вьетесь над головой? Меня пока еще не хоронят, меня только хотят обобрать, раздеть и вышвырнуть на улицу. Вы бы хоть пожалели меня. Ну, проваливайте, айда! (*Опускается в кресло.*)

Ерануи и Баграт уходят в столовую. Розалия остается на сцене.

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Андреас и Розалия.

Андреас сидит в глубоком раздумье. Розалия не решается заговорить.

Андреас (*со вздохом ударяет по столу*). Ах!..

Розалия. Папа, что тебя так убивает?

Андреас (*равнодушно*). Не твое дело.

Розалия. Прости, папа, твои заботы тревожат и нас.

Андреас (*тем же тоном*). У меня нет забот. (*Лихорадочно встает*). Дело у тебя ко мне? Говори!

Розалия. Да, папа, дело есть, но я не смею сказать.

Андреас. Ну, не мямли, я ухожу!

Розалия. Знаешь, папа, человек, который забыл твое благодеяние и собирается обобрать тебя, здесь, в нашем доме, имеет союзника.

Андреас (*с любопытством*). Как? Что? Скажи яснее.

Розалия. Маргарит влюблена в Отаряна.

Андреас. Как? Влюблена? Кто сказал?

Розалия. Сама же Маргарит полчаса назад.

Андреас. Что же дальше? Он тоже любит ее?

Розалия. Надо полагать. Хотя такому человеку доверять нельзя.

Андреас (*после краткого раздумья радостно оживляется*). Ты говоришь, сама призналась?

Розалия. Да, папа. Я знаю, отлично знаю, что они каждый день встречаются. Папа, я считала своим долгом предупредить тебя об этом. Думаю, что честь нашей семьи требует, чтобы мы с корнем вырвали эту любовь. Правда, Маргарит ничего особенного собой не представляет, но все же она твоя дочь. Отарян недостоин быть твоим зятем.

Андреас (*в раздумье*). Конечно, конечно. Спасибо, что предупредила. Сейчас же ступай и позови Маргарит.

Розалия. Но, папа, ты не очень сердись на нее. Глупая она, не понимает еще.

Андреас (*нетерпеливо*). Ступай! Позови ее сюда.

Розалия (*про себя*). Посмотрим, как ты защитишь своего любовника. (*Уходит*.)

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Андреас и Маргарит.

Андреас до прихода Маргарит одиноко в задумчивости ходит взад и вперед, сдержанно жестикулирует. Маргарит медленно выходит из крайней двери. Розалия проходит следом за ней, задержавшись на минуту, входит в столовую и закрывает за собой дверь.

Андреас. Поди-ка ко мне, плакса. Разве отец не имеет права сердиться на дочь? Ну что бы вы делали, знайки, если б вас воспитывали так же, как нас? Когда отец давал по шее, искры сыпались у меня из глаз. Ну, да ладно, встряхнись, на отца не злятся.

Маргарит. Я, папа, не злюсь на тебя.

Андреас. Бог благословит тебя, дочка. Знаю, у тебя доброе сердце. Ну, давай помиримся. (*Целует ее в лоб.*) Но все-таки я на тебя еще немного сердит. Знаешь, дочка, ты неискренна с отцом.

Маргарит (*удивленно*). Неискренна?

Андреас. Чему ты удивляешься?

Маргарит. Отец, я впервые слышу от тебя такие слова. Никогда ты меня не удостаивал подобной беседой.

Андреас. Потому что ты держишься от меня вдали. Ты, наверное, думаешь, что отец у тебя невежда, хитрый купец,— стоит ли раскрывать перед ним сердце.

Маргарит. Нет, папа, ошибаешься, клянусь тебе. Я всегда была готова делиться с тобой своими мыслями со всей искренностью, если б ты захотел. Но... твой мрачный характер вечно сковывал мне язык.

Андреас (*притворяясь веселым*). Да? Молодец дочка! Ну, если так, скажи, почему ты в последнее время грустна?

Маргарит (*растерявшиесь*). Не знаю... Я не грустна.

Андреас. Вот видишь? Ты лгать не любишь, но сейчас ты солгала. Хочешь, я за тебя отвечу? Ты грустна потому, что тебя уверяют, будто отец твой бесчестный человек.

Маргарит. Папа!..

Андреас. Да, детка, от меня ничего не скроешь. Я по одному движению сразу узнаю, что думают обо мне. А ну-ка, расскажи, что говорил про меня твой возлюбленный?

Маргарит окончательно теряется.

Ладно, не красней. Мне все известно. Не бойся, я не сержусь. Арташеса я считаю неплохим молодым человеком. Если б он был плохим, его ноги давно не было бы в моем доме. Только, дочка, он слишком молод и сам не знает,

что делает. Он забыл мои благодеяния. Ну, бог с ним, придет время, он образумится и поймет свою ошибку.

Маргарит (*радостно, но нерешительно*). Да? Он ошибся в тебе?

Андреас. Конечно. А ты как думала?

Маргарит. Папа, мне ничего скрывать, в честности твоей я никогда не сомневалась, ни прежде, ни теперь. Но он меня уверяет, что...

Андреас. Что я обобрал его отца, не так ли? Чем он докажет это, словами или фактами?

Маргарит. Папа, я не смею требовать фактов ни от тебя, ни от него.

Андреас. Однако ты смеешь без фактов осуждать отца! (*Притворяясь огорченным*.) Стыдись, Маргарит, стыдись! Ты мне даешь пощечину...

Маргарит (*убитая и пристыженная*). Отец!..

Андреас (*тем же тоном*). Ах, оставь меня! Какой же я отец, если моя родная дочь с чужих слов считает меня разбойником? Брось меня и ступай за ним! Он тебе дороже меня. Что я такое? Ком грязи...

Маргарит. Ну, что ж, ты прав, упрекай меня, отец, я слишком поспешила с выводами. Умоляю тебя, прости меня.

Андреас. Что тебе в моем прощении! Твой долг — искупить вину, исправить ошибку.

Маргарит. Каким образом? Научи, я искуплю свою вину.

Андреас. Каким образом? Слушай. Он говорит, будто у него есть какие-то документы против меня. Ты... (*Осмотревшись*.) Но тут говорить неудобно. Сюда, кажется, идут. Пройдем в кабинет, там я все объясню тебе. Идем.

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Сурен и Сагател.

Сурен. Да, дядя, ты представить себе не можешь, до чего это было смешно. Абулов, первый кутила в городе, вдруг у самого театра остается с носом. А твой племянник берет под руку красавицу Орлову и подсаживает в экипаж...

Сагател. Не в обиду будь сказано,— стоит ли этим хвалиться?

Сурен (*не слушая, воодушевленно*). Все глаз с нас не сводят, все смотрят с завистью. Глаза Абулова мечут искры. Резвый Али-баба мчит нас быстрее молнии в Гранд-отель. Лакеи засуетились. Стол накрыт. Гости ждут...

Сагател. Не в обиду будь сказано,— какие гости?

Сурен. Такие же лихие ребята, как и я. Гром рукоплесканий. Из коляски выносят букеты — половину преподнес я. Орлова от них в восторге. Никогда у нее не было такого бенефиса. Ну и закатили мы кутеж! Шампанское лилось рекой. Пьют за здоровье Орловой, потом мое. Раз, два, три — и я под столом. Кусаю Орлову за ножку. Она визжит и хохочет. Я подымаюсь с туфлей красавицы, наливаю в туфлю шампанское и пью за Орлову. Общий восторг. Орлова, восхищенная, говорит: «Первый раз вижу такого поклонника искусства!» Эх, шарман! Мервей!.. Не женщина, а фея... (*Хлопнув Сагатела по плечу*.) Теперь, дядюшка, ее сердце без остатка принадлежит мне. (*Хлопнув Сагатела по животу*.) Хочешь, познакомлю с ней, благочестивый апостол?

Сагател. Ну тебя! Ты вот что мне скажи: во сколько обошелся этот кутеж?

Сурен. Пустяки сравнительно — шестьсот рублей.

Сагател (*подпрыгнув*). Помилуй бог!..

Сурен. Ну что — зацепило?

Сагател. Шестьсот рублей за одну ночь! А теперь, не в обиду будь сказано, когда ты думаешь погасить свои векселя?

Сурен. Когда придет положенный срок, погашу.

Сагател. А мне ждать смерти твоего отца?

Сурен. Что ж поделаешь!

Сагател. Да он крепче меня, он десяток таких, как я, похоронит.

Сурен. Что делать, ты сам меня научил. Даешь триста, а вексель берешь на две тысячи, чтоб получить после его смерти. (*Пауза*.) Ах, дядя, голова начинает трещать. Настроение портится. Каждый раз после такого кутежа жизнь кажется мне глупой и скучной. (*Заметив Ерануи, Розалию и Баграта*.) Ну, начинается семейная идиллия.

ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

Те же, Ерануи, Розалия и Баграт выходят из столовой.

Ерануи. Сагател, скажи, чтобы Заруи дала тебе позавтракать.

Сагател проходит в столовую.

(Сурену.) Тебе я не предлагаю, ты, конечно, сыт.

Сурен. Манной каши съел бы мисочку.

Ерануи. Где ты провел ночь?

Сурен. Астрономией занимался, мама. Теперь звезды спустились с неба на опереточную сцену.

Баграт. Есть ли у тебя хоть капля совести? Как ты смел получить от Дильбарянов квартирную плату и расстянжирить ее?

Сурен. Уважаемый инженер-технолог, мне думается, я такой же сын своего отца, как и ты.

Баграт. Ты позоришь наш дом!

Сурен. Еще вопрос — кто из нас опозорил, господин гешефтмахер. Я грязь уничтожаю, а ты чтишь. Эх, не вынуждайте меня говорить, у меня злой язык.

Розалия. Знаю я твой язык. Мама, он вчера меня назвал лисьим хвостом.

Сурен. А сегодня назову маркизой из цирюльни. Чего ты недавно так пыжилась в карете? Прямо смех. Взяла этот картофельный мешок — Вардана, красную черкеску на него напялила и усадила впереди. Довольно того, что из Гюлум ты превратилась в Розалию, теперь княжеский тон задаешь. Эх ты, внучка цирюльника Элизбара! Бросьте, ради бога, вы все мне смешны, кроме несчастной мамы.

Маргарит выходит из кабинета отца.

ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

Те же и Маргарит.

Сурен. Если есть кто-нибудь среди вас, кто может упрекать меня, так это она. (*Показывает на Маргарит.*)

Розалия. Что и говорить, чудесная рекомендация!

Сурен (*едко*). По крайней мере, ты лишилась симпатии Отаряна.

Розалия. Мама, уйми его, он меня оскорбляет. (*Сурену.*) Ложь, он сам лишился моей симпатии!

Сурен. Да, с того дня, когда ты убедилась, что он избрал не тебя. А прежде, когда он был студентом? Ты перед ним чуть свечей не ставила. Это так же верно, как и то, что сейчас в карманах моих сквозняк. (*Пауза.*) Где папа?

Баграт. Не твое дело.

Сурен. Эх, как ни скрывайте, мне все известно. Попал волк в капкан и лапы себе грызет.

Баграт. Ты уж, кажется, слишком.

Розалия. Он пьян, не связывайся с ним.

Ерануи. Сума спятил.

Сурен. Что вы так смотрите на меня? Весь город говорит. Пора положить конец сплетням. Одно из двух: либо Отарян говорит правду, либо клевещет. Если клевещет, надо его наказать. (*Баграту.*) А, тренишь, дрожишь, судом угрожаешь?

Баграт (*возмущенно*). Трус тот, кто из-за бабы глотает оплеухи.

Сурен. Молчать, собака! (*Бросается на него.*)

Ерануи (*разнимая их*). Боже всемогущий!

Маргарит. Господи, и это семья...

Андреас (*показывается в дверях в одном жилете*). Что за шум? (*Сурену.*) А, это ты, блудный сын? Я убью тебя как собаку (*Бросается на него.*)

Сагател (*вбегая с салфеткой*). Успокойся, Андреас... (*Оттаскивает его за рукав.*)

Андреас (*Сурену*). Убирайся... Я говорил тебе: не лезь мне на глаза!..

Маргарит (*взяв за руку Сурена*). Стыдно, опомнись! (*Уводит его и возвращается.*)

Андреас. Вот моя жизнь. Хотел немного отдохнуть — не дают. Будьте вы прокляты!

Сагател уводит его.

Розалия (*Маргарит*). Змея, это ты его настроила! Маргарит. Постыдись своих слов, Розалия.

Ерануи. А теперь вы. Боже, что это за дом!

Розалия. Погоди ты у меня, придет время, рассчитываюсь с тобой! (*Хочет уйти, но остается, увидев Отаряна.*)

ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

Ерануи, Маргарит, Розалия и Отарян

О т а р я н (*входя из передней с веселым видом*). Здравствуйте, мамаша. (*Целует руку.*) Мадемуазель Розалия, здравствуйте! (*Протягивает руку.*)

Р о з а л и я (*с гневным презрением*). Мы не знакомы, сударь!

О т а р я н (*вздрогнув*). Что это значит, мадемуазель?

Р о з а л и я (*едко смеясь*). Влюбленные! (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

Те же без Розалии.

О т а р я н (*пораженный, глядя вслед Розалии, машинально жмет руку Маргарит*). Не знаю, чем я заслужил такую ненависть.

Е р а н у и (*в кресле*). Ничего, сынок, не огорчайся. Маленькая семейнаяссора. Розалия не в духе.

О т а р я н. Если я чем-нибудь виноват перед ней, готов извиниться.

Е р а н у и. Не обращай внимания, она ничего не понимает. Садись. Как мать?

О т а р я н (*сдерживаясь*). Благодарю, вы очень добры к нам.

Е р а н у и. Я люблю тебя, как родного сына. Рада, что ты вырос и в люди вышел. Я слыхала, что между тобой и моим мужем какой-то спор. Это меня сильно огорчает, сынок, сильно...

О т а р я н. Мамаша, что бы ни случилось, моя любовь и уважение к вам не уменьшатся. Никакие споры вас не могут коснуться.

Е р а н у и. Бог да благословит тебя. Мое желание — чтобы друзья жили в мире и из-за денег не забывали бога.

З а р у и проходит из комнаты барышень в столовую.

З а р у и. Барыня, вас барышня просит. (*Из столовой с графином воды проходит в комнату барышень.*)

Е р а н у и. Ах, видно, опять с ней истерика. (*Поспешно уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Маргарит и Отарян.

О т а р я н (*нетерпеливо Маргарит*). Скажи, что тут случилось?

М а р г а р и т. Обыкновеннаяссора. Сурен сцепился с Розалией и Багратом, поругались друг с другом.

О т а р я н. А чём же виноват я, за что твоя сестра меня оскорбила?

М а р г а р и т. Будь снисходителен. Розалия не умеет сдерживаться. Я убеждена, что потом будет каяться. (*Заруши, вошедшей с графином.*) Как она?

З а р у и. Ничего. Немного поплакала и успокоилась. (*Уходит в столовую.*)

М а р г а р и т. Довольно об этом. Есть дела поважнее. Отец вызывал тебя?

О т а р я н. Да. Где он?

М а р г а р и т. Отдыхает в кабинете. Присядь. Говоря по правде, ты нужен мне. Присядь.

Отарян садится.

Ты оставил меня между двух огней. Я верю тебе, но хочу верить и отцу. Избавь меня от этого тяжелого состояния. Одно из двух: или ты заблуждаешься, или отец на самом деле преступник.

О т а р я н. Послушай, Маргарит, я не раз говорил тебе, что это дело имеет для меня огромный нравственный смысл. Поверь, деньги в моих глазах не представляют никакой ценности.

М а р г а р и т. Ах, да разве я тебя только сейчас узнала! Но пойми, твоя вражда с отцом может меня погубить. Вот я чего боюсь.

О т а р я н. Дорогая, бесценная Маргарит, не терзайся. Я знаю, ты обожаешь отца, но я не столько против него настроен, сколько против твоего брата.

М а р г а р и т. Баграт недобрый, я это знаю.

О т а р я н. Он меня презирает. Он меня унижал, как мог, в кругу товарищей. Сколько раз обзвывал меня дармодедом. Я хочу избавиться от оскорбительного положения попрошайки, хочу быть достойным твоей любви. Неужели ты не можешь понять истинной цели моих поступков?

М а р г а р и т. Понимаю, прекрасно понимаю. Но как мне быть, как? Ты знаешь, что я тебя безмерно люблю, но

ведь я люблю и отца. Сегодня он мне наговорил таких вещей, что я от стыда готова была провалиться сквозь землю. Не думаю, что он сказал бы это, если бы на самом деле считал себя виновным. Он требует фактов и желает, чтобы я проверила их.

О т а р я н. И ты хочешь проверить? Понимаю. Два чувства борются в тебе: доверие к отцу и доверие ко мне.

М а р г а р и т. Вот в этом-то все дело. Ты прекрасно понял меня.

О т а р я н. Отлично, я освобожу тебя от этих терзаний.

М а р г а р и т. Да, да, помоги.

О т а р я н. Я тебе покажу все мои доказательства.

М а р г а р и т. Об этом-то я и прошу тебя!

О т а р я н. Хорошо. Для меня ты самый беспристрастный судья. Довольно будет, если ты, только ты, скажешь брату, что я дармоедом не был, и я готов отказаться от наследства. Я мог бы действовать через суд, но не делаю этого только ради тебя. Итак, ты будешь нашим судьей.

М а р г а р и т. Благодарю, бесконечно благодарю. Поверь, я буду справедливым судьей.

О т а р я н (*вздрогнув*). Вот это и страшит меня.

М а р г а р и т. Почему?

О т а р я н. Маргарит, дай мне слово, что, когда истина откроется, она не убьет тебя.

М а р г а р и т. Не надо никаких условий. Ты сам учил меня ставить истину превыше всего. Принеси эти бумаги, я хочу выжечь из сердца всякое сомнение. Не буду скрывать: на чьей стороне ни была бы правда, она все равно убьет меня. Где ни развернется бездна — между нами или между мною и отцом,— я в нее упаду. Принеси бумаги, я требую этого на правах любящей!

О т а р я н (*после паузы*). Хорошо, я принесу. (*Встает*.)

М а р г а р и т. Сегодня же!

О т а р я н. Через несколько минут я вернусь. (*Уходит*.)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Маргарит и Сурен.

С у р е н (*входя слева*). Не спится. Нет мне покоя. Наше душевное состояние удивительно связано с карманным. Когда этот проклятый карман пуст,—что ни говори, уснуть

я не в силах. Да, милая Маргарит, это новое психологическое открытие. А посему, не могла ли ты примирить меня с этим тупым Морфеем?

Маргарит. У меня нет денег.

Сурен. Ты, кажется, от отца получаешь ежемесячно триста рублей?

Маргарит. Я давно перестала брать деньги у папы.

Сурен. Вот оно что! Ты ненавидишь деньги, ты философ.

Маргарит. К чему деньги, когда все у нас есть?

Сурен. И то правда. Но мне они нужны, ах, очень нужны! Без денег я как без ног. Я тоже ненавижу деньги и всегда стараюсь отделаться от них. Когда у меня заведутся гроши, они, как комары, меня жалят. Вот я и стараюсь избавиться от них. И все-таки без денег скучно. Ах, Маргарит, жизнь — глупая вещь. (*Короткая пауза.*) Скучно, ах, как скучно! Жизнь просто опровергала мне.

Маргарит (*укоризненно*). Это в двадцать три года!

Сурен. Мало? В наше время люди многое видят, многое переживают, и все им быстро приедается. Честное слово, бывают минуты, когда я сам себя боюсь. (*Достает револьвер.*) Вот погляди, один выстрел — и Рубикон перейден.

Маргарит. Оставь, не дури, он может выстрелить.

Сурен. Ну нет, это не так-то просто! (*Показывает.*) Вот так: здесь потянуть, а здесь нажать пальцем — и готово.

Маргарит. Дай его мне, не носи с собой, это опасно.

Сурен. Я и сам хотел его выбросить. (*Отдает.*) Отойди от меня, сатана! (*Пауза.*) У тебя, значит, нет денег?

Маргарит. Нет. (*Осмотрев револьвер, кладет на стол.*)

Сурен (*после паузы*). Хоть бы рублей пятьдесят.

Маргарит отрицательно качает головой.

Жаль, очень жаль. Нынче, значит, не придется увидеть Орлову. Это ужасно стыдно. Она скажет, этот молодой армянин испугался расходов, — и опять сойдется с Абуловым. (*Задумавшись, садится. Пауза. Вдруг ударяет себя*

по лбу.) Эврика! Эдисон я, Эдисон! Где Розалия?

Маргарит. У себя.

Сурен. У нее деньжонки найдутся. (*Идет к крайней двери.*)

Маргарит. После таких оскорблений ты хочешь просить у нее?

Сурен (останавливается). Ах, это вздор! Она знает, у меня доброе сердце, язык только злой. Помириться не-трудно. Немного польщу, скажу комплимент, она и рас-тает.

*Мрачна душа моя,
Рвется она вдаль...*

(Напевая, проходит в комнаты барышень.)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ

Маргарит, Отарян, потом Андреас.

Отарян (входя в пальто). Вот, дорогая, тут все. (*Передает пакет.*) Здесь честь моя, самолюбие и все со-стояние.

Маргарит. Спасибо за большое доверие.

Отарян. Это доверие твой практичный старший брат безусловно сочтет за глупость. Но мне все равно. Я тебя люблю — значит должен и верить.

Маргарит. До чего ты добр и великодушен, Арта-шес!

Отарян. Только ради любви к тебе. (*Поцелуй.*)

Маргарит. Завтра или послезавтра ты все полу-чишь обратно. Порукой мое слово.

Отарян. Этого достаточно. До свидания.

Маргарит. До свидания. (*Провожает его.*)

Андреас показывается в дверях кабинета.

Маргарит возвращается.

Андреас (будто не заметил Отаряна). Кто тут был?

Маргарит. Вот, папа, все тут. Теперь я узнаю, кто прав из вас.

Андреас. Молодец, дочка! Проверь и убедись. (*Це-лует ее в лоб.*)

Расходятся.

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Та же обстановка. Вечер. При поднятии занавеса на сцене полумрак. Все двери закрыты, кроме ведущей в переднюю. Косой луч падает на рояль. *Маргарит* играет грустную мелодию. В полутьме видна лишь ее голова. Электрический звонок. *Зыруи* из столовой проходит в комнату барышень.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Маргарит и Баграт.

Баграт входит слева, во фраке со значком технологического института, завязывая галстук.

Баграт. Вечно та же унылая мелодия, в одно и то же время.

Маргарит (*играя*). Говорят, каждый час отмечен своим настроением. По вечерам мне грустно, и я вспоминаю этот мотив.

Баграт. И играешь его в поэтическом сумраке, как идеальная влюбленная. Но, прости, я ненавижу темноту. (*Зажигает люстру*.)

Маргарит. Будет. (*Закрывает рояль. Баграту*.) Куда ты собрался?

Баграт (*став перед зеркалом и поправляя галстук*). На вечер технологов. Ступай оденься, я возьму и тебя. Розалия тоже собирается. Там ты увидишь нашу избранную интеллигенцию.

Маргарит. Почему избранную?

Баграт. На вечере будут одни инженеры. Ты там не встретишь героев портфеля и рубля, то бишь юристов и врачей.

Маргарит. Как видно, ты очень высокого мнения о своей профессии.

Баграт. Подлинные представители энергии, ума и современности — это инженеры. Пойдешь ты или нет?

Маргарит. У меня нет настроения.

Баграт. Не люблю я это слово — настроение. От человека зависит настроить себя, как ему угодно. Ах, этот чертов галстук никак не завяжешь!

Маргарит (*помогает*). Легко тебе говорить. Ты миришься со всеми житейскими обстоятельствами.

Баграт. Да, если, конечно, они не требуют борьбы. Иначе я стремлюсь преодолеть их рассудком.

Маргарит поправила брату галстук.

Спасибо. (*Рассматривает ногти.*) Разум, моя милая, единственный властелин наших дней. А потому я не могу оправдывать твою грусть, а в последнее время она уже начинает походить на протест.

Маргарит. Хотелось бы мне быть такой же веселой, как сестра, порхать, как беззаботная птичка. Хотелось бы ни о чем не думать, кроме собственного удовольствия. Ничего не поделаешь, не могу. (*Вздох.*)

Баграт (*иронически*). Ты влюблена, ты томишься от любви к одному несравненному юноше, бесподобному идеалисту! (*Серьезно.*) Довольно, Маргарит. Укорять тебя не имею права, но и молчать не могу. Довольно. Перестань ребячиться. Ты взрослая, и пора бы тебе понять, что ты не смеешь любить человека, оклеветавшего своего отца.

Маргарит (*поднимая голову*). А что если он не клеветник?

Баграт. Ты уверена в этом?

Маргарит (*с жаром*). Больше чем уверена!

Баграт. Сестрица, сдается мне, что твои мозги начинают пошаливать. Глупая любовь совсем опутала тебя. Если так будет продолжаться, я тебя возненавижу, как и его.

Маргарит. Мне теперь все равно. У меня факты. Из них любому ясно, что отец наш обобрал целую семью, и обобрал самым безжалостным образом.

Баграт (*растерявшиесь, возмущенно*). Маргарит!

Маргарит. По желанию папы я вытребовала у Отаряна его документы. Знай, Баграт, все, что говорит он,— сущая правда. Ах, эта мысль может с ума меня свести. (*Мрачно ходит взад и вперед.*)

Пауза.

Баграт (*растерянно*). Ты меня совсем огорошила. Где же эти документы?

Маргарит. Там, у меня в столе.

Баграт. Ты говорила с папой?

Маргарит. Да.

Баграт. Что же он говорит?

Маргарит. Что может сказать преступник, пойманный с поличным? Он растерялся, покраснел, замолчал и, конечно, опровергнуть ничего не мог. Иди на бал, а утром, если пожелаешь, можешь все прочесть.

Баграт. Ах, какой там бал! У меня все вылетело из головы. Значит, правда, что нам грозит банкротство?

Маргарит. Тебя тревожит банкротство, а меня бесчестие. Теперь все в руках Отаряна.

Баграт. Конечно, он захочет нас обесчестить и разорить. Он ненавидит меня. Покажи бумаги. Я хочу их видеть своими глазами и лично убедиться.

Маргарит (*многозначительно и с жаром*). Только будь осторожен. За их сохранность я поручилась честью.

Баграт (*оскорбленно*). Маргарит, я не разбойник!

Маргарит. Пойдем. Взгляни, и ты увидишь, на чьи деньги собираешься воровать огромными делами.

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Андреас и Сагател входят из передней.

Андреас. Она не дочь мне, она судья. Всю ночь я глаз не сомкнул. Весь день томился. Я считал, что эти бумаги потеряны. Ну, думал я, у женщины ум короток. Мало ли было слuchaев, когда вдовы сжигали важные бумаги мужей? Но эта оказалась не дурой: она все прятала, чтобы сын ее накликал теперь на мою голову беду. Сагател, Маргарит не просит, а требует, как плач, чтоб я склонился перед этим щенком, раскаялся и отдал ему половину состояния.

Сагател. Ты видел эти бумаги своими глазами?

Андреас. Видел, еще бы. Она их показала при матери. Стала в отдалении, прочла каждую, обо всем напомнила и тотчас спрятала опять в свой письменный стол.

Сагател. Конечно, мать постаралась дополнить то, чего не знала дочь.

Андреас. О-о, сестра твоя для меня — кара божья. Вместо того чтобы защитить мужа, она еще больше осрамила меня перед дочерью. Я вышел из себя, набросился

на нее, хотел задушить. К счастью, Маргарит вовремя вмешалась и не допустила этого. Она кинулась на шею матери. Надо было видеть, как она рыдала. Над моим трупом Маргарит так плакать не будет. А потом, когда пришла в себя, что она говорила, боже мой, что она говорила! «Папа, можно согрешить, но надо и покаяться, лучше раскаяние, чем бесчестие». У кого она этому научилась?

Сагател. У кого? Конечно, у того щенка. Бог его знает, чему еще он ее научил.

Андреас. Попытался я оправдаться. Говорю: когда компаньон мой умирал, земли были дешевы, дохода не давали, что я мог выделить сиротам? Потом, говорю, земли поднялись в цене, конечно, на мое счастье, потому что, если б покойник был так же счастлив, он бы не умер. Но ведь я его сирот не забыл. Я помогал, буду помогать, всегда помогу, только отвяжись. «Нет, говорит, ты им обязан выдать все, что полагается по закону». Слышишь, Сагател? Все! Она думает, что это возможно, думает, что это не деньги, если они добыты воровством. Но деньги еще с полгоря. А честь моя? Что подумают люди? (Ходит взад и вперед.)

Сагател. Скажут, что Элизбарян вор и теперь, испугавшись суда, возвращает краденое. Покажись ты тогда в обществе — в глаза тебе плюнут. А я.. Я тебя сочту дураком...

Андреас. Одно осталось. Испробовал я и это. «Дочка, говорю, ты этого парня любишь, и он тебя любит. Чего же еще? Давай обвенчаю вас. Дам хорошее приданое, построю дом, обставлю. Отдай бумажки».

Сагател. А что она на это?

Андреас. «Нет, говорит, папа, не деньги в приданое мне нужны, а честь. Раз ты виноват перед этим человеком, то я не могу быть счастлива с его сыном. Он каждую минуту может мне сказать: «Отец твой отграбил моего отца». Я не вынесу таких упреков от мужа».

Сагател. Язычок, язычок-то каков! Чистый философ!

Андреас. Ах, Маргарит — внучка своего деда, священника. Вчера, когда она говорила, мне все казалось, что устами ее отец Симеон изрекает евангельские слова.

Сагател. Но ведь отец-то мой был лицом духовным,

обязан был правду проповедовать, а мы — светские, наше дело другое. Женщинам это непонятно.

Андреас. Укажи мне выход, Сагател. Что мне делать, как избавиться от этого щенка?

Сагател. Что делать, говоришь? Ты сам давно нашел выход. Делай, что задумал...

Андреас. Да, обязательно надо сделать, другого выхода нет. Для этого ведь и постарался я, чтобы бумаги попали в руки Маргариты.

Сагател. Но надо кончать поскорей, этой же ночью. Иначе завтра будет уже поздно.

Андреас. Молчи, я слышу шаги. Сюда идут. Пойдем ко мне, там обдумаем, как устроить это дело.

Уходят.

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Маргарит, Баграт и Розалия выходят из комнаты барышень.

Баграт (*взволнован*). Сомненья нет, катастрофа неизбежна.

Розалия (*в бальном платье, натягивая перчатки*). А я-то думаю, что это за бумаги перебирала вчера сестра и, увидав меня, спрятала? Уж не любовные ли письма, чего доброго? Гляжу — договоры, торговые бумаги, фи! (*Прихорашивается у зеркала*.)

Баграт (*задумчиво*). Скажи, Маргарит, можешь ты эти бумаги оставить у себя на несколько дней?

Маргарит. Нет.

Баграт. Почему?

Маргарит. Я обещала завтра вернуть их.

Баграт. Мне думается, прежде чем их вернуть, не мешало бы как следует поразмыслить.

Маргарит. Чего ты хочешь от меня, скажи яснее?

Баграт (*колеблется*). По-моему, вручить такое оружие нашему противнику — неразумно.

Маргарит. Что? Значит, ты требуешь, чтобы я...

Баграт (*холодно*). Чтоб ты этих бумаг не отдавала Отаряну.

Маргарит (*возмущенно*). Значит, ты... Стыдись своего ученого значка, Баграт!

Баграт (*раздражаясь*). Ах, брось ты эти пустые фразы, бога ради. Знаю, этот господин набил тебе голову сумасбродными идеями. Но мы живем не в рыцарскую эпоху.

Маргарит (*с горькой иронией*). Как будто иметь простую честность и человеческую совесть — это рыцарство!

Баграт. У каждого из нас свои понятия о совести и честности. Дело в том, что, если эти документы перейдут к Отаряну, я теряю свой завод. А это значит — бросить в море все мои планы. Завод — основание будущей моей силы, власти и счастья. Я хочу стать крупным финансистом, одним из тех магнатов, которые держат в руках самую могучую силу нашего времени — капитал.

Розалия. Стать человеком, который открывает путь к труду для тысячи безработных и кормит бедные семейства. Я понимаю тебя, Баграт.

Маргарит. И все это на чужие деньги?

Баграт. Дети за отцов не отвечают. Прошлое наших родителей для нас — мертвая легенда.

Маргарит. Которая, однако, сегодня воскресла и позорит всю нашу семью.

Баграт. Значит, надо ее снова задушить и засыпать землей.

Маргарит (*с глубокой скорбью*). Баграт!

Баграт. Ах, кто только не пускался на разные уловки и не обирал ближнего! А теперь разве не грабят! Разница в том, что прежде обирали по старому способу, а нынче по новому. Маргарит, сейчас лучше быть более умной, чем чувствительной.

Маргарит (*возмущенно*). То есть лучше быть жадной, чем честной? Позволить отцу обобрать беззащитную семью и выкинуть ее на улицу? Быть сообщником его преступления и продолжать то, что он начал? Для чего? Чтобы жить в этих хоромах, набитых золоченой мебелью, пышно одеваться и ездить на балы? Нет, нет, я так не могу, я этого не хочу!

Розалия (*с ненавистью*). Та-та-та-та! Какая героиня нашлась! А я-то не знала. Настоящая героиня!

Баграт (*примириительно*). Маргарит, я твои идеи уважаю, но ты не увлекайся ими. Подумай только, каким

воздухом мы дышим. Твой поступок в обществе никого не удивит, напротив, многие тебя сочтут дурой.

Маргарит. Я поступаю не по указке общества, а повинуясь совести.

Розалия (яростно). Меня тошнит от подобных фразерок! (Баграту.) Напрасно ты пытаешься ее уговорить. На нее можно подействовать только силой. Отними бумаги — и делу конец!

Ерануи появляется в дверях столовой.

Баграт (тем же тоном). По крайней мере хоть завтра не возвращай. Подожди денька два и вместе все обсудим. Ты умница, ты не захочешь предать нас врагу.

Маргарит. А вот посмотрим, что скажет мать.

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Те же и Ерануи, потом Заруи.

Ерануи (сложив печально руку). Столько лет я скрывала от детей проделки мужа, и один бог ведает, каких страданий мне это стоило. День и ночь я думала об этом. Иногда я собиралась заговорить — он оглушал меня криком. Я молчала и таила в сердце горечь.

Маргарит. Вы слышите?

Баграт. Мама, это уж слишком.

Ерануи (сердито). Молчи, ты ничего не знаешь. Отец твой продал душу Вельзевулу. Вчера приспился мне покойный отец Арташеса. Он стоял у наших ворот с поникшей головой, скрестив руки, бледный, измученный. «Ерануи, говорил он, ты ведь знаешь, мы были как братья. Вместе нажили богатство. Зачем ты позволяешь ему отнимать у моих детей кусок хлеба?» Ах, не раз я начинала разговаривать, но кто меня слушал? Баграт, Баграт, целых девять лет этот человек проклинает нас из могилы.

Баграт (раздраженно). Над покойниками два ариши на земли.

Ерануи. Брось ты рассуждать, как Сагател! Мы все предстанем перед страшным судом. И на мне лежит грех, что я не сумела вернуть твоего отца на праведный путь. Я вся дрожу от страха.

Маргарит (*еле сдерживаясь*). Успокойся, мама. Папа добр и умен, он исправит ошибку.

Ерануи (*с отчаянным жестом*). Ах!..

Заруи (*входя из столовой*). Из клуба вас просят к телефону.

Баграт. Провались он, этот бал! Я и забыл, что выбран распорядителем.

Розалия. Едем же, мы и так опоздали.

Баграт (*Маргарит*). Надеюсь, ты к утру передумаешь.

Маргарит (*бросаясь на шею матери*). Мама, какое у тебя золотое сердце!

Ерануи (*глядя ее*). Поди ко мне, дочка, ты мое единственное утешение. У них другая душа, они мне чужие. (*Целует ее*.)

Баграт. Противны мне эти сентиментальности. (*Уходит*.)

Розалия. Психопатка! (*Идет за братом*.)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Маргарит, Ерануи, Заруи и Сурен выходят из левой двери.

Сурен. Ушел наконец наш энергичный коммерсант, ловкий гешефтмахер и доморошенный американец! Бразо, Маргарит! Я все слышал из-за двери. Мама, на сей раз блудный сын с тобой согласен. Дай поцелую руку. Я сегодня виделся с Отаряном. (*Маргарит*.) Можно говорить при маме?

Маргарит. У меня от мамы нет секретов.

Сурен. Правду сказать, парень благородный. Я плохо знал его. Нынче он мне очень понравился. Говорит: «Я беден, бедняком и останусь, лишь бы Маргарит не разлюбила меня». Слышишь? Какое сердце надо иметь, чтобы ради любви отказаться от огромного наследства! (*Заруи*.) Убирайся! Чего ты подслушиваешь?

Заруи уходит.

Маргарит. А ты что ему ответил?

Сурен. Я?.. Как ты думаешь, что мог бы ответить такой сумасброд, как я? Вот мои слова: «Арташес, сестра моя — девушка гордая. От тебя она жертв не примет. В великолепии ее не превзойти».

Маргарит. Спасибо.

Сурен. На этом мы и кончили разговор. А теперь скажу и свое мнение. Ведь я тоже, черт его дери, член семьи. Раз доказано, что наш отец обобрал Отаряна, наш долг потребовать, чтобы он удовлетворил обездоленных.

Маргарит. Слышишь, мама, что он говорит?

Сурен. Ах, да не спрашивай ты маму обо мне. Она крест на мне поставила. Я бездельник, шарлатан, но да будет вам известно, что я лучше откажусь от наследства, чем допущу, чтобы мне говорили в лицо: ты, мол, сын грабителя. Это уже решено и подписано! (*Закуривает сигарету.*)

Ерануи. Тебя не понять. Сам говоришь, и сам же отца обираешь.

Сурен. Ты намекаешь на векселя? Ей-богу, мама, не я это выдумал, а твой достопочтеннейший брат. Он, о-о, он кум Шейлока. Он дает мне взаймы с одним условием, чтобы после смерти отца получить с меня вдесятеро больше. Но жадность порою дурачит людей. Теперь мой достопочтеннейший лядюшка побаивается, как бы он раньше папы не отправился в горний Иерусалим. Не обижайся, мама, но твой брат не человек, а помесь волка с лисой. Я же хоть и блудный сын, но джентльмен. Вчера Баграт назвал меня трусом за то, что я проглотил оплеуху. А хочешь знать, почему я ее проглотил?

Ерануи. Не хочу я слышать такие вещи, не хочу!

Сурен. Нет, ты выслушай. Оплеуху я получил из-за одной очень порядочной женщины. Если бы я не проглотил, пришлось бы мне драться, и тогда она была бы скомпрометирована. Слушай дальше...

Ерануи (*закрывая уши*). Не хочу я слушать, не хочу!

Сурен. Хорошо, отложим. Слышишь, Маргарит? Папа обязан спасти свое имя от позора. (*Глядя на часы.*) Ого, половина одиннадцатого! Лечу...

Ерануи. Куда опять в такую ночь, беспутный?

Сурен. Изучать звезды. Орлова меня ждет. Аревидерчи! (*Уходит напевая.*)

Маргарит. Видишь, мама, твой беспутный сын рассуждает благороднее, чем разумный.

Заруи (*в дверях столовой*). Повар спрашивает на счет ужина.

Ерануи. Я ужинать не буду. Ах, опять начинается моя мигрень!

Маргарит. И я не буду.

Заруи уходит.

Мама, поди приляг, у тебя нервы вконец расстроились. Я тоже не спала всю ночь, голова кружится от бессонницы. (*Целует мать и уходит.*)

Ерапуи (глядя ей вслед). Дай бог, чтобы ты была счастливее меня... Ах!.. (*Идет в столовую.*)

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Андреас и Сагател входят справа.

Андреас. Слава богу, наконец-то разошлись. Ну да лучше ночью, чем днем. Тьма — союзница греха.

Сагател (*медленно перебирая четки, гадает*). К добру, ко злу... к добру, ко злу... Вот видишь, все на добро выходит.

Андреас. Но сердце мне говорит, что наша затея к добру не приведет.

Сагател. А не сделаешь — хуже будет. Объяснял, просил, умолял — не удалось. Что же поделать? Не можешь же оставить свою честь в руках врага?

Андреас. Позвони, посмотрим, кто чем занят.

Сагател. Ничего не слышно. (*Нажимает кнопку.*)

Слабый звонок.

Андреас. Тебе-то что, ты свое дело обделал. Недурной куртаж — участок в пятьсот сажен.

Сагател. Просил я тебя впутывать в это дело?

Входит Заруи.

Андреас. Ну ладно, ладно. (*Вошедшей Заруи.*) Есть кто-нибудь в столовой?

Заруи. Никого.

Андреас (*притворно сердясь*). Чего ж ты лампы зажгла?

Заруи хочет идти.

Барыня что делает?

Заруи. Только что легла. У нее опять началась головная боль.

Андреас. Этого еще недоставало. Позови-ка сюда Маргарит.

Заруи. Она спит.

Андреас. Спит? Так рано? Хорошо, ступай. Барыне скажи, что мы пошли в клуб. Ты тоже можешь ложиться. Я сам запру двери, ты мне не нужна. Потуши в столовой свет. Вам на экономию наплевать, точно я деньги чеканю или на дороге граблю. Ступай!

Заруи тушит свет в столовой и уходит.

Сагател. Одна больна, а другая спит, сам бог тебе помогает.

Андреас. Ох, не говори ты мне сейчас про бога. Он еще больше рассердится на нас. Гм, хорошо, что я сказал, мол, собираемся в клуб. Посмотри, нет ли кого в столовой.

Сагател смотрит.

Затвори. (*Прислушивается у двери Маргарит и, посмотрев на карманные часы, возвращается.*)

Сагател (*притворяя дверь*). В передней никого. Более удобного времени не выбрать. (*Прячет четки.*) О чем задумался?

Андреас. Когда дьявол внушает человеку грешную мысль, он все время держит его в страхе. Притвори дверь в столовую.

Сагател закрывает.

Оттуда на нас как будто чьи-то глаза смотрят. Иди поближе. (*Садится в кресло.*)

Сагател (*у авансцены*). Много ты в жизни чего делал, сделай и это.

Андреас (*шепотом*). Делал! Делал не один, и ты всегда бывал со мной. Эх, опять почудился мне твой отец. Он говоривал: «Смерть грешников лютая».

Сагател. Нашел когда вспоминать о моем отце!

Андреас. Сагател, мне пятьдесят шесть лет. В каких только переплетах я не побывал! И клятвы нарушал, и легковерных обманывал, и бедных обирал, три раза взяткой откупался, но никогда себя так скверно не чувствовал. Отчего это, Сагател? Посмотри, я весь покрыт холодным потом.

Сагател. Завтра в эту пору подсчитай и увидишь, что целых семьсот тысяч у тебя на руках.

Андреас. Жадность, алчность — и больше ничего.

Сагател. Ну вот, рассуждать пустился. Спеши, время идет.

Андреас. Не думай, Сагател, что это я только ради денег. Нет, я хочу проучить щенка. (*Встает.*)

Сагател. Конечно. Тут честь замешана, а деньги — чепуха...

Андреас (*со скрежетом*). Гордец, зазнайка! Он хочет меня задушить, меня, который этими руками готов душить сотни людей... А-а, только попади мне в руки бумаги, я покажу тебе, каков я!.. Тише! Что за шум?

Сагател. Никакого шума не слышу.

Андреас. Ну, Андреас, не раскисай, стыдио. Сделай и это. Будь что будет. (*Осторожно проходит в комнату Маргарит.*)

Сагател. Волк в овчье стаде, говаривал мой отец. (*Тущит свет.*)

На сцене темно.

Этак лучше, меня не заметят.

Молчание. В столовой бьет одиннадцать.

Теперь и я боюсь.

Долгая пауза.

Андреас (*показывается в дверях,rezvychayno взволнованный, дрожащий, но веселый. Крепко держит в руках пакет. Шепотом*). Сагател!

Сагател. Здесь!

Сцена освещается.

Андреас (*у авансцены*). Вот тут его душа. То, что меня лишило сна и покоя. Мое богатство, имя, честь, спасенные семьсот тысяч!

Сагател. Ну, идем отсюда.

Андреас. Дай посмотрю. (*Осматривает.*) Оно сальное. Ловко вышло. Она спала как младенец, с книжкой на груди. Ключи под подушкой. Взял я и... ты ничего не слышишь? (*Быстро прячет пакет.*)

Сагател (*беспокойно*). Слышу. Идем.

Слышится с улицы полицейский свисток.

Андреас. А-а, это полицейские ловят вора. Вероятно, один из несчастных стянул кусок тряпки. Тсс! Пошли!

Сагател подходит к правым дверям, прислушивается, ждет с минуту и исчезает. Андреас следует за ним.

Маргарит (*в ночной сорочке, растерянно осматривается, видит отца уже у дверей, вздрагивает и издает слабый крик*). Папа! (*Сделав несколько шагов, кричит не своим голосом*.) Папа!

Андреас в дверях оглядывается с ужасом и скрывается. Маргарит, рыдая, падает.

Занавес медленно опускается.

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Обстановка первого действия. Ранний вечер. На столах горят электрические лампы. Дверь в опустевшую контору открыта. Баграт сидит за столом справа, просматривает заводские счета. Перед ним стоит Каринян и дает объяснения. Справа, у стола Андреаса, сидит Сагател; заложив ногу на ногу, он медленно перебирает четки.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

Баграт, Сагател и Каринян.

Баграт. За трубы я должен около восьми тысяч. За машины уплачено двадцать семь двести. Общая сумма расходов — триста двенадцать тысяч... (*Про себя*.) И все это может ускользнуть из моих рук. Ах! (*Встает*.) Скрой пока этот счет от папы. Для старых купцов страшна смелая инициатива. Они больше дорожат сегодняшней копейкой, чем завтрашним рублем.

Сагател. По-моему, тоже — хоть поменьше, да в руках. (*Трет четки и нюхает*.)

Баграт. Принцип лавочника. (*Кариняну*.) Вы свободны, можете идти.

Каринян. Я хотел вам напомнить...

Баграт. О вашем жалованье? Знаю. Хорошо, хорошо, я подумаю.

Каринян. Вот уже скоро полгода, а вы все одно и то же отвечаете. Сто рублей в месяц — ничтожная плата за мой каторжный труд.

Баграт. При вашем ничтожном образовании — это

весьма значительное жалованье. В наше время ценятся только талант и знание.

Каринян. А долголетняя честная служба — ничто?

Баграт. Ладно, уходите. Не люблю я, когда стараются меня учить. До свидания!

Каринян мрачно уходит в кабинет. Там тушатся огни.

ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

Баграт и Сагател

Баграт (*нетерпеливо*). Дядя, пу расскажай скорее, какие новости?

Сагател. Слава богу, все благополучно. (*Медленно встает и поправляет полы архалука.*)

Баграт. Отарян был?

Сагател (*пожимая плечами*). Почем я знаю, я не сторож ему. (*Медленно ходит взад и вперед.*)

Баграт. Надо бы узнать, виделся ли он с Маргарит.

Сагател. Может, виделся, а может, и нет — дело божье.

Баграт. Целый день я не могу с ней встретиться. Не знаю, почему она заперлась и никого не пускает к себе.

Сагател. Дело божье.

Баграт. Вообще у нас сегодня страшная кутерьма. Заметил ли ты, как странно папа вел себя за обедом? Я никогда не слыхал от него таких бессвязных речей. Вина он пил гораздо больше, чем всегда. Этому трезвому человеку как будто хотелось непременно опьянеть.

Сагател. Дело божье.

Баграт. Что с тобой такое? Ты что-то часто пынче вспоминаешь о боге.

Сагател. Бога я всегда помню. Это ты хотел сбить меня с праведного пути своими учеными разговорами.

Баграт (*встает и смотрит ему упорно в глаза*). Ты упрекаешь меня? Это недурно, недурно. Я сам собирался слегка упрекнуть тебя.

Сагател. Меня? За что?

Баграт (*кладет ему руку на плечо*). Сознайся-ка, почтенный дядюшка: очень бы тебе хотелось убедиться, что там (*указывает на небо*) ничего нет?

Сагател. Что ты хочешь этим сказать? Говори яснее.

Баграт. Вот что я хочу сказать, почтенный дядя: для людей, подобных тебе, выгодней всего не бояться ни неба, ни земли.

Сагател. А сам-то ты кто? Кого и чего ты боишься, безбожник?

Баграт. Я? От я чего боюсь. (*Ударяет себя по лбу.*) Единственный мой бог — разум! Теперь, дядюшка, перейдем к делу. Признайся, много ты за двадцать пять лет накрал у Элизбарянов?

Сагател (*притворно оскорбленный*). Что?! Я накрал? Пьян ты, что ли?

Баграт (*холодно*). Я никогда не бываю пьян. Слушай, дядя, ты обирал отца — он простили тебя. Это его дело, но я... я покорнейше прошу к моим делам подходить с чистыми руками.

Сагател. Боже мой, боже мой, да ты с ума спятил!

Баграт. Недавно, когда я проверял счета моего завода, то заметил, что купленные тобой материалы оплачены вдвое дороже. Оправдательных документов ты не представил. Да и те, что есть, фальшивые. Одним словом, ты порядочно присчитал. Я знаю — все приказчики таковы, но со мной советую тебе быть поосторожней.

Сагател (*возмущенно жестикулируя*). Поглядите на него, поглядите — он не постыдился назвать вором родного дядю! И небо не гремит, и камни не воплют! Господи, господи, до чего мы дожили!

Баграт. Э-э, брось ты эти цыганские фокусы! Меня не прозедешь. Еще раз прошу тебя, держи руки чистыми. Я человечек трезвый и мстительный, не пощажу даже брата моей матери.

Сагател. Бесстыдник, говорит такое и не краснеет!

ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

Те же и *Андреас*, входит через левую дверь.

Андреас (*старается быть равнодушным*). Что же нам теперь делать, Сагател? Недурно бы отправиться в клуб и сыграть пульку в преферанс. Давненько я там не был. Ну, а ты что скажешь, господин инженер?

Баграт. Очень рад, что ты хочешь показаться в об-

ществе. Твое отсутствие в клубе дает повод к пересудам. Но странно, что ты так спокоен.

Андреас. Отчего же мне не быть спокойным? Слава богу, мой дом не сгорел, векселя не опротестованы. (*Беспокойно оглядывается на дверь, откуда вышел.*)

Баграт. Вчера ты не так разговаривал.

Андреас. То — вчера, а то — сегодня. Сагател, дайка мне четки. Велика твоя милость, господи! (*Садится за свой стол.*)

Баграт. Значит, папа, ты уже не боишься Отаряна?

Андреас (*нервно смеясь*). Ха-ха-ха! Слышишь, Сагател? Не боюсь ли я Отаряна? (*Сыну.*) Кто такой Отарян? Когда это я боялся его или вообще кого-нибудь? Андреас Элизбарян не из робкого десятка. (*Оглядывается опять.*) Посмотри, Сагател, кто в той комнате. (*Баграту.*) Ты вздор несешь!

Сагател (*всунув голову в левую дверь*). Там никого.

Андреас. Мне показалось, что там кто-то в белом, с длинными волосами. Притвори-ка дверь!.. Отарян! Уж лучше — собака, кошка, мышь, ящерица!

Баграт (*всматривается в отца*). Странно. Вчера ты ужасался, слыша имя Отаряна, а сегодня смеешься над ним. Я же, напротив, пренебрегал им, а сегодня не могу.

Андреас. Это твое дело. Поступай как знаешь. Ну, Сагател, идем, что ли, в клуб?

Сагател кивает.

Баграт. Вчера у Маргарит я просмотрел бумаги, о которых ты знаешь. Если Маргарит вернула их Отаряну, я не понимаю, как можно быть спокойным.

Андреас. Можешь об этом не думать. Завод твой будет достроен.

Баграт (*радостно*). Как так, папа, объясни, ведь это дело касается нас обоих.

Андреас (*возмущенно*). Успокоишься ты или нет? У меня голова трещит. Сегодня я не расположен говорить об этом.

Баграт (*с недоумением смотрит на отца и на Сагатела*). Ничего не понимаю. Непременно надо повидаться с Маргарит. Хоть насилино, а войду к ней. Тут что-то скрывают от меня. (*Уходит.*)

ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Андреас и Сагател.

Андреас. Ах! (*Бросает четки на стол и встает.*) Чуть было не сболтнул. Не выходит, Сагател, не выходит. Как ни стараюсь притвориться спокойным — не могу.

Сагател. И убийца в конце концов привыкает к своему преступлению. Только сегодня трудно, а завтра, послезавтра — все забудешь.

Андреас. Вид дочери ночью — ее лицо, голос... До могилы не забуду.

Сагател. Ребенок ты — и больше ничего. Ты стараешься, чтобы чужие не знали, а что тебе Маргарит? Она — дочь, простит тебя.

Андреас (*ходит взад и вперед*). Не говори, ты не знаешь, что у меня на душе. (*Вздрогнув.*) Посмотри, нет ли кого-нибудь в конторе. Я слышу голос.

Сагател (*смотрит*). Никого. (*Притворяет дверь и берется за четки.*)

Андреас. Со всех сторон слышу голоса, всюду вижу лица. Что она подумает об отце? Она, должно быть, истомилась от стыда. Когда она закричала «папа», у меня от ужаса ноги подкосились, я чуть не упал у дверей. Кажется мне, Сагател, что она, точно ангел смерти, преследует меня как тень, а потом схватит за шиворот и скажет: «Отвечай, я твой судья!» Что я смогу ответить? Сагател, мы много с тобой всяких дел натворили, но этого нам не проглотить. Застрянет в горле, вот увидишь...

Сагател. Конечно, если будешь так держаться, то сам на себя беду накличешь. Надо быть спокойным, не думать ни о чем. Подумай, какое огромное богатство ты спас, — и тогда этот поступок покажется тебе пустяком. (*Пауза.*) Да, чтоб не забыть, сделай обещанное. Дай мне бумажку, что в городе, там-то и там-то, ты даришь мне участок в пятьсот сажен.

Андреас. Безбожник, только о себе и думаешь. Жадный!

Сагател (*иронически*). Жадный! Даешь двадцатую часть, да я же и жадный.

Андреас. Хорошо, после дам.

Сагател. Нет, нет, давай сейчас, после еще откажешься. Я хорошо тебя знаю.

Андреас (*яростно*). Говорю, потом!

Сагател (*загадочно глядя*). Как хочешь.

Андреас (*понимает его мысль*). А-а, дьявол! Ты за один золотой могилу разворошишь. (*Подойдя к столу.*) Дай мне клочок бумаги.

Сагател. Я уже все заготовил, только распишись. (*Достает из кармана бумагу.*)

Андреас (*прочитав бумагу*). Ишь, дьявол, сочинил, точно нотариус. Пятьсот сажен в центре города, один из лучших участков. Много, не дам!

Сагател (*холодно*). Ты обещал...

Андреас. Много, говорю. Половину я должен пожертвовать на городское училище. Давно меня об этом просят.

Сагател. Хороша благотворительность на чужой счет. Подпиши!

Андреас. Говорю, много.

Сагател (*спокойно хочет взять бумагу*). Дело твое. Я думал, честный купец держит свое слово.

Андреас (*со скрежетом*). А-а, зверь! (*Подписывает.*)

Сагател (*приложив пресс-папье, прячет бумагу в карман*). Спасибо. Теперь можешь надеяться на меня. Только поменьше думай. Грех тогда лишь становится грехом, когда он всем известен. Что ты, собственно, сделал? Вырвал у голодного волка зубы — вот и все. Пускай теперь кричит сколько влезет, что, дескать, Элизбарян обобрал его отца. Мы потребуем фактов.

Андреас (*жадно слушает*). Да, именно! Обращайся теперь в суд. Отныне судьей буду я. «Сударь, скажу я на суде, подтверди свои слова фактами и получай наследство». А доказательств нет, ха-ха-ха! Нет! Они исчезли. И я плону ему в лицо, отомщу. О-о-о, Сагател, я много перестрадал! (*Открывает письменный стол.*) Вот здесь его язык, гордость и душа! (*Смотрит на пакет.*) Вчера я был в его руках, сегодня он в моих когтях.

Сагател. Сожги их, зачем оставлять?

Андреас. О, я такой костер разведу, что залюбушься. Но пока пусть полежат тут, не могу наглядеться. (*Прячет.*) Пожалуйте сюда. Сам архангел Гавриил не вырвет вас из рук Андреаса Элизбarya. Эх, кого мне теперь бояться?! Родной дочери.

Сагател. Она тебя никогда не выдаст.

Андреас (*вздрогнув, прячет ключ*). Шаги! Посмотрите, кто там. Надо быть хладнокровным...

Сагател (*открывая дверь в переднюю*). Это он (*В переднюю*.) Пожалуйте! (*Отступает, кланяясь Отаряну.*)

ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

Те же и Отарян.

Отарян входит в пальто, кланяется Андреасу, не глядя на Сагатела

Отарян. Извините за беспокойство. Ради бога, скажите, что у вас случилось? Говорят, мамаша и малемузель Маргарит внезапно заболели.

Андреас. Спасибо, сударь, за твои заботы. Но больных у нас нет. Еще что?

Отарян. Господин Андреас, я знаю, вам уже все известно. Не буду скрывать, что здоровье Маргарит мне всего дороже. Ест уже третий раз я прихожу сегодня, меня не принимают, говоря, что она больна. Это меня пугает. Не представляю, чтоб Маргарит из-за легкого недомогания не приняла меня. Значит, она тяжело заболела.

Андреас (*с иронией*). Слышишь, Сагател? Человек страдает. Успокойся, сударь, дочь моя не больна, но, должно быть, не хочет тебя видеть. Сагател, не пора ли в клуб?

Сагател. Пора. (*Делает Андреасу знак не волноваться.*)

Андреас. Э-э, прощай, господин влюбленный. Уж извини нас, мы заняты. Коли хочешь, посиди, отдохни. Баграт дома, может, он примет тебя. (*Направляется к крайней двери.*)

Отарян (*с удивлением*). Удивительно, непостижимо!

Андреас (*холодно, глядя на часы*). Что вас удивляет, господин философ?

Отарян. Ваш тон, ироническое выражение вашего лица, ваша холодность.

Андреас (*горячась*). Как же еще прикажешь мне говорить, а? Хочешь, чтобы я кланялся, молил и просил? (*Строго*.) Довольно! Ты недостоин нашего внимания. Я

по-христиански смирился, ты же мне на голову сел. Всякому терпению есть предел. Можешь идти теперь куда хочешь. Мой дом закрыт для тебя.

Сагател (*украдкой Андреасу*). Не горячись, нехорошо.

Отарян (*взволнованно и на миг растерявшиесь*). Так вот оно что! Какие слова! Значит, вчерашний день злесь забыт? Сегодня передо мной закрываются двери, которые вчера открывались настежь! Скажите, господин Андреас, что это — оскорбление или шутка?

Андреас. Я со швалью не игручи.

Сагател. Андреас, Андреас!..

Андреас (*возмущенно*). Оставь меня! Довольно. Сколько я потакал этому щенку!

Отарян (*яростно*). Сударь!

Андреас. Ори, сколько душе угодно. Пусть голос твой достигнет седьмого неба, но до бога он не дойдет. Продолжай, чего же ты замолчал?.. «Своей помощью вы оскорбляли меня. Я самолюбив... Я страдал. На мои деньги меня усыновили... Полозина вашего состояния — моя. Отдайте». Бесстыдник! Вот уже шесть месяцев, как я лишился покоя, сна и аппетита. Твоя клевета меня терзала день и ночь. По твоей милости меня начинали считать вором и чуть ли не плевали мне в лицо. Имя и честь, добытые сорокалетним трудом, расталтывались. А теперь... теперь довольно! Ты грозишь мне судом? Сделай милость, дорога открыта, иди. Зато двери моего дома перед тобой закрыты и никогда не откроются!

Сагател (*про себя*). Он сам себя губит.

Отарян (*со сдержанным недоумением*). И это говорит Андреас Элизбарян! Тот самый, что пытался подкупить меня за несколько тысяч, чтобы я отказался от своих прав. Вы излеваетесь надо мной? Прогоняете меня из вашего дома, точно проходимца! Почему? Потому что до нынешнего дня я вас щадил ради любви к вашей дочери? Что за метаморфоза? Объясните! Кто избавил вас от вчерашнего жалкого положения? Кто внушил вам такую смелость?

Андреас. Ни на волос не боюсь я твоих угроз!

Отарян. Лжете, сударь! Сейчас вы сами признались, что я вас лишил покоя и спа. Значит, вы были убеждены,

что ваш покой зависит от меня. Вы сознавали, что стоит мне захотеть — и вы расплачаетесь у моих ног.

Андреас. Мерзавец! (*Бросается на него.*)

Сагател (*разнимая*). Андреас! Андреас!

Отарян (*сжав кулаки,держанно*). Нет, нет, не надо горячиться. Выясним, что случилось. Я ничего не могу понять. Необходимо увидеться с Маргарит. Она мне скажет всю правду. Одно из двух: либо эта девушка меня обманула, либо этот человек — чудовищный преступник. Маргарит откроет тайну. Она обязана объяснить. Я доверял ей, как небесному судье. И я увижу ее, лежи она хоть на смертном одре. (*Направляется в переднюю.*)

Андреас (*Сагателу*). Вели слуге, чтобы не пускали!

Отарян (*останавливаясь*). Берегитесь, сударь, не то вместе с вами погибнет и ваша дочь! (*Быстро уходит в переднюю.*)

Андреас (*громко*). Вардан! Вон его, вон! (*Идет туда же.*)

Сагател (*удерживая*). Не горячись, человек божий, не горячись! Подумай сперва, что ты делаешь!

Андреас (*кое-как придя в себя*). Ты прав, не надо было горячиться. Пусть бы он сам кипятился. Но что же я могу сделать? Он душу мою вывернул наизнанку. Посмотри, где он.

Сагател (*глядя в переднюю*). Дверь открыли. Баграт просит его войти.

Андреас. Что же мы будем делать, если Маргарит скажет ему?

Сагател. Не я ли свидетель, человек ты божий? Не видал и не слыхал!

ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

Те же и Маргарит.

Маргарит останавливается в дверях слева. На бледном от бессонницы лице следы страданий. Андреас при виде дочери сильно вздрагивает, но быстро овладевает собой. Выразительное молчание. Андреас стоит посреди сцены. Маргарит не глядит на него. Сагател, перебирая четки, смотрит в потолок.

Маргарит (*тяготясь присутствием Сагатела*). Да-да, тебя, кажется, зовет мама.

Сагател (*про себя*). Хочет меня выкурить. (*Мед-*

ленно направляется к левой двери, кладя по пути на стол Баграта поднятую с пола бумажку.)

Маргарит закрывает за ним дверь.

Андреас. Я слышал, ты больна. Почему же встала?

Маргарит (*в задумчивости, почти не слыша*). Папа, он приходил меня навестить, но я не могла его принять. Сегодня он приходит в третий раз, я избегаю его. Папа, дай мне возможность встретить его с чистой совестью.

Андреас. Не понимаю, чего ты хочешь от меня.

Маргарит (*дрожащим голосом, решительно*). Честности!

Андреас. Я такой, как есть: ни больше, ни меньше. Не тебе учить меня.

Маргарит. Не мучь меня, папа, я не вынесу твоего бесчестия.

Андреас. Если это бесчестие, почему же ты меня толкнула на него?

Маргарит. Я хотела спасти твое имя от позора.

Андреас (*горько усмехаясь*). Спасти? Напротив, хотела меня еще больше опозорить! Ты хотела меня привести в жертву своему... (*с ударением*) любовнику.

Маргарит. Папа, не говори так, не говори!

Андреас. Как не говорить? С тех пор как ты узнала его, ты родного отца забыла. Для тебя один его поцелуй дороже моей чести.

Маргарит. Клянусь честью нашей семьи, ты ошибаешься. Не скрою, я люблю Отаряна. Но честь твою я любила еще больше: она для меня дороже счастья.

Андреас. Молчи, бесстыдница, не смей при мне говорить про свою любовь! Я отлично знаю, что ты собиралась похитить мое состояние и отдать этому прохвосту, чтоб шикарно жить с ним! Мало было тебе твоего приданого!

Маргарит. Папа, я готова поклясться, что ты сам не веришь своим словам. Ты знаешь прекрасно, что я никогда не покушалась на твое богатство.

Андреас (*ядовито*). Ну да, ты не от мира сего, тебя не мать родила. Довольно, у тебя нет сердца, ты меня не навидишь, ты враг мне!

Маргарит. Хорошо, пусть будет так. Но наступит время, и ты убедишься, что никто тебя так не любил, как я.

Андреас. Чего ты пристала? Скажи!

Маргарит. Верни мне эти бумаги, верни!

Андреас (*едко смеясь*). Ха-ха-ха! Верни! Слышишь, Андреас Элизбарян, вложи меч в руку врага и нагни голову, чтобы он отрубил ее. Нет, дочь, я еще, слава богу, с ума не спятил.

Маргарит. Не смейся, папа, над моими страданиями. Я не переживу этого.

Андреас (*другим тоном*). Каких бумаг ты требуешь, каких? Я ни одной бумаги не видел, не имел и не имею, оставь меня в покое!

Маргарит (*ломая руки*). Боже мой!..

Андреас. Тебе приснилось, и больше ничего...

Маргарит. Я бы жизнь свою отдала, если б это был сон... Когда я услыхала звук ключей, проснулась и в полуумраке увидела твою страшную фигуру, я не поверила глазам... Окаменев от ужаса, я следила за тобой. Ах, что это была за минута, когда ты трусивыми шагами удалялся, а я шла за тобой! Там, в зале, на твоем искашенном лице я прочла свой приговор. Для меня это — как удар грома. (*Отвернувшись, сдерживает слезы.*)

Андреас. Что же это, если не сон? Вчера весь вечер меня дома не было. Твой дядя свидетель...

Маргарит. Папа, если ты меня не щадишь, то пощади себя. Чует мое сердце, что эти бумаги накличут на тебя страшную беду.

Андреас. Ну, довольно, не испытывай моего терпения. Я начинаю выходить из себя.

Маргарит. А-а, отныне мне не страшны твои угрозы. Вчераший поступок страшней всего.

Андреас (*яростно*). Вон, вон, негодница! Ты меня сделаешь детоубийцей!

Маргарит. Папа, как ты не подумал о том, что я могу рассказать о твоем воровстве, не щадя тебя?

Андреас. Не успеешь ты рта открыть, как я с корнем вырву твой дерзкий язык и швырну собакам. Ну, убирайся, пока дьявол меня не одолел!

Маргарит (*в отчаянии*). Боже мой, что мне делать? У него нет сердца. Папа, милый, родной, отдай мне

бумаги! Сегодня я обязана вернуть их. Я дала честное слово. Отарян ждет в гостиной. Я убежала от него, как воровка. Отдай, если хоть немного уважаешь честь своей дочери.

Андреас. Говорю тебе — у меня нет ничего!

Маргарит. Папа, ты так мало знал меня. Я не любила говорить, но много думала и переживала. Я готова жизнь отдать за твою честь, но опозорить себя из-за денег не могу, нет сил. Ты должен избавить меня от позора. Это твой родительский долг. Верни мне мою честь, без нес я ни минуты не могу прожить.

Андреас (*со скрежетом*). Убирайся, мне кровь в голову бросается!

Маргарит. Нет, не уйду, пока не получу бумаг! Лиши меня куска хлеба, выгони на улицу. Лучше мне стать служанкой твоего последнего приказчика, лучше мне подаяние просить, чем прослыть воровкой. Нет, это невозможно! Он благороден и меня считает благородной. Он так высоко ставит меня. И вдруг — я воровка в его глазах. Нет, нет, папа, ты добр, ты умен, ты этого не допустишь. Смотри, я стою на коленях перед тобой. (*Опускается.*) Сжалься, пощади, пощади меня! Жизнь моя в твоих руках. Слушай, — жизнь, говорю я. Не делай, папа, этого, не делай. Воровство — страшное преступление.

Андреас (*борется с собой*). Встань, стыдно, войдут — увидят.

Маргарит. Нет, нет, я не встану, пока не получу обратно свою честь. Видишь, совесть тебя уже начинает мучить. Не отворачивайся — клянусь, я ни словом, ни намеком никогда не буду осуждать тебя. Я буду нема и буду уважать тебя по-прежнему. Я знаю, ты впал в заблуждение и готов покаяться. Папа, отдай мне бумаги!

Андреас (*решительно встает*). Ты мне всю душу вымотала. (*Быстро берет из стола пакет.*)

Маргарит (*радостно вскочив*). Ах, я так и знала, что ты добр, что ты только притворяешься злым. Спасибо, папа, ты этим спас не только честь, но и жизнь мою...

Андреас. Отвяжись! Я разом положу всему конец! Что делать с твоим упрямством? (*Рвет бумаги и бросает в печь.*) Вот где им место!

Маргарит. О, бессердечный, что ты сделал?!

(*С криком бросается к печи.*)

Андреас (*отстраняя ее*). Стой, не то и тебя швырну туда же! Ах, наконец-то я избавился от вас! Горите, превращайтесь в пепел, вы слишком долго жгли мое сердце!

Борьба между отцом и дочерью.

Маргарит. Пусти меня, пусти! Ты меня сжигаешь. Пусти меня, говорю! (*Кусает руки отца.*) Ах, я слабею, силы меня покидают. Знай же, я буду кричать, всех соберу сюда, пусть все видят твое преступление. Пусти! (*Вырвавшись, побегает к печи.*) А-а, уже поздно! Сгорели, все погибло! (*Громко.*) Сюда, Розалия, Баграт, все, все, смотрите, что делается тут! Отец сжег честь своей дочери! Ах, все пропало! (*Ослабев, падает на стул. Пауза.*) Но будь что будет. (*Направляется к левой двери и встречается с Отаряном. Вздрогнув, останавливается как вкопанная.*)

Входят *Отарян*, затем *Баграт*.

ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

Те же, *Отарян* и *Баграт*.

Андреас стоит, руки держит за спиной.

Отарян. Наконец-то я увидел тебя! Ты не больна, ты меня избегаешь? Слушай, отец твой меня опоширил и выгнал из дома. Он считает меня негодяем, который хочет обманом отнять у него богатство. Покажи ему мои бумаги! Сию минуту покажи, я этого требую! Я унижен и оскорблена. Покажи бумаги!

Маргарит молча стоит у стены, бледная и дрожащая.

Вот и брат твой. Теперь он иначе заговорил. Тут роли переменились. Вчера твой отец пробовал меня подкупить, сегодня — брат. Объясни, по крайней мере, что случилось? (*Пауза.*) А-а, ты молчишь! Стоишь как осужденная! Клянусь могилой отца, или вы все сошли с ума, или я. (*Маргарит.*) Скажи, что это, заговор? Ведь я тебя выбрал в судью — где мои доказательства? Неси их сюда!

Маргарит (долго колеблется.) Не зпаю.

Отарян. Слышишь, Маргарит? Иди принеси те бумаги!

Маргарит (с убийственным холодом). Я сожгла эти бумаги! Вот здесь! (Показывает на печь, бросив на отца страдальческий взор, и, шатаясь, уходит.)

Отарян и Баграт вместе подходят к печи. Баграт, посмотрев, с радостным лицом закрывает заслонку.

ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

Те же без Маргарит, потом Сагател и Сурен.

Немая сцена.

Отарян (удивленно смотрит то на одного, то на другого). Сожгла? Значит, это была ловушка для меня? Маргарит заодно с преступником? Нет, это невозможно! Сомневаться в ее честности — значит порочить святыню. Она сказала неправду. Она оклеветала себя. Тут виноват другой. (Андреасу.) Извольте оправдать вашу дочь, иначе я оскорблю ее!

Входит Сагател.

Андреас. Сагател, пойдем в клуб. (Направляется к передней.)

За сценой выстрел. Общее смятение.

Сагател. Что такое? (Бросается в дверь.)

Баграт следует за ним; Андреас и Отарян окаменели. Сурен вбегает бледный, шатаясь.

Пауза.

Сурен. Маргарит застрелилась!

Андреас (рычит, хватаясь за голову). Ах детоубийца!

Отарян. А-а, так это ты сжег? Зверь! (Хочет броситься на Андреаса.)

Сурен (разнимая). Оставь его, он уже наказан! (С гневом и омерзением глядит на отца.)

Отарян. Маргарит!.. Маргарит!.. (Бросается к двери и бессильно прислоняется к косяку.)

Занавес медленно опускается.

1904 г.



СВАТ МОРГАНА

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Петрос Минтоев.

Магдалина — его жена.

Жорж, Лидия — их дети.

Роман Сергеевич Мезбуров.

Сережа — его сын.

Карп Спиридонович Карасов.

Степа — его сын, муж Лидии.

Арташес Барбудян — брат Магдалины.

Князь Арбутов-Долгоухий.

Гриша — приятель Жоржа.

Генерал Штуленко.

Наташа — певица-танцовщица в ночном кабаре.

Распорядитель.

Первый незнакомец.

Метрдотель.

Целующаяся пара.

Пара в масках.

Горничная.

Посетители, официанты, музыканты, певицы, танцоры в ночном ресторане и кафе.

Действие происходит в Париже, в 1923 году.

Пьеса написана осенью 1926 года.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Квартира Минтоева. Большая гостиная, обставленная во французском вкусе. Три двери: две в глубине, третья — справа. Одна дверь в глубине ведет в переднюю, другая — в столовую. Дверь справа — в другие комнаты квартиры. Слева три окна, завешенные белыми гардинами. В одном углу пианино, в другом — кресло. Полукресла. Стол, покрытый цветной шелковой скатертью. У стены, на маленьком столике, телефон.

Петрос, Магдалина и Жорж.

Петрос, сидя в кресле, курит. Ему 65—67 лет. Довольно плотный человек, бритый, с седыми густыми усами, опущенными книзу. Лысый. Мимика и жесты не свидетельствуют о большой культуре. Магдалина стоит у окна. Женщина лет 52—54, с волосами, крашенными хной, одетая претенциозно и не по возрасту. Жоржу 32—33 года. Здоровый, румяный молодой человек, безукоризненно выбритый и одетый по последней моде.

Петрос. Не морочьте вы мне голову, слушайте! Сказал «нет» — значит нет. Хоть петлю накиньте и душите, не дам.

Магдалина. Ну почему ты не хочешь дать? Почекуму? Объясни.

Петрос. Пожалуйста. Во-первых, не желаю. Во-вторых, не имею желания. А в-третьих, не хочу дать. Удовлетворена?

Жорж. Папа! Я у тебя прошу денег в последний раз. Больше не буду просить никогда.

Петрос (*иронически смеясь*). Это который уже последний? А? (*Встал*.) Нет, сыночек. Хватит с тебя того, что я давал. Больше нет у меня. Нет — и все тут. Есть у тебя мозги в черепушке — ищи сам работу и сам себя обеспечивай. Я в твои годы на шее у отца не сидел.

Магдалина. Какую работу? Что он, врач? Инженер? Владеет какой-нибудь профессией?

Петрос. Пусть идет в шоферы, как сын покойного Михаила Осипыча пошел. Чем он лучше или хуже его?

Жорж (*смеясь*). Ты слышишь, мама? Папа хочет, чтобы твой сын сделался «шофером»! Другими словами: извозчиком, драгалем!

Магдалина (*поправляя волосы перед зеркалом*). Ой, нет, не дай бог... Мой сын — шофер... фи!

Петрос. А почему, собственно, «фи»? Спина у него из самшита, что ли? Или пальцы из китайского фарфора? Глянь! Что твой хороший швейцарский бык! (*Сыну*.) Честное слово, братец ты мой: быть шофером — распре-

красное дело. Крути себе знай. Цельный день раскатывай в свое удовольствие, а тебе еще и денежки за это идут.

Магдалина. Никогда мой сын не будет шофером! Ни-ког-да! Лучше с голоду умру, но не допущу этого.

Петрос. Ну и помирай. Что я могу сделать? (*В сторону.*) Уж я-то не пожалею об этом, не думай. (*Идет вправо.*)

Жорж (*в сторону*). Боже мой! Как мне переупрямить этого упрямца? (*Вдруг осененный мыслью*). Минутку, папа. Только одну минутку подожди!

Петрос (*остановившись*). Ну? Говори. Чур, только умное что-нибудь.

Жорж. Умнее, чем Соломон Премудрый, чем Сократ, Платон, Аристотель, даже чем сам ты... (*Торжественно*.) Папа! Я решил жениться.

Петрос. Выдумал! (*Махнув рукой, хочет уйти.*)

Магдалина. Да погоди же ты! Послушаем, что он скажет.

Петрос. Мне не до шуток.

Жорж. Это не шутки, папа. Клянусь честью — жениюсь.

Петрос. Чтобы еще один голодный рот на мою шею навязать? (*Хочет уйти.*)

Магдалина. Печенка у тебя, что ли, лопнет, если минутку подождешь? (*Жоржу*). На ком ты хочешь жениться, сынок?

Жорж. Не на армянке, конечно, у которой лицо, как медная кастрюля, а волосы, как воронье крыло.

Магдалина. На русской, значит?

Жорж. Фи! Русская... Нос картошкой, глаза, точно буравчиками провернуты, волосы прилизаны...

Петрос (*насмешливо*). Уж не хочешь ли франзуженку взять? Кто тебя знает! Может быть, дочку президента?

Жорж. Allon donc! Франзуженку... Что я, ненормальный, чтобы привести в дом сороку?

Магдалина. На ком же? На англичанке, немке, еврейке?

Жорж. Нет, нет и нет. (*Торжественно*). Я женюсь на американке.

Петрос и Магдалина удивленно смотрят друг на друга. Ну? Что скажете? И правится вам это? То-то, брат.

Петрос. Слушай-ка, малый... Ты что? Издеваться над нами вздумал? Или у тебя ветер в голове гуляет?

Жорж. Уверяю тебя, папа. Хочешь, поклянусь? Чем угодно.

Магдалина. Кто же она такая, эта американка?

Жорж. Скажу. С одним только условием: не падайте от радости в обморок.

Петрос (*с интересом*). Ну-ну, говори.

Жорж. Вам известно имя короля американских банкиров, миллиардера Пирпойнта Моргана?

Петрос. Странный вопрос. Кому же оно не известно!

Магдалина. Кто же не слышал этого великого имени? Разумеется, известно, сыночек.

Жорж. Вэт, на племяннице этого самого Моргана, дочери его сестры, я и женюсь.

Петрос. Что, что? Повтори-ка еще разок. Что-то я плохо расслышал.

Магдалина. Да, да, еще раз, еще раз! Я тоже не расслышала.

Жорж. Я женюсь на дочери сестры архимиллиардера Моргана, первосвященника и бога всех банкиров.

Магдалина (*мужу, радостно*). Ты слышал? Теперь попробуй-ка заняться, чтобы мой сын стал шофером. (*Сыну.*) Ах... умереть мне за твою душу! (*Целует его.*)

Петрос. Постой, постой... Дай собраться с мыслями. Слушай, малый... Где же это ты с ней сумел познакомиться, с племянницей Моргана?

Жорж. В салоне гостиницы «Кларидж», во время танцев. Ежедневно танцую с ней.

Петрос (*в сторону*). Что-то смахивает на правду, черт его побери! (*Громко.*) А ты что скажешь, Магдалина? Веришь?

Магдалина. Верю ли я? Разве ты не знаешь, что мой сын и ложь — несовместимы?

Петрос. Но я слыхал, что эти американки всегда ищут или очень богатых, или титулованных: князей, графов, маркизов. А ты кто? Даже не дворянин.

Магдалина. А кто в этом виноват? Ты! Хотя бы звание хана приобрел, как Бабугулов. И этого не сумел!

Петрос. Не успел! Большевики, окаймысь, не дали.

Что ж теперь делать? Будь царское время — не только ханом, князем стал бы.

Жорж. Пусть это вас совершенно не беспокоит. Я и без ханского и княжеского титула завладел сердцем американки.

Петрос. Любопытно, чем это ты ее купил?

Жорж. Внешностью, языком, уменьем танцевать. Я в «Кларидже» считаюсь самым неотразимым кавалером, к вашему сведению.

Магдалина. Радость ты моя! Разве есть на свете девушка, которая не сойдет с ума, увидев тебя? Ты же настоящий светский лев!

Петрос. Если он сын своего отца — ясно, должен быть львом. (*Гордо приосанился.*)

Магдалина. Как же! Царство небесное твоему отцу! Жорж мой сын, а не твой. Погляди на него и на меня. (*Тоже приосанилась горделиво.*)

Петрос. Жена! Что ты за неприличную чепуху городишь? Как это он не мой сын? Даже сердце заколотилось... (*Сыну.*) А ну-ка, малый, подойди. (*Подводит его к зеркалу.*) Ближе, ближе. Рядом стань. (*Смотрит в зеркало то на себя, то на сына.*) Нет, похож. Точь-в-точь моя копия. Только у меня глаза выразительнее, чем у него, и нос красивей. Рост чуть выше моего, это правда. (*Встает на цыпочки.*) Да нет, и рост одинаковый.

Магдалина (*взял его за плечи, заставляет опуститься.*) Стой честно.

Петрос. Ладно. Отстань. Чтобы я больше не слышал от тебя таких слов, от которых все потроха перевертываются! (*Пауза.*) Магдаш, что это? Сон или правда? Что скажешь? Ты, я думаю, не прочь стать свекровью племянницы Моргана? А?

Магдалина. Кто от этого откажется, хотела бы я знать!

Петрос. Я тоже мог бы стать Морганом, если бы не эти безбожники-коммунисты... Что же теперь делать! (*Пауза.*) Послушай, малый, верить или нет тому, что ты брешешь?

Жорж. Верь, папаша, верь.

Магдалина. Ну, что ты, Петя, говоришь? Как можно не верить?

Петрос. Если это правда — я с ума сойду. Морган

мне сват! Или я сват Моргану! (*Сыну.*) Как ты думаешь, эта девица миллиончиков десять принесет?

Жорж. Десять? Ты что? Тут речь о сотнях миллионов!

Петрос. Ба, ба, ба, ба! Так ты, значит, сделалась настоящим Гаруном-аль-Рашидом? Ну, мой лев, мой дорогой... Постарайся тогда... Доводи дело до конца!

Жорж. Дело уж на мази, отец. Лишь бы ты его не сорвал.

Петрос. Я? Каким образом?

Жорж. Не даешь мне денег.

Магдалина. Вот, вот! Не даешь ему денег!

Петрос. Опять вы про то же.

Жорж. Папа, ну ты пойми. Надо же мне тратиться, если я ухаживаю за девушкой. Учти, что американки презирают кавалеров, которые не тратят на них денег.

Магдалина. Я тоже таких презираю.

Петрос (*сыну*). О конфетах, что ли, разговор?

Жорж. Конфеты, цветы, прогулки в Булонский лес, чай, шампанское и так далее, и так далее.

Магдалина. Все это совершенно необходимо! Я великолепно это понимаю!

Петрос. По-моему, племянница миллиардера и сама могла бы раскошелиться.

Жорж. Ты слышишь, мама? Говори с ним! Я не могу.

Магдалина. Ох, Петя, Петя... Ты просто невозможные вещи говоришь. Как это можно, чтобы дама тратилась на кавалера?!

Петрос. А почему бы нет? Я в здешних кафе сколько угодно видел дам, которые кавалерам даже деньги платят.

Жорж. Пана! Это другого сорта дамы и кавалеры. Сын такого почтенного человека, как ты, не может быть альфонсом.

Магдалина (*сыну*). Умереть я за тебя готова, джентльмен ты мой дорогой! Вот благородное сердце! (*С презрением.*) А ты, Петя, понял хотя бы то, что он сказал?

Петрос. Понял, понял, не беспокойся. (*Достает пятидесятифранковый билет.*) На вот, бери. На такое дело расход можно считать не пропащим.

Жорж (*высокомерно*). Пятьдесят франков? *Fi, donc!*
Этого даже на бутылку шампанского не хватит.

Петрос. То есть как это? Вон, пожалуйста, в лавочке Феликса Потэна бутылка шампанского за пятнадцать франков продается.

Жорж. Ну что ты, папа, говоришь? Я же не могу угощать мою невесту-американку в какой-то лавочке! Мама, растолкуй ему, ради бога.

Магдалина. Ох, Петя, Петя... Чем дальше, тем ты все больше выживаешь из ума.

Петрос (*достает еще одну такую же ассигнацию*). Вот! Бери! Не думай, что я скупердяй.

Жорж (*пряча деньги*). Мало, папа. Очень мало.

Магдалина. Разумеется, мало! Просто стыдно за тебя! Дай еще. Не скряжничай.

Петрос (*сыну*). Сколько же тебе надо, в конце концов?

Жорж. Ты знаешь, папа, что я хорошо изучил психологию женщин. На них мужчина производит впечатление, когда достает из кармана сотенные. Пятидесятифранковые ассигнации — не та марка.

Магдалина. Петя, Жорж абсолютно прав. На меня сотенные тоже производят совершенно другое впечатление, чем мелочь. А уж тысячные билеты — ох-ох-ох!

Петрос. Ну и мамаша с сыночком! (*Достает две стофранковые ассигнации*) Вот вам! Держи сотенные! Раз и две!

Жорж (*быстро пряча в карман сотенные*). Мерси, папа.

Магдалина. Я тоже благодарю тебя, Петя.

Петрос, протягивая руку к Жоржу, ждет.

Жорж. Ты что, папа?

Петрос. Пятидесятифранковые-то отдай!

Жорж. Пардон! Не ты ли меня учил: что попало в карман, того не отдавай?

Петрос. Вот разбойник! Моим же ножом меня режешь? Ну, знай: ты мне эти деньги должен вернуть с процентами. Сто на сто.

Жорж. Ты, папа, право, ребенок. Сто на сто! Требуй тысячу, десять тысяч, сто тысяч процентов. Только я об одном вас прошу.

Петрос. Говори, сынок, говори. Коли такое дело —
теперь ты нам можешь приказывать.

Магдалина. Приказывай, радость моя. Приказы-
вай, Жорж.

Жорж. Пока о моей женитьбе ни слова. Никому!

Петрос. Понимаю. Еще позавидуют и испортят
дело.

Магдалина. Собственной дочери не скажу. Клянусь
тебе.

Петрос. Ну, я пошел. (*Идет к правой двери.*) Сват
Моргана... Вот будет сюрприз для всех наших! Вот карти-
на! (*Вдруг возвращается.*) Слушай, малый, а не выдумал
ли ты эту свою американку? А?

Жорж (*с деланным возмущением*). Отец!

Петрос. Ладно, не сердись. Я хочу твердо знать, что-
бы и моя радость, так сказать, твердой была. (*Уходит, но
вновь возвращается.*) Гляди, сынок, в оба, чтобы кто-
нибудь не выхватил у тебя из-под носа дичь. Это тебе не
куропатка. Самая, можно сказать, настоящая тетерка!
(*Весело прищелкивая пальцами, уходит в правую дверь.*)

Жорж. Мама, я ухожу к американцам. К обеду не
ждите меня.

Магдалина (*целуя его*). Иди, Жоржик мой милый,
иди, дорогой. Я верю, что ты нас спасешь. На нефтепро-
мыслы твоего отца у меня нет надежды.

Жорж. Не беспокойся, мамочка. Голодать не будем.
(*В сторону.*) Хотя бы выиграть — и мне простят эту
комедию. (*Направляется к двери в глубине и встречается
с входящей Лидией.*) Что с тобой? Чем ты так взволно-
вана?

Входит Лидия, скромно одетая женщина лет 28—30.

Лидия. Степа не был у вас?

Магдалина. Сегодня не был.

Лидия. А вчера?

Магдалина. И вчера не был.

Лидия (*брату.*) Ты его не встретил?

Жорж. Нет. Но я знаю, где он сейчас.

Лидия. Где?

Жорж. В Колониальном клубе.

Лидия. Опять играет?! Со вчерашнего утра нет дома!
Ах, будь они прокляты, ваши клубы и карты!

Жорж. *Madames! Я спешу. Au revoir!* (*Быстро уходит в левую дверь.*)

Магдалина. Я не понимаю, почему ты так нервничаешь. Точно для тебя новость, что Степа целыми днями не бывает дома и играет в карты!

Лидия. Увы, не новость. Но ты не знаешь, на какие деньги он сейчас играет.

Магдалина. Ну, ну? На какие?

Лидия. Три дня тому назад мадам Армуян дала ей свой последний бриллиант для продажи. А он до сих пор к ней не является. Бедная женщина со вчерашнего дня уже пять раз приходила ко мне, волнуется: где он, что с ним? А только что по телефону так меня оскорбила!..

Магдалина. Оскорбила? А ты?

Лидия. Что я могла ей ответить? Смолчала. Мама! Я ни минуты бы не думала, с радостью развелась бы с этим негодяем. Но куда мне деться с ребенком? Куда? Вернуться к вам? Не хочу!

Магдалина. И правильно. Вернешься — только сплетникам радость доставишь.

Лидия. Ах, мама! Если бы хоть что-нибудь умела делать! Я бы прокормила себя и ребенка. Но на что я горжусь. Даже шить, рукодельничать не умею, как другие, счастливые...

Магдалина. Как это ты ничего не умеешь? Ты отлично играешь на фортепьяно, знаешь французский язык. Этого мало, по-твоему!

Лидия (*с горькой усмешкой*). Ой, ой, ой, ой... «Отлично играешь на фортепьяно...» Как же! Париж так и сбежится на мои концерты! Самое большее, мама, — я могу в каком-нибудь третьеразрядном кафе играть в оркестре. Но разве вы позволите, ты и папа, чтобы ваша дочь была тапером в кафе?

Магдалина. Что я, ненормальная, что ли, чтобы допустить такое? (*В сторону.*) Тем более сейчас.

Лидия. Вот видишь! А что касается моего французского языка — смешно об этом даже вспоминать. Мой французский язык только у нас на Кавказе может считаться французским. Нет, мама. Вы сделали из ваших детей не живых людей, а каких-то манекенов. Только богатство прикрывало наше моральное убожество. Теперь, когда золотой покров сдернут, выяснилось, до чего мы убоги

и никчемны. С моим умственным багажом я могу быть разве только содержанкой богатого старика.

Магдалина (*с возмущением*). Лидия, что ты, с ума сходишь?! Я запрещаю тебе употреблять такие выражения.

Лидия. Не бойся. Чтобы стать содержанкой, тоже надо иметь данные, а у меня их нет. Несчастная я!.. (*Упав в кресло, рыдает*.)

Магдалина (*некоторое время смотрит на нее молча, потом подходит к дочери и обнимает ее голову*). Ах, Лидия, Лидия... Ну успокойся. Скоро пройдут эти тяжелые времена. Немножечко подожди, детка. Мы опять будем такими же, как прежде.

Лидия. Богатыми, ты хочешь сказать? (*С иронией*.) Ну конечно! Папа продаст свои бакинские промысла и станет миллионером! Мама! И ты, и папа, и Жорж... Когда вы расстанетесь с этими пустыми надеждами? Англичане и американцы не так глупы, чтобы купить ваши ничего не стоящие бумаги. Кроме того, напрасно вы воображаете, что в России будут восстановлены старые порядки. Не будет этого! Нет и нет! Тысячу раз нет! Все кончено. Мы уже никогда больше не вернемся в нашу страну.

Магдалина. Ты повторяешь слова своего дяди.

Лидия. Повторяю, да. Потому что он среди нас, может быть, единственный человек, который мыслит трезво.

Магдалина. Если ты хочешь знать, я не собираюсь возвращаться в Россию. Я еще не сошла с ума, чтобы вернуться в этот ад. (*В сторону*.) Тем более сейчас.

Лидия. А я в этом «аду» жила бы с большим удовольствием, чем в здешнем «раю». Если бы вы мне разрешили уехать! Там у меня по крайней мере были бы уроки.

Магдалина. Ну, хорошо, хорошо. Хватит портить себе кровь этими глупыми разговорами! Наша надежда теперь вовсе не на нефтепромысла. Понимаешь? Мы ждем богатства совсем с другой стороны. И большого богатства. Если бы ты знала, какого,— запрыгала бы на одной ножке от радости!

Лидия. Хотела бы я знать, откуда вы его ждете?

Магдалина. В свое время узнаешь. Сейчас не могу тебе сказать.

Лидия. Почему не можешь?

Магдалина. Потому что... ну, потому что... Хоро-

шо. Скажу. Ты знаешь... Жорж... (*Сдерживая себя.*) Ой, нет, нет... Не могу. (*В сторону.*) Какая это трудная вещь—молчать.

Лидия. Ты просто хочешь меня утешить, мама. Но меня ничто не утешит. Я в отчаянии.

Магдалина. Совершенно напрасно, Лида! Ты видишь, как я повеселела? И ты развеселись. Ты знаешь, я только сейчас заметила, какая у тебя старенькая шляпка! И фасон устарел, и форму потеряла. У меня есть немногих денег. Возьми. Купи себе новую.

Лидия. Не надо, мама, не надо! Вы сами нуждаетесь.

Магдалина. Нет, нет, я не хочу, чтобы ты к нам приходила в такой шляпке. К нам, ты знаешь, будут теперь ходить большие люди, американцы. И если бы ты знала, какие американцы! Подожди минутку. Я сейчас. (*Уходит в правую дверь в глубине.*)

Лидия, одна, садится за фортепиано и играет грустную мелодию. Магдалина возвращается с деньгами в руках.

Вот, вот, поиграй. Развлекись. Вот тебе сто пятьдесят франков. Пока еще приходится считать на сотни. А скоро смогу тебе дать тысячи. Сегодня же купи себе новую шляпку.

Лидия. Спасибо, мама. (*Поцеловав мать, кладет деньги в сумочку.*)

Сышен звонок.

Магдалина. Кто-то пришел. Поспеши, Лида. Большие магазины скоро закрываются. А насчет Степы не волнуйся.

Лидия идет к выходу, но в дверях встречается с входящим Арташесом и Барбуляном — скромно одетым человеком лет 50-ти с серьезным, озабоченным лицом.

Арташес (*Лидии*). Здравствуй!

Лидия. Здравствуйте, дядя, и... до свидания! (*Уходит.*)

Арташес. Петрос дома?

Магдалина. Дома.

Арташес. Скажи ему, пожалуйста, что я пришел. (*Садится и закуривает.*)

Магдалина уходит в правую дверь, и тотчас возвращается с Петросом.

Петрос. А-а! Арташ! Что это еще наши умники выдумали, а?

Арташес. Говорят, заем решили провести.

Петрос. У кого?

Арташес. У живущих здесь, в Париже, турецких армян.

Петрос. На какую сумму?

Арташес. Полтора миллиона франков, я слышал.

Петрос (*презрительно*). Пфа! На эти деньги фунта халвы не купить каждому!

Арташес. А я думаю, эти ювелиры и столько не дадут. И будут правы.

Петрос. Дадут ли, не дадут — нас это не касается. Что скажешь, Магдаш? А? (*Хитро подмигивает жене.*)

Магдалина (*с загадочной улыбкой*). Конечно, не касается.

Арташес (*с удивлением смотрит попеременно на обоих*). Не касается?

Петрос. Нисколько.

Арташес. Разве что-нибудь изменилось? Разбогатели вы?

Петрос. Пока еще не разбогатели, но скоро разбогатеем. (*Горделиво и загадочно смотрит на жену.*)

Магдалина (*отвечая ему такой же улыбкой*). Да еще как!

Арташес. Уж не продал ли ты англичанам промысла?

Петрос. Провались они совсем, твои англичане! Ненавижу я их.

Арташес. Американцам тогда?

Петрос. Американцы другое дело. Это люди! Золото мешками отмеривают.

Магдалина. Немножечко еще рановато. (*С тою же загадочной улыбкой смотрит на мужа.*)

Петрос. Повремени денек-другой, тогда поздравишь. (*Так же смотрит на жену.*)

Арташес. Все промысла продал? Или только часть?

Петрос (*не сдерживая смеха*). Слушай, Арташ! Что такое промысел? Плевал я на твой Баку, на Грозный... Промысла... Ты о другом говори. О миллиардах!

Арташес. Я вижу, вы меня просто разыгрываете.

Петрос. Какое там разыгрываем! Так же запляшешь, как я, как Магдаш, как вся наша родня и друзья...

Сышен звонок.

Арташес. Не понимаю. Ничего не могу понять.

Из левой двери в глубине входят *Мезбуров*, *Карасов* и князь *Арбутов-Долгоухий*. Мезбурову лет 60. Высокий сухощавый человек. Карасов низенького роста, полный, с большим животом, коротконогий, говорит всегда в повышенном тоне, лет 60-ти. Князю Арбутову-Долгоухову лет 55. Довольно высокого роста, в манерах и походке старается походить на русского аристократа, держится прямо. Одет по моде. Картавит.

Мезбуров. Торгashi! Мошенники! (Здороваются, дружески подавая руку каждому.)

Карасов. Лабазники! Кровопийцы! (Грузно опускается в кресло, утирая пот.)

Князь Долгоухий. Они не стоят того, чтобы их бранить. Их можно только презирать за то, что они роняют честь армянского народа.

Мезбуров. Вы только подумайте! Кому посмели отказать? Мне! Роману Сергеевичу Мезбурову! Да я могу всех этих несчастных ювелиришек скупить на доход от одного моего промысла! (Закуривает.)

Карасов. В Москве я этих кокаинщиков в дворники к себе не взял бы!

Князь Долгоухий. А! Плевать на этих семячников, и дело с концом.

Петрос самодовольно улыбается, показывая, что все это его не касается.

Арташес. Я так и думал, что они откажут. И, признаться, на их месте тоже отказал бы.

Петрос. Мое имя не упоминалось там?

Карасов. А как же!

Мезбуров. В первую очередь.

Петрос. Вот это зря. Совершенно напрасно. Мне деньги не нужны. Я уезжаю.

Карасов. Куда это?

Петрос. В Америку. (Загадочно смотрит на жену.)

Мезбуров. Вот это новость!

Петрос. Да, вот такие новости.

Карасов (смеясь). Уж не Рокфеллер ли тебя к себе в гости зовет?

Петроч. Придет время — узнаете, Рокфеллер или Морган. Что скажешь, Магдаш?

Магдалина. Разумеется, узнают.

Пауза.

Князь Долгоухий. До чего неблагодарны эти турецкие армяне! Сорок лет мы, русские армяне, им покровительствовали, а они не хотят нам помочь хотя бы в течение одного года.

Мезбуро. Меня возьмите! Сколько раз я этой самой рукой собирал в Баку деньги на турецких армян и посыпал в Константинополь, патриарху!

Карасов. А я? В январе шестнадцатого года пятнадцать штук полотна послал из Армавира в Алашкерт, беженцам!

Князь Долгоухий. Моя супруга для них «чашку чая» организовала в Тифлисе. Я им тогда сто рублей пожертвовал.

Мезбуро. А моя благоверная из двери в дверь ходила, собирала для них поношенное платье. Э, да что долго говорить! Человек — вообще неблагодарное создание. Возьмите рабочих. На моих промыслах в Румынии они до того обнаглели, что стали в газетах требовать, чтобы я им за мой счет баню построил! Можете себе это представить?

Арташес, отвернувшись, смеется.

Магдалина. Господи! Вы, конечно, пообедаете у нас?

Князь Долгоухий. Мерси. Увы, не могу. Супруга ждет.

Мезбуро. И я мерси.

Магдалина. Нет, нет. Не принимаю никаких возражений. Ни от кого. Иначе очень обижусь. (*Уходит в правую дверь в глубине.*)

Князь Долгоухий. В голодное время я приказал в моем имении зарезать для беженцев трех волов. А что касается крестьян — моя супруга может засвидетельствовать, что я собирался отдать им всю землю.

Арташес. Ваша светлость! Я слышал, что это собирался сделать еще ваш покойный батюшка.

Князь Долгоухий. Совершенно верно.

Арташес. Возможно, и дед тоже собирался?

Князь Долгоухий. Возможно.

Арташес. А все-таки земля как была, так и осталась вашей?

Князь Долгоухий (*с раздражением*). Я бы раздал, если бы не коммунисты. Что я мог сделать?

Арташес. Вот как? Ах эти негодники коммунисты! Роздали раньше вас!

Князь Долгоухий. Вы что, сомневаетесь в истинности того, что я сказал?

Арташес. Я не сомневаюсь в истинности только одного: все мы ничуть не лучше кокайников и семячников, которых так браним.

Карасов. Кто же мы такие, по-вашему?

Арташес. Свиньи.

Мезбurov (*гневно*). Свиньи?!

Карасов (*так же*). Вы слышали, господа, что он сказал?!

Князь Долгоухий. Свиньи?!

Арташес. Да-с! Самые настоящие свиньи, к тому же откормленные на убой.

Петрос. Слушай, Арташ... Что это ты плетешь такое?

Входит Магдалина.

Магдалина. Господа, прошу к столу! (*Уходит.*)

Все поднимаются.

Петрос (*Арташесу*). Слушай, ты... Какой осел тебя лягнул?

Арташес. Вечный осел, имя которому истина. (*Уходит.*)

Мезбurov (*Карасову*). Этот тип стал настоящим большевиком.

Карасов. Пропагандист! Агент! Красными подкуплен!

Князь Долгоухий. Непременно скажу нашим, чтобы внесли его в черный список.

Все трое уходят за Арташесом в правую дверь в глубине. Петрос задерживается, увидев входящего Жоржа.

Петр ос. Уже вернулся? Ну, что? Как дела?

Жор ж (*в глубокой задумчивости, мрачно*). Три фигуры подвели! Дама, валет, король.

Петр ос. Что это значит?

Жор ж. Значит — каюк.

Петр ос (*испуганно*). Твоя американка — каюк?

Жор ж (*опомнившись*). Американка? Нет, что ты! С моей американкой дело в шляпе. Она у меня в кармане.

Петр ос (*радостно*). Ну, слава богу! А то «каюк»... Может быть, у тебя деньги кончились? Так ты не горюй, я еще прибавлю. (*Хочет достать деньги*.)

Жор ж (*деланно*). Нет, папа. Денег не надо. (*Другим тоном*.) А, впрочем, если дашь — не откажусь.

Петр ос. Конечно дам. Как не дать? (*Достает и дает две сотенных*.) Вот, бери. И постараитесь, сынок, поскорее свадьбу сыграть. Что-то я еще хотел тебе сказать... Да! Как бы мне повидать эту твою девицу?

Жор ж. Это, папа, невозможно.

Петр ос. Почему?

Жор ж. Видишь ли... У американцев есть такой обычай, что невеста до свадьбы не должна видеться ни с одним мужчиной.

Петр ос. Позволь, позволь... Какой же я ей мужчина? Я твой отец.

Жор ж. Даже со своим родным отцом не имеет права встречаться.

Петр ос. Что за дурацкий обычай! А еще говорят, в Америке свобода!

Жор ж. Свобода там для негров.

Петр ос. Гм... Ну, а с отцом девушки могу я увидеться?

Жор ж. Отец умер.

Петр ос. А с матерью?

Жор ж. Мать в Чикаго.

Петр ос. Что же она, одна сюда приехала?

Жор ж (*в сторону*). Вот привязался! (*Отцу*.) Нет, папа, не одна. С тетей.

Петр ос. Ну и чудесно! Познакомь меня с тетей.

Жор ж (*в сторону*). Ищи ему теперь тетю! (*Вдруг, осененный*.) Хорошо, папа, я тебя познакомлю с тетей моей невесты.

Петр ос. Когда?

Жорж. Сегодня ночью.

Петр ос. Ночью? Почему ночью?

Жорж. Видишь ли... Тетя моей невесты — эксцентричная женщина. Она никого никогда не принимает днем. А ночью ее можно увидеть только в одном изочных ресторанов на Монмартре. Я тебя туда провожу. Жди меня дома после двенадцати. Условились?

Петр ос. Что ж... хорошо.

Жорж. А теперь иди, папа. У тебя гости.

Петр ос. Совсем про них забыл! Так я тебя буду ждать. (*Идет к левой двери в глубине, бормоча.*) Мой сын — зять Моргана! Я — сват Моргана! Вот до чего ты дожил, Петька голоштанный! (*Уходит, насвистывая и прищелкивая пальцами.*)

Жорж (*проводив отца, плотно прикрывает дверь и быстро подходит к телефону*). Passi, cinquante quatre vingt dix. (*Ждет.*) Прошу вас, мадам, попросите Мезбурова младшего. (*Ждет.*) Сережа, это ты? Здравствуй. Слушай, приходи сегодня вечером, в половине девятого, в «Эксцельсиор». Ты мне до зарезу нужен. Что? Да, брат, увы. В «Осман-клубе». В пух и прах. Сейчас опять иду туда попытать счастья. До свидания. (*Кладет трубку, потом опять берет ее.*) Elisée, soixante deux zero trente. Натали, это ты? Душенька, сегодня ровно в девять жду тебя в «Эксцельсиоре». Очень важное дело. Ничего. Не бойся. Так я тебя жду, Наташенька. Мерси, дорогая. Целую тебя без счету. (*Быстро уходит в левую дверь в глубине.*)

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Кафе «Эксцельсиор». Большой зал, разделенный на несколько частей. Часть зала на переднем плане отделена от остального балюстрадой метровой вышины. По бокам балюстрады проходы, соединяющие передний план сцены с задним. Квадратные столики, покрытые и не покрытые скатертями. Посредине свободное пространство. Слева вращающаяся дверь. Другая такая же дверь находится с той же стороны в глубине. Обе выходят на террасу, составляющую продолжение кафе.

Вечер ранней осени. Освещение кафе постепенно усиливается по мере того, как темнеет на улице. Еще до поднятия занавеса звучит музыка (фортепьяно, скрипка, виолончель), в дальнейшем то играющая, то прерывающаяся. Музыканты не видны. В течение всего

действия приходят и уходят посетители обоего пола, самой различной внешности, разных национальностей. Отдельные парочки, не стесняясь, обнимаются и целуются за столиками. Каждый, войдя и заняв место, тотчас заказывает напиток официанту. Заказы выполняются мгновенно. Наблюдая за порядком, расхаживает *Метрдотель*.

На переднем плане, у балюстрады, *Сережа* и *Гриша* пьют пиво и играют в нарды, ударяя kostями по доске со всего размаха, что вызывает неудовольствие других посетителей. *Сережа* — здоровый мужчина лет 37—38, с румяным, сытым, совершенно бритым лицом, одетый с претензией на парижский шик. *Гриша* лет 40—42. Он здоров, но худощав, маленькие усики. Одет в поношенный костюм.

Сережа. Пардон! Шесть и два, а не дубль!

Гриша. Дубль.

Сережа (*запальчиво*). Я говорю шесть и два — значит шесть и два.

Гриша (*выпятив грудь*). Когда поручик лейб-гвардии его императорского величества Григорий Самойлович Амирханов говорит «дубль» — ни один сукин сын не смеет говорить, что это не дубль!

Сережа. Плевать я хотел! Шесть и два!

Гриша (*повышая голос*). Дубль!

Сережа (*так же*). Шесть и два!

Гриша (*стукнув по столу*). Дубль!!

Сережа (*так же*). Шесть и два!!

Гриша (*вскакивая*). Дубль!!!

Сережа (*так же*). Шесть и два!!!

Метрдотель (*быстро подходя к ним из-за балюстрады*). Messieurs, messieurs! Pas de bruit! Doucement, doucement!..

Посетители смеются.

Гриша. Вуй, вуй. Дусман. Ничего. Все хорошо.

Метрдотель. Карошо, карошо... Нитшево, нитшево... Tout pour ces gens-la «нитшево... карошо...» (*Уходит, качая головой*.)

Сережа (*мирно*). Играем дальше? (*Садится*.)

Гриша (*так же*). Играем. (*Садится*.)

Незнакомец, француз, входит и садится за соседний столик. Заказывает стакан пива, достает свежую газету и, делая вид, что читает, украдкой следит за играющими. Слева входит парочка. Садится в дальнем углу и начинает целоваться.

Сережа (*немного поиграв, вдруг бросает kostи*). Не играю больше!

Гриша. Почему?

Сережа. Гриша, мы потеряли все. Но две вещи сохранили и не имеем права терять: благородство и мужество. Ты сейчас выбросил на две кости больше.

Гриша. Клянусь честью, не выбрасывал!

Сережа. Клянусь благородством, выбросил!

Гриша. Сережа! Не забудь, что я Эриванского полка, лейб-гвардии его императорского величества...

Сережа. Плевать я хотел! Я Сергей Мезбуров!

Метрдотель (*быстро подходя к ним*). O-la-la!
C'est insupportable! (*Захлопнув наряды, уносит их.*)

Сережа. Он оскорбил нас!

Гриша. Может быть, пойти расквасить ему нос и губы? А?

Сережа. Чтобы нас и отсюда выставили, как из четырех других кафе? Благодарю покорно.

Гриша. Что же делать?

Сережа. Выпить и наплевать.

Гриша. Выпить и наплевать? Гениальная идея. Но у меня, увы, нет денег.

Сережа. Я заплачу. Гарсон!

Официант, наблюдавший эту сцену с иронической усмешкой, приносит две бутылки вина и стаканы, унося пустые бокалы.

Гриша. Сережа, у тебя всегда в кармане деньги. Откуда они у тебя?

Сережа (*самодовольно улыбаясь*). Секрет полишился. Мало ли есть способов...

Гриша. Найти бы богатую американку! Пусть шестидесяти лет, хромую, горбатую...

Сережа. От такого товара и я не отказался бы.

Слева входит Жорж.

Жорж. Здравствуйте! Тебя, Гриша, генерал Шпурленко ищет на террасе.

Гриша. О! Само небо мне его посыпает! Он сегодня в одном месте получил тысячу франков. Пойду потрясу его немного. (*Налив вина, залпом осушает стакан и уходит.*)

Жорж (*оглянувшись по сторонам, достает из кармана сверток и дает Сереже*). Бери обратно свой товар. К сожалению, не смог продать.

Сережа (*торопливо пряча сверток*). Дам Степе. Он в таких делах более ловок, чем ты. Какие новости?

Жорж. Совсем, брат, увяз. Не знаю, как вылезти из болота. Два часа назад хитростью выманил у отца несколько сот франков, пошел в «Осман» и — можешь себе представить? — все продул. (*Налив себе вина, пьет.*) Наташа не приходила?

Сережа. Нет. А ты что, на нее рассчитываешь?

Жорж. Что ты! Она меня любит, у нее нежное сердце, но она не богаче любого из нас, то есть не имеет ни гроша. А вон и Степа! Смотри, — при нем ни слова!

Входит Степа, худой, бледный, лет 36—38. Движения нервные, говорит быстро. Не здороваясь, садится, бросив на стул шляпу.

Сережа. Видно без слов: дело швах!

Степа. Продулся вдрызг, до последнего сантима. Не сплю со вчерашнего утра. Устал как собака.

Жорж. И дома не был два дня и ночь. Лидия с ног сбилась. Где только тебя не искала!

Степа (*выворачивает пустые карманы*). Разве порядочный человек может показаться своей жене с такими карманами? Есть и еще одно обстоятельство, которое меня гонит из дома. Ах! Лучше не будем об этом говорить. Выпьем. (*Пьет.*) Где добыть денег, черт возьми? Они мне нужны, как вода умирающему в пустыне.

Сережа (*достав из кармана сверток, дает ему*). Вот тебе деньги. Продай это — и будем при деньгах: и ты и я.

Степа. Что такое? (*Нюхает.*) А-а... Понял. (*Торопливо прячет сверток в карман.*)

Сережа. Сумеешь?

Степа. Я-то? (*Смеется.*) Какая цена?

Сережа. Как сумеешь. Только поскорей.

Степа. У меня есть один знакомый, который сейчас же возьмет. Стой-ка... Я с ним по телефону поговорю. (*Быстро допив вино, уходит за балюстраду.*)

Незнакомец, после появления Степы удвоивший свое внимание, что-то записывает, пристально следя за ним.

Сережа. Если Степе удастся продать — половина моего заработка твоя.

Жорж. Спасибо, но меня это не спасет.

С е р е ж а. Заплати проценты и вывернешься.

Ж о р ж (вздыхает). Нет, нет, нет.

С т е п а (возвращается с веселым видом). Эйвалла! Сделано дело. Через два часа принесет деньги в погребок «Кавказец». (Сереже.) Приходи туда. Увидимся. (Забрав шляпу, быстро уходит в левую дверь.)

Незнакомец тотчас уходит за ним.

С е р е ж а. Значит, сегодня ночью кутнет как следует в погребке «Кавказец». (Похлопал Жоржа по плечу.) Брось тужить. Безвыходных положений не бывает. А вот и твоя Наташа!

Слева входит *Наташа*, женщина лет 35, хорошо одетая, манеры свободные, но не вульгарные. Курит. Ненормальная жизнь и употребление спиртных напитков успели наложить отпечаток на черты ее красивого лица.

Н а т а ш а. Привет! (Офицанту, тотчас подошедшему к ней.) Один оранжат. (Жоржу.) Чем могу быть тебе полезна, милый?

Ж о р ж. Наташа! Дело очень сложное, и просьба совершенно экстраординарная.

С е р е ж а (поднявшись). Мое присутствие излишне, по-видимому?

Ж о р ж. Нет, нет, сиди. От тебя у меня нет секретов.

Сережа садится.

Наташенька, сегодня ночью я приведу в кабачок «Кавказец» моего отца.

Н а т а ш а. Зачем?

Ж о р ж. Чтобы познакомить его с тобой. Знакомя, скажу, что ты из Нью-Йорка, туристка. Мало того: не более и не менее, как сестра знаменитого банкира Моргана.

Н а т а ш а. Tiens! Начало интригует. (Закуривает.)

Ж о р ж. Ты должна изобразить тетю моей невесты.

Н а т а ш а. Твоей невесты? Ты осмелившись жениться? И не боишься, что я выцарапаю тебе глаза?

Ж о р ж. Подожди, Наташенька, подожди. Жениться я и не думаю. Все это — игра воображения.

Н а т а ш а. Я ничего не понимаю, Жорж!

Жорж. Слушай меня внимательно, и поймешь. Ты знаешь, что мне в последнее время чертовски не везет в карты?

Наташа. Ну, знаю.

Жорж. Но я тебе не говорил, что тот из моих кредиторов, которому я задолжал больше всего, не пощадит даже родного сына. Я должен этому чудовищу пятнадцать тысяч франков.

Наташа. О-ля-ля!

Жорж. Вчера истек срок векселя. Как я ни просил, ни умолял его отсрочить вексель, мерзавец не соглашается. Грозит судом, если я не заплачу сейчас же. Что было делать? Я ему выдал чек на пятнадцать тысяч.

Наташа. Ну? Значит, сбросил наконец этого захребетника со своей шеи?

Жорж. Увы, милая! Теперь я у него в когтях еще больше, чем вчера.

Наташа. Не понимаю ничего...

Жорж. Мой чек, Наташенька, как выражаются французы,— «sans provision».

Наташа. Что это значит?

Сережа. Это значит, что у Жоржа нет в банке денег, чтобы оплатить чек. Говоря еще проще — чек липовый.

Жорж. По-французски то, что я сделал, называется изящным словом «éscroquerie», которое по-нашему переводится менее благозвучным словом «мошенничество». Сережа, как юрист, скажет тебе, какое наказание меня ожидает.

Сережа. От шести месяцев до двух лет тюрьмы, после чего высылка из Франции, поскольку ты иностранец.

Наташа. Боже мой, какой ужас!

Сережа. Скажи, твой кредитор подозревает, что чек ничем не обеспечен?

Жорж. Не думаю. Вчера был праздник. Сегодня воскресенье, банк закрыт. Но завтра он откроется, и мое мошенничество тоже.

Сережа. После чего тебя арестуют, а имя твое попадет в газеты.

Наташа. Жорж, что ты натворил?!

Жорж. Утопающий даже за хвост змеи цепляется, глупость сделана, теперь остается только одно...

Сережа. До половины десятого завтрашнего утра найти пятнадцать тысяч франков.

Жорж. Такой суммы не найдешь ни у кого из наших друзей и знакомых.

Сережа. А у кого она есть, тот не даст.

Жорж. Поэтому единственное, на что я возлагаю последнюю надежду, это...

Наташа. Что, милый?

Жорж. Карты.

Наташа. Опять?!

Жорж. Да. То, что губит людей, иной раз их и спасет. Но, чтобы играть, нужны деньги, а у меня их нет. И вот, чтобы вырвать у отца хоть несколько сот франков, я сегодня сочинил ему, что женюсь на племяннице Моргана и скоро стану миллиардером, получу приданое жены. Понимаешь? Старик от имени Моргана совершенно обалдел, всему поверил и теперь называет себя сватом Моргана. Однако он потребовал, чтобы я познакомил его с моей невестой или ее родителями. А откуда я их ему возьму? Пришлось пока пообещать познакомить его с воображаемой тетей воображаемой невесты. Наташенка, милая, умоляю тебя: сыграй роль этой тети!

Наташа. Хорошо. Допустим, сыграю. Но что это тебе даст?

Жорж. Натали, ты обаятельнейшая женщина, особенно для старика. Чуточку пофлиртуй с моим отцом и убеди его, чтобы он дал мне хотя бы две тысячи франков. Наташа, у меня нет другого выхода! Этой ночью я обязательно выиграю, я убежден в этом.

Наташа (*с подъемом*). Браво, браво! Обожаю штучки в этом стиле. Роль богатой американки — это по мне. Если даже ничего не выйдет из твоей затеи, хоть посмеемся хорошенько. Но постой! Я же очень плохо говорю по-английски. Как же я буду играть американку?

Жорж. Что? Ты думаешь, мой уважаемый папаша окончил Оксфордский университет? Поговоришь с ним по-армянски.

Наташа. Сестра Моргана, и по-армянски?

Жорж. А почему нет? Разве в Америке нет армян и американцев, говорящих по-армянски?

Наташа. Понимаю, понимаю. Да, это можно.

Жорж. Надо только несколько английских слов подмешать.

Наташа. Йес, ѿс... Тсэнк ю вери мач... Олл рейт...

Сережа. Неплохо несколько слов из турецко-армянского диалекта включить.

Наташа. Это я могу.

Жорж. Ну и превосходно.

Наташа. Чудесно! Я уже вдохновлена ролью.
(Встает.) Приводи своего отца ночью в кабачок «Кавказец», и ты убедишься в таланте твоей Наташи. Дай я тебя поцелую. *(Целуется с Жоржем.)* Поменьше нервничай. Все будет хорошо. До свидания. *(Уходит в левую дверь.)*

Сережа. Любопытно, чем кончится эта комедия?

Жорж. Чем бы ни кончилась, мой финал либо тюрьма, либо высылка, либо самоубийство. Никакого иного будущего я для себя не вижу. Ох, до чего же я устал!..

Сережа. Поменьше болтай. Изменить нашу жизнь мы не в силах. А жить надо. Так по крайней мере будем жить весело, а на какие средства — наплевать! Будь здоров! *(Чокнувшись с Жоржем, пьет.)* Гарсон! Encore deux bouteils!

Официант убирает пустые бутылки и подает полные. Слева, из двери, выходит Лидия. На ней новая шляпа. Здоровается легким кивком.

Лидия. Степу не видели?

Сережа *(встав, целует ей руку)*. Только что был здесь.

Лидия. Правда? Куда же он ушел? Не знаете?
(Устало садится.) Гарсон! Café au lait.

Официант приносит чашку кофе с молоком.

Сережа. Трудно сказать. После полуночи я успевался с ним встретиться в одном месте.

Лидия. А мне можно туда с вами пойти?

Жорж делает знаки Сереже. Тот намеренно не замечает их.

Сережа. Отчего же нет? С удовольствием провожу вас.

Жорж. Это ночной ресторан, Лида. Я не знаю, удобно ли тебе туда идти.

Лидия. Я со Степой несколько раз бывала в погребке «Кавказец».

Жорж. Дело твое.

Слева входят основательно подвыпившие Гриша и генерал Шпурленко — типичный казак, лет 50, одетый в штатское.

Шпурленко. Заблуждаешься, Гриша! Не три миллиона, а двадцать миллионов... Здравствуйте! (*Целует руку Лидии, остальных приветствует легким поклоном.*)

Гриша. Никак нет, ваше превосходительство. Двадцать миллионов — это было раньше, при нас. Большевики семнадцать миллионов сожгли за отсутствием дров.

Жорж. Чего? О чём вы спорите?

Гриша. Его превосходительство хочет установить, сколько в России сейчас имеется телеграфных столбов.

Сережа. Зачем это вам?

Шпурленко. Хочу знать, сколько христопродацев можно будет повесить на них. Три миллиона — это мало, Гриша. Повешу столько, сколько будет столбов, а остальных заставлю собственными руками рыть себе могилы.

Гриша (*смакуя*). И заживо их туда, заживо! Правда? Беликолепная идея! Гениальный план! Всех!

Шпурленко. Нет. Одного оставим, как экспонат для музея.

Оба хохочут.

Лидия. А потом, когда истребите всех евреев, возьмётесь за армян, грузин, за всех других «инородцев»? Не так ли, генерал?

Шпурленко. Этого я не говорил.

Лидия. Извините! Раньше говорили. И не раз.

Шпурленко. Гриша, подтверди: не я ли в Кисловодске защищал армян?

Гриша. Честью клянусь, ваше превосходительство, именно так!

Лидия. Лучше было бы, если бы вы их не защищали.

Жорж. Лидия, опять? Дяде Арташесу подпеваешь? Лучше замолчи.

Лидия. Чего это ради мне молчать? Уже который раз генерал хвалится, что он спас армян от гибели и бранит нас, что мы ему не даем за это денег. Разве не так,

ваше превосходительство? Таких армян, как мы, эмигранты, действительно стоит уничтожать! Но народ вы не уничтожите. Большевики не дадут вам и ногой ступить на родную землю.

Жорж (*с раздражением*). Лидия!

Шпурленко (*так же*). На Балканах, к вашему сведению, ждут моего приказа пятьдесят тысяч истинно русских львов, но его императорское высочество великий князь Николай Николаевич считает, что еще не пришло время для похода. Я с ним совершенно согласен. *Garson! Deux bouteils de sotern!*

Официант убирает пустые бутылки и подает две бутылки сотерна.

Лидия (*с иронией*). Воображаю, что это за львы! Среди них, наверно, и несколько «тигров», таких, как мой муженек, мой братец, их достойные друзья. Эх вы, монархисты! Пьянствовать и безобразничать — на это у вас доблести всегда хватит.

Жорж (*вскочив*). Лидия! Я тебе запрещаю разговаривать в таком тоне!

Лидия. Ты мне ничего не можешь запретить, и никого я не боюсь.

Гриша (*прыгаясь*). Лидия Петровна! Как офицер лейб-гвардии его императорского величества, я протестую!... (*Залпом выпив стакан сотерна, ударяет кулаком по столу.*)

Среди посетителей смех. Целующаяся парочка, на секунду отвлекшись от своего занятия, предается ему с еще большим увлечением.

Лидия (*смеясь*). «Его императорского величества»... Где оно, это величество? Нет его. Испарилось. А ваш Кирилл, объявивший себя царем,— это же, ха-ха-ха... Представляю, как там, в России, потешаются над его указами.

Шпурленко. Лидия Петровна! Если бы вы были мужчиной, я бы вызвал вас на дуэль! Но поскольку вы, увы, женщина,— пью за ваше здоровье. (*Тоном приказа.*) Гриша!

Гриша (*вытянувшись*). Слушаю, ваше превосходительство.

Шпурленко. Выпьем и споем.

Гриша. Выпьем и споем, ваше превосходительство!

Ш п у л е н к о. Как этот марш, твоего сочинения? Начинай. Я подтяну тебе.

Г р и ш а (*встает на вытяжку*). Трам-тарарам-рам! Шагом арш! Таарам-там-там!

Ш п у л е н к о (*стучит стаканом по столу, воодушевленно*). Там-тарарам-там-там! Здорово, ребята!

Г р и ш а. Здр-равия желаем, ваше превосходи-тельство!

Появляется публика в глубине зала. Одни смеются, другие выражают недовольство.

М е т р д о т е л ь (*быстро входя*). O-la-la! O-la-la! Monsieur le général! Tesez vous donc! Je vous en prie: tesez vous!¹

Ш п у л е н к о. Что эта рожа лопочет? Гриша, бей его! Он Христа продал, по носу вижу!

Г р и ш а (*угрожающе размахивается, но, опомнившись, берет бокал и кричит*). A votre santé, monsieur!

М е т р д о т е л ь (*пораженный, качает головой*). C'est incroyable! Tous les russes sont fous!²

Публика, громко смеясь, расходится.

Л и д и я. Сережа, где же мы с вами встретимся, чтобы пойти туда? (*Встает.*)

С е р е ж а. Дома. Я зайду за вами.

Ш п у л е н к о. Вы на меня обиделись, Лидия Петровна?

Л и д и я. Нисколько. До свидания. (*Уходит влево.*)

Ш п у л е н к о. Жорж, ваша сестра — явная коммунистка. Советую ей поостеречься.

Ж о р ж. Ах нет, генерал! Она только повторяет дядины слова.

Ш п у л е н к о. Да? Час назад, по предложению князя Арбутова-Долгоухого, мы внесли имя вашего дяди в черный список.

Ж о р ж. Чем это ему грозит?

Г р и ш а. Это грозит ему тем, что когда Россия опять станет нашей, мы его вздернем вместе с евреями.

С е р е ж а. Жорж, твой отец идет.

Жорж, встав, направляется навстречу отцу.

¹ Ай, ай, господин генерал, прекратите, прошу вас, прекратите!

² Это невероятно! Все русские — сумасшедшие!

Шпуленко. Пойдем, Гриша, немного освежимся.

Шпуленко и Гриша уходят. Из левой двери появляется Петрос, одетый во фрак, давно ставший узким для него, и светло-серые брюки.

Пальто наброшено на плечи. Настроен очень торжественно.

Жорж. Зачем ты сюда пришел, папа?

Петрос. Как зачем? Чтобы идти к сватве.

Жорж. К ней еще рано. Раньше двенадцати идти неудобно.

Петрос. Ну что ж, посижу тут, музыку послушаю. Ты иди к своей компании. Мне с молодежью делать нечего.

Жорж (*обратив внимание на фрак*). Папа! Что это ты надел?

Петрос. Как это что? Фрак. (*Отдав пальто официанту, демонстрирует фрак*.) Хорошо?

Жорж. Ужасно нехорошо, папа. Так к тебе не идет!..

Петрос. Чуточку узковат стал, это правда. На свадьбу еще шил. Тогда я стройным юношей был. А сейчас, конечно, малость разнесло.

Жорж. А панталоны, папа! Что за цвет!

Петрос. Панталоны? А! Это ты о штанах моих говоришь? Штаны как штаны. Чем они тебе не нравятся?

Жорж. Папа, с фраком надевают только черные, а не пепельные.

Петрос. Это мне и твоя мать сказала. Да я и сам знаю. Ну, а что поделаешь, когда других нет? У черных зад пропадают. Стал надевать, а они лопнули. Э, да ничего. Сойдет как-нибудь.

Жорж. Нет, папа. В таком виде я с тобой никуда не пойду. Вернись домой и надень свой обычный костюм. (*В сторону*.) Вот еще наказанье!

Петрос. Ну, хорошо, хорошо. Что ты нервничашь? Дай стаканчик пива выпить. Жарко мне.

Жорж. Хорошо, садись вот тут. Только, пожалуйста, надень пальто. (*Помогает надеть*.) И застегнись. Вот так. (*Усаживает Петроса за столик на авансцене*.) Ноги под стол спрячь. И не двигайся. Слышишь?

Петрос. Спрятал. Скажи, чтоб пивка принесли.

Жорж заказывает пиво официанту, стоящему поблизости и посмеивающемуся над Петросом. Официант подает большую кружку.

Ну, а теперь не мозоль мне глаза. Мне надо обдумать, как разговаривать со сватьей.

Жорж уходит к Сереже и шепотом, очень возбужденно объясняется с ним. Появляются и присоединяются к ним Шулленко и Гриша. Из левой двери входит Арташес. Увидев Петроса, подходит.

Арташес. Ба! Ты? Каким ветром тебя сюда занесло?

Петрос. Ветер тут ни при чем. Вздумалось зайти и зашел. Садись, коли охота.

Арташес (*садясь*). Что это ты на все пуговицы застегнулся и скрючился как-то?

Петрос. Холодно.

Арташес. Холодно?

Петрос. Простыл немного. (*Притворно чихает и кашляет*.)

Арташес. Когда это ты успел? Два часа назад здоровым был.

Петрос (*чихая*). Так, братец ты мой, мир устроен. Час назад здоров как буйвол — вдруг, глядишь, скапутился. Или вчера у тебя ветер в кармане гулял, а сегодня — глянь! — миллионы бог посыпает. Колесо фортуны, как говорится, день и ночь крутится. Кого возносит, а кого вниз, ко всем чертям...

Арташес. Что это с тобой сегодня? Все какими-то притчами разговариваешь.

Петрос. А ты сообрази, в чем смысл притчи сей.

Арташес. Петрос...

Петрос. Что?

Арташес. Ты на себя не похож.

Петрос. Не похож, правильно. Только тебе не понять, в чем тут дело, сколько бы ты ни крутил мозгами. (*В сторону*.) Если бы понял — лопнул бы от зависти.

Арташес (*в сторону*). Уж не рехнулся ли он? (*Громко*.) Петрос, может быть, ты сон какой-нибудь видел?

Петрос (*сердито*). При чем тут сон? Сущая правда, а не сон.

Арташес. Так скажи мне, что за правда.

Петрос. А зачем мне тебе говорить? Чтоб тебя кондрашка хватил? (*Оживленно постукивает пальцами по столу, в такт музыке*.)

Арташес (*в сторону*). Боже милосердный! Да он правда свихнулся. (*Громко.*) Что ты делаешь, Петрос?

Петрос. Пою мысленно. Славная музыка. Три-татим-там-тим... Америка... Доллары, доллары, доллары... Трим-там-тим-тириrim...

Арташес (*в сторону*). Есе ясно: бред наяву! Мерещится, будто продал промысла, и считает доллары.

Петрос. Слушай, почему ты не пьешь? Заказывай. Ликер? Бенедиктин? Или шартрез? Что хочешь? Эй, человек!

Официант подходит.

Арташес. Donnez moi un café au naturel¹

Официант приносит кофе.

Шпурленко (*совершенно опьяневший*). Гр-р-риша!

Гриша (*в таком же состоянии*). Сл-слушаю, ваше превосходительство!

Шпурленко. (*указывая на целующуюся парочку*). Они меня раздражают! Уведи меня куда-нибудь в другое место. Веселое. (*Покачиваясь, встает.*)

Гриша. Пошли в «Шабанэ», ваше превосходительство.

Шпурленко. Идем. Рассчитался?

Сережа. Идите, я рассчитаюсь.

Шпурленко и Гриша в обнимку, пошатываясь и напевая тот же марш, уходят влево. Публика, смеясь, смотрит им вслед.

Петрос (*хлопнув Арташеса по плечу*). Слушай! Что ты кислый, как уксус, сидишь? Я скоро твоим большевикам такого жару задам — печенка в животе у них изжарится! Как только обделаю свое дельце, сейчас же еду к Николаю Николаевичу.

Арташес. Зачем?

Петрос. Скажу ему: «Ваше императорское высочество! Все в порядке!»

Арташес. Что в порядке?

Петрос. Слушай... Деньги, деньги! Какой ты, ей-богу, непонятливый... Скажу: «Ваше императорское величе-

¹ Дайте мне чашку черного кофе.

ство, у вас с деньжатами плоховато? На! Бери сколько хочешь!»

Арташес (*с интересом*). Так, так...

Петрос. Скажу: «Ваше императорское высочество, спаситель вы наш! Пора начинать!» Скажу так, он и начнет.

Арташес (*с трудом сдерживая смех*). Что начнет?

Петрос. Войну.

Арташес. Против кого?

Петрос. Слушай... Ты совсем турицей стал. «Против кого!» Против твоих разбойников-большевиков. А прежде всего этого сволочного Милюкова заставлю расстрелять.

Арташес. Милюков не большевик.

Петрос. Оп хуже большевика! Выиграем войну, торжественно вступим в Россию... «Боже царя храни...» Восстановим частную собственность. Продам мои промысла, деньги — в карман и будьте здоровеньки! Назад в Париж. После меня пусть твоя Россия, твой Кавказ, твоя Армения хоть пропадом пропадут! Имени их даже не вспомню. Человек! Слушай, закажи что-нибудь получше.

Арташес. Лучше всего будет, если ты встанешь и пойдешь домой. Уже одиннадцать.

Петрос (*иронически усмехаясь*). Домой? Что я, с ума спятил? В Америке не принятоочные дела на утро переносить.

Арташес. Опять Америка! У тебя, шурин, я вижу, не голова на плечах, а...

Петрос. Извини, брат, извини. Это твоя голова туда-сюда, шалты-болты, ничего не соображает. Погляди-ка вон туда. Моего сына видишь? Каков лев? Вот, гордись, что это сын твоей сестры!

Арташес. Не знаю, что он хорошего сделал, чтобы мне им гордиться. Кроме игры в карты, попоек, танцев в дансингах...

Петрос (*смеясь*). «Танцев в дансингах...» В танцах вся сила в наше время! Эти танцы и его спасут, и меня, и тебя, и всех наших родных и знакомых, если хочешь знать. (*Расстегивает пальто.*) Уф, жарко! Весь вспотел.

Арташес. Ба! Да ты во фраке.

Петрос. А почему бы нет? С сегодняшнего дня фрак

и смокинг мне в самый раз подходят. (*Поет.*) Три-там-там-там-там...

Арташес (*в сторону*). Нет, его непременно надо увести домой.

Жорж (*подходит*). Папа, нам пора.

Петрос (*энергично поднимаясь*). Да, да. Идем, мой милый. (*Хочет уплатить.*) Человек!

Арташес. Ты иди, иди. Я заплачу. (*Жоржу, тихо.*) Скорее веди его домой. Что-то он мне не нравится.

Петрос. До свидания, Арташ. Заходи завтра. Я надеюсь сообщить тебе очень радостную весть.

Жорж (*нетерпеливо*). Папа!

Петрос. Идем, Жорж, идем. Нас ждут.

Петрос и Жорж уходят в левую дверь.

Арташес (*глядя им вслед*). Бедняга! *Gargou, payez vous*¹ (*Расплачивается с официантом.*)

Занавес.

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

Ночной кабачок на Монмартре. Большой зал, разделенный надвое широкой аркой. Мебель с претензией на восточный стиль. В то же время в ней смешано русское с французским. Уютные отдельные уголки, освещенные лампочками под красными и желтыми абажурами. Хорошо убранные, уставленные цветами столики. Посредине свободное пространство для танцев. На стенах картины русских художников очень яркого колорита. В простенках ковры. Две двери справа ведут одна в вестибюль, другая в буфетную, откуда приносят кушанья и напитки. Дверь слева соединяет зал с артистической уборной. В глубине сцены, за аркой, видны сидящие на возвышении музыканты, одетые в русское и цыганское платье. Мотивы музыки и песен также большей частью русские и цыганские. Танцы различные. Музыка слышна еще до поднятия занавеса. В глубине танцуют несколько человек в русских и цыганских костюмах и лишь один в кавказской черкеске, с книжалом за поясом и красным башлыком на плечах.

Наташа, одетая более нарядно, чем в предыдущем акте, и Метрдотель, рыжеватый блондин лет 45, во фраке.

Наташа. Сегодня у нас будет интересный гость.

Метрдотель. Кто?

Наташа. Отец Жоржа Минтоева.

Метрдотель. Тот самый нефтепромышленник и

¹ Человек, получите!

помещик, о котором говорят, что он когда-то был ломо-
вым извозчиком?

Наташа. Насчет ломового извозчика — выдумки.
Но невежда — действительно.

Метрдотель. Что ж, постарайся его подоить как
следует. Эти миллионеры-эмигранты как мешки из-под му-
ки. Как ни тряси, все равно в уголках что-нибудь да есть.

Наташа. Постараюсь. Только условие: на эту ночь
повысить мне проценты!

Метрдотель. Договоримся.

Наташа. И еще условие: я сегодня не Наташа. Ины-
ми словами, не танцую и не пою.

Метрдотель. Tiens! А кто же ты такая?

Наташа. Богатейшая американка, приехавшая из
Нью-Йорка. Сестра знаменитого миллиардера Моргана.

Метрдотель. Это еще что за комедия?

Наташа. Объясню потом. Гость пришел, принимай.

Входит *Незнакомец*, тот же, что был в предыдущем действии, но
одетый во фрачную пару, и занимает столик у входа. Метрдотель
делает знак официанту, а сам вновь подходит к Наташе.

Метрдотель (*тихо*). Знаешь, кто это? (*Шепчет на
ухо.*)

Наташа (*испуганно*). Да что ты! (*Смотрит на не-
знакомца с опаской.*)

Метрдотель. Я его знаю. Поверь, он тут не без
цели. (*Заметил входящего Степу.*) А вот один из твоих
друзей. Принимай сама.

Входит Степа, одетый в смокинг.

Наташа. Почему ты один?

Степа. Другие тоже придут.

Наташа. Пройди, пожалуйста, туда. Я жду знакомо-
мого.

Степа уходит за арку. Незнакомец провожает его взглядом. Метрдо-
тель, подметив это, приближается к Наташе.

Метрдотель. Лучше бы этот твой приятель не по-
являлся у нас сегодня.

Наташа. Почему?

Метрдотель. Видела, как тот посмотрел ему вслед?

Наташа. Ну и пусть смотрит. Нам-то что? А вот и мой гость идет! Прими его с особенным уважением, пожалуйста, а я подойду потом. (*Быстро скрывается за арку.*)

Справа входят Петрос и Жорж. Петрос в своем обычном костюме, Жорж в смокинге.

Петрос (*осматриваясь*). Сколько света! Точно свадьба в доме.

Жорж. Здесь каждую ночь свадьба, даже не одна.

Метрдотель с почтительным поклоном подходит к Петросу и указывает ему уютный уголок слева. Петрос садится, держась рукой за спину.

Петрос. Уф, опять спину заломило.

Жорж. Что ты будешь пить, папа?

Петрос. Мне не хочется пить.

Жорж. Так нельзя, папа. Что-нибудь надо заказать.

Петрос. Ну, пивка кружечку.

Метрдотель, отвернувшись, смеется.

Жорж. Здесь пиво не пьют. (*Подошедшему официанту.*) Кордон руж.

Офицант тотчас подает бутылку шампанского.

Метрдотель откупоривает ее сам.

Папа, ты побеседуй с метрдотелем, а я взгляну, не пришла ли тетя моей невесты.

За аркой музыка, бурные аплодисменты, крики «браво, браво!»

Петрос. По-русски знаешь?

Метрдотель. Знаю.

Петрос. Мигрант?

Метрдотель. Да, эмигрант. (*Наливает Петросу шампанского.*)

Петрос. Бежал?

Метрдотель. Бежал.

Петрос. Откуда?

Метрдотель. Из Ростова.

Петрос. Служил?

Метрдотель. Нет, фабрикантом был.

Петрос. Какую фабрику имел?

Метрдотель. Сургуча и гильз для папирос.

Петрос. Ну и дела! Всё пропало.

Метрдотель. И всё вернется вновь. (*Наливает Петросу шампанского.*)

Петрос. Держи карман шире!

Метрдотель. Вы не верите?

Петрос. Знаешь, земляк, армянскую пословицу? Пока в канаве вода наберется, у лягушки глаза выскочат.

Метрдотель (*смеясь*). Знаю. Я армянин.

Петрос. Армянин? А почему рыжий?

Метрдотель. Этого уж я не знаю.

Петрос. Может быть, мамаша твоя знает?

Метрдотель. Виноват! Гости... (*Смеясь, уходит встречать новых посетителей.*)

Входит и занимает места в глубине, за аркой, группа американцев и англичан. Музыка, пение, танцы.

Появляются Наташа и Жорж.

Жорж. Прошу познакомиться. Мой отец. Папа, это тетя моей невесты, миссис Алиса Джеральд, урожденная мисс Морган.

Наташа. О-о! Я бесконечно счастливая... знакомиться с отцом моего будущего зятя.

Петрос (*встает смущенный*). Гм... Я еще больше твоего счастлив... Минтоев Петр Иванович, бакинский и грозненский нефтепромышленник. Садись, милая.

Наташа. Благодарю вас..(*Садится.*)

Петрос. (*Жоржу*). Прикажи-ка, милый, какое-нибудь угощеньице подать. (*Наташе*). Бутерброд скучаешь?

Метрдотель, отвернувшись, смеется.

Наташа. О, тсэнк-ю! Мерси. Мне пить хочется.

Жорж наливает вина ей и Петросу.

Петрос. Пей, сватышка... умереть мне за тебя. А ты иди, Жорж, иди. Мы сами потолкуем.

Жорж (*многозначительно переглянувшись с Наташей*). Хорошо, папа, я пойду к моим друзьям. (*Уходит за арку.*)

Петрос. Где вы изволили научиться армянскому языку?

Наташа. В Стамбуле. Мой муж много год был там консул. Мы, американцы, очень любим армянский народ и хотим научать ваш язык. Моим учителем был один армянский миссионер, Ардаксос Бунгулдашьян. Ваше здоровье! (Пьет.)

Петрос. Спасибо, дорогая, спасибо! (Пьет.) А где теперь твой муж?

Наташа. О-о! Муж — нет. (Снова наполняет бокалы.)

Петрос. Как так нет?

Наташа. Пять лет назад играл в ящик.

Петрос. Как это «играл в ящик»?

Наташа. Мы, американцы, так говорим, когда кто-нибудь умирал без предупреждения, вдруг.

Петрос. Вон что! Разрыв сердца, что ли?

Наташа. О, йес.

Петрос. С чего же это?

Наташа. Очень много пил.

Петрос. Как?

Наташа (забывшиесь). О-о! Если бы вы знали, что это был за пьяница! Картежник, аферист, драчун, подлец, бандит, скандалист...

Петрос. Ба-ба-ба! Консул такого уважаемого государства, как Америка, и скандалист?

Наташа (спохватившиесь). Консул? О, йес! Вы думал, он какой-нибудь суфлер от оперетты? Бег парди, мистер Минтоев. Немного в голове зашумело. (Поднимая бокал.) Выпьем?

Петрос (в сторону). Вот они какие, американки! Поди раскуси такой орешек!

Наташа (чокаясь). А это за мое здоровье!

Петрос. Виноват, виноват... За твое здоровье, сватышка! За твое! (Пьют.) Хочу я у тебя спросить одну вещь... (В сторону.) С чего начать, не знаю...

Наташа. Я вся внимание, мистер Минтоев, говорите.

Петрос. Какие приятные слова ты сказала, сватышка! Спасибо тебе. Можно, стало быть, напрямки с тобой, да?

Наташа. О, разумеется, мистер Минтоев. Как же иначе? Мы, американцы, любим ясность, смелость и даже эй-литл... чуточку больше! (Слегка пододвигаясь к нему.) Даже эй-литл больше!

Петрос (*приятно возбужденный, в сторону*). Какова, канашка... (*Ей.*) Браво! Вот за это-то и я вас уважаю, американцев. (*Пауза.*) Хочу с тобой, видишь ли, по-деловому поговорить.

Наташа. Именно?

Петрос. Ты же знаешь. О моем сыне и о дочери твоей сестры разговор.

Наташа (*перебивая*). Ай андерстэнд, мистер Минтоев! Понимаю! Вы хотел бы узнавать, какой девушка дочь моей сестры? Это так есть?

Петрос. Именно, так! Сперва хорошенко надо разнюхать, а уж потом...

Наташа (*перебивая*). Вы получаете от меня самый полный информации. Очень интересный девушки. Дома, правда, бывает на все сорок год, зато на улице — двадцать два, не больше. Смирный, как кошечка. Добрый, как обезьянка. Верующий, как... я не знаю что. Библию знает наизусть. Порнографический литератур читает один раз в неделю. О-о, не чаще, нет! Каждое воскресенье ходит в черч... в церковь. Спиртные напитки у нас сейчас, вы знаете, запрещены — «сухой закон» — то он иногда... вы понимаете? Немножко! Вас интересует внешность? О-о! Выше всяких похвал. Беленький, как яичко. Щечки красненькие. Высокий, стройный... как телеграфный столбик. Грудь а ля мод: совсем плоский, как доска, лежит вот здесь, на живот. Ноги длинный-предлениный, красивый, как венецианская гондола. Зубы тоже длинный-предлениный! Как у породистая лошадка. Одним словом — образец американского вкуса.

Петрос (*слушая ее с возрастающим разочарованием*). Вва! Вот это расписала!

Наташа. Мы, американцы, не умеем расписывать. Мы бизнесмен. Вы это знаете? Бизнесмен, мистер Минтоев. Выпьем! (*Наполняет бокалы, в то же время делая знак стоящему неподалеку официанту сменить бутылку.*)

Официант хочет убрать бутылку, недопитую до половины.

Петрос (*схватившись за бутылку*). Куда ты, куда? Тут еще много.

Официант уходит и приносит новую бутылку, а недопитую все-таки забирает.

По мне, сватьюшка, неплохо было бы, если бы моя сноха на тебя была похожа.

Наташа. На меня? О-ля-ля! Я перед ней ничто. На весь земной шар, мистер Минтоев, нет такой красоты, как она.

Петрос. Ну ладно. Поговорим о другой стороне дела. Ты, сватьюшка, изволила сказать, что вы, американцы, люди деловые. Я тоже почти что американец, пустяков не терплю. Я хочу сказать, что меня интересует не приданое. Что такое деньги? Вздор. Я сам себе Морган. Но мы же люди. Как-никак, а надо и эту сторону выяснить.

Наташа (*перебивая*). Бег пардон, мистер Минтоев... Хотите слушать куплеты апашей?

Петрос. Умереть мне за тебя! Чего тебе хочется, того и мне.

Наташа. Идемте. Будем слушать близко. (*Берет Петроса под руку и уходит с ним в глубь зала.*)

Метрдотель, пользуясь отсутствием Петроса, приказывает официанту поставить на стол вазу с фруктами, пирожные и пр. *Петрос и Наташа* возвращаются.

Наташа. Вам понравились куплеты?

Петрос. Очень понравились, очень. Сватьюшка! Мне надо бы еще кое о чем тебя... (*Заметив перемены на столице.*) Это что такое?

Наташа. О-о! Нас угождают. Как мило! Покушаем?

Петрос. Гм... Ну что ж, покушаем. Ты не думай, сватья, что я скуп. Всему миру известно, что Петрос Минтоев не скупец. Знаешь это?

Наташа. О, знаю, сват, знаю. Вы что-то хотели у меня спрашивать? Если о приданом моей племянницы, я должна вам прямо сказать, что оно не такое большое.

Петрос. Ну, а как, к примеру?

Наташа. Пустяки. Миллионов четыреста, пятьсот.

Петрос. Четыреста, пятьсот? Это чего?

Наташа (*небрежно*). Арбузных семечек.

Петрос. Арбузных семечек?!

Наташа. Йес, мистер Минтоев. Мы, американцы, так называем доллары.

Петрос (*со вздохом облегчения*). Доллары? Так бы и говорила, благословение твоему отцу! А то... (*В сторону.*) Ну и занятная особа!

Наташа. Четыреста-пятьсот миллионов долларов — это не есть много, не правда ли?

Петрос. Ну, как тебе сказать... Не так уж и мало. Они ведь молодые, как-нибудь перебоятся. Я от себя тоже кое-чего добавлю. (*В сторону.*) Как же! Держи карман шире!

Наташа. И я буду добавить тоже. Миллионов стополоваста арбузных семечек.

Петрос. Твой муж большое состояние тебе оставил?

Наташа (*в сторону*). Огромное! Ломаную бритву и две бутылки из-под «смирновки». (*Громко.*) О, ѿес! Покойный был очень большой бизнесмен. Он был богаче Моргана. Мистер Минтоев, вы согласны еще раз выпить за мой здоровье? (*Налив вина себе и ему, отставляет в сторону почти полную бутылку и дает знак официанту убрать ее.*)

Официант быстро уносит бутылку и подает новую.

Петрос (*проводя официанта враждебным взглядом*). Простите, сватья. Увлекся разговором. Еще раз — ваше здоровье! (*Пьют.*)

Наташа. Тсэнк ю вери мач. Свадьба, сват, обязательно должна быть у нас кавказской! Мы, американцы, обожаем кавказские свадьбы. (*Пьет.*)

Петрос. Такую музыку закажу, что у вас в Америке слышно будет! (*В сторону.*) А она преапpetитнейший кусочек!

Наташа. Мистер Минтоев, вы танцуете?

Петрос. Какие танцы смотря.

Наташа. Танго, фокстрот, чарльстон.

Петрос. Нет, сватьюшка. Фокстроты-мокстроты эти не моего ума дело. Что-нибудь другое предложи.

Наташа. Русские танцы?

Петрос. И этого не знаю. Когда молод был, очень много танцевал: таракама, тренги, узун-дара... А ты, видно, любишь танцевать?

Наташа. О! Обожаю! Хотите, буду сплясать русскую для вас?

Петрос. Очень хочу. Но еще лучше — не оставляй меня одного. (*Придвигается к Наташе и берет ее за руку.*)

Наташа (*не отнимая руки и сама придвигаясь к нему*). Нет, нет, мистер Минтоев. Вы так мне нравитесь, что

я непременно должна для вас сплясать. У меня уже все косточки сами пляшут. (*Быстро встав, дает знак музыкантам и пляшет.*)

Петрос (*апплодируя с энтузиазмом*). Машалла! Машалла! Ах! Божественно!

Наташа (*кончив плясать, садится, еще ближе придвигнувшись к Петросу*). До утра могу плясать — всё равно не напляшусь досыта.

Петрос. Браво, сватья, браво! Вижу, ты мастак насчет танцев. Еще раз твое здоровье! (*Придвигаясь к Наташе вплотную, в сторону.*) Хороша, клянусь солнцем!..

Наташа. Тсэнк ю вери мач. (*Пьет.*)

Петрос. Как ты сказала?

Наташа. Тсэнк ю вери мач значит — очень вам благодарна. (*Повторяет отчетливо.*) Тсэнк. Ю. Вери. Мач.

Петрос. А я слышу: «процент... пью...» Думал, ты хочешь сказать: поцелуй меня... процент, так сказать...

Наташа. Процент? Пожалуйста, если вам так приятно. (*Подставляет щеку.*) Мы, американки, обожаем целоваться.

Петрос. Дай бог здоровья такой нации! (*Утерев губы салфеткой, звучно целует Наташу.*) Ух ты!

Публика вокруг смеется и шумно аплодирует.

Голоса: «Браво! Браво!»

Петрос (*растерянно оглядываясь*). Что случилось?

Наташа. Ничего, ничего. Не надо обращайт внимания. Бег парди, мистер Минтоев, сколько вам лет?

Петрос (*в замешательстве*). Валла! И не помню, когда родился.

Наташа. Сорок?

Петрос. Нет, душа моя. Если правду говорить — чуточку побольше. Мало даешь, мало.

Наташа. А сколько вы будет давать мне?

Петрос. Ну, так... тридцать.

Наташа. О-о, май год! Какой там тридцать? Какой сорок, какой пятьдесят? Шестьдесят два.

Петрос (*изумленный*). Вва! Ты в моих летах, значит? Никогда не поверю.

Наташа. Это совсем не удивительно. Мы, американки, долго сохраняемся. У нас есть один секрет, как сохранить молодость.

Петрос. Какой же это секрет? Скажи, пожалуйста.
Наташа. Каждый день перед обедом кушать кардалуп.

Петрос. Кардалуп? Это что же такое?

Наташа. Вроде дыни. Очень, очень вкусное.

Петрос (*достав записную книжку и карандаши, дает ей*). Будь добра, запиши мне, пожалуйста, точно название этого благословенного фрукта. Велю жене, чтобы ела каждый день.

Наташа пишет и возвращает ему книжечку.

Если бы мне кто-нибудь сказал, что тебе больше тридцати пяти, я бы этого человека по лбу стукнул, и не один раз.

Наташа. Сват, этот бокал будем выпить за здоровье жениха и невесты. (*Чокается и придвигается к Петросу.*) Аллаверды к вам!

Петрос. Спасибо, сватышка! Твои слова прямо мед для моей души! (*В сторону.*) Ущипнуть или не стоит?

Наташа подзывает официанта и что-то говорит ему шепотом. Он, поклонившись, быстро уходит за арку.

Наташа. Аллаверды к вам, сват! (*Пьет.*)

Из-за арки появляются два певца и певица и поют «Славу» Петросу.
Наташа подпевает им.

Певцы. К нам добро пожаловать.

Петр Иванович! Аллаверды!
Славный друг артистов бедных,
Аллаверды, аллаверды!
Минтоеву нет равного
Ни здесь, ни там, во всем мире!
Аллаверды, аллаверды!..

Певица, продолжая петь «аллаверды, аллаверды», берет со стола бокал шампанского, ставит на тарелку и подносит Петросу.

Наташа. О, как я обожаю ваши песни, ваши пляски, ваше веселье! (*Интимно придинувшись к Петросу, шепчет ему на ухо.*) Надо что-нибудь им давать. (*Делает вид, будто хочет достать деньги из своей сумочки.*)

Петрос (*удерживая ее руку*). Подожди, сватья, подожди! Что ты! Я не позволю! (*Достает из кармана кредитку и бросает на тарелку.*)

Певцы благодарят его и уходят за арку. Там начинаются танцы. Несколько пар американцев танцуют фокстрот. Некоторые появляются на переднем плане и вновь скрываются. Петрос, уже заметно охмелевший, наблюдает за ними.

Выпьем за здоровье твоего брата!

Наташа (*взгрустнув, рассеянно*). Что он там делает, бедняжка, на Камчатке в ссылке!..

Петрос. Как в ссылке? Кто в ссылке? Они посмели сослать в Сибирь американца Моргана?!

Наташа (*опомнившись*). О, что это я! Нет, нет. Вы спросил про мой брат, который в Америке? Этот жив и здоров. Живет в Нью-Йорке. Тсэнк ю вери мач, мистер Минтоев. Посмотрите, посмотрите! Что это они там танцуют? Это тоже для нас с вами.

Петрос. Наша лезгинка! И танцуют наши! (*Аплодирует с воодушевлением.*)

Из-за арки появляется танцовщик в черкеске и, размахивая обнаженным кинжалом, кружится перед Петросом. Тот совершенно очарован.

Машалла! Машалла! Ты только погляди, сватья, погляди! Мы все, кавказцы, такие огневые. Молодчина! Браво, bravо! (*Аплодирует.*)

Наташа. Изумительно! Необыкновенно! Мы, американцы, обожаем такой экзотический танец.

Танцовщик, продолжая танцевать, неожиданно сильным движением вонзает кинжал в стол перед Петросом.

Петрос (*испуганно отшатнувшись*). Это что за дурачество?!

Наташа. Вы испугались, мистер Минтоев?

Петрос (*озладев собой*). Я? Пусть будут прокляты отцы всех трусов! Я кавказец, сватья. Что такое для меня кинжал? То же, что для тебя иголка.

Наташа. Надо его благодарить. (*Снова делает вид, будто хочет достать деньги из сумочки.*)

Петрос. Нет, нет, нет, сватья! Помереть мне, если я тебе это позволю. Сегодня я угощаю. Ты ни одной копейки не истратишь. (*Дает танцовщику две кредитки.*) Вот, одна от меня, другая от тебя.

Танцовщик кланяется и уходит за арку. Оттуда звучит пение,

Наташа. Мистер Минтоев! Вы очень щедрый человек, я вижу. Мы, американцы, обожаем таких джентльменов, как вы.

Петрос. Мое джентльменство всему миру известно. Сосчитать невозможно, сколько раз я в Баку приклеивал зурначам сотенные ко лбу.

Наташа. А сын ваш такой же, как вы?

Петрос. Ясно! У льва разве может быть сын шакал? Хочешь, позову его? Дам ему деньжат, пусть покуролесит.

Наташа. Это прекрасно, мистер Минтоев! Это будет вери уэл, очень хорошо. У такого молодого человека, как ваш сын, всегда должна быть в кармане лишняя тысяча франков.

Петрос (*в сторону*). Куда хватила! Что это, фасоль тебе?

Наташа, подозвав официанта, велит ему пригласить Жоржа.
Официант уходит.

Дам, сватья, дам.

Наташа. Если вы не при деньгах, я могу одолжить.
(Снова берется за сумочку.)

Петрос. Оставь это, сватья, оставь, говорю тебе!
Деньги у меня есть. (*В сторону*.) Дам пятьсот, скажу — тысяча.

Из-за арки появляется Жорж.

Жорж. Ты меня звал, папа?

Петрос (*давая ему пятисотфранковую ассигнацию*). Вот тебе тысячу франков, иди себе, веселись.

Жорж. Ты, папа, ошибся, это...

Петрос. Тысяча, тысяча. Погляди получше. (*Подмигивает Жоржу, чтобы он ушел.*)

Жорж. Ладно. Пусть будет тысяча. Спасибо. (*В сторону*.) Самое золотое время для игры в Осман-клубе! Голову готов прозакладывать, что выиграю.

Наташа. Я желаю вам успеха, Джордж!

Жорж, поклонившись ей, быстро уходит в правую дверь.

Петрос. Куда это он отправился?

Наташа. Наверное, к телефону — позвонить невесте. Моя племянница не может заснуть, если Джордж ей не будет пожелать спокойной ночи по телефону.

Петрос. Скажи пожалуйста! Так любят друг друга?

Наташа. О! Обожают! Разопьем еще бутылочку?

Петрос (*с готовностью*). И одну, и две, и три... Человек!

Наташа. Давайте и артистам будем посыпать.

Петрос. С превеликим удовольствием! Человек!

Наташа. Не беспокойтесь, я буду сказать сама.

Подходит официант.

Одну бутылочку нам, а три отнесите артистам. От нас.

Официант, поклонившись, уходит. Справа входят *Лидия* и *Сережа*.

Лидия. Вы точно знаете, что Степа придет сюда?

Сережа. Непременно должен прийти. Мы условились.

Вслед за ними входит *Второй незнакомец*, подходит к первому, сидящему у входа, что-то ему шепчет и скрывается за аркой.

Лидия (*увидев отца, подходит к нему, удивленная*). Ты здесь?!

Петрос (*смузенный*). А что ж тут такого, что я здесь? Вот ты, скажи, зачем сюда пожаловала, сударыня, в такой час?

Лидия. Я пришла за Степой, чтобы увести его наконец домой.

Петрос. Вот оно что! Ну, а я пришел, чтобы побеседовать с моей будущей сватьей. Познакомьтесь. Моя дочь.

Наташа приветствует Лидию небрежным кивком.

Лидия (*не отнеся слова отца к Наташе*). Что ты сказал, папа? С какой сватьей?

Петрос. Ты что, не знаешь, что такое сватья? Если хочешь, садись с нами, выпей бокал шампанского. (*Сережа*.) Вы как, молодой человек, насчет того, чтобы выпить? Наличь вам?

Сережа (*сдерживая смех*). Спасибо, не беспокойтесь.

Петрос. А ты что же, сватышка, примолкла? Да-вай веселиться дальше. Американкам не идет молчание.

Лидия. Папа, что ты такое говоришь? Сватья, амери-

канка... О ком ты? Это же Наташа, здешняя певичка и танцовщица.

Петр ос. Цыц! Что ты болтаешь, дура?! Это сватья, и моя, и твоя, и твоей матери.

Лидия. Сережа, вы слышите, что он говорит? (*Отцу.*) Ты что? Так пьян? Нет уж, избавь меня от таких сватий! Этой особе я обязана тем, что мой муж сбился с пути. И твой сын тоже. (*Наташе.*) Посмейте сказать, что это не так! (*Сереже.*) Вы посмотрите на нее, как она расселась!

Наташа. Я вас не знай.

Петр ос (*сердито*). Довольно, дочка, болтать вздор! Если она тебе не нравится, отправляйся по своим делам, а нам не мешай веселиться. Извини, пожалуйста, сватывушка. У моей дочери, ты знаешь, тут не все дома. (*Подняв бокал.*) Еще раз за здоровье невесты и жениха!

Лидия. Да что же это такое, Сережа?! Я с ума сойду! Поговорите вы с ним! Что это за балаган?

Петр ос. Никакого балагана тут нет! Сию же минуту извинись перед тетей невесты твоего брата! Ты пойми: она сестра Моргана, короля банкиров.

Сережа, не сдержавшись, прыскает.

Лидия. Нет, вы только поглядите, как она важничает! Сережа, да чего же вы молчите? Скажите же ей... Вы разве не знаете Наташу? Ах, вы смеетесь! Понимаю. Вы тоже замешаны в эту глупую комедию! А вот идет Гриша! Он раскроет глаза этому доверчивому человеку.

Справа входят *Гриша* и *Шпурленко*, оба совершенно пьяные.

Гриша (*покачиваясь, подходит к Наташе*). Наташенька, голубушка! Как я по тебе соскучился, котеночек! Дай щечку, цыпонька... (*Нагибаются, чтобы поцеловать.*)

Наташа. Ват эй фул! (*Отталкивает Гришу.*)

Гриша. Что ты такое сказала? Не хочешь, чтобы я тебя поцеловал? Я? Офицер лейб-гвардии его императорского величества? (*Делает новую попытку поцеловать.*)

Наташа снова отталкивает его.

Шпуленко. А уж мне, Наташечка, ты отказать не сможешь!

Подойдя сзади, обнимает ее и целует. Петрос, поднявшись, растерянно смотрит на Наташу.

Лидия. Ты видишь, папа? Хоть теперь ты понял, кто твоя «сватья»?

Наташа (*освобождаясь от объятий Шпуленко и Гриши*). А ну вас всех к чертям свинячым! (*Убегает за арку*.)

Петрос. Что это такое? Во сне я или наяву? Может быть, я с ума сошел?

Во время этой сцены *Второй незнакомец*, вновь появившись из-за арки, что-то шепотом докладывает первому. Оба уходят за арку. Второй незнакомец уходит в правую дверь и тотчас возвращается с двумя полицейскими, которых оставляет в дверях. Через минуту незнакомцы приводят из-за арки Степу, бледного и дрожащего. Один держит за руку его, другой — сверток, переданный ему Сережей. Музыка и пение обрываются.

Лидия (*увидав мужа*). Степа! Степочка! (*Хочет подойти к нему*.)

Первый незнакомец (*подняв руку*). Madame, ne vous approchez pas, je vous prie!¹

Сережа пытается скрыться, но полицейские задерживают его. Первый незнакомец достает из кармана наручники и надевает их Степе и Сереже.

Лидия (*в ужасе*). Что вы делаете? Куда вы ведете моего мужа? Куда? (*Плача, бежит за ними*.)

Степа и Сережа в сопровождении незнакомцев и полицейских уходят в правую дверь. Публика, артисты, музыканты, официанты, столпившиеся, наблюдают эту сцену.

Метрдотель. Ничего особенного, господа. Успокойтесь. Ничего. Calmez vous! Эй, музыка!

Публика возвращается на свои места. Звучит бравурная мелодия оркестра. Метрдотель подходит к Наташе.

Ну? Убедилась? Я же тебе говорил!

Наташа. За что их взяли?

¹ Мадам, не приближайтесь, прошу вас!

М е т р д о т е л ь . Потом расскажу . (Подходит к Петросу.) Счет, мсье! (Подает счет.)

П е т р о с . Что? (Грузно опускается на стул.) Вот это скандал! Ой-ой-ой-ой-ой...

З а н а в е с .

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

Обстановка первого действия. Петрос в пижаме, крайне раздраженный, шагает по комнате. Магдалина сидит у окна, грустная.

П е т р о с . Этакое бесстыдство! Этакое безобразие! Как после этого и друзьям и врагам в глаза смотреть? Лучше бы тебе высохнуть, чем такого щенка родить!

М а г д а л и н а . Хватит, Петрос. Довольно беситься. Не порти мне кровь. (Зябко кутается в персидскую шаль.)

П е т р о с . Легко сказать: «Не бесись!» Этот негодяй вчера днем меня, можно сказать, выше Эйфелевой башни поднял, а ночью лягнул и в грязь сбросил. Ой-ой-ой... Куда он меня заманил! Что за место! Тыфу! (Пауза.) Как хочешь, Магдаш, тут и твоя вина есть.

М а г д а л и н а . В чем моя вина?

П е т р о с . В том, что ты могла бы мне вчера раскрыть глаза, если я ослеп! Допустим, я такой болван. Ну, а ты? Твой ум где был?

М а г д а л и н а . Ну откуда мне было знать? Я столько раз слышала, что богатые американки рыщут по свету в поисках знатных или красивых женихов. Как тут не подумать: ну, а наш сын? Разве он кому-нибудь уступит своей внешностью? Ты что, не можешь допустить, чтобы он на самом деле мог понравиться дочери Моргана?

П е т р о с . Денег жаль! Понимаешь? В одну ночь такую сумму просадить! Вот. Нарочно сохранил, чтобы ему, подлецу, в глаза ткнуть. (Достает из кармана счет.) Две тысячи сто восемьдесят франков! Это не считая чаевых музыкантам и танцорам! Не считая тех пятисот франков, что я ему, прощелыге, еще отвалил! Ох... (Схватился за сердце.) Денег жаль, денег... (Прячет счет.)

М а г д а л и н а (с иронией). Уж так ли жаль тебе? Целую ночь со смазливенькой певичкой развлекался! Кто тебя знает? Может быть, обнимался с ней, целовался?

Петрос. Правильно, женушка, правильно. Об одном жалею: что не ушипнул эту Наташу как следует! Хоть просадил капитал, так проценты с него получил бы. (*В сторону*). Невредный был товарец, что говорить!..

Магдалина (*сердито встав*). Стыда у тебя нет! Лысины своей постыдись!

Петрос. Это ты стыдись, что такого щенка родила! Я тебя предупреждаю, жена: больше он мне не сын! Такого сына я знать не хочу!

Магдалина. Вчера из рук его у меня вырывал, а сегодня отказываешься?

Петрос. Вчера дал маху — признаю. Ни капельки он на меня не похож. Точь-в-точь твой портрет. Вглядись хорошенько в себя и в него — и убедишься.

Магдалина. Ах, вот как? Так я тебе тогда скажу, что Жорж и не твой сын. А теперь ступай себе.

Петрос (*испуганный*). Но-но-но-но! Замолчи! А не то видишь? (*Показывает кулак*.)

Магдалина. Ну, ладно, ладно. Хватит! У меня из-за тебя голова треснет. (*Пауза*.) Что же это с Жоржем? Почему его нет дома до сих пор? Как я за него беспокоюсь!

Петрос. Не знает с каким лицом вернуться, вот и не кажет глаз. (*В бешенстве*.) Ах, негодяй! Чтоб его, паршивца, кровью разорвало! Ффу-у... Просто задыхаюсь от бешенства, как подумаю о вчерашнем. (*Еще быстрее ходит по комнате, пинками и ударами расшвыривая стулья*.)

Магдалина. Да не бесись ты, ради создателя! Успокойся! Лучше скажи: за что Степу взяла полиция?

Петрос. За то, что и Степа твой такой же фрукт! Откуда я знаю, за что? До него мне там было?!

Звонок.

Вот он! Явился наконец щенок! (*Засучивает рукава*). Ну и отделаю же я его... Смотри, Магдаш, не хватай меня за руки, а то и тебе попадет. (*Воинственно направляется к двери*.)

В дверях появляется *Лидия*, очень взволнованная, Петрос отступает, сразу потеряв воинственный вид.

Это ты, Лида-джан? Входи, входи.

Лидия (*входит, не обратив внимания на отца*). Ох, сил моих нет! (*Устало садится*.) Всю ночь без сна... Потом

сумасшедшая беготня туда, сюда... Где только я не была!
Будь проклята такая жизнь!

Магдалина. В полиции была?

Лидия. Была. Но ничего не смогла узнать. Комиссар мне сказал: «Успокойтесь, мадам, гильотина вашему мужу не грозит». Я спрашиваю: «За что вы его арестовали?» А он: «Вот за что!» И показывает какой-то бумажный сверток у себя на столе. Я хотела развернуть, посмотреть, что там. Он не дал. Я расплакалась, побежала к дяде Арташесу, попросила его сходить в комиссариат. Может быть, ему что-нибудь удастся узнать. Ах, мама, мама! Лучше мне было бы жить у тебя в прислугах, чем связать свою жизнь с таким мужем!

Петрос. Я всегда о нем был такого мнения. Не человек, а собака, сорвавшаяся с цепи.

Звонок.

Лидия. Наверно, дядя! Что-то он скажет?

Из левой двери в глубине входит Арташес. Увидев Петроса, не здороваюсь с ним, смотрит на него с укором. Петрос, смущенный, отводит глаза в сторону. Немая сцена.

Ты не видел комиссара, дядя?

Арташес. Видел.

Лидия. Ну?

Арташес (*садясь*). Дело серьезнее, чем я предполагал.

Лидия. Значит, Степу не отпустят?

Арташес. Его с этой скотиной, так называемым Сережей Мезбуровым, отправили в тюрьму.

Лидия. Боже! (*Падает на диван без сил.*)

Магдалина. В тюрьму?!

Петрос. Картина ясная. (*Отваживается приблизиться к разговаривающим.*)

Арташес. Дело крайне серьезно. Выслушайте меня внимательно. Степа и этот подлец Сережа арестованы за продажу запрещенного товара *En flagrant délit*.

Петрос. Дели? Что дели?

Магдалина. Что это значит?

Арташес. «*En flagrant délit*» значит: на месте преступления.

Петрос (*в сторону*). Как я попался! (*Громко.*) Вот тебе и «дели»! Разделили!

Лидия. А что это за запрещенный товар?

Арташес. Ты видела сверток на столе у комиссара? Это кокаин.

Петрос. Подумаешь, смертный грех!

Арташес (*окинув его косым взглядом*). Кокаин — это яд, к твоему сведению. Вот что мне сказал комиссар: «Нам известно, что кокаин привозят из Германии. Мы считаем людей, которые занимаются его продажей, немецкими агентами. Наши враги, боши, хотят уничтожить французский народ, систематически отравляя его наркотиками. Следовательно, муж вашей племянницы не просто контрабандист, но и политический преступник».

Петрос. Я в политике не разбираюсь. А что касается контрабанды — не считаю ее преступлением.

Арташес (*с иронией*). Вот как!

Петрос. Да-с. Если бы контрабанда была преступлением — мои косточки давно сгнили бы в тюрьме.

Магdalina. Петя! Петя! Ну что ты такое болтаешь? Как тебе не совестно?

Петрос. В чем дело? Будто ты не знаешь, сколько товаров я перевез без пошлины из Персии через Энзели! Вот эта керманшахская шаль, что на тебе,— не контрабанда?

Магdalina. Ах, оставь ты эти глупости!

Арташес. Я спросил у комиссара, чем это грозит Степе. Он ответил так: «Меру наказания определит закон. Если суд не найдет никаких обстоятельств, смягчающих вину, наказание будет суровым — длительное тюремное заключение, потом высылка из Франции».

Лидия (*возбужденно вскочив*). И прекрасно! Очень хорошо! Пусть нас выгонят из этой чудесной страны! Так нам и надо! Зачем мы тут? Чего ради здесь сидим? Что касается меня, чем бы ни кончилось дело, я вернусь в Россию. Лучше пережить любые испытания там, чем видеть такой позор здесь. Дядя, как ты думаешь: разрешат мне повидаться со Степой в тюрьме?

Арташес. Я уже получил разрешение и для тебя и для себя. Вот.

Лидия. Так идем!

Арташес. Сию минуту. (*Петросу.*) Два слова о твоих делах, уважаемый шурин. Вчера ты меня просил прийти сегодня, чтобы выслушать радостную новость. Я к твоим услугам. Любопытно, что это за радостное сообщение.

Петрос. Уф... Хоть бы ты меня оставил в покое, царствие небесное твоему отцу!

Арташес. Нет, брат, не оставлю. Как? Больше не собираешься к Николаю Николаевичу, чтобы сказать ему: «Ваше императорское величество! У вас с деньжатами плоховато? На! Бери сколько хочешь!»? А? Ты слыхала, Магдаша? Твой муж собирается объявить войну большевикам!

Петрос (*Лидии*). Это ты ему рассказала о вчерашнем? Да?

Лидия. Я рассказала. Ты убедился наконец, что эта женщина — не сестра Моргана, а обыкновенная распутница?

Петрос (*в бешенстве*). Никакая она не распутница! И я очень хорошо сделал, что с ней поужинал! Тебе-то какое дело? Вот пойду всем вам назло туда сегодня ночью опять и еще покучу! Съели? Что скажете? Надоели вы мне все с вашими попреками! (*Быстро уходит в правую дверь.*)

Лидия. Идемте, дядя.

Арташес. Идем.

Лидия и Арташес уходят в левую дверь. Магдалина берет трубку телефона.

Магдалина. Оперá, тришадцать три ноль три. Это Осман-клуб? Будьте любезны, мсье Жорж Минтоев у вас? Ах ушел? Когда? Четверть часа назад? Благодарю вас. (*Положив трубку, идет в глубь комнаты.*)

Из двери в глубине входит Жорж. Бессонные ночи и волнения остали отпечаток на его лице. Он очень утомлен и взъярен. Бессильно опускается в кресло и закуривает. Магдалина следит за ним молча.

Жорж, что случилось?

Жорж. Папа дома?

Магдалина. Дома.

Жорж. Прикажи, пожалуйста, горничной поскорее приготовить мой дорожный чемодан.

Магдалина. Ты уезжаешь?

Жорж. Уезжаю.

М а г д а л и н а . Куда?

Ж о р ж . Мама, у меня нет ни секунды лишнего времени! Скажи, я тебя прошу.

М а г д а л и н а . А что укладывать?

Ж о р ж . Все, что влезет в самый большой из моих чемоданов.

М а г д а л и н а . Ну хорошо... Сейчас. (*Уходит в правую дверь в глубине.*)

Ж о р ж (*встает и ходит по комнате, вздыхая и ероша волосы*). Ох, и дурак же я, дурак! Идиот!

М а г д а л и н а (*вернувшись*). Через пять минут чемодан будет готов. Но ты мне должен сказать, куда ты едешь и зачем.

Ж о р ж . Не все ли тебе равно, куда и зачем?

М а г д а л и н а . Ну скажи хотя бы, по приятному для тебя делу или...

Ж о р ж . Будь покойна, мама,— по очень приятному.

М а г д а л и н а . Да? Почему же в таком случае ты такой невеселый и взволнованный?

Ж о р ж . Почему невеселый? Нисколько. Наоборот. Могу тебе это доказать. (*Сев за пианино, играет и поет.*)

Из первой двери в глубине входит *Петрос* и, остановившись, молча смотрит на Жоржа. Тот некоторое время не замечает отца. Заметив, обрывает музыку.

П е т р о с . Что ж ты замолчал? Пой, бессовестный! Пой, горе родительское! Провалиться бы в преисподнюю отцу того, кто тебя считает человеком! Послушай, ты! Есть ли у тебя хоть капля стыда или вовсе нет?! Есть ли на тебе крест? Что ты за издевательство надо мной устроил?

Ж о р ж . Не понимаю, что я такого сделал?

П е т р о с . Нет, вы поглядите на него! Не понимает! Да как у тебя язык поворачивается такое говорить? Слушай, ты! Шакалье отродье! Худшей издёвки самый мой злой враг не придумал бы! Господи, прости меня... Бес толкает: «Подойди и расквась ему нос и губы!» Уф!.. (*Замахивается.*)

М а г д а л и н а (*оскорблённая словами «шакалье отродье»*). Не смей! Остановись!

П е т р о с . Ну ясно. Защищай своего щенка, защищай! Поглядите вы на эти две рожи: будто один гнилой арбуз

пополам разрезали! (*Сыну.*) Будь проклят род твоей матери до самого корня!

Магдалина всплеснула руками, не находя слов.

Жорж (*спокойно*). Так нельзя, папа. Ты должен сначала объяснить нам причину твоего гнева.

Петр ос. Объясню. Не один раз, а тысячу раз объясню! Слушай! Кто была эта вчерашняя красотка?

Жорж. Кто? Наташа. Всем известная, всеми любимая, наша Наташа, певица и танцовщица ночного кабачка «Кавказец». Чем она тебе не понравилась?

Петр ос. А кто мне ее представил как сестру Моргана, тетушку твоей невесты? Не ты?

Жорж. Я вынужден был это сделать.

Петр ос. Что значит «вынужден»? Обманул ты меня или не обманул?

Жорж. Обманул, да еще как ловко! Но клянусь тебе — как честный человек...

Петр ос. Послушай, ты что, совсем рехнулся? Прости мне, господи, все мои прегрешения! Ты что-нибудь понимаешь, Магдаша?

Магдалина. Оставь меня в покое!

Жорж. Папа, выслушай меня спокойно. Я тебе все объясню.

Петр ос. Ну, говори, говори. Посмотрим, что ты еще выдумаешь.

Жорж. Вчера ночью, папа, в этот ресторан должна была прийти тетя моей невесты. Так?

Петр ос (*с иронией*). Так точно-с.

Жорж. Я привел тебя туда, чтобы познакомить с ней. Так?

Петр ос (*так же*). Ничего себе познакомил!

Жорж. Как только мы вошли, я оставил тебя с метрдотелем, а сам пошел искать миссис Алису Джеральд. Так ведь было?

Петр ос (*теряя терпение*). Ладно, скорее кончай.

Жорж. Я искал ее всюду и не нашел. Позвонил по телефону. Мне ответили, что у нее ужасная мигрень и она не сможет прийти. Что же мне было делать, скажи? Ведь ты бы взбесился, если бы я это тебе сказал, устроил бы неприличный скандал! Я ведь тебя знаю. Вот я и решил:

ты впервые в своей жизни на Монмартре—зачем мне причинять тебе неприятности? Пусть, думаю, человек повеселится эту ночь в свое удовольствие. Ну и попросил очаровательную Наташу, шутки ради, заменить на одну ночь тетю моей невесты. Привел ее и посадил рядом с тобой. Скажи, пожалуйста, что я сделал плохого? Разве ты не веселился там? Хоть раз в жизни приходилось тебе быть всю ночь в обществе такой шикарной женщины?

Петрос. Что правда, то правда. Товарец недурной.
Магдалина. Бессовестный! Бесстыжий ты!

Петрос. Ну, а твоя невеста и ее тетушка? Где же они?

Магдалина (*сыну*). Да! Ты это нам скажи!

Жорж. Моя невеста и ее тетушка в данную минуту пьют кофе в своем комфорtabельном отеле «Кларидж».

Петрос. Послушай, ты! Опять начинаешь свои фокусы-моκусы?

Жорж. Да нет же, папа. Уверяю тебя — это чистая правда.

Петрос. Магдаш, что делать? Верить ему или нет?

Магдалина. Если наш сын похож на меня — как же не верить?

Петрос. Так пойдем! Покажи мне их! Я хочу их видеть собственными глазами.

Жорж. Ох, папа... Опять ты требуешь невозможного.

Петрос. Почему это?

Жорж. Потому что ты же не одет еще! Могу я тебя представить им в пижаме?

Петрос. Что за чепуху ты несешь?! Оденусь конечно!

Жорж. А пока ты будешь одеваться, мы опоздаем. Опоздаем! Понимаешь? (*Нетерпеливо смотрит на часы.*)

Магдалина. Почему опаздываете? Куда?

Жорж. На поезд в Гавр. Я же тебе, мама, сказал. Завтра из Гавра отходит в Нью-Йорк пароход, на который для нас куплены билеты.

Петрос. То есть как? Вы, значит, уже...

Жорж. Да, папа. В полном смысле слова «уже». Мы уезжаем.

Магдалина. В Америку?

Жорж. Ну ясно. Куда же еще, странные вы люди! Мать моей невесты потребовала, чтобы мы справили

свадьбу непременно в Нью-Йорке. Этого требуют американские правила приличия. Вот мы и уезжаем. Взгляни, мама, пожалуйста, готов ли чемодан. Уф... (*Смотрит на часы.*)

Магдалина идет к двери, но навстречу ей входит горничная, неся чемодан.

Жорж (*торопливо*). Ну, дорогие мои... До свидания. Дай, мамочка, я тебя поцелую. (*Целуются.*) Прости меня, папа. До свидания. (*Целует отца и, выхватив у горничной чемодан, стремительно уходит в левую дверь в глубине.*)

Горничная уходит в другую дверь. Петрос растерянно смотрит вслед сыну.

Магдалина. Ну, ты что, онемел?

Петрос. А что сказать? Язык отнялся.

Магдалина. Фома ты неверный! Сын уехал венчаться, а он стоит столбом и молчит! (*Плачет.*)

Петрос. Верю, Магдаш, верю. Умереть мне за его чистую душу! Будь благословен твой род! Давай поцелуемся.

Пытается обнять и поцеловать жену.

Магдалина. Не трогай меня! Я тебе этих обид долго не прощу. Даже на дорогу не мог Жоржу денег дать! (*Плачет.*)

Петрос. Опять денег? Он же сказал: билеты уже куплены. Значит, невеста берет все расходы по поездке на себя. Чего же ты от меня хочешь?

Звонок. Через некоторое время входят Карасов и Мезбуров, оба сильно взволнованные, в особенности первый.

Мезбуров (*ответив на приветствие хозяев небрежным кивком*). Нда-с! Этого мне только не хватало! (*Садится.*)

Карабов (*не в состоянии говорить от волнения*). Уф... пфа... кхм... (*Падает в кресло, задыхаясь и утирая пот.*)

Мезбуров (*Петросу*). Ты был там?

Петрос. Был.

Мезбуров. Благословение твоему отцу! И не мог сунуть несколько сот франков в руку комиссару, чтобы освободить ни в чем не повинных юнцов?

Петрос. Хотел бы я видеть, как ты на моем месте смог бы. (*В сторону.*) До этого мне было!

Карасов. Лабазники! Лягушатники! На каждой стene у них: свобода, равенство, братство! А за продажу какого-то паршивого кокаина хватают людей и бросают в тюрьму! В веру их, в бога...

Петрос. Ладно, толстяк, не бесись. А то бог знает что с тобой может случиться.

Карасов. Как это — не бесись? Как — не бесись? Кричать надо, орать, все вверх ногами перевернуть! (*Вскочив, возбужденно шагает по комнате.*)

Мезбуро. Бессовестные! Мало им того, что наших детей посадили. Начали и наши имена трепать в своих беспыжих газетах! Будь это в Баку — я им показал бы!

Петрос. Зря волнуешься. Что такое газеты, чтоб обращать на них внимание? Про меня пусть хоть каждый день пишут — моей чести не убудет.

Карасов. Нет, а у меня никакого терпенья больше нет! Лопну! Магдалина Герасимовна, умоляю: велите дать стакан холодной воды, не то лопну...

Петрос. Лопайся к шуту! Мне-то что?

Магдалина уходит.

Карасов. Как — что? Твой сынок еще на свободе, правда. А мой-то Степан тебе кто, не зять?

Петрос (*в сторону.*). Извелика честь. (*Громко.*) У нас насчет этого свои соображения.

Магдалина возвращается со стаканом воды.

Мезбуро. Какие, любопытно?

Карасов (*заплом выпив стакан*). Благодарствую! (*Петросу.*) Как ты говоришь? Свои соображения? Что это еще за разговорчики, сват?

Петрос. Я очень просил бы вас с сегодняшнего дня пореже упоминать о нашем родстве.

Карасов. Как это, пореже? Это еще что за новости?

Магдалина. Петя, Петя, что с тобой? Что ты говоришь?

Петрос. То, что ему давно надо было сказать. (*Карасову.*) Твой сын всегда отравлял жизнь моей дочери. А своим последним поступком он ее окончательно обесчестил.

Магдалина. Петя, Петя!

Петрос. Не вмешивайся! Помолчи!

Карасов (*окончательно вне себя*). Что ты сказал такое? Что ты сказал? Ты отказываешься от родства со мной?! (*Угрожающе приближается к Петросу.*)

Петрос (*отступая*). Убери свой бурдюк подальше! Я не отказываюсь от родства, но не намерен поддерживать слишком близкие отношения с отцом преступника.

Карасов. Роман Сергеевич, ты слышишь? Скажи ему! Я лопну! Честное слово, лопну!

Мезбурров. Петр Иванович, в своем ли ты уме? Может быть, с левой ноги встал?

Петрос. В своем уме, не пьян и не сплю. Что он мне сват — не отрицаю. Но у меня есть теперь другой сват, поважней его.

Карасов. Магдалина Герасимовна! Магдалина Герасимовна! Умоляю! Скажите вы ему! Я не могу! Лопну! Уф!

Магдалина. Напрасно, Петя, ты завел речь об этом, но раз уж заговорил, то говори до конца.

Петрос. И скажу. Изволь, Карп Спиридонович. Не сегодня-завтра мы уезжаем из этой страны и берем нашу дочь с собой.

Карасов (*задыхаясь от бешенства*). С собой? Вы... вы... Куда?.. За... за...

Петрос. В Америку. К нашим новым родственникам.

Мезбурров. Кто же это ваша новая родня?

Петрос. Моргана знаешь, миллиардера, короля всех банкиров? Он.

Карасов. Мор... ган? Фу... ффф... (*падает в кресло.*)

Мезбурров. Нет, правда?!

Петрос. Не ожидали? На днях мой сын Жорж сочетается законным браком с дочерью сестры Моргана, миссис Алисой Джеральд. (*Карасову.*) Понял теперь? (*Горделиво прошелся по комнате.*)

Карасов уставился на него бессмысленным взглядом, широко раскрыв глаза.

Магдалина. Да. Вот так. (*Надменно смотрит на Мезбурова.*)

Звонок.

Петрос. Посмотри, пожалуйста, кто там. Если кто чужой — скажи, чтобы потом.

Из левой двери в глубине входит Арташес, заметно возбужденный.

Арташес. А Жорж где? Дома?

Петрос (*весело*). Уехал, Арташес, уехал!

Арташес. Вовремя спасся, значит.

Магдалина. От чего спасся?

Арташес. От тюрьмы, простофилюшка ты моя.

Карасов (*злорадно*). Ага! Вот! Вот вам ваш сынок!

Магдалина. Петя, что он такое говорит?!

Петрос. Слушай его больше!

Арташес. Опомнись ты наконец, чудак! Послушай меня. Жорж выдал одному ростовщику вексель на пятнадцать тысяч франков. Тот сегодня предъявил его, и оказалось, что вексель «липовый», ничем не обеспеченный. Этот тип, конечно, сейчас же сообщил куда следует, и теперь полиция разыскивает вашего Жоржа, как злостного неплательщика. Наверно, скоро пожалуют сюда. Он вовремя улизнул.

Магдалина. Это ложь! Он не улизнул, а уехал в Америку!

Петрос. Да-с! В Америку! Чтобы обвенчаться с племянницей самого Моргана!

Арташес (*в раздражении*). Какая там Америка! Какой там Морган! С ума вы, что ли, посходили? В Америку он поедет, когда у него будут деньги. А сейчас ему карман не позволит бежать так далеко.

Петрос (*высокомерно*). Отвяжись ты от меня, пустозвон! Всегда у тебя язык был, как у змеи, таким и остался.

Магдалина. Петя... А мне сердце говорит, что Арташес сказал правду.

Входит Лидия с голубым конвертом в руке.

Лидия. Мало одного, теперь другой еще! На, папа, прочти. (*Дает конверт*.)

Петрос. Что это?

Лидия. От Жоржа. По пневматической почте.

Все с любопытством окружают Петроса.

Петр ос (надев очки, читает). «Дорогая Лида! У меня не хватило мужества признаться родителям в моем преступлении, и я опять их бессовестно обманул. Прошу тебя, передай им, что никакой невесты у меня нет и еду я совсем не в Америку. Сам не знаю — куда. Знаю только, что надо избежать ареста. Меня ищет полиция из-за одного моего глупого поступка. Вы об этом, конечно, услышите и без моего письма...» (*Бессильно опускается в кресло, выронив из руки маленький голубой конверт.*)

Магdalina. Боже мой! (*Садится на стул.*)

Лидия. Какойстыд! (*Закрыв лицо руками, выбегает из комнаты.*)

Артешес. Я, собственно, ничего другого от этой скотины и не ждал.

Карасов и Мезбуров (*вместе*). Сват Моргана! (*Раскатисто хохочут.*)

Занавес.



МЕМУАРЫ





В ГОРНИЛЕ ЖИЗНИ

Часть первая

на чужбину



ать в последний раз обняла меня, поцеловала и сказала:

— Ну, в добрый час! Желаю тебе счастья в жизни.

Отец не поцеловал меня. Этот человек, молчаливый и замкнутый, никогда не выражал своего отеческого чувства лаской. Но, взглянув на его мрачное, мужественное лицо, я почувствовал, что и его печаль была глубока. Да, только жестокая нужда заставила отца бросить своего единственного сына в пучину неизвестности, зная, что для таких испытаний у него нет никакого опыта.

Я направлялся в страну, куда в последнее время в поисках счастья потянулось множество народу. Умственный и физический труд человека там стал цениться, как рыночный товар, и сделался предметом эксплуатации.

Я не рассчитывал на счастье, я не пытался нажить богатства или составить себе имя. Я шел туда, чтобы заработать только на хлеб насущный для матери и двух сестер. Неожиданное разорение отца сбросило нас с мягких ковров относительного благополучия на жесткую землю.

К борьбе за существование я совершенно не был подготовлен. Для этой борьбы я не владел никаким орудием, кроме молодости и железного здоровья. Мечтал я только об одном — заработать на пропитание, чтобы не сидеть больше на шее отца. Единственное и страстное желание — продолжать образование — было похоронено в тот день, когда отец сказал мне: «Сын мой, образование дело хорошее, когда родители что-нибудь имеют, у твоего же отца теперь нет ничего за душой».

Высвободившись из материнских объятий, я отер с ее лица горючие слезы и сел в коляску.

Коляска? Нет, это был просто большой молоканский фургон, набитый всяческой кладью до самого сводчатого верха. Я взобрался на огромные тюки и постарался там устроиться поудобней. Кроме меня, ехали еще виноторговец, собиравшийся открывать в Баку винный погреб, полная и красивая женщина, одетая в шемахинский наряд, с сыном-подростком, похожим на мать.

Уместившись поудобнее на козлах, возница-молоканин присвистнул и взмахнул длинным кнутом. Сперва, вытянув шею, рванул кореник, за ним потянули пристяжные, и фургон заскрипел и загрохотал, точно рушился большой дом.

Мы отъехали уже довольно далеко, а родители мои все еще стояли на том же месте. По вздрагивающим плечам матери было заметно, что она не переставала плакать. Из-под длинных откидных рукавов чохи к небу поднялись руки отца и тотчас же опустились. Благословляли ли он мой путь или проклинал свою судьбу — я не знаю. Но я чувствовал, что сдерживаемые в моем присутствии слезы теперь, очевидно, текут и по его лицу.

Я не переставал оглядываться назад, словно ссыльный, навсегда разлучающийся с близкими, не надеющийся уж когда-либо увидеться с ними. За фургоном вилось облако легкой пыли, которую лучи заходящего солнца окрашивали в золотистый цвет. И когда в этой пыли исчезла остроконечная папаха моего отца, невыразимая грусть овладела мною.

Я окинул прощальным взором родные места, где протекли мое невеселое детство и полная преждевременных горестей юность.

Злополучный и все же такой пленительный город! Последнее землетрясение не оставило в нем камня на камне, и тем не менее он был красив, напоминая красавицу, одетую в лохмотья. Его развалины выглядывали из-за бесчисленного множества тополей, лип и тутовых деревьев, как стены величественных средневековых крепостей. Уцелевшие части разрушенных церквей и мечетей походили на великолепные башни, в которых, казалось, сидели в заточении легендарные красавицы, обреченные на трагическую участь. Все утопало в потоках лучей предзакатного солнца.

Издали донесся вечерний звон, и почудилось мне, что эти звуки шли с неба,— так приятны и мелодичны были они. С минарета полуразрушенной мечети послышался азан¹ моллы. На багряном небосводе его темный силуэт походил на огромную птицу, неподвижно застывшую с распростертыми крыльями. Приложив руки к ушам, произительно высоким голосом молла призывал верующих к вечернему намазу, к молитве и славословию все-вышнего.

Удивительное противоречие человеческой мысли и природы! Приписывая богу ужасные бедствия, постигшие их, люди все же продолжали его чтить, и тем усерднее, чем больше страданий испытывали они.

Но вот затих колокольный звон. Постепенно ослабевая, замер голос муэдзина². Стягивая с полей и долин золотистую пелену, солнце скрывалось за сизой далью гор.

Прощай, мой родной, любимый край! Прошло уже полвека, как я расстался с тобой, и, кто знает, посчастливится ли мне когда-нибудь увидеть снова твой милый образ, который так же светел в моей утомленной памяти и так же печален, как светла и печальна была моя молодость!

Съежившись между двумя бочками с вином, я, как несправедливо наказанный ребенок, старался сдержать слезы. Но напрасно. Скоро мои горькие рыдания слились с грохотом фургона и посвистами возницы. Казалось, с этим колокольным звоном, с этими последними лучами

¹ Азан — призыв к молитве.

² Муэдзин — служитель при мечети у мусульман.

солнца что-то дорогое отрывалось от меня, проваливалось во мрак неизвестности, умирало навсегда.

Человеку не найти больше безмятежного счастья после того, как он лишился родительской ласки. Что пользы в том, что теперь я свободен и самостоятелен? Передо мною было неопределенное будущее. Что готовит мне судьба и кто будет защищать меня в жизни?

С глазами, полными слез, я еще раз оглянулся назад. Тьма уже поглотила полуразрушенный город, окружающие его горы и долины. Небо разукрасилось звездами.

И вот тогда-то я впервые задумался над своим коротким семнадцатилетним прошлым, и опо ясно предстало предо мной.

Мне было шесть лет, когда я, не спросясь родителяй, побежал в школу нашего соседа-варпета¹ Саркиса. Там учились некоторые мои сверстники, от которых мне не хотелось отставать, хотя я не представлял себе тогда разницы между улицей и школой.

Саркис, между прочим, возглавлял в нашем городе протестантов. Это был приветливый старик, высокого роста, бодрый, всегда улыбающийся. Когда он проходил по улице, я испытывал странное удовольствие, глядя на его добреое лицо, обрамленное белой бородой. Мне казалось, что он питал особую любовь к детям, хотя у него самого детей не было,— он был холост. Его уважали все, даже не протестанты.

К счастью, когда я отправлялся к Саркису, отца моего не было в городе. Иначе он, несомненно, наказал бы меня за мой самочинный поступок, тем более, что он вообще недолюбливал протестантов, называя их «отродьем Иуды».

— Ты зачем пришел? — спросил варпет Саркис, ласково погладив меня по голове.

— Хочу научиться читать и писать,— ответил я с необычной для моего скромного характера смелостью.

— Тебя родители послали ко мне?

¹ Варпет — учитель, мастер.

— Да,— соврал я, боясь, что не буду принят, если скажу правду.

— Вот молодчина. Значит, с сегодняшнего дня ты мой ученик. Как тебя звать?

— Александр.

— А, знаю, ты — сын уста² Минаса. Скажи родителям, что я буду любить тебя, как родного сына. Вот, видишь, все эти ребята — мои дети.

Мать удивилась моему поступку, но не стала противиться. Больше того, она даже была польщена тем, что ее сын по собственному желанию хочет выйти в люди. Сама она хоть и была неграмотна, но понимала, что значит учение.

— Это хорошо, — сказала она, — научишься грамоте, не придется нам просить других читать письма твоего отца. И мои письма к нему тоже будешь писать ты.

В тот же день она без колебаний купила мне букварь и сшила из шелка красивую сумку для школьных принадлежностей.

Спустя несколько месяцев отец вернулся из Кубы, где он проводил большую часть года. Когда мать рассказала ему о моем поступке, он, разумеется, рассердился на меня, но не так сильно, как я ожидал. Он строго наказал мне учиться у Саркиса лишь грамоте и совсем не слушать его «эретических проповедей». Когда же я, воодушевившись, достал букварь и прочитал ему несколько строчек, он смилиоствился окончательно. Было ясно, что и он, будучи сам неграмотен, понимал значение ученья.

На следующий день, провожая меня в школу, он сказал:

— Иди, уж лучше сидеть в школе, чем болтаться по улицам со всякими шалопаями.

Затем, обращаясь к матери, добавил:

— Ну, что ты скажешь, Сона? Чего доброго, этот щенок и нас научит грамоте! Хотя пусть лучше сестер спачала обучит, а потом уж нас.

— Я и девочек хочу отправить в школу, — заметила мать.

— Девчонок нужно послать к монахине. Не годится им вместе с мальчиками сидеть, — и отец так сверкнул

² Уста — мастер.

своими голубыми глазами, что мне вдруг стало страшно за мать, хотя отец никогда не поднимал на нее руки. Вообще, он не был так суров, как о нем можно было подумать. Очевидно, таким он казался из-за чересчур высокого роста и вечно хмурого лица.

Я пробыл в школе Саркиса-варпета не то полтора, не то два года. Помню тот счастливый день, когда родители, по совету родственников, перевели меня в епархиальное училище. Но там мне не пришлось задержаться надолго — отец хотел, чтобы я скорее изучил русский язык. Он говорил:

— С армянским языком далеко не уедешь. Если не хочешь сделаться священником или архимандритом, то учись русскому. Как научишься, отправлю тебя в Москву, будешь сам продавать Морозову марену, а то этот мошенник Мордухай каждый год обжуливает меня, запутывает все расчеты.

Меня перевели в городскую школу, и я был счастлив, что научусь говорить по-русски, как наш сосед, пристав Микаэл-бек Авшаров. Конечно, я не мечтал стать приставом или чиновником. Отец сулил мне более счастливое будущее. Он говорил:

— Миром нынче управляет купец. А поступиша на царскую службу, так всю жизнь и останешься слугой, будешь гнуть спину перед начальством.

Бедняга! Он не предполагал тогда, что спустя несколько лет разорится и познает самую беспроблемную нужду.

Да, ни детство мое, ни отрочество не были отмечены счастьем! С того самого дня, как я научился ходить, я познал уже горечь жизни. Среда, в которой я родился, была такова, что в ней могло задохнуться существо даже менее чувствительное, чем я.

Мать моя была воплощением кротости. Восхитительная, красивейшая женщина, она безропотно переносила все удары судьбы. Отец мой был настолько же суров с виду, насколько добр в глубине души. Меня, своего сына, они любили и лелеяли, и поэтому мне не приходится жаловаться на них. Источником моих детских и отроческих невзгод была среда, в которой я жил, а также и то, что я видел и слышал не только вне дома, но и в кругу домашних. Душевный покой моих родителей парулся

строптивым нравом и необузданным поведением моего дяди. Этот человек был злым духом нашей семьи, настоящей обузой для всей родни. Насколько отец мой был трудолюбив,держан, застенчив и верен требованиям чести, настолько его младший брат был необуздан и подвержен различным порокам. Он терпеть не мог работы, но зато любил пользоваться благами жизни, которые для него заключались в карточной игре, пьянстве, разврате. Не проходило дня, чтобы я не был очевидцем его стычек с моим отцом, его возмутительных требований и площадной браны. Он оскорблял не только моего отца — своего старшего брата, но и его неповинную жену, мою дорогоую мать.

Сколько раз, наблюдая ссору двух братьев, я порывался защитить отца, кинуться разъяренной кошкой на скандалиста, выдрать его налитые кровью глаза! Но моя бабушка неизменно становилась на защиту своего непутевого сына, я же обожал бабушку. Несчастная старушка! Я помню твои горькие слезы и надрывающие душу крики, когда твой младший сын хватал за горло старшего и, потрясая кулаками, орал: «Дай денег, пе то укокошу тебя, как собаку!»

Отец мой был на целую голову выше брата и намного сильнее его. Пожелай он, одним ударом свалил бы его наземь. Но он не делал этого, жалея свою мать и стесняясь соседей, которые во время этих перебранок заглядывали в наш двор со своих крыши.

Я и бабушка спали в отдельной комнате. Ночью, когда ее беспутный сын опаздывал, я слышал, как она шептала: «Господи, сохрани его от беды». Видно, материнское сердце предчувствовало, что добром не кончатся эти испытания.

И беда пришла.

Была глубокая ночь. Я давно уже лежал в постели. Бабушка волновалась на этот раз больше обычного, и из-за этого не мог уснуть и я. Чтобы обмануть старушку, я хралел и в то же время украдкой следил из-под одеяла за ее движениями.

Окончив свою обычную молитву, бабушка вытащила из-под матраца сверточки, в котором она хранила горстку почерневших горошинок. Высыпав горошинки на пол, она стала их пересчитывать. Это было ее любимейшее развлече-

ченис, единственное средство заглянуть в судьбу своего бесшабашного сына. Долго ее сухие пальцы собирали и снова рассыпали горошинки. Поглощенная гаданием, она шептала то молитвы, то заклинания. Наконец, собрав горошинки в узелок и откинув его в сторону, она оставила в руке только одну горошинку. Эту горошинку она положила на пол, затем, вынув из-под подушки пачку иголок, трижды перекрестилась и натыкала их вокруг горошинки. Губы ее шептали какую-то молитву. Умилительная наивность! Старушка верила, что иголки, натыканные вокруг горошинки, спасут ее сына от напасти!

Вдруг необычайный грохот нарушил ночную тишину. Бабушка вздрогнула. Я тоже. Вскочив, мы выбежали во двор, думая, что началось землетрясение. Ночь была лунная. На пороге появилась высокая фигура моего отца в одном белье. За ним — моя мать, босая, закутанная в шаль.

Я понял, что это не землетрясение, а какое-то другое несчастье.

Четверо незнакомых людей несли бездыханное тело моего дяди. Он истекал кровью, как бык, пораненный в десяти местах.

— Аман¹, убили моего сына! — нечеловеческим голосом завопила бабушка.

— Он не убит, Цагик-сестра, не печалься,— сказали в один голос четверо незнакомцев.

Они внесли дядю в комнату и положили его на пол.

— Пусть кто-нибудь сбегает за уста Петросом,— распорядился отец.

Одни из незнакомцев сейчас же побежал за единственным в городе и известным всем хирургом. Остальные, стараясь привести дядю в сознание, рассказали нам о случившемся.

А случилось вот что. Выйдя пьяным из кабака, дядя повстречался со своим племянником, сыном старшей сестры. Не знаю почему, но они издавна ненавидели друг друга. Затеялась ссора. Жестоко избив племянника, дядя швырнул его наземь и повернул снова к кабаку. Племян-

¹ Аман — восклицание.

ник же кинулся домой, схватил кинжал и, нагнав дядю, нанес ему в спину несколько ран.

— Проклятая тварь! — закричала бабушка. — Да за такие дела я сама распорю ножом чрево его матери!

Явившийся хирург перевязал раны, и дядя, очнувшись, неизвестно за что ругнул несколько раз моего отца. Возмущенный этим, я про себя пожелал ему смерти.

Месяца два дядя промучился в постели. Бабушка не отходила от него, взяв на себя все заботы о нем. За время болезни дядя как будто остынился и вел себя спокойнее. Когда же он начинал жаловаться на боль, бабушка стыдила его.

— Вот погляди, — говорила она, обнажая свой бок и показывая длинный, глубокий шрам, — моя рана была не меньше твоей, но я, женщина, не стоала, как ты. Стыдись!

Нужно сказать, что бабушка моя была замечательно крепкого телосложения — высокая, широкоплечая. Рана ее имела свою историю. Однажды ночью на дом ее дочери напали разбойники. В ту ночь бабушка случайно заночевала у дочери. Было очень жарко, и они спали на балконе. Проснувшись от шума, бабушка храбро встретила разбойников. Трех из них она сбросила с балкона, а четвертый, ранив ее кинжалом в бок, успел убежать.

После этого случая моя бабушка прослыла геройней. Ее называли «грозой разбойников».

Не прошло и нескольких месяцев после того, как дядя встал с постели, и он снова учил дебош с подобным себе головорезом и был вторично ранен. На этот раз рана оказалась смертельной. Промучившись семнадцать дней, дядя умер. Впечатление от крови, сочившейся из его ран, мучило и преследовало меня даже во сне. С тех пор без содрогания я не могу видеть кровь.

После трагической смерти дяди несчастья последовали одно за другим. В 1872 году землетрясение почти до основания разрушило наш дом, и мы были вынуждены всей семьей ютиться в кухне и конюшне, которые каким-то чудом уцелели. Затем, спустя несколько месяцев, умерла бабушка, что для меня было большой потерей. Вскоре умер мой четырехлетний брат Габриэль, к которому я был сильно привязан. Наконец, последовало неожиданное разорение отца, — и мы оказались нищими.

Окончив городское училище, я был вынужден заглушить в себе огромную тягу к дальнейшему образованию и стал искать работу. Но какую работу можно было найти в полуразрушенном городе, где не было ни промышленности, ни сколько-нибудь значительной торговли?

Один из наших соседей, имевший в городе склад соли, взял меня к себе на работу весовщиком. Я с радостью ухватился за это дело и даже не догадался договориться с ним о жалованье. Проработав же больше года, я не получил от него никакого вознаграждения, кроме мозолей на руках. От него я перешел писарем в местную полицию, опять-таки без жалованья. Правда, мне обещали, что после ухода или в случае смерти старшего писаря я получу его должность. Но тот, будучи еще очень молод, не собирался ни умирать, ни отказываться от своей должности. Прослужив восемь месяцев и потеряв всякую надежду получить платную работу, я оставил эту службу.

...Я весь ушел в эти воспоминания. Вдруг ласковый голос моей красивой попутчицы отвлек меня от мыслей о прошлом.

— Поменьше думай, сынок, не кручинься, ведь мы едем в Баку — это город получше нашего.

— Там есть море. Знаешь, море?! — прибавил ее сынушка. — Правда, дядя Баласи, Баку чудесный город? — обратился он к виноторговцу.

Дядя Баласи собирался ужинать. Это был тощий, долговязый мужчина с большим носом и очень густыми усами, совершенно закрывавшими его рот.

Прежде чем ответить на вопрос, он извлек из своего хурджина огурцы, крошечный сыр, копченую рыбу, яйца, зелень, бурдючик вина и пригласил нас принять участие в вечерней трапезе. Мне не хотелось есть, мальчик тоже отказался, красавица же после долгих уговоров согласилась взять с кончика ножа предложенный ей кусочек огурца. Только тогда дядя Баласи, откашлявшись и обтерев цветным платком усы, сказал на шемахинском наречии:

— Ты о Баку спрашиваешь, сынок? Баку не город, а чудо! Даже в Индии, даже в Китае не сыщешь такого города.

Осушив стакан вина, он снова обтер усы и продолжал:

— С одной стороны — вода, это море; с другой стороны — огонь, это сураханский газ; с третьей стороны — нефть, это Балаханы — Сабунчи. Вода, газ, нефть, а посередине сидит, словно на корточках, Баку. Не город, а прелесть!

— А море большое? — спросил подросток.

— Бесконечное!

— Сколько кувшинов воды будем в нем? — заинтересовался Степан — так звали мальчика.

Отправив в рот большой кусок сыра, дядя Баласи поднял нож.

— Как тебе сказать, сынок, — произнес он, — если скажу тысячу — мало, десять тысяч — мало; тут о тысячах тысяч надо говорить!

Затем он стал описывать нефтяные промыслы, заводы, дым, пыль, тучи мошкеры, рассказывал об огромных крысах, о высоких домах, широких улицах, больших магазинах, о богатстве города. При этом он не переставал есть, украдкой кидая взгляды на попутчицу, которая, вопреки обычаям, и не думала закрывать шалью свое красивое лицо.

Когда дядя Баласи глотал, кадык на его худой шее то выступал, то исчезал, точно головка птенца, выглядывающего из гнезда.

Наступила ночь. Фургон наш остановился на станции. Возница отвел нас в один из молоканских домов, а сам пошел покормить лошадей. К моему удивлению, он не жаловался на то, что дорога трудна, что лошади устали и что он умирает с голоду, как это обыкновенно делали ямщики армяне и азербайджанцы, проехав каких-нибудь три-четыре версты.

Я был так разбит тряской фургона, что у меня болело все тело. Растигнувшись на голой деревянной скамье, я моментально уснул. Всю ночь снились мне вода, огонь, нефть, мошкера, крысы и большой кадык дяди Баласи.

Восток уже алел, когда меня разбудил Степан.

— Иди-ка сюда, — торопил он, — посмотри на дядю Баласи!

Я вышел во двор. И что же я увидел? Широкие полы длинной чохи дядя Баласи заткнул за пояс, к которому был подвешен кинжал с серебряной рукояткой. На плече — кремневое ружье с парой железных рогов на конце.

Такие «рогатые» ружья я часто видел в нашем городе. Смельчаки, охотясь на крупного и опасного зверя, ставили ружье на рога, воткнутые в землю, чтобы при выстреле оно не шаталось.

Выражение лица у дяди Баласи было таинственное и многозначительное. Нахмурив брови и положив правую руку на рукоятку кинжала, он глядел вдаль, точно ждал оттуда бури.

— Что случилось? — спросил я.

— Тсс.. Говори тише, дядя Баласи сердит, — прошептал Степан. Затем, наклонившись к моему уху, добавил: — Говорят, по дороге могут встретиться разбойники.

Я сначала было испугался, но любопытство быстро побороло страх. Мне так много приходилось слышать про разбойников, что теперь не терпелось поскорее увидеть хоть одного из них, даже если бы нам угрожало ограбление.

Фургон двинулся дальше. Дядя Баласи, сохраняя серьезный вид, сделал нам знак следовать за ним пешком. В фургон села лишь красавица. Дорога вся была изрыта ухабами, так что идти приходилось по ее обочине.

Aх! Уж не видать зеленых кустов родного края, долин и лужаек, разукрашенных цветами, студеных родников, не слышно пения птиц! Справа и слева лишь мрачные, голые холмы, песчаные равнины, соленые озера, высохшие и белые, точно покрытые снегом, поля. По мере того как мы приближались к Бакинскому уезду, все больше оголялась местность, исчезала растительность, небо теряло свою синеву.

Я и Степан следовали за дядей Баласи, как охотничьи собаки. А он, не отнимая руки от кинжала, то всматривался вдаль, то оглядывался, озирался по сторонам. Перед нами катился фургон, легкий ветерок развевал белое полотнище, покрывавшее его кузов. По временам красавица, высунувшись из фургона, смотрела на нас, посылая сыну нежную улыбку. Дядя Баласи, очевидно, полагая, что улыбки относились также и к нему, начинал подкручивать свои длинные, как ячменный колос, усы, стараясь, насколько возможно, выпятив свою тощую грудь. И в эту минуту он представлялся мне одним из героев тех сказок, которые рассказывала бабушка.

А разбойников все не было. Ямщик не переставал посвистывать, спокойно и беспечно помахивая длинным кнутом. Его спокойствие ободряло нас, юнцов. Живой и бойкий, Степан, который был лет на пять моложе меня, с ревностью горной козы прыгал через чертополох, насыщая и напевая. А его мать все улыбалась счастливой улыбкой. Дядя же Баласи сердился на Степана, наказывая не отходить далеко от фургона.

— Вся надежда твоей матери на меня,— говорил он.— Если с тобой случится что-нибудь, мне придется отрезать свои усы¹.

Вдруг фургон остановился. Вскинув ружье, дядя Баласи побежал вперед, посмотрел по сторонам — ничего. Оказалось, что просто кучер решил дать лошадям передохнуть. Подойдя к фургону, дядя Баласи сказал нашей попутчице: «Бесценная ханум, пока я здесь, не бойся ничего!» Потом снова перекинул ружье за плечо и положил руку на рукоятку кинжала. При этом он продолжал хранить таинственную серьезность, запечатлевшуюся глубоко в моей памяти.

Но ни в этот, ни на следующий, ни на третий день мне не посчастливились увидеть разбойников.

По дороге часто встречались верблюды, навьюченные бочками с керосином, который они везли из Баку в Шемаху. И каждый раз, завидев их издали, дядя Баласи почему-то забрасывал ружье в фургон, прятал свой кинжал под полу чохи и на время терял бравую осанку.

На четвертый день, к полудню, мы стали приближаться к Баку. С подъема к Волчьим Воротам открылся вид на море. Подобрав с дороги две какие-то косточки, дядя Баласи протянул одну мне, другую Степану.

— Подержите в зубах,— сказал он.

— А зачем?— полюбопытствовал я.

Дядя Баласи объяснил, что те, которые впервые видят море, должны подержать во рту кость, чтобы не утопнуть во время купания. В свои семнадцать лет я был так паничен, что поверил этой шутке дяди Баласи.

Ну, вот и море! Вот наконец и Баку с его плоскими

¹ В старое время усы считались для мужчин символом чести. Отрезать усы значило лишиться чести. (Прим. автора.)

крышами, мачтами кораблей, промысловыми вышками и дымом заводов!

Странная грусть овладела мною. Когда мы спускались к городу, мне казалось, что я влезаю в огненную пасть, в которой мне суждено вечно мучиться в густом дыму и копоти.

Я простился со своими попутчиками. Так как мне не придется с ними больше встретиться, то я позволю себе здесь сказать о них несколько слов.

Спустя много лет я узнал, что дядя Баласи сложил о нашем трехдневном путешествии целую героическую эпopeю. По его словам, в пути нам пришлось иметь дело с двенадцатью разбойниками. Семеро из них были верхом, пять пеших, один хромой, другой одноглазый, и так далее... Но, конечно, храбрость дяди Баласи и его неукротимое желание пленить сердце нашей прекрасной попутчицы преодолели все напасти.

Спустя семнадцать лет я как-то встретил эту милую женщину в Баку. Как она изменилась! Медленной поступью выходила она из церкви после воскресной обедни. Черная шелковая шаль покрывала ее голову. Я не узнал ее. Проходя мимо меня, она остановилась.

— Вы не сын ли Мишаса?

— Да, я сын Минаса. А вы кто?

— Мать Степаника, помните? Мы вместе ехали в Баку,— ответила она и вдруг разрыдалась.

Я понял, что женщина эта пережила какое-то большое горе. Бедная! От былой ее красоты, за исключением прекрасных глаз, не осталось следа. Я вспомнил ее веселого, бойкого сынишку, и страшное опасение проникло в мое сердце.

— Степан... — начал я и осекся.

Отирая слезы, несчастная мать рассказала мне все. Окончив реальное училище, ее сын поступил на службу на нефтяные промысла. Благодаря содействию родственников он быстро разбогател. Но дурная среда погубила его. Он заразился ужасной болезнью и, промучившись пять лет, сошел с ума и умер.

Я молча поцеловал руку несчастной матери и поторопился уйти, чтобы рассеять тягостное впечатление от этой неожиданной встречи.

МОЙ ОПЕКУН

В Баку, на время, пока определится мое положение, я остановился у тетки Мариам Абелян. Надо сказать, что именно ее сын, Нерсес, подбил меня на переезд в Баку.

Безгранично добрая и чуткая, тетка Мариам стала для меня на чужбине второй матерью. Помню, как ласково прижала она меня к своей худой груди. К се пяти детям присоединился я, шестой. Спустя много-много лет в печальный осенний день посетил я ее могилу: Мариам была похоронена рядом с мою матерью. И горе, вдвойне тяжелое, овладело мною. Люди лишь раз теряют мать, я же потерял ее дважды.

Моей судьбой должен был заняться Акоп Бабаханян, мой дядя по матери. Другого покровителя у меня не было. Хоть он и был всего лишь портной, но имел множество друзей и пользовался всеобщим уважением, как честный человек и прекрасный товарищ.

Было решено, что я устроюсь на службу в качестве писаря в какую-либо частную контору или в государственное учреждение, поскольку за время моей службы в шемахинской полиции у меня выработался довольно хороший почерк. Для проверки моих способностей дядя всел мне как можно старательнее что-нибудь написать и дать ему. Я подложил под лист бумаги трапезарант и с большой тщательностью переписал одну из страниц руководства по чистописанию.

— Вот молодчина, точно жемчуг нанизываешь! — восхликал дядя, увидев написанную мною страницу. — Я уже говорил о тебе с Амбарцум-беком, он занимает большую должность в губернском присутствии.

Баку пленил меня. Я по целым дням бродил по его улицам и чахлым скверам. Но больше всего мне нравилась набережная. Часами простоявал я на пристани, любуясь морем и сновавшими по его поверхности лодками и кораблями.

Все для меня было здесь ново, все меня удивляло и привлекало, казалось каким-то сном. Я глядел на лодки, скользившие бесшумно, точно лебеди, надутые паруса судов, уходивших в море, — они напоминали ястребов, распростерших крылья под светлым небом моей родины, — и мысли мои упосились далеко-далеко, в неведомые стра-

ны, где люди с детских лет не видят мучений и смерти близких и где все одинаково счастливы. Наивные мечты юности, которые так безжалостно разбивала жизнь!

Я завидовал всем, кто сидел в лодках, и в особенности уезжавшим на пароходах. Мне казалось, что уезжающие жалели остающихся, в том числе и меня, как обойденных судьбой. Я завидовал даже работавшим на судах, на грязных палубах, хотя их руки были выпачканы нефтью и копотью. Что с того, что они изнемогают под тяжестью ярма? Зато у них есть безбрежное море с его тайнами и красотами далеких стран! А бесчисленные стаи чаек, которые с криком садятся на крестообразные мачты судов,— разве и они не счастливее меня?

Однажды группа учеников реального училища отправлялась куда-то на пароходе. Стоя на набережной, я следил, как медленно отчаливало судно, как длинная железная цепь, подобно чудовищной змее, вытягивала из воды якорь. Ученики запели веселую песню. Все они были моих лет, все они были веселы и жизнерадостны, а я познал уже тягость жизненных забот, и у меня сжалось сердце, глаза наполнились слезами, на миг закружилась голова. Будь я смелее и глупее, я, быть может, в этот момент даже бросился бы в море.

Однако мне нужно было спешно искать работу; в надежде на это я каждый день заходил к дяде, не на дом, а в его мастерскую, потому что жена его была очень неприветливой женщиной и никого из родственников мужа не любила.

Мастерская дяди находилась недалеко от набережной, в узком проходе полуразрушенного караван-сарая. Заходя туда, я садился, поджав под себя ноги, клал рядом свои чусты¹ и, как персидский торговец пряностями, безучастно глядел на прохожих. По временам я дремал, как это подобает безработному на Востоке.

Дядя мой был весельчак и балагур. Он не изменял своему характеру даже несмотря на ежедневные стычки с женой. Как и все портные, он не прочь был иной раз и пофилософствовать, поговорить о жизни, о людях. Я хорошо помню его короткие, густые усы, толстые, румяные щеки и черные глаза, полные иронии. Он умел высмеять

¹ Чусты — башмаки.

вать и людей и жизнь. Иное небрежно брошенное им слово было так же колко, как острье его иглы.

Любил он иногда выпить с друзьями стакан-другой вина и спеть «Поднимем чаши, друзья», но не во славу всемогущего Бахуса, а для того, чтобы в сумрачном, шумном Баку вспомнить цветущие шемахинские долины, ее студеные ключи. Дома он не принимал гостей — и все из-за своей негостеприимной жены,— и сам ни к кому в гости не ходил.

В этом полном, жизнерадостном человеке мне особенно нравилось, что он никогда не читал нравоучений. В моих глазах это было огромным достоинством, так как всякий, знаяший моего отца, даже известный пьяница Мушкенц Алексан, считал своим священным долгом давать мне наставления.

Дядя лишь говорил мне:

— Ты уже взрослый, раскрой пошире глаза — поглядывай да разумей. От дурного отворачивайся, с хорошего бери пример.

А пищи для наблюдений и размышлений было много. И все, все впечатляло меня, как только что продравшего глаза котенка. Двери мастерской моего дяди были всегда открыты, и каждый, проходя мимо, останавливался, чтобы перекинуться с ним словом, шуткой. Один из посетителей, с которым мой дядя особенно охотно шутил и выпивал, вскоре стал моим другом и покровителем. Это был исключительно подвижной человек, со стремительными движениями и речью,— его называли Каркут-Гаспар. Странная была у него внешность. Черная как уголь борода начиналась прямо у глаз и закрывала все лицо и шею. Волосы, спускаясь на узкий лоб, почти сливались с густыми бровями. Из больших ушей также выглядывали пучки волос. Словом, если б не сверкающие глаза и белые зубы, то можно было принять его голову за клубок шерсти.

Главным занятием Каркут-Гаспара было посредничество — он фрахтовал пароходы под грузы. Кроме того, он промышлял и другими делами: скупал у матросов привозимые из Ирана сушеные фрукты и апельсины и наживался, перепродавая их мелким лавочникам. Иногда можно было видеть его направляющимся к пристани с ящиком стекла на плече — это он спешил на какой-нибудь

пароход вставлять стекла. Каркут-Гаспар проходил по крайней мере раза два на день мимо мастерской дяди и всегда останавливался, сообщая какие-либо новости с моря или с суши. Говорил он так быстро, что слова, точно град, сыпались на собеседника. Сам он никогда никуда не ездил, но знал все, что творилось на Каспийском море и его пристанях, от Баку вплоть до Ирана и Туркестана.

Впервые обратив на меня свое благосклонное внимание, Каркут-Гаспар спросил:

— Чей это парень?

— Мой сестры,— ответил дядя.

— Недавно приехал?

— Да.

— Для чего?— полюбопытствовал Гаспар, ставя свой ящик со стеклами на стол.

— На заработки.

Не задумываясь, Каркут-Гаспар тотчас же посоветовал мне поступать на морскую службу.

— Ты что, хочешь, чтоб он стал матросом?— спросил дядя, иронически улыбаясь.

— Нет, торговым агентом. Будет записывать товары на пароходе,— объяснил Каркут и пообещал подыскать мне службу на одном из лучших пароходов.

— Спасибо,— сказал с обычной своей усмешкой дядя.— Ты дай нам пока что обосноваться на суше, а затем уже мы подумаем, как завоевать нам море, хоть до самой Индии.

Но я не был согласен с дядей. Море казалось мне раем, и потому я был в восторге от предложения Каркут-Гаспера. Я сразу же привязался к этому человеку, и когда он, положив на плечо свой ящик, вышел, я побежал за ним и, с трудом догнав его, спросил:

— Дядя Гаспар, так ты в самом деле можешь найти мне службу на пароходе?

Он снисходительно улыбнулся, давая мне понять, что для него это сущий пустяк.

— Плавать-то умеешь?— спросил он.

— Нет, не умею.

— Так ты научишься, а остальное легко, очень легко,— сказал Гаспар и, переложив ящик на другое плечо, зашагал дальше.

Его обещание сразу придало мне бодрости. Я поверил

в его могущество. Мне казалось, что для человека, который говорит и ходит так быстро, не может быть ничего невозможного в жизни.

Я решил научиться плавать, хотя страшно боялся войти в воду. Мне приходилось слышать, что полным не трудно научиться плавать, а так как я был тогда довольно упитанным, то решил не откладывать это испытание.

Однажды в купальнике я попробовал выпустить канат, надеясь, что, как и другие, останусь на поверхности воды. Но тотчас же меня потянуло ко дну. К счастью, близко находилась лестница, за которую я уцепился и благополучно выбрался на берег.

Дальнейшие мои попытки в этом направлении оказались столь же неудачными. Так я и не научился плавать.

При каждой встрече с Каркут-Гаспаром я напоминал ему о его обещании. Он же не только не отказывался от своих слов, но еще более обнадеживал меня, уверяя, что в мире моряков для него нет ничего невозможного. При этом никогда не забывал спросить:

— Плавать-то научился, плавать?

— Да,— солгал я однажды, стыдясь признаться в своей неудаче.

— Молодец! — похлопал меня по плечу своей волосатой рукой Каркут-Гаспар.— Теперь одежду, одежду перемени.

Он хотел сказать, что моя одежда была неподходящей для моей будущей должности. Дело в том, что я приехал в Баку в шемахинском костюме — в архалуке, чохе, чустах, в папахе, сшитой из бухарской мерлушки. Всякую другую одежду мой отец терпеть не мог и тех, кто надевал ее, называл «охкабазами»¹.

Однажды дядя, посмеваясь, спросил меня:

— Ну, что говорит Каркут, нашел он тебе работу на пароходе?

Мне стало стыдно, что я утаил от дяди свои переговоры с Гаспаром.

¹ Охкабазами назывались мальчики-плясуны, которых содержали при себе восточные музыканты. На свадьбах и всяких пиршествах эти подростки, наряженные в специальные наряды, тешили собиравшихся своими плясками. Охкабазы пользовались дурной репутацией. Поэтому назвать кого-либо охкабазом означало нанести большую обиду.

— Тебе виднее,— продолжал он, не получив от меня ответа,— знай только, что Каркут большой врун и хвастун.

Это меня очень огорчило, потому что моя вера в Каркута была вслика. Особенno его авторитет поднялся в моих глазах накануне, когда я увидел его дружески беседующим с двумя матросами. Но, увы, на следующий день этот авторитет сильно упал. Вот как это было. Я проходил по набережной, все время воображая себя на море и уносясь мечтами в неведомые края. Навстречу мне шел Каркут-Гаспар. Держа под мышкой пару копченых рыб, он направлялся домой. Я подошел к нему и, разумеется, снова повел разговор о своей службе.

— Потерпи еще немного, еще немного. Не сегодня-завтра освободится место на «Цесаревиче», отличное место — рублей на сто в месяц,— сказал мой покровитель.

Затем он стал расписывать мое ближайшее будущее в таких ярких красках, что я почувствовал себя на седьмом небе и готов даже был поцеловать его всегда взломченную бороду. Он стал распространяться о своих связях с морским начальством. По его словам, ни один капитан не смеет отказать в его просьбе, а если посмеет, то... Тут Каркут-Гаспар закрыл глаза, надул щеки и грозно фыркнул в усы.

В это время в конце улицы показалась толпа пьяных матросов, направлявшихся к нам. Они шли, распевая и приплясывая под гармошку. Заметив их, Каркут-Гаспар хотел было скрыться, но не успел. Матросы обступили его и принялись подтрунивать над ним. Чем дальше, тем шутки их становились все более непристойными. Дело дошло до того, что один из них взгромоздился на плечи моего покровителя. Гаспар ущипнул матроса за мягкое место и, тряхнув плечами, скинул его с себя; другой вырвал у него рыбу и начал грызть ее; третий же просунув голову промеж ног Гаспера, посадил его себе на шею.

Я был очень удивлен — эти грубые шутки, казалось, не только не оскорбили моего приятеля, но даже как будто нравились ему.

Когда наконец матросы оставили его в покое и ушли, мой покровитель хвастливо заметил:

— Видишь, как они меня любят? Стоит мне приказать им броситься в море — они немедленно бросятся.

От встречи с Гаспаром осталось неприятное впечатление. Мне было тяжело видеть, как матросы издевались над человеком, в могущество которого я так верил и который так охотно выразил готовность оказать мне помочь.

И все же вера в Каркут-Гаспара окончательно не угасла во мне. Я утешал себя, оправдывая непристойное поведение матросов их нетрезвым состоянием.

Шесть дней на неделе Каркут-Гаспар одевался чрезвычайно просто, даже неопрятно. Его черная фуражка была до того засалена, что блестела, как точильный ремень цирюльника. Архалук и пиджак были выпачканы красками и kleem, из-под истрапанных концов синих штанов выглядывали изношенные ботинки и шерстяные носки. Зато в воскресные дни он преображался — по тогдашим вкусам он выглядел настоящим барином. В шубе, подбитой не то волчьим, не то медвежьим мехом, большой круглой шапке из того же меха, похожей на решето, и начищенных сапогах, отливавших зеркальным глянцем.

Я втайне гордился своим другом, когда он в таком виде входил в церковный двор. Даже походка его изменилась в эти дни: он передвигался медленно, спокойно, величаво; знакомым кланялся гордо, как приличествует именитому гражданину, полному сознания собственного достоинства. По воскресным дням я не решался подходить к нему, боясь вызвать его неудовольствие. На мое робкое приветствие он отвечал едва заметным поклоном.

Таков был мой покровитель.

Однажды Каркут-Гаспар исчез и целую неделю не появлялся в мастерской моего дяди. Последний раз он крепко обнадежил меня, сказав: «Для тебя уже готово место на «Цесаревиче», приготовься».

Я осведомился о нем у дяди.

Дядя сказал, что Гаспар болен и лежит дома.

— Я пойду навестить его,— сказал я, опасаясь потерять место на «Цесаревиче».

— Хорошо сделаешь,— согласился дядя,— друзья познаются в беде. Гаспар, конечно, чудаковатый человек, но не думаю, чтобы он притворялся больным. Пойди, Александр, пойди, проведай его. Поклонись от меня,

скажи, пусть поскорее поправляется. Передай ему, что хромой Бахши получил хорошее сагианское вино, что масленица уже подходит...

Не откладывая в долгий ящик, я побежал к моему покровителю. Но лучше мне было неходить к нему! И зачем только я выбрал такой неудачный день!

Обитал Каркут-Гаспар в одном из стариных предместий города, на узкой улице, в собственном доме. Я вошел в маленький, грязный, сырой двор, полный домашней птицы, собак и кошек. Собаки и кошки не обратили на меня внимания. Куры же, закудахтав, разбежались в стороны, а один большой гусь, увидя меня, захлопал крыльями и, гогота, бросился ко мне, точно собирался потребовать у меня паспорт. Две утки степенно прохаживались по двору, оставляя на сырой земле узорчатые следы своих кривых лапок. Придерживая рукой папаху, я прошел под бельем, развешанным на крестообразно натянутых веревках, и поднялся па узкий балкон. Двое ребят, почти однолеток, грязных, как бродячие цыгане, играли на грязном полу. Лица обоих были выпачканы кислым молоком.

Встретила меня некрасивая женщина неопределенного возраста с унылым выражением лица. На плечах у нее была порванная шаль. Спросила, кого мне нужно.

— Гаспара Мартынча Хитарова. Можно его видеть?

Окинув меня с головы до ног недружелюбным взглядом и не ответив ничего, женщина открыла дверь, выходившую на балкон, и сделала мне рукой знак войти.

Я вошел.

Она последовала за мной.

В первую минуту я не мог ничего разглядеть: в комнате было совершенно темно. Затем из угла донесся тяжелый вздох. Я осторожно продвинулсѧ туда. У стены на широкой тахте лежал мой друг Каркут-Гаспар. Он был накрыт целой грудой одеял, поверх которых была наброшена его замечательная шуба.

— Это ты, Алексан? — произнес он.

Из-под меха высунулась его голова, повязанная синим платком.

— Добро пожаловать! Видишь вот, простудился, ой, спина!.. Жена, угости его чаем с вареньем. Это племян-

ник Акопа, славный парень, я очень его люблю. Ох, как трещит башка! Надо бы поставить банки. Жена, угости гостя чаем, вареньем...

— Если у тебя трещит голова, то нечего тебе попусту болтать,—огрызнулась женщина и, бросив на больного свирепый взгляд, отвернулась, что-то бормоча себе под нос.

— Как это с вами случилось, Гаспар Мартыныч? — спросил я, желая, чтобы забылся вопрос о чае и варенье.

— Простудился на пароходе... то в жар бросает, то лихорадит. Может, воспаление легких, а может, тиф или холера, кто его знает. Послушай, жена, согрей кирпич, положи мне на живот. Ох, умираю!..

Женщина продолжала оставаться безразличной к жалобам больного, словно не верила в его болезнь.

Я передал Каркуту поручение дяди пасчет масленицы. Но едва я упомянул о сагианском вине, как женщина с унылым лицом вдруг взорвалась.

— Ах так! — закричала она неприятным, визгливым голосом.— Теперь еще сагианское! Уже пресытился мадрасинским? Пей, пей, посмотрим, чем это кончится!

— Да не горячись, жена. Ты же знаешь, что Акоп-уста — шутник,— попытался смягчить ее гнев больной.

Но, видно, злоба давно переполняла сердце женщины, и она ждала лишь повода, чтобы излить ее. И пошла, и пошла,—боже мой, чего только опа не наговорила своему бедному мужу! По ее словам, мой речистый, подвижной приятель, которого я считал воплощением энергии, был лентяем, пьяницей, дармоедом, хвастуном, лгунишкой, в особенности — хвастуном и лгунишкой. Мое присутствие, по-видимому, не имело для нее никакого значения, или она не считала меня за человека.

Несчастный Каркут, патянув шубу на голову, старался не слушать ее. Когда же она кончила изливать свою желчь, он откинул шубу и сказал:

— Кончила? Ну, теперь достань варенье для гостя.

— Спасибо, спасибо,— сказал я, решительно отказываясь.

Жалкий вид моего друга бесконечно огорчил меня. В известных мне семействах обычно мужья притесняли жен, сегодня же я увидел обратное. Неужели же это его,

Каркут-Гаспара, который в разговоре так и сыпал словами, терзает дома такая безобразная женщина? Это более чем оскорбительно для уважающего себя мужчины, и я удивлялся, почему мой покровитель не кинется на бесстыжую женщину и не задушит ее! Но вот что огорчило меня еще больше. Когда я сказал Гаспару, что для меня уже заказано новое платье и я готов представиться капитану парохода, женщина снова впала в ярость.

— Что? — закричала она, всплеснув руками.— Значит, ты и ему морочишь голову? — и, обратясь ко мне, прибавила:— Послушай, мальчик, не верь ты этому человеку! Его обещания пустого ореха не стоят, он их раздает направо и налево. Сам постараися найти себе работу! Никакого толку от его обещаний не жди.

Ах, как жалок был в эту минуту мой щедрый на обещания друг! Как жалко выглядела его пышная шуба, вспушавшая прежде такое уважение!

С сердцем, переполненным горечью, простился я с Каркутом...

Когда, вернувшись домой, я обо всем рассказал дяде, он только вздохнул и глубокомысленно заметил:

— Бывает жена—точно роза ароматная, а бывает—одно несчастье и проклятье.

Я знал, что и дядя в семье находится в таком же положении, как и Каркут, и поэтому он сочувствует своему другу.

Немного погодя дядя сказал:

— Твою бумагу я уже передал Амбарцум-беку, завтра зайди к нему в губернское присутствие, он тебя устроит.

Итак, пришел конец моим мечтам: не суждено мне попасть на морскую службу!

Прощай безбрежное море, прощайте чудесные корабли и лодки, зеленая гладь и заманчивые дали! Прощайте сладкие мечты, уносившие меня далеко-далеко, в неведомые страны, в которых мое пылкое юношеское воображение создало столько райских уголков!

Прощай и ты, мой добрый покровитель, с твоим хватством, с твоим ящиком для стекол и великолепной шубой, которую я узрел в столь жалком состоянии на твоей грязной постели! Твои обещания были ложны, но

ведь я искренне верил, что для тебя нет ничего невозможного! Я знаю, ты от всей души желал мне добра, и, обманывая меня, ты обманывал и себя!

Прошли десятки лет. Приехав как-то в Баку, я по-встречался с Каркут-Гаспаром. Как изменился он... Его всклокоченная борода стала белой, как вата, резвые ноги ослабли, он сгорбился, его никогда искривившиеся глаза потускнели. И все же он ответил на мой поклон с прежней гордостью, и я почувствовал, что все еще почитаю и люблю его, как любит и чтит каждый свое прошлое.

Я справился о его здоровье. Он не жаловался, только сказал:

— Постарел вот малость.

В голосе его уже не чувствовалось прежней властности, а в речи — былой стремительности. Мне очень хотелось узнать о его жене.

— Как семья? — спросил я деликатно.

— Спасибо. В прошлом году умерла жена.

Я чуть было не сказал: «Слава богу, избавился ты». И вдруг увидел нечто неожиданное и необъяснимое. Гаспар заплакал.

— Хорошая была женщина! — произнес он, вытирая слезы.— Ни в чем не могу попрекнуть. Хорошо ухаживала за мной. Умерла вот — и остался я сиротой...

И он удалился, качая головой.

МОИ СОСЛУЖИВЦЫ

Оказалось, что мой почерк никуда не годится. Так по крайней мере сказал мой непосредственный начальник Амбарцум-бек, после того как я переписал несколько бумаг.

— В шемахинском управлении, конечно, научиться делу нельзя,— заявил он.— Иное дело — губернское присутствие! Отсюда, братец ты мой, ежедневно посылаются бумаги на имя его высочества наместника! И ты должен действительно нанизывать буквы, точно жемчуг, чтобы он удостоил их своим благосклонным вниманием. А не то такой выговор от губернатора получишь!..

Мне предложили прослужить несколько месяцев без жалованья, пока я не выправлю свой почерк.

Жаловаться было некому. О своем печальном положении я смог рассказать только сторожу присутствия Овакиму. Тот выслушал меня и утешил:

— Не беда, зато прежде ты был Алексаном, а теперь стал Алексан-беком.

Новое окружение, довольно серое, все же заинтересовало меня. Переписывая ежедневно в продолжении семи часов творчество моих начальников, я не задумывался над тем, что мысли мои и чувства будут притупляться изо дня в день, что по существу я становлюсь одним из незначительных винтиков этой канцелярской машины. Что она делала, эта машина, для чего работала,— этим я совершенно не интересовался. Мне казалось непонятной и даже смешной та серьезность, с которой мои сослуживцы исполняли свои обязанности, перебегая с озабоченными лицами от стола к столу. Мои же мысли и внимание были заняты вещами, не имевшими никакого отношения к службе.

Надо сказать, что дети моей тетки были страстные любители чтения. Откуда-то они ухитрялись доставать газеты и книги, которые заинтересовали и меня. Хороши или плохи были эти газеты и книги, тогда я еще не мог определить, но я прочитывал их все без разбора, с одинаковым интересом: газеты «Пчела Армении» и «Работник», журналы «Северное сияние», «Журавль Армении», в особенности же антологию поэзии «Лира Армении», а позже журнал «Опыт».

Под влиянием этого чтения жизнь в моих глазах постепенно стала меняться, точнее, приобретать иные краски. До этого мне казалось, что она заключает в себе лишь крайности — счастье и несчастье. Теперь мой взгляд стал различать в ней оттенки; для меня становилось ясным, что в действительности и счастье и несчастье — все это понятия условные.

Взять хотя бы меня: я, считавший себя пасынком судьбы, вдруг обрел величайшее утешение в книге, забывая в чтении невзгоды прошлого и укрепляя в себе веру в будущее.

Мой прямой начальник Амбарцум-бек был хотя и весьма ограниченный человек, но зато очень добрый и

сердечный. Он являлся одним из постоянных собутыльников моего дяди. Встречаясь с ним, Амбарцум-бек любил, вздыхая, вспоминать о кутежах в Шемахе, где протекала его бурная молодость. Ах, он и сейчас как живой стоит передо мной, со своим шаровидным брюшком, короткой шеей, чисто выбритым круглым лицом, с черными, коротко подстриженными усами, делавшими его похожим на жука! Когда он сидел, то производил впечатление человека очень высокого, когда же вставал, сразу обнаруживался его низкий рост. Во время ходьбы его коротенькие ноги в широких брюках, казалось, не отделялись одна от другой. Он часто тер своими пухлыми и волосатыми пальцами лоб, детски наивные глаза и тройной подбородок, точно желая как-то разгладить свое лицо, придать ему недостающую благообразность. Затем он окидывал взглядом свою грудь, живот, ноги и устремлял меланхолический взор в какую-нибудь дальнюю точку.

Совершенно иным, однако, становился он в компании после нескольких стаканов мадрасинского. Тогда он сразу преображался и выглядел гораздо моложе своих лет. Его круглые щеки пунцовели, словно ахалцихские яблоки, а масляные глазки светились особым блеском. Он не мог слышать хладнокровно азиатскую музыку. При звуках тара он подпирал голову ладонями и начинал подпевать; под звуки зурны он пускался в пляс, неистово при этом подпрыгивая; под дудука¹ он не мог не пустить слезу, обнимая при этом за шею кого-нибудь из своих приятелей.

На больших пирушках и в знатных семьях Амбарцум-бек был желанным гостем, там его обычно выбирали тамадой. И хотя он всегда путал или забывал здравицы, это не мешало ему оживлять стол, заражать всех своим весельем.

На службе Амбарцум-бек не пресмыкался перед начальством, был вежлив и предупредителен с подчиненными. Сущей пыткой для него были те дни, когда ему необходимо было представляться губернатору или вице-губернатору. В таких случаях он обязан был облачаться

¹ Тар, зурна, дудук — восточные музыкальные инструменты.

в мундир, придавать своему лицу торжественную серьезность и, что было труднее всего, воздерживаться от того, чтобы не чихнуть или не икнуть. Самое же главное—это то, что он должен был говорить на безукоризненном русском языке, вопреки его привычке чуть ли не после каждого слова прибавлять «ада», «ахыр», «ба-ба-ба» и тому подобные словечки, совершенно непонятные русскому начальству.

Писаря любили Амбарцум-бека и даже позволяли себе фамильярничать с ним. Но он совершенно не обижался на остроты, отпускаемые по его адресу. Напротив, очень часто при удачной шутке он сам хохотал вместе с ними до упаду, хватаясь за свой круглый живот.

Я работал у Амбарцум-бека за большим письменным столом рядом с двумя русскими писарями. Один из них был смуглый, худой юноша, без устали рассказывавший глупейшие «еврейские анекдоты, сам при этом смеясь больше, чем его слушатели. Я не любил этого парня с разговорами такими же нечистоплотными, как и он сам.

Интереснее был второй мой сосед — Сергей Поликарпович Дрягин. Это был мужчина лет сорока, с желтым, болезненным лицом, редкими волосами и жиденькой бородкой. Частенько от него разило водкой. Никогда ни с кем он не вступал в разговоры. Сначала мне казалось, что он со всеми в ссоре, но вскоре я заметил, что он не разговаривал даже с Амбарцум-беком. Утром, являясь в присутствие, он задерживался на несколько минут в дверях, кидал опасливые взгляды, затем поспешно начинал писать. Писал он до конца занятий, ни разу не сходя с места. Работая, он время от времени останавливался, грыз кончик ручки и сердито сплевывал на пол. Все его ручки были изгрызаны до середины.

Однажды я попытался заговорить с ним, чтобы удостовериться, не немой ли он. Но, он вытаращив на меня выпученные, словно у полоумного, глаза, только молча улыбнулся и снова принялся писать как заведенная машина. Писал он почерком, каким пишут на экране кинематографа,— крупно, быстро, ясно.

Дрягин не только не говорил ни с кем, но и чуждался товарищей, словно он, здоровый, попал к прокаженным.

Если кто-нибудь пытался пошутить с ним, он тотчас вскачивал, точно ужаленный, колотил рукой по столу, не произнося при этом ни слова, а затем садился и опять писал, писал без конца. Переписывал он бумаг раза в три больше, чем я.

Ему поручалась самая важная переписка, поступавшая из всех отделов присутствия.

Своей молчаливостью и мрачностью этот удивительный человек внушал мне необъяснимый страх. Он представлялся мне бессловесным зверем, который вот-вот кинется на кого-нибудь. Мне все казалось, что втайне он готовит против каждого из нас какие-то козни.

Проработав с этим человеком за одним столом три месяца, я только раз услышал его голос. Это было связано со странным случаем, о котором я вспоминаю с ужасом.

Произошло это в воскресный день, под вечер, во время моего дежурства в присутствии. Было еще светло. Я стоял на балконе и глядел на далекое море, любуясь игрой лучей заходящего солнца. Вдруг раздался страшный удар в дверь. Я вбежал в комнату — и что же? В рубашке с разорваным воротом, с обнаженной грудью, с голыми руками, посредине комнаты стоял Дрягин и кричал что-то невнятное. Увидев меня, он замолчал и знаками дал мне понять, чтобы я подошел к нему. Я не решался двинуться с места, опасаясь, что он бросится на меня, — такой страшный был у него вид. Но он, по-видимому, не думал нападать на меня.

— Взгляни-ка сюда, — сказал он глухим, каким-то замогильным голосом и, вынув из-за пазухи дохлую кошку, поднял ее над головой. — Вот мой малыш, мое дитятко, — продолжал он. — Она, жена моя, не рожала ведь его, так почему же она, сукина дочь, убила его? Почему она убила мое дитятко? Не так ли, Муся? Мяу, мяу, ты совсем замерзла, иди же согрейся у меня на груди.

И, поцеловав дохлую кошку в мордочку, он стал ее гладить и прижимать к груди.

— Эх, Алексан-бек, как я любил ее, как берег! — продолжал он. — По три раза в день сам, своими руками, кормил ее. Знаешь, что я давал ей есть? Печонку баранью! Да, каждый день! Слушай, тебе, вероятно, говорили, что Сергей Поликарпович Дрягин — великий пья-

ница? Не спорю. Я пью, но я не скандалю и никому не причиняю зла. Да, не причиняю. Моя душа вся как на ладони, она чиста, как зеркало. Я никого не обманываю, черт побери, никого! За всю жизнь, бог мне свидетель, я ни разу жене своей не изменил...

И, еще раз чмокнув дохлую кошку, этот странный человек сунул ее за пазуху, опустился на стул и зарыдал.

На следующий день в обычный час он вошел в присутствие с таким видом, точно вчера ничего не случилось. Остановившись в дверях, он кинул привычный взгляд направо, налево, затем быстро сел на свое место и начал писать, писать, не отрываясь.

Как-то утром Амбарцум-бек сказал мне:

— Теперь твой почерк достаточно выправился. В строительном отделе, у Агаси-бека, освободилось место. С завтрашнего дня перейдешь к нему и будешь получать жалование.

Ах, как я был рад, что наконец-то избавлюсь от соседства Дрягина! Но теперь моим начальником будет уже не добродушный Амбарцум-бек — и это я считал для себя чувствительной потерей.

Агаси-бек совсем не походил на Амбарцум-бека, и я с первых же дней почувствовал к нему непреоборимую антипатию. Надменный и грубый с подчиненными, он проявлял, однако, все лисьи повадки, когда говорил с начальством. Я не мог хладнокровно видеть его толстую шею, широкие плечи, нескладное сложение, слышать его криклиwyй, неприятный голос, похожий на карканье вороны. Когда он утром входил в канцелярию, писаря обязаны были вставать и кланяться ему. В противоположность простому, обходительному Амбарцум-беку, он никому не подавал руки. Едва кивнув головой в ответ на наш поклон, он проходил мимо нас, как надувшийся индюк, валился в свое кресло и, не успев раскрыть портфель, начинял бросать всякие упреки и замечания по нашему адресу. Не проходило дня, чтобы кто-либо из нас не становился жертвой его ворчливого права.

Один из писарей, молодой азербайджанец, ежедневно говорил мне:

— Клянусь тебе, Алексан, когда-нибудь я оторву голову этой свинье!

Однажды, распекая меня из-за какой-то пустяковой ошибки, Агаси-бек швырнул мне бумагу в лицо. После этого я решил не вставать при его появлении в канцелярии. Сначала он как будто не обращал внимания на эту демонстрацию, но однажды утром не стерпел и отчитал меня.

— Вы видите меня? — начал он. — Так знайте, что я был таким же писарем, как и вы. А сегодня, благодарение богу, имею чин пятого класса, два ордена и в январе надеюсь получить третий. А за что все это? За то, что я не вел себя, как многие армяне, понимал свой долг и выполнял его. Кто хочет подняться по службе, тот должен уважать и почитать начальство.

Но я пошел в своего отца. Самолюбивый, гордый, своееволынный, я не смог научиться «почитать» начальство и поэтому так и не дослужился за всю свою жизнь до чина «пятого класса».

Не прослужил я в присутствии и года, как мне посчастливилось найти другую работу, и я получил наконец возможность заявить моему высокомерному начальнику:

— Прощайте, господин коллежский советник!

Я говорил стоя, он же сидел.

— Что случилось? — спросил он, не поднимая головы.

— Я оставляю службу.

Агаси-бек положил перо, смерил меня недружелюбным взглядом и усмехнулся. По-видимому, он и мысли не допускал, чтобы кто-либо из смертных решился добровольно лишить себя удовольствия ежедневного созерцать его фигуру «пятого класса».

— Прощайте, — повторил я и хотел было уже повернуться.

Но Агаси-бек остановил меня.

— Погодите, — сказал он и, швырнув мне какой-то черновик, добавил: — Немедленно перепишите мне эту бумагу.

Его пренебрежительный тон взорвал меня окончательно. Подняв полетевший на пол черновик, я презрительно взвратил его Агаси-беку и сказал:

— Нет, парон¹, на этот раз вам придется самому исполнить ваше распоряжение, а я считаю себя свободным.

¹ Парон — господин.

— Стало быть, ваше превосходительство твердо решило уйти? — переспросил он, издеваясь над ничтожностью моей должности.

— Да, ваше высочество, вопрос этот решенный,— позволил себе посмеяться и я.

Агаси-бек рассвирепел, его бритые щеки раздулись, точно резиновый мяч, опали и сейчас же снова вздулись.

— Вот видите? — обратился он к другим писцам, не армянам.— Не говорил ли я, что из армянина никогда не получится порядочный человек. Ах, как я сожалею, что тоже родился армянином.

До этого мы изъяснялись по-армянски. Когда же он перешел на русский язык, я крикнул ему тоже по-русски:

— И я сожалею, что вы армянин. Чем меньше будет вам подобных, тем лучше.

Агаси-бек от бешенства побагровел. Его глаза, выпуклые, как у лягушки, налились кровью. Он хлопнул рукой по столу и заорал:

— Ада!²

— Вы сами «ада»,— обрезал я его и, пожав руки своим сослуживцам, вышел из канцелярии.

Точно тяжелый камень свалился у меня с плеч. Как радостно было сознавать, что больше уже не надо возвращаться в эту затхлую канцелярскую нору!

Несмотря на свою неопытность я, однако, чувствовал, что здесь могли быть похоронены все мои пробуждавшиеся мысли. Я не обязан был больше по шесть-семь часов ежедневно просиживать над перепиской тупоумных творений всяких чиновников. Я уже не буду винтиком этой бездушной канцелярской машины, которой управляли бездарные льстецы и карьеристы.

Мне удалось поступить на частную службу в одно только что организованное нефтяное товарищество. Жалованье мне дали небольшое — всего двадцать пять рублей в месяц, но работа была живая и интересная,— по крайней мере так мне показалось с первого взгляда.

Мой новый начальник, инженер, поляк, был гордый, но воспитанный, вежливый человек. Это первый европ-

² А да — восклицание.

пеец, с которым я встретился в Баку. Начиная с его манеры обращения с людьми и кончая внешностью и одеждой, он представлял полную противоположность местной интеллигентии. С первых же дней нашего знакомства я почувствовал к нему глубокое уважение. Однако столь же быстро я и разочаровался в нем.

Квартира его примыкала к кантоне товарищества. Часто, заходя по делу в его кабинет, я с любопытством и с завистью разглядывал аккуратно расставленные в просторных шкафах книги в роскошных переплетах. Однажды, заметив это, мой начальник спросил меня:

— Вы любите книги?

— Да.

— А на каком языке вы читаете?

— На русском и на армянском.

— На армянском? — переспросил он с недоумением. —

Разве на этом языке печатаются книги?

— Конечно, — ответил я с некоторой обидой.

— Кроме русского, владеете ли вы каким-либо иностранным языком?

— Нет.

— Напрасно, совсем напрасно. Знать какой-нибудь из европейских языков никому не мешает.

— А разве русский язык не европейский?

— Да, конечно, — ответил поляк, — но не совсем...

— У вас есть русские книги, Станислав Сигизундович? — поинтересовался я.

— Нет, — ответил мне мой начальник таким презрительным тоном, точно я оскорбил его своим вопросом.

По службе я числился счетоводом. Но в кантоне я проводил не больше двух часов в день. Все остальное время я был занят другими делами: ходил с поручениями на промыслы и заводы, получал и выплачивал деньги за различные товары — словом, выполнял целый ряд обязанностей.

Не прошло и двух месяцев, как управляющий, вызвав меня, спросил:

— Сколько вам лет?

— Девятнадцать.

— Вы когда-нибудь ездили морем?

— Нет, не приходилось.

— А хотели бы поехать?

— Ну конечно!

— Тогда собирайтесь. Волга вскрылась, завтра отправляется первый пароход на Астрахань. Вы поедете на нем.

— А по какому делу? — поинтересовался я, скрывая свою радость.

— Вам нужно будет купить для наших промыслов лес и несколько лошадей. Я, конечно, знаю, что вы еще недостаточно опытны в торговле, но это не беда; вам поможет один из моих приятелей, к которому я вам дам письмо.

Итак, моим мечтам наконец-то суждено осуществиться! Я поеду морем, я увижу новые края. Никогда-никогда не переживал я подобного счастья! Не помню, как выразил я тогда свою радость, но, должно быть, выглядел я в ту минуту очень комично, потому что даже серьезный поляк не сдержался и стал хохотать.

Я поспешил домой, чтобы поведать радостное известие своей тетке Мариам. На улице я делился своей радостью со всеми, кто только встречался со мной. Некоторые из знакомых пытались охладить мой восторг, предупреждая, что в марте море опасно и что я вместе с пароходом могу пойти ко дну. Но что за беда! Я скорее согласен был погибнуть, чем отказаться от столь долгожданного путешествия.

В МОРЕ

На следующий день вечером я взошел на пароход. Погода стояла тихая, и море было спокойно. Однако тучи начинали заволакивать небо, и звезды скрывались одна за другой. Матросы с пением и шутками заканчивали приготовления к отплытию; одни с помощью лебедок грузили бочки с вином и ящики с товаром, другие заканчивали мыть палубу. Все были оживлены, радуясь, что наконец-то открылась навигация. Но больше всех радовался я. Меня увлекало все — и грубые окрики матросов, и их специфические словечки, и неожиданные шутки. Вот двое из них, схватив за руки третьего, пьяного, силятся его удержать, а он вырывается, чтобы куда-то убежать.

Вдруг раздался дружный хохот — это кран поднял на воздух верблюда. Испуганное животное, скрестив свои кривые ноги с длинной шеей, лишь на минуту мелькнуло на сером небосклоне и быстро исчезло в недрах парохода. За ним таким же путем последовали в трюм второй, третий и четвертый верблюды. Последний из них задел головой железную дверцу люка и, очевидно, очень сильно ушибся. Он испустил глухой стон, который заглох там, в пароходной преисподней. Я не понимал, зачем отправляли на север этих безропотных тружеников злойных пустынь. Может быть, для пополнения зоологических садов?

С высоты своего мостика капитан отдавал приказания тем грубым, мужественным голосом, который свойствен лишь морякам и в котором слышны отзвуки морской стихии.

Я наблюдал за ним снизу. Желтый свет лампочки, укрепленной на мачте, освещал фигуру человека средних лет, коренастого, широкоплечего, с кривыми ногами, с обветренным и загорелым лицом. Этот невысокий, но крепко сложенный человек напоминал мне столетнее тутовое дерево, и моему наивному воображению казалось, что никакие стихии и вообще ничто не может сломить его несокрушимую силу.

Я вошел в помещение второго класса и поставил в угол свой чемоданчик. Пароход был старый, изношенный и отдельных кают не имел. В марте месяце Каспийское море очень неспокойно, а потому пароходные общества берегли новые пароходы и в первый рейс пускали старые, негодные суда. Об этом, между прочим, я был предупрежден своими друзьями, которые не советовали мне садиться на первый попавшийся пароход.

Пассажиров было немногого. Соседями моими оказались: какой-то необычайно худой старик, должно быть, купец, два ученика реального училища, ехавшие к родителям в Дербент на пасхальные каникулы, и еще косоглазый человек с приплюснутым, походившим на разваренную грушу носом. Сидя за общим столом, он гадал на картах, как закончится наше путешествие.

— Благополучно, благополучно! — закричал он наконец и обнял за шею сидевшего рядом с ним старика.

В последний раз хрипло прогудел гудок, и затем послышался лязг якорных цепей о борт парохода.

Я вышел на палубу. Пароход медленно отчаливал. Его колеса взрывали воду, тревожа свинцовую гладь моря.

Я оглянулся назад. Насколько Баку, лишенный растительности, тосклив и неприветлив с моря днем, настолько он прекрасен ночью. Его серый скелет, подернутый покровом ночи, точно приобретал теперь кровь и плоть и оживал. Оранжевые точки фонарей и ламп казались в окружающей тьме золотистыми звездами, сверкающими, точно глаза невесты. Вот сноп света — он выше, гуще и ярче, чем все остальные. Чем больше мы отдаляемся от города, тем ярче становится он. Непрерывно вращаясь, он разбрасывает по морю ослепительные стрелы. Это маяк, установленный на самом высоком здании города, на макушке той знаменитой башни, которую века окружили кровавой легендой.

В незапамятные времена, гласит легенда, некий восточный деспот, пресыщенный ласками своих жен, воспыпал преступной страстью к своей единственной дочери, красивейшей из всех красавиц. Несчастная девушка, охваченная стыдом и отвращением, сопротивлялась, но тщетно. Сладострастный деспот не оставлял свою дочь в покое, преследуя ее днем и ночью. И чем упорнее противилась она, тем сильнее распалялся отец.

«Ты должна отдаться мне,— сказал он ей однажды ночью,— а не то... ты ведь знаешь меня!»

«Отец,— взмолилась девушка,— да, я знаю твою пастойчивость. Я знаю, что ослушникам ты велишь привязывать к ногам тяжелые камни и бросаешь их в море. Знаю и то, что ты не считаешься ни с какими законами, что для тебя не существует святыни, кроме твоих желаний,— но пощади меня и не требуй, чтобы я совершила величайшее преступление против природы».

Но мольбы дочери не могли потушить животную страсть отца. Тогда доведенная до отчаяния девушка сказала:

«Хорошо, пусть будет по-твоему, но при одном условии»,

«Прикажи, я исполню все».

«Отец, твое требование настолько ужасно, что его не потерпят ни земля, ни вода. Прикажи своим подданным выстроить в море башню, такую высокую, чтобы даже птицы не могли долететь до ее вершины. Когда такая башня будет выстроена, я отдамся тебе там, на ее вершине, чтобы свидетелями моего позора не могли быть ни земля, ни вода. Пусть только небо одно будет знать о нем».

«Хорошо, твое желание будет исполнено», — согласился отец.

На следующий день он повелел всем жителям страны доставить по камню для постройки этой башни и вызвал для работы всех каменщиков и плотников. В короткий срок из моря поднялась великолепная башня. В день ее окончания девушка созвала на пирушку своих сверстниц и в последний раз расцеловалась с ними, как непорочная девственница. Никто из подруг не знал о ее тайне.

После окончания пира она сказала отцу:

«Я поднимаюсь на башню, чтобы исполнить свое обещание. Приходи туда через час».

Поднявшись на вершину башни, она бросилась оттуда в море.

Вот почему это величественное здание называется «Девичьей башней». Некогда она стояла в море. Но море, высыхая, отступило от старого берега, и теперь башня стоит на суще.

Маяк исчез во мраке ночи. Пароход быстро уходил в открытое море. На палубе стало холодно, и я спустился вниз. Косоглазый пассажир играл в карты с учениками. Старик с укоризной поглядывал на юнцов, которые все время проигрывали.

— Довольно, Егуш, — не вытерпел наконец старик, — обращаясь к косоглазому. — Оставь детей, стыдно!

— Если довольно, тогда прекратим, — согласился косоглазый и положил в карман последние деньги проигравшихся мальчуганов.

— Он шулер, — прошептал мне на ухо старик, — остерегайтесь его.

К полуночи все пассажиры, кроме меня и Егуша, уже спали. Картежнику, как видно, мало было добычи, и он рассчитывал ограбить еще и меня; очевидно, он почувствовал, что при мне имеется большая сумма. Он несколько раз выкладывал карты на стол и пялил на меня свои косые глаза, подзадоривая на игру, но напрасно.

Я снова вышел на палубу. Погода по-прежнему стояла тихая, и пароход спокойно продвигался вперед, словно гигантский лебедь, рассекая своей треугольной грудью морскую гладь. Однообразный стук машин и плеск воды навевали на меня тяжелое, гнетущее чувство.

Время от времени мы приближались к песчаным пустынным берегам. Кое-где мигали слабые огоньки — должно быть, это были рыбачьи лодки.

Мимо меня прошли две темные фигуры. Это были матросы. Они вытащили на палубу канат, собранный в огромное кольцо, и стали его разматывать на две стороны.

— Ой, Фома, попомни мое слово, потреплет нас завтра чечен.

— Плюнь ты на него, справимся с ним, проскочим...

— Надо поспать, набраться сил к утру.

Чечен... В детстве я часто слышал от отца, что в диких скалах Дагестана проживает героическое племя, которое носит это имя. О храбости чеченов на моей родине рассказывали легенды.

Я подошел к матросам.

— А что, разве они и на пароходы нападают! — спросил я.

Матросы громко захохотали.

— Слышишь, Фома, чего он тут лепечет?

— Это уж так водится, что мышь сухопутная о кошке морской понятия не имеет,— посмеялся Фома над моей наивностью.

— Стало быть, вы не боитесь чеченов? — продолжал я допытывать матросов.

— Нет, молодой человек, не боимся, и ты их не бойся, потому что на Каспии у нас не водятся пираты.

— О каких же чеченах вы говорили?

— Чечен — это такое, что превращает пароход в сито, а таких, как ты, швыряет, точно горох, от стены к стене.

— Чечен — он требовательный. Поменьше, говорит,

ешь, чтоб не рвало, да поменьше по палубе шляйся, чтоб не сковыриуло,— пояснил второй матрос, и, гогоча, они исчезли во мраке.

Ночь прошла спокойно. Наутро пароход остановился у Дербента, вдали от берега. Ученики-реалисты, ехавшие с нами, кинув на косоглазого взгляд, полный бессильной злобы, взяли свои вещи и спустились в лодку. Егущ не оставил им даже мелочи для переезда на берег.

Я тоже съездил на берег, чтобы посмотреть на маленький город, именуемый в переводе «Врата Востока». Однако ничего интересного я здесь не нашел.

Возвратившись на пароход, я застал там двух новых пассажиров — армян, одетых в лезгинские костюмы. Это была в высшей степени забавная пара. Еще и сегодня они точно живые стоят перед моими глазами. Один из них был очень низенького роста, с мрачным, сердитым лицом, с густой и длинной бородой, доходившей ему до пояса. Под длинной и широкой чохой на животе у него болтался большой кинжал в серебряной оправе; конец ножен почти касался пола. Движения этого коротыша были размашисты, манеры величавы и медлительны, взгляд серьезный, торжественный. Он все время старался казаться выше своего роста. Впоследствии я наблюдал то же самое у всех людей низкого роста. По-видимому, с этой же целью он посыпал лезгинскую шапку, очень большую и очень высокую. Его короткие ноги путались в полах длинной чохи.

Второй был великан в полном смысле этого слова — здоровенного роста, могучего сложения, с большим животом, толстой щеей и длинными усами. В то же время выражение его лица было в высшей степени мягкое, а голос почти детский. Размешая в каюте свои бесчисленные узлы и корзины, он все время кряхтел и бормотал слова, смысл которых мне трудно было понять. Покончив наконец с этим делом, он присел к столу, оттер папахой пот с лица, оглядел всех нас по очереди и затем, дружелюбно улыбнувшись, обратился к своему товарищу.

— Давай-ка закусим, что ли, Воскан.

Воскан посмотрел на него, как наставник смотрит на воспитанника, и отрицательно покачал головой — дескать: потерпи, еще успеем.

— А чем же тогда заняться?

Егуш немедленно подсел к нему и предложил сыграть в карты. Но в ту же минуту, словно бдительный страж, перед ним вырос Воскан.

— Татос-ага не умеет играть в карты,— произнес он, искусственно снизив свой тенорок.

— Я не умею играть в карты,— повторил Татос и улыбнулся, раскрыв рот до ушей.

— Вставай, выйдем,— тоном няньки обратился к Татосу коротыш.

Великан встал молча, как послушный ребенок, накинул на плечи лохматую бурку и последовал за товарищем, точно разбитый парусник на буксире у маленькой моторной лодки.

Неудача взбесила Егуша.

— Поглядите-ка на него,— сказал он на бакинском наречии.— Постыдился бы, верзила! Пляшет под дудку какого-то щенка, а посмотреть на усы — прямо Рустам-Зал¹.

И действительно, совершенно непонятна была власть этого пигмия над великанином. Сначала я думал, что пигмей — приказчик гиганта, но оказалось, что оба купцы и ничто, кроме землячества, их не связывало. И так всю дорогу они были неразлучны. Коротыш неизменно командовал, и великан был ему послушен, как прирученный слон. Я несколько раз пытался завести с Татосом беседу, но неудачно — Воскан упорно препятствовал моему намерению.

За обедом я опять с восхищением наблюдал за ними. Это становилось для меня уже своего рода развлечением. Я не знал, смеяться ли мне, жалеть или презирать этого гиганта, который всякий раз, прежде чем отправить в рот кусок, поднимал вопрошающий взгляд на своего опекуна.

Осушив вместе с Восканом бутылку вина, Татос поднялся, чтобы достать из хурджина вторую.

— Не нужно,— остановил его Воскан,— на море надо поменьше есть и пить.

Хотя матросы и предсказывали бурю, день прошел спокойно. Вторую ночь мы провели в порту, в Петровске. До самого рассвета Татос так храпел, что я только под

¹ Рустам-Зал — герой поэмы Фирдоуси «Рустам и Зохраб».

утро смог немного вздремнуть. Пароход отчалил от пристани в густом тумане. В полдень подул восточный ветер. Корабль стало покачивать, точно для того, чтобы предупредить нас. Однако это не помешало нам вовремя сесть за стол и с аппетитом покушать. Егуш и судовой канторщик, напившись, стали заигрывать с Восканом и Татосом, откровенно издеваясь над ними. Татос в ответ только добродушно улыбался, показывая свои крупные, лошадиные зубы. Воскан же обижался и сердился. Он даже вскочил, схватившись за кинжал, и задрал голову, точно петух, готовый к бою. Егуш и канторщик хихикали.

Неизвестно, чем бы это кончилось, если б, к счастью, вовремя не вмешалась природа. Послышался глухой гул, грозный рокот, и дагестанский герой, как вырванный с корнем гриб, повалился в объятия Татоса.

— Началось! — промолвил старик-купец.

— Ой, Воскан, встань, меня тошнит, — простонал Татос, зажимая рукою рот.

— Говорил тебе — поменьше ешь, — крикнул Воскан, с трудом становясь на ноги.

Достав из кармана архалука горсть сущеного кизила, он протянул его товарищу. В эту минуту пароход встряхнуло вторично. Кизил рассыпался по полу, а Воскан снова упал в объятия Татоса.

Долговязый старик лег на спину на плюшевый диван и посоветовал нам поступить точно так же.

Я вышел на палубу, так как чувствовал себя пока неплохо. Меня неудержимо влекло увидеть наконец бурю на море, о которой я так много слышал и читал.

Капитан стоял на своем мостице. На нем был непромокаемый плащ, капюшон которого придавал ему вид послушника. Струи дождя, гонимые бурей, хлестали его медное лицо, но он спокойно, зычным голосом отдавал команду. Глядя на его фигуру, рисовавшуюся на сером небе, я тоже обретал невозмутимое спокойствие.

— Вот это, малец, и есть чечен! — крикнул проходивший мимо меня старый матрос. — С ним щутки плохи!

И он объяснил мне, что чеченом называется водоворот в самом глубоком месте Каспийского моря.

— Мы тонем? — спросил я цаивно.

— Нет еще, — ответил старик и исчез в тумане, в конце палубы.

Море ревело, словно смертельно раненный, свирепый зверь. Канаты мачт, сотрясаемые порывами ветра, терзали слух пронзительным свистом. Стая заблудившихся чаек, ища приюта, с криком следовала за пароходом. Встречный ветер относил их назад, и несчастные птицы, будто осенние листья, беспомощно кружились над пароходом. Наконец после долгих усилий они уселись на перекладинах мачты, крепко прижавшись друг к другу, словно сироты-сестры.

Вдруг чудовищно огромная волна поднялась из-за борта парохода и, обрушившись на палубу, с грохотом разбилась. На мгновение вода задержалась, точно раздумывая, куда ей направиться, и затем хлынула в противоположную сторону палубы, унося с собой смотанные канаты и деревянные скамейки.

— Эй, кто там? — крикнул капитан.— Уйдите прочь! Никому не разрешено выходить на палубу!

Приказание относилось ко мне. Я же продолжал стоять неподвижно. Чем сильнее бушевала буря, тем больше она захватывала меня, хотя я уже начинал чувствовать качку.

— Пройдите на нос и спрячьтесь, чтобы капитан не видел вас,— посоветовал мне молодой матрос,— но если волна унесет вас, я не отвечаю.

Качаясь и оступаясь на мокрой палубе, я прошел к носу парохода. Туман скрыл меня от взоров капитана. Крепко ухватившись обеими руками за толстый вал, на который была накручена якорная цепь, я поднял глаза и застыл в ужасе. Взбаламученное море поминутно разверзло передо мною темную бездонную пропасть. Пароход устремлялся носом кверху, становился на корму и ревел, точно раненый тигр, готовящийся к прыжку. Казалось, вот-вот он рухнет в открывавшуюся перед ним пропасть и исчезнет в разъяренных водах. Но всякий раз набегали новые гряды волн и, увлеченные силой своего натиска, заполняли бездну.

Судно отскакивало назад, точно для того, чтобы пердохнуть и снова ринуться в единоборство с разгневанным врагом.

Бушующие воды одним взмахом поднимали его на гребень и, как щепку, швыряли из стороны в сторону. То была злобная игра стихии. Казалось, море, вздымающееся

водоворотом, плевало в лицо небу. На миг несчастный пароход вскинуло так высоко, что колеса его завертелись в воздухе. Опускаясь, он застонал, точно ему сломали позвоночник.

Я оглянулся. На палубе не оставалось уже ничего, все было смыто волнами. Трещала одна из мачт, не выдержавшая натиска бури. Вода стала пропинкать в трюм.

— Эй ты, убирайся отсюда наконец! — крикнул мне матрос.— Не станем мы отвечать здесь за каждого молокососа!

С меня было довольно. Хотя мое любопытство и не было удовлетворено полностью, тем не менее нервы мои уже утомились, голова кружилась. Меня тошило так, точно кто-то выворачивал у меня кишки. Хватаясь за что попало, скользя и спотыкаясь, я кое-как прошел палубу и спустился вниз.

Промок я насеквоздь, одежда липла к телу, но от возбуждения я не чувствовал холода. Спутники мои, кроме купца, пребывали в печальном состоянии. Старик же, лежа на спине, спокойно улыбался: на его тело, походившее на скелет, качка не действовала, как не действуют ветры на засохший дуб.

Егущ, вначале было посмеивавшийся над буйством природы, теперь валялся под столом в собственной блескотице. Другие также лежали в разных позах. Стояло невыносимое зловоние. Пол был усеян осколками разбитых стаканов, бутылок, тарелок и остатками непереваренной пищи. С палубы по лестнице продолжала стекать вода.

— Воскан, — услышал я умоляющий голос Татоса,— умираю я...

Он лежал ничком и стоал, как тяжелобольной. Его могучие плечи поднимались и опускались, подобно кузнецкому меху.

Поодаль от него я заметил Воскан. Он сидел на полу, расставив ноги и прислонившись спиной к стене. Не помог ему и сущеный кизил, хотя, судя по разбросанным вокруг косточкам, он поел его изрядное количество. Его маленькая голова, бессильно упавшая на грудь, раскачивалась, как подвешенная на нитке груша. И все же лицо не потеряло обычной горделивости, и серебряная рукоятка кин-

жала торчала на животе, словно угрожая невидимому врагу.

— Воскан, Воскан! — послышался снова голос Татоса.— Умираю... Священника бы...

Воскан на минуту приподнялся, обвел комнату мутным взглядом и, громко икнув, снова поник головой.

От этого зрелища меня начало мутить, и я, обессиленный, упал в кресло. Впоследствии мне приходилось путешествовать и на маленьких и на больших пароходах, но никогда, даже в океане, буря не действовала на меня так сильно, как в этот раз.

Буря свирепствовала в течение двух суток. Оказалось, что пароходный компас был разбит, и капитан сам не знал, куда нас несет в этом густом тумане. Его голос уже не звучал с прежней уверенностью. Заметно было, что самообладание изменило ему.

Блуждая по морю, мы дважды возвращались почти к самым берегам Петровска, все время кружась в районе бури. Наконец на четвертый день погода немного утихла, и я смог опять выйти на палубу. Изменился и цвет моря. Теперь оно уже не грозило полуразбитому пароходу, спасшемуся от гибели и скрипевшему каждой своей снастью. Небо же все еще было пасмурно, туманная пелена рассеивалась медленно.

«Девять футов, девять футов!» — вдруг радостно закричали матросы.

«Девять футов» — так называется место, где Волга сливается с морем, окрашивая его воды в желтый цвет ила, который она несет с собой.

По распоряжению капитана четыре матроса спустили шлюпку и, захватив с собой три штофа водки, отплыли. На расстоянии одной мили виднелась целая стая рыбачьих лодок. У рыбаков матросы должны были узнать, как войти в устье реки.

Через час наш пароход вошел в Волгу.

Пассажиры, оправившись, высыпали на палубу подышать чистым воздухом.

Первое, что сказал Татос, было:

— Воскан, я голоден!

— Теперь можно,— ответил пигмей.

Ел он не меньше великана.

Их примеру последовали и все остальные.

Когда Татос наелся, его круглое, как луна, лицо снова засветилось добродушной, бессмысленной улыбкой, и Воскан снова взял его под свое попечение и наблюдение.

ПЕРВЫЙ ЗАЕМ

Чтобы пользоваться благами жизни, надо уметь располагать к себе людей. Горе тебе, если ты не знаешь, какая мелодия приятна слуху твоего соседа, и еще хуже, если ты знаешь, что нужно ему, но не хочешь или не можешь спеть. Если твой язык не умеет источать мед по поводу слабостей людских, так постараися, по крайней мере, наложить на свои уста замок, иначе не поздоровится тебе.

Что делает нас в глазах людей приятными и любимыми, как не воскурение фимиама перед их воображаемыми добродетелями? Льсти — и ты победишь, ибо нет оружия более могущественного, нежели подобострастие. Даже гениальные люди не могли противостоять этой силе.

Эту жизненную истину я уразумел уже с детских лет, но не сумел ей следовать. Отца моего очень многие уважали и даже побаивались за его правдивость, но и недолюбливали именно за это. Он был горд, ненавидел ложь и притворство. Слишком сильно сказывалась во мне его мятежная кровь, чтобы я избегал называть вещи своими именами. Вот почему я всегда страдал, всегда выслушивал упреки даже от своих друзей.

Лицо, на имя которого мой начальник дал мне рекомендательное письмо, с первого же взгляда внушило мне антипатию. Это был молодой человек с красной физиономией, красными ушами и желтенькими глазками. Его жесты и манеры говорили об огромном самомнении. Прилизанное существо, полное игл и колючек.

Когда я представился ему, он не ответил на мой поклон и даже не посмотрел в мою сторону, продолжая давать распоряжения толпившимся вокруг него молодым людям, по-видимому, его подчиненным.

Когда же он прочел письмо своего приятеля, то первым долгом спросил:

— Вы кто по национальности?

— Армянин.

— Гм-гм, армянин,— повторил он несколько раз и затем, обратившись к юноше, походившему на него, спросил: — Вячеслав, что такое армянин?

— Шашлык... Бозбаш... Карапет! — ответил Вячеслав. И оба рассмеялись.

— Сударь,— сказал я желтоглазому молодому человеку,— прежде чем острить, будьте добры исполнить поручение вашего приятеля.

— А вы что, торопитесь?

— Не тороплюсь, но раз вы позволили себе издеваться над моей национальностью, то я нахожу, что мне лучше выбраться отсюда как можно скорее.

По-видимому, мой собеседник был не так храбр, как подл. Он ничего не ответил. Он, безусловно, почувствовал угрозу в моем сильно взволнованном голосе. И в самом деле, я был так уязвлен, что если бы он продолжал свои насмешки, я набросился бы на него, не считаясь с тем, кто из нас сильнее.

Несколько позже я узнал от одного из его подчиненных, откуда в нем эта ненависть к армянам: оказывается, года два назад какой-то купец-армянин обжулил его в расчетах.

Итак, с первого же дня мы возненавидели друг друга.

Так или иначе, приятель моего начальника выполнял его поручения, закупал все, что было нужно, и я отправлял все закупленное в Баку.

Побродив еще несколько дней по улицам Астрахани, я выехал обратно. На этот раз море было спокойно, и, кроме того, я ехал на хорошем пароходе.

— Знаете что,— сказал мой начальник в первый же день моего возвращения.— Вы очень честный юноша, но для службы вы непригодны.

— Почему?

— Слишком уж вы гордый и чувствительный.

— А разве гордость и чувствительность предосудительные качества?

— Конечно нет, но скромному конторщику они в некоторых случаях не к лицу. Вы не умеете обращаться с людьми, как того требует ваше положение. С деловой точки зрения это — большой недостаток.

— Тогда, быть может, вы научите меня обращению с людьми, ведь я еще очень неопытен?

— Это не входит в мои обязанности. Жизнь сама вас научит многому, а пока...

— Пока...

— Вы мне не нужны: вы оскорбили моего приятеля.

— Чем же?

— Не знаю, но он жалуется и просит, чтобы я больше не присыпал вас к нему.

— А не написал ли он вам, как он упрекал меня моей национальностью в первый же день моего приезда?

— Вероятно, он просто пошутил.

— Сударь, есть вещи, которыми не шутят.

— Ой, какой же вы, молодой человек, патриот! — с иронией произнес он.

— Такой же, как и вы, поляки! — крикнул я, вспыхнув.— Прощайте!

Это был для меня злосчастный день, один из тех горьких дней, которые навеки оставляют в душе глубокий, неизгладимый след.

Опечаленный, близкий к отчаянию, я целый день пробыл по набережной. Мне не хотелось даже смотреть на море, которое раньше внушало мне столько радужных надежд, а теперь так жестоко их разбило.

Возвратившись домой, я решил ничего не рассказывать о случившемся тетке, зная, что она будет огорчена моей неудачей еще больше меня.

Вскоре после этого из Шемахи приехали моя мать и одна из сестер. Тетка не замедлила сообщить им о моей должности, которую я занимал, о моем успешном путешествии, и они поспешили перебраться в Баку.

На улице, у ворот, стоял фургонщик-молоканин, добротный великан, ростом в два метра, с кнутом в руках. Он ждал, чтоб ему заплатили.

— Сколько тебе следует? — спросил я, едва высвободившись из объятий матери.

— Восемнадцать рублей.

У меня в кармане было всего сорок копеек.

— Переезд обошелся нам очень недорого,— прибавила мать, улыбаясь,— ведь мы привезли с собой весь скарб.

— Сона, ты о деньгах не думай,— вмешалась наивно тетка, обнимая сестру.— Алексан теперь на хорошей службе, он уже и в Астрахань съездил.

Я, конечно, скрыл истинное положение вешей. Как мне было сказать, что я остался без работы? Кусая губы, я вышел на улицу. Надо было достать деньги, чтобы расплатиться с фургонщиком.

Вечерело. Куда идти? К кому обратиться? Кроме самолюбия, у меня не было ничего, что можно было бы заложить. Но сколько стоит самолюбие одного в глазах другого? Ведь этот «товар» на жизненном рынке не ценится.

Долго бродил я по улицам богатого города. Фургонщик же, точно тень, следовал за мной по пятам, то чуточку отставая, то опять нагоняя меня. Сначала он молчал, но вскоре не выдержал и начал ворчать. Порой над моей головой раздавался свист кнута: это были признаки его нетерпения. Утомленный трехдневным путешествием, он, конечно, хотел отдохнуть, накормить лошадей, я же, шагая со слабой надеждой встретить кого-либо из приятелей или знакомых и занять у них денег, заставлял его тащиться за собой. Больше всего меня угнетала мысль о ничего не подозревавших матери и сестре. Они приехали пожить спокойно, а между тем их ждало разочарование, ибо рано или поздно они должны были узнать, что я без работы и без всяких средств. Мне казалось, что я бесчестно обманул их.

— Барин,— не выдержал наконец молоканин,— может, ты хочешь показать мне Баку? Так спасибо тебе: я видел его уже много раз. Заплатите, что мне следует. Ведь лошади там стоят не распряжены.

— Потерпи, потерпи, вот пройдем только эту улицу...

Я не знал, на какой из улиц должен был я встретить свое счастье, и все же шел.

Кнут то и дело щелкал в темноте над моей головой и каждый раз все сильней и грозней. С минуты на минуту я ждал, что он огреет мою спину. У меня мелькнула было преступная мысль: воспользоваться ревностью своих ног и удрать от фургонщика в одну из узких, темных улиц. Ну, а дальше? А мать, а сестра? Подвергнуть их грубости фургонщика? Нет, прочь эти мысли! То, что должно случиться, пусть случится со мной.

— Идем в полицию,— крикнул вдруг фургонщик и остановился.— Я устал,— и своей сильной рукой он схватил меня за локоть. В темноте сверкнули его глаза.

Я вздрогнул, точно передо мною стоял бешеный волк.

— Идем,— ответил я, отвернувшись.

Я предпочитал попасть в тюрьму, нежели говорить неправду, обманывать людей.

— И отвел бы я тебя в полицию, если бы не лошади, которые остались на улице. Голодны ведь они, да и сам я устал. Стыда у тебя нет!

«Стыда у тебя нет». Впоследствии в горниле жизни мне часто приходилось слышать, как люди бросали друг другу в лицо это порицание. И мне всегда казалось, что для оскорбления человека не может быть более худших слов.

Что я мог ответить вознице? Он был вправе оскорблять меня. Но стыд у меня был, и он мучил меня. Именно потому я и прошелся раз семь назад и вперед мимо тускло освещенной лавки, не решаясь туда войти.

Лавка принадлежала сыновьям моей старшей тетки, и хоть взаимоотношения с ними у меня были не очень сердечные, иного выхода у меня не было. Снова раздался свист длинного кнута, отдавшийся в моих ушах, словно шипение змеи, ползущей следом за мной. Подавив в себе самолюбие, я вошел в лавку.

Первый заем! Я не знаю, существует ли чувство более обидное для самолюбия? Какими неприветливыми, черствыми показались мне эти люди, которые на самом деле совсем не были такими. Они были всего-навсего лишь купцами.

Мне вдруг захотелось повернуться и убежать, но было уже поздно. Возница угрожающе стоял в дверях, препрятывая мне путь к отступлению.

Кто не переживал подобных минут в юные годы, тот не может представить себе их горечи. Сердце мое билось так, точно я вошел в больницу, где мне должны были сделать трудную операцию. Когда я раскрыл рот, чтобы изложить просьбу, голос мой от волнения дрожал, и звук его показался мне странным, точно говорил не я, а кто-то посторонний.

Казалось, прошла целая вечность, пока все три брата, каждый в отдельности, заставили меня повторить прось-

бу. Потом они подошли к вознице и оглядели его. И вот наконец один из них, нахмурив брови, открыл кассу и, окинув меня недружелюбным взглядом, положил передо мной несколько кредиток. Я взял их и поспешил вышел; эти деньги жгли мне руки. Вручив их молоканину, я свернулся в одну из узеньких улиц и, прислонившись к стене, дал волю долго сдерживающим слезам. Я страдал не только духовно, но и физически, точно у меня вырезали кусок тела.

Ах, конечно, теперь в этой слабо освещенной лавке смеются надо мной, ругают меня, и завтра о моем унижении будет известно всем моим родственникам. Как огорчится моя мать, узнав, что у нее такой беспомощный сын!

Когда я вернулся домой, мать и сестра уже спали. Посмотрев на их улыбающиеся лица, я почувствовал облегчение. Ведь я унижался из-за них...

Вскоре я нашел службу. На этот раз моим хозяином оказался армянин, крупный фабрикант.

Накануне отъезда в Астрахань я послал в редакцию газеты «Мшак» маленькую корреспонденцию без подписи. Представьте мою радость, когда я увидел мою пробу пера напечатанной! Ободренный, я послал после этого несколько корреспонденций в петербургские и тифлисские русские газеты за различными подписями. Все они были напечатаны. Отправил я за своей подписью две статьи и в газету «Пчела Армении» — их также напечатали. Успех окрылил меня. Этого оказалось достаточно, чтобы примирить двадцатилетнего юношу с пережитыми огорчениями. С того дня, как я увидел в печати свое имя, судьба перестала казаться мне мачехой, и я начал верить, что из ничего я уже становлюсь чем-то.

Контора наша помещалась на одной из центральных площадей. Много народа приходило туда и по делу и просто так, побеседовать, скоротать время.

Помню бывшего уездного начальника Самсон-бека, его красное, как свекла, лицо, большие уши, сизый нос, походивший на баклажан. Обычно, прежде чем войти в контору, он останавливался в дверях, кашлял, снимая фуражку с кокардой, и вытирал платком плешивую голову, ожидая, чтобы его пригласили и предложили стул. Нако-

нец он входил, садился, откинув фалды своего серого мундира, и выжидал, чтобы кто-нибудь спросил о его славном прошлом. И каждый раз, с некоторыми только вариациями, он повторял почти одно и то же: что он тридцать пять лет прослужил верой и правдой русскому царю и что сегодня «ни один сукин сын не посмеет сказать, что Самсон-бек не держал высоко честь армянского народа». По его словам, население просто боготворило его.

— Правда, многих заставлял я стонать под розгами, несколько человек даже засек насмерть. Конечно, я приказывал лупить этих ослов-мужиков, а что же мне было делать? Мерзавцы не вносили вовремя податей, мне и было велено наставлять их. Словами-то ведь их никак не вразумишь! Но вы вот спросите обо мне у порядочных людей — у помещиков, у купцов, беков. Уж этим-то можно, кажется, доверять, это вам не то что грубиян мужик.

Завистники всякие, конечно, шепчутся по углам: Самсон-бек, мол, брал взятки. Но это клевета, и больше ничего! Не скрою, бывало так, что понравится мне лошадь какого-нибудь бека, я похвалю ее, а наутро, смотришь, она уже стоит привязанная у моих ворот. Или другое вот: оказывал я честь купцам, ходил к ним обедать, и случалось, приглядится мне коврик, я и похвалю его. А вернусь домой — ковер уж тут как тут. Человек я семейный, на жалованье прожить, конечно, не мог, нуждался в деньгах. Озьму иной раз в долг за сорок процентов, а заемодавец мой, смотришь, еще до срока возвращает вексель и сам рвет его. Разве это взятка, скажите по совести? Это же самый обыкновенный подарок, по обычаяу, завещанному нам отцами и дедами... Ну, и я, конечно, не оставался в долгу. Тех, кто умел уважать меня, я всегда избавлял — кого от штрафа, кого от тюрьмы или еще от чего-нибудь.

Среди наших посетителей был еще дьячок Хачан. Входя в контору, он начинал у каждого осведомляться о его здоровье и, получив от всех удовлетворительный ответ, предлагал нюхательного табаку. Чихнув разок, чтобы показать крепость табака, он с удивительным мастерством заводил речь о своем паломничестве в Иерусалим.

— Как только наш пароход приблизился к Яффе, бойкие феллахи, словно саранча, набросились на него. Худые, как копчеца, шемая, выпачканные в саже, черные,

как угольщики, они походили на чертей, сбежавших из ада. Капитан приказал никого не впускать на пароход, но кто мог преградить им путь? Один вырвал у меня хурджин, другой — мафраш, чуть папаху не сташил. Едучи в Иерусалим, видишь людей многих национальностей, начиная с турок и румын и кончая неграми и абиссинцами. Аравия — пуп земли. Багдад — голова ее. Кто не видел этих мест, тот, значит, не видал света. Сподобил меня всевышний побывать в Иерусалиме, и теперь я могу сказать, что не зря прожил свою жизнь, немало я увидел на своем веку. Что скажешь на это, дядя Саак?

Дядя Саак недолюбливал дьячка Хачана и зевал при его рассказах. Это был высокого роста, бодрый, жизнерадостный старик, с коротенькой белой бородкой. Своебразный философ, послушный своим привычкам, он скучал, слушая рассуждения о религии и морали, и оживал, когда речь заходила о женщинах и любви. Несмотря на свой шестидесятилетний возраст, он был женолюбив и похотлив, как обезьяна.

В Шемахе дядя Саак жил когда-то по соседству с пами и занимался торговлей мануфактурой. Помню, когда от чахотки умерла его первая жена, он сбрил свою уже тронутую сединой бороду, выкрасил усы хной, сел на коня и куда-то уехал. Через несколько дней он вернулся в Шемаху с новой женой, молодой женщиной по имени Дурсун. В результате этой женитьбы его взрослые дети поссорились с ним. Но вскоре скончалась и вторая жена. И тогда Саак, дважды вдовец, передал лавку детям, снова отпустил бороду и переселился в Баку.

В первую же нашу встречу в Баку дядя Саак сказал мне:

— Прослышал я, что тут много хорошеных женщин, и вот приехал поглядеть на них. Жениться больше не собираюсь, потому что мало толку от этих поповских благословений. Решил просто так поразвлечься с женщинами.

Ежедневно он заходил в контору, садился у дверей и сладострастно поглядывал на проходивших женщин, иногда подмигивая им. Женщины и любовные приключения — это была излюбленная тема его разговоров. Дядя Саак говорил, что женщина — единственное счастье в жизни. Спиртных напитков он не употреблял, пил только шербет, говоря при этом:

— Рино расслабляет человека, а шербет — укрепляет, как Меджнун¹.

Рядом с нашей конторой находилась бакалейная лавка, которую держали два евнуха, один — очень полный, другой — очень худой, оба преждевременно увядшие. Лица их, лишенные растительности, были цвета айвы, а кожа походила на кожуру печеного яблока.

— Эх вы, дуралеи,— говорил им дядя Саак,— и что вам за радость жить-то оскопленными?

Евнухи сердились, отплевывались и уходили в глубь лавки. Они считали дядю Саака сумасшедшим, с чем я не был согласен.

Дядя Саак говорил:

— Знаешь, Алексан, Магомета я люблю больше, чем Христа. В коране сказано: бери себе жен сколько тебе угодно, наслаждайся. А Христос что говорит? «Мучайся, страдай, но больше одной жены не смей иметь». Хотел бы я ему сказать: «Послушай, Христос, тебе-то что за дело? Разве ты создал человека? Откуда тебе знать, насколько крепка у него поясница? Зачем ты всюду вмешиваешься со своим евангелием? Подумаешь,— сын божий! Как бы не так! Разве бог был женат? Разве могли быть у него дети?»

Много лет спустя я узнал, что этот чудак, умирая, завещал, чтобы никто, кроме красивых женщин, не смел бы плакать над его гробом.

Но самым замечательным из бездельников, посещавших нашу контору, был Мирза-Сероп, с которым я особенно сдружился. Это был худощавый, высокий, еще не старый, но уже увядший узколицый человек, с сединой на висках. То репетитор, то бухгалтер, то писарь у нотариуса или в суде, он из-за своего неуживчивого характера нигде подолгу не засиживался. Его нельзя было назвать буйном, но он очень любил спорить и спорил так горячо, с таким раздражением, что казалось — вот-вот вцепится в собеседника и задушит его своими длинными, kostлявыми руками.

Спэрил Мирза-Сероп обычно на общечеловеческие темы. Политик, мудрец, историк, он философски судил и

¹ Меджнун — герой восточной сказки.

рядил о судьбах народов и правителей, определяя место каждого из них в истории, говорил о настоящем, устремлял взгляд в будущее. Не будучи циником, вроде дяди Саак, он, однако, не почитал ни законов, ни религии, ни традиций, отрицал бессмертие души и почитал только точные науки.

Вычитав в газете о каком-нибудь научном или техническом изобретении, он восторгался, точно ребенок, получивший новую игрушку, и тогда никакими силами нельзя было удержать его от выражения радости. Горе тому, кто осмелился бы в такой момент выразить малейшее сомнение в могуществе науки. Такого он припирал к стене, хватал за ворот и убеждал до тех пор, пока тот, обалдевший и обессиленный, либо соглашался с ним, либо, вырвавшись из его рук, спасался бегством, давая клятву никогда больше не вступать с ним в спор. Справившись таким образом с противником, Мирза-Сероп самодовольно потирал ладони, поднося их к своему длинному, остому носу, и ходил по комнате крупными шагами взад и вперед, покачиваясь так, словно он ехал верхом на верблюде.

Мирза-Сероп был холост. Он отвергал брак, о женщинах говорил мало и всегда отрицательно. Как протекала его личная жизнь, этого я не знаю. Он никогда не распространялся на эту тему. Помню только, что и зимой и летом он неизменно носил одну и ту же одежду: серый сюртук с длинными полами, латаные ботинки, старенькую фуражку и вместо галстука — кусок черной ленты.

Это был безграничный оптимист. Идеалом его являлось счастье всего человечества, в которое он глубоко верил. Он боготворил природу, чтя ее нерушимые законы, и считал человека венцом творения. Человека он любил независимо от его положения и сетовал по поводу недолговечности человеческой жизни. Не веря в загробную жизнь, он требовал от земной жизни больше, чем это было отпущено природой. Он говорил:

— Я признаю, что смерть неизбежна и никакая наука, по-видимому, не сможет никогда подарить человечеству бессмертие. Но почему природа не сделала исключения для своего шедевра? Мы умираем — пусть так, но почему же мы рождаемся всего лишь раз? Я хотел бы умереть сегодня, с тем чтобы снова появиться на свет через два

века и увидеть, какие завоевания сделает за это время наука.

Мирза-Сероп оказал на меня немалое влияние. По его совету я прочел книги, которые впоследствии принесли мне пользу. Вот почему я всегда вспоминаю о нем с любовью и признательностью.

КНИГИ. ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧИХ

Я и некоторые мои товарищи увлекались в те времена чтением. Однажды мы решили обратиться в «Человеколюбивое общество» с просьбой отвести нам одну комнату в принадлежащем ему здании.

Мы решили собрать туда имевшиеся у нас книги и, изыскав необходимые средства, постепенно организовать библиотеку-читальню.

К счастью, председателем правления «Человеколюбивого общества» оказался мой патрон, хоть и не большой любитель книг, но очень светлая голова. Наша просьба была удовлетворена щедрее, чем мы могли ожидать. Нам не только отвели комнату, но даже постановили отпускать ежегодно на нужды библиотеки пятьсот рублей. Библиотекарем назначили меня.

Я был счастлив, что наконец-то попал в родную стихию, и чувствовал себя, как курица в амбаре, заполненном пшеницей. На первые пятьсот рублей мы выписали из Москвы множество книг, большей частью научных, экономических и философских. В составлении списка мне помог инспектор народных училищ Бегляр Степанян, очень начитанный человек.

Вот когда я по-настоящему принялся за чтение! Не имея ни программы, ни указателя, я читал все, что попадало мне под руку: сегодня Герберта Спенсера, завтра — Лассала, Сен-Симона, Прудона и так далее. С революционной литературой я знакомился урывками. Чтение же изящной литературы началось с приключенческих и уголовных романов; лишь позже я познакомился с лучшими образцами прозы и поэзии.

Но мне не суждено было оставаться долгое время в своей должности. Однажды меня неожиданно вызвали к жандармскому полковнику. Я и сейчас помню его фамилию:

лию — Тальдрен. Видно, кому-то я пришелся не по нраву, и на меня донесли.

С большим удивлением узнал я от полковника, что я, сам того не подозревая, оказался революционером: меня обвиняли в оскорблении царской персоны.

— Я не питаю никакой злобы против царя,— попытался я наивно отвести подозрения.

— А в таком случае чем вы объясните вашу связь с сосланными на Кавказ студентами?

— Простите, я не знал, что знакомство со студентами — политическое преступление.

— Конечно, раз эти студенты революционеры.

— Я не знал этого,— сказал я, хотя мне отлично было известно, за что были сосланы на Кавказ мои знакомые.

Я избежал ареста, но правление «Человеколюбивого общества» дало мне понять, что мое дальнейшее пребывание в библиотеке может набросить тень на благонадежность всего «Общества».

Я вернулся на прежнюю службу, но оставался там недолго. Поступил в другую контору, и опять вернулся на старое место, чтобы вскоре покинуть и его. Так переходил я с места на место, не уживаясь ни на одной из служб. Я чувствовал, что в Баку я гибну духовно.

Мысли и чувства мои были целиком заняты одной литературой. Никакое другое занятие больше меня не интересовало.

А пока я писал статьи в армянские и русские газеты. Недостатка в материале не было: нефтяная промышленность, промысла, фабрики и заводы, пароходство — это был неисчерпаемый материал для наблюдений, хотя сам по себе Баку уже не представлял для меня интереса.

Под влиянием некоторых книг я особенно заинтересовался положением рабочих, и чем больше я знакомился с их жизнью, тем глубже проникался ненавистью к промышленникам и заводчикам.

Современный читатель даже представить себе не может, в каком положении находились в те времена рабочие. Это была та мрачная эпоха в Закавказье, когда еще не разразились волны рабочих стачек и вообще не было никаких средств для защиты интересов рабочего класса.

Я считаю нелишним привести тут с некоторыми сокращениями, но без изменения моего тогдашнего примитив-

ногого стиля и языка, одну заметку, написанную мною сорок восемь лет назад. Пусть теперешний рабочий узнает, в каком жалком состоянии находились тогда трудящиеся.

«Повсюду, в любом обществе, вопрос об улучшении экономического положения рабочих давно уже вошел в круг важнейших социальных вопросов. Теперь, пожалуй, не найти более или менее передовой нации или народа, которые в той или иной степени, в той или иной форме не занимались бы судьбой этого самого обездоленного класса, не старались бы облегчить его горькие страдания, время от времени меняя повязки на его бесчисленных ранах.

Только у нас несчастный рабочий, китайской стеной отгороженный от остального общества, лишенный его забот, обреченный на тяжелый, невыносимый физический труд, изо дня в день изнашивается, вымирает духовно и физически, не удостаиваясь нашего внимания, не затрагивая даже самых элементарных наших человеколюбивых чувств.

Кому не приходится ежедневно встречать несчастного носильщика? Его тело, представляющее лишь кожу да кости, едва прикрыто лохмотьями, которые должны защищать носильщика зимой от стужи, а летом от жгучих лучей. С выручным приспособлением на спине, с веревкой через спину, он, прикорнув где-нибудь на углу улицы, ждет, чтобы кто-нибудь нагрузил ему на спину поклажу в семь-восемь пудов и, заставив его тащиться из одного конца города на другой, заплатил бы ему за это несколько копеек.

А кому не случалось видеть рабочего, который с молотком в руках и в жару, и в дождь, и в снег дробит камни для мостовой большого города?

Кто не видел этого же рабочего, когда он с огромным камнем или тяжелым бревном на плече поднимается по бесчисленным ступенькам на второй или третий этаж строящегося дома какого-нибудь богача? С его исхудалого лица градом льет пот, от напряжения выступают ребра, глаза налились кровью, под непосильной тяжестью гнутся колени, а он с покорностью раба несет эту тяжесть, потому что к этому его принуждает непримиримый враг — голод.

Вглядись внимательно во все это, дорогой читатель, и, если ты обладаешь хоть сколько-нибудь чутким сердцем,

ты будешь охвачен ужасом — хозяева со звериной бессердечностью травят рабочего. Дай мне руку, дорогой читатель, и следуй за мной полюбопытствовать, как происходит все это, посмотреть, до какой степени попираются права рабочего различными корыстолюбцами. Не требуй только от меня глубокой осведомленности, ибо я заранее признаюсь, что ее у меня нет. Я укажу лишь тебе уголки, где вершатся удручающие дела, о которых ты, может быть, никогда не слышал. Я не поведу тебя к описанному выше носильщику или к строигельному рабочему, которых ты всегда имеешь перед глазами и которых ты видишь так часто, что даже перестаешь замечать. Я поведу тебя в иные места, туда, где положение рабочего еще печальнее, еще ужаснее. Это — знаменитые бакинские нефтяные промыслы и заводы так называемого Черного города.

За последние два десятилетия быстрое развитие нефтяной промышленности Баку привлекло в этот город из разных уголков Закавказья — Сисиана, Татева, Карабаха, Шемахи и многих других уездов, а также из России и Ирана в числе различных авантюристов, также и рабочих, которые в поисках хлеба насыщенного покинули родные края, любимые семьи и поселились здесь, на Балахано-Сабунчинских промыслах и в Черном городе.

«Черным городом» называется группа нефтяных заводов, разбросанных на протяжении примерно шести квадратных верст и издали кажущихся маленьким городком, окутанным туманом. «Черным» он называется по той причине, что тут все черно, начиная от неодушевленных предметов и кончая домашними животными и человеком. Достаточно остаться часа на два в этой атмосфере, отравленной густым дымом многочисленных нефтяных заводов, как человек делается неузнаваемым, он с ног до головы покрывается копотью. Свежему человеку невозможно долго оставаться в этом гумане, где трудно дышать из-за недостатка воздуха. Несмотря на то что заводы расположены довольно далеко друг от друга, их дым образует такую завесу, что солнечные лучи с трудом пробиваются сквозь нее.

Рот под этим мглистым небом и живет большинство рабочих, переселяющихся в Баку, и именно тут и нужно ознакомиться с их ужасающим положением.

Не надо ходить далеко. Зайдем на первый же завод и посмотрим, что происходит там. Прежде всего хотя бы бегло ознакомимся с жилищем рабочего. Представьте себе, читатель, каморку в две сажени шириной, четыре — длиной и пять-шесть футов высотой, вернее, не каморку, а грязный, темный, сырой подвал, где можно держать лишь животных. Помещение, где проживает до пятнадцати человек, годами не проветривается, пол здесь земляной, на стенах от сырости выступила плесень, с потолка свешивается густая паутина. Нельзя даже представить себе, что тут можно соблюдать какие-либо правила гигиены. Единственное оконце, которое устроено как будто для того, чтобы придать конуре еще более мрачный вид, настолько узко и закопчено, что через него не проникают ни свет, ни воздух. От неподметаемого по целым неделям пола и остатков пищи тут стоит удушливое зловоние...

На многих заводах в помещениях, отведенных под жилье рабочих, отсутствуют койки, а там, где они и имеются,— так это просто грязные доски, уложенные в ряд и покрытые изодранными, грязными циновками, заменяющими постель; ночью вместо одеял рабочие укрываются лохмотьями, в которые они одеваются днем. На заводах, где нет даже этих досок, рабочие спят прямо на земляном полу, настолько сырому, что во многих местах на глубине двух-трех аршин проступает вода.

Как вредна подобная сырость для здоровья — это понятно даже самому невежественному человеку. Ревматизм, желтуха, катар желудка, чахотка — вот последствия такой жизни.

Особенно страдают рабочие от болезней зимой. Во многих жилищах нет печей, их заменяют мангалы¹. Но было бы лучше, чтоб рабочие вовсе не отапливали своих жилищ, так как от мангалов на стенах проступает сырость, портящая воздух зловонными испарениями и нестерпимым смрадом.

Выше я сказал, что попираются даже естественные человеческие права рабочих. Приведу несколько фактов, подтверждающих это утверждение.

Прежде всего бросается в глаза тот факт, что заводчики и промышленники не определяют продолжительно-

¹ Мангалы — переносная печь без дымоходов.

сти рабочего дня. Очень немного таких предприятий, где рабочий занят только двенадцать-тринадцать часов в сутки. На маленьких заводах рабочий занят с трех утра до десяти-двенадцати ночи, без отдыха и без перерыва. Зачастую он имеет возможность съесть свой кусок черствого хлеба только во время работы.

Ежедневная непрерывная девятнадцатичасовая работа быстро расшатывает здоровье рабочего. Будь у нас статистические данные, мы узнали бы, каких огромных размеров достигают в Баку заболевания и смертность. Вряд ли ты, читатель, сможешь указать такого рабочего, который вернулся бы на родину таким же здоровым, каким он приехал в Баку. Нужно принять во внимание и то обстоятельство, что труд рабочих, занятых на нефтеперегонных заводах, несравненно тяжелей и опаснее, чем всякий другой физический труд. В чем заключается труд работающих здесь и в чем его опасность — об этом я выскажусь в другой раз более обширно. Теперь же коснусь этого бегло.

Встав утром, после двух-трех часов сна, рабочий первым делом должен наполнить котлы неочищенной нефтью. На это требуется от одного до двух с половиной часов, в зависимости от величины котла. Если котел вмещает пятьсот пудов, рабочему нужно по крайней мере два часа непрерывно качать насосы, пока наполнится бак. Эти первые два часа ему приходится работать в одном и том же положении, то есть стоя согнувшись в три погибели, от чего нарушаются кровообращение, начинается ломота в спине, головные боли и прочее.

На иных заводах, на которых из-за скучности владельцев нет насосов, рабочие доставляют нефть из амбаров к котлам в ведрах или в так называемых бардагах — особых глиняных сосудах. Понятно, что этот способ еще больше затрудняет работу, так как если котел вмещает, скажем, двести ведер, то рабочий должен столько же раз наклоняться.

Случается, что посуда, выпав из рук рабочего, калечит ему ноги. Но рабочий думает в этот момент не о своемувечье, а о том, что он ответит хозяину. Тот же, предварительно обругав рабочего, удерживает из его жалованья стоимость посуды и пролитой нефти.

Вторая обязанность рабочего — доставать воду из колодца. Эта работа аналогична первой.

Третья обязанность — переливать перегнанную нефть из котлов в чаны. Эта работа также выполняется при помощи насоса или ведер. Нужно при этом заметить, что баки находятся довольно далеко от чанов, часто рабочий, перенося жидкость в ведрах, падает на скользкой дороге.

Четвертая обязанность — перегнанную, но еще не очищенную нефть — фотоген — перелить в другое место, где она очищается с помощью поташа и купороса. Известно, как опасен купорос. Рабочий должен обращаться с ним очень осторожно, так как достаточно капле купороса попасть на тело — и ожог неминуем. Как ни осторожны рабочие, ожоги получают многие из них.

Я имел несчастье однажды видеть, как взорвался баллон с купоросом и едкая жидкость облила рабочего, который нес его. Это было страшное зрелище. Челозек горел и как сумасшедший метался в разные стороны, пока подспевшие товарищи не начали обливать его водой. Ладдеец же купороса в это время был занят разглядыванием своего ботинка, на который попала капля едкой жидкости.

Вот какую тяжелую и опасную работу проделывает заводской рабочий в течение восемнадцати-девятнадцати часов в сутки!

Посмотрим теперь, как обращается с ним заводчик и как он оплачивает его труд.

Во-первых, на разных заводах труд рабочего оплачивается по-разному. На больших предприятиях оплата сравнительно высока: двенадцать, шестнадцать, восемнадцать рублей в месяц, а на мелких — десять, четырнадцать, шестнадцать. Но обычно даже и эту мизерную плату рабочий не получает сполна. В этом деле особенно гнусную роль выполняют конторщики. Пускаясь на всякие хитрости и плутовство, они часть зарплаты рабочего присваивают себе. И неудивительно, что конторщик, получающий в месяц каких-нибудь двадцать пять—тридцать рублей жалованья, в течение нескольких лет наживает капиталец и начинает собственное дело.

Вот образец того, как плуты-управляющие эксплуатируют рабочего. Допустим, что управляющий нанял рабо-

чего за шестнадцать рублей в месяц. Первые три-четыре дня, а то и целую неделю, он заставляет рабочего работать бесплатно, якобы для того, чтобы испытать его трудоспособность. Никакого письменного договора предприниматель с ним не заключает, да и для чего ему письменный договор, когда он и так страхует себя, систематически удерживая часть жалованья рабочего. Если рабочий задумает оставить работу, все равно у него ничего не получится, так как в этом случае он лишится денег, удерживаемых хозяином. Проходят годы, рабочий начинает тосковать по семье и решает вернуться на родину. В таких случаях заводчик знает, как ему поступить, он хорошо изучил свою роль.

— Какой расчет? Я тебя не увольняю. Ты обязан был за месяц заявить мне об уходе, чтобы я нанял кого-нибудь на твое место. Да знаешь ли ты, какой убыток принесет мне твой уход в такое горячее время?

Предприниматель, конечно, знает, что уход простого рабочего не может причинить ему никакого убытка, но он говорит об этом с другой целью. Рабочий, понимая, к чему тот клонит, начинает умолять произвести с ним расчет и отпустить его. Мольба рабочего несколько «смягчает» предпринимателя, и он дает окончательный расчет, но как?

— За полтора года работы,— говорит он,— тебе причитается столько-то. Ты уже получил столько-то. За десять разбитых баллонов причитается с тебя столько-то. За дни, в которые ты не выходил на работу, удерживается столько-то. Остается тебе получить столько-то,— бери свои деньги и проваливай ко всем чертям!

Как бы ни возмущался рабочий, сколько бы ни молил и ни проливал он слез,— кто его послушает? Если же он будет слишком настойчив, то получит по шее. Поневоле ему приходится брать жалкие гроши и уходить, вытирая слезы.

Приведенных фактов, я думаю, достаточно для того, чтобы иметь представление об эксплуатации рабочего.

Но нет, это еще не все. Рабочий чувствовал бы, быть может, себя счастливым, если бы в продолжение этих восемнадцати-девятнадцати часов ему давали бы спокойно работать. Я не буду распространяться по этому вопросу, не буду рассказывать о побоях и самой отвратительной площадной браны, которыми заводчики ежедневно возна-

тряждают рабочих. Я расскажу лишь вкратце о двух случаях, которые нередки в этой обстановке.

Об одном из них мне рассказал заводчик Александр Наджарян, второй же широко известен бакинской общественности.

Вот рассказ А. Наджаряна. Один предприниматель нанял рабочего, по обыкновению, без письменного договора. Прошли месяцы, и рабочий, ежедневно переносивший от хозяина побои и ругательства, решил бросить это место и наняться к другому предпринимателю. Заводчик же не отпускал его. Не дожидаясь расчета, рабочий стал собирать свои пожитки, чтобы уйти. Тогда владелец завода приказал привязать его к столбу и избить. Началось истязание. От жестоких ударов палками рабочий стал истекать кровью. На его крик сбежались соседи, в том числе и Наджарян, и полумертвого рабочего с трудом вырвали из рук хозяина. Избитый пролежал в больнице целых четыре месяца.

А вот и второй случай.

На промыслах некоего Адамяна скривилась шестнадцатидюймовая железная труба, спущенная в скважину. Это обычное явление в начале бурения новой скважины.

Управляющий промыслами, вместо того чтобы воспользоваться специальным инструментом, велел молодому рабочему-тюрку спуститься по каналу в трубу и исправить ее. Держась за веревку, рабочий начал спускаться, но образовавшийся в скважине газ стал душить его, и он, отпустив веревку, упал на дно скважины.

Однако это не смущило предприимчивого управляющего. За пятьдесят рублей он уговорил другого рабочего опуститься в скважину и извлечь оттуда своего товарища. Смельчака обмотали веревкой и спустили в скважину. Очнувшись на дне скважины, он успел зацепить железным крюком тело погибшего рабочего. Но пока их подняли наверх, то и второй рабочий оказался мертвым.»

Такая жизнь бакинских рабочих, описанная мною сорок восемь лет назад, в те времена считалась настолько привычной, что она не вызывала возмущения даже среди так называемых «передовых интеллигентов».

Да и в последующие годы мало что изменилось в жизни нефтяных рабочих. Только Октябрьская революция положила конец существовавшему произволу.

Работая то счетоводом, то копторщиком, переходя из одной конторы в другую, я все больше и больше убеждался в том, что нужно противоядие, чтобы не заразиться распространенным всюду пороком стяжательства.

Это противоядие я носил в душе. То была моя любовь к литературе, мое призвание к ней. Находясь все время среди людей, я в то же время пребывал как будто вне жизни: меня не привлекали деньги, меня занимала лишь человеческая душа. Я весь ушел в роль наблюдателя и исследователя этой среды и поэтому был защищен от грязи. Но это было не все: я не упускал случая заклеймить падение нравов даже в тех случаях, когда это касалось людей, от которых зависело мое материальное положение.

Вопреки моему необычайно наивному убеждению, что добряк должен быть любим, а деспот — вызывать отвращение, я видел, что все происходит наоборот: любовью и уважением пользовались те, которые меньше всего считались с человеческой моралью.

На моих глазах человек, вцепившись в горло себе подобному, прижал его к стене, душил его, но никто из идущих мимо не пытался спасти погибавшего. Сильные валили слабых, ступали через их трупы, шли без оглядки вперед.

Происходило то же самое, что некогда наблюдалось на калифорнийских золотых приисках, а ныне в Аляске,— все, вплоть до открытого грабежа и убийств.

Последние четыре года жизни в Баку я провел в такой среде, где украсть последнюю копейку у товарища и лишить его детей куска хлеба считалось проявлением ума и энергии, и это не только не осуждалось, но становилось даже предметом зависти. Сотни случаев, один другого уродливее и отвратительнее, прошли перед моими глазами. В этой именно среде я нашел типы Андреаса Элизбаряна и Сагатела, выведенные в моей драме «Из-за чести».

Сегодня, вспоминая все это, я с ужасом думаю о том мраке, в котором протекали мои лучшие, юношеские годы.

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

До девятнадцати лет я не знал женщин. Женщина вообще внушала мне какой-то необъяснимый страх. Мне казалось, что для сближения с женщиной надо иметь осо-

бую смелость, которой я был лишен. Когда товарищи знали меня с девушками, я не знал, как держать себя; сам я с ними не заговаривал, когда же они заводили со мной беседу, то я терялся и краснел, как девочка. Девушки смеялись надо мной, что еще больше усиливало мое смущение, и я старался как можно скорее уйти от них.

Замечу кстати, что речь идет о русских женщинах. В ту пору в Баку местные женщины редко появлялись на улицах или в обществе. Большинство из них еще не было избавлено от чадры и затворничества.

Среди моих товарищей был один, моложе меня года на два, физически более развитой, чем я, хотя и не такой здоровый. Избалованный барчук, он совсем не разделял моего увлечения книгами.

Однажды он сказал мне:

— Ты, Александр, совсем ребенок. Есть вещи, о которых ты и понятия не имеешь.

— Какие же это вещи? — спросил я.

— На словах этого не объяснишь, дай-ка я сведу тебя в одно место, тогда все узнаешь.

— Куда ты хочешь свести меня?

— Вот видишь, даже этот вопрос уже показывает, что ты совсем неопытен. Ты должен был сразу сообразить, что я хочу сказать. Пойдем, ты будешь мне благодарен, когда увидишь. Не бойся, денег у меня хватит, тебе не придется расходовать ни копейки. Идем!

Я послушался, движимый не столько любопытством, сколько из-за свойственной мне слабохарактерности. Я и теперь очень уступчив, но пусть не думают, что я считаю это добродетелью. Боже упаси! Я глубоко сожалею, что таков.

Мы сели в фаэтон и отправились в отдаленную часть городского предместья. Хотя мой товарищ и не сказал, куда он везет меня, но я уже догадывался. Экипаж остановился на узенькой улице перед одноэтажным домом. Снаружи он ничем не отличался от других, только у входа на дверях висел большой керосиновый фонарь с надписью: «Гостиница Нижний Новгород». Изнутри окна дома были закрыты ставнями, и можно было подумать, что он необитаем. Товарищ позвонил. Прошло несколько минут, прежде чем дверь медленно приоткрылась. Лицом к лицу перед нами стояла женщина с очень красным ли-

цом, покрытым родинками и напоминавшим разрезанный арбуз с черными семечками.

— Кто вы? — спросила она, выставив свою пышную грудь, словно желая преградить нам вход.

— Здравствуйте, Акулина Петровна! Не узнали? — произнес тоном завсегдатая мой товарищ.

Заслонив рукой глаза от солнца, женщина воскликнула:

— А, это вы, Фадеич! Пожалуйте, пожалуйте! Какого красавчика вы привели к нам!

— Это мой приятель, Акулина Петровна, прошу любить и жаловать. Эмилия дома?

— Входите, входите, все дома. Сегодня день осмотра, приехал доктор. Удачный день.

Фадеич до этого научил меня курить и пить водку. Теперь он переводил меня в «высший класс».

Я сделал нерешительную попытку удрать, но Фадеич, поняв мое намерение, крепко схватил меня за руку, и сказал:

— Не срами меня, стыдно!

Пройдя полутемный коридор, мы оказались на узком, очень длинном балконе, выходившем на грязный, сырой двор. Совершенно голая девушка, увидя нас, взвизгнув, скрылась в глубине коридора. На балконе толпилось около десяти молодых женщин в очень легких пестрых платьях. У некоторых я заметил на руках ленты красного цвета. При виде нас они поспешили скрыться.

— Эмилия, выходи, твой черненький пожаловал! — крикнула Акулина Петровна осипшим от алкоголя голосом.

Из одной комнаты вышла русая девушка. Увидев моего товарища, она бросилась к нему, обнаженными руками обвила его шею и пригласила нас обоих в свою комнату. Фадеич почти силой втащил меня туда, потом, что-то шепнув девушке на ухо, засмеялся. Оглядел меня внимательным взором, она утвердительно кивнула головой.

— Ну, ты оставайся с нею, а я пойду к другой,— сказал мне Фадеич.— Не бойся, Эмилия самая чистая и самая красивая из здешних девушек. Знай, я уступаю ее только тебе. Ну, что ж ты стоишь истуканом? Выпустил глаза, словно костью подавился. Ничего, ничего, первый

раз я тоже вел себя точно так же. Эмилия, обними его, поцелуй. Хороший мальчик, не правда?

И, толкнув Эмилию в мои объятия, он вышел. Девушка притворила дверь, и мы остались вдвоем.

— Позволь мне сначала привести себя в порядок,—сказала она, подходя к зеркалу.

Пока она занималась своим туалетом, я окинул взглядом комнату. Ее освещала свисавшая с потолка лампа в красном абажуре. Кроме широкой кровати, здесь стояли два стареньких венских стула и туалетный столик с пузырьками, коробочками, расческами, щетками и щеточками. В одном углу к стене был подвешен жестяной умывальник, под ним таз, полный мыльной воды, в другом углу висел образ богоматери в желтой медной ризе. Перед иконой мерцала лампада. В комнате стоял странный, неприятный запах.

Девушка, показавшаяся мне с первого взгляда очень привлекательной, вблизи производила совсем другое впечатление. Ей было лет восемнадцать. Но чересчур густо положенная на щеки краска, подведенные брови и в особенности синие круги под глазами делали ее похожей на потерпевшую, заигранную куклу. Особенно неприятны были ее манеры проститутки, так не соответствовавшие ее возрасту.

Я в душе ругал товарища. Зачем он оставил меня здесь и сам ушел! Конечно, я понимал его бескорыстное желание доставить мне удовольствие, но именно это обстоятельство унижало меня в собственных глазах. Я только недавно кончил читать романы Тургенева и русскую женщину представлял себе в образе его героинь. Правда, я не был так уж наивен, чтобы не знать, что одно дело книги, а другое — действительность, которую я видел перед собой. Но, тем не менее, женщина в моих глазах была окружена каким-то ореолом, независимо от ее положения.

— Чего же ты не подходишь? — обратилась ко мне Эмилия с гримасой, какой до тех пор я не встречал ни на одном женском лице.

Затем, закурив папиросу, она присела на постель, закинула ногу за ногу и спросила:

— Что будем пить, пиво или вино?

— Ни то, ни другое,—ответил я.

— А я хочу пить. Жарко. Надо освежиться. Лучше пиво,— сказала она и позвонила.

Вошел слуга в грязном фартуке, с сизым, опухшим лицом. Его взгляд и манеры сразу внушили мне отвращение.

— Иван, пильзенского и паксимат,— заказала Эмилия.

— Только-то и всего? — произнес слуга с нескрываемым презрением.— Видно, у барина нет аппетита.

— Подай сначала пива, а там видно будет.

Пока Эмилия заказывала, я заметил на ее постели книжку. Прочел ее заглавие: «Любовные приключения послушника».

— Вы любите читать? — спросил я.

— О, очень люблю.

— А Тургенева читали?

— Тургенева? Нет, про такого не слыхала.

Я упрекнул ее, сказав, что стыдно русской девушке не знать Тургенева.

— Он что, святой? — спросила Эмилия.

Я с жаром объяснил ей, кто такой Тургенев, и посоветовал непременно прочесть его.

— Хорошо, ты принеси мне его книжки, я почитаю. А если ты будешь любить меня так же, как Фадеич, то прихвати и шоколаду. Он всегда привозит мне шоколад. Не знаю, почему сегодня он про него забыл. Ты не любишь шоколад? Я обожаю.

Эти слова, произнесенные детским тоном, на миг показали Эмилию в новом свете. Казалось, чья-то невидимая рука накинула золотое покрывало на ее растленное тело. Во мне проснулась горячая жалость к ней. Я вспомнил рассказ Мармеладова о своей дочери. Может быть, и у Эмилии отец пьяница, и она, толкаемая нуждой, продала свою невинность какому-нибудь подлецу, а там уж и докатилась до публичного дома.

«Бедная девушка,— подумал я,— надо помочь тебе оставить эту позорную жизнь. Это долг всякого честного человека».

И, приняв это героическое решение, я тотчас же взялся за его осуществление. Начав с Марии Магдалины, я перешел к подобным же героям современности, о которых мне приходилось читать в романах. К сожалению, я

не припоминаю сейчас подробностей моего витийства; помню только хорошо, что я был очень красноречив. Мои слова были настоящими перлами, тем более, что я украшал свою речь цитатами из лучших книг.

Сидя на постели, опустив руки на свои полные бедра и разинув рот, Эмилия в изумлении глядела на меня. Я был убежден, что слова мои глубоко трогают ее, и даже вообразил, что вот сейчас она должна пасть передо мной на колени, как Мария перед Христом, и покаяться в своих грехах.

Я кончил свою речь.

— Скажи, пожалуйста, ты не из дьячков будешь? — совершенно невозмутимо спросила меня Эмилия.

Случалось ли вам видеть кошку, внезапно выброшенную из теплой комнаты в снег? Вот нечто подобное испытал и я в этот момент.

Что? Дьячок? Это я — дьячок? И это после моей столь нравоучительной речи! Я был потрясен и оскорблен до глубины души.

Несомненно, я достойным образом ответил бы на это оскорбление, если бы в эту минуту не вошел половодь. На ржавом металлическом подносе он принес две бутылки пива и блюдечко с поджаренными солеными ржаными сухарицами. Поставив поднос на туалетный стол, он заложил руки за спину и уставился на меня.

— Что вам нужно? — крикнул я в ярости, собираясь излить на него свою желчь и едва сдерживаясь, чтобы не запустить в него стулом.

— Разрешите получить?

— Сколько?

— Два с полтицой, напиток недорогой...

К счастью, у меня в кармане оказалось три рубля. Я вынул их и швырнул на пол.

— О, какой вы горячий, господин, — заметил нахал, подбирая деньги. — Должно быть, Эмилия не успела вас остудить.

Он загоготал и вышел.

— Пей, — обратилась ко мне Эмилия, наполнив стакан. — Не хочешь? Какой же ты странный! И ни разу даже не поцеловал меня. Точно мы в церкви. Вот мой черномазенький — совсем другое дело. Как войдет, сейчас

же раздевается. Очень страшный мужчина. А ты никуда не годишься. Но не беда, попривыкнешь...

Выпив залпом два стакана пива, она встала и потянулась ко мне. Когда я почувствовал прикосновение ее оголенных рук, мне показалось, что мою шею обвили змеи. Грубо высвободившись из ее объятий, я выбежал на балкон, а оттуда на улицу. Я чувствовал себя актером, осмеянным и освистанным на первом же выступлении. Я считал, что исполнил свою роль прекрасно,— оказалось же, что я провалил ее.

— Постой! — услышал я голос товарища.

Он был взбешен.

— Болван! — пробирал он меня, стоя посередине улицы.— Виданное ли дело, чтоб человека привели на свадьбу, а он стал петь «Спаси, господи». Эмилия рассказала мне о твоем «геройстве». Акулина Петровна возмущена. И себя и меня опозорил перед этими девками. Убирайся к черту, идиот!

Я не стал возражать ему.

Мне было двадцать пять лет, когда я впервые познал увлечение женщиной. Вообще и физически и умственно я развивался медленно. Только болезненные организмы цветут еще не распустившись, я же был здоров.

Предметом моего увлечения была девятнадцатилетняя русская девушка, преисполненная революционного духа. За год перед этим она окончила гимназию и теперь собиралась в Москву, чтобы получить там высшее образование и войти в круг революционной молодежи.

Была ли эта девушка красива? Если бы в то время кто-нибудь посмел усомниться в этом, я размозжил бы ему голову. Но сегодня я скажу прямо: она не только не была красива, а скорее наоборот. Но что поделаешь! В то время каждая белокурая девушка казалась мне прекрасной. Да в конце концов, что такое красота, как не молодость и свежесть?

Надо сказать, что первым в своих чувствах объяснился не я ей, а она мне.

Но, как бы там ни было, я был увлечен. Разбил же нашу любовь трагический случай.

Был летний вечер. Я и любимая девушка сидели на старом кладбище, откуда открывался восхитительный вид на море. Наверху, в фиолетовом небе, в дымке легких облаков плыл полумесяц, то скрывая, то открывая свое лицо, подобно кокетливой нимфе. Внизу, словно расплавленное серебро, сверкала неподвижная морская гладь. Ближе к нам лежал городской сад с его жиенкой растительностью. Там происходило гулянье. Сад был иллюминирован сотнями разноцветных фонариков, таинственно мерцающих в ветвях своими огоньками. До нас доносился гул толпы и бравурные звуки военного оркестра.

Мы с увлечением беседовали: она говорила о своих планах, я — о своем будущем. Время от времени мы целовались. Часы бежали незаметно. Убрав с моря свои изумрудные лучи, луна скрылась за скалистыми холмами. Погасли уже и разноцветные фонарики, смолкла музыка, а мы все продолжали сидеть на могильной плите.

Вдруг мне показалось, что над нашей головой с жужжанием пролетел огромный жук и сел неподалеку от нас.

Вслед за ним пролетел второй.

— Пуля! — вскрикнула девушка и вскочила. — В нас стреляют!

— Что же нам делать?

— Не знаю.

— Надо бежать.

И она побежала. Я последовал за ней, но быстро спохватился, что бежать, пожалуй, опаснее, чем оставаться на месте. Спасаясь от пуль, мы легли за одиу из могильных плит. Послышался топот. Ясно было, что нас преследовали. Мы вскочили и снова пустились бежать, стараясь поскорее добраться до сада.

— Осторожно, обрыв! — крикнула вдруг девушка и круто свернула влево. Она обладала лучшим зрением, чем я.

Я не успел сдержать разбега. Мне почудилось, будто чья-то могучая рука взметнула меня на воздух и, сильно встряхнув, хватила обо что-то твердое. В одно мгновение передо мной прошеслась вся моя жизнь. Подобное чувство я пережил еще раз, — когда однажды я чуть было не утонул в море.

Я упал с высокой скалы, но сознания не потерял. До меня донесся голос девушки.

— Ты жив? — кричала она сверху.

Я ощупал свою голову: она была цела. Попробовал стать на ноги — не смог. Левая не повиновалась. Очевидно, она была разбита, хотя сразу я не почувствовал боли.

Спускаясь со скалы, девушка звала на помощь:

— Помогите, помогите!

Передо мной в темноте появились две фигуры. Чиркнула спичка, и я увидел двух мужчин: один был безоружен, другой же вооружен с головы до ног, в руке он держал огромный кинжал.

— Кто вы такие? — спросила их девушка.

— Я кладбищенский сторож, — ответил вооруженный.

— Это вы стреляли в нас? — спросил я.

— Да.

— Зачем?

— Потому что после десяти часов запрещено оставаться на кладбище. Я три раза вас предупреждал: «Уйдите, не то буду стрелять». Вы не уходили. Я выстрелил два раза, чтобы напугать вас.

— Но вы могли убить нас!

— Конечно, третьей пулей я непременно убил бы одного из вас. Я имею на это право, мне так приказано.

— Кем приказано?

— Полицией, по распоряжению губернатора.

Выяснилось вот что: две семьи враждовали друг с другом и не брезговали ничем, чтобы причинить друг другу как можно больше вреда. Дело доходило до того, что они раскапывали могилы противной стороны, извлекали трупы и надругивались над ними. Чтобы положить этому конец, и была назначена охрана со строгим предписанием.

Меня усадили на извозчика и повезли домой. По дороге нога так распухла, что пришлось разрезать ботинок, чтобы снять его.

Я пролежал семь недель на спине, пока мою ногу не вылечила одна армянка, слышавшая за опытного костоправа.

Девушка уехала в Москву. Баку для меня опустел... Я бросил службу и решил переселиться в Тифлис, чтобы здесь целиком посвятить себя литературе.

У ЦЕЛИ

Тощая растительность Апшерона выжжена августовским солнцем. Своим убогим видом серая равнина угнетает путешественника. Постепенно исчезает Каспийское море, омывающее пустынные берега и тщетно пытающиеся своими пенящимися волнами оживить их мрачную наготу.

Мы едем по Муганской степи. Ни деревца, ни зеленого кустика, ни единой птички. Можно подумать, что страшный пожар уничтожил в этом крае всякую жизнь, оставив лишь мириады комаров, которые тучами врываются в вагон, чтобы терзать изнывающих от жары путников. Да вот еще полевые мыши и ящерицы с удивительным нахальством снуют среди колючек. По-видимому, они чувствуют себя здесь хозяевами и делают все что им угодно. К вечеру их сменяют лягушки, своеобразным концертом нарушающие тишину.

Я еду в Тифлис. Еду осуществлять сокровенную мечту своей жизни, мечту о литературной работе.

Много лет прошло с тех пор. Теперь мой поступок кажется мне донкихотством, но тогда, если б кто-нибудь сказал мне, что занятие литературой от представителя малого народа требует больших жертв, я, несомненно, возмутился бы. Творческий недуг давно владел мною, и ничто уже не могло исцелить меня. Не удержали меня даже слезы матери, оставленной мною в нужде, слезы, так обильно оросившие мою грудь в минуты расставания.

Я прекрасно знал, что если бы остался в Баку, мне, подобно большинству моих сверстников, рано или поздно удалось бы разбогатеть. Немногое требовалось для этого: чуточку ума, посредственная энергия и согласие на сделки с совестью. Первые два качества у меня были налицо, но третьего я так и не приобрел.

Поезд двигался очень медленно. Железнодорожная линия Баку — Тифлис была построена всего лишь год назад, и машинист, опасаясь аварии, соблюдал осторожность, тем более, что проехавший до нас товарный поезд потерпел крушение. Временами, неизвестно почему, поезд останавливался, не доезжая до станции, и когда трогался

снова, то задыхался и стонал, точно дряхлый старик от приступа сердечной болезни.

Всю ночь я не мог уснуть от жары и от хаоса мыслей о моем неведомом будущем.

К утру пейзаж изменился. Мы оставили Муганскую степь позади. Наконец-то показалась растительность, по которой я так стосковался за восемь лет, проведенных в сухом, выжженном Баку!

На станции Евлах, крахтя под тяжестью большого хурджина, в наш вагон вошел тучный человек. Подойдя к лавке, на которой я сидел, он покосился на меня, затем скинул хурджин и уселся, вернее, свалился рядом со мной, точно набитый ватой мешок.

— Фу-у-у! — произнес он.

Сняв фуражку, он бросил ее в сторону и вытер лицо большим ситцевым платком, величиной в целую скатерть. Затем, покручивая свой пышный ус, он произнес:

— Здравствуй!

— Здравствуйте, — ответил я ему полусерьезно, полунасмешливо.

— Куда едешь?

— В Тифлис.

— О, это хорошо, я тоже в Тифлис еду, — заметил он с явным карабахским акцентом. — Хороший город Тифлис, очень я его люблю. Я женат на уроженке Тифлиса. Два-три раза в год обязательно езжу туда покутить. Какие там сады — Ортачалы, Крцаниси, Авчала! Для кутежей, конечно...

Ему хотелось во что бы то ни стало завязать со мной разговор. Мне тоже наскучило одиночество, и я охотно приготовился его слушать, тем более, что внешность его с первой же минуты внушила мне симпатию.

— Позвольте узнать, а чем ваша милость изволит заниматься? — спросил он меня, сложив руки на животе.

— Ничем.

Он удивленно посмотрел на меня и издал из-под густых усов какой-то презрительный звук, на что я, однако, не обиделся.

В руке у меня была толстая палка, с помощью которой я передвигался после того, как повредил себе ногу.

— Хорошая палка, — заметил он, — в Тифлисе пригодится — собак гонять.

Я догадался, что он посмеивается надо мной, как над бездельником.

— А почему бы и нет, — ответил я простодушно, — если какая-нибудь собака вздумает наброситься, будет чем отбиться.

Он не нашелся, что мне ответить, и промолчал.

На следующей станции я вышел выпить чаю.

— Почему ты хромаешь? — спросил меня мой спутник, когда я вернулся в вагон.

— Нога болит.

— Что случилось?

— Сломал.

— Ого!

— Да, но теперь она уже зажила, так только немножко побаливает.

— Да-а? — заинтересовался он. — Вот хорошо, что ты повстречался со мной. Я помогу тебе. Я костоправ.

— Врач?

— Да, только у нас называют — костоправ. Ты, наверное, слышал обо мне. Шутники называют меня уста Муханом, но мое настоящее имя Михаил-бек Арушапов. Меня знает весь Кавказ. Я вылечил более пятисот человек: богатые купцы, генералы, полковники — кто только не приходит ко мне! Ну-ка, покажи ногу.

Я поднял ногу и положил ее на колено уста Мухану. Откинув рукава чохи, он ощупал мою ногу своей пухлой, волосатой рукой и, покачав головой, произнес:

— Жаль, жаль! Кто тебе ее вправлял?

— Женщина-костоправ.

— Женщина? — повторил уста Мухан с глубоким презрением. — Потому-то и испорчена твоя нога.

— Как испорчена?

— А так... Нога у тебя в одном месте сломана, а в другом вывихнута. Где нужно было, она не перевязала, вывих тоже не вправила, и видишь — кость торчит.

— Неужели?

— Да, — воодушевился уста Мухан, — если так оставить — гангран будет, ты понимаешь, что такое гангран?

— Знаю, гангрена...

— Словом, сгниет у тебя нога, ампутац потребуется. Понимаешь — ампутац...

— Понимаю, отрежут...

— Да, пилой отрежут и выбросят, чтобы не заразилось все тело и чтобы ты не умер.

— Что же, по-вашему, надо делать?

— По-моему, надо ногу лечить снова.

— Как же лечить?

— Это уж мастер знает.

— Вы могли бы вылечить?

— А как же, умная голова! Говорю же тебе, что я мастер.

— Но ведь кость уже срослась, как же вы будете лечить?

— Дело мастера боится. Нужно будет снова ногу сломать. Понаделала тебя эта сукина дочь...

— Сломать ногу? Как же это?

— Овечьим курдюком.

— Курдюком? — повторил я в удивлении.

— Да. Надо нагреть курдюк, приложить его к ноге и перевязать. Через две недели кость станет мягкой, как курдюк.

— А дальше?

— Дальше, как размякнет, я уж разберусь, что и как. Отделю кость от кости, передвину каждую на ее настоящее место и как следует перевяжу ногу. Не пройдет и месяца, как ты встанешь и заходишь, словно куропатка, цып-цып — ни хромоты, ни боли. Вот приедем в Тифлис, приходи ко мне. Я проживаю на Авлабаре, у тестя. Спросишь мясника Гево — всякий покажет. Запомни хорошенько мое имя: Михаил-бек Арушанов. Насчет платы договоримся. Ох, живот подводит с голоду, посмотрите-ка, что у меня тут имеется.

И, положив на колени хурджин, он, вздыхая и кряхтя, извлек из него небольшую синюю скатерть и расстелил ее на скамейке. Затем появились лаваши, сыр, копченая рыба, вареные яйца, икра, целая баранья ляжка, курица, огурцы, редиска, лук и всевозможная зелень. Из другой половины хурджина он вытащил бурдючок с вином. Горлышко бурдюка было украшено красной бумажной розой.

— Пожалуйте закусить, — пригласил он меня и сам тотчас же приступил к делу.

Я с удовольствием принял бы участие в его пышной трапезе, если бы не позавтракал совсем недавно на одной из станций.

Не думаю, чтобы утроба исторического Шары была вместильнее утробы моего спутника. И все же я не мог понять, почему, отправляясь в полдневное путешествие, он взял с собой столько снеди. Спустя четверть часа исчезла половина бараньей ляжки и полкурицы. Что же касается выпивки, то тут он оказался более сдержаным.

— Знаешь, один я не люблю пить,— объяснил он причину воздержания,— нужен товарищ, чтобы чокнуться, тогда и аппетит приходит.

Не знаю, насытился ли уста Мухан или нет, но наконец он завернул остатки еды в скатерь и, сунув ее в хурджин, сказал:

— Я не смыкал глаз от самой Шуши до Евлаха, теперь нужно малость отдохнуть.

Он положил голову на хурджин и моментально уснул.

Его огромный живот поднимался и опускался. Из глотки вырывался оглушительный храп, вызывавший ропот и возмущение пассажиров.

Спустя три часа на станции Гянджа в наш вагон вошли новые пассажиры, большей частью азербайджанцы, с большими папахами и вооруженные кинжалами. В числе вошедших был армянский священник, с большим нагрудным крестом на серебряной цепи, высокого роста, худощавый, с седой бородой, густыми бровями и сердитым лицом.

Устроившись рядом со мной, он произнес: «Благослови тебя господь»,— хотя я не спрашивал у него благословения.

В это время проснулся уста Мухан. Увидев священника, он наклонился ко мне и тихо произнес:

— Отречемся от сатаны!..

Затем, обратившись к священнику, спросил:

— Куда едешь, батюшка?

— Благослови тебя господь,— ответил священник, поглаживая свою бороду.

— Спасибо. Я спрашиваю: куда едешь?

Священник приложил ладонь к уху и, склонившись к уста Мухану, произнес:

— Говори громче, я плохо слышу.

Уста Мухан повторил вопрос.

— Пока в Тифлис, а потом в святой Эчмиадзин,— ответил священник.

— За миром?

— Нет, на богомолье еду.

— Или за камилавкой?

— Я давно имею камилавку, я получил ее вместе с этим крестом.

— Или купил? Скажи правду, батюшка.

— Нет, я не покупал ни креста, ни камилавки. Я получил их за долголетнее и усердное служение святой армяно-григорианской первоапостольской церкви.

— Понимаю, той самой церкви, которая погубила наш народ,— произнес уста Мухан, решивший во что бы то ни стало вступить в спор со священником.

Священник вспыхнул, глаза его засверкали, точно угольки.

Разгорелся ожесточенный спор. Каждый старался подтвердить свои слова жестикуляцией, страшными грибасами и в особенности силой глотки.

Уста Мухан кричал произительно, как зурна, а голос священника ухал, как барабан. В общем же, музыка была не особенно приятная.

Ничего не понимавшие пассажиры азербайджанцы ухмыляясь поглядывали на них.

— Взбесился поп,— заметил один.

Я бросался от одного к другому, стараясь успокоить их, но тщетно. В особенности был возбужден священник. Он побледнел, глаза его метали молнии. Он то вскакивал, словно ужаленный, то грузно падал на скамейку, хватаясь при этом за серебряный крест, бряцавший на его груди.

В конце концов досталось от священника и мне, когда я неосторожно намекнул, что тоже считаю роль церкви в деле сохранения нации конченой и что поэтому разделяю свободомыслие уста Мухана.

— Вы не свободомыслящие,— вскричал священник,— вы свободно безмыслящие!— и, подняв крест, торжественно добавил:— Я, протоиерей Степанос Мушкарян, проклинаю вас именем этого креста! Проклинаю хлеб, который вы едите, воду, которую пьете! Проклинаю вас и ваших близких именем святой армяно-григорианской первоапостольской церкви!

По-видимому, проклятие подействовало на уста Му-

хана. Он вздрогнул и побледнел, но, подавив волнение, произнес:

— Успокойся, батюшка...

— Не успокоюсь, пока не возьмешь назад своих слов и не покаешься.

— Батюшка, у вас свои убеждения, у меня — свои, стыдно из-за этого ссориться.

— Не ссориться стыдно, а сидеть и разговаривать с вами стыдно, даже видеть ваше лицо стыдно!

Не знаю, чем бы все это кончилось, если бы на помощь не подоспело очень простое обстоятельство — чревоугодие уста Мухана.

После последней своей реплики он снова положил себе на колени хурджин, открыл его, и опять появились еда и вино.

Насколько на уста Мухана возымело действие проклятие протоиерея Степаноса Мушкаряна, настолько же на священника подействовали яства уста Мухана, с той лишь разницей, что уста Мухан побледнел, а священник покраснел.

Воцарились мир и молчание. Священник моментально умолк, точно кто-то пробкой заткнул ему глотку.

Когда я вторично отказался принять участие в трапезе, уста Мухан обратился к отцу Степаносу:

— Пожалуйста, батюшка, вкусите. Убеждения — убеждениями, хлеб же создан для всех.

Я был уверен, что священник хоть для вида откажется от угощения своего врага-либерала. Но случилось обратное. Не дожидаясь нового приглашения, он отогнул рукава рясы и, перекрестившись, произнес:

— Благослови, господи!

Я не обращался за помощью к уста Мухану. И не потому, что не верил целебной силе его средства — бараньего сала, а потому, что вскоре поправился и стал ходить без помощи палки.

Остановился у Нерсеса Абеляна. Он жил тогда у Воронцовского моста, на узкой улице, в квартире старушки армянки. Поздоровавшись со мной, он спросил:

— Хорошо, что приехал, Алексан, но чем ты будешь жить?

— Я знаю счетное дело. Постараюсь найти хоть небольшую должность, а свободное время посвящу литературе.

Он умолк, ибо был философом не хуже меня.

Тифлיס представлялся мне расм, где можно было жить и голодным. Так был я настроен. Не раз во сне, увидев себя снова в Баку, я с ужасом просыпался и радовался тому, что это был сон. Счастливый возраст человеческой жизни! Сегодня, если спросят меня, что такое богатство,— скажу молодость, что такое счастье,— скажу молодость. Все, все сосредоточено в этом драгоценном слове, даже бытие вселенной.

Моим первым желанием было увидеть Григора Арцруни и Раффи, имена которых для всей армянской молодежи тех лет были заветными.

Арцруни тогда еще не лишился своего большого дома. Он жил в отдельном флигеле, а редакция его газеты «Мшак» помещалась в том же доме на третьем этаже.

По узким каменным лестницам я поднялся на третий этаж в небольшую, с низким потолком и маленькими окнами комнату. Здесь были незнакомые мне люди, которые горячо о чем-то спорили. За столиком сидела бледная, неопределенного возраста женщина с пергаментным лицом.

— Что вам нужно? — спросила она, отвечая на мой поклон легким кивком головы.

— Хотел бы видеть редактора, — ответил я.

Женщина молча показала дверь напротив. Я вошел в комнату, где меня встретил молодой человек с бледным лицом и направил в другую комнату, откуда быстрыми шагами вышел низкого роста пожилой человек с длинными волосами и седой бородой. Он был чем-то явно недоволен. Потом только я узнал, что это был доктор Шиншманян, автор исторических романов «Муки IX века» и «Горос Левони».

В глубине комнаты за большим письменным столом сидел человек. Это был сам Арцруни — кумир тогдашней так называемой либеральной молодежи. Он был небольшого роста, сутулый, но не уродливый. Длинная, черная как смоль борода, густые брови, орлиный нос, большие глаза придавали его лицу некий библейский облик, а в звучном, густом баритоне голоса и энергичных, порой

нервных движениях угадывалась одержимость фанатика. Он скорее был похож на еврея, чем на армянина.

Чувствовалось, что он хорошо понимает важность дела, которым он руководит, и держит себя соответственно своему положению.

Он принял меня дружественно. Казалось, мы встретились с ним не впервые. Это сразу расположило меня к нему, но я старался не выходить за рамки подчиненного.

Арцруни интересовался жизнью Баку, нефтяной промышленностью, спрашивал о взаимоотношениях армян и тюрок, а больше всего его занимало материальное и духовное состояние рабочего класса. Он сообщил мне, что некоторые мои статьи опубликовала местная полуофициальная русская газета «Кавказ».

— У вас способности беллетриста,— прибавил он,— ваш рассказ «Пожар на нефтепромыслах» мне очень понравился. Напишите для последних номеров «Мшака» новый большой рассказ.

— Постараюсь,— сказал я и, не желая долго его задерживать, поспешил попрощаться.

— Если завтра свободны, приходите к нам обедать, поговорим,— пригласил он так искренне и просто, что отказаться было невозможно.

На следующий день в условленное время я пришел к нему.

Он, как я уже писал, жил во флигеле своего дома, окруженному роскошным садом. Большую часть сада занимали цветники, остальную — фруктовые деревья. Цветники были запущены. Под деревьями и на аллеях валялись спелые фрукты, которые никто не собирал. Но даже в этой заброшенности была своя красота. Спелые фрукты — желтые персики и абрикосы, красные яблоки и серебристые груши, покрывшие аллеи и оранжереи сада, своей прихотливой гармонией красок напоминали чудесные исфаганские ковры. Но в те дни Арцруни ни на что не обращал внимания. Его тревожила опасность потерять поместье. Приближался срок внесения в Грузинский дворянский банк большой суммы — процентов за его долг. В случае неуплаты банк мог продать его владение с аукциона. Занять необходимую сумму было негде. Об этом он опубликовал даже статью в «Мшаке», призывая армянских богачей не допустить, чтобы его поместье,

стоящее миллионы рублей, перешло к банку. Просьба осталась без ответа.

Меня встретил русский слуга в белых перчатках и проводил в салон. Это была большая комната, обставленная в буржуазном вкусе. Не помню, были или нет там какие-нибудь произведения искусства.

Арцруни представил мне женщину лет сорока, с которой он жил в гражданском браке. Это была разведенная супруга доктора Кочаряна, мадам Мелик-Агамалян. Лицо ее иссиня-желтое, глаза большие, стеклянные, спина чуть согнутая. Она курила. Мадам Агамалян производила впечатление болезненной, первной, недовольной жизнью женщины.

Обед подали в саду. Стол был весьма скромным. То ли потому, что хозяйка держалась холодно, то ли из-за моей робости и застенчивости (я не раскрывал рта, пока меня не спрашивали о чем-нибудь) обед прошел натянуто и скучно. Говорил преимущественно сам Арцруни. Я хотел узнать о Раффи и ждал удобного момента спросить о нем. Дело в том, что уже в течение нескольких месяцев имя его не появлялось на страницах «Мшака». Я говорю это потому, что для нас, провинциальных читателей, казалось странным, что не только произведения, но и имя Раффи исчезло со страниц газеты. В Тифлисе я узнал, что между Арцруни и Раффи произошла размолвка, и хотел расспросить, почему.

— Причина материальная,— поспешила ответить вместо Арцруни мадам Маро.— Раффи очень любит деньги. Представьте, 800 рублей в год и бесплатный стол он считает недостаточным и требует больше.

— Кроме того, он пользуется верстками нашей типографии для издания своих сочинений,— прибавил Арцруни, поправляя пенсне на большом носу.

Я не представлял «Мшака» без Раффи, а Раффи без «Мшака».

— Да,— снова вмешалась мадам,— однако для «Мшака» не так необходим Раффи, как для Раффи «Мшак». Без нашей газеты он лишится популярности. Это «Мшак» сделал Акопа Мелик-Акопяна Раффи и Мелик-заде.

Арцруни оказался скромнее, но все же не отрицал того, что сказала она. Я встал из-за стола в угнетенном на-

строении. Для меня было в высшей степени неприятно и неожиданно враждебное отношение мадам Маро к Раффи и то, что Арцруни находится под влиянием этой женщины. Я считал его человеком сильной воли и потому несколько разочаровался.

Однако мое уважение к Арцруни не уменьшилось. Я решил выполнить его просьбу и через несколько дней начал писать «Записки приказчика».

РАФФИ

Нас сблизило время. Я бывал у Раффи не больше одного-двух раз в месяц, а встречались мы почти каждый день. Он имел привычку после обеда прогуливаться по Головинскому проспекту. Его обычно сопровождали, кроме меня, Нерсес Абелян и Зелинский¹.

После прогулки Раффи иногда приглашал нас к себе на чай. Он жил один. Семья его — жена и два сына, Арам и Аршак,— находилась в Персии. Кроме своей семьи, он заботился о многочисленных родственниках: зарабатывая не более ста рублей в месяц, он помогал матери, двум братьям и девятым сестрам.

— Я на свою жизнь не жалуюсь, как другие писатели, и люди думают, что я богат. Мои недоброжелатели распространяли слух, будто я храню в банке двадцать тысяч рублей. Не опровергаю, хотя и двадцати копеек не имею. Пусть завидуют, а друзья радуются.

Совершенно иным был он вне дома. Черные очки, полу-персидская черная шапка придавали и без того смуглому лицу черноту. Никто, встретившись с ним на улице, не мог подумать, что он писатель.

Шагал Раффи всегда спокойным аллюром, держа впереди себя желтую палку, как епископ свой посох.

Однажды кто-то спрашивает Абеляна:

— Кто этот перс, с которым вы и Ширванзаде каждый день гуляете?

— Раффи.

¹ Зелинский — известный в свое время кавказовед, армянин по происхождению. (Прим. автора.)

— Неужели? — удивляется он. — А я думал перс, фармацевт.

Этот небольшого роста человек, от пера которого трепетали его враги, в личной жизни был удивительно скромным и кротким. Он очень редко волновался, а когда расстраивался, умел вовремя себя сдержать.

Однажды произошел такой комический случай. Одному из купцов он задолжал четыреста рублей за бумагу на издание своего романа «Искры». Лавка купца, как назло, находилась на той улице (Дворцовая, ныне Коммунальная), по которой Раффи проходил каждый день, совершая свою прогулку. Никак не реагируя на крики и грозные взгляды купца, он с невозмутимым спокойствием проходил ежедневно мимо лавки.

Проходили месяцы, а долг оставался неоплаченным.

Купец, у которого я тоже покупал бумагу, был человеком вспыльчивым и раздражительным.

— Ну, не отдает, брат мой, что мне с ним делать?.. — жаловался он каждый раз при встрече со мной.

Однажды он останавливает Раффи около своего магазина и гневно спрашивает:

— Скажи мне наконец, будешь платить долг или нет?

Раффи, тихо улыбаясь, отвечает:

— Конечно буду.

— Когда?

— Когда будут деньги.

— А когда они у тебя будут?

— Не знаю.

— Как не знаешь! — начинает нервничать лавочник.

— Ну, не знаю, что могу сделать.

— Но я больше не могу ждать, — все больше возмущаясь, говорил купец.

— Надо ждать, — хладнокровно говорит Раффи, — терпение благородное дело.

— Слушай, ты меня раздражаешь, я выхожу из себя!

— Напрасно.

— Но я все же не могу сдержать себя.

— Ну, бесись, что я могу сделать.

— Ты человек или камень, прости меня господи!

Продолжая улыбаться, Раффи спокойно удаляется привычной походкой.

Об этом случае рассказал мне сам лавочник, прибавив:

— Удивляюсь, как этот холодный как рыба человек пишет такие огненные произведения.

Он грозил начать судебное дело против Раффи, но я предупредил его:

— Если вы сделаете это, я вас опозорю в печати.

Раффи никогда не говорил о причине ссоры с Арцруни. О том, что поссорились они из-за денег, я узнал позже. Оказывается, Арцруни не выплатил ему гонорара за серию статей, которые он опубликовал в газете за подписью «Павстос», мотивируя тем, что статьи эти полемические и в их публикации Раффи был заинтересован.

Для Раффи, испытавшего много лишений в своей жизни, разумеется, каждая копейка имела значение.

Как-то за обедом он рассказал мне несколько эпизодов из своей жизни. Помню такой случай.

— Однажды,— рассказывал он,— я занимался до полуночи, папиросы кончились, захотелось есть, а в кармане у меня было только четыре копейки. Думаю, что лучше купить: папиросы или хлеб. Решил купить хлеб. Тогда я жил в Авлабаре. Вышел на улицу — все магазины закрыты. Постучался в одну булочную. В ответ слышу брань булочника. «Братец, сказал я, ты армянин и я армянин. Дай мне на три копейки хлеба, чем понапрасну так орать». Наконец с трудом удалось мне выпросить у него кусок хлеба.

— В Персии я жил лучше, чем здесь,— сказал как-то мне Раффи.

— А почему уехал оттуда? — спросил я.

— Вынужден был.

Тайну его неожиданного отъезда из Персии открыл мне в Париже известный в Персии купец армянин Туманян. После выхода в свет повести «Гарем» положение Раффи стало опасным. Местные власти готовили его убийство или арест. Раффи узнал об этом от Туманяна, который, сообщая о готовящемся покушении, заставил его в ту же ночь покинуть страну.

День, когда Раффи наконец получил разрешение цензора на издание второго тома своих «Искр», был для него настоящим праздником. Он был необычайно доволен, и на его мрачном лице появилась улыбка. Теперь ему оставалось думать только о типографских расходах. Книга, если не ошибаюсь, вышла в начале 1885 года.

Однажды неожиданно я узнал о том, что он со своим другом Габриелом Мирзоянцем уехал в Батум. Правда, Раффи всегда тщательно скрывал от всех свои личные дела, но я узнал, что он уехал туда просить известного в те годы книжного издателя Мелик-Айказяна взять на себя типографские расходы по печатанию романа. Он предполагал, что Мирзоянц едет с ним, чтобы помочь ему уговорить Мелик-Айказяна. Но уже в Батуме выяснилось, что он приехал сюда, чтобы самому просить у Айказяна денег для издания какого-то детского журнала. Раффи не мог простить этого другу.

В личной жизни Раффи был чрезвычайно скромным и потребовательным человеком. Обедал он всегда в дешевой столовой «Мингрелия», напротив Грузинской церкви на улице Сион. Платил за обед двадцать пять копеек.

Больше всего денег он расходовал на чай и фрукты. Работая ежедневно до двух-трех часов ночи, а иногда и до четырех утра, он беспрерывно пил крепкий чай и курил. Раффи любил цветы, и это тоже обходилось ему довольно дорого.

Он вел аскетический образ жизни. Знакомо ли было ему чувство любви, не знаю. Только однажды он мне сказал иронически:

— Знаете, в молодости я был влюблён в одну персиянку.

— Ну, что же было дальше?

— Было то, что, уехав из Персии, я забыл о ней.

— Молодец,— сказал я, не удержавшись от смеха...

Неверны слухи о том, что Раффи был влюблён в Н. Д. Во-первых, эта женщина жила в России. Во-вторых, когда она приехала в Тифлис, я никогда не видел Раффи с нею. Это Арцруни влюбился в неё и посвятил ей роман «Эвелина». Я знал Н. Д. Она действительно была красива, но, по-моему, лишена обаяния.

Раффи и в дружбе был сдержаным и при хорошем и при плохом настроении держался ровно. Расскажу характерный случай.

Однажды жизнерадостный Газарос Агаян предложил:

— Слушай, Александр, поедем в Ортаджалу повеселиться.

Все согласились. Уговорили и Раффи. Нас было человек двадцать. Пили, ели, веселились. Некоторые пели,

другие слушали зурну, а остальные подпевали. Раффи за весь вечер даже не двинулся с места, не изменил позы. Сидел он в шапке и пальто, с неразлучной палкой в руках. Улыбаясь, он время от времени вмешивался в общий разговор, бросая какие-то реплики.

На следующий день, когда мы встретились на улице, он сказал мне:

— Господин Ширванзаде, вчера хорошо покутили, не так ли?

— Да, конечно. Особенно вы.

— Верно, я вчера был в очень хорошем настроении.

Исполнилось двадцатипятилетие литературной деятельности Раффи. Мы, уважавшие его друзья, хотели отметить эту дату, но опасались, разрешит ли правительство. Из провинции поступили многочисленные письма, в которых читатели с одобрением откликнулись на наше предложение отметить юбилей писателя. Противники Раффи, главным образом газета «Пчела Армении» и критик Айкуни (впоследствии священник Егише Гегамян), всячески старались помешать юбилею. Айкуни только что выступил с критикой «Искра».

Не скажу, что у него не было правильных замечаний, но вместе с тем Айкуни, говоря о политическом мировоззрении писателя, старался скомпрометировать его перед правительством. Например, героя романа Раффи сравнивал с русскими революционерами-террористами Желябовым, Кибальчиком, Михайловым (убившими Александра II), что, конечно, совершенно неверно.

Именно в это время было совершено покушение и на самого Раффи.

Однажды ночью какие-то люди, разбив окно, пытались проникнуть к нему в дом. Проснувшись от шума, Раффи, не растерявшись, несколькими выстрелами из револьвера заставил злоумышленников убежать. На следующий день, когда я пошел к нему, он показал мне следы пуль на окне.

Об этом случае Раффи написал своему другу Нерсессу Абеляну в Эчмиадзин.

«Благодарю за письмо, в котором вы выражаете Вашу радость по поводу избавления меня от опасности. Я от моих врагов ожидал всякой подлости, кроме этой. Впредь буду осторожнее. Не выхожу из дома после семи часов вечера. В передней комнате охраняет меня по ночам гроз-

ная овчарка. Теперь у меня два револьвера, один из них подарил мне знакомый.

Подготовка моего юбилея приводит в бешенство моих недругов. Они делают все для его запрещения. Но в провинции мысль о юбилее нашла широкую поддержку.

По правде говоря, мой друг, я совсем не хотел в этом году отмечать его. Это желание Габо и некоторых других друзей. Я не хотел бы дразнить моих врагов. Время теперь неспокойное, а они способны на всякую подлость. Но раз начали, останавливаться на полпути неудобно».

Через два дня после покушения на жизнь Раффи газета «Пчела Армении» сообщила, что в ту же ночь такое же нападение было совершено и на дом Айкуни. Раффи считал это сообщение вымыщенным. Он говорил:

— Это сообщение старая лиса поместила намеренно. Он хочет отвести всякие подозрения от Айкуни и от правительства. Но ему не удастся ввести нас в заблуждение.

А противники Раффи говорили:

— Никакого покушения на Раффи не было. Это он выдумал его, чтобы привлечь внимание к своему юбилею.

Некоторые уверяли, что это дело рук полиции. Так или иначе,— все осталось неясным.

Раффи писал Абеляну:

«С господином Арцруни мои отношения сейчас довольно натянуты. Я перестал обедать у них. Интриги мадам мне противны. Я хотел с начала этого года пригласить свежих людей, избавиться от старых, чтобы хоть немного оживить «Мшак», но это не удалось. Мадам поседела, а Арцруни в ее руках — тряпка. Вполне возможно, что во все перестану писать для «Мшака» и, если удастся, думаю с будущего года издавать свой журнал».

Это было заветной мечтой Раффи, которая — увы! — не исполнилась. Он хотел собрать вокруг себя молодые силы и постоянно уговаривал меня написать что-нибудь крупное.

— Пишите о жизни Баку, очень интересно,— говорил он мне.

Раффи читал очень мало. Занятый своим творчеством, не находил времени для чтения.

Вообще его литературно-философские знания были неглубокие. Он хорошо знал только творения мхитаристов — и оригинальные и переводные. Из русской литературы

туры он читал, хотя неполностью, Толстого, Достоевского, Тургенева, Белинского. Из французской литературы знал Виктора Гюго, Жюля Верна, Эжена Сю, не любил Золя, не имел понятия о Бальзаке, Флобере, Альфонсе Доде и Гонкурах. Любил Гюго и подражал ему, хорошо изучил его творчество и стиль. Из армянских историков он больше всего любил Павстоса Бюзандаци.

Раффи был удивительно равнодушен к искусству. Он никогда не посещал ни театры, ни концерты, ни выставки. Я никак не смог его уговорить хотя бы раз посмотреть игру Адамяна. То, что Раффи не хотел слушать европейскую музыку, было мне отчасти понятно — он не понимал ее красоты. Но он был абсолютно безразличен и к восточной музыке.

Раффи никогда не говорил ни о своей жене, ни о детях. Можно было предположить, что он и не думал о них. Но это было не так. Наоборот, он был очень добрым человеком, однако, будучи в высшей степени замкнутым, не любил говорить о своих чувствах и переживаниях.

Его трудолюбие было легендарным. Раффи родился на Востоке, но был совершенно свободен от восточной лености. Он не походил на тех бездарных посредственности, которые праздно шатаются в ожидании прихода музы. Он хорошо знал, что талант — это на три четверти трудолюбие, а муз — душа писателя.

Раффи работал в среднем по шестнадцать часов в сутки, а иногда и больше.

— Вы так можете разрушить свое здоровье, — говорили ему друзья.

— Я себя чувствую здоровым только трудясь, — отвечал он.

— Хотя бы в летнее время месяца два отдохните.

— Никогда. Я умру с голода, как только перестану писать.

Но Раффи переоценивал свои силы.

Однажды по настоянию друзей он все же показался врачу Гаспаряну, который был хорошим специалистом, но характер имел грубый и не считался с психологией своих пациентов.

— Если не перестанете работать по шестнадцать часов в сутки, не бросите курить и пить крепкий чай, вы скоро отправитесь в ходживанк, — сказал он.

Это подействовало на Раффи. Он бросил курить, стал пить только слабый чай, работал мало. Но изменился до неузнаваемости. Стал грустным, растерянным и в высшей степени нервным.

— Нет, нет, больше терпеть не могу,— сказал он не позже чем через месяц.— Без папиросы я себя чувствую еще хуже, голова не работает. К черту медицину!

И стал жить и работать по-прежнему.

Он писал, но не издавал. Арцруни уже вернулся из Швейцарии и возобновил издание «Мшака», однако не приглашал Раффи сотрудничать, зная, что тот откажется. Упорство одного было достойно болезненного самолюбия другого. Воспользовавшись этим, редактор газеты «Арцаганк» («Эхо») Абгар Ованесян предложил Раффи сотрудничать в своей газете. Раффи сначала не решался принять это приглашение. Арцруни и Ованесян были люди разных идеиных взглядов. Что подумают читатели? Не сочтут ли его предателем?

Друзья убедили Раффи, что о предательстве и речи быть не может, что он как писатель может публиковать свои произведения в любой газете, не отклоняясь от своих взглядов.

Наконец он согласился. В это время я работал секретарем газеты «Арцаганк» и был главным ее сотрудником.

— Убедите его,— сказал Ованесян,— оставить свои идеи. Пусть пишет бытовые и сюжетные романы, а лучше всего маленькие рассказы.

Я, разумеется, ничего не сказал ему относительно отказа от идей, только просил его сначала дать несколько рассказов, учтывая возможности газеты.

— Хорошо,— согласился он,— я дам несколько рассказов, а потом большой исторический роман «Самвел».

Он написал «Хас Пуш» и еще какой-то рассказ из быта константинопольских армян. Он не был в этом городе. Но много ли нужно было для творческого воображения Раффи? Я думал, рассказ займет два или три номера, но ошибся. Он приносил аккуратно каждый понедельник рукопись, под которой значилось: «продолжение следует».

— До каких пор? — спрашивал меня редактор каждый раз.

— До каких пор? — спрашивал я у Раффи.

— Слушай,— ответил он однажды обиженным тоном,— ведь надо же «округлить» произведение.

Это «округление» продолжалось девять недель.

Началось печатание романа «Самвел». Весь роман еще не был написан. По своей давней привычке, Раффи писал и публиковал свои произведения частями. Так он писал «Давид Бек», «Записки крестокрада».

Прошли месяцы, а публикация «Самвела» продолжалась. Ованесян снова начал протестовать.

— Этот человек меня разорит построчными гонорарами.

За строку платили четыре копейки.

Я отказался посредничать. Ованесян прервал публикацию романа. Раффи рассердился. Листы для издания романа отдельной книгой покрывались плесенью в сыром подвале типографии. И он в конце концов согласился на условие Ованесяна: за оставшиеся части романа получить... две копейки за строку. Так оплачивался труд самого популярного армянского писателя.

Раффи хотел по окончании «Самвела» поехать в Константинополь, затем путешествовать по Турецкой Армении.

— Вы увидите,— говорил он,— я уеду в Константинополь незаметно. Я не буду, как Патканян, поднимать шумиху вокруг своей поездки.

Раффи не кривил душой. Его скромность была искренней. Когда его хвалили, он смущался как ребенок. Конечно, чувство тщеславия и для него не было чуждо, но он не имел привычки воспринимать похвалу как нечто должное.

— Я уверен, что в Константинополе много серьезных и искренних патриотов,— говорил он,— но, к несчастью, к нам приезжают болтуны.— Он намекал на определенных людей, в том числе Церенца. Он говорил: — Этот попугай так держит себя, будто он глава армянской нации.

Раффи имел основание ненавидеть Церенца. Рассказывали, что однажды они встретились в редакции «Машака». В это время Раффи за подписью «Меликзаде» писал серию публицистических статей либерального содержания. Церенц как консерватор был противником этого

направления. Впервые встретившись с Раффи, он гордо спросил:

— Вы — Меликзаде?

— Да.

— Вы не Меликзаде, а Арам-заде¹, — крикнул рассерженный старик, забывая о приличии.

Раффи высокомерно молчал. Он не любил Церенца и его творчества. Кроме того, он любил спорить не на словах, а пером. Если бы борьба дошла до этого, вряд ли Церенц долго мог бы противостоять Раффи. Я не знаю в армянской литературе более острого и страстного полемиста, столь твердого и логичного. Его полемика, однако, страдала одним недостатком. Он не задумывался перед выбором выражений и иногда допускал даже оскорбительные выражения. Так, он называл редактора «Пчелы» «старой лисой».

Однажды Агаян в моем присутствии стал о чем-то спорить с Раффи.

— Хочешь, давай поспорим на страницах газеты? — сказал Агаян своим зычным голосом горца.

— Хорошо, — отвечал Раффи едва слышно.

В ту пору Абгар Ованесян был в Европе. «Арцаганк» редактировал я, то есть был единственным ответственным лицом в редакции.

— Ты разрешишь поспорить на страницах вашей газеты? — обратился Агаян ко мне.

— С удовольствием, только с условием — не обижать друг друга личными выпадами.

Они согласились. И действительно, сначала все шло корректно. Но вдруг оба одновременно словно взбесились. Агаян в одном стихотворении, Раффи — в статье обозвали друг друга неприличными кличками.

Опубликовав по одной подобной статье, я сказал:

— Простите меня, друзья, печатать таких статей больше не буду.

Впоследствии Агаян часто вспоминал:

— Эх ты, не дал мне разгромить этого крестокрада!

Жена и дети Раффи приехали из Персии. Он нанял новую квартиру на окраине города, на одной из узких,

¹ Игра слов. Мелик-заде — дословно — сын Мелика. Арам-заде — сын разбойника.

немощных улиц, где жила беднота. Друзья, в том числе и я, перестали посещать его, но на улице встречались с ним по-прежнему, почти каждый день.

Однажды Раффи был в особенно плохом, подавленном настроении.

— Эх, недолго осталось жить,— сказал он, встретившись со мною.

Странно было слышать такие слова от этого стойкого, мужественного человека. Что с ним случилось, он не говорил.

— Вы, наверное, устали, господин Раффи,— сказал я.— Если бы вы могли совершить небольшое путешествие, это несомненно помогло бы вам.

— Я тоже думаю об этом. Но где взять средства? Жена, два сына, старуха мать, бедные братья, девять сестер...

После возвращения семьи из Персии Раффи стал совершенно другим. Он и без того был неразговорчивым, а теперь замкнулся совершенно. И работал не так, как раньше. Мы, его друзья, делали тысячи разных предложений и не могли понять, что с ним случилось. А враги продолжали его травить, завидуя все растущей популярности Раффи. Но, к счастью, он уже не обращал внимания на них, не возмущался и пренебрегал их нападками. И чем больше пренебрегал, тем больше они выходили из себя.

Весной 1888 года Раффи заболел. Думали, легкая простуда, болезнь неопасная. Врач сообщил, что у больного воспаление легких. Пригласили известного врача Гаспаряна, который признал положение больного серьезным. Три дня мы находились в тревожном состоянии. Утром и вечером ходили к его жене узнавать о его здоровье. Видеться с больным не разрешали.

В пятницу вечером, перед пасхой, я пошел навестить Раффи и крайне удивился, увидев его во дворе, в халате и с лейкою в руках.

— Что вы делаете? — спросил я.— Почему поднялись с постели? Вы можете простудиться.

— Нет,— ответил Раффи с присущим ему спокойствием.— Смерть отвернулась от меня. Мои враги, наверно, торжествовали. Пусть теперь пострадают. Я еще два десятка лет проживу.

Увы, недоброе предчувствие охватило меня, в этот

момент я вспомнил разговор, который произошел в день похорон Цереица. Тогда Раффи сказал Прошяну:

— Прош, готовься, теперь твоя очередь.

Прошян, который был старше Раффи на десяток лет, не без злости ответил:

— Друг мой, нередко птенцы раньше наседок умирают...

Через два дня, в пасхальное воскресенье, я пошел к Раффи. У порога дома встретился со Степаном Зелинским. Этот сорокалетний человек плакал как ребенок.

— Умер,— сказал он и всхлипнул.

— Как! Когда? Ведь в пятницу я его видел здоровым.

— Иди туда, может, его труп тебе откроет секрет смерти...

Раффи не стало. Перестало биться его чуткое сердце.

Похороны были всенародными. Многие были в трауре.

«Армяне плохо относятся к своим деятелям при их жизни, а хоронят с большими почестями»,— говорили в городе.

Никто не ожидал таких пышных похорон. Соседи Раффи по его квартире были удивлены.

«Вот, оказывается, какой он был человек!»

В самом деле, это могло показаться странным. На окраине города среди бедноты жил маленький, скромный и простой человек. Он каждый день выходил из дома с поникшей головой, с палкой в руках и возвращался, держа под мышкой завернутые в бумагу фрукты. Никаких внешних признаков величия и необыкновенности в нем нельзя было заметить. И вот неожиданно он умирает, и весь город оплакивает его смерть.

На похороны пришли все тифлисские амкарства со своими пестрыми шелковыми знаменами. Собрались все ученики армянских школ во главе с учителями. Присутствовало духовенство — священники, епископы, архиереи. Пришли сотрудники редакций армянских и других газет, все, кто имел какое-либо отношение к литературе и печати. Несмотря на ливень, пришли армянские рабочие, западноармянские беженцы, тысячи женщин и девушки.

Комиссия по похоронам просила меня уговорить Григора Арцруни присутствовать на панихиде. Нелегко было убедить этого упрямого человека, но все же я отправился

к нему. Сначала он категорически отказался. Мадам Маро, которая все еще была полна ненависти к Раффи, стала проклинать его. Услышав это, я даже пожалел, что пришел. Но в конце концов мне все же удалось уговорить Арцруни.

— Ваше отсутствие может быть невыгодно истолковано для вас и вашей газеты,— сказал я.

Он пришел на панихиду и вместе со своими противниками Абгаром Ованесяном, Петросом Симоняном и Спандаряном выносил гроб на улицу.

До церкви, а оттуда до Ходживанского кладбища народ нес гроб на плечах. Редакторов сменили рабочие, потом дамы, девушки, молодежь, студенты, многочисленные делегации, прибывшие из провинции. Все время шел сильный дождь. Многие в этот день простудились и заболели.

Более сорока лет прошло с того времени, а Раффи как живой стоит передо мной. Но, как сейчас, так и раньше, я не был поклонником его творческого направления.

Раффи является подлинным основателем восточно-армянского литературного языка. Я не признаю стиля Хачатура Абовяна. Это не что иное, как смесь грубого народного говора с литературным языком, лишенная всякого изящества. Прошян немногое прибавил к тому, что сделал Абовян. Словарь Арцруни крайне беден. Стихи Рафаэла Патканяна не давали достаточного материала для создания литературного языка. Агаян не писал больших и значительных вещей.

Раффи у нас явился основателем литературного языка. Он был романистом не моего направления, но если в армянской литературе есть крупные романы, которые я прочитал без тоски,— это, после «Ран Армении» Абовяна, только и только романы Раффи. Остальные большие романы я прочел или с тоской или же не смог дочитать.

ГАМАР КАТИНА. ПЕТРОС АДАМЯН

Я с ним встречался мало. Он жил в Новой Нахичевани, где, кажется, и родился. Я читал его стихи и воодушевлялся ими еще до приезда в Тифлис. Некоторые из

них даже выучил наизусть. О его прозе не имел понятия. Я не знал нахичеванского говора.

Гамар Катипа приезжал в Тифлис один или два раза в год, иногда для того, чтобы остаться здесь несколько недель, а иногда проездом в Эчмиадзин. И каждый раз литературная общественность в честь его приезда устраивала прием.

Он был человеком странного характера и внешности. Ниже среднего роста, смуглый, не полный и не худой, с глазами, смотрящими пронизывающим взглядом через очки, всегда бритый, седоватый, с чуть-чуть перекошенным ртом — таков был Гамар Катипа. В свое время он являлся единственным народным поэтом. Песню «Мать Аракс», написанную на его слова, знали все, от мала до велика. Стихотворение «Протест Европе» декламировали со сцен и во всех армянских домах. Молодежь считала его национальной гордостью.

Я уважал Гамара Катипа, как и все, но особого чувства симпатии к нему не питал. Почему?

Нельзя сказать, что он был высокомерным, но в нем было что-то барское. Разговаривал он громко, повелительный тоном. По манере держать себя он больше напоминал царского генерала, чем нежного и тонкого поэта. Чувствовалось его стремление показать себя большим человеком. Он говорил преимущественно по-русски, знал язык в совершенстве, однако в произношении чувствовался нахичеванский акцент.

В тот год, когда мы познакомились, я был организатором вечера в честь его приезда в Тифлис. Составляя список участников приема, я включил туда и фамилию Арцруни, который не любил его. В связи с этим даже пришлось отправиться в Коджор к Арцруни, чтобы уговорить его присутствовать на приеме. Он обещал приехать, но не сдержал слова, видимо, не без влияния мадам Маро.

Вечером, когда я приехал за Катипа пригласить его на ужин, он, положив руку на мое плечо, сказал:

— Ну, батюшка, дитя не плачет, мать не разумеет.

— Что вы хотите этим сказать, мастер?

— Слышал, что ты написал роман под названием «Намус». Почему ничего не говорил мне об этом?

— Не считал возможным беспокоить вас.

— Как не считал возможным? — произнес он, кажется, немного обиженный.— Я бы написал о вас в «Арцаганке», и роман раскупили бы.

Разумеется, его поддержка имела бы для меня большое значение. Он, конечно, знал это, и потому ему трудно было предположить, что я, даже при всей скромности моего характера, не воспользуюсь его покровительством. Мне и до сих пор непонятно, почему начинающие писатели стараются показать свои произведения тому или другому именитому литератору и ищут его покровительства. Если произведение представляет ценность, оно само пробьет себе дорогу, а если нет,— никакой авторитет или предисловие не может спасти его от провала или забвения. Наконец, и известные писатели могут ошибиться, сбить с правильного пути начинающего. Вот почему я теперь стараюсь не читать первых произведений молодых писателей и не хочу брать на себя моральную ответственность, давая какие-нибудь советы. Я сам никогда не обращался за помощью ни к одной знаменитости и не спрашивал их мнения о моих произведениях. Читатель — вот единственный судья писателя. Литературная критика? Где она в армянской литературе?

Гамар Катипа в своих путевых записках все-таки написал о моем «Намусе». Но он, видимо, не читал его или, может быть, читал, и он ему не понравился, и потому счел благоразумным хвалить не роман, а издательское товарищество, выпустившее книгу.

Катипа-прозаик напоминал мне Джонатана Свифта. Такой же ядовитый, острый и беспощадный, хотя и не столь гениальный, как великий английский сатирик. Большая часть его произведений, подписанных псевдонимом Сюлук, направлена против людей, которых он не любил.

Он был человеком с удивительно беспокойной душой. Никто в Тифлисе не говорил о нем доброго слова. Катипа не имел ни одного друга, кроме Габриела Сундукиана. Раффи ненавидел его. Арцруни — еще больше, хотя не выступал против него открыто, зная популярность имени Катипа среди читателей. Даже Перч Прошян, этот самый снисходительный, самый терпеливый человек, услышав его имя, морщился.

Нахичеванские интеллигенты постоянно жаловались

на Катипа. И все это из-за его странного характера. Однажды, когда Абгар Ованесян назвал Катипа большим поэтом, я спросил:

— А почему этого большого поэта оставили в такой глупи, как Нахичевань, и не стараетесь вытащить его сюда?

— Потому что если мы привезем его сюда, то я и вы рано или поздно станем врагами.

— Не понимаю, почему.

— Послушайте, я все объясню. Однажды Катипа спросил меня: «Абгар, что увидел Арцруни в этой пергаментной Маро и что увидела Маро в горбатом Арируни, что они так влюбились друг в друга?» Без всяких задних мыслей, я ответил: «Бог им сказал: «Любите друг друга, иначе я не позволю ни одному черту любить вас». На следующий день, на обеде у Арцруни, Катипа, поднимая бокал, говорит: «Маро, Григор, пью за ваше здоровье! Абгар говорит, что бог велел вам любить друг друга, иначе... и т. д.» Арцруни, конечно, сильно обиделся и с этого дня начал относиться ко мне враждебно».

Я ограничиваюсь этими несколькими чертами для характеристики личности Катипа. Мы мало встречались, он у меня был всего два раза, я у него, наверно, не больше. Его семейной жизни я почти не знаю.

Он умер в Новой Нахичевани в 1892 году, в шестидесятилетнем возрасте. В последнее десятилетие своей жизни он почти ничего не создал. Сейчас имя Катипа как поэта почти забыто из-за его национализма, который порою доходил до шовинизма, а в свое время оно гремело наравне с выдающимся именем Раффи...

В культурной жизни народов артисты, певцы, музыканты имеют больше морального права быть оцененными своими современниками, чем учёные, изобретатели, писатели, поэты.

Слава артиста недолговечна. В памяти нашей она хранится, пока жив исполнитель, нередко она умирает и забывается еще при их жизни. Тело есть, а душа умерла. Достаточно, чтобы силы артиста покинули его — от старости или от болезни,— и звезда его померкла, склонилась к закату. Легенда гласит, что Фирдоуси было семьдесят лет, когда он написал «Шахнаме»; но Фирдоуси и сейчас жив. Мильтон был слеп, но он создал одну

из жемчужин мировой литературы. Бетховен оглох, но не перестал очаровывать людей своей музыкой.

Этого счастья лишены артист и музыкант. Сегодня, когда я с восхищением говорю о Петросе Адамяне, многие, наверно, с недоверием слушают это и не хотят разделить моих восторгов. И действительно, кто может представить себе величие таланта артиста, не увидев его игры?!

Сам Адамян хорошо представлял свое будущее. Он хорошо знал, что вместе с его смертью умрет и память о нем. Эта мысль мучила его. Сколько раз, прия к нему, я заставал его или за письменным столом или с кистью в руке.

— Что вы делаете? — спрашивал я.

— Эх, друг мой, борюсь с забвением.

Слава только артиста не утоляла его жаждущую душу. Он старался и в литературе, и в живописи занять хоть какое-нибудь место.

Однажды в Баку он прочел мне свой рассказ. Это было мелодраматическое произведение, по содержанию напоминавшее «Семью преступника», в которой он замечательно исполнял роль Коррадо. Закончив чтение, он посмотрел на меня. Я был пленен музыкой его бархатного баритона и мастерством чтения.

— О! — произнес я. — Как замечательно вы читаете. Я не сообразил, что он не этого ждал от меня.

— Да, конечно, понятно, — сказал он и, сделав судорожное движение, подошел к печи и бросил рукопись в огонь.

У Адамяна бывали в числе других мастеров искусства и художники. Помню Геворга Бащинджагяна, Шмерлинга, и Шамшиняна. С ними Адамян беспрерывно сюорил о живописи и скульптуре. Искренне ли нравилась им кисть артиста или нет, не могу сказать. Но, помню, на похвалы ему они не скучились. Адамян живописью увлекался больше, чем литературой, пожалуй, потому, что кисть была надежнее ручки.

Однажды я стал свидетелем очень смешной сцены. У артиста был горячий поклонник по имени Александр Степанян, которого обычно звали «Черный Сандро». Он оказывал Адамяну всяческие услуги. И вот в этот день Черный Сандро вместе с одним носильщиком пытались

по лестнице поднять на второй этаж осла. Адамян, засунув руки в карманы панталон, с балкона давал распоряжения о том, как поднять осла.

Осел, конечно, как и полагается ему, уперся, и ни крики, ни толчки не могли заставить его подняться выше первой ступеньки лестницы. Наконец, усталый, вспотевший, Сандро выпустил хвост упрямого животного.

— Что это вы делаете? — спросил я.

— Хотел, чтобы осел пожаловал ко мне в комнаты.

— А для чего он вам?

— Хотел зарисовать его морду. Чертовски она понравилась мне.

— Но вы могли же рисовать во дворе.

— Разве там дадут работать? Видите, какая толпа собралась.

В самом деле, двор было полон соседей, которые громко хохотали.

Я в жизни не видел более красивой головы, чем у Адамяна. Даже Бокль и Байрон уступали ему в своей красоте. Его высокий лоб, львиная грива, большие голубые глаза, тонкие брови, красиво очерченные губы и с небольшой горбинкой нос, ноздри которого дрожали, как у арабского скакуна,— все это было достойно кисти Рафаэля. Несмотря на нежность черт лица, красота его была мужественной. Он — ниже среднего роста, но не производил впечатления низенького. На сцене он старался держаться дальше от высоких артистов и занимать среднюю часть сцены, избегая углов, благодаря этому казался выше ростом.

В роли Гамлета Адамян был феноменом. Помню, как однажды, через десять лет после смерти Адамяна, я был в Одесском театре. Знаменитый Муне Сюлли выступал в роли Гамлета. Рядом со мной сидел известный итальянский артист — антрепренер Форкатти. Переполненный до отказа зал с восхищением смотрел игру гениального французского артиста. Вдруг Форкатти обратился ко мне:

— Помните покойного Адамяна?

— Помню очень хорошо.

— Где его бархатный голос, подобный музыке... Где его пластика...

Адамян выступал в Одессе задолго до Муне Сюлли, еще в мрачные годы управления известного царского сат-

рапа генерала Зеленного, прославившегося своим деспотизмом. Рассказывали, что он, кроме царя, не признавал никаких авторитетов. Передавали такой характерный случай: однажды он на улице, поссорившись со своей женой, так рассвирепел, что, подозвав жандарма, приказал арестовать ее. В Одессе мне говорили:

— Только два человека заставили этого деспота уважать себя — Сара Бернар и Петрос Адамян. Зеленый преклонялся перед ними.

В мое время девушки, поклонницы Адамяна, уже были женщинами преклонных лет. В некоторых русских, еврейских и греческих семьях хозяйки показывали портрет Адамяна в своих альбомах и с восторгом вспоминали о нем.

Когда Адамян выступал в Москве — не помню, с какой труппой, — известный современный критик Чуйко в «Русских ведомостях» написал о нем очень большую статью. Подробно анализируя игру Адамяна, Чуйко сравнивал его с Сальвини-отцом и с Эрнесто Росси.

Этот же критик, однажды пошел за кулисы, чтобы познакомиться с Адамяном, и, увидев его усталым и вспотевшим, накрыл его своей шубой.

— Что вы делаете, господин, — произносит Адамян растерянно, — вы можете простудиться.

Чуйко отвечает:

— Если я простужусь и заболею, нет большой беды. Ваша же жизнь дорога для искусства, — и, повернувшись к стоящим там людям, прибавил: — Счастлив театр, который имеет таких артистов.

А армяне тогда еще не имели своего национального театра.

Отелло Адамяна не достигал высоты его Гамлета. Причина заключалась в его физической слабости. То же — в роли короля Лира. Здесь ограниченность его возможностей особенно бросалась в глаза. В последнем акте, когда Лир выносит на сцену тело Корделии, Адамян был до такой степени физически слабым, что зрителям казалось: вот-вот он свалится под тяжестью своей ноши.

Когда я в рецензии осторожно намекнул об этом, Адамян обиделся и долгое время почти не разговаривал

со мной. Однако он все-таки пришел ко мне, и наша дружба возобновилась, но увы ненадолго... Через полтора года он умер в Константинополе.

Первые выступления Адамяна мне неизвестны. Я увидел его, когда он уже был вполне сложившимся артистом. Абгар Ованесян и другие говорили мне, что когда он приехал из Константинополя, то не имел понятия о серьезном театре и серьезном репертуаре. Он привез с собой несколько затасканных переводных пьес, главным образом мелодрам.

В самом деле, что мог дать ему Константинополь, где не только сейчас, но и никогда не было настоящего театра — ни армянского, ни европейского, кроме, конечно, приезжавших время от времени сюда на гастроли посредственных французских трупп.

Такие талантливые артисты, как Астхик, Грачия, Сирануш, играли в опереттах на турецком языке, а Адамян участвовал лишь в армянских любительских труппах. Таким образом, опровергается та легенда, будто Адамян приехал в Тифлис уже сложившимся артистом.

Талант Адамяна, так же как и Грачия и Сирануш, развивался и укреплялся под влиянием русского театра, а также восточно-армянской культуры.

Что было особенно значительного в игре Адамяна? Прежде всего — его пластика. В этом смысле армянский театр не имеет равного ему. Его позы на сцене напоминали скульптуры Фидия. А голос! Никогда со сцены я не слышал такого изумительного баритона. Эрнесто Росси обладал более мощным голосом, но не таким мягким и звонким. Таким же был голос Муне Сюлли. Игра Адамяна отличалась динамичностью. Но его динамика была органической, естественной, а не показной. Он не бегал по сцене как ошпаренный, не вертелся вокруг самого себя, как константинопольские дервиши, не произносил реплики то в одном, то в другом углу сцены. Динамика его игры была скорее внутренней, чем внешней. Он, как никто ни до него ни после него, владел врожденным чувством ритма. Его паузы напоминали море, а жесты — там, где они были необходимы, — бурю. Ни одного лишнего движения, лишней позы. И все было до предела естественным у этого удивительного человека, который

не проходил профессиональной школы. Такими бывают гении.

Большие артисты почти всегда страдают какой-нибудь слабостью. Адамян и в этом не был исключением. Он любил овации зала... когда они были адресованы только ему.

Однако незначительные недостатки характера Адамяна оставались незаметными по сравнению с его огромными достоинствами. Он не был злым, наоборот, сочувствовал людям, потерпевшим бедствие. Был гостеприимным, веселым, остроумным, иногда остроумие его доходило до циничности, но в рамках приличия. Очень любил анекдоты, умел рассказывать увлекательно, весело.

Его скромная квартира в Тифлисе всегда была полна гостей. Приходили все: армяне, русские, грузины, немцы и другие. Но в то же время Адамян умел мастерски избавляться от нежелательных посетителей. Однажды в моем присутствии слуга доложил, что какой-то человек хочет повидаться с ним и ожидает его во дворе.

— Сказал, что я дома?

— Да.

— Проклятый, не знал, что ответить. Ладно, проси.

Слуга вышел. И вдруг совершенно здоровый и веселый Адамян побледнел, осунулся, руки затряслись, он начал стонать, как настоящий больной. Я знал его хитрости и не удивился. Увидев Адамяна в таком состоянии, посетитель растерялся, забыл даже поздороваться.

— Вы больны?

— Да, дорогой друг, очень плохо себя чувствую. Жду доктора. Казар, Казар, куда пропал, дьявол?

Но Казар уже все понял и не появлялся. Гость постоял, поглядел сюда, туда и сказал:

— Простите, не знал. Желаю здоровья, потом зайду.

Сказал и, поклонившись, вышел.

— Паршивый,— воскликнул Адамян, вскочив с места.— Это мой сапожник. Я должен ему небольшую сумму. Сколько раз говорил: будут деньги, я сам занесу. Так нет же, является каждый день, и обязательно, когда у меня гости.

Другой раз он такую же комедию разыграл с Артуром Лейстом, который занимался переводами для издаваемой в Германии по инициативе А. Ованесяна «Арменише

библиотек». Этот человек то и дело приходил к Адамяну и своими бесконечными вопросами отнимал у него драгоценное время. Адамян не любил его.

Вообще Адамян и в жизни был актером. Он мог при необходимости показать себя и бесстрашным львом и пугливым зайцем. Он не обладал непосредственностью и правдивостью русских артистов. Иногда невольно появлялось сомнение в искренности его улыбок и комплиментов. Наблюдательный глаз Раффи хорошо подметил это. Но все же Адамян не был антипатичным, как обычно бывают льстцы.

Адамян любил угощать, веселиться. Любил деньги лишь постольку, поскольку они обеспечивали ему благополучие сегодняшнего дня. Золото в его руках таяло, как снег у костра. Но много ли он расходовал: двести-триста рублей в месяц.

— Говорят, что я зря всяких артистов и певцов угощаю коньяком и икрой,— жаловался он мне,— а они что, меня квасом и луком угощают, что ли?

В расточительности его обвиняла буржуазия. И прежде всего люди богатые, но с нищенской душой, которые не посещали театры и для которых высшее удовольствие в жизни — это жрать, кутить...

Адамян более или менее обеспеченным бывал только в зимние месяцы. Остальное же время он с небольшой труппой обезжал провинциальные города. Его материальное положение в эти месяцы бывало очень шатким. Адамян всю жизнь мечтал об отдыхе, о курортах, о путешествии. Но на это у него всегда не хватало средств.

— Удастся ли мне увидеть Европу?

Здоровье Адамяна разрушалось день ото дня. Когда Эрнесто Росси приехал в Тифлис, Адамян в это время находился здесь. Армянское общество решило в честь итальянского трагика устроить армянский спектакль и показать ему Адамяна в роли Гамлета. Зал был переполнен. Присутствовали главным образом зрители других национальностей. В ложе Росси находился Сундукиан, которого он называл «папашей», хотя они были почти ровесниками.

Росси по профессии был врачом, но, разумеется, не занимался медициной. Он восхищался игрой Адамяна. После каждой картины долго аплодировал, но сказал:

— Жаль, что этот изумительный талант недолго проживет.

— Почему? — спросили его.

— Из-за голоса. Я чувствую, что он искусственно превратил свой горланный голос в грудной, притом прекрасного звучания. Однако нежные горловые связки не могут долго выдержать столь высокого напряжения. Рано или поздно он неизбежно заболеет туберкулезом горла.

Пророчество Росси сбылось. Не помню через два или три года после этого Адамян в Константинополе заболел туберкулезом горла. Пролежав долгое время в русской больнице, он умер на сорок шестом году жизни.

ГАБРИЕЛ СУНДУКЯН

Образ Сундукана — и как писателя и как человека — возникает в моей памяти отдельно от деятелей армянской культуры прошлого.

Когда я с ним познакомился, ему уже было около шестидесяти лет. Среднего роста, крепкого сложения, тщательно выбритый, всегда в перчатках. Многие его считали красивым, я — нет. Черты лица были правильные, мягкие. Но оно напоминало скорее лицо сытого купца, чем писателя или артиста. Сундукиан был царским чиновником со званием «действительного статского советника», что требовало обращения «ваше превосходительство». Шагал он гордо, чуть-чуть склоня голову на левое плечо. Жаль, что эта голова по должности должна была склоняться перед высокими чинами.

Не помню в каком году, исполнилось двадцатилетие литературной деятельности Сундукана. По этому случаю я в «Арцаганке» напечатал маленькую статью и напомнил общественности о заслугах замечательного драматурга. Между прочим, Сундукиан очень поздно начал писать: если не ошибаюсь, когда ему было около сорока лет. В тот же день, когда вышла статья, он прибежал в редакцию взволнованный.

— Что вы наделали, что вы наделали! — кричал он,

по прозвище предварительно вежливо поздоровавшись с нами.

— Что случилось, Габриел Никитич? — спросил я с удивлением.

— Безбожники! Вы хотите моей погибели. Ведь я просил Абгара о моем юбилее не писать ни одной строчки. Почему же написали?

— Хорошо, Габриел Никитич, в ближайшем же номере сообщу о том, что вы отказываетесь от юбилея.

— Не надо. Ради бога, ни одного слова! Пусть все пройдет тихо и забудется.

Сначала я думал, что Сундукиан по скромности отказывается от юбилея. Тогда я знал его недостаточно хорошо. Абгар Ованесян открыл мне истинную причину.

— Боится властей, как бы не зачислили его в сепаратисты и не лишили должности.

В те годы подозревали, что армяне и грузины хотят отделиться от России, и царское правительство даже в народных национальных празднествах усматривало признаки сепаратизма.

Сундукиан вообще старался держаться в стороне от литературно-общественных кругов...

Он питал особое уважение к тем, кого в Тифлисе называли «кинто». Его Пепо, Какули, Гико списаны с этих людей. Кинто занимаются главным образом торговлей фруктами, вином и рыболовством.

Сундукиан сам мне говорил, что Пепо он встретил прямо на улице. Заметив рыболова с характерной внешностью кинто, он пригласил его к себе домой, угостил чаем, затем долго беседовал с ним, завязал прочное знакомство, наконец, стал крестным его новорожденного сына.

— Но, бессовестный, — говорил Сундукиан, — гвоздями своих сапог изрешетил полы моих комнат. Хороший был человек, честный. Умер, бедняга. Сын его, которого я крестил, сейчас вырос красивым молодым человеком, как-нибудь покажу вам. Признаюсь, я немного идеализировал Пепо, настоящий кинто — это Какули. Образ Гико тоже взят прямо из жизни. Зимзимов — это портрет известного ростовщика Х. Но другой мой знакомый, ростовщик Ч., в его образе узнал себя. Я тогда снимал у него квартиру. Подлец, со злости выгнал меня!

Лучшим своим произведением Сундукиан считал «Пепо» и с благоговением говорил о нем. Он ходил почти на все представления своей пьесы на армянском и грузинском языках и оставался до конца, занимая место в первом ряду.

Сундукиан сам переводил свои пьесы на грузинский язык. Он в совершенстве владел им. На грузинской сцене он был так же любим, как и на армянской. Под своими переводами он не ставил «перевод с армянского». Во всяком случае, я никогда не встречал этих слов на его пьесах. Наоборот, иногда его фамилию произносили с грузинским окончанием: Сундукашвили. Он не жаловался на это и хорошо делал. Он, подобно Саят-Нова, был столько же грузином, сколько армянином.

Сундукиан был крайне педантичным в своем творчестве. Я не знаю, как он работал над пьесами на тифлисском диалекте; когда я с ним познакомился, «Пепо», «Хатабела», «Еще одна жертва», «Разрушенный очаг» уже были хорошо известны. Но я отлично помню то время, когда он писал свои последние произведения. Он много раз проверял каждую фразу, каждый оборот, прежде чем записать. Плохо зная литературный язык, он часто обращался за советами к своим друзьям и знакомым. Несколько раз обращался и ко мне.

— Здравствуйте, уважаемый господин Ширванзаде,— начинал он, не спеша, степенно снимая перчатку.— Скажите, пожалуйста, что красивее: «я боготворю его» или «я его обоготворяю»?

— Обе формы красивы, но, Габриэл Никитич, не трудитесь снимать перчатку. Разрешите, я так пожму вашу руку.

— Нет, нет, нельзя, приличие требует. Да, значит, по вашему, обе формы красивы, но все-таки скажите, какая из них благозвучнее.

— Я боготворю его,— говорю я, чтобы избавиться.— Но «я его обоготворяю» также красиво.

— Спасибо. Я и Абгара спрошу, посмотрим, какого он мнения. До свидания, желаю здоровья и успехов. Передайте мое уважение вашей супруге.

Так он спрашивал одного, другого, третьего, потом записывал, стирал, снова записывал, много раз менял, исправлял. Но не только о языке и стиле он советовался,

но и о содержании, об идее. При писании своих лучших вещей его главными советниками были артисты Геворг Чмшкан и Михрдат Америкян. Об этом Сундукиан писал в предисловии к своей книге.

Так же требователен, как к себе, был Сундукиан и к постановщикам своих пьес. Бесконечными указаниями он подвергал моральной инквизиции артистов. Малейшее отступление от оригинала глубоко огорчало его. Нередко я, сидя рядом с ним в зале, замечал, как он волновался при той или другой ошибке артистов.

— Проклятый,— произнес он,— тысячу раз говорил, что не так...

Особенно он следил за правильным произношением тифлисского говора. Этот говор требует гортанного произношения, особенно грузинских слов. В грузинском алфавите есть буква более гортанская, чем наша «ղ». Он требовал, чтобы этот гортанный звук произносился с абсолютной четкостью. Сундукиан свои пьесы издавал с пояснительными записками, в которых он не забывал особо отметить и о произношении этих звуков. Он заказал в типографии особый знак для этой буквы.

Помню жалобы владельца типографии Ованеса Мартиросяна.

— Братец мой, начиная от Адамы и Евы, наша буква «ղ» пишется без шляпки. Теперь пришел какой-то Сундукиан и требует, чтобы ее изображали с чалмой. Что за порядки!

Сундукиан был наказанием для наборщиков. Никто не хотел набирать его книги. Не ошибусь, если скажу, что он не менее десяти раз сам переписывал свои произведения и столько же раз заставлял корректоров проверять. Не раз я видел, как он возмущался, спорил с наборщиком по поводу той или иной буквы.

— Господин, я вам говорю «х» надо перебрать, она почти не видна, а хвостик «լ» вышел жирным...

Книги свои он издавал на бумаге лучших сортов. И когда завершалась работа и весь тираж был отпечатан, он лично по одному экземпляру книги преподносил редакторам, затем спрашивал об их настроении, здоровье, об успехах в работе, об их семье и т. п.

Я не знаю другого столь пунктуального армянина, каким был Сундукиан. Он бывал на условленном месте в

назначенную секунду. Того же самого требовал он и от других и возмущался, когда заставляли его ждать. Он был чрезвычайно внимателен к себе, особенно следил за своим здоровьем. От алкогольных напитков воздерживался, пил умеренно. Не курил и не разрешал другим в своем присутствии курить. Каждый день регулярно ходил на прогулку в сад Муштаид и пешком возвращался домой, пройдя около десяти километров. Делал все, чтобы сохранить жалкие следы своей былой красоты, старался быть веселым, жизнерадостным. Одевался всегда аккуратно. Зимою надевал или цилиндр или шапку под цвет своих волос, чуть-чуть набекрень, как персидские беки. Никогда не выходил из дома небритым и без перчаток. Как сорокалетняя кокетка, любил... комплименты. Знакомые хорошо знали об этой его слабости. Поэтому при встрече не забывали сказать:

— О, Габриел Никитич, не сглазить бы, — с каждым днем расцветаете!

— Правду говорите? Нет, генацвале, постарел, — кокетничал он, как карабахский «аяк».

Однажды, встретив Сундукияна на улице, я, еще не зная этой слабости, сказал:

— Не обижайтесь, Габриел Никитич, — сегодня кажется вы мне бледным.

Сундукиян вздрогнул.

— Хорошо, что сказали «не обижайтесь», не то очень бы обиделся.

Но он уже обиделся.

После этого случая, встречаясь с ним, я, как и другие, говорил ему комплименты о его «моложавости». Человек обманывал себя и жил этим, но беспощадное время с каждым днем подтачивало его здоровье.

Другой слабостью Сундукияна был прекрасный пол. Любил кружиться вокруг красивых женщин, любезничать, ухаживать за ними. Уже пожилым человеком он влюбился в соседку-армянку. По вечерам выходил на балкон и долго играл на таре, как Саят-Нова, музыкой выражая свою любовь. Женщина, услышав звуки тара, выходила на противоположный балкон, и между ними происходило молчаливое объяснение в любви. Сундукиян не скрывал своей любви, наоборот, иногда он гордился

этим. Ему было восемьдесят лет, когда однажды он мне сказал:

— Знаете, если и сейчас какая-нибудь красивая женщина назначит мне свидание, с радостью пойду. Пойду даже при дожде, при граде, метели, даже при землетрясении. В нашем бренном мире, какое есть удовольствие, кроме этого...

Сундукян оказался самым долголетним армянским писателем. Быть может, этому способствовала его материальная обеспеченность. В этом смысле он был исключением в нашей литературе.

Он умер в восемьдесятисемилетнем возрасте, до конца жизни борясь со старостью. В завещании, опубликованном в газетах в день его смерти, он писал:

«Меня раздражают кони с большими бубенчиками. Пусть мой гроб несут четверо здоровых кинто. Они понесут меня с легкостью птицы».

Вот еще характерный штрих:

«Я не желаю иметь памятника. Если хотят, пусть поставят памятник Пепо»...

Комиссия по похоронам исполнила желание Сундукяна. Гроб его до Монастырского двора несли кинто. Там до сих пор поконится тело замечательного драматурга.

Сундукян явился настоящим основоположником подлинно армянской драматургии.

Тенденциозные, националистические пьесы его современников Кариняна, Экимяна, Пешикташляна не представляли ценности ни по содержанию, ни по форме.

Лучшие вещи Сундукяна те, в которых использован тифлисский диалект. В литературном переложении они теряют свой колорит, свою прелесть. Переложенный на литературный язык «Пепо» в Константинополе не имел успеха.

Сундукян был подлинным реалистом, свободным от всяких натуралистических веяний. По материалу своих произведений он является армянским Островским. Подобно русскому драматургу, он тоже бичевал «темное царство», то есть купечество. Разница между его Зимзимовым и купцами Замоскворечья Островского только в одежде. По существу же все они сыны одного и того же «темного царства».

Наиболее совершенный среди характеров, созданных Сундукиным,— Гико в «Пепо». Это бронзовая статуя, перед которой время бессильно. Гико — воплощение восточной медлительности. Он никогда не умрет, ибо типы не умирают, они только меняют одежду. Сегодня — чоха, завтра — фрак.

У Сундукина не было недоброжелателей. Хочу сказать, что мелкие газетные комары его не кусали, как кусали всякого более или менее одаренного писателя. Своим трезвым умом, обходительным языком и учтивостью, наконец, официальным положением он умел обуздывать назойливых писак. «Мудрецы» из «Мшака» только раз применили против него свое заржавленное оружие. Это случилось, когда Сундукин на выборах католикоса отдал свой голос редактору «Ардаганка». Один из них написал: «Сундукин как человек с сегодняшнего дня умер». Но Сундукин, несмотря на свой эгоизм, был честным человеком. Таким он и умер.

В вину ему можно поставить лишь то, что он отдавал предпочтение чину и должности, оставляя литературному творчеству второе место.

Ему не нужна была генеральская лента, высшую ленту он уже получил от Мельпомены. Он не нуждался и в царских деньгах. Его поместье полностью обеспечивало его.

ПЕРЧ ПРОШЯН

Он пришел из деревни и, живя в городе, сохранил в себе лучшие черты армянского крестьянина. Город отшлифовал, обтесал его мысль, но не смог изменить, изуродовать его духовный мир. Душа осталась с родным миром.

Он был среднего роста, с широкой грудью и круглым, скуластым лицом. Из-под узкого лба смотрели острым взглядом глубоко посаженные глаза. На голове и в небольшой бороде виднелись первые седые волосы.

До знакомства с ним я читал только два его романа — «Сос и Вардитер» и «Из-за хлеба». И, встретившись с ним, я выразил свое глубокое уважение к нему.

Одевался он всегда неряшливо. Шляпа постоянно помятая, галстук старый, поношенный. Пуговицы на пиджаке и рубашке расстегнуты. Говорил резким, неприятным голосом и так громко, что, казалось, для него городские дома были горами, улицы — ущельями. Никаких условностей цивилизации не соблюдал. Не признавал формальностей и в дружбе.

Прошян был глубоко религиозным человеком, христианином. Одно время думал даже стать священником, а после смерти жены — архимандритом. Не знаю, что ему помешало осуществить это намерение. Был рьяным консерватором, дружил с армянским духовенством, но не с представителями его «либерального» крыла. Ненавидел всех тех служителей церкви, которые увлекались новыми веяниями, и смеялся над ними.

— Лучше быть атеистом, чем фальшивым верующим, — говорил он. — Я ненавижу тех священников, которые с церковной кафедры проповедуют идеи Дарвина. Служитель религии должен быть истинно верующим, иначе клобук или камилавка на его голове то же, что пелена стыдливости на лице проститутки.

Из всех армянских писателей Прошян был наиболее самобытным. Существование партий внутри нации он считал ее несчастьем. Он не имел представления о классовом различии.

Он любил семью и не представлял себе высшего счастья, чем быть верным супругом и любящим отцом. Он не мог простить Арцруни его гражданский брак с мадам Кочарян. И меня, несмотря на нашу дружбу, обвинял в том, что и мой брак с женой не был освящен церковью. Он часто повторял:

— Без благословения церкви не может быть семьи и счастья.

Когда я ему говорил, что единственной надежной основой семейной жизни могут служить только взаимная любовь и уважение супругов, он отвечал с усмешкой:

— Любовь не вечна, уважение также. Только религия вечна и всесильна.

Он злился, когда узнавал, что тот или иной григорианец-армянин женится на православной женщине.

Когда умерла его жена, он изменился до того, что

трудно было его узнать. За несколько дней, казалось, постарел на много лет, ходил и разговаривал как невменяемый.

Нельзя было без боли душевной смотреть на Прошяна в день, когда арестовали и сослали в Сибирь его старшего сына.

— Знаю, знаю,— повторял он, когда я пришел к нему со словами сочувствия,— что ты сам родитель и тебе известно отцовское горе. Но ты в душе, наверно, осуждаешь меня за то, что я оплакиваю свое горе, вместо того чтобы гордиться сыном, ставшим жертвой идеи. Но меня мучает именно то, что он стал жертвой этой идеи. Я не понимаю социализма, не понимаю и не признаю. Мой сын мог пожертвовать собою только ради своего народа, ради своей родины.

И он, подняв дрожащие руки над головой, удалился.

Многие высказывали мысль о том, что прототипами образов Сахаруни в драме «Погибший» служили для меня Прошян и его сын. Это полное недоразумение. Один из наших артистов, игравший в Константинополе роль отца Сахаруни, вышел на сцену, загrimированный под Прошяна, против чего я прислал протест из Парижа. Я уважал и любил Прошяна, хотя вначале он на меня произвел нехорошее впечатление. Тогда он показался мне хитрым человеком, как многие армянские крестьяне. Скажу также, что именно таким Раффи описал его мне. Но потом, когда я ближе узнал Прошяна, убедился, что он один из честнейших и добродушнейших людей среди писателей Армении.

Прошян был очень плодовитым автором. Он писал удивительно быстро и в любое время суток, когда бы ему ни вздумалось.

— Сегодня утром, проснувшись,— рассказывал он мне,— попросил мою старушку поставить самовар, зажег свечу и, полулежа на постели, не поленился — написал предпоследнюю главу «Цецер» («Мироеды»). Завтра закончу всю книгу.

Писал он прямо набело, написанное не исправлял и не редактировал. Даже, кажется, и не переписывал.

Раффи говорил:

— Прошян — красильщик, бросает тряпки в краску и тут же вынимает.

А Агаян удивлялся:

— Не пойму, как можно писать в любое время. Ведь настоящий писатель берется за ручку только по вдохновению, и то, что написано в часы вдохновения, нельзя никогда менять.

Раффи и с ним не соглашался:

— В часы вдохновения иногда сочиняешь такие глупости, что потом, когда перечитываешь, самому становится стыдно.

Прошян мог бы за месяц написать целый том. И написал бы, если бы не трудности, связанные с изданием. После «Порца» («Опыт») Абгара Ованесяна он свои романы стал публиковать в журнале «Мурч» («Молот») Аветика Арасханяна. Но Арасханян сам нуждался в деньгах и потому при всем желании не мог платить более или менее прилично. И Прошян вечно нуждался. Он представлял собой пример материальной необеспеченности армянского писателя.

— Сегодня предложил центральному книжному магазину продавать мои книги со скидкой семьдесят пять процентов,— сказал он однажды мне.— Дьяволы, все равно отказываются! Остается единственное—продавать их на вес розничным торговцам.

Обеспечение своей большой семьи было венцом его заботой. Ни один армянский писатель не был так обременен заботами, как он. И несмотря на это Прошян был самым среди них гостеприимным человеком и любил хорошо поесть. Он сам каждый день отправлялся на рынок за продуктами.

Однажды, в 1904 году, я, Агаян, Арасханян, Туманян и несколько других писателей читали на Ереванской площади в Тифлисе дневные телеграммы о военных действиях. Вдруг показался Прошян. Он шел с базара, неся на плече, как пастух, большую палку, на конце которой висели завернутые в яркий, цветастый платок купленные продукты. Из платка торчали, как штыки, длинные концы зеленого лука.

Он подошел и стал рядом со мной. Вдруг я заметил, что в одном из его больших карманов что-то шевелилось. Я подмигнул Туманяну, показывая на карман. Он не смог удержать смеха и вытащил из кармана Прошяна завернутую в бумагу живую рыбу.

— Как тебе не стыдно, Перч,— воскликнул Агаян своим густым басом.

— Молчи, купил для детей, они очень любят эту рыбу.

— Хорошо, хорошо, только не мешай, ради бога: видишь, заняты делом.— И в самом деле, чтение телеграмм было для Агаяна важным делом.

— Ухожу, ухожу, лорийский чабан! Ребята,— обратился он ко всем,— приходите, кто хочет, ко мне обедать, рад буду.

Вот таким был Прошян в повседневной жизни. Всегда простым, добродушным. Для него все были равны, ко всем он относился одинаково радушно. Кто бы ни поздоровался с ним, он всем отвечал легким прикосновением двух пальцев к краям своей поношенной шляпы. Со всеми он был на «ты».

В прошлом Прошян в Ереване занимался торговлей углем, затем фотографией, потом еще чем-то. Рассказывали следующий забавный случай из его жизни. Однажды, в годы Русско-турецкой войны, приходят к нему фотографироваться десять-двенадцать русских солдат.

— Как вас сфотографировать — вместе или по-разнь? — спрашивает Прошян.

— Поразнь.

Снимать каждого отдельно заняло бы очень много времени. И Прошян прибегает к хитрости. Он снимает одного солдата и, обращаясь ко всем, говорит:

— Приходите в ближайшее воскресенье, карточки будут готовы.

В следующее воскресенье, раздав по шесть карточек каждому, он спрашивает:

— Ну что, нравится? Правда, хорошие снимки получились?

— Да, нравится, очень хорошие,— подтверждают солдаты и уходят довольные.

Истинность этого эпизода Прошян не опровергал.

Абгар Ованесян рассказывал:

— Однажды утром мне сообщили, что Прошян тяжело болен и хочет повидаться со мною. Когда я пришел к нему, он лежал в постели, накинув на себя не менее полдюжины одеял, и стонал: «Ну, что случилось,

Прош?» — спросил я. «Абгар, дорогой, видишь,— умираю. Слушай мое завещание, я скажу тебе устно, а ты можешь записывать. Во-первых, ты должен обеспечить жизнь моей жены, учебу и воспитание детей и выдать замуж дочек за молодых людей армяно-григорианской веры. У меня долг тысяча рублей. Уплатишь, чтобы те, кому я должен, не проклиниали мою могилу. Затем, если ты найдешь нужным, поставишь скромный памятник на моей могиле». Выслушав его, я спросил: «Очень хорошо, Прош, твое завещание я с удовольствием выполню, но какими средствами? Какое ты оставляешь наследство?» Вытащив из-под подушки толстую рукопись, он сказал: «Вот, продашь эту рукопись и книги и исполнишь завещание». — «И это все, что ты оставляешь?» — спросил я. «Да», — отвечает. «Коли так, я советую тебе пока не умирать». И Прошян, к счастью, не умер.

Чувство юмора не было чуждо Абгару Ованесяну, и, несомненно, свой рассказ он украсил выдумкой. Но все же этот рассказ очень характерен для образа Прошяна.

Прошян по своим литературным знаниям был ниже Раффи. Он хорошо знал древнюю и новую армянскую литературу. Знал также историю Армении, особенно церковную. Но литературы других народов он знал плохо, если не считать произведений, переведенных мхитаристами. Был знаком и с некоторыми русскими авторами. Читал произведения Гюго и Вальтера Скотта. О Золя он знал по газетным статьям и по рассказам друзей. Когда вышел его роман «Цецер» («Мироеды»), я написал в «Арцаганке» критическую статью, осуждая ряд натуралистических страниц книги.

— Не понимаю, — сказал он, обидевшись на меня, — когда Золя пишет такие же вещи, вы его хвалите, а когда я пишу, критикуете. Почему ты нападаешь на меня? Разве ты сам не реалист?

— Но, Прош, подробное описание грязного тела курдяники не реализм, а натурализм. Золя тоже натуралист. Я восхищен его гениальностью, но никогда не увлекался его направлением и не попал под его влияние.

Прошян, подобно Раффи, мало путешествовал. В летнее время он со своей семьей уезжал в какую-нибудь деревню, а зимой иногда ездил в Ереван или Баку. Он,

кажется, даже в России не был. Но этот малоподвижный человек однажды на склоне лет совершил далекое путешествие: поехал в Швейцарию повидаться со своими сыновьями. Из Женевы он отправился в Париж. Я с семьей это время жил в Париже. Это было, если не ошибаюсь, в 1908—1910 годах.

Вообще, в характере этого в высшей степени простого человека было много необычного, но привлекательного. Иногда он захлебывался безудержным заразительным смехом. Рассказывая о горестях своей жизни, он бичевал только себя и к невзгодам жизни относился со stoическим пренебрежением. Шутки и литературные пародии товарищей по его адресу он слушал безропотно, со снисходительной улыбкой на лице, а иногда сам что-нибудь добавлял. И во всей этой смиренности было какое-то обаяние, которое привлекало всех.

Он протестовал только в тех случаях, когда высмеивали его крайний консерватизм. Единственной опорой существования армянской нации он считал церковь, и горе тому, кто бы не согласился с ним. Такой человек безусловно снискдал бы вражду Прошяна.

После церкви самым святым для Прошяна была семья. Он проклинал всех, кто нарушал патриархальные и религиозные устои семьи. Настоящей семьей он считал только ту, которая была скреплена церковным обрядом. За двадцать пять лет нашей дружбы он только два раза был у меня, к тому же после того, как я, под влиянием некоторых политических обстоятельств, был вынужден признать покровительство церкви.

Будучи защитником армянской церкви, Прошян в то же время беспощадно обличал духовенство за его многие недостатки. Он ревниво отстаивал не только устои григорианской церкви, но и все обряды до мельчайших подробностей. Однажды я с ним присутствовал на воскресной литургии в Парижской армянской церкви. Он с большим вниманием следил за каждым движением всех служителей. Заметив, что дьякон держит кадильницу не по установленному способу, сказал:

— Я покажу этой скотине! Церковь не театр, чтобы каждый артист играл по-своему.

Он так был возмущен, что, казалось, сейчас подымется на алтарь и отнимет кадильницу у невниматель-

ного дьякона. Встретившись на улице после литургии с дьяконом, он крепко обругал его.

Как гранитное строение, Прошян был груб и неотесан, но крепок и нерушим. Ни время, ни наука, ни цивилизация не нарушили его самобытности.

Прошян не обладал ни богатой фантазией Раффи, ни огромным патриотизмом Абовяна, но он был жизненнее того и другого.

Прошян — наш крупнейший крестьянский бытописатель. Правда, он не так талантлив, но то, что он писал, он знал хорошо, в мельчайших подробностях. Язык его грубоватый, описания нередко растянутые, но точные. Он не создал типов, в его произведениях можно найти только отличающиеся друг от друга персонажи. Однако действующие лица его романов в большинстве случаев самобытны, это самостоятельные личности, обладающие собственной волей. Талант Прошяна лишен рассудочности, он не заставляет своих героев действовать по своему желанию, как это делают Раффи и Абовян.

Не будем обращать внимания на многочисленные повторения в его сочинениях, на грубые слова — это наследство Абовяна. Но ведь все остальное интересно, потому что знакомит нас с психологией армянского крестьянина.

Не велика беда, что романы Прошяна часто читаются с трудом, что они иногда растянуты и скучны. Важно то, что после их чтения в памяти остаются жизненные события, народные обычаи или сцены крестьянской жизни.

Часть вторая

ПЕРВЫЕ ДНИ

Мы решили ехать прямо в Париж, нигде не задерживаясь. Заехали лишь на два дня в Берлин, чтобы передохнуть после десятидневного утомительного путешествия. Однако и этих двух дней было достаточно, чтобы почувствовать, в каком трудном и неприятном положении оказывается человек в стране, языка которой он не знает.

Мы остановились в одном из первоклассных отелей на Фридрихштрассе. Можно было предположить, что в такой гостинице должен быть хоть один служащий, владеющий еще одним языком, кроме немецкого, ну, хотя бы общепринятым французским.

Но среди многочисленных служащих не нашлось ни одного, кто мог бы ответить по-французски на наши самые элементарные вопросы. Мне показалось, что причиной этого было не незнание французского языка, а неукротимая ненависть патриота-немца того времени ко всему французскому. Ведь это происходило в эпоху шовинистской политики Вильгельма II.

Не скрою, что я никогда не чувствовал особого влечения к немецкому языку и вообще к немецкой культуре. Быть может, потому, что читал преимущественно французскую литературу. Но в эти дни я сожалел, что не выучил хотя бы несколько десятков немецких слов, чтобы не испытывать те трудности, с которыми я встречался по своему легкомыслию. Достаточно сказать, что все мы чувствовали себя оторванными от мира, будто находились в какой-то пустыне, где, однако, все было ново и интересно для нас.

Спустя пятнадцать лет из-за незнания английского языка я оказался в таком же положении в Америке, но там в качестве переводчицы со мной была моя дочь Маргарита, и я не испытывал никаких затруднений.

Мы побродили по улицам Берлина, вошли в несколько магазинов, садов, полюбовались на красивые фонтаны, подивились яркому освещению и поразительной повсюду чистоте, попробовали знаменитого мюнхенского пива, выпили вкусное кофе по-венски,— и наше любопытство было удовлетворено.

Затем нас охватило желание поскорее уехать отсюда. Но и тут мы встретились с затруднениями, опять-таки из-за незнания языка. Надо было выяснить, каким поездом ехать в Париж, с какого вокзала, в котором часу.

Я вышел вместе с двумя сыновьями и остановился на углу Фридрихштрассе.

— Что мы должны здесь делать? — спросил меня старший сын Рубен.

— Постоим. Может, случай поможет,— ответил я со всей серьезностью.

Юноша усмехнулся.

Стоя на перекрестке Фридрихштрассе, мы рассеянно и бесцельно глядели по сторонам на великолепные дома, поражавшие нас своей высотой, на красивые вагоны трамваев и несущиеся во все стороны автомобили. Все это было, конечно, для нас ново и потому в диковинку, но в то же время все это было чужим и неприветливым. Нарядные, чисто выбритые мужчины, с усами «а ля Вильгельм», торчащими кверху, и полные дамы, с сосредоточенными, неулыбающимися лицами, были воплощением сътости и самодовольства.

И вот случилось то, на что я смутно надеялся.

— Здравствуйте,— услышал я голос, который показался мне знакомым.— Когда вы приехали, куда едете?

Это был еврей-коммивояжер. Два раза в год он приезжал в Тифлис от одной крупной германской мануфактурной фирмы, предлагая товары местным купцам. Я несколько раз встречался с ним в доме моего родственника.

Я рассказал ему о наших затруднениях. Он добродушно улыбнулся и тотчас же предложил свои услуги.

За какой-нибудь час он уладил все: расплатился с гостиницей, проводил нас на вокзал, купил билеты, распорядился внести в вагон наши вещи и, горячо пожелав нам счастливого пути, ушел со своей неизменной улыбкой.

Скорость, с какой двигались поезда европейских железных дорог, была для меня явлением необычным. Привыкнув в России к медленному движению поездов, я все опасался, что вот-вот наш поезд опрокинется или сойдет с рельсов, особенно на территории Бельгии, где в то время движение поездов, как говорили, было быстрее, чем в какой-либо другой стране.

Красива, очень красива Бельгия со своими плодородными полями, невысокими, покрытыми лесами горами, зеленокудрыми холмами и тихим, безмятежным течением многочисленных рек!

Кажется, что переезжаешь через прекрасно обработанные сады и огороды, кажется, что здесь нет и не может быть ни одного клочка невозделанной земли и

что бесчисленные заводы и фабрики этой высокопромышленной страны николько не нарушают красоты природы.

Даже серые замки — эти мрачные свидетели кровавого прошлого, виднеющиеся на зеленеющих холмах,— даже они, точно примирившись с сегодняшней культурой этой страны, невольно улыбаются путнику, стыдясь своего прошлого. И я, уроженец отсталой страны, восхищенный чарующими красотами природы культурной Бельгии, возмущаюсь про себя тем, что Джон Рескин так несправедливо протестовал против железной дороги и фабрик, считая, что они «оскверняют» прелести природы.

Почему же здесь, в этом краю цветущей промышленности, они не осквернили и не омрачили ничего? Почему дым паровоза придает даже какую-то новую прелесть этим одетым в зеленый убор лесам и покрытым цветами холмам?

Впрочем, протест пресыщенного английского эстета смешон уже по одному тому, что хотя он сам и путешествовал верхом или в экипаже, но багаж свой все-таки посыпал по железной дороге.

Вероятно, это тоже не что иное, как одно из проявлений буржуазного сумасбродства!

В Бельгии мы не останавливались. Нас манил Париж, особенно меня,— город, который был мечтой моих отроческих и юношеских лет.

В Париж мы приехали под вечер. Но какое же разочарование с первого взгляда! В моем представлении Париж был городом ярких красок, городом, залитым ярким солнцем. Но, увы, какая серость! Несмотря на то, что еще стоял август, было уже холодно. Сквозь легкий туман моросил мелкий дождь. Тротуары и мостовые были покрыты грязью.

На вокзале нас встретил мой шурин, доктор Оганес Лорис-Меликян. Первую ночь мы провели в его квартире, находившейся в Латинском квартале, на бульваре Сен-Мишель, против Люксембургского сада.

Это была небольшая, скромная квартира. Сыновья устроились в студенческой гостинице. Пообедав и немного отдохнув, я, охваченный неудержимым желанием

поскорее посмотреть город, вышел на улицу. Я тогда был нетерпеливым, как ребенок. Счастливое время!

К вечеру дождь прекратился. Потеплело. Впоследствии я заметил, что в Париже осенью воздух вечером мягче, чем днем. По-видимому, это тоже одно из удивительных свойств этого города.

Сен-Мишель, или, как его называют в обиходе, Бульмиш, был в то время самым оживленным бульваром Латинского квартала и излюбленным местом прогулок студенчества. Первое, что привлекло мое внимание, были не ярко освещенные кафе, не шумная музыка и не группы женщин, а толпа бежавших по мокрому тротуару бородатых мужчин, наряженных в разноцветные бумажные колпаки и кричавших как оглашенные: «Conspueg, conspuer!»¹ Доктор объяснил, что это студенты университета. Один из профессоров пришелся им не по душе, и вот они протестуют, требуя, чтоб правительство убрало ненавистного им лектора. Это зрелище показалось мне странным, чтоб не сказать ребяческим и смешным, в особенности цветные бумажные колпаки.

Впоследствии мне нередко случалось видеть уличные демонстрации еще более потешного характера, но я пригляделся к ним, и они перестали казаться мне смешными.

Разве неправда, что наши мысли и чувства часто управляются зренiem, которое примиряет нас с тем, что раньше казалось непривычным?

Перейдя на правый берег Сены, мы вышли на Большие бульвары, о которых я так много слышал и читал. При первом взгляде на них ничто не удивило меня, по крайней мере в той степени, в какой я ожидал: ни ослепительный свет многочисленных газовых и электрических лампочек, ни убранные с тонким вкусом витрины, ни оглушительный шум и хаотическая суетолока трамваев, омнибусов и экипажей.

У меня было такое чувство, будто все это я уже видел давным-давно и много раз; а всемирно известный Итальянский бульвар оказался точ-в-точь таким, каким он снился мне однажды.

Я думаю, что мое впечатление вряд ли могло быть

¹ Предать поруганию, оплевать!

сильнее, если б даже все виденное мною было во много раз грандиознее и красивей.

За всю мою жизнь лишь две вещи не обманули моего ожидания в отношении своей красоты и величия: то были Ниагарский водопад и извержение Везувия. Здесь действительность оказалась несравненно ярче моих предположений.

Гораздо сильнее поразило меня другое: глухой ропот голода в этой ослепительной, шумной роскоши; огромные толпы нищих, на каждом шагу преграждающих путь прохожим, особенно чужестранцам и приезжим. Я не был, конечно, настолько наивен и несведущ, чтоб думать, будто в больших городах все сыты и что ничья рука не протягивается к прохожему «Христа ради» или «во имя милосердия». Я знал, что всюду нищета — эта извечная язва человечества, но я не мог представить себе, что ее облик так разнообразен, так уродлив и постыден!

— Карандаши — новые, удобные и дешевые. Спешите приобрести! — произносил слабый голос продавца.

— Пуговицы для рубашек, пуговицы — последнее слово науки, пользуйтесь случаем, купите! — кричал рядом другой голос.

— Моментально снимает всякие пятна, последнее чудо химии. Берегите вашу одежду!

— Чистите зубы щеткой «Жемчужина», и вы проживете долгие, долгие годы!

— Париж слепой, Париж глухой, чистите ваши туфли мазью «Солнце», и блеск их изумит женщин!

— Два су, только два су, и вы навеки избавитесь от мозолей!

Такие и подобные им возгласы — только бледные тени нищеты. Они никого не раздражают и никого не удивляют. А вот настоящая, кричащая нищета. У входа в большое кафе толпа окружила вполне здорового молодого человека лет двадцати. Кто он? Быть может, заводской рабочий, ставший жертвой безработицы. Бледный, взволнованный, он стоит среди окружившей его толпы, держа в одной руке палочку, на конце которой намотан кусок тряпки, а в другой баночку с керосином. Дрожащим голосом он произносит какие-то слова, смысл которых в том, что публика сейчас увидит нечто

необыкновенное и страшное. Затем, бросив пугливый взгляд направо, налево и намочив тряпку в керосине, зажигает ее и горящую тряпку несколько раз сует в рот. Потом набирает в рот керосин и зажигает. Изо рта с глухим шипением выходит пламя. Публика смотрит на это зрелище и пренебрежительно улыбается. Сняв шапку с головы, юноша просит «плату» за труд. Толпа поспешно расходится, жалея су. Лишь несколько сострадательных бросают в шапку мелкие монеты. В это время к юноше подходит жандарм и прогоняет его. Пусть показывает свои «чудеса» в районе другого полицейского!

Первое впечатление от Парижа было смутно, сбивчиво и, скорее, отрицательно.

Бульварами в Париже называются улицы, которые шире других и обсажены деревьями. Авеню — такие же улицы, но начинающиеся у больших памятников или пышных правительственныех зданий. Так называемые Большие бульвары начинаются у церкви Мадлен и тянутся до Сены.

Париж в общем состоит из трех главных частей: центральной, правобережной и левобережной. Центр — это Большие бульвары и их окрестности. Здесь находятся Елисейские поля — самая широкая и самая красивая в мире улица, и восхитительная площадь Согласия, украшенная обелиском, вывезенным Наполеоном из Египта, и символическими статуями двенадцати главных городов Франции. На одной из них — статуе Страсбурга — тогда были знаки траура. Сейчас, после окончания войны, когда Эльзас-Лотарингия снова отошла к Франции, траур с памятника снят.

В центре сосредоточены главным образом крупнейшие торговые дома, магазины, биржа, банки и театры. Это самый богатый район Парижа, так сказать, его карман и желудок. Мозг же Парижа — это левый берег Сены. Здесь находятся Латинский квартал, университет, Коллеж де Франс, парламент, Пантеон, сенат, обсерватория, крупные издательские товарищества, начиная с Ашетт, и другие. Здесь расположен также столько раз описанный и воспетый французскими романтиками

квартал Сен-Жермен, который, начинаясь у дворца Бурбонов, доходит до Латинского квартала. Старая аристократия и сейчас большей частью живет здесь. Она из кожи лезет, чтобы сохранить свои вековые привычки и традиции, но в то же время бессильно ненавидит буржуазию, точнее, завидует ее богатству и могуществу. Тянувшиеся в ряд двух-трех- и четырехэтажные дома отличаются от пышных зданий Елисейских полей или бульваров не стилем или оригинальностью, а своей убогостью. Но зато каждый из них имеет свою вековую историю, то радостную и блестящую, то мрачную и кровавую.

Вторая примечательная часть Парижа — Монмартр, артистический квартал, местоочных увеселений и чудовищного разрата.

Жизнь здесь начинается в полночь, когда закрываются театры и ревю, и продолжается до утра. Здесь проводят ночи те иностранцы, для которых Париж всего лишь город разрата. Здесь западные турии опустошают их карманы и сокращают дни их жизни. Монмартр — всемирный, международный увеселительный дом, в котором французу отведено самое незначительное место.

Все эти бесчисленные кафе, столовые, кабаре, дансинги и прочие увеселительные места, носящие названия иногда остроумные, чаще смешные, на девяносто процентов заполнены иностранцами; но и те десять процентов, которые приходятся на французов, составляют не парижане, а приезжие из провинции.

Рассказывают, что Эдиссон, побывав на Монмартре, с удивлением спросил:

— Скажите, пожалуйста, когда же вы творили и строили, если день и ночь предаетесь развлечениям?

— Эти увеселительные места не для нас,— ответил ему парижанин,— а для англичан и американцев.

Впоследствии, более или менее изучив Париж, я убедился, что француз, и в частности парижанин, далеко не так расточителен и легкомыслен, как это кажется с первого взгляда. Наоборот, никто, может быть, не умеет расходовать деньги и время с такой умеренностью, как француз, особенно парижанин. Его легендарная бережливость порой граничит со склонностью.

В МУЗЕЯХ. РОДЕИ. ТЕАТРЫ

Устроившись на новой квартире и определив детей в школу, я мог свободно распоряжаться своим временем. Я решил на время прервать литературную деятельность и заняться изучением нового для меня мира.

Материально я не был достаточно обеспечен. Более или менее верным источником моего существования оставалась литература. Но воспитание детей было все же обеспечено. В общем, я был доволен жизнью и даже чувствовал себя счастливым; счастливым потому, что попал в блестящий центр высокой европейской культуры. Увы, я не предчувствовал, что спустя три года судьба нанесет моему счастью ужасный удар, оставив в моем сердце неизлечимую рану. Я расскажу об этом позже.

С утра до вечера я бродил по улицам. Первый памятник, осмотренный мною, был знаменитый Собор Парижской Богоматери. Это посещение было данью готической монументальной архитектуре и гению Виктора Гюго, который бессмертному творению дал новое бессмертие. Затем я посетил музеи Лувр, Карнавале, Люксембург, Клюни, зоологические и ботанические сады, скверы, украшенные памятниками, и Булонский лес.

Есть такой желчный немецкий писатель по имени Макс Нордау. Его книга под названием «Париж» — яркое свидетельство того, насколько шовинизм способен ослеплять даже талантливых людей и повергать их в бездну черной зависти и пенависти. Этот ворчливый наблюдатель, описывая Париж, находит в его внешнем облике красивой лишь улицу Риволи, а в трехмиллионном населении — всего какую-нибудь тысячу человек, достойных его внимания.

Начиная от средневековых дворцов и зданий и кончая новыми кварталами, Париж представляет собой сплошной музей.

Здесь нет почти ни одного сада или площади, где бы не было предметов, достойных внимания и восхищения любителя искусства.

Достаточно пройти Люксембургский сад из конца в конец, чтобы убедиться, какими чудесами скульптуры обладает Париж. Это — целая школа для воспитания

художественного вкуса. Здесь, кстати сказать, находятся скульптуры Шопена, Гюстава Флобера, Жорж Санд и многих других выдающихся людей.

Главной особенностью Парижа является то, что он не сразу открывает посетителю все свое великолепие и красоту. Он напоминает капризную красавицу, которая не хочет улыбнуться новому знакомому в первую же минуту знакомства. Нужно прожить в Париже месяцы, даже годы, чтобы хорошо изучить его. Я видел немало путешественников, которые на первых порах поносили Париж, отрицали его красоту, а позднее покорялись ему и грустили, покидая его. В этом отношении особенно привередливы бывали приезжие из России и с Кавказа.

Много времени отняли у меня музеи, но только в первый год. В дальнейшем я перестал посещать их, за исключением Люксембургского. Здесь почти каждый месяц появляются новые шедевры, и если кто хочет следить за развитием живописи и скульптуры, тот должен периодически посещать его. Правительство собирает здесь творения, приобретаемые в обоих салонах Парижа и на прочих выставках. Покупается, копечно, только самое лучшее. Заветная мечта каждого художника и скульптора — увидеть в Люксембургском музее хотя бы одну из своих работ.

Здесь получают признание таланты.

Спустя десять лет после смерти художника его творения переносятся из Люксембурга в Лувр, где и удостаиваются печати бессмертия.

Я полюбопытствовал, есть ли в Люксембургском музее что-нибудь из произведений армянских художников. И нашел лишь несколько небольших натюрмортов Захаряна.

Ни от чего человек так сильно физически и духовно не устает, как от посещения музеев. Надо быть одержимым, чтобы два или три раза с начала до конца осмотреть парижский Лувр или римский Ватикан. Человек устает, и не только потому, что вынужден делать несколько десятков километров через тысячи комнат, но и от напряжения внимания и зрения. Усталость зрения действует на весь организм, и посетитель выходит из музея физически совершенно разбитым.

Мне не забыть часов, проведенных перед произведе-

ниями Фидия, Праксителя, Рафаэля, Рембрандта, Рубенса и Тициана.

В день открытия осенних выставок знаменитых парижских салонов я отправился осмотреть их. Со мной был автор памятника Хачатуру Абовяну — Андреас Тер-Марукьян, так рано погибший от чахотки или, вернее, от голода. Несчастный! Сколько мук и лишений перенес он во имя искусства, во имя властной мечты — проложить себе тропинку в столице искусств и в хаосе жизни.

Войдя в зал, я остановился, пораженный одной скульптурой. Несколько минут я оставался как пригвожденный. Прямо напротив, повернувшись к нам спиной, стоял нагой великан без головы. То было последнее творение Огюста Родена — «*L'homme qui marche*» («Человек, который идет»).

Я и раньше был знаком с творениями гениального скульптора. В Люксембургском музее я любовался его волнующим «Поцелуем», «Виктором Гюго», его гениальным и приветливым обличком, и украшением Пантеона — величественной фигурой «*Le Penseur*»¹.

Но ни одна из его скульптур не произвела на меня такого сильного впечатления, как «Человек, который идет». Я несколько раз возвращался, чтобы еще и еще раз полюбоваться им. Впоследствии мне приходилось бывать в мастерской великого творца и познакомиться с его не менее замечательными произведениями, и все-таки «Человек» остался в моей памяти, как самое прекрасное.

Величайшее достоинство Родена в том, что он отрицал необходимость аксессуара на статуе или монументе. Он утверждал и доказал, что внутреннюю сущность человека или вещи следует выражать без внешних атрибутов. Вот почему его «*Le Penseur*» — здоровый, нагой, мускулистый мужчина, которого поверхностный наблюдатель может принять за забулдыгу или боксера.

Его исполинское тело согнулось под тяжестью работы мысли. Духовное подавило физическое.

Очень возможно, что какой-нибудь, даже и не менее талантливый мастер изобразил бы «*Le Penseur*» с хилым телом, сосредоточенным лицом или в виде отшельника, уединившегося в пещере; может быть, положил бы

¹ Думающий, мыслитель.

перед ним огромные фолианты или дал бы ему в руку перо.

Но не таким представил мыслителя Роден. Он не захотел, да и не мог пойти по проторенному пути своих предшественников или современников. Он нашел для себя иной путь.

Так же поступил он, когда, создавая статью Бальзака, изобразил великого писателя без всяких аксессуаров, почти нагим.

Роден был большой психолог и поэтому не мог не быть реалистом; и не случайно лучшие критики и академики внесли его имя в плеяду великих реалистов. Наконец, он сам с гордостью и достоинством принял это звание.

И, что бы ни говорили критики и завистливые наблюдатели, Роден — один из самых великих творцов последней четверти XIX и начала XX века, если не самый великий.

В скульптуре ему принадлежит такое же место, какое в литературе занимает Бальзак, Стендаль, Достоевский, Толстой.

Не помню, той же осенью или позже, я впервые посетил выставку «Независимых художников». Это общество не связано с салонами, скорее оно организовано в противовес им. В этой ассоциации могут беспрепятственно участвовать все, то есть и профессионалы-художники, и любители. Двери ее выставок открыты для всех. Здесь посетитель сталкивается с самыми странными случаями. Расскажу об одном из них.

Довольно известный художник пригласил к себе в мастерскую знакомых и в том числе нотариуса. Затем он ввел осла и, привязав к его хвосту кисть, начал водить его за уздечку взад, вперед, вправо и влево. Осел двигался, а его хвост, мотаясь, мазал по полотну. «Картина» была готова, нужна была надпись. Изобретательный художник назвал ее: «Закат на Адриатическом море». Нотариус составил протокол, присутствующие подписались.

— Увидите, — говорил художник, — творение моего осла будет не только выставлено, но и прославлено печатью.

Так и случилось. Многие газеты хвалили произведение осла, большинство посетителей выставки восхищалось им. Возможно, что нашелся бы и покупатель, если бы друзья

художника не поторопились раскрыть шутку: отсюда и пошло выражение «ослиным хвостом», которое и теперь употребляется в прессе, когда нужно высмеять какую-либо картину.

На этой же выставке я увидел безобразную картину — Вильгельм Второй голый и перед ним Николай Второй с огромным животом... Вскоре полиция конфисковала эту картину.

Француз иногда циничен. Но его цинизм никогда не лишен смысла и остроумия. Никто так метко не умеет высмеять, как француз. Его острый язык не щадит никого, даже самого себя. Каждую ночь в кабаре *Noctembule* Латинского предместья вы можете услышать яркие примеры острого французского юмора. Здесь все, начиная от общественных норм и порядков, кончая семейными и личными делами, начиная с членов парламента, министров и президента республики и кончая последним рядовым гражданином, конечно, если его личность занимает какое-нибудь место в обществе, подвергается высмеиванию. Француз умеет передать двумя-тремя, а иногда и одним метким, крылатым словом суть и смысл события.

Пресытившись музеями и выставками, я стал посещать театры, что было расточительностью, учитывая мой тощий карман. Пришлось обуздить свой аппетит и бывать в театре не больше двух раз в неделю. При этом я утешал себя тем, что и сами парижане бывают в театре не особенно часто, а если кто посещает его раз десять в течение сезона,— это уже считается роскошью.

Я мог бы, как драматург, иметь бесплатное кресло, если не во всех театрах, то, во всяком случае, в двух, так называемых «национальных». Но для этого нужно было обращаться в несколько инстанций, объяснять, просить, что было противно моему характеру.

Уместно вспомнить, что судьба армянского театра в те годы находилась в руках небольшой группы бакинской буржуазии. Эта группа просила меня следить за репертуаром парижских театров и, если пайдутся подходящие для нашей сцены пьесы, перевести и послать их в Баку. Для того чтобы осуществить их просьбу, нужны были деньги. Я в одном своем письме напекнул об этом. Не ответили. Тем не менее, два сезона я следил за репертуаром французских театров, пересмотрел десяток пьес,

прочел сотни — и не нашел ничего, достойного перевода. Вообще в эти годы французская литература, и в частности театральная, переживала кризис. Господами положения были Э. Ростан с его осточертевшим «Сирано де Бержераком», сентиментальным «Орленком» и раздутым рекламой «Шантеклером», Батайль с его комедиями, пережевывавшими интрижки буржуазной среды, Бернштейн с раздражающими нервы мелодрамами и группа молодых драматургов, имен которых я не помню, так как, засияв сегодня, они назавтра уже исчезали.

Оставался классический репертуар — Эсхил, Корнель, Расин, Мольер. Еще были живы вековечные властители театра «Французской Комедии» Муне Сюлли и Коклены. Первого я видел в 1899 году в Одессе, куда я был сослан царским правительством. Это был среднего роста, худой, бледный старик с седой бородой. Я видел его в ролях — Царя Эдипа, Гамлета, Отелло. Но в произведениях Эсхила и Шекспира он нравился мне меньше, чем в пьесах французских классиков. Стихи Расина и Корнеля Муне Сюлли декламировал так, как может их декламировать лишь французский гений,— восхитительно.

Муне Сюлли был величайшим артистом своей страны. Вторым столпом сценического искусства был Коклен-старший.

Разница в их амплуа. Муне Сюлли разговаривал певучим голосом. Таковы были традиции старой французской школы с ее классическим репертуаром. Произношение Коклена-старшего было простым и естественным, и это соответствовало его репертуару. Он был реалистом в полном смысле слова. Вообще неверно утверждение о том, что все французские артисты играют с ложным пафосом и напевным произношением. Современные пьесы в Comedie Francaise играются не менее реалистически, чем, к примеру, в первоклассных театрах Москвы. Не следует забывать, что реализм в искусстве и литературе впервые появился во Франции.

Насколько были несхожи Муне Сюлли и старший Коклен, настолько же Сарра Бернар была непохожа на Режан как в репертуаре, так и в игре. Бернар была драматической артисткой, Режан — комической. Обе имели собственные театры, обе доживали свой век, стараясь задержать закат своей славы. И это отчасти им удавалось.

Видя Саррь Бернар в роли Виолетты в пьесе «Дама с камелиями» Дюма и Режан в роли мадам Сан-Жен в пьесе Сарду, кто бы сказал, что им больше тридцати лет? Между тем, каждой тогда уже перевалило за пятьдесят. В особенности удивителен был звучный, мелодичный голос Сарры Бернар. Голос, который даже спустя пятнадцать лет продолжал восхищать меня своей юношеской свежестью.

После музеев и театров я стал интересоваться музыкой, но уже с меньшим увлечением и энтузиазмом.

Театры «Большой оперы» и «Комической оперы» я посещал редко. В этих театрах, кроме тенора Альвареса, не было хороших певцов и певиц. Лучшую музыку я слушал на концертах Колони и Ламур, а также на вечерах, где выступали знаменитые итальянские певцы, часто приезжавшие в Париж.

Свое искусство, литературу и вообще свою культуру француз ставит превыше всего, и зачастую он бывает прав. В то же время француз умеет каждому воздать должное, беспристрастно и верно. Это можно было бы подтвердить на тысячах примеров, но ограничусь одним.

Кто хоть раз побывал в Париже и имел случай беседовать с французами, тот знает, с каким восторгом отзываются они о русской литературе (Достоевском, Толстом и даже о второстепенных авторах) и, в особенности, о русской музыке (Мусоргском, Бородине, Глинке, Даргомыжском, Римском-Корсакове). Помню дни, когда Париж осаждал театры, чтобы послушать русскую оперу в исполнении русских певцов и посмотреть русский балет в исполнении русских танцоров. Помню безудержно восторженные похвалы парижской прессы русскому балету.

ПАРИЖ НОЧЬЮ

Полночь. Театры пустеют, кафе наполняются публикой.

У каждого парижанина свое излюбленное кафе, которому он обычно не изменяет и где два раза в день пьет

свой «аперитив». Но, выходя из театра, он забегает в первое попавшееся кафе: он спешит, ему некогда выбирать. Ровно в половине первого ночи прекращается движение трамваев, метро и дилижансов (теперь замененных автобусами). Многие живут далеко от больших театров, а такси редко ктоанимают.

К двум часам ночи начинают закрываться и кафе. Ведь и гарсоны нуждаются в отдыхе. И под зорким наблюдением метрдотелей, с оглушительным шумом, толкаясь, спешат они убрать с террас столы и стулья.

Гарсоны страшно устали. Многие с трудом волочат ноги, щепотом проклиная судьбу. Они пришли на службу в восемь утра и проработали до двух ночи — восемнадцать часов! И как! Все время на ногах. И что же они получают от хозяина? Ничего. Во многих кафе официанты сами платят ему по два, три, пять франков в день за разбитую посуду. Платят независимо от того, разбили они что-либо или нет. Кроме того, бумага, конверты и перья, которыми пользуются посетители кафе, также оплачиваются гарсонами.

Их заработка составляет лишь чаевые, те десять процентов, которые подчас с ворчанием швыряет им посетитель.

По общепринятым обычаям официантам запрещается сидеть в часы работы кафе. Ни посетитель, ни прохожий не должны видеть гарсона отдыхающим. Иначе престиж кафе может упасть. «Гарсон сидит, значит дела идут неважко», — так подумают люди.

Два часа ночи... Уже опустели Большие и Малые бульвары, опустели скверы. Изредка покажется запоздалый прохожий. В тени газовых фонарей, ежась от холода, маячит серая фигура полисмена в коротком плаще. Иногда по асфальтированной мостовой пронесутся на велосипедах почные патрули. Своими плащами, развевающимися в безмолвии холодного мрака, они напоминают огромных летучих мышей. Кажется, что они проносятся по воздуху, а не едут по земле.

В те годыочные патрули на велосипедах считались новостью. Это было последнее изобретение префекта Лепина, низенького, с лисьим лицом, начальника полиции, таившего под своей ничтожной внешностью свирепую душу.

Дело в том, что так называемые «апаши», то есть воры, буяны и убийцы, чересчур обнаглели. Не проходило ночи, чтобы они не ограбили или не убили кого-нибудь, даже в центре города. Для одипокого путника проходить ночью по бульварам или улицам было очень опасно. Пресса подняла шум, раздував опасность и в самых мрачных красках описывая происшествия. Особенное рвение и пыл проявляли буржуазные газеты. Однако изобретательный Лепин, мастерски владевший искусством подавлять мирные рабочие демонстрации и антиправительственные собрания и держать в своих руках бесчисленных «ажанов»¹, на этот раз не сумел обеспечить спокойствие своего хозяина — буржуазии.

Апаши были и остались. Они есть и сейчас и продолжают «работать».

Но вернемся к парижской ночи.

— Поедемте на Монмартр,— предложил мне мой спутник за послеобеденным кофе в одном из кафе Бульмиша.

— Поедем,— согласился я.

— Я бывал там уже несколько раз и достаточно изучил жизнь Монмартра.

Мой спутник был тифлисец, армянин, большой кутила и женолюб, живой, круглый, еще довольно молодой, хоть давно женатый и уже отец взрослой дочери. Он был богат, имел в Тифлисе несколько домов, унаследованных от отца.

Жизнь на Монмартре еще не начиналась, но мой знакомый торопил меня, не желая упустить ни одной минуты развлечений.

— Фоли Бержер! — крикнул я извозчику.

«Фоли Бержер» в то время было самое прославленное место для гуляний.

Но меня интересовал не «Фоли Бержер», а мой спутник, явивший собой совершенный тип буржуа того времени. Нельзя сказать, чтоб он был круглый невежда. Он окончил гимназию, был более или менее начитан, много путешествовал и терся около интеллигентных людей. Он состоял членом тифлисского городского самоуправления, где разбирались вопросы экономики, мо-

¹ А ж а ны — полицейские.

рали и воспитания. Любил бывать в кругу культурных людей, в надежде самому прослыть за такового.

Не знаю почему, он просил меня называть его «Сомико» и быть с ним на «ты».

Первое, что привлекло внимание Сомико, как только мы вошли в сад,— это стоявшая у двери продавщица цветов, не столько красивая, сколько изящная и хорошо сложенная, как большинство парижанок. Сомико подошел к ней, купил букет цветов и, нюхая их, стал разглядывать девушку, улыбаясь ей, как сладострастный павиан.

— Ты иди, я догоню тебя,— сказал он с таким многозначительным видом, точно собирался заняться каким-то важным делом.

Он знал немного французский язык и поэтому мог обойтись без моей помощи.

Опытные и предусмотрительные иностранцы, чтобы не разжигать ничьих аппетитов, всячески стараются скрыть свое состояние. Сомико был не из таких. Он носил на левой руке кольцо с огромным бриллиантом. Закуривая папиросу, он всегда умышленно клал на стол свой золотой, усыпанный драгоценными камнями портсигар, чтобы его видели женщины.

В уплату за несколько роз Сомико бросил на стол золотую монету. Девушка вспыхнула от радости. Взглянув на Сомико, на его черные волосы, она, наверное, подумала, что это египетский паша или индийский раджа, а я — его секретарь.

Я вошел в зал и стал ждать начала представления. Меня интересовали разрекламированные танцы молодых английских девушек.

Отойдя в сторону, я стал наблюдать разношерстную, пеструю толпу женщин, в которой были представительницы всех наций, рас и возрастов. Несомненно, в этот полузамаскированный публичный дом их привел голод. Они вызывали скорее жалость, чем отвращение. Воздух был насыщен запахом дешевых духов, густым табачным дымом и испарениями тел. Время от времени сквозь хохот и шум внимательный слух улавливал подавленный вздох, даже рыдания. Кто знает, какому обманутому, брошенному любовником созданию принадлежали они?!

Ко мне подошла высокая, смуглая, с густыми черными волосами красивая женщина — настоящая Клеопатра. Она несомненно с Востока. Попросила папиросу. Даю. Благодарит, но, улыбаясь, продолжает стоять, давая возможность любоваться ее полуобнаженной грудью. Я молчу. Она смеется. И какой смех, какой голос, настоящий треснутый колокол! Она несомненно знает, что привлекательна не своей красотой, а медным цветом тела, ибо этим отличается от тысяч остальных.

Откуда она пришла? Может быть, из Марокко или Алжира. Конечно, она не европейка. Спустя пятнадцать лет я таких красавиц видел в Египте...

Странное дело, она вызывала во мне не чувство уважения и сострадания, а... страха. Кажется мне, что в этом удивительно стройном теле сидит восточное коварство. Кажется мне, что где-то вблизи стоит ее покровитель, какой-нибудь апаш или сутенер с острым ножом в руках. Прими ее гостеприимство, согласись выпить с нею стакан кофе, и ты уже погибший. Там тебя зарежут и ограбят. Ведь газеты то и дело сообщают о таких случаях.

Я спешу удалиться, не произнеся ни слова. Меня сопровождает ее гневный взгляд. Будто я ее ограбил.

Спектакль уже начался. Пробившись сквозь толпу, я подошел к Сомико. Мой друг блаженствовал. Швыряя на стол золотые, он хватал букеты и кидал их в проходящих девушек. Он был восхищен тем, что возбуждал общее любопытство и что толпа, обступив его, смеется и шумит.

На Монмартре неподалеку друг от друга находятся три кабаре — «Неан» (небытие), «Анфер» (ад) и «Сиель» (небо).

Несмотря на внешнюю оригинальность, они не представляют в сущности ничего примечательного.

И все же ни один путешественник не уезжает из Парижа, не побывав в них.

Сомико, слышавший о них, просил меня сопровождать его туда.

Посетим сначала первый из них — «Неан». Он помещался в подвале большого здания. Вход со стороны улицы был завешен черным плотным занавесом, как

двери дома католика, когда там покойник. У входа нас встретил привратник в черном облачении такими примерно словами:

— Вот идут к нам новые жертвы небытия. Заходите, заходите, добро пожаловать. Врата вечности с радостью раскрываются перед вами.

Сырая темная комната со сводчатым потолком. На стенах — там и здесь — висят человеческие черепа и разные кости. Вместо люстры — человеческий скелет. Столы заменяют гробы, на которых горят тусклые церковные свечи, еле освещдающие комнату. Нас приглашают сесть за одним из гробов.

— Чем вы предпочитаете подавиться — собачьим молоком или кошачьей мочой?

— Две кружки пива,— заказываю я.

В обычном кафе кружка пива тогда стоила сорок-пятьдесят сантимов, а здесь — два франка. И какое пиво — настоящие помои! Я, знаю, что это такое, воздерживаюсь пить. Сомико пробует и, морщась и ругаясь, отодвигает кружку.

Недалеко, за другим гробом, сидят как истуканы пять американцев. На одной из стен висит большая картина. Какой-то счастливый, жизнерадостный буржуа веселится со своими друзьями. Вдруг изображение на картине меняется. Лицо буржуа синеет, тело начинает постепенно разлагаться, мясо отделяется от костей. Остается скелет.

— Вот такова жизнь, — произносит чей-то мрачный голос.

Сомико начинает нервничать и что-то бормочет. Откуда-то на нас направляют фиолетовые лучи света. Кто-то дает нам зеркало, говоря:

— Полюбуйтесь.

Смотрю. Лицо мое как у трупа. Сомико с ужасом бросает зеркало на пол, смотрит на американцев, которые все еще сидят неподвижно как столбы и встает, крича:

— Идем, идем! Я больше не могу оставаться здесь...

Я стараюсь успокоить его, говорю, что все это не что иное, как игра электрического света. Он несколько успокаивается и смущенно говорит:

— Я пошутил, мне не страшно.

Но Сомико явно кривил душою. Он испугался, и даже очень. Это видно было по его бледному лицу.

После ряда таких жульничеств нас проводят в глубь кабаре. Там встречает какой-то очень высокий, очень худой старик, до такой степени худой, что кажется, это не человек, а скелет, обтянутый кожей. Где нашли такого человека? Невольно возникает мысль, что его довели до такого состояния искусственно.

Человек приветствует нас гробовым голосом, протягивая руку, одновременно держа другой рукой перед губами гармонику. Отдав ему несколько су, мы проходим в конец зала, где, кроме всего, что было в других залах, есть и небольшая сцена. На сцену выходят в ночной одежде мужчина и молодая женщина. Они танцуют, делая непристойные движения.

Наконец мы уходим.

Однако Сомико больше всего, конечно, интересовало «Небо». Там царит «блаженство», на сцене пляшут и поют очень легко одетые, почти нагие девушки, настоящие, а не химеры, созданные игрой электрического света.

— Ну, отсюда мы уже никуда не тронемся,— сказал радостно Сомико.

Но, уже немного погодя, добавил:

— Голоден я, покушаем чего-нибудь.

Я тоже проголодался. И так как в «Небе» не оказалось столовой, мы зашли в ближайший ресторан «Rat Mort» («Дохлая крыса»), который считался одним из самых модных и дорогих ресторанов Парижа. Мой тощий карман не позволял мне посещать подобные рестораны часто, но я считал необходимым хоть изредка позволять себе такую роскошь, чтобы иметь возможность изучать быт и нравы парижан. Здесь уместно заметить, что, по-моему, писатель-реалист совершает большую творческую ошибку, когда берется описывать вещи, которые он не видел и плохо знает. Если писатель хочет внушить читателю доверие, то есть произвести на него правдивое впечатление, он никогда не достигнет своей цели, если будет руководствоваться лишь своей фантазией. Я хочу сказать, что не действительность должна следовать за фантазией, а, наоборот, фантазия должна направляться глубоким знанием материала. Я краснею

от стыда, когда случается, что рядовой читатель в том или ином моем произведении указывает на несоответствие с реальностью, даже если ошибка касается описания какой-нибудь маловажной сценки. Такие погрешности я считаю столь же непростительными для автора, как и ошибки идейного порядка.

Комическая история «Дохлой крысы» довольно показательна для парижских нравов. Вначале это была маленькая гостиница. Какой-то иностранец-журналист, переночевав в ней, нашел в своей постели дохлую мышь. Позвав хозяина и указав ему на находку, он сказал:

— Мосье, я решил переменить название вашей гостиницы. Отныне она будет называться «Дохлой мышью». Я так и напишу в газету.

Француз не растерялся. В его голове родилась идея.

— Прекрасно. Я согласен, пусть будет так. Только прошу написать не «Сури мор» (дохлая мышь), а «Рамор» (дохлая крыса), это более благозвучно.

Предприимчивый француз присоединил к своей гостинице кафе в нижнем этаже и ночной ресторан в верхнем. Затея увенчалась успехом. Ресторан благодаря своему странному названию быстро приобрел популярность.

Вообще в больших городах ловкие аферисты имеют тысячи возможностей разбогатеть и сделаться известными. В этом отношении Парижу принадлежит первое место. Ни один большой город не видит у себя такого огромного количества туристов, обреченных на ограбление, как буржуазная столица «свободы, равенства и братства». В ней всегда проживает около миллиона временных гостей. И Париж — это озеро, оно питается многоводной рекой, которая, с одной стороны, впадает в него, а с другой — вытекает.

Но все же главное оружие Парижа — это реклама, вернее характер рекламы, ибо и в этом француз показывает свое мастерство. Его реклама не оглушает вас грубым барабанным шумом миллиардов, как это свойственно американской рекламе. Она предпочитает мягкий сладковзвучный тон. Американская реклама действует как апаш — одним неожиданным ударом ошеломляет свою жертву и ограбляет ее. Французская же реклама лезет в твой карман, приветливо улыбаясь. Кроме

того, она не так ненасытна, как американская. Часто она довольствуется сантимиами.

Мой друг Сомико был выдающийся гастроном и ужасный обжора. Что же касается выпивки, то у него было мало соперников даже на родине. Сколько раз я видел, как он на семейных вечеринках осушал свою посеребренную «азарапешу»¹.

Я старался повлиять на Сомико, чтобы он хоть немного обуздал себя и не расточал попусту своих чувств, а в особенности денег. Но он упрямо твердил:

— Пусть весь мир увидит, что армянин умеет жить! Сомико был «патриот».

Наконец мне удалось уговорить его уйти, напомнив, что мы условились в этот вечер посетить еще ряд увеселительных мест.

Он потребовал счет и вместо обычных десяти процентов чаевых подарил официанту двадцать.

То, что я заплатил за себя, сильно обидело его.

— Это нехорошо, ты позоришь меня перед иностранцами,— сказал он с упреком.

Я не мог взять в толк, чем я «опозорил» его, однако заметил, что в глубине души он был рад, что я не обременял его кошелька.

Я устал душой, не находя большого удовольствия в парижских ресторанах и даже тяготясь ими. Мною руководило лишь ненасытное стремление наблюдать, узнавать новое.

ПРОКАЖЕННЫЕ. ЧРЕВО ПАРИЖА

Мы вышли из «Дохлой крысы». Жизнь на Монмартре продолжала кипеть и бурлить. Экипажи и автомобили стояли шеренгами перед освещенными разноцветными лампочками и венецианскими фонариками кабаре, ресторанами, дансингами и другими увеселительными заведениями. Извозчики в цилиндрах и шоферы в кепи и меховых шубах грели озябшие руки над кострами и жаровнями с каштанами, притопывая о мокрую землю. Отблески пламени освещали их покрасневшие лица. Под их цветущей внешностью скрывались бог весть ка-

¹ Азарапеша — большая чашка.

кие болезни. Многие заходили в «бистро»¹, чтобы согреться дешевым абсентом, виски и другими напитками. Иные из них были навеселе. На жаргоне, понятием им одним, они засыпали и шутили с проститутками. Им, лучше чем кому-либо, была известна трагическая история этих погибших созданий. Любой из них мог бы подробно рассказать вам, как и почему оказалась в таком положении та или иная из этих несчастных.

Их сотни и тысячи! Они составляют самую беспокойную и шумливую часть населения Парижа и в то же время самую изворотливую и доступную по цене. На Монмартре их обычное местопребывание — «бистро» и улицы. Двери дорогих кабаре и фешенебельных ресторанов перед ними закрыты, и если они попытаются войти туда одни, без сопровождающего мужчины, швейцар им этого не разрешит, так как они одеты недостаточно нарядно, не декольтированы и приехали сюда не из театра. Все официанты знают их, и патрон или за что не допустит, чтобы репутация его первоклассного «заведения» была скомпрометирована. Пусть ловят свое ночное «счастье» у кабаре и ресторанов! Это — пищие, отвергнутые миром и презираемые светом. Они должны довольствоваться крохами с пынного стола богини сытости и расточительности. Изгнанные из жизни, своего рода зачумленные, они подобны прокаженным на больших дорогах Ирана.

Выйдя из ослепительного потока света, мы попали в узкие, неровные и полутемные улицы Парижа. Мы шагали смело, зная, что апази обычно нападают лишь на одиночек.

Мне хотелось еще раз взглянуть на Центральный рынок «Чрево Парижа» (Ле Халль), так подробно и мастерски описанный гениальным Эмилем Золя².

¹ Бистро — маленько кафе.

² Находясь за границей, я не имел возможности прочесть, но слышал, что наш уважаемый писатель Степан Зорян не то в газете, не то в журнале, говоря о Золе, между прочим выразился в том смысле, что Золе оказал на меня большое влияние. Конечно, быть учеником великого романиста — большая честь, но утверждение Зоряна — плод недоразумения. Верно, произведения Золя я читал с большим интересом, но никогда не подпадал под влияние его школы. Золе — не Бальзак, не Флобер и тем более не Достоевский. Он натуралист, а между натурализмом и реализмом большая разница, что, я надеюсь, известно и Степану Зоряну. (Прим. автора.)

«Чрево Парижа» находится как раз в его чреве, то есть в центре. Оно занимает целый ряд узких и вечно сырых улиц, образуя площадь в виде звезды.

С полуночи, когда на несколько часов замирает уличный шум и прекращается автомобильное и трамвайное движение, со всех окраин города сюда тянутся бесконечные потоки возов, груженных продуктами. Настоящая процессия — медлительная, торжественная, безмолвная, как шествие теней в ночной темноте. Канули в вечность столетия, сменились поколения, но это однобразное движение старомодных, грубо сколоченных возов осталось неизменным, таким же, каким оно было во времена Наполеона и Бурбонов. Даже угрожающая, шумная скорость автомобилей — этих страшных чудищ — ни на волос не изменила их медлительности. Охваченные дремой возчики, опустив вожжи, слят неподвижно и безмятежно среди мешков с ячменем, пшеницей и картошкой или среди белых, черных и зеленых груд капусты, репы, бураков и крессалата, так что иной раз их не видно, и кажется, что лошади плетутся сами по себе, никем не управляемые, послушные вековой привычке, или как заведенные механизмы.

Кто хоть раз осенью или летом бродил поздней ночью по бульвару Сен-Мишель, тот не мог не уловить распространяющегося повсюду чудесного аромата. Это запах спелых фруктов и свежих цветов, привезенных из окрестных сел и ферм. После часу ночи трамваи уступают свою колею поездам. Мимо бульваров проносятся открытые вагоны, груженные пестрыми копнами ландышей, фиалок, гвоздики, гиацинтов и хризантем. Кажется, что там, далеко, готовится пышный пир и цветы спешат украсить его.

Торговля на рынке начинается ровно в четыре часа утра, но уже за час до этого со всех концов Парижа сюда стекаются толпы торговцев фруктами, цветочников, мясников, хозяев больших и малых гостиниц, сородичей столовых и розничных покупателей, торгующихся из-за сантима. Многие приехали на грузовиках — это оптовики. Большинство же — на повозках, запряженных лошадью, или с ручными тележками, а то и просто с мешками. Преобладают кухарки — самый шумливый и драчливый в мире народ.

Продукты раскладываются под громадными железными навесами, на огромных полках или прямо на земле. Рабочие перебрасывают стокилограммовые мешки с такой легкостью, точно играют в мяч. Их работа представляет собой своеобразную олимпиаду, на которой единственным призом для участников является дневной заработка среднего рабочего в четыре-пять франков (в то время рубль пятьдесят — рубль восемьдесят копеек) — сумма, едва достаточная для того, чтобы не умереть с голода. Хорошо еще, что им разрешается по окончании работы собирать выброшенные куски негодного мяса и тухлую рыбу.

Мы исходили рынок вдоль и поперек. Повсюду валялись капустные листья, гнилая картошка, негодные потроха. И в этой грязи и заразе ищут свое дневное пропитание множество нищих вместе с крысами, с бездомными собаками и кошками.

А сколько здесь цветов! Ничто не сравнится с ними по обилию. Целые горы их сложены прямо на земле. Они украшают рынок, придают ему праздничный вид и как бы протестуют против окружающей грязи. Но не пройдет и часа, как их развезут по тысячам магазинов города. Там они попадут в искусные руки молоденьких девушек, которые очистят и рассортируют их. А затем? Затем они будут украшать театры и салоны...

ПАРИЖ УТРОМ

Медленно, почти незаметно моросит мелкий, как пыль, осенний дождик. Точно руки, просеивающие его через небесное сито, устали и отказываются действовать. Но тонкая пелена серого тумана еще держится.

Насколько прекрасен Париж в переливах солнечных лучей на рассвете или при закате, насколько он приветлив, когда купается в море света, настолько неприветлив он, тосклив и угрюм под дождем. Никакие города даже в самой густой завесе тумана не угнетают и не раздражают человека так, как Париж в легкой пасмурной дымке.

Париж — одна из тех красавиц, светлому и радостному облику которых совершенно не идет серая вуаль, даже самая легкая.

Было раннее утро. Монмартр еще продолжал петь и танцевать, блудить и развратничать, когда уже проснулся настоящий Париж. Не тот, порочный, сосущий кровь, преступный по профессии, наглый и бесстыдный по природе Париж буржуазии, а рабочий, пролетарский Париж. Тот, что от восхода солнца и до заката изнемогает под железным ярмом труда. Тот, что созидает и не пользуется созданным, творит и не наслаждается, дает мешки золота и взамен получает медные гроши.

Побывайте на любой станции железной дороги, называемой «Поясом Парижа», и вы увидите их, эти тысячи и десятки тысяч рабочих, направляющихся на заводы и фабрики. Одни едут в Париж из пригородов, другие из города в районы. Некоторые по дороге забегают в дешевые грязные «бистро» проглотить чашку мутной жидкости, которая, точно в насмешку, именуется кофе с молоком. Не беда! Они довольны. Хорошо, что хоть такое есть. Ведь иногда и этого не бывает. Они смеются, хохочут, шутят, толкаются и острят, как школьники. Но не судите о них по внешности: это не легкомысленные юноши. Каждый из них носит в себе мысль и надежду, что так долго продолжаться не может, что человечество не задержится на этом шатком и гнилом мосту, что оно должно прийти и придет к прекрасному будущему. Для них не совсем еще ясно, что это за прекрасное будущее, но они понимают, что его творцом и зодчим будут они сами, со своими мозолистыми руками...

В этот час чистили и мыли улицы. Цилиндрической формы щетки, приделанные к огромным автомобилям, сметали грязь и сор с мостовых в сторону тротуаров. Дворники открывали водопроводные краны, и струи воды, вылетая подобно тигру, сокрушившему клетку, гнали все это вниз, в знаменитую парижскую сточную канаву. Из домов выносили мусорные ящики, ставили их перед дверьми. Скоро подъедут санитарные повозки, соберут мусор и вывезут его за город, чтоб сжечь. Пока же эти ящики находятся в распоряжении тряпичников, которые сидят или лежат на мокрых скамейках, терпеливо ожидая своей добычи. Это та же картина человеческой нищеты, характерная только для больших городов.

У каждого тряпичника своя улица и своя скамейка. Никто не смеет захватить чужое место, если не хочет драки. Бывали случаи, когда такие столкновения кончались кровопролитием.

Мне захотелось поговорить с одним из этих бедняков. Это был низенького роста, уже седеющий человек. Как видно, он не был лишен вкуса — его поношенный пиджак и брюки были тщательно залатаны, воротник свеж, лицо чисто.

— Много ли чего вы здесь находите? — спросил я, предложив ему папирюску.

— Да как когда, — ответил он, с удовольствием принимая папирюску и, конечно, не забывая сказать «мерси».

— Куда же вы деваете эти тряпки?

— Продаем.

— Кому?

— Бумажным фабрикам. Разве вы не знаете, что лучшая бумага изготавливается из тряпья?

— А случается, что вы находите еще что-нибудь, кроме тряпья?

— Случается.

— Например?

— Да разно бывает: перчатки, скатерть, кухонные вещи.

— И что вы с ними делаете?

— «Что мы с ними делаем»?! — воскликнул он. — Стираем, сушим, гладим, потом продаем или носим сами. Однажды, — добавил старик, смеясь, — я нашел шелковый гарнитур.

— И куда же вы его дели?

— «Куда дел»? Жене подарил. И сейчас еще носит. Эх, ведь и жена тряпичника может хоть раз в жизни носить шелковое белье! Что вы скажете, мосье?

— А находите ли вы ценные вещи? Например, серебряные или золотые?

— Бывают и такие случаи, только редко. В прошлом месяце я нашел серебряную ложку, а год тому назад — золотой перстень без камня. Но мне не очень везет в этом отношении: мой околоток небогатый. Здесь нет рассеянных и забывчивых лакеев и поваров. А от них зависит многое. Нам особенно везет в те дни, когда в доме какого-нибудь богача бывает большой ужин или торжество.

Но надо признать, что богачи редко теряют что-нибудь,— прибавил старик.

— Вы целый день заняты поисками тряпок?

— Нет, как же можно? Только с полуночи и до утра.

— А потом?

— Потом собираю окурки.

— Где?

— Конечно, перед кафе, на террасах, на тротуарах.

Внутрь ведь нас не впускают.

— Сколько лет вы занимаетесь этим делом?

— Не так уж долго, лет тринацать.

— А раньше?

— Увы,— вздохнул старик,— раньше я был молод, силен, мог заниматься другой работой.

— Какой?

— Служил гарсоном в кафе на Больших бульварах.

— Почему же вы бросили это занятие?

— Не я бросил, обстоятельства заставили бросить.

— Какие обстоятельства?

— Ослабли ноги, появилась боль в пояснице. Я страдаю ревматизмом.

— Очевидно, жили в сыром помещении?

— А где же мне жить? Не во дворце же Ротшильда, ха, ха, ха! — захохотал старик с удивительной беспечностью.— Но прости, — внезапно переменил он тон, — скоро приедут повозки, а я не кончил своего дела. Будьте любезны, угостите еще папирской.

Я вложил в руку старика несколько папирос и пяти-франковую монету. Он не ожидал этого.

— О, мерси, мерси, мосье, вы очень добры, — воскликнул он и медленной походкой направился к мусорному ящику.

Я разбудил Сомико, который дремал на скамейке. Он был сердит.

— Не понимаю, что вы за человек! — сказал он с упреком.— Увлекаетесь всяким вздором, заводите разговор со всякими бездельниками и зря тратите деньги. Вот и на рынке беседовали с попрошайками. Вы для этого приехали в Париж? Разве мало нищих у нас на родине? Пристали к этому грязному тряпичнику! Я тут дрожу от холода, как собака перед мясной лавкой, а вы... Пойдемте,

ради бога, я совсем закоченел. Зайдем выпьем чего-нибудь, нужно согреться.

Вообще мой приятель любил иногда поучать меня. Он твердил, что Париж не для меня и подобных мне, что он создан для тех, кто любит хорошо пожить и повеселиться. Недаром сюда наехало столько женщин. И так далее, и тому подобное.

Мы находились у бульваров. Они были совершенно пусты. Открывались газетные киоски, чтобы принять утренние газеты, которые доставляли на тележках и грузовиках.

Мелкий дождь продолжался с раздражающим упорством, как нарочитый плач упрямого, избалованного ребенка. Ламповщики длинными шестами тушили газовые фонари. После четырех-пятичасовой дремоты бульвары постепенно оживлялись. Метро уже раскрыло свою темную пасть и, как ненасытное чудовище, проглатывало тысячи людей.

Звонки и рев сирен прорезали сырой туман. Показались дилижансы, недавно вошедшие в моду автобусы и трамвайные вагоны. Сейчас они пока что заняты рабочими и мелкими служащими. Несколько позже их сменят буржуазия. Больше же всего сейчас кухарок. Они размещаются со своими корзинами на «империале», то есть на втором этаже дилижанса. Дождь не беспокоит их, они давно привыкли к нему. Сидят гордые, самодовольные, как восточные принцессы на носилках. Попробуйте заговорить с ними, и вы увидите, что они довольны своим положением. Очень многие из них умеют мастерски извлекать пользу из своей работы, присваивая часть стоимости провизии и наживая на этом тысячи.

Два полисмена, держа за шиворот бедно одетого юношу, тащат его в полицию, награждая тумаками. Ничего особенного: обыкновенный воришко, полез в карман кухарки и попался, не успев вытащить кошелек.

— Послушайте, вы меня совершенно замучили пешим хождением,— снова запротестовал Сомико, останавливаясь у Больших бульваров.

— Чего же ты хочешь?

— Возьмем извозчика, я страшно устал.

— Нет, пешком интереснее,— возразил я, напомнив ему о великом романисте Чарльзе Диккенсе, любившем бродить пешком в дождливую погоду по улицам Лондона.

Мне в самом деле было приятно идти пешком, так как подобные прогулки я совершил редко.

Однако истинной причиной неудовольствия Сомико была не ночная прогулка, а то, что я, считая себя в некотором роде ответственным за здоровье и жизнь моего земляка, помешал эпилогу его ночных похождений.

Пройдя Большие бульвары, мы вышли к Сене. Веко-вечная свидетельница бурной истории Франции, она несла свои мутные воды с глухим рокотом, точно устав от тяжелой и однообразной работы. Казалось, она роптала на свою судьбу.

Вершина Эйфелевой башни уходила в туман. Париж давно перестал интересоваться ею. Ее триста метров высоты уже не восхищают никого, так же, как и «Большое колесо», которое вращало до тысячи шестисот человек в сорока вагонах на стометровой высоте, или «Дворец машин» — гордость инженерного искусства, удостоившийся первой премии на всемирной выставке 1889 года. Из этих трех чудес техники два снесены за ненадобностью. Вместе с «Гран-Пале» и «Трокадеро» осталась Эйфелева башня — знамя Парижа, первым приветствующее прибывающих издалека путешественников. Гюстав Эйфель, старый метеоролог, продолжал защищать свое творение каждый день, осыпая с его высоты проклятиями Анатоля Франса, который не переставал кричать:

— Уберите с моих глаз это железное пугало! Оно оскорбляет мой вкус, оно уродует обожаемый мною Париж.

Но, увы, голос старого эстета не был услышан,— «пугало» и сегодня еще стоит на своем месте.

Безразличный к окружающему, Сомико молча шагал рядом со мной. Мысли его были безусловно заняты чем-то другим. Только раз он встрепенулся — то было при виде моста, построенного в честь Александра III.

— Ва, ва! — воскликнул он в восхищении.— Позолоченные кони! Интересно, сколько миллионов затрачено на этот мост!

— Сомико, оглянись-ка назад. Это знаменитая площадь Согласия, на которой 21 января 1793 года гильотинировали Людовика XVI. Посмотри, как прекрасна она со своими статуями и египетским обелиском. А вот, напротив,— это дворец Бурбонов, нынешний парламент. На днях мы с тобой пойдем туда послушать знаменитых

французских ораторов. Это интересно, не правда ли? Теперь взгляни налево,— это Тюильри с его очаровательным садом и преступными делами французских военачальников прошлого, а вон — Лувр. Как он красив! Это — чудо французской архитектуры средних веков... А внутри,— ты там еще не бывал? Это непростительно. Когда-нибудь я поведу тебя в этот храм искусства... Смотри, вон там дальше...

— Погоди, погоди,— запротестовал Сомико, сдерживая мои порывы.— Дай и мне сказать! Все, что так восхищает тебя, по-моему, не стоит сейчас теплой постели красивой женщины... Ну, я пошел.

Вскочив в проезжающий фиакр, он исчез.

Сена продолжала свой ропот. Чем ниже по течению, тем мутнее становились ее воды. У берегов на легких волнах покачивались прижатые друг к другу лодки, и желтая вода напрасно старалась смыть с их бортов черную каменноугольную пыль. Корабельные рабочие, проснувшись, вылезали из деревянных бараков, как кроты из подземных нор. Среди них были и женщины и дети, все черные от копоти.

На берегу сидела группа молодежи и несколько старииков. Это были рыболовы. Забросив в воду удочки, они нетерпеливо или с адским терпением ждали улыбки судьбы — дневного пропитания. У них тоже были свои определенные места для лова, и никто не имел права занимать чужое место. Молча, неподвижно сидели они, точно приросшие к земле и, казалось, навсегда застывшие в таком положении. Время от времени кто-либо из них извлекал из воды удочку, с философским хладнокровием снимал с крючка рыбешку и бросал ее в корзину, стоявшую рядом.

Из-под старого каменного моста вышла толпа мужчин, женщин и детей. Это безработные, которым негде жить.

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Два раза в день я бывал в самом старинном кафе Латинского квартала — кафе «Суфле». Это было историческое для русской эмиграции кафе. Со временем Лаврова и Герцена оно служило местом встреч русских эмигрантов.

Теперь здесь бывали участники революции 1905 года

и революционеры, избежавшие Шлиссельбургской и Петропавловской крепостей.

Посетители занимали каждый свое определенное место, требовали кофе с молоком или кружку пива и часами спорили. Они всегда были возбуждены, всегда нервны, их лица не выражали отчаяния побежденного. О чем они говорили, я не знал и, понятно, не мог знать, но было ясно, чем в основном были заняты их мысли. Ясно было также, что почти все они терпели нужду, но переносили ее просто и шутя. Сила воли этих людей была просто поразительна.

Большинство составляло русское студенчество. Жили студенты на скромной улице Муфтар. Там была слышна только русская речь, и когда я проходил по этой улице, мне всегда представлялось, что я нахожусь в одном из русских городов.

Однажды эти люди показались мне более взволнованными, чем всегда. Что случилось, какая новая буря? Пустяки. Царское правительство опять просило у Франции заем в миллиард франков, не помню, который по счету,— такие обращения стали обычными. И французская буржуазия всегда охотно открывала свой кошелек. Почему бы нет? Ведь ее шейлоковские условия всегда принимались без торга.

На этот раз заем понадобился Николаю II главным образом для того, чтобы раз навсегда задушить революционное движение в России. Так думали революционеры, и это было причиной их крайнего возбуждения. Максим Горький написал по этому случаю смелую обвинительную статью; с его глубоко взволнованного пера слетело такое презрительное восклицание: «Я пллюю в лицо прекрасной Франции!» Все знали, что плевок был направлен в лицо буржуазии и только буржуазии, но никто не хотел в этом признаться. По этому поводу вся продажная печать ополчилась на знаменитого писателя.

Кафе «Суфле» посещали и не революционеры, русские, армяне, грузины. Помню известного ученого Максима Ковалевского, писателя Амфитеатрова, профессора Юрия Гамбара и управляющего тифлисским коммерческим банком Михаила Тамамшева. Не знаю почему, этот человек в Париже именовал себя профессором.

Все они были удивительно тучны. Особенno Тамамшев. Он весил сто пятьдесят килограммов. Помню день, когда они, закутанные в шубы, зашли в кафе. Все присутствовавшие произнесли:

— O, la-la! O, la-la!

А один из французов сострил:

— Теперь я понимаю, почему Россия так широка!

Где четыре профессора читали лекции в университете для русских эмигрантов, и, кажется, бесплатно. В эти дни между студентами и профессорами возникли трения. Мне передали, что с уст Максима Ковалевского сорвались неосторожные слова: «Во Франции я республиканец, в России же — монархист». Возмущенные студенты объявили Ковалевскому бойкот. Они кричали:

— Долой члена Государственной думы! Не нужны нам его лекции!

Амфитеатров тоже вызвал чем-то их недовольство. Помню многолюдный митинг, на котором он пытался оправдаться перед студентами. Он был так взволнован, что не мог говорить. Мне казалось, что вот-вот этого удивительно высокого, удивительно тучного, с короткой шей человека хватит апоплексический удар. Под конец он прослезился, и жена увела его, как уводят с арены цирка раненого быка. Гамбарова и Ковалевского я иногда встречал у доктора Лорис-Меликова. Оба представляли собой тип законченного европейца с буржуазным мировоззрением. Ковалевский сделался наполовину парижанином. Он обосновался в своей уютной квартире на бульваре Сен-Мишель, против Люксембургского сада.

Однажды в моем присутствии один француз-врач спросил его:

— Скажите, господин профессор, какое самое характерное свойство русского народа?

— Выносливость, выдержка,— ответил Ковалевский, не задумываясь

Он был убежден, что русский человек способен вынести что угодно, поэтому не верил, что когда-либо русский крестьянин сможет восстать против царизма.

Первый год мое существование в Париже было как-то неупорядоченно. Я не умел организовать свое время и делал то, что диктовала мне минута. Увы, я и теперь таков!

Я не писал и не испытывал желания писать.

Но читал я очень много: в день три-четыре газеты и почти все литературные ежемесячники и двухнедельники, не считая, конечно, отдельных изданий. Читал не столько дома, сколько в кафе.

Почему-то у нас о парижских кафе распространена дурная слава. Думают, что они не что иное, как место разврата и расточительности. Это не так. Кафе для француза — второй его дом и первое место свиданий. Здесь встречаются друзья, деловые люди и рантье, люди искусства, ученые, члены парламента и т. д. Даже семейные праздники и встречи часто проводятся в кафе. Многие поэты и писатели в кафе создают свои произведения. Здесь всегда можно найти уютный уголок, удобное кресло, ручку, бумагу и стакан желаемого напитка.

Любимыми местами моих прогулок были окрестности Парижа: Бельвю, Медон, Севр, Сюрен, Сен-Жермен, Сен-Клу — очаровательные уголки для отдыха, для успокоения нервов, уставших от шума большого города.

Особенно мне нравился Сен-Клу. Сам по себе Сен-Клу не интересен. Он похож на уездный городишко с пятнадцатью тысячами жителей, не очень чистый и не очень красивый. Но в нем есть парк, с которым вряд ли сравнимся по красоте какой-либо другой.

Он спускается амфитеатром по обширному горному склону. Отсюда видна вся панорама Парижа с его грандиозными монументами, бесчисленными садами и вечно зеленым Булонским лесом. По широкой каменной лестнице, уставленной чудесными мраморными фигурами, подымаясь вверх, вступаешь в мир вековых исполниных деревьев, и тотчас же тебя чарует птичий гомон и аромат цветников. Поднявшись выше, достигаешь цветущей поляны, откуда звездообразно тянутся аллеи, уходящие далеко-далеко, в бесконечность, теряясь где-то там во мраке.

Усевшись на каменной скамейке, я погружался в созерцание изумительной панорамы. И всегда меня охватывала грусть. Всегда. О чем же? Я не знал и не мог бы объяснить. И в то же время не было сил освободиться от этой странной, непонятной, черной тоски. Я лишь чувствовал, что меня подкарауливает какое-то горе, какое-то большое несчастье. Впоследствии, когда несчастье действительно

обрушилось на меня, я понял, что моя печаль была порождена его предчувствием.

Иногда я возвращался из Сен-Клу пешком, вдыхая ароматный воздух лесов и цветущих долин. По дороге заходил на знаменитый государственный завод Севра, известный своей фарфоровой посудой. Любовался тонким мастерством гончаров, в искусных руках которых кусок глины через минуту превращался в восхитительную вазу или кувшин.

В самом Париже я посещал литературные и научные собрания, политические митинги, не пропускал ни одного выступления Жана Жореса. Великий проповедник социализма, приводивший в трепет буржуазию, в то время находился в зените своей славы. Если Клемансо был тигр, то Жорес был лев и его ярый противник. Бриана он не удостаивал даже пренебрежением. Своим громовым голосом он наводил ужас на парламент, если последний чувствовал за собой какую-нибудь ошибку или упущение. Когда Жорес вставал со своего кресла, все — и правые, и левые, и центр парламента — ждали со вниманием, какой новый натиск обрушится на гнилые, расшатанные устои господствующих классов Цицерон наших дней.

Жорес был среднего роста, широкоплечий, крепкого сложения. Он больше походил на калифорнийского землемельца или русского мужика, чем на профессора и ученого, чья эрудиция в области истории поражала слушателей. Но как приветливо и мягко было лицо этого внешне неотесанного человека, как прелестен был блеск его глаз, отражающих его кристально чистую душу! Ни одного грубого выражения, ни одного оскорбительного слова по отношению к личности не срывалось с его уст даже в минуты самой сильной ярости. Борьба, которую он вел, всегда была идеальная борьба, принципиальная, направленная против несправедливости и порочности господствующих законов. Вот почему даже злейшие его враги относились к нему с уважением. Каждая его речь была плодом философского мышления и несокрушимой логики, а его изумительное красноречие всегда опиралось на неопровергимые факты.

Как-то на одном банкете социалистов, на котором присутствовал и я, Жорес встал, чтобы говорить. Рядом с ним сидел Жюль Гед. Жорес воодушевился, его сильные

руки стали рассекать воздух. Вдруг он нечаянно задел голову Геда. Несчастный ученый, почувствовав боль, обернулся и улыбнулся улыбкой истинного философа. Улыбнулся и Жорес, и эпизод закончился общим гомерическим смехом.

Спустя пятнадцать лет, когда я снова приехал в Париж, гнусный убийца Жореса безнаказанно ходил по улицам. Французская буржуазия, без сомнения, оправдывала преступника. Однако я помню охвативший ее ужас, когда прах великого социалиста переносили с Монмартрского кладбища в Пантеон. Это была невиданная процессия. Сорок рабочих вынесли огромный постамент с гробом из здания парламента и на плечах пронесли его через Сен-Жерменский бульвар. За прахом Жореса несли десятки тысяч красных знамен. Его провожало столько народа, что, когда гроб был уже у Пантеона, конец процессии находился еще у здания парламента, то есть по меньшей мере в трех километрах от Пантеона.

В этот день буржуазия покинула Париж, как это было всегда, когда она опасалась рабочих демонстраций. Окна аристократических особняков Сен-Жерменского бульвара были закрыты. Вся полиция с конными частями была наготове. И беспорядки начались. На моих глазах рабочие швыряли камни в полицейских, били окна особняков. Полиция арестовала несколько сот рабочих.

На следующий день буржуазные газеты сообщали, что в процессии участвовало всего двадцать—двадцать пять тысяч человек, между тем, народу было по крайней мере вдвадцать раз больше.

В ШВЕЙЦАРИИ

Летом 1906 года я решил переехать с семьей месяца на два в Швейцарию.

Кто не слышал или не читал бесчисленных восхвалений природы, нравов и обычаяев этой страны?

От Парижа до Женевы всего десять часов езды по железной дороге, если ехать через Дижон. Мы выехали ночью и к рассвету были уже на границе. На станции Понт-Арлие подается новый состав. Путешественники имеют время на открытом воздухе, на цветущем склоне, в лучах восходящего солнца выпить прославленное швей-

царское молоко, сливки или кофе и насладиться восхитительным горным пейзажем.

Женева — маленький городок со стотридцати тысячным населением. Нельзя сказать, чтобы родина Жан-Жака Руссо и Прадиэ отличалась особенной красотой, но, расположенная в удивительно живописной местности, она очаровывает путешественников.

В особенности красивы Леманское озеро, раскинувшееся перед городом, и река Рона.

Нигде в другом месте не приходилось мне видеть такую прозрачность вод и яркость их цвета, как здесь. Кажется, будто вода Роны окрашена светло-сиреневой краской.

Глядя на ее течение, испытываешь удивительную радость и в то же время думаешь, что все это — сон.

Мы приехали в Швейцарию, чтобы подышать чистым воздухом, отдохнуть от парижского шума и сутолоки и поэтому не имели намерения задерживаться в Женеве. За один день, проведенный в этом городе, я, конечно, не успел побывать в его музеях и театрах, полюбоваться его памятниками. Единственное, что я решил посмотреть, — это основанный Кальвином университет. Но и он, по слухам каникул, был закрыт. Я заглянул в кафе «Лирик» — излюбленное место встреч армян-студентов, но никого здесь не застал. После Парижа Женева показалась мне глухим провинциальным городком.

В Лозанну приехали на пароходе. Друзья посоветовали мне поселиться здесь в одном из горных пансионов.

Самая приятная прогулка в Швейцарии — это путешествие по воде. Земля и вода, соперничая друг с другом, чаруют взор путника. Не знаешь, что прекраснее: игра ли бесчисленных рыбок в жемчужных водах Лемана или изумрудные сады на его берегах, чистые крестьянские домики с цветниками и грядками. Не менее интересна пестрая толпа путешественников на пароходе. Здесь, как и везде, больше англичан и американцев. Очень мало французов и итальянцев: их курорты не хуже, и им нет нужды ездить в Швейцарию.

Лозанна вдвое меньше Женевы как по территории, так и по количеству жителей. Но это древний город, и он своеобразнее и, пожалуй, красивее Женевы своими круто спускающимися улицами, старинной архитектурой домов и живописными источниками.

Я решил не писать и не читать, чтобы полнее насладиться прекрасной природой. Любой пейзаж был для меня книгой, каждый человек представлял человечество. Ежедневно мы совершали большие прогулки, посещали окрестные села, бродили по лесам, спускались в ущелья, подымались в горные шале¹ пить замечательное молоко и восхищаться удивительным трудолюбием крестьян.

Вряд ли найдется другая страна, где путешествие пешком было бы так приятно и неутомительно, как в Швейцарии.

С маленьким чемоданчиком в руке вы можете один пройти всю страну из конца в конец в полной уверенности, что вам не угрожает никакая опасность, если, конечно, вы будете благоразумны. Переходя из деревни в деревню, из кантона в кантон, вы можете, если устали, отдохнуть в маленьких сельских гостиницах — «обержах», встречающихся на каждом шагу. Здесь за ничтожную плату вам предоставляют и еду и ночлег.

В Швейцарии на дорогах не грабят, нет хулиганства, столь распространенного в других странах. Поэтому ваша личность и ваш карман с этой стороны совершенно гарантированы от всякой опасности.

В лесной чаще вы не встретите никаких зверей, кроме кроликов и зайцев. Нет также ядовитых пресмыкающихся. По крайней мере, проведя здесь не одно лето, я не только не встречал их, но даже и не слышал о них. Но меня поразило то, что в здешних лесах почти нет птиц.

Случай воровства здесь настолько редки, что не стоит и говорить о них, тем более, что совершают их не коренные швейцарцы. Культ собственности здесь очень велик. Проходя мимо деревень, вы иногда видите вдоль дороги ряды фруктовых деревьев, отягощенных плодами. Никто не караулит их, и созревшие плоды падают на землю. Кто их владелец — неизвестно. Но даже самый бойкий ребенок не посмеет нарвать фруктов с чужого дерева. Его удерживает не столько штраф в четыре франка, сколько чувство стыда и страх перед родителями.

К услугам тех, кто не может или не хочет путешествовать пешком, — железная дорога и пароходы. Уплатив сорок франков, вы получаете возможность целых полме-

¹ Ш а л е — дачные постройки.

сяца путешествовать в поезде и на пароходе, где угодно и сколько угодно.

В нашем пансионе жили представители самых разнообразных национальностей — все любители природы. За завтраком и обедом мы только и говорили о достопримечательностях и красотах этого края. Среди нас был один швейцарец, который уверял, что он семнадцать раз поднимался на вершину Монблана. Понятно, что мы слушали его рассказы с особенным удовольствием. Оказывается, он несколько раз руководил восхождением альпинистов не по обязанности, а, как он говорил, «из любви к искусству».

Однажды, когда он описывал трудности и опасности, которым он подвергался при восхождении на Монблан, моя жена спросила его:

— Какое же вы получаете удовольствие, поднимаясь на вершины гор ценой таких мучений и трудностей?

— О, мадам, — ответил он с жаром, — вы не можете представить себе это удовольствие! Это невозможно выразить словами. Всякий раз, как я достигаю вершины и присаживаюсь на утес или льдину, мне кажется, что я самый счастливый из смертных, потому что я одинок на этой высоте. Очень немногим удавалось подниматься со мною до самой вершины. Большинство возвращалось с полдороги, а иные — не дойдя совсем немного до конечной цели. На моих глазах происходили и трагические случаи. Помню, как трое молодых ирландцев погибли из-за своей ребяческой самоуверенности и беспечности. Я благополучно довел их до предпоследнего пункта, но там они, пренебрегая моими указаниями, захотели раньше меня добраться до вершины, может быть, для того, чтобы потом похвастаться перед своими соотечественниками. И все трое погибли. Двое из них были родные братья.

— Что же вы сделали, оставшись один?

— Я спустился вниз, чтобы послать помощь. Мы нашли обезображеные трупы несчастных в одной из пропастей.

Он помолчал немного, потом, вздохнув, добавил:

— Но не осудите меня, мадам, если я искренне признаюсь вам в одном.

— Расскажите.

— В ту минуту, когда я с товарищами искал погиб-

ших, я не мог отвязаться от преступной мысли: как жаль, что на этот раз меня лишили огромного удовольствия — приветствовать вершину Монблана!

— Поистине преступная мысль!

— Что же делать! Таков, по-видимому, закон творца: человек есть и всегда будет эгоистом.

Я замечал, что рассказы счастливого альпиниста производят на моих сыновей глубокое впечатление, волнуют их, особенно Армена.

Однажды альпинист спросил их:

— Хотите подняться на Монблан?

— Да, да! — вскричали оба в один голос.

Я засмеялся, а жена побледнела.

— Ни в коем случае! Я ни за что не позволю! — воскликнула она, перепуганная, точно ее сыновья уже находились на скалах и ледниках.

— Не беспокойтесь, мадам, — добродушно засмеялся швейцарец, — я предлагаю подняться не на самую вершину, а лишь до половины горы. Это очень приятная экскурсия, которая по силам даже детям.

— Конечно, под вашим руководством? — заметил я.

— Нет, сударь, нет нужды, чтобы я руководил ими. Вы можете сопровождать их сами. Это нетрудно. Вы увидите знаменитые ледники Монблана. Совершите чудесную прогулку, которая и вам доставит удовольствие.

И он, взяв бумагу и карандаш, набросал маршрут.

Я был восхищен, сыновья же мои не помнили себя от радости. А есть ли большее удовольствие, чем доставлять радость детям?

На другое же утро, кое-как поборов сопротивление жены, я взял детей и спустился в Лозанию. Отсюда, через Женеву, по железной дороге мы проехали в Верхнюю Савою и двинулись в Шамонь — исходный пункт альпинистов. Это — село, расположение у подошвы Монблана, состоящее главным образом из гостиниц.

Добрались мы до Шамони к вечеру.

Было пасмурно, слегка моросило. Мы боялись, что наша маленькая экскурсия расстроится. Переночевали в гостинице. Утром чуть свет двинулись в путь.

Вопреки нашим ожиданиям, погода прояснилась. Солнце так ярко освещало Монблан, что снежный покров его сверкал миллионами алмазов. Нам казалось, что мы

всего в какой-нибудь сотне шагов от гор и вот-вот дойдем до них.

В пути повстречали большую группу таких же, как мы, туристов. Каждый из них нес на спине мешок с прозиантом и длинную веревку. Должно быть, они собирались подняться на самую вершину. С ними было трое проводников. У нас был свой проводник.

От Шамони до ледников два-три часа пути, смотря по тому, с какой скоростью продвигаются туристы. Электрическая дорога, так сильно облегчающая теперь подъем, тогда не была еще готова.

Мои сыновья прыгали от радости. Не отставал от них некий уже немолодой марселец. Он без умолку болтал, хохотал и ревился, как ребенок. Счастливец!

Ледник находится на высоте двух тысяч двухсот метров над уровнем моря. Следуя примеру других, мы тоже купили по паре грубых носков и надели их поверх обуви, чтобы не поскользнуться на ледниках. Лишь одна черноглазая, красивая девушка, лет двадцати двух, отказалась от носков и побежала как была. Она не боялась поскользнуться. Этого было достаточно, чтобы легкомысленный марселец мгновенно увлекся ею и стал следовать за нею по пятам.

Ледник, который нам предстояло перейти, имел в ширину около километра. Вначале мы продвигались легко и без боязни, не слушая предостережений нашего проводника. Но скоро наши носки протерлись, сползли и свалились с ног. Пришлось идти медленнее и с большой осторожностью.

Ледник представлял собой тот же горный рельеф с рытвинами, холмами и оврагами, покрытыми толстым слоем льда. Трудно было взбираться на эти холмы, а еще труднее спускаться.

Справа и слева зияли трещины, наполненные голубоватой водой. Достаточно было одного неосторожного шага, чтобы сорваться в пропасть. Неизвестно, удалось бы вытащить упавшего и остался бы он жив? Во всяком случае был бы неминуемо искалечен.

Ледник начинается у не видной отсюда вершины Монблана, спускается вдоль широкого ущелья и затем сразу обрывается. Швейцарцы говорят, что он все время дви-

жется вниз и скоро начнет угрожать селам и огородам, расположенным у подошвы горы.

Рассказывали, что целые села сносились движением ледников.

Ледники непостоянны: оттаивая в недрах, они покрываются сверху новыми пластами льда. Выбегающие из-под них воды образуют целые речки, которыми крестьяне пользуются для орошения своих садов и огородов. Вообще, в противовес совершенно безводному Аарату, Монблан, благодаря обилию вод, чрезвычайно плодороден. В этом отношении с ним может соперничать лишь Алагез, да и то отчасти.

Местами какие-то добрые люди железными заступами вырубали в ледовых холмах ступени, чтобы облегчить переход; каждый экскурсант платил им за эту услугу своего рода дань — несколько су. Вообще в то время в Швейцарии все было дешевле, чем во Франции. Теперь же, в связи с падением франка, — наоборот.

Поднимаясь по одной из этих ледяных лестниц, я имел неосторожность обернуться. У меня тотчас же закружилась голова, задрожали ноги, я едва удержался на месте.

Ужас охватил меня, я боялся пошевельнуться. Но тут подоспели мои сыновья и помогли спуститься на другую сторону.

Поднимаясь на одно из возвышений, марселец, следовавший за черноглазой девушкой, поскользнулся и провалился в трещину. К счастью, трещина была неглубокая и не настолько широка, чтобы довольно тучный марселец провалился бы на самое дно. Он застрял среди острых выступов, как попавшая в капкан лиса.

С помощью альпенштока и веревок проводнику удалось вытащить его. Марселец отделался сравнительно благополучно; только нос у него был разбит и лицо оказалось в кровоподтеках, что, однако, не помешало ему с удвоенным жаром продолжать преследование девушки, не отставая от нее ни на шаг. Это был подлинный герой, если иметь в виду его почтенный возраст, а также и то, что девушка перескакивала с холма на холм с легкостью козули.

Наш переход длился около часа. Первой, конечно, была у цели черноглазая девушка, успевшая завоевать

наши общие симпатии. Несчастный марселец терзался ревностью, если кто-нибудь подходил к ней, будь то даже женщина.

«Кто эта девушка?» Едва я задал себе этот вопрос, как вдруг она сама подошла ко мне и сказала по-русски:

— Вы, кажется, кавказец?

— Да.

— Я сразу догадалась, по вашему произношению, — продолжала она, улыбаясь и откидывая со своего красивого лба упрямый локон.

— Простите, а вы откуда?

— Я тоже с Кавказа.

— А по национальности вы кто?

— Я грузинка, из Кутаиса.

— Путешествуете?

— Нет, так, совершаю прогулку. Я учусь в Желеве.

— Что вы изучаете?

— Общественные науки.

— Извините, как ваша фамилия?

— Бакрадзе. А ваша?

Я назвал себя.

— А! — воскликнула она. — Очень рада познакомиться. Я читала о вас в кавказских газетах. Мои подруги армянки в беседах о литературе часто упоминают ваше имя. Я всегда очень радуюсь, когда встречаю кавказца. Ведь мы земляки. Скажите, когда наш край станет похож на Швейцарию? — спросила она, становясь вдруг серьезной.

— Станет, барышня, станет и даже пойдет еще дальше! — воскликнул я, охваченный каким-то волнением.

— И я верю в это! — ответила она, тоже взъерошенно.

Заметив, что несколько отстала от своих, она спохватались.

— Извините! — и побежала вперед.

Пока мы разговаривали с девушкой, марселец поджидал ее поодаль. От нетерпения он грыз мундштук своей короткой трубки и притопывал ногами. Его красное, лоснящееся лицо блестело на солнце.

Когда девушка, не обращая на него никакого внимания, пронеслась мимо, он пустился за ней, точно охотничья собака.

Вдруг девушка остановилась, подбежала ко мне и сказала:

— Умоляю вас, сударь, поручите вашим детям занять этого глупого марсельца. Он надоел мне своим бахвальством.

И не прошло минуты, как она уже настолько опередила всех, что тучный марселец далеко отстал от нее. Ледник кончился. Началась каменистая дорога, покрытая острыми выступами.

Нам предстояло подняться на гору и, перевалив через нее, начать спуск.

Прежде чем подняться, мы сделали привал у деревянного домика и подкрепились свежим молоком и сливками. Практическая Швейцария знает, где ее продукты должны быть особенно в цене!

Тропинка шла по отвесно вздымающейся скале. Она с полным основанием называлась *Mauvais-Pas* (опасный шаг). Она была так узка, что нам пришлось идти по ней гуськом. Заботливые правители предусмотрительно протянули вдоль всей тропинки металлический канат. Мы шли, держась за него правой рукой. Слева зияла пропасть в пятьдесят метров, дальше — другая, еще глубже.

За четыре дня до этого здесь произошел несчастный случай. Две молодые русские женщины — одна девушка, другая мать двоих детей — поспорили со своими друзьями в Женеве, что пройдут через ледник и *Mauvais-Pas* ночью и без проводника.

Им удалось благополучно перейти ледник, но, когда они подымались по тропинке, замужняя женщина сорвалась с скалы и упала в бездну. Несчастная девушка всю ночь провела на скале, взывая о помощи. Лишь на рассвете, услышав ее голос, подошли крестьяне и извлекли из пропасти труп погибшей.

Проводник указал нам место, где это произошло.

Мы благополучно прошли *Mouvais-Pas* и спустились в ущелье. Перед нами открылась одна из прекраснейших панорам Швейцарии: мощный водопад, с ревом низвергаясь с огромной высоты, яростно крутил каменные глыбы.

Остановившись у водопада, мы долго любовались на это чудо природы, не обращая внимания на то, что каскады, разбиваясь об уступы скал, сбивали нас брызгами.

В Шамань спустились совершило обессиленные. Не медля ни минуты, сели в обратный поезд.

До Женевы Бакрадзе ехала с нами. Ей удалось наконец избавиться от общества докучного марсельца.

— Я убедила его,— сказала она,— что вы мой дядя и очень сердитесь, почему я позволяю иностранцу ухаживать за собой.

— Чего он добивался от вас? — спросил я.

— Вообразите, он предлагал мне выйти за него замуж. Уверял, что он известный коммерсант, один из видных богачей Марселя, добрый и щедрый человек. А главное — он без конца хвастался своим бесстрашием и храбростью. Божился, что трижды ездил в Алжир охотиться в дремучих лесах, убил двух львов, трех тигров и что, если я соглашусь поехать с ним в Марсель, он покажет мне их шкуры. Он рассказывал без конца, а я только посмеивалась, глядя на его толстый живот. Представляете себе: мы — муж и жена? — продолжала она, заливаясь смехом. — Мне двадцать один, а он на пять лет старше моего отца! Что сказали бы мои подруги! И, знаете, он поверил, что вы мой дядя и даже хотел поговорить с вами и попросить вашего разрешения на наш брак. Интересно знать, что бы вы ответили, если бы я, ради шутки, позволила ему поговорить с вами?

— Я сказал бы, что вы — бесценный цветок, который ваша прекрасная родина ни за что не согласится потерять.

— Ай, ай, ай! Вы что же, приехали в Европу, чтобы учиться здесь комплиментам? Нехорошо! — сказала она полуукоизненно, полушутя.— Но слушайте дальше. Я уверила его, что кавказцы в отношении к женщине очень строги и не позволят шутить с этим. Сказала, что вы очень опасный человек и что, если он рискнет вступить с вами в разговор, дело может кончиться кровопролитием. Конечно, я смеялась над ним, но, представьте себе,— человек, охотившийся на львов и тигров, струси!

— Неужели?

— Да, да, уверяю вас, струси, хоть и заявил чванливо, что марсельцы не такой народ, чтобы бояться кровопролития...

Мы расстались с ней друзьями. Она обещала приехать в наш пансион познакомиться с моей женой. Мы тоже

обещали навестить ее в Женеве. Но, как обычно кончаются такие случайные знакомства, ни она, ни мы своего обещания не сдержали. Тем не менее еще и сегодня светлый и жизнерадостный образ этой девушки жив в моей памяти.

Два раза в неделю в сопровождении своих детей или один я спускался по электрической железной дороге в Лозанну или Вевей полюбоваться Леманским озером.

Однажды мы всем семейством отправились в Монтре, считавшийся лучшим зимним курортом Швейцарии. Нас интересовал Шильонский замок, называемый Швейцарской Бастилией.

Кажется, будто средневековый деспотизм построил этот знаменитый замок на красивейшем из берегов Лемана для того, чтобы еще циничнее подчеркнуть свои преступления перед человеческой свободой.

Конечно, савойский деспот Карлос III не мог предугадать, что придет время, когда гениальное перо Байрона заклеймит его позором, обессмертив женевского патриота Бонивара под именем «Шильонского узника».

Замок стоит у самого берега, но, вопреки описанию Байрона, нижний этаж его не под водой. Тысячи путешественников каждое лето посещают этот замок, описанный великим поэтом. Многие спешат запечатлеть свое имя на его стенах и колоннах.

На одной из скал, на самом видном месте, крупными черными буквами было написано: «Прошян».

В СОРБОННЕ

Чтобы использовать свое время более или менее продуктивно, я стал посещать открытые лекции в Сорbonне, не как действительный студент (это не соответствовало моему возрасту), а как вольнослушатель. Я выбрал три предмета: историю, опытную психологию и опять... неизбежную литературу. В сущности, меня привлекала лишь возможность посидеть несколько часов в культурном обществе, где не было недостатка в людях моих лет. Было приятно слушать и восхищаться музыкой подлинной, чистой французской речи, особенно когда читал достойный преемник Ипполита Тэна и Брюнетьера — лучший литературный критик того времени Эмиль Фагэ или знаменитый историк Олар — высокий, видный и красивый старик.

Был еще один низенький хромой профессор Марта. Я иногда посещал и его лекции. Читал он о латинском красноречии. Это был самый симпатичный профессор, артист в лучшем значении этого слова, артист по своим манерам, жестам, произношению и мимике.

Декламируя какой-либо отрывок из классиков, он воодушевлялся, вскакивал, садился, но никогда не уклонялся от темы и не утруждал аудиторию утомительными подробностями. Я слушал его не как профессора, а как талантливого артиста, чья игра доставляла мне эстетическое наслаждение.

Вообще всякий француз, выступающий перед аудиторией, будь то митинговой оратор, профессор, член парламента или адвокат,— он прежде всего артист. Но разве только в этом достоинство француза-оратора? Нет! Он обладает удивительной способностью самую сухую и скучную тему сделать занимательной и интересной своим природным юмором, неожиданным острословием и сравнениями; он умеет придать самому пресному материалу художественную форму и увлекательность.

Лекции в Сорбонне отнимали у меня не много времени — всего два, два с половиной часа в день. К тому же я не был слишком старательным и прилежным слушателем и часто предпочитал заниматься дома чтением или совершать мои привычные прогулки.

Однажды на прогулке молодой армянин Г. А-н спросил меня:

— Не хотели бы послушать Д'Арсонваля?

— С удовольствием, — ответил я.

И мы отправились слушать лекцию известного физика.

Я познакомился с Г. А-ном только недавно, и он заинтересовал меня некоторыми исключительными чертами своего характера. Ему уже исполнилось тридцать лет. Он сам себя считал вечным студентом и не обижался, когда и другие обращались к нему с этой кличкой. Невысокого роста, хорошего сложения, в совершенстве усвоивший европейские манеры, он походил больше на француза или на итальянца, чем на ярмянина. Годами он путешествовал из города в город, из страны в страну, изучая музеи, библиотеки, посещая театры. Он владел таким богатством знаний, что если бы немного потрудился, мог легко читать лекции в любом университете. Говорю «лю-

бом», потому что он владел в совершенстве тремя-четырьмя европейскими языками. И все же он нередко предпочитал кличку «вечного студента» званию профессора.

В этот день я узнал еще об одной способности Г. А-на. Когда Д'Арсонваль закончил свою лекцию, А-н почти силой заставил меня подняться на сцену и познакомил с профессором.

— Господин А-н ваш соотечественник? — спросил меня физик.

— Да. Мы из одной страны, — ответил я.

— Прошу вас, побраните его хорошенъко.

— Почему, маэстро?

— За лень, лень и беспечность. Ваш земляк обладает природным талантом ученого. Он даже имеет склонность к изобретениям, как это показывает ряд его работ. Если он будет упорно трудиться, уверен, что в один прекрасный день, как Маркони, даст мне тему для новой лекции. Да, да, мой друг, — обратился он к А-ну, — нечего краснеть и смущаться, как девушка. Вы не цените свои способности, это для меня бесспорно. И это, если хотите знать, своего рода преступление перед наукой.

Сказав это, старик извинился и стал собирать свои инструменты.

На улице я спросил А-на, почему он скрыл от меня свои опыты в области физики.

— Пустяки, — сказал он, улыбаясь. — Д'Арсонваль добряк и по-дружески оценивает мои ученические опыты.

— Тем не менее, я требую, чтобы вы познакомили меня с этими опытами.

И А-н рассказал мне о своих двух изобретениях: одно из них небольшой прибор-предохранитель к газовым установкам в квартирах, другое из области баллистики. В чем ценность этих изобретений — я не знаю, но раз французское правительство сочло возможным дать ему авторское право и объявить о нем в официальном бюллетене — значит несомненно они представляли ценность.

Более того, А-н показал мне полученные им письма от различных английских, германских и даже американских заводовладельцев с просьбой продать им свое изобретение. Ни на одно письмо он не ответил.

— Это непростительная беспечность, — говорил я, — потом пожалеете. Не всегда судьба улыбается человеку.

Его отец был купцом и после своей смерти оставил трем своим сыновьям хорошее состояние. Он регулярно каждый месяц получал из Баку часть доходов от своего наследства и жил, не думая о будущем. И он не знал и не понимал, что это его несчастье.

Спустя двадцать лет я его встретил в одном из городов Советского Союза. Он приехал сюда на два дня и, услышав обо мне, пришел навестить. Он постарел и очень изменился. От когда-то беспечного и веселого, талантливого и ленивого, остроумного человека, хорошего друга и плохого работника осталась только тень. Мы располагали небольшим временем, всего четвертью часа. Он ничего не говорил мне о своей жизни в настоящее время. Я не счел возможным спрашивать, и без того все было ясно.

Я хотел было заговорить о нашей дружбе, вспомнить Париж... Но с первых же слов он прервал меня, говоря:

— Оставим, оставим. Мне стыдно за прошлое. Прощайте.

Сказал и, крепко пожав мою руку, удалился. Где он теперь, не знаю. Я только жалею, что в те годы, когда его природные способности и талант были в расцвете, он не нуждался материально так, как во времена нашей последней встречи.

Кстати, сейчас часто говорят, будто материальная необеспеченность является роковым злом для умственного работника. Это общепринятое мнение многие считают бесспорной истиной и нередко этим объясняют неудачи того или другого ученого. Между тем, можно привести сотни примеров из любой области, показывающих, что нужда стимулирует творчество. Да, материальная нужда часто создает препятствие для естественного развития и расцвета творческого таланта, это верно, но неизмеримо легче преодолеть эти препятствия, разрушить и перешагнуть через них, чем преодолеть зло, которое создает богатство — леность умственного работника. Обратная сторона той же истины: когда творческий работник не испытывает нужды, не думает о завтрашнем дне и особенно когда он богат,— он теряет трудолюбие и энергию и, стало быть, жажду творчества.

Когда я ругал Г. А-на за его беспечность и нетрудолюбие, он отвечал примерно так:

— Для чего мне трудиться, когда судьба мне покровительствует, когда благодаря отцовскому наследству у меня есть возможность пользоваться всеми благами жизни. Для известности, славы, благодарности людей? Конечно, приятно быть уважаемым, но я не уверен, что я когда-нибудь стану Эдиссоном или Маркони. Зачем же, спрашивается, свою молодость, счастливые часы настоящего приносить в жертву сомнительной славе будущего?

Вот почему я поверил в его искренность, когда он сказал:

— Мне стыдно за свое прошлое.

ГРИГОР ЗОХРАВ

Вскоре произошла турецкая революция.

— Не хотели бы вы навестить предводителя младотурок Ахмеда Реза и поздравить его с победой? — обратился однажды ко мне Минас Чераз, который следил за политическими и дипломатическими событиями и хорошо знал их.

— Почему бы нет! — ответил я. — Но, скажите, вы верите в то, что эта так называемая революция принесет благо Турции и, в частности, армянскому народу?

— Трудно сказать. Все же думаю, что для нас конституционные порядки будут не хуже правительства Кровавого султана. Нас так много терзали, что такие неожиданные изменения в жизни Турции не могут не внушить новые надежды...

Мы отправились к Ахмеду Реза. Он жил в одной из второстепенных гостиниц Латинского предместья. Я с ним не был знаком, но почти каждый день видел его в кафе «Суфле». Я очень рад, что в этот день мы его не застали в гостинице и ограничились тем, что оставили наши визитные карточки.

Рад, так как на обратном пути Чераз сказал:

— Знаете, говорят, что однажды Ахмед Реза сказал, что если султан Гамид в своей жизни совершил что-нибудь хорошее, то это истребление армян.

— А почему вы мне об этом не сказали перед тем, как мы отправились сюда? — спросил я, взбешенный. — Ведь мы должны были пожать его руку.

Чераз ничего не ответил, чувствуя свою ошибку. Впоследствии, когда я узнал из французских газет, что Ахмед Реза, прибыв в Константинополь, счел своим долгом прийти к султану Гамиду и, поцеловав его руку, сказать: «Вы наш отец!» — я убедился, что он достойный потомок Гамида и что от него ничего хорошего ожидать нельзя. Так и случилось. Несчастный наш народ снова подвергся гонениям не менее ужасным, чем во времена султана.

Помню дашнаков, находившихся в Париже и Швейцарии в первые дни революции. Их воодушевление было и смешным и жалким. Некоторые, имена которых не хочу здесь называть, до такой степени ликовали, что, казалось, они сами совершили турецкую революцию. Были и такие, которые прямо так и заявляли. Между тем, все очень хорошо знали, что даже Ахмед Реза не принимал реального участия в революции и что подлинными ее руководителями были Энвербей — немец по происхождению, Назибей — албанец и Шевкет-паша — араб.

Однажды меня познакомили с известным западноармянским романистом Григором Зохрабом, который приехал в Париж по личным делам. Я обратил внимание на его удивительную жизнерадость и энергию. Зохраб обладал острым и бойким пером. Он был членом турецкого недавно избранного парламента, талантливым оратором и выдающимся юристом. Я его знал, так сказать, заочно. Читал его замечательные рассказы из жизни Константинополя. Зохраб примыкал к реалистическому искусству, писал изящно, речь его была свободна от выспренних выражений и ненужных украшений.

В те годы, когда театральная труппа Абелян-Арменян в Константинополе с большим успехом играла пьесы «Из-за чести» и «Егине», он в местных газетах написал, если не ошибаюсь, несколько статей обо мне. Я искренне был рад познакомиться с ним. Когда я хотел завести речь о его творчестве, он скромно и откровенно сказал:

— Яamatер (любитель) — и больше ничего.

Зохраб оптимистически относился к положительным последствиям турецкой революции, надеялся на освобождение турецких армян. Он и слышать не хотел мои пессимистические возражения. Все, в том числе такой вдумчивый и серьезный человек, как Зохраб, были опьянены шумной атмосферой, царившей в те годы.

Но, увы, он тоже, как Сиаманто, Варужан и ряд других писателей, стал жертвой своего оптимизма. Спустя одиннадцать лет, когда я посетил Константинополь (в конце 1919 года), я слышал несколько версий о его трагической смерти. Никто достоверно не знал подробных обстоятельств их смерти. Рассказывали, будто Варужана, Сиаманто и других сослали в Айаш, а Зохраба в другое, более отдаленное место; что первых где-то там расстреляли, а о том, как был убит Зохраб, никто ничего не знал. Удивительно то, что даже об аресте Зохраба ходили разные слухи. Я расскажу тот вариант, который мне, хорошо знающему мужественный характер Зохраба, кажется наиболее верным, хотя ручаться за его полную достоверность тоже не могу.

К вечеру того дня, когда арестовывают его товарищей, Зохраб идет к министру внутренних дел Турции Галаат-бею, с которым он был в близких отношениях, и, как член парламента, требует объяснений по поводу арестов. Они бурно спорят. Галаат-бей избегает прямых ответов на вопросы Зохраба.

— Не забудьте, бей, что вы можете быть привлечены к ответственности,— заявляет Зохраб.

— Любопытно знать, кто может привлечь меня к ответственности? — спрашивает Галаат иронически.

— Хотя бы я, как член парламента,— отвечает Зохраб, ударив кулаком по столу.

Спор продолжается недолго. Зохраб, взбешенный поведением министра, уходит.

На следующее утро его арестовывают.

Я закрываю, дорогой читатель, эту грустную страницу моих воспоминаний, жалея твои нервы.

БОЛЕЗНЬ СЫНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ

В тот злосчастный день он вернулся из университета бледный и взволнованный.

— Папа,— сказал он,— я не могу сдать экзамены.— И, швырнув книги и тетради в сторону, лег на диван.

— Почему? — спросил я, обеспокоенный.

— Голова не работает.

Он был на втором курсе юридического факультета и должен был сдать экзамены, чтобы перейти на третий, последний курс. Ему было девятнадцать лет. Мы возлагали

большие надежды на будущность этого красивого, спортивного, трудолюбивого и жизнерадостного юноши.

В последнее время он начал худеть, стал сосредоточенным и задумчивым, хотя и не потерял своего природного юмора и способности подмечать и высмеивать дурные черты характера людей. Что с ним творилось — мы не понимали. Все усиливающуюся бледность его лица и частую раздражительность по всяческому пустячному поводу мы приписывали переутомлению.

Мы точно ослепли, не замечали, что несчастье неизменно, украдкой, как ядовитая змея, вползало в наше мирное, почти счастливое существование.

Знаменитый невропатолог, к которому мы повезли сына, уверил нас, что нет оснований для беспокойства, что просто утомлена нервная система юноши, что ему необходимо бросить на время занятия, даже чтение, отдохнуть и принимать ежедневно душ Шарко. Однако какой-то внутренний голос подсказал мне, что болезнь сына гораздо серьезнее, чем простое переутомление. Так на самом деле и оказалось. Ни Шарко, ни двухмесячный отдых, ни постоянные заботы матери о его питании и покое не помогали. Чем дальше, тем он делался мрачнее, все упорнее замыкался в себя.

Однажды я заметил, что зрачки его прекрасных глаз как-то перекосились. Вскоре он стал молчалив и рассеян, точно какая-то зловещая рука захлопнула двери его души, мысли и слуха.

Однажды он стал разговаривать сам с собой, то гневно, то смеясь споря с воображаемым противником. В другой раз он начал твердить, что потолок нашей столовой продырявлен и оттуда на нас смотрят соседи.

Бедный, бедный мальчик!

— Нет, это невозможно! — повторяла в отчаянии мать. — Ребенок погибает! Скажи, что ж делать?

Но разве я знал?

— Папа, — сказал как-то вечером больной, очнувшись от кошмара. — Я погибший человек. Не надейтесь на меня! Если я даже поправлюсь, то все равно не смогу помочь тебе.

Что случилось? Каким образом смог он так ясно и верно понять беду, свалившуюся на него?

Это был самый несчастный день в моей жизни. Зная,

что я страдаю, сын не понимал, что для меня было важно его здоровье, а не его помощь. Пусть он будет самым худшим сыном, лишь бы был здоров!

Я не умел плакать тихо. Слезы душили меня, и я рыдал, как ребенок. Часто ночью я открывал окно спальни, высовываясь наружу и плакал: я не хотел, чтобы больной слышал из соседней комнаты мои рыдания.

Мы всячески старались скрыть от него наше горе, но это было невозможно, по крайней мере для меня. Свинцовая тяжесть легла на сердце и давила, давила. Только слезами я облегчал свое горе.

Наступило лето. Мы в третий раз переехали в Швейцарию, но, конечно, уже не с прежним настроением.

По совету знаменитых французских и швейцарских врачей мы поместили сына в один из санаториев кантона Люцерна, на берегу красивого озера, сами же устроились в дешевом пансионе кантона Во.

Я все не терял надежды увидеть своего несчастного сына здоровым. Я старался противостоять надвигавшейся беде тем, что обманывал себя. Такова природа человека. Мы ни за что не хотим примириться сразу с постигшим нас горем и возлагаем тщетные надежды даже на невероятные чудеса. Когда же свыкаемся с несчастием, сами удивляемся, насколько мы близоруки и легкомысленны.

Швейцария потеряла теперь для меня былое обаяние. Я стал совершенно равнодушен к ее красотам. Другой бы на моем месте постарался забыться в работе, но я не мог. Работа валилась из рук. Помню, как-то в течение целой недели я напрягал усилия, чтобы начать большую вещь, но уже с первой страницы она показалась мне не под силу. Пробовал я писать мелкие рассказы — и тоже безуспешно. Писал, зачеркивал, изменял, поправлял, но ничего не получалось. К слову сказать, мне вообще пишется очень трудно, а теперь в особенности,— рука моя была точно скована. Я рвал исписанные листы и с яростью швырял их; с яростью, потому что сознание бессилия действительно приводило меня в бешенство.

Так же бесплодно потянулись дни и в Париже, куда мы вернулись после пятидесятидневного отсутствия.

Чем дальше, тем хуже становилось положение больного. И настал день, когда оказалось невозможным держать его дома, так как он стал проявлять признаки буйства.

Не имея средств устроить сына в санаторий, я вынужден был поместить его в частной семье, в предместье Парижа, где находилось несколько таких же больных.

Я перестал посещать лекции в Сорбонне и уже задумывался над тем, не пора ли мне после трехлетнего отсутствия вернуться на Кавказ. Но был ряд серьезных причин, которые еще не позволяли нам сделать это. Во-первых, болезнь сына. Для нас было слишком тяжело везти юношу на родину в том состоянии, в каком он сейчас находился. Некоторые профессора уверяли, что разум его не совсем помутился, что он может еще выздороветь, что подобные случаи нередки, что многие больные поправлялись. И мы предпочитали цепляться за эти призрачные надежды, чем высушивать прямой ответ русского врача, что больной безнадежен. Вторым препятствием было то, что дочери и другому сыну оставалось два года учения.

Поэтому мы решили провести в Париже еще два года. Годы бесплодных литературных опытов и душевной усталости! Большую часть своего времени я проводил вне дома, обнадеживая себя тем, что изучаю жизнь и что это когда-нибудь мне пригодится.

Мы проводили в Париже последнюю зиму. Разные обстоятельства и, в первую очередь, материальная необеспеченность не позволяли нам больше откладывать возвращение на Кавказ. Кроме того, врачи советовали вывезти из Парижа моего больного сына.

Однажды я прочел в газете статью по поводу моей тридцатилетней литературной деятельности, кажется, за подписью Александра Абеляна. Автор предлагал общественности отпраздновать мой юбилей.

Такое внимание было для меня в известной степени ценно. Но хорошо зная, какое жалкое зрелище представляло празднование юбилея армянского писателя в атмосфере того времени, и помня остроумные слова Глеба Успенского: «Юбилей — это мавзолей», — я был готов публично отказаться от него. И отказался бы, будь я уверен, что мою скромность сочтут искренней.

Вскоре, после пятилетнего отсутствия, мы вернулись на Кавказ.

КОММЕНТАРИИ

Во второй том настоящего издания «Избранных произведений» А. Ширвандаде вошли его повести, рассказы, пьесы и воспоминания «В горниле жизни».

ПОЖАР НА НЕФТИЯНОМ ЗАВОДЕ

Первый рассказ Ширвандаде. В некоторых русских изданиях неверно назван «Пожар на нефтяных промыслах». Впервые опубликован в 1883 году, в ежедневной газете «Мшак» («Работник»), которую издавал в Тифлисе известный армянский публицист и общественный деятель Григор Арцруни. «Пожару...» предшествовал ряд статей и очерков, которые Ширвандаде в 1879—1881 годах опубликовал в армянских и русских газетах, выходящих в Баку и Тифлисе. Рассказ неоднократно переиздавался и в русском переводе. Впервые появился на русском языке в 1911 году.

БАРЫШНЯ ЛИЗА

Повесть написана в 1884 году в Тифлисе. Впервые опубликована в 1885 году в газете «Арцаганк» («Эхо»), которую издавал публицист Абгар Иоаннисян. Неоднократно переиздавалась, входила в однотомники и собрания сочинений писателя без каких-либо существенных изменений. В 1891 году повесть под названием «Лиза» была издана отдельной книгой в русском переводе. В настоящем издании использован новый перевод, сделанный для первого собрания сочинений писателя на русском языке, вышедшем в 1957 году.

БЛАГОДЕТЕЛЬ

«Благодетель» — одна из первых повестей Ширвандаде. Впервые опубликована в 1884 году в еженедельной газете «Арцаганк». В том же году она была выпущена отдельной книгой. В статьях о «Благодетеле» современная критика отмечала незаурядный талант молодого автора, его наблюдательность. Повесть подверглась также

серъезной критике. Газета «Арцаганк» в 1885 году в № 7 писала, что Ширванзаде не остался до конца верным реализму. Автор статьи отмечает схематичность образов главных героев повести — Долмазова и Катерины Карловны. В русском переводе «Благодетель» впервые вышел в 1957 году.

ФАТЬМА И АСАД

С 1875 по 1883 год Ширванзаде жил в Баку. Здесь он начал свою трудовую жизнь и впоследствии неоднократно приезжал сюда. Писатель хорошо знал жизнь, быт, нравы не только бакинских армян, но и азербайджанцев, жизнь простых людей, о которых он не раз писал с большой симпатией. Когда в 1889 году редактор издававшейся в Тифлисе азербайджанской газеты «Кешкуль» («Дароносница») Эффенди П. Джалал попросил Ширванзаде написать рассказ для газеты, писатель охотно согласился. В том же году рассказ «Фатьма и Асад» опубликовала армянская еженедельная газета «Арцаганк» (№ 9—10), штатным сотрудником которой тогда был Ширванзаде, и газета «Кешкуль».

ЗЛОЙ ДУХ

Повесть «Злой дух» под названием «Одержанная» вышла в 1894 году в литературном ежегоднике «Оризон» («Горизонт». Тифлис). Под этим названием она выходила до 1912 года, затем Ширванзаде по сюжету «Одержанной» написал драму, назвав ее «Злой дух». В первом собрании сочинений Ширванзаде, вышедшем при жизни автора (1930 год), повесть, как и драма, названа «Злой дух». Первый перевод «Злого духа» на русский язык принадлежит выдающемуся армянскому поэту Вагану Теряну; Терян перерел повесть для «Сборника армянской литературы», который выпустило издательство «Парус» под редакцией А. М. Горького. Затем она много раз переиздавалась, как отдельной книгой, так и в сборниках избранных произведений автора.

ОГОНЬ

Повесть «Огонь» впервые вышла отдельной книгой в 1896 году. В русском переводе она была издана в 1936 году. Печатается в новом переводе, сделанном в 1957 году для собрания сочинений писателя.

АРТИСТ

Повесть «Артист» написана в 1899 году, но увидела свет только в 1901 году в журнале «Мурч» («Молот», Тифлис). В 1875 г. Ширванзаде был арестован и спустя три года «по приказу государя» был сослан в Одессу «за революционную деятельность». Именно

в это время в Одессе Ширванзаде познакомился с героем повести — Левоном и узнал о его печальной истории. Повесть переведена на русский и на многие другие языки народов Советского Союза.

АЛИНА

Рассказ «Алина» написан в 1917 году в Тифлисе. Впервые появился в сборнике «Семь рассказов», изданном в Бостоне в 1920 году. В русском переводе «Алина» печатается впервые.

ПРАВА ЛИ ОНА?

Драматургия занимает большое место в творчестве Ширванзаде. Им создано 12 пьес и один киносценарий (драмы: «Княгиня», 1891; «Егине», 1901; «Права ли она?», 1902; «Арменуи», 1903; «Из-за чести», 1904; «На развалинах», 1907; «Погибший», 1907; «Намус», 1911; «Злой дух», 1912; комедии: «Шарлатан», 1907; «Неогубликованная комедия», 1916; «Сват Моргана», 1926; киносценарий «Последний фонтан», 1924).

Драма «Права ли она?» впервые поставлена выдающимся армянским актером Ованесом Абеляном в 1902 году в Тифлисе на сцене театра Армянского артистического товарищества. Опубликована в 1903 году в журнале «Лума» («Лепта»).

Современные критики находили много недостатков в пьесе. Отвечая им, Ширванзаде соглашался с теми замечаниями, которые относились к художественным достоинствам драмы. Вместе с тем, драматург отстаивал идейную направленность своего произведения, утверждая, что оно направлено против лжи и обмана, на которых держится современная буржуазная семья. В русском переводе драма «Права ли она?» публикуется впервые.

ИЗ-ЗА ЧЕСТИ

Драму «Из-за чести» Ширванзаде написал в 1904 году в Тифлисе. Опубликована в следующем году в журнале «Лума» (№ 1, 2, 3).

Поставленная впервые на сцене Багинского армянского театра в декабре 1904 года, она очень скоро завоевала широкую популярность, и вот уже более 50 лет не сходит со сцен театров Закавказских республик.

«...Живя в Баку, — писал Ширванзаде, — я попал в такую среду, где украсть последнюю копейку у товарища и лишить его детей куска хлеба считалось проявлением ума и энергии. И это не только не осуждалось, но становилось даже предметом зависти. Сотни случаев, один уродливее и отвратительнее другого, прошли перед моими глазами. В этой именно среде я нашел типы Андреаса Элизбаряна и Сагатела, выведенные в моей драме «Из-за чести».

Лучшим исполнителем главной роли пьесы — Андреаса Элизбаряна — был Ованес Абелян, о котором Ширванзаде говорил, что именно ему принадлежит заслуга создания сценического характера

этого образа. Другим замечательным исполнителем роли Андреаса Элизбаряна является народный артист СССР Грачия Нерсесян, выступивший в этой роли в кинофильме «Из-за чести», созданном киностудией «Арменфильм» в 1956 году (режиссер-постановщик А. Ай-Артян).

СВАТ МОРГАНА

«Сват Моргана» — сатирическая комедия, в которой высмеяны армянские и русские эмигранты — капиталисты, нефтепромышленники, дворяне, реакционные служители искусства, бежавшие за пределы Советской России после Великой Октябрьской социалистической революции. Ширванзаде написал эту пьесу по заказу Ереванского государственного драматического театра им. Сундукияна в 1926 году. На сцене этого же театра она впервые была поставлена в 1927 году. За прошедшие 30 лет она неоднократно ставилась во многих театрах Закавказья.

Пьеса дважды, в 1930 и 1934 годах, выходила отдельной книгой на армянском языке. «Сват Моргана» в русском переводе вышел в 1957 году в собрании сочинений автора.

В ГОРНИЛЕ ЖИЗНИ

Мемуары Ширванзаде «В горниле жизни» содержат много интересных сведений и фактов об общественных, политических и культурных событиях второй половины девятнадцатого и начала двадцатого веков, о жизни разных слоев армянского народа, о деятелях литературы, культуры, искусства, о жизни самого автора и т. д. В некоторых изданиях это произведение называют автобиографическим романом.

Отдельные главы «В горниле жизни» выходили еще в 90-х годах прошлого столетия (например, воспоминания о Раффи были опубликованы в газете «Оризон» в 1894 году). Начиная с 1912 года, издавая мемуары как отдельное произведение, Ширванзаде постоянно дополнял их, включая новые главы. Ряд глав написан им в советские годы («Прошян», «Пегрос Адамян», «Гамар-Катипа», «Сундукиян» и др.).

Отдельной книгой воспоминания Ширванзаде вышли в 1930 году (Государственное издательство, Ереван). С незначительными изменениями этот текст вошел в собрание сочинений писателя в 8 томах (Ереван, 1932—1934 годы).

На русском языке воспоминания «В горниле жизни» впервые вышли в 1936 году (см. трехтомник «Избранных сочинений» автора, выпущенный издаельством газеты «Заря Востока» в Тбилиси). Этот значительно сокращенный текст был до последнего времени наиболее полным в русском переводе. Более полный перевод «В горниле жизни» вышел в 1957 году. В настоящем издании текст воспоминаний дается без изменений. Перевод глав «Раффи», «Гамар Катипа», «Адамян», «Прошян», «Сундукиян», «Григор Зохраб» и ряд дополнений к другим главам принадлежит Г. Манасяну.

Стр. 492. «Пчела Армении» («Мегу Айастани») — еженедельная политическая, литературная и торговая газета (1858—1886). Редак-

тор Степаниос Манандянц. «Мшак» («Работник») — литературная и политическая ежедневная газета, выходила с 1877 по 1920 год. Ее основателем и долгое время редактором был известный публицист Г. Арцруни.

Стр. 492. «Северное сияние» («Юсисапайл») — ежемесячный общественно-политический, литературный журнал. Выходил с 1858 по 1864 год в Москве. Его издателем и редактором был известный армянский публицист, профессор филологии Степаниос Назарянц. В журнале активно участвовал (был одним из его редакторов) выдающийся армянский революционный демократ Микаэл Налбандян. «Северное сияние» сыграло большую прогрессивную роль в развитии армянской общественной мысли.

Стр. 492. «Журавль Армении» («Крунк Айастани») — ежемесячный общественный, просветительский журнал. Выходил с 1860 по 1863 г в Тифлисе. Издатель Амбарцум Эмдиачян. Редактор Маркос Агабекян.

Стр. 492. «Лира Армении» («Кнар Айакакан») — двухнедельный музыкальный журнал. Выходил в Константинополе с 1861 по 1864 год. Редакторы Г. Еранян, Т. Чухаджин.

Стр. 492. «Порц» («Опыт») — ежемесячный литературный и этнографический журнал. Выходил в Тифлисе с 1876 по 1881 год. Редактор и издатель Абгар Ованесян.

Стр. 493. Шемаха — небольшой уездный город в Азербайджане, где родился Ширванзаде.

Стр. 521. Герберт Спенсер (1820—1903). Английский философ-позитивист, психолог и биолог.

Стр. 521. Фердинанд Лассаль (1825—1864). Немецкий мелкобуржуазный социалист.

Стр. 521. Давид Рикардо (1772—1823). Знаменитый английский политический экономист

Стр. 521. Анри Клод Сен-Симон де Рувруа (1760—1825). Великий французский социалист-утопист.

Стр. 521. Пьер Жозеф Прудон (1809—1865). Французский мелкобуржуазный публицист и социолог.

Стр. 523. Статья Ширванзаде называлась «О положении рабочих». Она была опубликована в газете «Мшак» в №№ 225, 226, 227 за 1881 год.

Стр. 546. Арцруни Григор (1845—1892). Известный армянский либеральный публицист и общественный деятель, литературный критик.

Стр. 546. Раффи (Акоп Мелик-Акопян) (1835—1888). Один из крупнейших армянских романистов. Автор известных романов «Искры», «Давид бек», «Самуэл», «Золотой петух» и др.

Стр. 552. «Эвелина» — небольшая повесть Арцруни из жизни армянских студентов в Швейцарии.

Стр. 553. Желябов Андрей Иванович (1850—1881). Известный русский революционер. Организатор и руководитель «Народной воли».

Стр. 555. Павстос Бюзандаци. Армянский историк и писатель V века. В своей известной книге «История Армении» рассказывает о борьбе армянского народа против персидских и византийских захватчиков.

Стр. 556. «Арцаганк» («Эхօ»). Еженедельная политическая и литературная газета. Выходила с 1882 по 1898 год.

Стр. 557. Патканян Рафаэл (1830—1892). Его литературный псевдоним — Гамар-Катипа. Известный армянский поэт буржуазно-демократического направления.

Стр. 557. Церенц — литературный псевдоним Иосифа Шишманяна (1822—1888). Армянский писатель. Автор известных исторических романов «Торос Левони», «Муки IX века», «Теодорос Рштуни» и др.

Стр. 558. Агаян Газарос (1840—1911). Поэт, романист и детский писатель. Автор романов «Артюн и Манвел», «Две сестры», поэмы «Торк-Ангех» и др.

Стр. 561. «Раны Армении» — роман выдающегося армянского писателя Хачатура Абояна

Стр. 565. Адамян Петрос (1849—1891). Выдающийся армянский актер-трагик. Родился в Константинополе. Особенно успешно выступал в ролях Гамлета, Лира, Макбета. Он сыграл более 200 ролей. С 1879 года неоднократно гастролировал в Москве, Петербурге, Одессе, Харькове и других городах.

Стр. 565. Башинджаян Генорг (1858—1925). Известный армянский художник, основоположник пейзажного жанра в армянской живописи. Известны его картины «Дождливый день на Севане» (1900), «Полная тишина» (1901), «Аракат» (1912) и др.

Стр. 565. Шамильян Арутюн (1856—1914). Армянский художник-реалист.

Стр. 566. Бокль Генри Томас (1821—1862). Английский историк-позитивист.

Стр. 566. Жан Муне Сюлли (1841—1916). Известный французский актер

Стр. 567. Сара Бернар (1844—1923). Известная французская актриса

Стр. 567. Театральный критик Чуйко написал об Адамяне две статьи, опубликованные не в «Русских ведомостях», как об этом пишет Ширванзаде, а в «Новостях» (о Гамлете Адамяна в № 30 за 1884 и об Аббенине Адамяна в № 43 за 1884 г.).

Стр. 567. Сальвини Томмазо (1829—1916). Итальянский актер-трагик

Стр. 567. Росси Эрнесто (1829—1896). Знаменитый итальянский актер.

Стр. 568. Кантарджян Астгик (1855—1884). Армянская актриса. Выступала в любительских театрах в Константинополе, затем в Тифлисе. Сестра выдающейся артистки Сирануш.

Стр. 568. Грачя Азнив (Минасян) (1853—1920). Армянская драматическая актриса.

Стр. 568. Кантарджян Сирануш (1857—1932). Выдающаяся армянская артистка. С большим успехом она исполняла также роль Гамлета. Выступала сначала в Константинополе, затем переехала в Закавказье.

Стр. 568. Фидий — величайший греческий скульптор пятого века.

Стр. 568. Чмшлян Геворг (1837—1915). Известный армянский артист. Один из создателей армянского реалистического театра в Закавказье. Замечательный исполнитель роли Пепо в одноименной пьесе Г. Сундукиана.

Стр. 569. *Мирхдат Америкян* (1843—1879). Известный армянский артист.

Стр. 570. *Сундукиян Габриэл* (1825—1912). Выдающийся армянский драматург. Основоположник реалистической армянской драматургии. Автор пьес «Пепо», «Хатабала» («Переполох»), «Разоренный очаг», «Варенькин вечер» и др.

Стр. 573. *Саят-Нова (Арутюн Саядян)* (1712—1795). Выдающийся армянский поэт, ашуг. Песни и стихи Саят-Нова, написанные на армянском, грузинском и азербайджанском языках, и ныне пользуются широкой популярностью в народе.

Стр. 576. *Каринян Акоп* (1843—1879). Писатель и педагог. Писал историко-романтические трагедии («Шушаник», «Война Вартанов» и др.).

Стр. 576. *Экимян Срапyon* (1832—1892). Драматург, автор исторической трагедии «Самуэл».

Стр. 576. *Пешикташлян Мкртич* (1828—1868). Армянский поэт и драматург. Родился и жил в Константинополе. Написал исторические трагедии «Корнак», «Аршак второй», «Ваге» и др.

Стр. 577. *Мельпомена* — одна из девяти муз в греческой мифологии. Покровительница трагедии.

Стр. 577. *Прошян Перч* (литературный псевдоним Ованеса Тер-Аракеляна, 1837—1907). Известный армянский писатель, романист. Автор романов «Из-за хлеба», «Мироеды», «Яблоко раздора», «Сос и Вардитер» и др.

Стр. 580. *Мурч* («Молот») — ежемесячный армянский общественно-политический и литературный журнал. Выходил в Тифлисе с 1889 по 1907 год.

Стр. 580. *Туманян Ованес* (1869—1923). Великий армянский писатель. Широко известны его поэмы «Ануш», «Маро», «Сако Лорийский», «Стенания» и др., а также рассказы, сказки, легенды, басни.

Стр. 580. *Ереванская площадь* — центральная площадь в Тбилиси, ныне — площадь имени Ленина.

Стр. 592. *Макс Нордай* (1849—1923). Немецкий реакционный писатель.

Стр. 594. *Пракситель* — великий древнегреческий скульптор середины IV-го века до н. э.

Стр. 594. *Роден Огюст* (1840—1917). Известный французский скульптор.

Стр. 597. *Ростан Эдмон* (1868—1918). Французский поэт и драматург.

Стр. 597. *Батайль Анри* (1872—1922). Французский драматург, декадент.

Стр. 597. «Le comedie Fransaise» — французский национальный драматический театр.

Стр. 597. *Коклен Бенуа Констан* (старший) (1841—1909). Известный французский актер.

Стр. 597. *Режан Габриэль* (1856—1920) — французская актриса. Играла в театрах «Водевиль», «Варьете», «Одеон» и др.

Стр. 598. *Колони Эдуард* (1838—1910). Французский дирижер и скрипач.

Стр. 598. *Ламуре Шарль* (1834—1899). Французский скрипач и дирижер.

Стр. 616. *Ковалевский Максим Максимович* (1851—1916). Русский ученый, юрист, историк, социолог и политический деятель буржуазно-либерального направления.

Стр. 616. *Амфитеатров Александр Валентинович* (1862—1923). Русский реакционный буржуазный писатель и фельетонист.

Стр. 619. *Жорес Жан* (1859—1914) — один из видных деятелей международного социалистического движения.

Стр. 619. *Клемансо Жорж Бенжамен* (1841—1929). Французский реакционный политический деятель. Один из руководителей французской радикальной партии.

Стр. 619. *Бриан Аристид* (1862—1932) — реакционный французский политический деятель и дипломат. Адвокат по профессии.

Стр. 621. *Прадис Джемс (Жан-Жак)* (1792—1852). Французский скульптор.

Стр. 621. *Кальвин Жан* (1509—1564) — религиозный реформатор XVI в.

Стр. 631. *Ипполит Тэн* (1828—1893) Известный французский историк, философ, теоретик искусства и литературы. Известны его работы: «Философия искусства», «История английской литературы» и др.

Стр. 631. *Брюнетьер Фердинанд* (1849—1906) — французский критик, историк и теоретик литературы.

Стр. 631. *Олар Альфонс* (1843—1928). Известный французский буржуазный историк, радикал. Основной его труд «Политическая история французской революции».

Стр. 631. *Фаге Эмиль* (1847—1916) — французский историк литературы и критик. Академик. Основные его труды: «Шестнадцатое столетие», «Восемнадцатый век», «Девятнадцатый век».

Стр. 635. *Минас Чераз* — армянский буржуазный политический деятель, публицист.

Стр. 635. *Зохраб Григор* (1861—1915). Западноармянский писатель, романист и новеллист. Родился и жил в Константинополе. Погиб во время организованной младотурецким правительством резни армян в Турции в 1915 г.

Стр. 636. *Варужан Даниэль* (1884—1915). Западноармянский поэт. Погиб в 1915 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Пожар на нефтяном заводе.— Рассказ. <i>Перевод Я. Хачатрянца</i>	7
Барышня Лиза.— Повесть. <i>Перевод А. Диляньяна</i>	15
Благодетель.— Повесть. <i>Перевод А. Диляньяна</i>	47
Фатьма и Асад — Рассказ. <i>Перевод Я. Хачатрянца</i>	93
Злой дух.— Повесть. <i>Перевод Я. Хачатрянца</i>	112
Огонь.— Повесть. <i>Перевод Я. Хачатрянца</i>	175
Артист.— Повесть. <i>Перевод Я. Хачатрянца</i>	216
Алина.— Повесть. <i>Перевод Я. Хачатрянца</i>	261
Права ли она? — Драма. <i>Перевод Г. Бояджиева и А. Бархударяна</i>	289
Из-за чести.— Драма. <i>Перевод Я. Хачатрянца</i>	343
Сват Моргана.— Комедия. <i>Перевод А. Глебова и А. Аршаруни</i>	406
В горниле жизни.— Мемуары	467
Комментарии	639

Александр Ширванзаде

ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ТОМ II

Редактор *А. Салахян*

Техн. редактор *В. Студенецкая*

Корректоры *В. Гаухман, И. Оржельская*

Подписано к печати 20/XI 1958. Зак. 1812. Тираж 30.000.
Бумага 60×92¹/₁₆ 20,29 (33×24) печ. л. Уч.-изд. 33,14.
Цена 12 руб.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5

120.